Борис Можаев

2


Борис
МОЖАЕВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Борис Можаев

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



Москва
«Художественная литература»
1989



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
М74

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

М $\frac{4702010201\text{-}397}{028(01)\text{-}89}$ подписное

ISBN 5-280-01048-0 (Т. 2)
ISBN 5-280-00793-5

Повести

ВЛАСТЬ ТАЙГИ

1

Поздно ночью сильно постучали в окно избы участкового милиционера.

Сережкины спали прямо на полу; широкую деревянную кровать вынесли во двор и пересыпали дустом — от клопов спасенья не было. Татьяна, приподнявшись на локте, будила мужа:

— Вася! Слышь, Вась! Да очнись ты, не маку же напился!

— А! — тревожно вскрикнул Сережкин и, сбросив теплое одеяло с лоскутным верхом, быстро вскочил на ноги.— Что случилось, Тань?

— Да ничего,— спокойно ответила жена.— Вон стучит кто-то. Опять, видно, по твою душу.

В окно снова настойчиво постучали.

— А-а,— равнодушно отозвался Сережкин, почесывая широкую волосатую грудь, и потянулся так, что захрустели суставы.— А я уж думал, не пожар ли?

В одних кальсонах и ночной рубахе он пошел в сени, шлепая по полу босыми ногами. В сенях Сережкин наскочил на ведро, чертыхнулся в темноту, обозвав Татьяну раскидухой, и на ощупь отыскал дверную задвижку.

— Кто там? — хрипло спросил он, выглядывая наружу из-за приотворенной двери.

— Василий Фокич! — метнулась от окна к Сережкину темная фигура.— Беда, Василий Фокич. Сплавщики у нас бузят. Из ружьев так и палят, так и палят...

— Постой, говори толком,— оборвал его Сережкин.— Где это — у вас!

— Да ты что, ай не признал меня? Я ж Усков из Переваловского сельпо.

— Николай! — удивленно воскликнул Сережкин.— Фу ты, дьявол! Спросонья-то никак не очухаюсь. Здорово! — Сережкин вышел на крыльцо и подал Ускову руку.— Откуда ты? Неужто в такую пору из Переваловского?

— А я на моторке... Еле утек. Так из ружьев и палят, варнаки.

— А что, задели кого-нибудь?

— Да нет, этого не было...

— Кто же сплавщиками верховодит, Рябой, что ли?

— Вроде его не видал. Больше этот, Варлашкин, шумит. Этот, что в картинках весь.— Усков показал рукой на грудь и живот.

— А, татуированный! — протянул Сережкин.— Известно. Ну, пошли в избу Я в момент соберусь, и поедем.

На кухне или, как Сережкины говорили, в чулане, отгороженном невысокой дощатой перегородкой от остальной избы, Василий зажег лампу. Круглолицый толстогубый Николай с непривычки к свету сильно сощурился.

— Садись,— пригласил его к столу Сережкин и сунул табуретку.

— Вася, едешь? — спросила Татьяна.

— Да.— Сережкин ушел в темную комнату собираться.

— Поесть чего-нибудь собрать?

— Не надо.

— Куда ж ты теперь?

— В Переваловское. Опять сплавщики поднялись,— ответил Сережкин и закряхтел, с трудом натягивая волглые сапоги.

— Из ружьев так и палят, так и палят,— донеслось из чулана.

На пол, на постель, на стол падал от двери длинный прямоугольник света. Татьяна лежала, все так же опираясь на локоть. Ладонью другой руки она прикрывала лицо от света. Одеяло сползло на грудь, обнажая острые худые плечи и выпуклую ключицу.

— Ты бы погодил до свету, Вася,— упрашивала она тихим глухим голосом.— А то ведь, не ровен час, того и гляди...— она не сказала, что убьют, но он понял.

— Чудная ты, Татьяна,— нехотя ответил он.— А если бы, к примеру, в бою меня командир послал ночью в разведку, я бы ему что сказал? А? Молчишь? То-то и оно.

А здесь я сам командир и солдат. Сам себе приказываю и выполняю, понятно? Если я не пойду, кто пойдет? В одну сторону на полсотни километров нет ми ционера, а в другую, может, на пятьсот, а может, на тыщу... Аж до самого океана. Я один тут. А порядок все равно должен быть. Власть и в тайге власть,— заканчивал Сережкин всегда этой внушительной фразой, за что получил в округе прозвище «Власть тайги».

И Татьяна смирялась, затихала.

— Подай-ка мой портупей,— попросил он жену.— А то куда мне в грязных сапогах через постель?

— Папань, я подам! — неожиданно раздался из темного угла детский голос, и парнишка лет десяти, опережая мать, бросился к столу, где лежала отцовская портупея.

— Ах ты, кочедык! — ласково обругал отец сына.— Не спишь, мерзавец!

— Может, молочка попьешь,— предложила Татьяна.

— Это можно.

Сережкин уже в чулане, на свету, проверил пистолет — заряжен ли? Затем надел снаряжение. Приземистый, туго затянутый ремнями, он производил внушительное впечатление. У него все подалось вширь: скуластое с широкой переносицей лицо, угловатые тугие плечи и даже ступня была широкой, почти квадратной. Крупные черты его лица выражали степенное миролюбие, и только маленькие светлые глаза задорно поблескивали и хитровато щурились. Ему шел сороковой год, но выглядел он лет на десять моложе. Впрочем, молодила его короткая стрижка жестких рыжеватых волос.

Он выпил литровый горшок молока, предварительно предложив Ускову, который отказался, и, повернувшись к Татьяне, сказал на прощание:

— Ну, я поехал.

— Поезжай, поезжай,— ответила она, и это прозвучало и как прощание и как доброе напутствие.

Сережкин с Усковым вышли на улицу. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома Хохловки, за ними похожие на кочки стога сена, а еще дальше матово поблескивал плес Бурлита... Сережкин и Усков быстро шли по луговой тропинке к реке.

— Как думаешь, доберемся к утру до Переваловского? — спрашивал Ускова Сережкин.

— Сейчас два часа, светает в пятом... Думаю, доедем.

— Ну, давай, рассказывай по порядку.

— Пришли они, значится, с вечера, засветло еще, вроде как бы на танцы...— начал торопливо Усков, катя свое полное круглое тело по тропинке за размашисто шагающим Сережкиным.— Ну, и как водится, зашли ко мне в магазин, взяли водки. Человек пять их было. Я еще предупредил их: «Не много ли, ребята, будет три литра-то?» Не твое, говорят, дело. Ты знай продавай да посапывай. Меня, конечно, задела такая непочтительность, но я смолчал. Ладно, думаю, что будет дальше? Ушли они. Да, Варлашкин-то завернулся, скорчил рожу и говорит мне: приготовь, мол, нам местечко, дружок, мы погулять решили. Я думаю: тебе тот дружок, который на цепи сидит. Но смолчал. Ушли. А через час, в сумерках, закрываю это я магазин, слышу, возле клуба кричат. Я туда. Смотрю, дерутся на танцах. Девки с криком врассыпную, как горох. А потом и ребята наши разбежались. А что они сделают? Их меньше. К сплавщикам еще со станов подошли, да двое с ружьями. Ну, они как пальнут, пальнут! Куда тут деваться? У председателя Волгина собаку убили, а сам он в сопки чесанул, а за ним и мужики. Изобьют ведь! И пошли они по селу охальничать, заборы ломают, собак бьют. В избу ко мне вломились. Так я успел во дворе на сушилах спрятаться. В сено зарылся. Часа два пролежал там. А потом задами пробрался к реке, завел моторку и вот к вам приехал.

— А когда уезжал ты, они еще в деревне были? — спросил Сережкин.

— Да все там колобродили. А вот и лодочка моя, прошу!

Они подошли к реке. Усков вытащил кол, за который лодка была привязана на цепь. Вдвоем они столкнули лодку с мели, сели в нее и стали выгребать на быстрину. Течение подхватило лодку и медленно понесло ее вдоль темных лесных берегов. Вскоре заработал мотор, стало веселее. По реке Бурлиту от Хохловки до Переваловского было километров двадцать, и они надеялись добраться на место происшествия к рассвету. Мотор выбивал ровную пистолетную дробь, лодку, покачивая, легко несло по течению. На перекатах волны заливали выхлопную трубу, тогда от кормы веером разлетались брызги, а

трескотня мотора становилась глуше. Усков сидел в корме, навалившись боком на изогнутый руль, и без конца говорил о том, как «палят из ружьев» сплавщики. Вдруг мотор несколько раз сильно выстрелил и заглох.

— Свечи замочило,— сказал авторитетно Усков.— Это мы сейчас.

Он засветил фонарик и начал копаться в моторе.

Лодка еще несколько минут с тихим плеском летела по инерции и наконец застыла. Река в этом месте была широкая, течения не ощущалось. После грохота мотора стало неестественно тихо, и лишь через некоторое время Сережкин услышал стрекот кузнечиков, доносившийся с берега, и даже шелест крыльев и попискивание летучих мышей, которые ловили над рекой невидимую мошкару. Медленно шли минуты ожидания. Звенел и кусался гнус. Сережкин хлопал себя широкой ладонью по шее, по лицу, отфыркивался, словно умывался, и говорил сердито:

— Ну скоро ли ты? Что, в самом деле, вывез на съедение, что ли?

— Обождите минуточку... Я скоренько... отсырели, проклятые,— отвечал виновато Усков и что-то брал на зуб, на язык, на что-то плевал и кряхтел.

А минуты, долгие, тягучие, все шли и шли. Сережкин уже стал проявлять заметное недовольство.

— Да ты что, смеешься надо мной? Может, за это время преступление случилось, а у тебя — свечи... Смотри, головой отвечать будешь!

— Ну что же мне теперь делать? — в отчаянии восклицал Усков.— Кажись, все на месте: искра, свечи, магнето... а не ревет, проклятый!..

Уже полнеба зарделось, заиграло зарей, уже верхушки деревьев стали ловить красноватые отблески восхода, когда наконец Усков понял причину отказа мотора: он повернул к Сережкину свое мокрое от пота одутловатое лицо и сказал жалобно и тихо:

— Бензин весь кончился.

— А, чтоб тебя рыбы съели! Тюфяк с мякиной,— обругал его в сердцах Сережкин.— К берегу давай. Пешком дойдем!

2

К Переваловскому подходили часам к одиннадцати пополудни. Вдоль по берегу Бурлита упорно месил глинистые отмели массивными сапогами Сережкин; шел

погибисто, наклонив лобастую голову, и тянул на длинной веревке моторную лодку. По его следам устало и тупо переставлял коротенькие ноги Усков. Возле сельского водопоя на Бурлите их встретил конюх Лубников. Этого человека не обходила стороной ни одна новость. У него был удивительный нюх на всякого рода происшествия; он страсть как любил все пересказывать, причем каждый случай в его устах получал необычную окраску и уходил от него по миру на самых фантастических ходулях. Вот и теперь, придерживая одной рукой вороного жеребца, он второй приветливо махал Сережкину. На нем, словно на колу, трепалась синяя рубаха и выпущенные поверх сапог серые штаны.

— Поймал его, голубчика! Ну, молодец ты, старшина! — восторженно изливался Лубников, подходя к Сережкину и с любопытством поглядывая на Ускова.— А ведь я так и сказал следователю: насчет побега Ускова не беспокойтесь... Его Сережкин из-под земли достанет. У него, говорю, у вас то есть, не сорвется. Поймал, поймал. Ну-к, подержи-ка жеребца-то, я на него полюбуюсь, на красавчика! — Лубников ткнул повод в руки Сережкину.

— Пошел ты к черту со своим жеребцом! — сердито оборвал конюха Сережкин.— Чего мелешь! Кто поймал Ускова? Я? С какой стати?

Лубников в крайнем удивлении отступил на шаг от Сережкина.

— Да ты что, старшина? — всплеснул он руками.— Дак он же магазин собственный обокрал... Его четыре часа ищут везде. А ты, можно сказать, с государственным преступником прогулки гуляешь...

— Какой магазин? — испуганно спросил Усков.— Мой?

— Да, твой,— передразнил его Лубников.— Держи карман шире. Был твой...

— Ты это правду говоришь? — снова спросил Усков, бледнея.

— Да брось ломаться! Старшина, арестуй его, а то убежит.

У завмага затряслась челюсть.

— Василь Фокич, ты привяжи лодку-то, а я уж побегу,— взмолился он и, не дожидаясь ответа, катышем покатился по лугу к селу.

— Держи его! — гаркнул было Лубников и, закинув поводья на холку жеребца, хотел броситься вдогонку.

— Легче! — придержал его за локоть Сережкин. — Что у вас тут стряслось?

— Нет, уйдет, ей-богу уйдет!.. — сокрушался готовый сорваться в погоню Лубников, глядя, как бежит Усков.

— Успокойся, никуда он не денется. Рассказывай, что обокрали?

— Сельповский магазин и обокрали. Когда драку устроили сплавщики, наши-то все убежали в сопки. Я-то, конечно, остался на своем посту, в конюшне, значит. Думаю, нагрянут, живым не дамся. А к утру стихло все. Иду домой из тайги, то есть из конюшни, вижу: сквозь щели в ставнях магазина будто огонь светит. Кто такой, думаю, там? Одному-то мне нельзя: ну-ка, что не в порядке? Протокол надо составить при свидетелях. Я к председателю. Пошли мы с ним к магазину, а там дверь-то не заперта. Смотрим — все три замка открыты честь по чести — ключами, а закрыть-то, видно, не успел вор. Наверно, я его и спугнул. Мы, конечно, тоже не вошли в магазин, а по телефону в район сообщили. И оттуда оперуполномоченный со следователем в момент прикатили к переправе, а с переправы мы их на машине сюда доставили. Как следователь-то посмотрел, так и сказал: мол, известное дело, кража сделана лицом причастным. И ключи у вора оказались: открыли-то ключами, а замки для видимости чуть помяли. Но это уж опосля.

А оперуполномоченный говорит: использование ворами отвлекающих обстоятельств, то есть драки. Это я уж точно запомнил. Ну-ка, позвать сюда Ускова, говорит! Хвать-похвать, а Ускова и след простыл. Но вещей-то много украдено. Следователь говорит, тут не один работал. А я так полагаю: Усков, должно быть, навел воров, а потом глаза отводил.

— Кому? — спросил Сережкин.

— Известное дело, вам, — ответил Лубников.

— Чепуху говоришь, — пробасил старшина, но рассказ Лубникова заставил его задуматься. Загадочно теперь выглядела история Ускова с мотором и с бензином. «Странно, — твердил про себя Сережкин, — и подозрительно. Но не будем торопиться».

Возле магазина сельпо в огороженном неошкуренными жердями травянистом палисадничке толпился народ. В центре палисадника за непокрытым столом сидел мрачный седовласый районный следователь Перебейнос и писал протокол. Возле него стоял, переминаясь с ноги

на ногу, Усков. На нем висел тот же брезентовый плащ. Он вытирал тыльной стороной ладони пот с лица, но только размазывал грязь и часто шмыгал носом. Худенький, светловолосый лейтенант милиции Коньков, поблескивая очками, говорил, осаждая толпу:

— Граждане, прошу податься! Назад, назад, еще немного...

Народ, увидев Сережкина, загомонил:

— А вот и Власть тайги!

— Эк, бедняга, уморился. Смотри, какой грязный!

— Говорят, его в болото Усков затянул ночью-то.

— Хитер... А прикинулся божьей коровкой.

— От закона не уйдет.

Сережкин медленно прошел мимо толпы, поздоровался с оперуполномоченным и следователем, посмотрел в упор на Ускова. Усков кашлянул в кулак и, разведя руками, сказал упавшим голосом:

— Вот оно как все обернулось-то.

— Что украдено? — спросил Сережкин следователя.

— Вот список, смотри. Пока предварительный, уточняем еще.

Перебейнос сунул в руки Сережкину лист с длинным перечнем украденных вещей. Старшина отметил несколько кусков крепдешина и драпа, беличью шубу, костюмы...

— В магазине не убрано еще? — спросил он Конькова.

— Нет еще, все так оставлено,— ответил лейтенант.

Сережкин вошел в магазин.

Там был относительный порядок. На прилавке стояла керосиновая лампа, чуть поодаль распитая бутылка коньяку, а рядом банка недоеденных рыбных консервов. Видно было, что воры действовали наверняка и не торопились, даже за успех выпили и нагло выставили напоказ пустую бутылку и консервы. Сережкин осмотрел бутылку и банку: нет ли следов пальцев? Нет, все было тщательно обтерто, «Опытные»,— отметил про себя старшина. Затем он осмотрел замки. Было ясно, что они открыты ключами, а потом для виду помяты. Теперь эти ключи лежали на столе перед следователем как вещественное доказательство. Усков вынул их из кармана. Это были единственные ключи, других таких не было, по крайней мере в селе.

Усков отрицал всякую причастность к воровству. На вопрос, откуда же у воров ключи взялись, ответил:

— Не могу знать.

«Кто же мог обокрасть магазин? — ломал голову Сережкин.— Неужели Усков? Неужели он меня так ловко обманул?» — «Да нет, не может быть»,— возражал он сам себе. Чутье человека, привыкшего разгадывать повадки преступника, отрицало эту возможность. «Ну кто же? Если Рябой с Варлашкиным, то откуда у них ключи? А может, кто еще в сговоре с Усковым? — снова сомневался он.— Вот и разберись тут...»

Но разбираться надо. С особой силой почуял это Сережкин, когда следователь Перебейнос, закончив составлять протокол, сказал Ускову:

— Ну-с, а вас, дорогой-хороший, придется взять с собой... Расскажете нам, что и как, и поподробнее.

— Чтоб сговору не было с сообщниками,— шепнул Сережкину Коньков.

Усков робко посмотрел в смоляные выпуклые глаза Перебейноса и, ссутулившись, покорно сказал:

— Ну что ж, раз надо — я пойду. Ты уж, Василь Фокич, извини, но я тебя попрошу, окромя некого... Не дай пропасть задаром!..— растерянно и жалобно глядя на Сережкина, попросил Усков.

— Да ты что, чудак? Ты не того... тебя держать не станут. Допрос только снимут. Сам понимаешь, без этого нельзя,— утешал старшина Ускова.

— Да, да, как же, понимаю,— тупо глядя в землю, отвечал Усков.

Пока поджидали колхозный грузовик, чтобы доехать до переправы, оперуполномоченный Коньков говорил Сережкину с плохо скрываемой иронией о том, как они с Перебейносом определили возможного вора. Рассказывая, Коньков поминутно поднимался на носки и покачивался, словно от дуновения ветра: тоненький, аккуратно затянутый в темно-синий китель, с мягкими белокурыми волосами, выбившимися из-под фуражки, он рядом с массивным и прочно стоящим на земле Сережкиным казался хрупкой фарфоровой статуэткой.

— Неспокойно у тебя, Василь Фокич, неспокойно,— говорил, покачиваясь на носках, Коньков.— Сплавщики хулиганят на селе, по собакам стреляют. Этим шумом пользуются ловкачи и лезут в магазин, а ты, мой друг, в это время по тайге разгуливаешь с вероятным сообщником вора!

— Кто украл — это еще вопрос,— угрюмо сказал Сережкин.

— «Вопрос, которого не разрешите вы!» — продекламировал Коньков, любивший щеголять цитатами.

— А у сплавщиков были?

— Да, милый Вася. Ну и что же?

— Как что же? Они же скандал здесь учинили!

— А последствия? Одна убитая собака? За это, мой дорогой законник, не привлечешь. Так-то!

— Ну, присматривались хоть к ним? — настойчиво басил Сережкин.

— Мы ко всем должны присматриваться,— наставительно заметил Коньков.— Если и есть кто из них заодно с этим,— он кивнул в сторону Ускова,— то вряд ли расколется. Нет, смотреть надо за Усковым. Здесь верное дело. Вернется из района — ты с него глаз не спускай.

Наконец, разбрасывая подсыхающую дорожную грязь, подъехал грузовик. Следователь сел в кабину, Коньков с Усковым в кузов.

— Ну, действуй тут,— сказал Коньков на прощание Сережкину.— Адью!

Сережкин долго провожал глазами грузовик, пока он не скрылся за мелкой придорожной порослью. «Приехали, нашумели, взяли, что поближе лежит, и прощай,— думал старшина.— А ты возись тут».

Толпа после проводов Ускова быстро угомонилась, стала угрюмее, серьезнее — расходились молча.

— Что ж ты стоишь, Власть тайги? — сказал Сережкин сам себе.— Надо действовать, брат.

3

Сережкин давно знал Ускова. Лет пять назад он, возвращаясь из районного отделения милиции, был захвачен в Переваловском вечерней грозой. Тащиться двадцать километров по таежной дороге в темень да в грозу — не большое удовольствие. Он зашел в магазин переждать дождь. Разговорились с Усковым, тот и предложил заночевать у себя. Сережкин согласился. С тех пор они познакомились. Усков был холост, недавно возвратился из армии, где прослужил года три на сверхсрочной. Здесь поселился он на квартире, в незнакомом селе.

— А чего мне одному-то не жить,— говорил он, оглаживая себя по начинающему полнеть животу.— Девок много, а баб и того больше.

— Я это холостяцкое баловство не одобряю,— степенно возражал ему Сережкин.— Через это дело, может, и в историю какую попадешь.

— Да брось ты, чудак человек! — весело возражал Усков.— Она, баба-то, в воде не тонет и в огне не горит, а я как-нибудь за подол ухвачусь, и меня, глядишь, вытянет...

Вспомнив эту фразу, Сережкин грустно улыбнулся:

— Вот теперь и ухватись за подол-то... Он те вытянет из реки в болото.

Старшина знал, что последнее время Усков путался с Нюркой, поварихой сплавщиков. «А может, у нее рыльце в пуху? — думал Сережкин.— Уж больно баба-то разбитная. Чего она ластилась к этому увальню?» Он решил зайти на квартиру к Ускову.

Домик бабки Семенихи стоял на отшибе, возле ручья, под развесистым серебристым бархатом. Впрочем, здесь про каждый дом можно сказать, что он стоит на отшибе, потому что улиц в привычном понятии в Переваловском не было. Бабка Семениха, или, как ее звали в селе за гнусавый говор, Гундосая, встретила Сережкина у калитки палисадника.

— Заходи, родимый, заходи,— гнусаво приглашала она Сережкина.— Чай, забрали его, кормильца. А уж смирен-то он, смирен, батюшка! Ну чистое дите. Теленка не обидит... А поди ты, вот как вышло,— приговаривала она, идя в избу за Сережкиным.

В избе, усадив гостя на скамью, она тараторила без устали:

— Поверишь ли, как прибежал он, грешный, когда сплавщики-то буянили, так с перепугу-то на сушила в сено зарылся! Там и пролежал до полуночи. А потом сказал, мол, к милиционеру поеду... Вот те крест, никуда и не ходил он.

— Верю, верю,— остановил ее Сережкин.— Ты лучше вот что скажи мне: давно Нюрка не была у него?

— Да уж давненько, дён десять, почитай, как не было. И чтой-то она на него осерчала? Все с ним покончила, как отрезала. Он-то места не находил себе: за что, говорит, она на меня осердилась. Раза два к ней на стан норовил сходить, да будто и там не подпустила.

— Интересно, мать! — воскликнул Сережкин.

— Не говори! — взмахнула Семениха своими сухими

желтыми руками.— Уж так интересно, что впору хоть самой сходить разузнать. А ты сходи, сходи, родимый.

— Ладно уж, схожу.

— Так-то, так-то. А его-то, сердешного, помоги ослобонить. Уж смирен — теленка не тронет.

— Ладно, ладно, ты уж сиди,— осадил он жестом Семениху, готовую проводить гостя.— Я сам тут похожу да на твои сушила загляну.

Тщательный осмотр двора ничего не дал Сережкину, и он возвращался от Семенихи в раздумье. Рассказ бабки о разрыве Ускова с Нюркой был загадочен. «Почему она порвала с ним так неожиданно?— спрашивал Сережкин.— Кабы любовь была, уж тут ясно было бы. А что, если она от него добивалась чего-то. Допустим, ей нужны были ключи. А?»

Для Сережкина ясно одно, что кража магазина не дело рук Ускова. Конечно, он мог быть сообщником, но...

«Но ведь надо доказать, кто украл. Надо найти воров. А если не найду я, Сережкин, кто же их найдет? Кто же тогда поверит Ускову, что он честен?— думал Сережкин.— И, ясное дело, воры будут посмеиваться надо мной. Да и не успокоятся. Еще чего-нибудь украдут».

«А может, Нюрка с Усковым маскировку разыгрывали на людях? Мол, мы не знаем друг друга, а сами договаривались потихоньку насчет кражи... Как бы там ни было, а следы надо искать на стане сплавщиков».

Сережкин давно знал бригаду сплавщиков, кочевавшую в этих местах по Бурлиту. Ребята в ней были хоть и чудаковатые,— половина из них бороды поотпустила,— но смирные, баловства раньше за ними никакого не замечалось. Однако в прошлом году пришел к ним на работу Чувалов Иван. Сильный, сухопарый, широкий в кости, он быстро выдвинулся среди них и стал бригадиром. У него густо усеянное рябинами лицо, за что ему дали кличку Рябой, и он получил известность в округе больше по кличке, чем по имени.

Сережкина предупредили, что за Рябым водились раньше грешки по части воровства. Старшина присматривался к нему, но Рябой вел себя безупречно. Однако бригаду сплавщиков словно подменили в последний сезон. Появились драки, набеги на село и даже одна крупная кража: двое сплавщиков обокрали рабочую кассу в леспромхозе. Сережкин нашел преступников, но у самих воров в стане выкрали четыре тысячи рублей — и

никаких следов. Сережкин тогда сразу обыскал вещи Рябого, стал допрашивать его и... провалился.

Вот и теперь, чтобы не конфузиться, прежде чем пойти на стан, на сближение с Рябым, нужно самому точно убедиться, что воры скрылись в стане сплавщиков. Нужно было найти хоть маленькую, но явную улику, чтобы действовать наверняка. И Сережкин искал ее полдня. Он исходил тропинку, ведущую из села в стан, долго кружил поодаль от стана и обследовал каждый кустик. И уже под вечер, когда упорство его почти иссякло, он вдруг нашел под кустом жимолости, недалеко от тропинки, свежую, только что сорванную этикетку с черного куска крепдешина.

— Вот она, тикетка от крендэшеля,— ласково говорил Сережкин, с усмешкой разглаживая радужный бумажный лоскут на своей широкой ладони.— Ну, теперь мы посмотрим, кто кого одолеет!

Сережкин бережно положил этикетку в планшет и пошел на стан сплавщиков.

4

Километрах в двух от Переваловского на излучине Бурлита расположилась палаточным лагерем бригада сплавщиков. Здесь в жаркие дни сплава они ворочали баграми бревенчатые заторы, разводили по протокам легкие стайки бревен, а в большую воду вязали плоты. У них не было постоянного пристанища: в теплые времена бригада кочевала по берегам Бурлита, а с наступлением холодов размещалась обычно в поселках лесорубов.

Оторванная на многие месяцы от запани, бригада была предоставлена самой себе. Рябой по прибытии в нее сколотил вокруг себя звено из крепких парней. «Кто хочет заработать, становись в сторону,— говорил он, подбирая напарников.— Только не хныкать — кости трещать будут...»

И они двинулись по реке, работая по шестнадцать часов в сутки, нередко и ночевали на бревнах, там, где темень застанет.

Звено прогремело на всю запань, и Рябого избрали бригадиром. Он встретил это выдвижение просто, с такой внутренней уверенностью, с какой встречают наступление дня после ночи: мол, так и должно быть.

Рябой относился к тем властным и крутым натурам, которые не могут жить, чтобы не подчинять других, не распоряжаться ими.

Всех людей он делил на два разряда: на тех, которых надо заставлять подчиняться грубо, вплоть до применения кулаков, и на тех, которых надо убеждать подчиняться.

Первым столкнулся с Рябым Варлашкин, когда они еще работали в одном звене. Напившись однажды, Варлашкин лег на плоту животом кверху и объявил, что больше не работает и Рябой ему не указ. Время было горячее, даже уход одного человека грозил провалить работу всего звена. «Ничего,— успокоил Рябой сплавщиков,— я его вылечу». Он прыгнул на плот к Варлашкину и, оттолкнувшись от затора, уплыл с ним по реке за кривун. Возвратились они на другой день пешком молчаливые и хмурые. Татуировка на голом торсе Варлашкина была подкрашена лиловыми кровоподтеками. Никто не знал, что произошло между ними, только с этого дня Варлашкин стал правой рукой Рябого и преданным ему по-собачьи.

Рябой действовал по своему неписаному закону: он думал, что самое важное — подчинить до раболепия хотя бы одного человека на глазах у всех, остальные станут либо заискивать перед тобой, либо почитать тебя, либо, в худшем случае, держаться в стороне. Таким сторонним в звене оставался один Ипатов, белобрысый детина, могучий, как сохатый. Но, сделавшись бригадиром, Рябой назначил Ипатова и Варлашкина звеньевыми. Ипатов поддался, стал послушным, но Рябой не доверял ему, хотя относился почтительно. Вообще Рябой не ругался, не кричал ни на кого в бригаде; эту «черную» работу, как выражался он, выполняли звеньевые. Но боялись его, как огня: он мог непослушного рабочего лишить прогрессивки — в бригаде Рябого всегда поддержит большинство; по его указанию компания Варлашкина могла избить провинившегося, тихо, без свидетелей и синяков. Как бы там ни было, но трудовая дисциплина соблюдалась и бригада была не на последнем счету.

Сережкин хоть и не знал всех тонкостей жизни сплавщиков, но чувствовал волю Рябого в бригаде и понимал, что дело предстоит ему нелегкое.

Стоял тихий августовский вечер. Солнце, отяжелевшее за день, лениво опускалось на дальние в голубичном,

бледно-синем налете сопки. Его темные клюквенные отсветы разбросаны были повсюду: на засыпающей переливчатой воде, на бронзовых кедровых бревнах, лежащих в завалах, на серых палатках, задравших высоко свои полы. Сплавщики, кончив работу, готовились к ужину. Одни купались, другие лежали возле костра, где в котлах на треногах варилась уха и каша. Дым струился жидким сизым столбом, а над костром летала, толклась мошкара, смешиваясь с гаснущими пепельными искрами.

Первым Сережкина заметил малорослый мужичок в линялой гимнастерке и в кирзовых сапогах. Он с готовностью пошел навстречу старшине, улыбаясь всем своим морщинистым лицом, словно старому приятелю.

— Фомкин! — крикнул кто-то от костра.— Бригадир зовет!

С лица Фомкина мгновенно исчезла улыбка, будто ветром сдуло; он сухо и деловито кашлянул в кулак и свернул к костру.

Сережкин подошел к группе купающихся.

— Ну, как дела, ребята? — спросил он, присаживаясь.

Сидевший рядом широкогрудый светловолосый парень с маленькой кудрявой бородкой обернулся, молча посмотрел на Сережкина, затем, посвистывая, встал и пошел на другое место метров за десять. Это был Ипатов. За ним поднялись и остальные. Старшина остался один.

— Приемчик! — усмехнулся он и пошел к костру.

Увидев его, от костра повставали несколько человек и пошли к реке. Возле котлов остались только Нюрка и Рябой.

— А, Власть тайги! Здорово живешь! — воскликнул Рябой, кривя в приветливой усмешке тонкие губы.

Он лениво растянулся на траве. На нем была кремовая с манжетными резинками модная курточка и зеленые непромокаемые брюки. Рядом, помешивая в котле деревянной ложкой, сидела Нюрка, широкобровая щекастая молодуха в пестрой шелковой кофточке, туго стянувшей высокую грудь.

Сережкин сел возле костра, неторопливо раскрыл портсигар, достал папироску.

— Нюрка, огня старшине! — приказал Рябой.

Нюрка выхватила горящую головешку и услужливо подала Сережкину.

— Привет передает тебе Усков,— сказал старшина Нюрке, принимая головешку.

— Я с преступниками не вожусь,— бойко ответила кухарка.

— И давно ли?

— Да уж месяца два, почитай...

«Врешь ты, чертовка!» — хотелось сказать Сережкину.

— А мне бабка Семениха сказывала, что ты еще десять дён назад миловалась с ним,— заметил он.

Нюрка насторожилась. «А еще что ты знаешь?» — написано было на ее бровастом лице. Но Сережкин умолк.

— Семениха сослепу козу с коровой перепутает! — Нюрка засмеялась тоненьким, притворным смешком, запрокинув лицо.

«В пуху рыльце-то у тебя, в пуху,— думал Сережкин, прикуривая.— Ишь какого лебедя шеей-то выгнула!»

— А где десятник? — спросил он у Рябого.

— На запани. Здесь я за него, а что?

— Да вот потолковать надо. Кое-кто из вашей бригады замешан кое в чем.

— Уж не в воровстве ли? — хохотнула Нюрка.

— В воровстве?! — с ленивой усмешкой протянул Рябой.

— Нет, зачем же в воровстве? — равнодушно заметил Сережкин.— Здесь ни следователь, ни оперуполномоченный никаких подозрений к вам не имели. А вот хулиганством занимались ваши ребята. Пришел узнать, как вы с ними поступите.

— Да не говори, старшина,— озабоченно заметил Рябой.— Просто от рук некоторые отбились. Оторванность, понимаешь. Начальства никакого. Даже десятник не каждый день бывает. Ну и, сам понимаешь, трудно одному с ними управляться. Но мы их на собрании пропесочим.

— А кто был в Переваловском? — спросил Сережкин.

— Сейчас выясним,— ответил Рябой и крикнул: — Варлашкин!

От группы купающихся отделился черноголовый парень в трусах. Рослый, отлично сложенный, он шел вразвалку. Когда-то перебитая и неровно сросшаяся переносица придавала его лицу свирепый вид. Весь торс, руки, ноги его были расписаны татуировкой. На спине выколота целая картина: собака воет на крест, а под этой картиной надпись: «И необмытого меня падлай собачий

похоронят». Так и было написано: «падлай собачий». Грамотность Варлашкина плакала на его собственной спине. Даже на ступнях вытатуирована надпись: «Они устали».

Сережкин не без любопытства рассматривал эти диковинные надписи и картины.

— Что, интересно, старшина? — спросил Варлашкин, перехватывая взгляд Сережкина.

— Ты лучше расскажи, кто вчера с тобой был в Переваловском? — строго оборвал Рябой Варлашкина.

— А что он, не знает, что ли? — ответил Варлашкин.— Ему все известно, он же власть тайги!

— А ты, может, перестанешь дурака валять? — спросил, недобро улыбнувшись, Рябой и показал рядом с собой на траву.— Садись.

Варлашкин сел.

— Ну?

— Ну, ну! Иван Косолапов, Костюков... Звено наше, все пятеро, да Ипатов с нами,— неохотно, поглядывая с опаской на Рябого, ответил Варлашкин.

— Запишите, товарищ старшина, и передайте в селе, что мы их строго накажем по общественной линии и прогрессивки лишим.

— А что мы, виноваты? — огрызнулся Варлашкин.— Они сами начали драку. Прогнать нас хотели.

— Ну, ваши объяснения пока не нужны,— прервал его Рябой и повернулся к старшине: — Еще что у вас есть к нам?

«Ах, хитрая бестия!» — думал Сережкин, глядя на Рябого, но вслух сказал:

— Я слышал, что ваша моторка сегодня пойдет на станцию?

— Да, пойдет,— ответил Рябой, немного помедлив.— А что?

— Да я хотел служебные письма с вами переслать. Мне самому-то нельзя отлучаться. Возись теперь с этой кражей.

— А что ж! Можно, конечно,— с веселым облегчением поспешно подхватил Рябой.— Я сам поеду. Можешь не беспокоиться, доставлю.

— Ну и хорошо! Я ночью занесу вам письма.

Сережкин, не прощаясь, встал и пошел от костра. За своей спиной он услышал подавленный смешок Нюрки.

— Заткнись! — цыкнул на нее Рябой.

«Смейся! — думал ехидно Сережкин.— Опосля плакать будешь. Крендешин у вас, но тикеточка у меня».

5

В хомутной пахло дегтем, конским потом и плесенью. Фонарь «летучая мышь» скупо освещал дощатые стенки, завешанные сбруей, земляной пол и сидевшего в углу на охапке сена за починкой недоуздка Лубникова. Сережкин тщательно прикрыл за собой дверь и сказал, присаживаясь к Лубникову:

— Запомни хорошенько: в час ночи ты выведешь двух заседланных лошадей, одну для меня, другую для себя... Выведешь их, значит, на Красный бугор к развилке, и ни гугу об этом.

Лубников слушал, раскрыв рот от удивления. Напряжение, любопытство и страх, написанные на его лице, придавали ему вид заговорщика.

— Понял? — строго спросил его Сережкин.

— А как жеть! — весело воскликнул тот, сдвигая на затылок фуражку. Следует заметить, что фуражка эта была предметом особой гордости Лубникова. Настоящая фуражка, какую носят пограничники, но Лубников за пять лет так замызгал ее, что она из зеленой превратилась в грязно-серую.— Как не понять! Стало быть, мы с вами оперативную выполнять будем?

— Потише ори, оперативный! — строго одернул его Сережкин.— Смотри, не проспи!

— Ну, Василь Фокич! Да в таком деле лучше как на меня не на кого положиться во всей округе. Я уж буду точно... Ходики свои настрою.

— Лошадей возьми получше, скакать долго придется.

— Да я вам самого Рубанка заседлаю. Вот оно, значит, как! Пригодился еще Лубников на оперативные дела! А ты знаешь, как я в тысяча девятьсот сорок пятом году шпиона поймал? Так вот, иду я, значит, по тайге. А Играй, пес мой, жмется и жмется ко мне. Уши навострил, да так отрывисто, не голосом, а чревом брешет: «ав! ав!» А хвост промеж ног держит. Что такое, думаю? Не тигра ли?

— Будя врать-то,— перебил его Сережкин.— Слыхал я твою сказку не один раз. Смотри, не усни! — бросил он на прощание.

— Ну что ты, право! Не первый раз на оперативной. Как-нибудь — люди привычные,— важно заверил Лубников Сережкина, провожая из конюшни.

Близилась полночь. Крупная белая луна пряталась в седловину черных сопок, и мрачные длинные тени все плотнее окутывали землю.

Сережкин неторопливо шел по знакомой тропинке в стан сплавщиков. Замысел его был прост: показаться Рябому за несколько минут до отхода моторки и уйти. Вор, будучи уверенным, что ему теперь никто не угрожает, обязательно прихватит с собой краденые вещи и отвезет на станцию. Вот тут-то и надо перехватить моторку. А перехватить ее можно только у переправы, километров за двадцать пять от Переваловского, где лодка причаливает к берегу. По тайге верхом до переправы можно проскакать часа за полтора-два, а моторной лодке петлять по извилистому Бурлиту вдвое больше и по времени и по расстоянию.

Обычно моторка отходила от сплавщиков после полуночи, чтобы к началу работы попасть на станцию. На лодке они подвозили продукты, всякое оборудование и тросы, перевозили людей.

Сережкин, подходя к стану, увидел возле реки темные фигуры, освещенные фонарем. Кто-то размахивал фонарем, отчего огромные тени людей тревожно метались по земле, окружающим кустам и палаткам.

— Да свети лучше, дьявол! — услышал он голос Рябого, доносившийся из лодки.

Сережкин подошел к ним.

— А, старшина! — воскликнул Рябой.— Ну, как, принес письма? — На нем была брезентовая куртка, высокие яловые сапоги, а на голове, спадая на плечи, словно бабий платок, трепался удэгейский накомарник.— Вот вожусь с мотором, да едят комары, черти!

Сережкин открыл планшетку и подал Рябому два конверта.

— Ну, будь спокоен, сегодня получат твои письма! А может, с нами прокатишься?

— Да нет, куда мне от своих дел,— ответил старшина.

— А-а, жаль. Ну ладно, будь здоров. А насчет наказания хулиганов не беспокойся. Завтра вернусь, и мы займемся этим отсталым элементом.

Не успел Сережкин далеко отойти от стана, как зачихала, затарахтела моторка.

— Торопится,— сказал Сережкин и пустился бежать.

«Только бы Лубников не подвел,— думал он на бегу.— До лошадей бы добраться. А уж там не уйдешь от меня, голубчик».

Бежать к Переваловскому было все время в гору. Сережкин грузно перепрыгивал через ручьи и шумно отдувался.

— Уф, черт, жарко! — восклицал он, отирая ладонью пот.

Расстегнул мундир, снял фуражку, но легче от этого не было. Чтобы сократить путь, он свернул с тропинки и по лугам бежал, огибая село, к Красному бугру, где должен ждать его Лубников.

Но никого на Красном бугре не оказалось. Сережкин, тяжело переводя дыхание, растерянно озирался по сторонам. Никого! В настороженной ночной тишине несмело пробовал свой голос одинокий перепел. «В путь пора!.. В путь пора!» — чудилось Сережкину. Злость, обида, отчаяние, словно пальцами, перехватили ему горло. Хотелось крикнуть, дать волю гневу, силе, но он только тихо выругался,

— Ах же ж ты, с-сукин сын! Прохвост проклятый! — и тяжело, размашисто побежал к конюшням.

Лубникова он застал в хомутной спящим; все так же тускло освещал его фонарь «летучая мышь» и мерно тикали над ним ходики. Взяв за шиворот обеими руками, Сережкин с силой тряхнул его.

— Что, что такое? Что такое? — забормотал спросонья Лубников и, увидев перед собой гневное лицо Сережкина, растерянно захлопал глазами.

— Ты что ж? Пособничать нарушителям решил! — кричал на него Сережкин.— Да я тебя под арест сейчас и в сельсовете запру. Понятно? До разбора дела, денька на два.

Лубников сидел перед Сережкиным неподвижно и ошалело смотрел на него.

— Да чего ж ты сидишь? Руки-ноги отнялись, что ли? Седлай коней скорее, тебе говорят!

Наконец Лубников сорвался с места и суетливо начал снимать седла и недоуздки.

— Я сейчас, сейчас... В момент...

Он сунул седла в руки Сережкину и выбежал из хомутной. Через несколько секунд в темной конюшне раздался его хриплый спросонья голос:

— Но, милок, но! Да ну же, дьявол! Чего уперся? — раздался удар кнута, и жеребец зафыркал, застучал о настил. Наконец Лубников вывел Рубанка на свет, падавший сквозь растворенную дверь хомутной: и начал седлать, одновременно разговаривая с Рубанком и Сережкиным.

— То-ой, черт! Чего мордой-то мотаешь? А то тресну вот по зубам. А насчет пособничества ворам, Василь Фокич, это ты напрасно. Тьфу, окаянная сила! Чего брыкаешься?.. Я, можно сказать, весь в ярости против них. А ты — пособник!

— Скорее, скорее ты седлай! — торопил его Сережкин. — Проспал, да еще копается.

— Проспал, — ворчал Лубников. — Вовсе и не проспал, а так, прилег только. Какой уж сон, когда ехать надо.

— Готово, что ли?

— Готово. А мне-то кого заседлать — Зорьку ай Буланца? — спрашивал, почесываясь, Лубников.

— Да хоть самого черта седлай! — крикнул, выйдя из терпения, Сережкин. — Если через пять минут не будешь готов, один поскачу и брошу в тайге твоего Рубанка.

Лубников побежал к соседнему стойлу и в темноте ворчал:

— «Брошу Рубанка». Смотри-ка, пробросаешься... Где это видано, чтобы такое добро бросали.

Но оседлал он на этот раз быстро. Сережкин вывел Рубанка из конюшни, осветил карманным фонарем часы.

— Почти час потеряли. Ну, если не догоним!.. — Он не договорил и прыгнул в седло. Сытый жеребец отпрянул в сторону и пошел маховитой рысью.

Сережкин пустил лошадь галопом и долго, напрягаясь, прислушивался. Но, кроме глухого щелкающего стука копыт, ничего не слышал. Перед глазами бежала травянистая дорога, словно три параллельные тропы, где-то впереди совсем близко она пропадала и никак не могла пропасть. Изредка с боков набегали придорожные кусты так близко, что с непривычки Сережкину казалось, вот-вот смахнут они его своими черными мохнатыми шапками. Но кусты надвигались, вырастали до больших размеров и пропадали, и снова перед глазами были три тропы, коротко обрывающиеся впереди, и снова чмокающее щелканье копыт по грунту.

Так размеренным гулким галопом проскакал Сережкин, а за ним Лубников почти полпути до самой

Каменушки, мелкой протоки Бурлита. И когда жеребец разбрызгивал на переезде речную воду, старшина уловил отчетливый стук мотора.

— Догнали! — крикнул он во все горло.

— Чегой-то? — переспросил, подскакивая, Лубников.

— Догнали, говорю! — Сережкин придержал жеребца и спросил Лубникова: — Слышишь?

— Мотор,— сказал Лубников.

— Ну, теперь-то не уйдут, голубчики.

Сережкин знал, что от Каменушки Бурлит делает самую большую петлю, а дорога напрямую идет до переправы.

Дальше поехали медленнее. Несколько минут они слышали, как стучал мотор все тише и тише и, наконец, замер. Лодка ушла по кривуну.

Когда они подъехали к переправе, было уже совсем светло, хотя солнце не выкатилось еще из-за покрытых белой дымкой сопок. Вся переправа состояла из одного бата — длинной долбленой лодки. Батчик — сухонький пожилой нанаец Арсё, равнодушный и молчаливый. На противоположном берегу возле избы перевозчика сидели три человека. Двое поджидали оказию, третий был Арсе.

На переправу обычно заходят все лодки, идущие по Бурлиту, чтобы забрать или высадить пассажиров, заправиться горючим и просто порасспросить о таежных новостях.

Сережкин слез с лошади, передал повод Лубникову:

— Останься пока здесь, только в кусты уведи лошадей и сам спрячься.

Затем с высокого лесистого бугра стал махать фуражкой. Его заметили. Арсе неторопливо столкнул в воду бат и, работая двухлопастным веслом, переехал реку.

— Не проходила лодка сплавщиков? — спросил его Сережкин.

— Нет,— ответил Арсе, посасывая трубочку.

— Хорошо. Перевези-ка меня, друг Арсе.— Сережкин прыгнул в бат, лодка осела под его грузным телом.

Нанаец молча оттолкнулся и направил бат поперек реки. Вода курилась молочным туманом, чуть розоватым на стрежне, подкрашенным зарей.

— А что эти двое,— кивнул Сережкин в сторону сидевших возле избы,— на станцию ехать собрались?

Перевозчик утвердительно кивнул головой.

— Ягоду синюю торговать,— сказал он, помедлив.

— Хорошо,— заметил Сережкин.— А ты, друг Арсе, как сарыч, неразговорчив. Скажи, у тебя бывали когда-нибудь радости, чтоб смеяться захотелось?

— Берег подходит,— ответил Арсе и указал трубочкой на нос бата.

— Ах ты, какой деревянный, ей-богу! — воскликнул Сережкин и с ходу выпрыгнул на берег. Он подсел на бревно к двум женщинам с большими корзинами.

— Ну что, бабочки, божий дар везете продавать?

Одна, что помоложе, в пестрой косыночке, в синих резиновых тапочках, игриво прыснула в руку и спросила:

— А что — конфисковать хочешь?

— Будет тебе! Нашла с кем шутить! — укоризненно оборвала ее пожилая напарница в повязанном углом платке и в улах.

«Ишь ты какая баба-яга»,— подумал про нее Сережкин и встал с бревна. Он подошел к реке, вода все так же кудрявилась парным дымком, но уже того легкого настроения у него не было. Он вдруг почувствовал, как звенит голова, гудят и ноют отяжелевшие ноги, от жажды пересыхает рот.

— Эх, напиться, что ли? — Он зачерпнул пригоршнями теплую речную воду и внезапно услышал отдаленный стрекот мотора.

— Бабочки, идет моторка. Тащите сюда корзины! — скомандовал им Сережкин и сам побежал навстречу, подхватил корзины и поволок их к самому приплеску.

— Да будет вам,— гудела пожилая женщина и шла покорно за старшиной.

— Вот здесь садитесь и машите, кричите. Они обязательно возьмут вас.— Сережкин подбодряюще улыбнулся и пошел к прибрежным кустам. Там он спрятался в развесистом кусту жимолости и стал наблюдать за рекой.

Вскоре из-за кривуна вышла черная моторка сплавщиков. В ней сидели четверо. Сережкин сразу узнал Рябого, тот развалился, откинувшись на борт. Положив голову на его колени, свернулась клубком Нюрка. Кроме них, в лодке сидели еще двое мужчин.

Ягодницы с берега замахали руками.

— Завернем? — спросил моторист Рябого.

— А чего ж,— ответил тот.— По десятке с носа — и то хорошо.

Лодка, разворачиваясь, заскользила к берегу. Мотор несколько раз булькнул, как бутыль, в которую наливают воду, и умолк. Затем лодка бесшумно ткнулась в песочную отмель.

— Заходи, пошевеливайся,— скомандовал Рябой ягодницам и осекся, увидев Сережкина, выходящего из кустов.

Если бы перед Рябым появился сейчас уссурийский тигр, он бы не растерялся так, как от появления Сережкина. Он так и застыл с открытым ртом и поднятой рукой, которой хотел принимать корзины.

— Не ждал? — спросил Сережкин, и его широкоскулое лицо расплылось в довольной улыбке.

— А, старшина! — наконец воскликнул Рябой.— Ты что, с неба свалился? Ну проходи, проходи... Тоже до станции?

— Да нет, подальше провожу вас,— ответил Сережкин и перешел на строгий начальнический тон.— Прошу всех разобрать свои вещи и вынести из лодки. Проверка.

В лодке лежало всего два объемистых рюкзака. Моторист и рабочий быстро выпрыгнули из лодки. Рябой и Нюрка замешкались на минуту, Нюрка взяла сначала один рюкзак, но Рябой выразительно посмотрел на нее, она потащила за лямку и другой.

— Товарищ старшина, эти вещи я везу начальнику районной милиции,— сказала Нюрка.— Поэтому вы их здесь не смотрите.

— А вот я есть здесь и начальник милиции, и участковый, вся власть тут... Давай, давай,— ответил Сережкин, подхватывая рюкзаки.— Смелее! Вот так.

Он рывком расстегнул первый рюкзак и воскликнул:

— Гляди-ка, хорошие отрезы вы начальнику милиции везете! Все из переваловского магазина. Вот он обрадуется. Это ты везешь такой подарок? — спросил он Рябого.

— Это ее вещи,— кивнул он на Нюрку.— Я к ним не имею никакого отношения.

Нюрка, заложив руки в карманы фуфайки, презрительно смерила Рябого взглядом:

— Проходимец ты, Рябой! Из воды сухим хочешь выйти? Думаешь, я такой же холуй тебе, как Варлашкин? Плевала я тебе в рожу!..

— Убью! — бросился на Нюрку Рябой, но перед ним встал с пистолетом Сережкин.

— Зачем же? Пусть живет,— сказал старшина.— Поехали,— пригласил он всех в лодку.

— Может, поинтересуешься своими письмами?— спросил Рябой.

— Возьми их себе на память,— ответил Сережкин.

Рябой бросил скомканные конверты и пошел первым в лодку.

— Нет, ты погоди,— остановил его Сережкин.— Ты ко мне поближе сядешь.

Сережкин пропустил на нос моториста и рабочего, затем подсадил Нюрку и ближе к себе Рябого. Сам старшина сел за руль, завел мотор, и тронулись.

Рябой молча смотрел в воду. Видно было по бугристым надбровьям, по сильно поджатым тонким губам, что он напряженно о чем-то думает. Наконец он повернулся к Сережкину и сказал:

— Не могу понять... как ты догадался?

Сережкин раскрыл планшетку, вынул этикетку, найденную под кустом жимолости, затем среди кусков крепдешина нашел один с белой меткой и, приложив к нему этикетку, спросил:

— Видишь? Тикеточку ты обронил на тропинке возле стана.

— Ну-ка, ну-ка! — Рябой ринулся к Сережкину, глаза его остро блеснули, словно вспыхнули, и увесистый кулак мелькнул в воздухе.

Старшина рывком уклонился.

— Еще одна попытка,— внушительно сказал Сережкин,— и ты приедешь на станцию дырявым. А я не хочу этого. Ведь тебе надо еще в тайгу съездить, показать, где остальные вещи спрятаны.

— Ничего я вам не покажу,— угрюмо и безнадежно ответил Рябой.

Лубников, привязав лошадей в кустах, побежал по берегу за лодкой.

— Василь Фокич! — крикнул он.— А мне-то какая задача дальнейшая?

— Домой поезжай,— ответил из лодки Сережкин.

Обратно конюх скакал с не меньшей скоростью, ведь он вез такую новость! А к вечеру уже все Переваловское знало, как он, Лубников, на самом юру на Бурлите настиг *контрабандита* Рябого и передал его из рук в руки самому Сережкину.

6

Через день в районной милиции Рябой все-таки согласился идти в тайгу и показать спрятанные вещи. Запираться дальше не было смысла. Нюрка все рассказала, и ее выпустили накануне. В кабинете начальника милиции Рябой сказал ей на прощание:

— Ты передай Варлашкину, что я завтра вечером приеду на стан с кем-нибудь. Пусть все приготовит...

— Может, не стоило бы ее туда пускать? — осторожно спросил Сережкин Конькова.

— А что?

— Варлашкин вещи может перепрятать.

Коньков засмеялся:

— Неужто ты знаешь, где они спрятаны? — Затем он снисходительно оправил погон у Сережкина и добавил озабоченно: — По совести говоря, милый Вася, не верю я Рябому. Прогуляемся мы с ним по тайге и ни с чем вернемся. А Нюрка убедить их сможет, она слово дала.

— Все-таки не надо было Нюрку выпускать,— с сожалением заметил старшина.

— Да что она тебе далась. Никуда она не денется до самого суда.

— Она-то не денется, да мы с тобой тайгой поедем, еще и вечером.

— Уж не боишься ли ты засады, доблестный лыцарь!

— Да ну тебя к черту! — выругался Сережкин.

Из показаний Нюрки, которые затем признал и Рябой, следовало, что Варлашкин по договоренности с ним устроил скандал на селе, а Нюрка недели за две принесла ему слепки с ключей Ускова. Прямого участия в грабеже она не принимала. Магазин обокрал один Рябой.

В коридоре милиции Нюрку поджидал Усков.

— Может, вместе поедем в Переваловское, а? Нюрка? — робко предложил он ей, когда она вышла из кабинета начальника.— Я и насчет подводы договорился.

Нюрка саркастически улыбнулась:

— Больше твои ключи не понадобятся... по крайней мере мне.

— Ну зачем ты об этом? — с мучительной гримасой сказал Усков.— Ну, был грех... Что ж теперь, через это и в душу плевать?

— Эх, грех! Мало бьют вас, дураков... Вот в чем

грех-то,— сказала она с какой-то злобной горечью и пошла к выходу.

За ней посеменил Усков. Возле двери она обернулась к нему и процедила сквозь зубы:

— Не ходи за мной... Тошно мне, понимаешь, тыквенная голова.

Она быстро вышла, хлопнув дверью перед самым носом Ускова.

На следующий день Коньков и Сережкин сопровождали Рябого в тайгу на поиски вещей. До переправы они добрались уже в сумерках. На той стороне их поджидал грузовик из Переваловского. Шофер лежал на фуфайке под машиной, оттуда торчали его сапоги.

— Эй, шофер! — крикнул Коньков.— Машину готовь! — Но сапоги не пошевелились.— Спит, каналья,— беззлобно выругался Коньков.

Молчаливый и строгий, как бронзовый бог, Арсе усадил их в бат и оттолкнулся сначала шестом, потом взял весло.

Рябой, ехавший всю дорогу ссутулившись, в бату ожил и зорко посматривал на противоположный берег На середине реки он неожиданно навалился на один борт, ухватился за другой руками, и бат мгновенно перевернулся.

Первым вынырнул Арсе; маленький, с угловатым черепом и жиденькими белыми волосами, он был похож на старого водяного духа. Ухватившись за корму опрокинутого бата, он крутил головой, фыркал и никак не мог понять, что произошло. Коньков не умел плавать, он тоже держался за бат, высунув из воды свое острое лицо, и сокрушенно ахал:

— Ах, черт! Очки-то мои, очки! Как же я буду теперь без них?

К берегу, вымахивая черными рукавами рубахи, плыл Рябой. За ним в пяти метрах Сережкин. Поодаль мирно колыхались на волнах две милицейские фуражки. Течение уносило их от плывущих. Рябой первым достал дно. Разбрызгивая воду, он бежал к берегу Вот он уже выпрыгнул на зеленый откос, а там в десяти шагах и тайга... Но в это время грохнул выстрел. Рябой обернулся и застыл. Сережкин стоял по грудь в воде с наведенным на него пистолетом.

— Правильно,— говорил, приближаясь к нему, старшина.— Зачем рисковать?

— Ну что ж, твоя взяла,— сказал Рябой.

— Моя всегда берет,— ответил Сережкин.

— М-да,— протянул Рябой и усмехнулся.

Выстрел разбудил шофера, он стоял теперь возле машины и тупо смотрел на происходящее. Это был молодой парень в облезлой сиреневой майке.

— Что смотришь? — окликнул его Сережкин.— Видишь, бат уплывает. Помочь людям надо.

— Это можно, помочь-то,— тихо сказал парень и стал неловко, будто стесняясь, раздеваться. Затем нагим забежал по берегу напротив бата и медленно пошел [redacted] воду, сводя лопатки.

Наконец бат вытащили. Коньков, весь мокрый, худенький, без очков, стал сразу меньше и теперь сильно смахивал на подростка [redacted] форме.

— Ты мне, сукин сын, ответишь за эту баню! — кричал он на Рябого.— Смотри, не вздумай еще чего учинить. Башку сниму!

Он сел с шофером в кабину. Сережкин с Рябым в кузов.

— Машину в тайге не останавливай, кто бы ни встретился,— наказал Сережкин шоферу.— Понял?

Тот согласно кивнул головой, включил зажигание, и поехали...

Из-за помутневших [redacted] белесой пелене вечернего тумана сопок выкатилась огромная красная луна. Она замелькала в ветвях придорожных деревьев, словно хотела заглянуть и получше рассмотреть, что же это за машина? Рябой сидел у кабинки и посматривал по сторонам. Сережкин подпрыгивал на корточках возле борта. Под каждым из них натекли и поблескивали черные лужицы.

— Держись крепче, старшина, а то, не ровен час, на ухабе выбросит,— мрачно сострил и усмехнулся Рябой.

Сережкин уловил в позе, в жестах Рябого какую-то настороженность, ожидание чего-то важного, внезапного. Эта настороженность передалась и Сережкину, взвинтила нервы, обострила внимание.

Когда переезжали мелкий серебристый поток Каменушки, Рябой вскочил на ноги и крикнул шоферу:

— Щука, щука на дороге!.. Останови!

Действительно, на каменистой дороге, возле самой воды, лежала огромная щука, будто сама выпрыгнувшая из воды.

Шофер притормозил машину И Сережкин вдруг

увидел, как в прибрежных кустах промелькнули тени, четко на луне холодным стеклышком блеснул ствол ружья.

— Гони! — гаркнул он на шофера и, выхватив пистолет, выстрелил поверх кустов.

Машина, взревев, рванулась прямо на кусты, в которых была засада. Сережкин осадил Рябого и, припав к борту, отчетливо крикнул:

— Уложу первого, кто двинется!

Машина стремительно шла на засаду, тени в кустах скрылись... Секунда, две, три... но впереди все еще маячит этот проклятый куст. Как медленно движется и время и машина! Кровь в висках стучит так, что заглушает рев мотора, и Сережкину кажется, будто машина стоит на месте, а куст отдаляется и становится маленьким. «Когда-то я уже испытывал все это,— мелькнуло у него в сознании.— Но где?»

— Трусы! — прошипел Рябой.— Будьте вы прокляты!

Машина уже разбрасывала колесами последний галечник прибрежного откоса. Вот она выскочила на лесную травянистую дорогу и понеслась. Засада осталась позади.

7

Всю ночь Сережкин просидел в стане сплавщиков, охраняя Рябого. Коньков, потеряв очки в Бурлите, сказал: «Я теперь все равно что обезоружен»,— и ушел еще с вечера спать в палатку.

На рассвете лениво подошла к костру закутанная в шаль Нюрка. Присела.

— Что, не спится? — спросил ее Сережкин.

— Вот посмотреть пришла на вожачка,— усмехнувшись, сказала она в сторону Рябого. Тот отвернулся.

— Кто ж его избрал вожаком-то?

— Глупость наша да трусость,— ответила она, глядя в костер широко раскрытыми глазами.— А подлость поддержала... Как же! Каждому хотелось поближе быть к вожачку-то, позаметнее.— Она горько усмехнулась, встала и поплелась в палатку.

Варлашкин с компанией появились только утром. Они шли гуськом хмурые, молчаливые. Видно было по лицам, что они перебранились и были сильно не в духе.

— Сложите ружья! — приказал им Сережкин.

Они равнодушно положили ружья, даже не посмотрев ни на Рябого, ни на Сережкина. Старшина указал им место у костра рядом с Рябым, сам сел напротив.

Приятели Варлашкина были крупные, как на подбор, детины. Особенно выделялся светлобородый Ипатов, с лицом упрямым, но добродушным. Когда он запрокидывал от дыма лицо, шея троилась — такие бугристые сильные мышцы были у него.

Сережкин вдруг начал испытывать чувство крутой горячей злости. Он вспомнил свой приход сюда, их равнодушные уклончивые лица. Представил себе, как они с ружьями протопали за ночь двадцать с лишним километров. Ради чего? Ради мести ему, старшине? Нет, к Сережкину они не питали никакой злобы. Это видно было и по их лицам и по тому, что они не стали стрелять. Ведь легко могли бы застрелить его из кустов, оставаясь сами невредимыми. Значит, у них не было к нему злобы. Но что же тогда заставило их идти скандалить в село, чтобы помочь Рябому обворовать магазин и теперь вот пытаться освободить его? Что?

— Ну как, неудачной охота на Сережкина оказалась? — спросил старшина Ипатова.

— Какая там охота! — ответил тот.— Просто попугать хотели, да сами испугались.

— А рыбу где такую крупную взяли? Ту, что на дороге положили.

— Вон, Варлашкин достал,— ответил второй парень и усмехнулся.— Приманочка, говорит, клюнет, мол, Сережкин — тут мы его и накроем.

— Что ж вы, Ипатов, друзья с ним, что ли? — указал старшина на Рябого.

— У меня среди трусов нет друзей,— ответил за него Рябой, презрительно сплевывая.

Ипатов молчал, но Сережкин заметил, как заходили его узловатые желваки. «Эге, брат, ты как бык — грозен, да ленив»,— подумал Сережкин и решил расшевелить парня.

— Ну, может, были с ним друзьями?

— Нет,— угрюмо ответил Ипатов.

— Может, он тебе платил за помощь? — допытывался Сережкин.

— Он те заплатит! — криво усмехнулся Ипатов.— Да и не нужна мне его плата.

— Так что же ты, из интересу пошел скандалить на село?

— Пошел... просто так...— Ипатов помолчал и добавил: — Как все, так и я.

— Эх!..— воскликнул Сережкин и выругался, скорее от удивления, чем по злобе.— И ты тоже пошел на село, как все? — спросил он Варлашкина.

— А то что ж,— ответил тот.— Приказано было... Ну мы и палили по верхам.

— Да кто же приказал-то?

— Рябой.

— Зачем же слушался?

— А как же не слушаться? У него сила...

— А у вас? Вот у него, у него,— показывал Сережкин на сидящих.— Разве у вас нет силы? Неужто послабее Рябого будете?

Рябой грыз ветку и смотрел на них, прищурившись. Ипатов по-бычьи исподлобья смерил его ответным взглядом и сказал, больше обращаясь к Рябому, чем к Сережкину:

— Наша-то сила не мерена...

Помолчали.

— Он вас гнул, а вы терпели,— снова заговорил Сережкин.— Так неужто ж вам нравилось его самоуправство?

— Не нравилось,— ответил Ипатов.— А если терпели, значит, свернуть ему шею время не подошло... не накипело.

— Под защитой старшины-то все вы смелые,— сказал Рябой, поджимая тонкие губы.

Ипатов снова исподлобья посмотрел на Рябого, но только глубоко вздохнул.

— Так что ж, он сам расправлялся с теми, кто не подчиняется? — спросил Сережкин.

— Нет, больше все вот этот, Варлашкин,— раздался голос сзади Сережкина.

Он обернулся. За ним стояли еще человек семь сплавщиков, незаметно подошедших к костру.

— Этот холуй продался Рябому,— пояснили из толпы.

— Нет, постой, постой, я скажу,— расталкивая людей, вырвался вперед узкоплечий мужичок в расстегнутой фуфайке. Сережкин признал в нем Фомкина.— Он же, паразит, по отдельности нам бока мял. Дай-кась я ему в

ломаную переносицу хрясну! Хоть разок! — рванулся он к Варлашкину.

— А что, и стоит пощупать их с Рябым-то,— поддержал его кто-то.

Толпа загудела и стала обступать Рябого и Варлашкина.

Варлашкин беспокойно заерзал, бросая из-под лохматых нависших бровей опасливые взгляды. Рябой не шелохнулся, все так же покусывал веточку, словно никого и не было.

— Вот паразит! Он еще и не замечает нас! Бей его, ребята!

— Стой! — крикнул Сережкин и поднял руку.— Осади назад! Храбрецы!

— Как же так получается? — обратился к ним старшина.— Вас много, и ничего сделать с Рябым не могли, а я один — и вот обезвредил его...

— Так на то вы и власть!

— Вам положено.

— Мы что? Мы — посторонние,— раздались возгласы из толпы.

— Значит, не накипело,— снова угрюмо пробасил Ипатов.

— Эх вы, люди-головы! — воскликнул Сережкин и почесал затылок.

8

Поздно ночью сильно постучали в окно избы милиционера Сережкина.

Татьяна вскочила с постели в одной рубашке, подошла к окну и, приложив ладони козырьком к щекам, стала всматриваться через стекло.

— Никак, Вася! — радостно воскликнула она и пошла открывать дверь.

— Ну, слава богу! — лепетала она сонным голосом через минуту, зажигая в чулане лампу.— Неделю не был дома. Ну, что там у тебя?

— Обыкновенно, порядок наводил,— ответил Сережкин, с трудом стягивая волглые сапоги. Он не любил расписывать дома о своих делах.

— Навел порядок-то? Ну и хорошо. Поужинаешь?

— Нет, молочка, пожалуй, выпью. Отнеси-ка мой портупей на стол,— сказал он, подавая Татьяне снаряжение.— Эх, хоть высплюсь! — Он аппетитно потянулся.

Татьяна поставила на стол глиняный горшок молока, сама ушла в соседнюю комнату.

Сережкин выпил залпом молоко, погасил лампу, постоял с минуту над кроватью сына.

— Спит, кочедык,— ласково пробасил он и положил на подушку мальчика горсть нешелушеных лесных орехов.

А через минуту всю избу заполнил громкий затяжной храп Сережкина, от которого тихо и жалобно тренькали оконные стекла.

1954

САНЯ

1

На станции третьего класса Касаткино запил начальник. Говорят, что во время дежурства в его кабинете стрелочник играл на балалайке, а он плясал «барыню», потом упал и тут же уснул прямо на полу. А когда пришел поезд, его долго не могли разбудить, и поезд из-за этого задержался.

Начальник отделения железной дороги в срочном порядке послал в Касаткино Александру Курилову, или попросту Саню, как ее звали сослуживцы. Саня года три назад окончила техникум по эксплуатационному отделению и приехала на Дальний Восток из Минской области. Девушка она была исполнительная, в деле строгая, быстро дослужилась до дежурного по станции и вот теперь получила неожиданное повышение.

— Построже там, Курилова. Народ, видать, разболтался, так что наведи порядок,— наставлял ее начальник.— Ты у нас человек стойкий — комсорг, тебе и карты в руки.

Саня решила надеть в дорогу форменную гимнастерку и фуражку с красным верхом, чтобы официальнее было. В петлицы гимнастерки приколола по третьей звездочке, как и полагается носить начальнику станции третьего класса. Проходя мимо вокзального зеркала, она невольно посмотрела на свои звездочки и почему-то вспомнила шутки дежурных милиционеров, которые все приглашали ее переходить в милицию.

— Вид у тебя бравый и голос подходящий,— шутили они.

Наплевать в конце концов, что она смахивает на востроносого парнишку. Вот только голос хрипловатый —

это, конечно, скверно. Но голос изменить нельзя, стало быть, и жалеть нечего.

К новому месту службы Саня ехала целый день. Как далеко это Касаткино! С центральной магистрали, по которой ходят московские поезда, пришлось пересесть на товарняк и еще ехать да ехать куда-то в сторону, к границе. Саня устроилась на тормозной площадке заднего вагона, от приглашения машиниста ехать на паровозе отказалась — шумно и жарко. Сидя на чемодане, она все смотрела по сторонам. Куда ни глянешь — степь да степь, одинаковая, побуревшая под долгим летним солнцем. Проплывали разбросанные по степи, как стога, островерхие сопки, густо поросшие мелким дубнячком и лещиной, словно подстриженные под гребешок. Издали они казались совсем небольшими и вызывали странное желание погладить их по этой зеленой шерстке. Станции здесь были маленькие, безлюдные, и кроме дежурных в таких же, как у Сани, фуражках да стрелочников с флажками, она никого не видела. «Неужели и в Касаткино такое безлюдье? — думала Саня.— С тоски умереть можно». Она все мечтала поехать на большую комсомольскую стройку и работать на экскаваторе; а по вечерам клуб, танцы, собрания... И надо же, едет в Касаткино, где и комсомольской организации-то нет. Но что поделаешь,— служба на дороге — что в армии, куда пошлют, там и нужно быть.

К вечеру небо затянуло тучами, степные дали сгустились, посинели.

Но вот в окно между туч выглянуло предзакатное солнце и осветило только одну дальнюю сопку. Невидимая ранее, слившаяся с горизонтом сопка вдруг вспыхнула тревожным пламенем факела и долго горела посреди синей дремотной степи. Саня до самых сумерек все смотрела на одинокую сопочку, и ей стало грустно.

В Касаткино поезд пришел затемно. Саня насчитала возле станции пять приземистых бараков, уныло смотревших в землю тускло освещенными окнами, да четыре-пять изб. «Не много»,— подумала она.

Возле дежурки — небольшой деревянной избы, примостившейся у самой колеи,— толпился народ. В желтом свете настенного фонаря люди гомонили, танцевали под

балалайку; кто-то пробовал петь тоненьким срывающимся голоском: «И-эх, кэво лю-у-ублю...»

— Что здесь происходит? — спросила Саня у низенького дежурного, которого сначала приняла за женщину.

— Допризывников провожают. Из Звонарева,— ответил тот и, покосившись на Санин чемодан, спросил: — А вам кого, гражданочка?

— Мне начальника станции найти надо.

— А-а! Ищите. Он где-то здесь,— равнодушно посоветовал дежурный и, замахав зеленым фонарем, пошел в голову поезда.

Саня подошла к толпе. Ее не заметили — каждый был занят своим делом.

В центре этой шумной толпы возвышалась толстая плечистая баба; в одной руке перед грудью она держала бутылку водки прямо, как свечу, в другой — стакан. Время от времени она наливала стакан до краев и кричала отрывисто басом: «Колька, выпей!»

От танцующих отходил парень, выпивал залпом водку, а женщина доставала из кармана кусок чего-то черного и совала ему в руку: «Заешь». И снова начинала кричать: «Иван, выпей!»

Поодаль от толпы маленькая пожилая женщина в повязанном углом платке цепко держала за пиджачок худенького паренька и что-то настойчиво бубнила ему. «Бу-бу-бу»,— доносился до Сани ее скрипучий голосок. Паренек ее плохо слушал и все косился на танцующих.

— Да ладно, мамка, знаю уж! — с досадой прерывал он ее и конфузился: — Ну какая ты...

— А ты погоди-ко, погоди-ко,— торопливо произносила женщина,— вот я сейчас, сейчас...— И опять звучало ее частое: «бу-бу-бу».

Танго — хороший танец,
Он всех собой чи-ирует...—

лениво напевал высокий парень в военной фуражке, танцуя что-то вроде тустепа.

— Орлы! Соколики! Голубчики! — кричал наголо обритый пьяный мужик в фуфайке, хлопая по бокам руками, как кочет крыльями.— А Васька-то мой прямо поедет в армию из военкомата. Эх, поезд бы задержать! Поговорить надо.

— А то ты за двадцать лет не наговорился с ним,—

гудит толстая тетка.— Ты бы хоть гостинцев ему принес на дорогу, говорок!

— Гостинцы — это ваше бабское дело,— назидательно замечает тот, переступая ногами на месте, словно рысак.— А мне по душевной части... На эту самую... на служению, говорю, наставить надо,— закончил он строго.

— Молчи уж, наставник,— не унимается баба.— Ногами-то вон семенишь, как заведенный.

— Дядь Семен! — кричит кто-то из толпы.— А ты Сергункова попроси! Может, задержит поезд. Объясни ему — дело важное.

— А как же, государственное! — подхватывают в толпе и шумно гогочут.

— А что? И пойду,— неожиданно решается тот.— Он поймет. Он, говорю, мужик сердечный, начальник-то.

«Ну и стихия...» — невесело подумала Саня.

Она заглянула в дежурку — никого. «А где же станционные работники? Повымерли, что ли, или, может, перепились, как эти?..»

Саня пошла вслед за бритым мужиком искать Сергункова. Чемодан она оставила в дежурке.

Между бараками было совершенно темно и грязно. Саня искала места посуше, посветлее, но попадала в болото. Идущий впереди мужик в фуфайке открыл торцовую дверь барака и радостно крикнул:

— Соколики! Голубчики! Орлы! — и быстро нырнул в дверь.

Саня вошла за ним. Помещение оказалось буфетом. Висевшая над прилавком лампа-«молния» тускло освещала прокопченные бревенчатые стены. Возле деревянной полки на бочках сидели два человека и пили водку. Один — рыжеусый старшина с планшеткой через плечо. Второй, перед которым почтительно выламывался мужик в фуфайке,— грузный, с одутловатым лицом и щелками вместо глаз.

— Ступай, Семен, ступай,— выпроваживал вошедшего мужика грузный.— Видишь, я занят, багаж принимаю у человека.

— А как жеть! Все мы заняты,— соглашался Семен.— Вот я и говорю, минут на пятнадцать задержать поезд. С Васькой поговорить надо.

— Вы начальник станции Сергунков? — спросила Саня одутловатого.

— Ну, положим, я,— отозвался тот, оглядывая Саню с

ног до головы.— Что, опять ревизор? Так я сегодня вечером не служебный. Идите к Шилохвостову, а завтра поговорим.

— Я не ревизор,— ответила Саня.— Я прислана на место начальника станции.

— Что-о? — удивленно протянул Сергунков и, посмотрев на старшину, вдруг сильно покраснел.— А что ж это у вас с голоском, дочка? В дороге простудились или природой дадено?

— Голос мой оставьте в покое! — Саня резким движением засунула руки в карманы юбки, отодвинула в сторону локти и стала удивительно похожа на драчуна, прятавшего камни про запас.

Сергунков усмехнулся.

— Ишь ты, с бесинкой. Ну что ж, товарищ начальник, вон ступайте поезд задержите. Посетитель просит,— сказал он, кивнув на Семена.

— Вот я и говорю,— подхватил тот, обращаясь к Сане.— На действительную едет Васька-то.

Сергунков и старшина засмеялись.

— Перестаньте валять дурака,— строго сказала Саня пьяному.

— А что, не нравится? — начал наседать тот, ободренный смехом Сергункова.— А если я тебя приласкаю, тогда как, а? — и он потянулся к ней.

— Убирайся отсюда, дрянь! — крикнула Саня так неожиданно и гневно, что смеявшиеся сразу осеклись, а молчаливо стоявший до этого буфетчик выскочил из-за прилавка, схватил Семена за шиворот и вытолкнул за дверь.

— Некультурный, такой некультурный народ, прямо беда,— извиняющимся тоном говорил возвратившийся буфетчик. Он потер о пиджак руки и представился: — Между прочим, моя фамилия Крахмалюк.

— Неплохо для начала,— заметил Сергунков.— А следующего кого вытряхивать будете?

— Там посмотрим,— ответила Саня и вышла из буфета.

2

Ночевала она у Настасьи Павловны, вдовы первого начальника станции, единственного человека, которого тут звали по имени-отчеству, остальных либо по фамилии,

либо просто по прозвищу. Эта пожилая, обходительная женщина приехала сюда лет двадцать назад, на должность дежурной по станции. Здесь она вырастила троих детей, здесь и мужа похоронила.

Весь вечер рассказывала она Сане о здешних местах, о людях, о себе. Рассказывая, часто вздыхала, и ее некрасивое лицо, с крупными, чуть выпирающими губами, было озабоченным.

— Хватишь ты, девонька, здесь горя. Народ у нас тяжелый. Каждый сам себе хозяином норовит стать. А ты молодая да, видать, горячая.

— Да ведь, поди, не съедят меня,— возражала Саня.

— Жизнь тебя съест,— говорила Настасья Павловна, покачивая головой.— Я вон тоже приехала сюда молодой да красивой. А теперь, смотри, зубы-то редкие стали.— Она показала зубы и ткнула в них пальцем: — А какие и совсем повываливались.

Разговаривая, Настасья Павловна беспрестанно что-нибудь делала: то жарила яичницу, то затворяла тесто, то взялась вязать шерстяную кофту для дочери-студентки — остальные-то дети уже не нуждаются.

Из ее рассказа Саня узнала вскоре всю историю станции Касаткино и ее немногочисленных обитателей.

Не бойкое это место. Железная дорога, проведенная когда-то по этим степям в сторону границы, имела скорее стратегическое значение, чем хозяйственное. Поэтому Касаткино было просто разъездом с дежурной будкой и пятью бревенчатыми бараками, где размещались дорожные службы да охранный взвод.

В последние годы степь вдоль дороги заселили, появились совхозы, выросли села, и пошли по этой линии пассажирские поезда так называемого местного значения. Полустанок Касаткино был объявлен станцией третьего класса, а бывшая казарма стала вокзалом. Не было здесь ни света, ни радио, и даже питьевую воду привозили из города на паровозе.

— А кино-то хоть бывает здесь? — спросила Саня.

— Раньше приезжал вагон-клуб,— ответила Настасья Павловна,— а теперь нет. В совхоз ходим. Тут недалеко — километра полтора. А помоложе которые — те в Звонарево бегают, под сопку, верст шесть будет. Там гарнизон стоит.

Хозяйка уложила Саню на кровать дочери.

— Первый месяц пустует кровать,— пожаловалась Настасья Павловна.— Дочка-то в институт поступила. Все никак не могу привыкнуть к одиночеству.

Саня легла на мягкую, взбитую перину и с удовольствием укрылась одеялом в чистом холодноватом пододеяльнике, пахнувшем горьким мылом.

А Настасья Павловна села у изголовья Сани с вязанием и все говорила, говорила.

— Ничего, спокойно живем. Вот только когда получку получают совхозные, тогда бывают истории. Известное дело, вербованные — народ шалый...

— А что за истории бывают? — перебила ее Саня.

— Да всё тут куролесят, возле буфета. Три дня и три ночи молятся — все лужи измеряют, передерутся...

— То есть как это — молятся? — переспросила Саня.

— Да все кулаками, кто в грудь, кто в лоб — повсякому,— засмеялась Настасья Павловна.— Вот погоди, девонька, насмотришься.

— А наши тоже пьют?

— Наши-то прижимистей. Сергунков вон отличается, да и то за счет багажников.

— Опустился он, распух, как свинья,— брезгливо сказала Саня.

— Ты его, девонька, не больно-то осуждай. Человек он добрый, но слабый. Его со всех сторон теребят: и дома и на работе. Слышала, может, про стрелочника, Кузьмича, который на балалайке ему играл в кабинете? Есть такой у нас. Он всё подушки Сергункову в кабинет таскал, да водочку, да пельмени. Кузьмич баню станционную купил у него за четыреста целковых да избу себе выстроил. Теперь и Сергунков ему не нужен. Вот он и сыграл ему на балалайке... Так вот. А дома Сергункова жена ест поедом: он от нее все вешаться бегает. Нет, слабый он, тут становой хребет нужен.

На следующий день с утра в дежурку собрался весь служебный персонал станции по случаю приезда нового начальника. Всего-то было три сменных дежурных, три стрелочника, кассир, уборщица да Крахмалюк, буфетчик, на котором еще лежали обязанности завхоза, конюха и даже заведующего магазином.

Этот Крахмалюк пришел первым, по-хозяйски расселся за столом дежурного, захватил телефон и начал кричать что есть мочи:

— Навес, дай мне совхоз! А? Как меня железом обеспечить? А? А насчет картошки? А?

Это свое «А?» он выкрикивал так пронзительно, что вздрагивал и чуть позванивал на стене электрический звонок.

Саня ходила по грязным скрипучим половицам и чувствовала, как что-то тяжелое, тупое подымается у нее в груди и давит на самое горло. «Не войди сейчас никто сюда,— подумала она,— оборву я этого буфетчика». Но по счастью, дверь тихонько отворилась, вошла и встала у порога странно одетая женщина лет сорока в длинном брезентовом фартуке, какие раньше носили каменщики и жестянщики. Она смотрела на Саню во все свои серые детски наивные глаза и вдруг тихо засмеялась, прикрыв ладонью рот. Саня пожала плечами и на всякий случай пригласила женщину в фартуке присесть на дощатый диван.

— Ой, и правда начальник-то — девка! — воскликнула та, смеясь.— А я думала, врут.

— Что же тут смешного! Вы кто будете? — спросила Саня.

— Давеча Шилохвостов говорил, с девкой теперь не совладать,— продолжала свое женщина.

Саня слушала, все более недоумевая.

— Она глухая,— оторвался от телефона Крахмалюк.— Это — Поля, золовка Сергункова. Уборщица. На работе-то числится жена его, а работает эта.

Вслед за Полей пришел и Шилохвостов, которого вчера в темноте Саня приняла за женщину Теперь он показался Сане еще меньше, однако у него была крупная голова и длинный, как веретено, нос. Он сдержанно поздоровался и, сняв кепку, тщательно пригладил черные волосы, расчесанные на пробор.

Потом пришел стрелочник Кузьмич, и, к своему удивлению, Саня выяснила, что он вовсе не Кузьмич, а Петр Иванович. Это был плотный мужичок, очень приветливый и вертлявый. Он протянул свою твердую квадратную ладонь и слегка наклонился.

Вскоре собрались все, за исключением кассирши. Посланная за ней глухая Поля пришла и сказала, что та доит корову. «Что вы,— говорит,— ни свет ни заря совещаетесь?»

После чего Сергунков заметил:

— Придет, никуда она не денется. Давайте начинать, что ли.

«Ну и ну»,— подумала Саня. Ее больше всего удивило не то, что кассирша не пришла, а то, что все отнеслись к этому совершенно равнодушно, как будто так и надо. А еще удивило Саню то, что никто не оделся по форме. Дела...

— Мне долго говорить нечего,— сказал Сергунков, хмуро глядя своими запавшими глазами куда-то через головы в окно.— Я свое отработал. Теперь и отдохнуть можно, на пенсию, значит Так что вам работать, вы и говорите,— закончил он, обращаясь к Сане, и сел.

Саня сначала прочла приказ о своем назначении; говорила она тоже мало, но строго, и все шло хорошо, пока она не перешла к приказаниям:

— С завтрашнего дня на дежурство выходить только в форме!

— А где она у нас, форма-то? — прервал ее Шилохвостов.— Мы ее только на заезжих в видим.

— А почему же не выкупаете ее? — спросила Саня, покосившись в сторону Сергункова.

— Некого посылать за ней,— ответил нелюбезно тот.— Крахмалюка на кобыле в город не пошлешь. К тому же это дело добровольное.

— Ну хоть фуражки-то с красным верхом найдутся? — спросила Саня.

— Эх, милая,— отозвалась Настасья Павловна.— Я последнюю фуражку в гроб с мужиком положила.

— Ну хорошо,— не сдавалась Саня.— Я оставлю в дежурке свою фуражку. Пока будет одна на всех.

— Ах ты боже мой! Какое великое дело сделала— фуражку подарила! — всплеснул руками Сергунков.— У нас крыши худые, света нет, а она фуражкой порадовала.

Сидевшие на деревянном диване железнодорожники завозились, послышался даже короткий смешок.

— А дежурное помещение без присмотра больше не оставлять,— повысила голос Саня.— Здесь жезловой аппарат, селектор, телефон...

— Селектор на базаре не продашь. Кому он нужен? — насмешливо заметил Сергунков.

Кто-то опять хмыкнул, и этот смешок словно стегнул Саню.

— Вам он, по крайней мере, не нужен больше,— быстро ответила она и знакомым для Сергункова резким жестом сунула в карманы руки.

В это время вошла кассирша в чем коров у доила: в зеленой фуфайке, в подоткнутой юбке, простоволосая.

— Кто меня здесь вызывал? — спросила она, с любопытством разглядывая Саню.

Это была молодая женщина с мелкими чертами лица и, несмотря на свой наряд, довольно миловидная.

— Что это за женщина? — спросила Саня.

— Кассирша,— неохотно ответил Сергунков

— Это кассирша? — насмешливо переспросила Саня и, раздраженная до предела, еле сдерживаясь, чтобы не накричать на нее, сказала своим хриплым резким голосом: — Юбку одерните сначала, да не забудьте причесаться. Тогда и поговорим с вами, товарищ кассирша. А теперь уходите, вы не в хлев пришли, а в дежурное помещение.

Кассирша сделала удивленное лицо, брови-ниточки круто изогнулись и поползли на лоб

— Вы это мне? Ведь мы же интеллигентные люди! Так некультурно обращаться...— Она не договорила и с печальным укором на лице вышла

— И вы тоже ступайте все по домам Спасибо за знакомство.

«А мне от них никуда теперь не уйти»,— невесело подумала Саня и вспомнила вдруг слова Настасьи Павловны: «Тут становой хребет нужен. »

3

Саня поселилась у Настасьи Павловны.

— Живи, девонька, все равно изба пустая,— уговаривала ее хозяйка.— Сам-то для семьи строил, да разлетелись все А я уж, как курушка, видать, и сдохну на этом гнезде

Было начало сентября И хотя погода стояла жаркая, с ветреными полднями и тихими комариными зорями, все, все говорило о приближении осени: на дальних сопочках, покрытых мелким леском, проступили кумачовые пятна бересклета, невысокие лиственницы на звонаревском кладбище порыжели, словно покрылись ржавчиной, а по вечерам над степью табунились дикие утки и пролетали со свистом над станцией. Но степь, обильно напоенная августовскими ливнями, не хотела сдаваться напору осени, и под бурыми метелками пырея и мятлика

у самых корневищ густо резались перистые сочные листья. Хорошо ходить по такой степи! Травяной покров ее настолько густ и пружинист, что чуть отбрасывает ногу, точно резиновый.

Но там, где эта извечная травяная броня сорвана,— обнаженная, взбитая плугами земля разбухла и жадно засасывает ноги. И Саня видела, как по совхозным полям пять тракторов таскают один комбайн, который стоит на лыжах. Чудеса!

— Так и будете вы всю жизнь таскать комбайны?—спросила Саня пожилого бригадира в брезентовой куртке.

— Зачем всю жизнь? Окрепнет земля-матушка,— ответил бригадир, весело подмигивая.— Это она с непривычки раскисла. Небось и тебе с непривычки не сладко?

— Откуда это вы взяли?—сердито спросила Саня.

— Да земля мне шепнула по-дружески,—ответил тот серьезно и вдруг рассмеялся.

Побывала Саня и в Звонареве, где гарнизон стоит. И там, оказалось, ее уже знали. Проходя мимо двухэтажного деревянного дома, на крыльце которого сидели женщины, она услышала за своей спиной негромкий разговор.

— Начальница новая. Выскочка, должно быть. Говорят, уже разнос устроила.

— Ничего, пообломается,—лениво отвечала собеседница.

— Заметила—глаза-то у нее бесноватые?—настойчиво твердил первый голос.

— И на такую дураки найдутся,—благодушно отозвалась вторая.

Саня с трудом сдержалась, чтобы не вступить в перепалку с ними.

«Эх, всех не переубедишь,—досадливо подумала она.—Видать, тут каждый шаг на виду. Ну и пусть смотрят и судят».

Возле Звонарева—небольшая кудрявая сопочка. Местные донжуаны нарекли ее Сопкой любви. Саня поднялась на ее вытоптанную вершину и долго смотрела на окружающую местность. Вся степь раздвинулась, стала еще шире, необъятнее. Как ее много! Но можно увидеть еще больше, еще дальше, только захотеть подняться выше. И почему не все в жизни зависит вот так же от

нашего желания? А ведь так должно быть, именно так,— думала Саня; и оттого, что так и могло стать, если бы все люди одинаково захотели, у нее дух захватывало.

Станция Касаткино, прилепившаяся к бесконечной, как степь, стальной магистрали, выглядела отсюда до смешного незначительной и ненастоящей. Но и здесь надо устраивать разумную, светлую жизнь, такую же, как и в большом городе. А люди скандалят, пьянствуют, ленятся... Ах как они все еще тяжелы на подъем! «Кто же из них будет моим другом, моей опорой? — старалась отгадать Саня.— Интересно, с кем-то я приду на эту Сопку любви. Откуда он будет? Агроном из совхоза, а может, военный?»

— Впрочем, глупости все это — девичьи мечтанья,— сказала она вслух своим хриплым резким голосом и быстро пошла домой.

На территории станционного рельсового парка, возле колеи, стоял свежесколоченный дощатый склад.

Саня и раньше замечала его, но в суматохе приемки позабыла проверить документацию. Чей он и кто разрешил его здесь строить? И почему Сергунков не сказал ей об этом? А если он незаконно построен? Ведь с нее голову снимут. Сейчас по его крыше ползали рабочие, обивали ее толем.

Саня подошла к складу и спросила крайнего, чубатого рабочего:

— Кто у вас старший?

Тот держал в зубах гвозди: ткнув себя пальцем в грудь, он весело подмигнул Сане.

— Не валяйте дурака! — строго сказала Саня.

Рабочий положил гвозди в ладонь и спросил обиженным тоном:

— Не верите? А я и есть в самом деле старший.— Он спрыгнул с крыши и ленивой походкой знающего себе цену человека подошел к Сане.

На нем был серенький костюмчик и застегнутая на все пуговицы рубашка. Саня поняла, что гвозди забивал он просто так, от нечего делать.

— А вы кто же такая будете, сероглазая? — спросил он, вежливо и снисходительно наклоняясь, словно к маленькой девочке.

— Начальник станции.

Парень сделал удивленное лицо и свистнул.

— И Сергунков вам добровольно уступил престол?

— Вот уж насчет его доброй воли — не интересовалась.

— Значит, будем ждать очередного самоповешения. Вот так: кх-хы! — он помотал пальцем вокруг шеи, показал в небо и смешно выкатил глаза.

Саня засмеялась. Забавный этот парень и симпатичный; у него вьющиеся черные волосы, густые брови, сросшиеся на переносице, и крупные, постоянно обнаженные зубы. Он при каждой фразе каким-то особым манером пощелкивает пальцами и улыбается сквозь стиснутые зубы.

— Виноват! Я, как говорится, забыл представиться — Валерий Казачков, мастер совхозного строительства. Очень приятное знакомство,— заключил он.

— Ну, это еще неизвестно,— ответила Саня.— Дайте-ка разрешение на право застройки!

— Разрешение?! — удивленно протянул Казачков.— Оно, конечно, есть, но оно, знаете, еще там.

— Где это там? — уже начинала сердиться Саня.

— Там — это в вашем управлении. Да вы не подумайте, что я уклоняюсь,— искренне убеждал Валерий.— Пойдемте к Сергункову, и он вам все пояснит.

Сергунков говорил медленно, словно выдавливая из себя слова.

— Я по телефону сообщал. Пришлют распоряжение. Обещали.

— Кто обещал? — допытывалась Саня.

— Ну кто, кто! Начальник дороги.

— Я же вам говорил! — обрадовался Казачков.— У меня все по закону. А знаете что? — живо наклонился он к Сане.— Наш коллектив едет на Амур отдохнуть. Ведь нынче суббота! Поедемте с нами?

Саня колебалась.

— Да поезжайте,— нелюбезно заметил Сергунков.— Из наших там тоже кто-нибудь будет.

«В самом деле, поеду, а то еще подумают, что боюсь»,— решила Саня.

— Ладно, заезжайте за мной,— сказала она Казачкову.

— Закон! — воскликнул тот, разводя руками.— Куда массы, туда и руководители.

Казачков ушел очень довольный и обещал в скором времени заехать на грузовике.

— Что это за строитель? — спросила Саня про него у Настасьи Павловны.

— Казачков-то? О, это атлет. Из города он. Вроде в ФЗО преподавал. А в прошлом году приехал с шефами да здесь и остался. У нас, говорит, вольготнее. А что — понравился?

— Да ну, глупости!

— Он ничего, красивый парень.— Настасья Павловна многозначительно улыбнулась — Поговаривают, вроде бы на Верку-кассиршу засматривается.

Саня надела черную кружевную блузку, а серую разлетайку взяла на руку, на случай похолодания. Безрукавная блузка обнажала ее полные руки и делала Саню солиднее, старше. На шею она надела позолоченную цепочку, но в последний момент сняла. «Еще подумает, для него вырядилась».

Казачков, как и обещал, приехал на грузовике; он выскочил из кабинки и, приятно удивленный Саниным нарядом, стал приглашать ее на свое место.

— В кузове доеду,— отказалась Саня и легко перелезла через борт.

Ей услужливо уступили местечко на скамейке, и машина тронулась. Из станционных поехала только Верка-кассирша. На ней была белая капроновая кофточка, сквозь которую просвечивали округлые сметанные плечи. Эта кофточка, как уверяла кассирша, осталась у нее от замужества, и она надевала ее теперь в праздничные дни и при этом вспоминала свою прошлую и, судя по ее рассказам, счастливую жизнь. Она сидела напротив Сани, степенно поджимала подкрашенные тонкие губы, и ее мелкое кругленькое личико выражало бесконечное разочарование.

— Мы, жены офицеров,— чуть ли не каждую фразу она начинала с этих слов,— любили массовые гуляния. По-офицерски они называются пикниками.

Саню раздражал и этот деланно ленивый голос, и этот тон человека, все видавшего и все едавшего. Верка всех уверяла, что муж ее погиб при полете. Но от Настасьи Павловны Саня узнала, что вовсе он не погиб, а сбежал неведомо куда и что теперь кассирша каждое воскресенье торгует в гарнизоне маслом и сметаной. «И кофту, наверное, в гарнизоне выменяла на масло»,— подумала Саня.

Грузовик быстро катился. Мелкие камни гравия подскакивали и звонко щелкали о деревянное днище и о

борта кузова, а под колесами стоял такой треск и шорох, будто кто-то там распарывал старое пальто.

Публика в машине оказалась общительной и веселой. Здесь были совхозные механизаторы и комбайнеры, несколько пожилых строителей с женами и шефы из города, со швейной фабрики.

Пели много и с особенным успехом «Стеньку Разина» с припевками. Высокий носатый тракторист, стоявший спиной к кабинке, очень забавно дирижировал чьей-то босоножкой. В конце припевки он вдруг выкрикивал тоненьким голосом: «Девушки, где вы?» — «Мы тута, тута»,— отвечали ему хором швеи. После чего парень корчил огорченную рожу и ухал басом: «А моя Марфута упала с парашюта».— «У-у-у!» — пронзительно кричали девчата, изображая рев падающей бомбы. «Бум!» — заканчивал парень и свинцовым кулачищем бил по кабине. Шофер притормаживал машину и спрашивал, высовываясь из кабины:

— Чего? Сойти, что ль, кому?

В ответ раздавался дружный хохот.

— А, чтоб вас разорвало! — ругался шофер.

Грузовик трогался, и начинался новый куплет.

Саня смеялась вместе со всеми и даже стала подпевать, присоединившись к швеям. И только кассирша была недовольна тем, что перебили ее рассказ, и скептически смотрела на поющих.

Наконец за рыжими полосами соевых массивов, сквозь кущи прибрежных талов засквозили тусклым блеском широкие речные плесы.

Машина подошла к берегу протоки и остановилась.

— Ура, Амур! — дружно закричали в кузове и попрыгали все враз. Потом бежали наперегонки к воде.

Саня много слышала об Амуре, читала, но никогда еще не видела его. И теперь вдвоем с Валерием, на неведомо откуда взявшейся лодке, она плыла по тихим протокам и удивлялась всему: вот одиноко стоит округлый тальниковый куст и глубоко-глубоко под воду уходит его отражение. «Ишь ты,— думает Саня,— сам-то с крапиву, а посмотришь на отражение — целый дуб». А как много здесь проток, и острова, острова! И реки-то не видно. Куда ни посмотришь — все берега. Озеро, огромное озеро и тысяча островов! А вон тот дальний берег такой низкий, что прибрежный лесок, кажется, растет прямо из воды. Чудеса!

— А что это за вывески? — спрашивает она Валерия, указывая на столбики с красными досками, похожими издали на флажки.

— Это не вывески, а створные знаки,— смеется Валерий.

Он смотрит цепким прищуром на Саню и мощно, размеренно загребает веслами; они проворно, как ладошки, снуют над водой и тихо хлюпают, словно оглаживают, ласкают воду. И этот ласковый весельный плеск волнует Саню, будто что-то обещает, что-то нашептывает ей.

Стояла та особая предзакатная пора тихого теплого дня, когда все вяло и покорно замирает в ожидании ночи. Ветру надоело дуть за день, травам шептаться, кузнечикам трещать, и даже солнцу надоело греть эту большую степь; оно потихоньку остывает и незаметно подкрадывается к дальним сопкам, словно хочет спрятаться за них.

А как чудесны в это время амурские протоки! Какими цветами играет в них вода! Если смотреть на воду прямо перед собой, обернувшись лицом к солнцу, то близко увидишь нежный-нежный зеленовато-голубой цвет, дальше, к берегу, все розовеет, светится изнутри, словно кто-то под водой зажигает огромные лампы, и чем дальше к берегу на закат, тем краснее, гуще цвет, и вот вода уже багровая, как кровь, вся в тревожных блестках, и дрожит, и переливается... И так тревожно, так радостно становится на душе! Отчего это?

На одном острове Валерий сорвал саранку, ярко-красную, в черных крапинках, и поднес ее Сане.

— Смотри-ка, дикая лилия! Осень подходит, а она все еще цветет,— удивилась Саня.

— Цветы цветам рознь,— снисходительно пояснил Валерий.— Иные еще не успевают как следует распуститься, а уже и отцветают. А иные всю жизнь цветут. Так, между прочим, и люди. Закон.

Потом он фотографировал Саню собственным аппаратом «Зоркий».

— Я больше всего люблю этот ракус,— говорил он, показывая Сане свой профиль,— а потом этот.— Он оборачивался в полуфас и значительно смотрел ей в глаза.

«Ракурс»,— хотелось поправить Сане, но сделать это она почему-то стеснялась. «Ах, не все ли равно, в конце концов,— решила она,— главное, мне весело».

В сумерках выпала роса и стало прохладно. В обрат-

ный путь Валерий сел в кузове рядом с Саней и укрыл ее своим сереньким пиджачком. С противоположной скамейки за ними всю дорогу зорко следила кассирша.

4

В этот вечер Сергунков бегал в огород вешаться. Еще с утра, выпроваживая его из избы, Степанида сказала ему:

— Либо поезжай в город, восстановись, либо подыхай под забором.

К вечеру он пришел из Звонарева пьяный и начал так смело стучать в окно, что разбил стекло. Затем он грудью навалился на подоконник. И пыхтя, как кузнечный мех, пытался втащить в окно свое грузное тело, но был сбит мощной рукой супруги и облит водой.

Мокрый и униженный, он торжественно проклял и жену, и дом, и станцию Касаткино. После чего, точно слон, разбрызгивая лужи, тяжело и неуклюже побежал в огород. Там он намотал на шею тыквенную ботву и пробовал повеситься на плетне. Ботва, конечно, порвалась под его тяжелым телом, но жена испугалась, и наступило примирение.

Наутро он пришел к Сане с просьбой.

— Ты пожалей меня, старика. Оставь мою дочь сторожем. Я уж сам буду за нее стоять. Мне все равно делать нечего.

Надо сказать, что дочь Сергункова хоть и числилась сторожем, но не работала. Сторожили за нее всей семьей, поочередно. Хозяйка, опасаясь за эту должность, и настропалила своего супруга поговорить с начальницей. Теперь Сергунков обращался с Саней почтительно, его и без того узкие глаза еще больше щурились в подобострастной улыбке, и Сане было жаль этого грузного пожилого человека.

— Но ведь, Николай Петрович, вы же сами знаете: нельзя держать на работе одного, а деньги платить другому. И так вместо вашей жены золовка работает.

— Ах, милая, ну какая разница! — деланно засмеялся он тоненьким торопливым смешком.— Все в один котел идет. Ты уж уважь меня, старика, а то мне житья не будет. Ведь у меня Степанида не жена — тигра. Я бы сам поступил в сторожа, ну ее к бесу! Да нельзя, на полной пенсии.

— Ладно, Николай Петрович,— уступила Саня, досадуя на свою нерешительность.— Только учтите, долго это продолжаться не может. Сами договаривайтесь с дочерью и женой.

— Спасибо тебе, дочка.

Глядя на широкую спину и вислые плечи уходившего Сергункова, Саня никак не могла понять, чего здесь больше — настоящего горя или притворства, желания поиграть в несчастного. «В самом деле, чего ему не хватает? — думала Саня.— Построил себе дом, вышел на приличную пенсию, зять работает завскладом в гарнизоне, жена получает зарплату за глухую Полю, и дочь еще успел пристроить. Нет, долго я не выдержу. Я его выпровожу, вместе с дочерью».

Вообще в первые дни было много жалоб от подчиненных: жаловались на жизнь, на работу, друг на друга, на жен и даже на погоду. Слушая их, можно было подумать, что съехались они все из райских мест, а почему не уезжают обратно — непостижимо. Сане еще не знаком был сладкий обман воспоминаний людей ленивых и мечтательных, для которых выдуманное счастливое прошлое есть намек на свою значительность. «Были когда-то и мы рысаками». Не догадывалась еще Саня и о том, что жалобой пользуются как замаскированной лестью и доносом.

— Я, как народный депутат сельского Совета, обращаю ваше внимание на исключительно халатное отношение к своим обязанностям буфетчика, его же и завхоза,— говорил Шилохвостов, и Сане казалось, что фразы проходят через его длинный, веретенообразный нос и оттого становятся тоже длинными и какими-то кручеными.— Ведь он что допускает? Он прямо из конюшни, допустим, там лошадь почесав или еще что, с назьмом, допустим, повозится, идет в буфет, торгует хлебом, а руки не моет.

— Так почему ж вы ему не скажете? — удивлялась Саня.— Почему не призовете его, как депутат, к порядку?

— С моей стороны предупреждение было,— торопливо заверял Шилохвостов.— С другой стороны, вы, как начальник, обязаны знать все, как говорится, отрицательные недостатки.

Пыталась несколько раз посвятить Саню в свою былую счастливую жизнь кассирша.

— Мы, жены офицеров, любили развлекаться. Бывало, пойдем в магазин, возьмем по сто граммов конфет, этих, потом этих, потом этих...

— Некогда мне про конфеты слушать,— прерывала ее Саня.— Все вы раньше хорошо жили, наслушалась я уж...

И даже Кузьмич пришел с жалобой на Сергункова.

— Он мне за десять стаканов смородины не уплатил по полтора рубля за стакан. Вот тут записано,— и Кузьмич подал Сане четвертушку тетрадного листа.— Так что вы у него из пенсии вычислите.

И этому тоже мало...

— Хорошо,— сказала Саня.— Я передам вашу жалобу в суд.

Кузьмич подозрительно покосился на Саню и забрал расписку.

Саня не любила и не понимала жалоб. Ее крутой и горячей натуре чужды были покорность и унижение жалобщиков. «Видишь чего не так — сам исправляй. Я отучу их от этой слезной привычки. Я им здесь все переверну. Во-первых, радио надо провести, во-вторых, осветить нужно станцию. Эх, вокзал бы построить новый! А главное, надо чего-то сделать такое, чтобы они все ходили на цыпочках от радости».

Она была похожа на молодого орленка, поднявшегося впервые высоко над степью: его пьянит необъятный простор, он бросается грудью на сильный встречный ветер, и откуда ему знать, что порывистый степной ветер может поломать неокрепшее и неумело поставленное против ветра крыло...

Первое столкновение произошло у Сани с кассиршей. В ту ночь заболела жена у Крахмалюка. Он прибежал к Настасье Павловне в калошах на босу ногу и, чуть не плача, причитал в потемках:

— Помогите мне, помогите! Рива помирает... Всякую чепуху несет. Ребенки плачут.

— Да что ж ты нюни-то распустил! — грубовато оборвала его Настасья Павловна.— Эх ты, мужик! Лошадь запрягай, за доктором в Звонарево ехать надо.

Крахмалюк, словно спохватившись, взял калоши в руки и опрометью бросился во двор.

— Да куда ты босой-то? Простудишься! — крикнула вслед ему Настасья Павловна, но, не остановив его, только махнула рукой.— Вот непутевый.

Саня быстро оделась и вместе с Настасьей Павловной пошла к Крахмалюку.

В небольшой комнате лежала на кровати под каким-то

серым одеялом Рива. Лежала в платье, прямо на ватном матраце.

Это была молодая, цветущая женщина, с полными, рыхлыми щеками и густыми свалявшимися волосами. Она тихо и ровно стонала, закрыв глаза. Возле кровати на полу сидели два малыша, грязные, без штанов, в коротких рубашонках и кричали один другого пронзительней.

— Вот тебе и женихи! — воскликнула Настасья Павловна, беря их на руки.— Да кто же вас обидел-то? Кошка? Где кошка? Вот я ей задам сейчас...

В сумраке, еле-еле разгоняемом висячей лампой, Настасья Павловна быстро нашла детскую одежонку, не переставая ругать обидчицу кошку, одела мальчуганов и унесла их к себе. Саня осталась возле больной.

— Что у вас болит? — спросила она, наклоняясь к Риве.

— Вся... вся болю,— с трудом отвечала та в краткие паузы между стонами.

Крахмалюк привез докторшу. Молодая широкоплечая женщина резким движением сбросила с Ривы одеяло и, пощупав живот, сказала баском:

— С утренним поездом больную отправить в город, в клинику.

— А как же с билетами? — спросил Крахмалюк у Сани.

— Выпишем билет, собирайтесь.

Однако кассирша выписывать билет отказалась наотрез.

— Вы что, порядка не знаете? — удивленно встретила она Саню и Крахмалюка.— Чтобы выписать билет больному, надо заключение железнодорожного врача, а не любого деревенского. Да и то мы выписываем только по своей дороге. А в крайцентр выписывает узловая станция.— Верка насмешливо поджала губы.

— У меня же денег не хватит туда-сюда ездить! — взмолился Крахмалюк.

— А у меня что, думаешь, лишние? — спросила кассирша.

— Ладно, у кого сколько денег, потом договоритесь,— властно прервала их Саня.— А сейчас выписывай билеты.

— А я вам не подчиняюсь по кассе! — запальчиво ответила Верка.

— В таком случае вам придется сдать кассу,— строго предупредила ее Саня.

— Ах вот как! Пожалуйста.— Верка бросила на стол перед Саней ключи от кассы и, вызывающе покачивая плечами, пошла из кабинета. На пороге она произнесла с улыбкой: — Еще посмотрим, как вы меня приглашать станете!

Саня опломбировала кассу, потом вызвала Настасью Павловну, они составили акт на вскрытие и проверили кассу вместе.

— Как же теперь быть, девонька? — спрашивала Настасья Павловна, озабоченно вздыхая.— Ведь конец месяца, отчеты составлять надо. Ты умеешь ли?

— Нет, тетя Настя,— ответила хмуро Саня,— но вызывать ее не стану.

— Да, конечно, это непорядок,— согласно кивала головой Настасья Павловна и, видя удрученность Сани, весело воскликнула: — Да что ты голову повесила! Справимся вдвоем-то как-нибудь. Приходилось нам и такими делами заниматься. Вспомним.

Почти неделю просидела Саня за отчетом вместе с Настасьей Павловной. И удивлялась множеству всяких отчетных форм: отчитываться надо и по багажу, и по грузам, и по билетам, а потом еще по воинским билетам отдельно; по местному сообщению отдельно, по прямому сообщению опять отдельно. А потом еще и по денежным запискам. И всего не перечислить. И вот когда множество ведомостей подошло к концу, от начальника движения дороги пришел приказ, в котором объявлялся кассирше выговор, а Сане — начет за незаконную выписку двух билетов.

— Ну вот и рассудили,— с горькой усмешкой сказала Настасья Павловна.— Кому пышки, а кому еловые шишки.

Это первое наказание не заставило Саню сетовать на людскую несправедливость. «Наплевать, что я уплатила три сотни, зато человека спасла»,— твердила она про себя.

Но не остался незамеченным этот добрый шаг сослуживцами Сани, людьми, как думала она, равнодушными и эгоистичными.

Однажды за обедом, разливая по тарелкам пахучие, перетомленные, бордовые от красных помидоров щи, Настасья Павловна сказала Сане:

— Давеча ко мне заходил Кузьмич с Шилохвостом, по твоим делам.

— По каким это моим? — спросила, настораживаясь, Саня.

— Говорили, мол, одной начальнице отдуваться за Крахмалюков несправедливо. Надо три сотни уплатить всем поровну.

— Еще чего выдумали! — недовольно воскликнула Саня, наклоняясь к тарелке и чувствуя, как лицо ее заливается краской.— Заплатила, и все тут.

Немного спустя, оправившись от смущения, Саня вдруг рассмеялась.

— С чего это ты? — Настасья Павловна пристально посмотрела на нее.

— Представляю, с какой миной вносил бы свой пай Кузьмич!

— А что ж тут представлять? Внес бы, как все.

— Да ведь он за копейку готов удавиться. Знаете, он приходил ко мне жаловаться на Сергункова — тот не уплатил ему за десять стаканов смородины.— И Саня снова усмехнулась.

— Ничего тут нет смешного,— строго сказала Настасья Павловна.— Ведь Сергунков-то не просил у него смородины, а взял под видом купли, да еще деньги не уплатил. Обманул, выходит.

— А Кузьмич его не обманул с баней-то?

— Эй, милая, какой тут обман, когда все прахом шло. Кузьмичу бы не досталась баня — все равно на дрова бы растаскали. Без хозяина и товар сирота.

— Тетя Настя, но ведь ты же сама осуждала Кузьмича за то, что он Сергункова подпаивал, а теперь вроде бы и защищаешь.

— Никого я не защищаю. Да дело-то вовсе и не в Кузьмиче, а в самом Сергункове... Не Кузьмич, так другой нашелся бы.

— Может быть, но денег я все равно от них не возьму.

— Денег-то, может, и не надо брать,— Настасья Павловна тронула Саню за плечо и участливо подалась к ней.— А случаем надо пользоваться, девонька: видишь — люди-то к тебе лицом поворачиваются.

— А мне-то что за выгода?

— Вона! Ты, никак, начальница? А сколько у нас делов-то на станции. Небось одна не много натворишь. Помнишь, как тебя встретили?

Саня отложила ложку.

— Что-то я не пойму тебя, тетя Настя.

— А чего ж тут понимать? Надо начинать с малого. Возьми хоть нашу школу. Ведь там же посередь класса печка стоит. Ребята лбами об нее бьются. И дымит она, просто страм!

— Ну? — Саня вопросительно смотрела на нее.

— А Кузьмич-то и маляр, и плотник, и печник. На все руки от скуки. Давеча он к тебе приходил, а теперь ты к нему иди. Ну и потолкуй с им. Денег, мол, нет, а печку перекладывать надо. Детишки ведь!

— Да, но занятия как же? Не закрывать же школу на неделю.

— Думала я и об этом, да не знаю, согласишься ли ты,— Настасья Павловна с минуту помолчала.— Кабинет у тебя просторный... может, временно отдашь под класс?

— Тетя Настя, да ты у нас настоящий министр! — Саня встала и быстро поцеловала Настасью Павловну.— Я побежала! — сказала она, направляясь к двери.

— Да куда ты? Не успеешь, что ли? Картошки хоть поешь, господи!

— Потом, потом! — Саня хлопнула дверью и вышла на улицу.

Единственная классная комната станционной школы помещалась в одном из бараков. Всего в школе училось человек пятнадцать, большей частью дети ремонтников дороги, живущих в полверсте от станции. Там жила и учительница Касаткинской школы, пожилая одинокая женщина. Саня вспомнила, как учительница, теребя концы своего простенького темного платка, сетовала не раз и на щели в полу, в которые дует, и на разбитые окна, и на печь.

Сане и самой мозолила глаза эта нелепая печь посередине класса, оставшаяся от разобранной под школу квартиры. И вот теперь она с затаенной надеждой шла к Кузьмичу. Что-то ей готовит первая попытка? Посмеется, поди, да еще чего доброго из избы попросит. Ах, попытка не пытка! А если он согласится? Ведь это ж не только ремонт — тут мостик к душе человеческой перекинется. Эх, тетя Настя! Все-то ты понимаешь...

Саня подошла к калитке кузьмичевской избы, стоявшей на отшибе. Откуда-то сбоку из кукурузных зарослей рванулся ей наперерез черный лохматый кобель и злобно захрипел, завертелся волчком на цепи. Из сеней неторопливо вышел Кузьмич.

— Замолчь, неугомонный! — Он уняв собаку и вопросительно уставился на начальницу

— Я к вам,— сказала Саня и, словно извиняясь, добавила: — Потолковать на минуточку.

— Проходите в избу,— Кузьмич широким жестом показал на дверь и пошел вслед за Саней.

В избе было чисто, свежо и обдавало горьковатым, дурманящим запахом гераней, стоявших в черепушках на подоконниках. Возле двери на разостланной клеенке лущили кукурузные початки хозяйка и две девочки лет по десяти. К печке прислонился небольшой стоячок, обшитый брезентом, возле которого валялись кожаные лоскутья, деревянные колодки, распоротые ботинки.

Только теперь Саня заметила, что Кузьмич был в фартуке. Он поставил для Сани табуретку к столу, снял фартук и, глянув на свои руки, исполосованные дратвой, с небрежной усмешкой заметил:

— Сапожничаем помаленьку.

— Говорят, вы на все руки от скуки,— вспомнила Саня фразу Настасьи Павловны.

Заметно польщенный Кузьмич поспешил отвести похвалу:

— Да какой уж там на все руки! Так, стараемся по малости. Ведь оно известное дело — хозяйство.— Он присел на край скамьи напротив Сани.

— Да, хозяйство... Я вот каждый раз прохожу мимо нашей школы, и прямо сердце болит: зима подходит, а там все в дырах и печь дымит да еще стоит посредине класса.

— Да, да, посередь,— участливо закивал головой Кузьмич.

— Не говори уж, милая,— отозвалась с полу хозяйка,— всю прошлую зиму мерзли там ребятишки. И ноне, видать, не слаще будет

— Лето упустили, а теперь с ремонтом туда не сунешься,— словно оправдывался перед женой Кузьмич.— Не закрывать же школу.

— Зачем закрывать? Выход есть,— заметила Саня.— Я решила на время ремонта отдать под школу свой кабинет.

Кузьмич быстро вскинул на Саню свои рыжеватые быстрые глазки:

— А ну-ка да кто из начальства приедет? Куда их девать? Не заругаются?

— Может, и заругаются. Но что же делать? Иного выхода нет,— покорно ответила Саня.

— Правда, правда,— отозвалась с полу хозяйка.

Кузьмич крякнул и подвинул скамью ближе к Сане.

— Вот я и решила попросить вас, Петр Иванович, может, вы согласитесь печь переложить?

— Отчего ж не согласиться? — поспешно отозвалась хозяйка, размахивая початком.— И печь переложит, и дырки позабивает. Все сделает.

— Дело нехитрое,— разводя руками, сказал Кузьмич.

— Только тут помеха одна,— осторожно и опасливо подходила Саня к денежному вопросу.— Понимаете, на ремонтном счету у нас пока ни копейки.— Она резко подалась к Кузьмичу и горячо заговорила: — Но я сделаю все возможное, чтобы потом оплатить вам.

— Ничего, ничего,— предупредительно встретил ее заверения Кузьмич.— Тут дело общественное. Куда ж от него податься? Будут деньги — хорошо, а нет — не беда.

— Спасибо вам, спасибо! — Саня протянула ему руку

— Да у меня и руки-то в вару,— смутился Кузьмич и вдруг крякнул: — Мать, ну-ка самоварчик! Чайку с вареньем...

Хозяйка неожиданно легко подняла свое большое тело и с готовностью уставилась на Саню.

— Нет, нет, спасибо! Потом, в другой раз...— Саня вышла от Кузьмича с легким сердцем и домой летела, не чуя под собой ног.

— Тетя Настя, победа! — закричала она, ворвавшись к себе, и, обняв Настасью Павловну, закружила ее.

— Да стой! Ну тебя к лешему,— отбивалась Настасья Павловна.

— Это маленькое начало, тетя Настя,— говорила Саня, успокоившись.— Эй, теперь бы осветить станцию, радио провести!.. А там и до вокзала бы добраться...

На следующий день, во время рапорта, в «постанционку», как запросто назывался железнодорожный телефон, подключился сам Копаев, начальник дороги.

— Ну как вы там, освоились? — раздался его знакомый басок.

— Освоилась! — весело ответила Саня и вдруг неожиданно для себя выпалила: — А мы свет решили провести.

— Кто это мы? — с нескрываемой иронией спросил начальник.

— Ну, служащие станции. Своими силами...

— Своими силами? Что-то не верится.

— Провода пришлете нам?

— Что ж, посмотрим,— неопределенно ответил Копаев.

Саня положила трубку и только тут поняла, что она наделала. Ведь ее слушал не только Копаев, но и все станции. А вдруг у нее ничего не получится со светом? Засмеют! И надо же...

5

Целую неделю вместительный Санин кабинет был тесно заставлен школьными партами, а рабочий стол ее настолько пропитался мелом, что этот белесый налет невозможно было ни отмыть, ни отскоблить. Кузьмич сдержал свое слово, и ненавистная печка стояла теперь скромно в углу классной комнаты.

Однако эта радость прошла для Сани незаметной; ее преследовала теперь всюду одна и та же мысль. «Надо провести свет. Непременно надо. Главное, столбы нужны. Но где их взять?» Она целыми днями ломала голову над этим. Неожиданно помог ей Валерий.

После прогулки по амурским просторам он зачастил на станцию. Но, зная о Саниной строгости, Валерий приходил всегда по делам: то справлялся о наличии платформы, то советовался, в каком месте разгружать песок или кирпич. И только потом он отходил от Саниного стола, садился поудобнее в глубокое плетеное кресло, почерневшее от времени и неведомо откуда попавшее в кабинет начальника станции, и подолгу засиживался. Его серенький внакидку пиджачок сползал с плеч, обнажая тугие узловатые бицепсы, гладкие, отполированные летним солнцем и водой, точно булыжники. Валерий часто улыбался и говорил много, но как-то сквозь стиснутые зубы, и со стороны казалось, что он делает одолжение.

— Хоть вы, Александра Степановна, и приехали к разбитому корыту, но иной человек может вам и позавидовать,— снисходительно звучал его низкий голос.— Она хоть и захудалая, но станция, а вы — начальник. У вас большие возможности, а главное — полная самостоятельность. Автономия. При умной и товарищеской (он сделал ударение на «и») поддержке можно правильно дела

поставить. Закон! Эх, я ради этой автономии в городе комнату оставил.

— А где раньше работали? — спросила Саня.

— Преподавал в ФЗО. Семьсот рублей оклада и вся жизнь впереди,— он невесело усмехнулся.— А там перспектива, так сказать, рост: к шестидесяти годам завучем будешь, если умеешь уважать начальство. Пенсию получишь и огород за городом. Не по мне такая перспектива. ждать долго да и цена неподходящая. А здесь я сам себе начальство.

При выходе из кабинета он у самой двери сторонился и, взяв Саню чуть повыше локтей, переводил ее через порог, точно через лужу. Саня чувствовала сильное пожатие его цепких пальцев и рывком старалась высвободить руки. Но Валерий, казалось, совершенно не замечал ее протеста и так же, с ласковой улыбочкой, снисходительно говорил:

— Осторожно, крыльцо ветхое, ступени шаткие, а вы на высоких каблучках...

Сложное чувство испытывала к нему Саня: ее решительной натуре не могли не нравиться сила и ловкость Валерия, та особая уверенность, с которой он что-либо делал или говорил. Но эта ленивая снисходительность... Как знать, может быть, она следствие скрытого неуважения к ней? Саню ничем нельзя было так больно ранить, как неуважением. Оставаясь одна, она часто ворошила запавшие в память фразы Валерия: «Иные цветы всю жизнь цветут, как, между прочим, и люди. Закон!» «У вас большие возможности — автономия! Вам нужна товарищеская поддержка...»

«Что он за человек? Суется со своими наставлениями. Все «закон» да «закон». Прямо ментор какой-то. Поучает меня, как маленькую,— начинала сердиться Саня.— Или прицениться хочет, чего я стою?.. Да и нравлюсь ли я ему?»

Но вот вспомнились другие минуты. Валерий рядом с ней, подпрыгивающий на скамейке в кузове грузовика и продрогший на ветру, она под серым пиджачком Валерия, и вплотную — его глаза, не в снисходительном прищуре, а внимательные, широко раскрытые, в сухом горячем блеске. И Саня ничего определенного не могла подумать о нем. Мысли ее постоянно обрывались, и вспоминалась прогулка по амурским протокам; воображение рисовало хваткие, сильные руки, орудующие

веслами, и она почти физически ощущала их цепкое пожатие.

Судьба Санина сложилась так, что она, несмотря на свои двадцать три года, ни разу еще не успела влюбиться. Юность прошла в трудную пору семейных нехваток и неурядиц. Отец не вернулся с войны. Мать работала на бондарном заводишке и по воскресеньям ходила в город покупать недельный запас харчей — пшена, масла, хлеба. Из этого часть выделялась Сане: все аккуратно насыпалось в мешочки, наливалось в бутылочки и укладывалось в рюкзак. Так и уходила Саня в город на ученье с недельным рационом за спиной. Жила она на квартире с подружками из окрестных деревень. У них все было в складчину: и варево, и плата за квартиру, и покупка учебников. Был у Сани еще старший брат, он учился в Минске, в ремесленном училище, и присылал оттуда свои поношенные гимнастерки. В этих гимнастерках и выросла Саня: они были и ее рабочим платьем, и студенческой формой, и выходным нарядом.

Худенькая, коротко остриженная, с быстрыми бегающими глазами, в великоватой гимнастерке, она и не думала о нежных чарах любви. Ее и звали-то попросту Санькой, как мальчишку. Ей казалось, что все смотрят на нее насмешливо, и она готова была ежеминутно постоять за себя. Резкость в обращении, выработанная годами, отпугивала ее ухажеров, и даже станционные милиционеры, видавшие виды, держались с ней на почтительном расстоянии.

И вот теперь на ее пути встал Валерий, встал неразгаданный, пугающий своей расчетливой хваткостью и влекущий мужской, властной настойчивостью.

Однажды вечером он пришел прямо в дежурку. Саня сидела одна за столом. Она только что отправила поезд, записала в журнал номер жезла и теперь передавала «поездную», то есть докладывала диспетчеру по телефону.

— Сюда нельзя! — строго сказала Саня, кладя телефонную трубку и не отвечая на приветствие Валерия.

— Очень важное дело! — Валерий сел к столу.— Я, кажется, нашел для вас столбы.

— Да? — радостно отозвалась Саня.— Хорошо. Мы сейчас пойдем — мне стрелку надо перевести — и поговорим.

— Да подождите вы,— остановил ее Валерий.— Дайте-ка хоть взглянуть на ваше таинственное дело.

Он по-хозяйски осмотрел помещение. Возле жезлова-

того аппарата Валерий остановился, послушал с минуту постукивание реле и сказал:

— На прядильный стан похож. У моей бабки в горнице стоял... Забавная штучка,— указал он на селектор и весело подмигнул.— За вашим столом хорошо в любви признаваться.

— Почему? — недоумевая спросила Саня.

— Сразу по селектору все станции услышат. Потом уж никуда не денешься, не отвертишься.

Саня рассмеялась.

— Пойдемте-ка! Ближнюю стрелку перевести надо.

Они вышли. Ночь стояла пасмурная, темная. На путях было пустынно. Стрелочник ушел куда-то далеко в степь, к дальнему семафору. Зеленый огонек его сигнального фонаря одиноко светился, покачиваясь, точно волчий глаз. Валерий крепко держал Саню под руку.

— Так безопаснее,— оправдывался он,— один споткнется — второй поддержит.

Эта маленькая хитрость в другой раз просто рассмешила бы Саню, и она со свойственной ей резкостью сказала бы: «Не валяй дурака. Отцепись!» Но сейчас она непонятно для себя робела перед настойчивостью этого человека и стыдилась оттого, что позволяет ухаживать за собой во время дежурства. А Валерий, ободренный ее молчанием, гладил и пожимал ей пальцы.

— Столбы для вас нашлись,— говорил он, воодушевляясь.— Очень просто. У нас мост хотели строить на луговой дороге через Каменушку. Отменили — на зиму глядя незачем строить. Закон! Теперь заживем, и свет у вас будет, и радио.

Саня слушала его молча и думала о том, что Валерия интересуют не столбы, а совсем другое. Она себя ловила на мысли, что и ее теперь не столько интересуют столбы, которые она так долго искала, сколько то, чего она ждет от него и чего боится.

Когда они подошли к стрелке, Саня отстранила Валерия и взялась за рычаг.

— Давай я тебе помогу,— Валерий схватил ее руку.

— Пусти, не мешай!

Он поймал ее вторую руку, притянул Саню к себе. Она запрокинула лицо и вяло встретила его поцелуй.

— А теперь уходи! — Саня опустилась на рельс и закрыла лицо руками.

Ей вдруг сделалось не по себе, захотелось уйти

куда-то, спрятаться, будто она оказалась раздетой и кто-то посмотрел на нее.

— Что с тобой? Ты обиделась? — Валерий наклонился к ней, обнимая ее за плечи.

— Да уйди же ты! — хрипло крикнула Саня.

Он испуганно отпрянул и быстро исчез в темноте.

Она просидела несколько минут неподвижно, и чувство нетерпимости совсем прошло. Теперь ей уже хотелось видеть Валерия, говорить с ним, ласкать его. Да неужто он ушел? Ее внезапно испугала эта мысль. Она вскочила в тревоге, оглядываясь, и неожиданно для себя крикнула:

— Валерий!

Он отозвался совсем рядом, вынырнул из-за какого-то штабеля, так что напугал Саню.

— Ты здесь, оказывается,— только и смогла произнести она.

— Я знал, что ты позовешь.

— Какой ты... умный.

И Саня покорно приникла к нему.

6

Всю эту неделю Саня прожила как в бреду. То чувство, которого она так долго ждала, нахлынуло внезапно. Оно залило ее душу, как в половодье на реке заливает вода не успевший сломаться лед. Больше не было ни сомнений, ни тревожных раздумий,— они опустились на глубину.

Саня не знала, что так же, как несломанный лед обязательно поднимется на поверхность реки, так и сомнения любви, различие взглядов, характеров, совести, погрузившиеся в волны чувства, всплывут обязательно со временем и напомнят о себе.

Саня вся как-то подтянулась и преобразилась даже внешне: не стало тех резких движений, того беспокойного бегающего взгляда: ее серые, прозрачные, как ледок, глаза словно загустели изнутри, стали темнее, мягче. С Валерием они теперь встречались и днем и вечером по нескольку раз и без конца обсуждали подробности предстоящего воскресника, словно в это воскресенье не столбы будут устанавливать, а станет решаться их судьба.

Саня договорилась с начальником звонаревского гар-

низона, и тот обещал выделить на воскресник роту солдат. Директор совхоза посулил автомашины для развозки столбов. Сане даже удалось выпросить на городской станции в ресторане две бочки пива.

— Пусть погуляют ребята после праведных трудов.

— Да, да, надо сделать все, чтобы этот день запомнился,— многозначительно произносил Валерий.

Воскресный день выдался на славу: блеклое осеннее солнце, нежный, прозрачный, с холодноватым зеленым оттенком небосклон и легкие серебристые паутинки в головокружительной высоте... Какой необъятный, какой чистый простор! И эта предвестница недалеких морозов — утренняя свежесть; ее пьешь, она отдает живительным ароматом арбуза.

Саня не замечала ни бурой поникшей травы, ни жухлых листьев печально обнаженных лещин. В душе звенела та музыка, что рождалась в этом торжественно-чистом небе; и вольный степной ветер трубил, предвещая приход знакомой и загадочно новой бодрой поры.

Еще ранним утром Саня снова обзвонила всех шефов, напоминая о намеченном воскреснике. «Посмотрим, как мои медведи отзовутся. Поди, из берлог не вылезут»,— думала она о станционных работниках. Но, вопреки ее предположениям, они собрались возле дежурки первыми.

— Солнышко небось попарит за день-то,— радостно щурясь и прикрываясь ладонью от лучей, говорил Сергунков.

— Оно, никак, тоже на воскресник вышло,— поддержал его Кузьмич, также прикрываясь пятерней от солнца.

И все, как по команде, стали смотреть на солнце, прикрываясь лопатами, фуражками, ладонями.

Собрались все обитатели станции: и многочисленные домочадцы Сергункова с дородной Степанидой во главе, и Шилохвостов со своей рыхлой шепелявой супругой, которую все звали Ферой, и Крахмалюк с выздоровевшей и все такой же беззаботной Ривой, стрелочники, сторожа. Пришла и Верка-кассирша с лопатой, в хромовых сапожках, и даже губы не забыла подкрасить.

С той памятной прогулки на Амур кассирша стала появляться тщательно одетой, особенно в присутствии Сани и Валерия. Саня принимала этот вызов молчаливо и держалась с ней официально, строго. Впрочем, нельзя было не обратить внимания на ладную Веркину фигуру,

на полные красивые икры, обтянутые тонкими голенищами сапог. «Вырядилась. И это называется на работу,— неприязненно отметила про себя Саня.— Ну и шут с ней. Пусть старается для солдат... А наши-то скажи каким гуртом вывалили!— радовалась она, глядя на сослуживцев.— Вот тебе и единоличники!» И в то же время ей было неловко оттого, что она не верила в их энтузиазм и не понимала, откуда он появился.

— Чего, начальник, не ведешь нас?— крикнула глухая Поля, улыбаясь во весь рот.— Ай на солнце греться будем?

— Будто и не рады лишний раз погреться,— ответила Саня, испытующе глядя на собравшихся.

— Хватит, отогрелись,— отозвался Сергунков.— Вон уж зима на дворе.

— Смотри-ка, солдаты!— радостно крикнул Шилохвостов, подымаясь на цыпочки на рельсе.— Ай да Александра Степановна! Сагитировала.

На бугре из-за степного распадка показалась стройная колонна солдат. На плечах вместо винтовок они несли лопаты.

Стоим на страже всегда, всегда...
А если скажет страна труда,—

летела вместе с клубами дорожной пыли эта старая дальневосточная песня над пустынной желто-бурой степью, все выше и выше забираясь в поднебесье, где не было уже ни жаворонков, ни стрижей, где повисли одни лишь паутинки, как следы, оставленные белокрылыми стаями лебедей.

Возле дежурки солдаты сложили лопаты и рассыпались вокруг железнодорожников.

— Нам бы хоть по одной девчонке на отделение... для руководства,— крикнул кто-то звонким тенорком, и по солдатской толпе гульнул заразительный хохот.

— Эй, курносая!— обратился к Верке бровастый сержант.— Тебе сапог не жмет в коленке? Возьми мой кирзовый.

— Я портянки не умею накручивать,— обнажая в улыбке мелкие ровные зубы, отвечала кассирша.

— Не горюй, я тебе покажу, как это делается... Вечерком, потемнее...

И снова по толпе волной ударил хохот, заглушая последние слова сержанта.

— А что, может, и в самом деле разобьете своих людей по нашим бригадам? — предложил Сане подтянутый, щеголеватый лейтенант в сваленной набекрень фуражке.— И вашим легче будет, и нам с вами сподручнее руководить вместе...

— Нет, Александра Степановна,— возразил стоявший Сергунков.— Наши хотят работать отдельно.

— А будут они работать? — Саня покосилась на Сергункова с сомнением.

— Не беспокойтесь, тут дело свое, кровное...

Вскоре подвел небольшую группу ремонтников Чеботарев. Ремонтники жили в полутора километрах, держались особняком и даже воду, которую возили из города, не хотели брать на станции, а заказывали для себя отдельно. У председателя месткома Чеботарева, мужика статного, гульливого, была, старше его самого лет на пять, жена, которая страсть как ревновала мужа ко всем и никуда одного не пускала. Вот и теперь она пришла вместе с ним, оттеснила его тяжелым животом в сторону и потребовала от Сани отдельной работы.

— Мы не хотим за других работать, а свое сделаем.— Она повела крутым плечом и выразительно посмотрела на мужа.

— Да, да, нам бы отдельно,— поспешно подтвердил Чеботарев, кивая курчавой огненной головой.

— Хорошо, будете нагружать столбы на машины,— ответила Саня.— Поедете на грузовиках.

Наконец подъехали совхозные. На первом грузовике в кабине сидел Валерий. Увидев Саню, он встал во весь рост на крыло, сорвал кепку с головы и приветливо замахал. Саня невольно подалась навстречу. Валерий на ходу спрыгнул к ней и, радостный, возбужденный, тиская ее руки, говорил, сверкая белозубой улыбкой:

— Ну как, собралась твоя армия? Закон!

Порывистый ветер трепал на нем расстегнутый ворот голубой рубашки.

— Застегнись, простудишься.— Саня сама стала застегивать на нем рубашку и вдруг, заметив посторонние любопытные взгляды, сильно засмущалась и залилась краской.

— Глупая,— шепнул ей Валерий,— чего ж ты стесняешься?..

Людей быстро разбили на бригады, они разошлись

цепочкой по будущей электролинии от совхоза до станции, и работа закипела.

На долю станционных работников отвели четыре ближних столба. Место здесь было низменное, и сразу показалась вода. Вязкий глинистый грунт раскисал, месился под ногами, накрепко засасывая сапоги.

— Ишь проклятая, как расквасилась! — ворчал, сопя, Сергунков и выбрасывал из ямы жидкий, текший с лопаты грунт.— Девки, а ну-ка домой за ведрами!

Дочери Сергункова — одна школьница, вторая замужняя, на сносях. Эта тут же примостилась возле ямы. Младшая вскочила — косички торчком — и бросилась бежать к дому. Степанида копала вместе с мужем, зять ждал своей очереди.

— Николай Петрович,— сказала Саня, подходя,— дайте-ка я попробую.

— Нет, уж вы компануйтесь с другими, а этот столб будет наш, семейный,— и он озорно подмигнул ей своим заплывшим глазом.

Во второй яме такую же глину вместе с Кузьмичом месила Верка-кассирша. Ее маленькие хромовые сапожки по самые ушки были густо заляпаны. Третью обступили Шилохвостовы и Крахмалюки; они были такие же усердные, грязные и веселые. Саня переходила от одной группы к другой, брала лопату, ухарски плевала на ладони, кидала землю и так же, как и все, месила грязь. «Вот тебе и медведи, вот тебе и единоличники,— беспрестанно думала она, удивляясь своим сослуживцам.— Землю-то прямо не роют, а грызут... да один перед другим стараются».

— Николай Петрович! — обратилась она к отдыхавшему Сергункову, не в силах скрыть радостной улыбки.— Смотрите, что наши-то делают! Вот бы всегда так дружно.

Ей не дал договорить Сергунков.

— Ведь для себя стараются, голубушка. Да и дело здесь разумное, понятное. Столбы ставим. Свет! — Он чуть помедлил, иронически прицеливаясь к Сане, и добавил: — Это тебе не фуражка с красным околышком.

Саня снова залилась пунцовой краской, как давеча при Валерии. Ей вспомнилось первое совещание в дежурке, их выжидающие лица и ее собственный строгий начальнический тон. Какой она смешной, должно быть, казалась в их глазах! И эта школьная выходка с формен-

ной фуражкой. «Я оставлю в дежурке свою фуражку... Одну на всех!» — вспомнила Саня свою фразу. И как значительно произнесена была она! «Фуражкой хотела покорить их... Глупая я, глупая!»

— Формой, Александра Степановна, дела не подменишь,— сказал Сергунков, словно отгадав Санины мысли.

— Ну и водкой тоже не подменишь.— Саня сердито свела брови.

— И то правда,— смиренно согласился Сергунков.

Часто по трассе на грузовике проезжал Валерий. Каждый раз он что-то приветливо кричал Сане, но из всех слов до нее отчетливо долетало только заключительное — «Закон!». Он разбивал линию, развозил столбы, а после полудня начал устанавливать их. Они вырастали в голой степи один за другим, как восклицательные знаки; и с каждым новым поднятым столбом для Сани приближались минуты встречи и, как знать, может быть, такие минуты, которые изменят всю ее жизнь.

Теперь Саня видела Валерия в степи; казалось, он не ездил на грузовике, а летал над степью, и его серый расстегнутый пиджачок раскидывался, как крылья.

Последним установили столб Сергункова. Трамбовка в жидком грунте не удалась, и столб осел в сторону, покачнулся. Со всех сторон посыпались шутки:

— Братцы! Видно, Сергунков и со столбом успел выпить. Вот он и покачнулся.

— Каков хозяин, таков и столб — на ногах не держится!

Хохот, хлюпанье, топот — все сливалось в клокочущий неудержимый поток звуков.

И вот вся эта ватага людей, разгоряченных работой, взбудораженных шутками и солнцем, проголодавшихся, вывалила на железнодорожное полотно. Полуденное солнце не на шутку грело, словно позабыло об осени, и подсушивало глинистые серые мазки на сапогах, на руках, на лицах.

— Воды! Воды давай! — кричали в толпе.

И Саня приказала Крахмалюку открыть запасную цистерну с водой.

— Сегодня позвоню в депо — привезут еще. Давай, давай, открывай! — подтолкнула она Крахмалюка.— А потом и насчет пива скажи.

Крахмалюк открыл цистерну; зазвенели ведра, и заискрилась всюду в щедрых фонтанах брызг семицветная

радуга. Люди мылись, по пояс раздетые, обливались, ухали и притворно пронзительно взвизгивали. За несколько минут с водой было покончено.

— Товарищи! — кричал с цистерны Крахмалюк.— Бросьте вы плескаться. У нас кроме воды есть кой-чего покрепче. Пиво есть! Две бочки... Александра Степановна позаботилась.

— Даешь пиво!

— Качай начальницу! — рявкнула толпа и бросилась к Сане.

Но Валерий оказался поблизости; он схватил ее за руку и увлек за собой, расталкивая людей. Они быстро добежали до вокзала и скрылись в Санином кабинете.

— Я тебя один обниму за всех,— говорил он, запирая дверь.— Ну вот, а теперь...— Он подвел Саню торжественно к столу, посмотрел так, словно впервые видел ее, и изрек: — Я решил вступить с тобой в законный брак.

И уже через минуту он сидел по-хозяйски за Саниным столом, не дождавшись ее ответа и, по-видимому, считая его излишней формальностью.

— Я уже подумал, как мы с тобой все устроим,— увлеченно говорил он стоявшей в растерянности Сане.— Первым делом мы оборудуем твой кабинет под квартиру.

— Да, но ведь это кабинет,— пыталась возражать Саня.

— Ну и что ж? Сегодня кабинет, а завтра квартира. Как ты решишь, так и будет. Ты же начальник.

— Знаешь что, я поговорю с Настасьей Павловной. Она, по-моему, охотно уступит нам половину избы. Вот и поживем пока. А там и квартиру для нас построят — домик.

— Да пойми ты, голова! — горячился Валерий.— Если мы займем кабинет, скорее дом построят. Каждый ревизор будет видеть, что начальник в кабинете живет и выселить некуда. Стало быть, надо дом строить. Приспичит. Нельзя ж без кабинета вокзал держать. Закон?

— Выходит, мы вроде бы обманываем кого-то,— все еще нерешительно рассуждала Саня.

— Ах, при чем тут обман! — досадливо отмахивался Валерий.— Просто жить надо. Нужно брать от должности все, что положено! Тебе положен дом, ну так и умей взять его.

— Нам много чего положено. Вот видишь — ни света, ни радио нет.

— Это совсем другое. Не упрямься, пожалуйста.— Валерий встал и заходил по просторному кабинету.— Я уже все распланировал: тут будет у нас спальня, здесь вроде гостиной. Перегородки я сделаю из своих материалов — недорого обойдутся. Ну там гардинчики, всякие подставочки тоже своим работягам закажу. Ну, каково?

— Мне надо подумать, посоветуюсь с начальником дистанции.

— Эх ты, трусишка! А на вид такая смелая...

— Здесь дело не в смелости.

— Ну ладно, ладно,— он обнял ее за плечи.— Хорошая ты, только жить не умеешь. Но это дело поправимое, с нашей помощью. А? — И он, довольный, расхохотался.

А Сане было совсем не смешно: какая-то беспокойная, гнетущая тяжесть наполнила ее грудь, и она опасливо, с тревогой прислушивалась к резким и шумным ударам сердца. В глубине души она была недовольна этим разговором. Но как же быть? Спорить с ним сейчас, возражать — значит обидеть его... Нет, она не могла сделать этого теперь. И Саня избегала смотреть Валерию в глаза.

7

Под вечер они пошли в Звонарево прогуляться. В буфете возле вокзала, разбившись на кучки, гуляли совхозные рабочие. Одна группа расположилась прямо у вокзальной стенки; на принесенном кем-то рядне сидели шесть парней. Посредине стояло ведро пива, валялись кружки, бутылки из-под водки. Черноусый, черный от загара, как цыган, парень в расстегнутой брезентовой куртке, надетой прямо на голое тело, короткими толстыми пальцами рвал гитарные струны и пел хриплым, но приятным голосом:

Гори, гори, моя звезда-а...

Саня остановилась возле них и строго сказала, мотнув головой:

— Вы что это возле вокзала расселись? А ну-ка марш отсюда!

Парень прекратил петь и учтиво спросил:

— Что? Марш? Пожалуйста! — и быстро заиграл, подпевая:

Легко на сердце от песни вэсэлай...

Валерий взял Саню за руку и силой увел от этой веселой компании.

— Нашла с кем связываться, с пьяными,— упрекал он ее и одновременно уговаривал: — Пошли, пошли, нечего тут делать.

— Так ведь они, чего доброго, и вокзал спалят,— слабо сопротивлялась Саня.

— Ну да, целые годы тут пьянствуют, и ничего, а нынче спалят!

— Черт меня дернул пиво заказать,— в сердцах сказала Саня.

— Здесь причина не в пиве,— возразил Валерий.— Они и водкой одной напились бы. Им сегодня аванс выдали.

— Месяц работают, а потом за два-три дня все пропивают. Ну что ж это за народ? — с горечью вопрошала Саня.

— А к чему им копить? Они нынче здесь — завтра там. Вербованные, холостые,— весело говорил Валерий.

— Можно подумать, что тебе это нравится.

— Нет, меня это просто не касается.

— Но ведь они же работают у тебя на стройке!

— Ну и пусть работают на здоровье. Они все получают, что положено.

— Действительно, как все просто! — с иронией заметила Саня.

У нее все более и более портилось настроение. После того дневного, такого солнечного подъема, когда вся душа ее звенела, как натянутая струна, когда хотелось нежных, необыкновенных слов и горячей ласки, она получила самое обыкновенное, законное предложение, как те совхозные ребята аванс. И потом этот разговор о кабинете...

Ну почему она, вступая в жизнь, должна хитрить, обманывать кого-то? Почему она счастье свое должна начинать сделкой со своей совестью? Да что ж это за жизнь такая!

По дороге в Звонарево Саня отмалчивалась и становилась все более угрюмой.

— А ты совсем нос повесила. Я знаю, чем тебя развеселить. Пошли на танцы! — предложил Валерий.

Гарнизонная танцплощадка представляла собой бетонное основание, огороженное частоколом. Возле самого забора стояли скамеечки, врытые в землю. Люди танцевали под баян в пальто. Возвышавшееся рядом темное здание клуба было закрыто — все еще ремонтировалось. Бетон на танцплощадке был шершавый, песок под ногами противно скрипел. Валерий раза два наступил Сане на ногу.

— Да что с тобой? — спросил он.— Ты совсем не слушаешь музыки.

— Я не могу больше,— тоскливо сказала Саня.— Пойдем отсюда.

— Куда?

— Хоть куда, мне все равно.

Валерий посмотрел внимательно на Саню и стал торопливо выбираться к выходу.

— Пошли на Сопку любви. Там тебя ветерком обдует и все пройдет, все пройдет,— приговаривал он на ходу.

Уже поднимаясь по склону когда-то такой курчавой, а теперь оголившейся сопочки, Саня посмотрела в сторону станции и обмерла: там, подсвеченные густым багрянцем зари, чернели приземистые длинные бараки. Над одним из них то выбрасывались, то гасли длинные, острые, как ножи, языки пламени. Искры густо роились в клубах черного дыма и разлетались, как светлячки, далеко по степи.

— Что это? Пожар? — испуганно спрашивала Саня, крепко вцепившись в руку Валерия.

— Да, кажется, станция горит,— осторожно ответил он.

— Горим, горим! — пронзительно, страшно закричала Саня и опрометью бросилась вниз, потом по степи напрямую к станции.

Валерий бежал за ней и время от времени старался сдержать ее:

— Успокойся, Саня!.. Ведь ты совсем запалишься.

— Горим, горим! — исступленно повторяла она и бежала, бежала без роздыха.

Возле горящего вокзала Саня, к своему удивлению, увидела совсем небольшую толпу. Стояли все свои да кое-кто из ремонтников и негромко гомонили; чуть подальше, возле пожарной машины, спокойно стояли

пожарные да несколько человек звонаревских, видать приехавших с ними. Из совхозных никого не было. Пламя уже поглотило тесовую крышу и теперь туго ревело и клокотало внутри вокзала, как в колодце. Вокруг горящего здания все было залито тревожным, дрожащим светом и стояла необычайная, жуткая тишина.

Саня ринулась к пожарным:

— Что же вы не тушите? На поглядки приехали?

— Чем? Воды-то нет,— отвечал усатый пожарный, картинно стоявший на крыле автомашины.

— А багры на что! Растаскивайте! Я вам приказываю! — надрывно кричала Саня.

— Чего там растакивать? — невозмутимо произнес тот же пожарник, видимо старший.— Чуть тронешь — все рассыпается. Гнилье.

— Ах, так! Отказываетесь?..— Саня подбежала к своим сослуживцам.— А вы что любуетесь? Кино вам бесплатное, что ли? Берите багры и растаскивайте стены!

— Напрасно волнуешься, дочка,— ответил кто-то из толпы, Саня не разобрала, чей голос.— Кассу вынесли в сохранности, а всякая лобуда пусть горит, ей и цена-то копейка.

— Как это — пусть горит? — опешила Саня, чуть не плача от бессилия и гнева.

Перед ней стояли словно не те люди, что сегодня с таким усердием рыли ямы, месили грязь, таскали столбы.

— Чего горевать, он уже и так отслужил, отстоял свое.

— Новый скорей построят.

— С чего же в огонь-то лезть? — раздавались из толпы голоса, и Саня все больше и больше накалялась от ярости.

Кто-то подбежал к толпе и крикнул:

— Ребята! Чеботарев с литовкой бежит сюда. Пьяный. Жену разыскивает. Кабы не порезал кого... Берегись!

— Он, сердечный, пьяным только на ней, ведьме, и отыгрывается,— заметил кто-то сочувственно.

— Зато уж наутро, тверезому, она ему задаст,— произнес кто-то злорадно.

— Пошли, ребята, своя жизнь дороже...

И толпа стала быстро таять. Это еще сильнее подстегнуло Саню.

— Своя, значит? Своя! А это чужое? Пусть горит? — пыталась она остановить толпу, но ее никто не слушал.

— Пошли, пошли отсюда,— тащил ее за рукав Валерий.— Долго ли до беды. Тебе дело говорят Новый скорей поставят. Закон!

— Ах и ты туда же! Я знаю — для тебя все чужое, все... Только шкура своя дорога́... Вот он, твой закон.— И все накипевшее на душе, все, что западало от мерзкой людской расчетливости и давило,— все это взметнулось острым языком пламени, перехватило горло, сдавило дыхание.— Прочь от меня! Уходи отсюда!

— Ты что, ополоумела? — Валерий отпрянул от нее, но, увидев огненно-рыжую, словно горящая головешка, голову Чеботарева и за его плечом в медном отблеске пожара широкое лезвие косы, бросился наутек. А Саня с криком: «Бить их! Бить... всех, всех!..» — налетела, как коршун, на Чеботарева и била его по щекам до тех пор, пока не упала на землю в слезах, в исступлении. Чеботарев, в минуту протрезвевший, бросил косу, растерянно стоял перед ней.

— Вот оно как обернулось,— бормотал он.— Виноват... Нарушил, значит.

Потерявшую память Саню отнесли к Настасье Павловне. Потом приехал на велосипеде из Звонарева милиционер и забрал Чеботарева, чтобы посадить его в подвал, приспособленный участковым для вытрезвиловки.

8

На расследование пожара в Касаткино приехал начальник отдела кадров Софрон Михайлович Косяк. Это был человек солидной наружности и деликатного обхождения; крупные рыжеватые кудри и седые виски придавали ему артистический вид; у него все было округлым: и широкий скошенный подбородок, и розовые, как свежеиспеченные пирожки, щеки, и мясистый глянцевитый нос. Более двадцати лет прослужил он в армии, дошел до майора, однако выше должности инструктора политотдела дивизии не поднялся. При первом же сокращении его уволили в запас. В отделении дороги он работал уже третий год и успел заслужить авторитет объективного и беспристрастного человека.

Софрон Михайлович, понаторевший во всевозможных комиссиях, сразу приступил к делу. Он решил начать с

опроса «противной стороны», то есть тех людей, с которыми Саня сталкивалась по службе. «Объективность — прежде всего,— рассуждал он,— а искать ее надо в столкновениях» Поэтому и вызвал первой кассиршу

Он принял ее в буфете, спешно оборудованном под кабинет.

— Садитесь, пожалуйста, Вера Григорьевна,— мягко пригласил Косяк.

Верка церемонно поджала губы и осторожно присела на краешек стула.

— Что вы можете сказать нам по вопросу пожарных обстоятельств? — Косяк снова мягко улыбнулся.

Верка повела плечом:

— Это про какие же обстоятельства?

— Иными словами, то, что было до пожара.

— А что ж было? Ставили столбы, потом плескались возле дежурки. Пиво пили. Потом совхозные пришли, пьянствовали. А когда пожар случился, приехали пожарники тушить — воды не оказалось.

— А куда же вода делась?

— Так я же вам сказала: после работы плескались — всю израсходовали.

— А кто же дал указание на расход воды?

— Начальница наша, Курилова.

— Так, так... А можно было бы, скажем, отвести людей на помывку сапог куда-нибудь в степь? Болота есть в степи?

Кассирша внимательно посмотрела на Косяка и согласно улыбнулась.

— Сколько хочешь.

— Понятно. Значит, товарищ Курилова проявила в этом вопросе недомыслие? Вы согласны?

— Конечно, согласна! — с радостью подхватила она, догадываясь, куда клонит Косяк.

— Хорошо, так и запишем.

Он вдруг подался к Верке и быстро спросил

— А за что вас отстранила Курилова от работы?

— Билет незаконно приказывала выписать. А я отказалась,— с достоинством отвечала кассирша.— Тогда она сама выписала. А ей за это начет сделали. Да уж если говорить начистоту, беззаконие здесь на каждом шагу.— Она наконец поняла, что от нее требуется, и разошлась. — Здесь все держится на сделках. Курилова держит на работе сторожем бывшего начальника станции, а

деньги выплачивает его дочери, потому что ему не положено, он полный пенсионер. А возле главного пути совхозные построили незаконно склад. У них документов на разрешение постройки нет. Я все знаю! Бывшего начальника они за это угостили водкой, и Курилова с ихним десятником-строителем вроде за жениха с невестой. Он ей и столбы поставил, уж наверно за что-нибудь, не задаром же. А я честный человек, я скрывать ничего не стану.

Косяк быстро записывал и согласно кивал головой.

— Интересно очень... Спасибо вам, спасибо,— сказал он, потирая руки.— А не смогли бы вы пригласить ко мне того строителя из совхоза? Ну, скажем, после работы.

— Отчего ж нельзя? Приглашу. Он придет.— Верка, довольная и радостная, встала из-за стола.— Курилова замуж думает за него выйти! Но по секрету вам скажу: ничего у нее не выйдет. Да! Она тут во время пожара такую истерику закатила. Обзывала всех, и его тоже, с кулаками лезла. Так неинтеллигентно! Он с той поры на глаза ей не попадается. Я все знаю, все...

— Так, так,— кивал головой Косяк, любезно провожая свою посетительницу до двери.

Он вызывал к себе и Крахмалюка, и Шилохвостова, и Кузьмича — всех, и даже глухую Полю. Но неожиданно для себя он не встретил со стороны этих людей активной поддержки своего расследования; они либо отвечали нехотя, одними и теми же фразами: «Нет, не видал...», или — «Чего не знаю, того не могу сказать...», либо вовсе отмалчивались.

А Кузьмич даже стал доказывать, что вокзальный барак загорелся от проходящего поезда — искры вылетели из паровозной трубы и попали на крышу; крыша-то ветхая, на ней не щепа — солома, ну и загорелось, стало быть. Чего же тут винить Курилову? Да и барак ветхий, отстоял свое... Грош ему цена.

Косяк сделал Кузьмичу строгое внушение за то, что тот безответственно относится к государственному имуществу, и, выпроваживая его, подумал: «Уже успела обработать своих подчиненных». Потом он вызвал Саню. Он нарочно разложил по столу исписанные листки и, встречая Саню, сказал:

— Ну вот, товарищ Курилова, в основном картина ясна. Скажем прямо — трудовая дисциплина на станции хромает. А там, где нет дисциплины, там чепе неизбеж-

но.— Он сделал внушительную паузу и с особенной ласковостью добавил: — Да и вы, надо сказать, подразложились.

— А что, пахнет? — хрипло спросила Саня.

— Вы напрасно идете на обострение,— не повышая голоса, заметил Косяк.— Вы еще молоды, впереди у вас большая жизнь, и не надо затруднять...

— Оставьте мою молодость в покое,— прервала его Саня.— А облегчений я от вас не жду...

— Напрасно вы начинаете со мной разговор в таком тоне.

— А нам и не о чем с вами говорить: у вас ведь все уже записано, согласно показаний... Вы, не говоря со мной, уже определили, что я разложилась.

— Ну что ж, товарищ Курилова, в таком случае разрешите уточнить некоторые факты?

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Воду из цистерны вы разрешили расходовать?

— Я.

— Пиво было привезено по вашему заказу?

— По моему.

— Так. Во время пожара отсутствовали?

— Да.

— Не скажете ли, где были?

— А что, вам еще не успели сказать?

— Товарищ Курилова!

— Не кричите, я вас не боюсь. На танцах я была. Запишите себе, если еще не записали. И кончайте допрос; вы не следователь, а я не подсудимая.

Косяк встал.

— Хорошо. Покажите мне разрешение на постройку склада возле главной колеи.

— У меня нет такого разрешения.

— Кто же построил этот склад?

— Совхозные строители.

— А столбы вам выдали тоже они?

— Что вы имеете в виду?

— Ничего особенного. Просто хочу выяснить, кто же все-таки разрешил строительство склада у главной колеи.

— Разрешение было дано устно бывшему начальнику станции.

— Вы так полагаете? — Косяк вышел на порог и позвал поджидавшего неподалеку Сергункова.

Тот вошел, тяжело ступая по скрипучим половицам, и, шумно выдохнув, сел возле стола, не глядя на Саню.

— Вы работаете, товарищ Сергунков?

— Нет, я на пенсии,— ответил тот, не поднимая головы.

— А кто же у вас является сторожем? — спросил Косяк Саню.

— Числится его дочь, а работает он,— ответила Саня.

— С вашего согласия?

— Да.

— Понятно.

Сергунков мотнул головой, видимо желая что-то сказать, но на него не обратили внимания, и он опять тяжело вздохнул.

Вошла без стука Верка и, смерив уничтожающим взглядом Саню, сказала Косяку звонко, с какой-то внутренней радостью:

— Казачков из совхоза приехал. Позвать?

— Да, да, пожалуйста.

Верка ушла.

— Остается выяснить одно обстоятельство.

— С меня достаточно.— Саня встала и направилась к выходу, но в этот момент отворилась дверь и на пороге появился Валерий. Он аккуратно прикрыл за собой дверь и прошел мимо Сани так, словно ее здесь не было.

«Ах, вот как!» — Саня резко сунула руки в карманы и повернулась к столу, туда, где теперь стоял Валерий, готовая схватиться с ним, как [redacted] драке, лицом к лицу.

Поздоровавшись, Косяк сухо спросил:

— У вас есть разрешение на постройку склада возле колеи?

— Нет,— весело отвечал Валерий,— но [redacted] строил по разрешению обоих начальников станции.

— Значит, нынешний начальник станции знал, что документации на отчуждение территории под склад у вас нет? — спросил Косяк, удовлетворенно улыбаясь.

— Разумеется, знал,— уверенно отвечал Валерий.— У нас здесь, так сказать, взаимопомощь... Я в долгу не остался.

Кровь бросилась Сане [redacted] лицо, пудовым молотом ударило в виски, зазвенело в ушах...

— Подлец! — тяжело произнесла она и вышла, не закрыв за собой дверь.

За ней выбежал и Сергунков.

— Дочка, дочка! — кричал он за ее спиной.— Прости меня, прости окаянного!..

— Уйдите, Николай Петрович! Уйдите от греха!..— устало и хрипло ответила Саня.

— Как же это все свелось-то? Дочка! Эх! — он остановился и, с минуту потоптавшись на месте, крикнул: — Ну я ж ее! — и бросился домой.

Семья Сергункова в это время в полном сборе пила за кухонным столом чай. Он вырос на пороге, как разъяренный бык, огромный, черный от заслоненного света, тяжело пыхтевший.

— Ты что сопишь, ай воз на тебе везли? — спросила невозмутимая Степанида. Она сидела с угла и громко отхлебывала чай с блюдечка.

— А ты и впрягла бы... Лишь бы тебе на двор привез...— Он тучей надвигался на жену, и голос его, полный затаенной угрозы, все нарастал: — Тебе все мало! Моей крови мало! За других принялась. Курилову на беззаконие подбила!

— Ты что, белены объелся? Молчать! — грозным басом рявкнула Степанида.

— Нет, хватит, отмолчался! — Сергунков с маху треснул кулаком по столу перед самым носом Степаниды.

Пыхнул, словно от испуга, самовар, загремела посуда, заголосили девчата. Но Степанида быстро выхватила из-под себя табуретку и ловко ударила ею по загорбку Сергункова. Он было бросился за ней, но раздался такой силы рев застольных, что Сергунков оторопел и отступил.

— Ах, так! Все против меня, все... Ну хорошо!..

Он убежал в соседнюю комнату, снял с себя ремень, быстро встал на табуретку, привязал его за крюк в потолке для зыбки, сделал петлю, захлопнул ногой дверь и торжественно крикнул:

— Будь ты проклята, кровопийца!

Затем он услышал, что к двери бежали, с грохотом оттолкнул табуретку и только в это мгновение сообразил, что дверь замкнулась на английский замок и что ключ был с этой стороны.

— Спаса-а!..— закричал он, захрипел и забился в конвульсиях, повиснув в петле.

Зять несколькими ударами выбил дверь, схватил поперек живота задыхающегося Сергункова и, напрягшись, приподнял его. Степанида, побледневшая как

полотно, всхлипывая, точно от ожога, бегала вокруг и все приговаривала:

— Ой, батюшки! Да что же такое деется, отцы родные! Головушка моя горькая...

— Ремень, ремень режьте! — кричал на нее зять, красный от натуги.

Наконец обрезали ремень, положили притихшего Сергункова на кровать. Он стал медленно розоветь, открыл глаза. Степанида сидела возле него и все еще плакала:

— Да что ж это ты учинил-то, отец? Нешто я тебе лиходейка какая... Ведь для семьи стараюсь.

— Ладно уж, будет, надоело,— равнодушно произнес зять и, посмотрев на руку, с досадой заметил: — Часы вот разбил... Ишь как циферблат раскурочил. Здорово брыкался! — Он с минуту послушал часы.— Стоят. Придется в город везти в починку. Вот жалость...

9

На четвертый день после отъезда Косяка начальник проходящего поезда вручил Сане повестку на товарищеский суд. Читая ее, Саня вдруг вспомнила фразу Валерия: «Вам нужна товарищеская помощь» — и невесело усмехнулась. Оставив вместо себя, согласно распоряжению, Сергункова, она отправилась в город. На главной магистрали к ней в купе подсел начальник соседней станции Васюков.

— А, именинница! — радостно приветствовал он ее.— Что это так позеленела?

— Позеленеешь, дядя Вася.

— Не горюй, мы тебя в обиду не дадим.

Это был седоусый большеносый веселый человек; на его маленькой сухой голове просторно, как на колу, висел картуз, длинная жилистая шея вылезала из черного хомута шинели, словно картофельный росток из подполья. Было в нем что-то от балаганного Петрушки: лукавое, добродушное и очень забавное. Сане он давно уж полюбился, и она звала его запросто дядей Васей.

— Значит, вокзал у тебя сгорел?

— Сгорел, дядя Вася.

— Ну, туда ему и дорога.

— Да дело-то не в вокзале.

— А в чем же?

— Приезжал ко мне с ревизией...

— Кто ж такой? — перебил ее Васюков.

— Косяк.

— Этот вездесущий!

— Ну, и допрос учинил. А я возмутилась.

— А-я-яй! — закрутил головой и защелкал языком Васюков.

— И все обернулось, дядя Вася, против меня.

И Саня стала рассказывать ему о том, как вел расследование Косяк. Васюков очень живо реагировал: то снимал и снова надевал картуз, то хватал Саню за руку.

— Обожди-ка маленько! Значит, и женишка твоего приплел? Эх, силен бродяга!

Он настолько увлекался рассказом, с таким восторгом произносил свое: «Силен бродяга!», что Сане трудно было решить: сочувствует ей Васюков или он целиком на стороне Косяка.

— Следственный дар Косяк имеет,— заключил Васюков.— Выходит, Санька, на таких, как мы с тобой, дураках люди талант раскрывают. А то и повышение по должности получают.

— Вот [redacted] не знаю, дядя Вася, что мне теперь будет,— грустно сказала Саня.

— А ничего и не будет. Поговорят, поговорят да на том и разойдутся. Это не впервой. Всех нас в свое время судили.

— Ну уж Косяк так просто не отступит.

— Подумаешь, Косяк! — взъерошился Васюков, как кочет.— А мы-то что, лыком шиты? — И он сердито нахлобучил по самые уши картуз.— Небось без нас ни одно решение не состоится.— И, подавшись всем корпусом вперед, торжественно заявил: — Ты, Санька, положись на меня, я тебя в беде не оставлю. Я выступлю. Я ему покажу! — И Васюков потряс в воздухе своей сухой, как скалка, рукой.

Уже [redacted] сумерках они приехали в город.

— Значит, дело наше будут разбирать в восемь,— Васюков потянул за ремешок из глубокого кармана часы.— И, выходит, у нас больше часа про запас. Теперь самый раз в буфет бы зайти, пропустить горяченького.

— Пойдемте,— охотно согласилась Саня.

В буфете, усаживаясь за столик, Васюков крякнул [redacted] кулак и заметил как бы между прочим:

— Оно бы и выпить немножко не мешало.

— Я не стану,— отказалась Саня.— Может, вам заказать?

— Да, да. Мне стаканчик водочки. Норма, хе-хе! — У Васюкова весело блеснули глаза.— Я, знаешь ли, насчет деньжат просчитался, маловато прихватил! Ну да мы свои. А насчет суда ты не беспокойся, я уж постараюсь.

— Ладно об этом, дядя Вася.— Сане становилось не по себе; она уже пожалела, что так разоткровенничалась с Васюковым.

— А что же тут такого? Сказано: брат за брата, око за глаз. Или мы не люди?

Васюков долго и тяжело тянул водку, а ел быстро, тарелку за тарелкой, с большим аппетитом. Под конец, когда Саня уже рассчитывалась, он поймал за руку официантку и попросил еще стаканчик.

— Дядя Вася! — укоризненно произнесла Саня.

Он виновато улыбнулся.

— Это и на свои, для храбрости.

— Ну как хотите, я пошла.

— Я сейчас, сейчас! — крикнул ей вслед Васюков.

У входа в правое крыло вокзала, где помещалось отделение дороги, Саню встретил сам Копаев.

— А, проказница! Ну-ка, заходи в кабинет.

Но в кабинете начальник отделения дороги сразу перешел на сухой официальный тон, и у Сани тревожно заныло на душе.

— Что вы там натворили? Я читал докладную записку Косяка. Ведь это же развал! Просто не верится.— Он в упор посмотрел на Саню смоляными навыкате глазами. Тяжелый, широкоплечий, он производил внушительное впечатление; и эти черные с синевой прямые волосы, и крупный желтый, как у грача, нос, и эти глаза... они просто гипнотизировали. И Саня, сжавшись в комочек, робко молчала.

— Пожалуйста, не отмалчивайтесь,— уже мягче добавил он.— Расскажите мне все до мелочей.

И Саня стала рассказывать, сначала сбивчиво, путано, а потом разошлась; она рассказала и о стычке с кассиршей, и о том, какая неприятность из-за Сергункова вышла, и о цистерне с водой, и о незаконной постройке склада, и о том, что установку столбов под электричество приняли за сделку. Только про свою неудачную любовь она ни словом не обмолвилась.

— Это все? — строго спросил Копаев, когда она кончила рассказывать.

Саня потупила взгляд и тихо сказала:

— Все.

Копаев встал.

— Ну что ж, идите на суд. Да держитесь как следует. Я обязательно приду.

Прибывшие начальники станций, диспетчеры всех трех кустов, руководители отделения дороги — все собрались в красном уголке. На повестке дня стояло два вопроса: итоги работы за месяц и суд чести.

Производственное совещание проводил начальник службы движения. Саня забилась в самый угол и была очень довольна, что о ней не упомянули ни слова. «Вот так бы и позабыли про меня. Как хорошо было бы!» — думала она, и ей хотелось, чтобы совещание шло и шло, не прекращалось всю жизнь. Она плохо слушала выступавших; ей казалось,— где-то далеко-далеко от нее, словно в фокусе, рождался тонкий противный звон, затем он все усиливался, нарастал и горячей волной захлестывал ее. Временами Сане чудилось, что кто-то горячо дышит ей в уши, будто хочет сказать нечто важное и не решается. Она зябко вздрагивала и невольно озиралась. «Что это со мной творится?» — спрашивала себя Саня и прятала подбородок в мягкий воротник шерстяной кофточки, связанной Настасьей Павловной. И только когда по всему телу хлынула мелкая безудержная дробь, а по потолку, по стенам поплыли разноцветные светящиеся шары, Саня поняла, что у нее жар. «Этого еще не хватало!» — испугалась она и, крепко ухватившись за стул, пыталась унять дрожь. Из противоположного угла, от черной глянцевитой печки ей старательно подмигивал Васюков: мол, держись! Видно, тепло от печки окончательно укрепило его блаженное расположение духа, и в доказательство тому густо полиловел его рыхлый пористый нос.

Перед судом вошел Копаев и сел сбоку к столу. Теперь за столом остались трое выборных: судья — председатель месткома Серпокрыленко,— женщина квадратного телосложения и, несмотря на свои пятьдесят лет и тучность, очень подвижная; заседатели — начальник локомотивного отдела, подтянутый, щеголеватый, с пышными светлыми усами, и уже хорошо знакомый Сане Косяк. Пришли на суд и все члены комсомольского

бюро, бывшие Санины подопечные. Они стайкой расположились вокруг нее и замерли в напряженном ожидании.

Серпокрыленко встала из-за стола, постучала рукой о графин и спросила Саню:

— Курилова, у вас есть отвод к членам суда?

— Нет,— хрипло ответила Саня.

— В таком случае товарищеский суд чести объявляется открытым. Пишите,— заметила она секретарше Копаева.— Слово имеет заседатель товарищ Косяк.

Косяк заранее написал свою речь и теперь неторопливо и старательно зачитывал ее.

— Товарищи, так же, как в мире нет ничего необъяснимого, все взаимосвязано и взаимно обусловлено, так и в жизни — возникновение всяких чепе надо искать в поведении ответственных за это товарищей, в отклонениях от норм и законов социалистического общежития.— Косяк сделал короткую передышку и, мельком взглянув сначала на начальника отделения, сумрачно сидевшего у стола, потом на публику, настороженно притихшую, удовлетворенно продолжал: — Пожар произошел по неизвестным причинам и обстоятельствам, но вокзал сгорел, товарищи, по причинам вполне определенным; они слагаются из отсутствия трудовой дисциплины на станции Касаткино, а также из морального разложения Куриловой. В доказательство я приведу вам несколько фактов. Вдумайтесь в них, товарищи.

Косяк начал по пунктам перечислять все Санины нарушения, подробно останавливаясь на каждом. А пунктов этих оказалось великое множество: тут было и нарушение государственных интересов — история с Сергунковым,— и незаконные операции по выписке билетов, и ротозейство — расходование цистерны воды, а потом уход на танцы,— и даже потворство низменным интересам массы — две бочки пива.

Саня слушала его, волнуясь, сдерживая все усиливающийся озноб и новые приливы сильной дрожи. В глазах временами появлялись огненные наплывы, и тогда Косяк отдалялся, становился совсем маленьким, но голос его звучал над Саниным ухом резко и сухо, как выхлопная труба.

— Она, товарищи, вступила даже в сделку со своим ухажером и за столбы, а может, за другие услуги, разрешила построить склад возле главной линии.

— Вы лжете! Лжете! — крикнула наконец Саня, не выдержав.

Серпокрыленко постучала по графину и с минуту строго отчитывала Саню за нарушение порядка. Косяк, опустив руки, снисходительно ждал, и на лице его было написано: за правду и готов и пострадать. Свое выступление он закончил требованием понизить Курилову в должности.

По тому, как все притихли, Саня почувствовала, что заявление Косяка подействовало, и ничего хорошего она не ждала.

Затем попросил слова Васюков. Поднимаясь, он уронил стул и, нагнувшись, долго гремел им.

— Вы скоро там справитесь со стулом? — не выдержала наконец Серпокрыленко.

— Один момент! — бойко ответил Васюков.— Вот так. А теперь и поговорить можно. Да.— Он стоял, опираясь плечом о печку, и блаженная улыбка заливала все его лицо.

Саня только теперь поняла, какая неожиданная неприятность грозит ей от выступления Васюкова, и со страхом ждала, что он скажет.

— Хорошую речь произнес Косяк, ничего не скажешь. А почему? — Васюков покрутил головой и нагнул лоб, словно хотел боднуть кого-то. В зале раздался смешок.— А потому, что все записано, честь честью. Сказано: слово не воробей — вылетит, не поймаешь. А зачем его ловить? Ты его запиши, оно и само никуда не денется.

— Ближе к делу,— прервала его Серпокрыленко.

— К делу и есть,— невозмутимо продолжал Васюков.— Сказано, слово к делу не подошьешь. А Косяк подошьет, потому — понятие имеет. Насчет Куриловой растолковал нам честь честью. Я ей еще давеча говорил: ты, Саня, не беспокойся, все разберут как следует. И я, говорю, за тебя словечко замолвлю. А почему ж не замолвить? Человек она хороший, душевный. Значит, пошли мы с ней в буфет... О чем это я?..

В зале нарастал хохот. Серпокрыленко напрасно стучала о графин.

— Слушайте, Васюков! — покрывая шум, сказал Копаев.— Может быть, вы пойдете погуляете и вспомните там, свежим воздухом подышите?

— Ну да, подышать мы согласны. Отчего не подышать? — Он торопливо пошел на выход и запнулся за

чей-то стул. Кто-то поддержал его под руку и помог выйти за дверь.

С трудом уняв шум, Серпокрыленко гневно произнесла:

— Я просто возмущена новым проступком Куриловой: перед товарищеским судом она ведет в буфет угощать своего так называемого защитника. Нет, видно, не с чистой совестью шли вы, товарищ Курилова, на этот суд.

«Вали уж все до кучи,— горько подумала Саня.— Семь бед — один ответ». И когда слово взял Копаев, сердце ее сильно и гулко застучало, от нового прилива жара потемнело в глазах. «Ну, этот доконает меня»,— мелькнула в голове мысль.

— Курилову мы давно с вами знаем, и знаем как исправного, дисциплинированного работника.— Он строго повел своим грачиным носом и сердито нахохлил широкие черные брови.— Как же так случилось, что за неполных три месяца самостоятельной работы этот хороший в прошлом работник успел морально разложиться, если верить расследованиям Косяка?

В зале прошел волной приглушенный гомон, как вздох облегчения. А Серпокрыленко встревоженно округлила свои бесцветные глазки с белесыми ресницами, подняла над графином ручку, да так и застыла, словно статуя, и только лиловые пятна стали медленно выплывать на щеках, выдавая ее волнение.

— Положим, она могла по неопытности израсходовать всю воду, позабыв о возможности пожара,— продолжал Копаев,— даже уйти в этот злополучный вечер на танцы. Мы вправе осудить ее за это. Но мы должны и помнить, что она не начальник пожарной охраны и не сторож. Мы ее можем упрекнуть и даже наказать за путаницу в должностном составе станции, но у нас нет оснований считать, что там была сделка за счет государства. И уж, во всяком случае, в истории со столбами ни о какой сделке и речи быть не может. Я получил коллективное письмо от работников станции Касаткино и должен сказать прямо: я чувствую и свою вину лично и вину нашего отделения в том, что мы до сих пор не помогли осветить эту станцию. А они сделали все, что могли. Я зачитаю вам письмо...

Это были последние слова, которые слышала Саня. Что-то тяжелое и мягкое навалилось на нее, застилая

свет; она почувствовала, как по щекам ее, щекоча, побежали теплые слезы. На какое-то мгновение ей показалось, что это вовсе не слезы, а скользят по щекам солнечные зайчики, и ей стало так хорошо...

10

Две недели пролежала Саня в больнице с воспалением легких. А когда уже заметно окрепла, стала ходить по палате, у нее оказалось еще и нервное расстройство.

— Имейте в виду, вам нужна строгая диета и постельный режим,— говорил ей на прощанье доктор, пожимая своей мягкой шелковистой ладонью исхудавшую Санину руку.— А может быть, еще полежите? — и он смешно взглядывал на нее сверху из-под очков.

— Нет, нет, не могу.

— Ну, как знаете! Вот вам бюллетень на десять дней, а в случае чего — приезжайте.

Саня ехала, как и три месяца тому назад, на товарняке, только в этот раз на паровозе. Те же знакомые степи, теперь по-новому принакрытые жидким беленьким покрывалом первого снега, с печальным однообразием бежали мимо поезда. На горизонте то тут, то там появлялись небольшие сопочки; когда-то аккуратненькие, кудрявые, как барашки, они теперь оголились и были похожи издали на серые щетинистые кочки. Среди них Саня попыталась отыскать ту знакомую сопочку, поразившую ее когда-то огневым подсветом, но так и не нашла: все они стояли под низким хмурым небом такие же хмурые, одинаковые.

«Вот и зима идет, долгая, скучная,— думала Саня.— И надо готовиться встречать ее. Новые заботы, новые хлопоты. И опять одна, одна...»

Вот показалось и Касаткино: быстро набегали приземистые бараки, дома. На месте сгоревшего вокзала чисто убрано, словно ничего там и не было. А рядом лежат бревна, новенькие доски в штабелях... Что это? Откуда они? А вот и бревенчатая дежурка; от нее повалила к полотну целая ватага людей. Зачем они собрались?

Резко просвистели три остановочных свистка, пронзительно завизжали, заскрежетали тормозные колодки на колесах, паровоз задергался и стал.

Саня высунулась из паровоза и сразу все поняла:

перед ней стояли все ее сослуживцы, и на каждом была новенькая форменная фуражка с красным верхом. Они неловко переминались, молчаливые, слегка смущенные и радостные.

Сане захотелось рвануться к поручням и одним махом спуститься туда, вниз, но руки ее дрожали от волнения и слабости, и она долго не могла нащупать ногой подножку.

— Вот так,— бережно поддерживал ее Сергунков и, видя, с каким радостным вниманием оглядывает она собравшихся, заметил: — Это я у самого Копаева выпросил, фуражки-то. Для порядка, значит. Сюда приезжал начальник. Видишь? — указал он на бревна.— Строить будем вокзал.

— Строимся, строимся! — удовлетворенно загудели со всех сторон.

— Откуда же вы узнали, что я приеду? — спросила Саня, не в силах скрыть своего счастливого удивления.— Ведь я никому не сообщала.

— А нам Васюков позвонил,— наперебой отвечали ей.— Едет, говорит, жива-здорова.

В толпе Саня обратила внимание на полную девушку в форме и в сапожках.

— Валя Дунина,— представилась девушка.

— Новая кассирша.

— На место той прислана.

И никто не произнес ни имени, ни фамилии прежней кассирши.

Уже дома Настасья Павловна рассказала Сане:

— Выжили ее в два счета. Особенно Сергунков с Шилохвостовым старались. Она после твоего отъезда схлестнулась с этим Валерием. Два лаптя... И поселиться здесь решили. Ни стыда, ни совести, прости господи. Ушла к нему, и корову свою на веревочке увела. Эх, девка, девка! Смотрю я на тебя и думаю: ну чем ты их взять сумела? Как приворожила к себе? Нынче вон Кузьмич к твоему приезду банку варенья принес, а Рива — ой, не могу! — Настасья Павловна засмеялась,— горшок щей приволокла. Видно, крепость в тебе особая — становой хребет.

В сумерках пошел снег; и Саня долго смотрела в окно, как прихорашиваются черные плешины земли, как мягче и чище становится просторная, бескрайняя степь.

1957

ДЕНЬ БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЯ

Киноповесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Селекционный участок одной из опытных станций в Сибири — два-три приземистых длинных дома в окружении мелких стелющихся яблонь и вишен. Заборик из белого штакетника да открытая метеоплощадка с флюгером и с невысоким настилом для приборов, похожим на ветхую трибуну.

Возле штакетника остановился «газик», из него вышла молодая женщина и крикнула в растворенное окно:

— Мама где ты?

В окне появилась постная сухая личность — старик лет семидесяти, он строго поглядел на приехавшую, но, узнав ее, сразу подобрел:

— Ты откуда, Наташа?

— Из Батана. Где мама?

— Да здесь она, на ближней делянке,— сказал старик.

Наташа бегом огибает дом и вот, раскрыв руки, бежит навстречу матери, стоящей в колосках с пинцетом в руке. Обнялись.

— Здравствуй, мама!

— Здравствуй, дочь! Ты чего такая взволнованная?

— Сегодня же вечер. Твой вечер!

— Ну да... юбилей,— улыбается Мария Ивановна.— За уши таскать дуру старую.

— Я за тобой прилетела. Самолет через час уходит.

— Ты уж лети. Сама там хозяйничай. А я к вечеру подъеду.

— Да ты что, собственному празднику не рада?

— Я-то рада.— Она смотрит на подходящих к ней баб, напарниц ее, их пятеро.— Но есть дело поважнее юбилея.

— Летите, Мария Ивановна, летите! — разноголосо загомонили бабы.— Мы тут и без вас дотемна постараемся.

— А то! Семьдесят лет не каждый день бывает... Летите!

— Нет, бабы! Пока я буду веселиться, нас с вами закроют и распустят

— Как закроют?

— А так... Одним наши цеха понадобились под конторы. А другие экономию наводят. Де, мол, невыгодно держать отдельный селекционный участок. Надо объединить его с Тургинской станцией.

— Она ж за тыщу верст! Питомники туда не перекинешь.

— Они ж пропадут...— загомонили бабы.

— А им ништо. Они их не закладывали. Они экономию наводят.

— Но мама! Северин же обещал — не трогать вас.

— Приехали из области. Сегодня в двенадцать совещание в горкоме. Будут решать судьбу нашу.

— Ладно! — не сдается Наташа.— Я упрошу пилота, он задержится. Только ты из горкома давай прямо на аэродром.

— Нет, Наталья,— твердо отвечает Мария Ивановна.— Я в Черный Яр, в Высокое съезжу. На могилу к отцу

— Но мама, это ж далеко! Такой крюк делать...

— Подумаешь — две сотни километров. К вечеру приеду, не беспокойся. А вы, бабы, трудитесь. После обеда помощников вам пришлю.

Обняв дочь, она двинулась с поля.

— Петя, у тебя все готово? — спросила у шофера «газика» Мария Ивановна.— Минут через десять поедем.

— Все в порядке, Мария Ивановна!

Из дома вышел давешний сухонький старичок, в руках у него стопка журналов, газет и букет полевых цветов.

— Маша, я слыхал, ты к Ивану Николаевичу завернуть хочешь?

— Хочу.

— Положи ему на могилу от меня...— старик подал ей цветы.— А это тебе,— он положил на выносной столик газеты и журналы.— Целый месяц собирал. Это все о тебе... И об Иване Николаевиче,— говорил старик, перебирая газеты и журналы с портретами Марии Ивановны

— Мама, у тебя лицо усталое. Ты когда встала? — спросила Наташа.

— Встала? Ты спроси у нее, когда она ложилась! — проворчал старик.— Последние ночи почти не спит... От темна до темна на поле, даже почту не трогала.

— Ничего, пустяки,— ответила Мария Ивановна.— Вот поеду — и все прочту.

Газеты веером ложились на столик, все открытые на нужной странице, и смотрела с них Мария Ивановна — все то же утомленное, спокойное и хмурое лицо. А над этими портретами газетные заголовки — броскими шапками: «Сибирский селекционер — народный агроном республики», «Создателю знаменитой «тверди» — неполегаемой сибирской пшеницы — 70 лет», «Присвоено звание доктора наук без защиты диссертации»...

А потом рядом на тот же столик легли два журнала, открытые где-то на середине, но на этих страницах была иная фотография — дерзко и строго глядел пожилой господин с высокими залысинами, с пышными темными усами, с седеющей бородой. И заголовок: «100-летие со дня рождения пионера сибирской селекции». И еще статья: «Иван Твердохлебов — ученый и гражданин»...

— Вот вы и встретились,— говорил старик, радостно поглядывая на Марию Ивановну.

— Спасибо! — Она с чувством пожала ему руку.

— Да, вот еще телеграммы...— Он вынул из кармана пачку телеграмм, выбрал одну из них.— И ты знаешь, от кого есть? От Лясоты.

— От Лясоты? С чего бы это? — удивилась Мария Ивановна.

— Время подошло такое, Мария Ивановна. Время обнимать — и время уклоняться от объятий,— лукаво сказал старик.— Кстати, ведь вы с ним одного выпуска?

— Нет... Когда я училась, он был аспирантом.

— Где?

— Там же, в Петровской академии.

По пустынной лиственничной аллее Тимирязевской академии бесшумно катится, словно плывет по воздуху, крылатая пролетка; вожжи в свободном провисе покачиваются над облучком, их никто не держит. Кучера нет. Седок с кожаной подушки безмолвно смотрит на нас. Мы узнаем в нем знакомого по фотографии Ивана Никола-

евича Твердохлебова. А чуть поодаль, посреди лиственничной аллеи, стоит тот самый столик с газетами, возле которого Мария Ивановна, одна.

Твердохлебов оглядывается, вынимает из кармана жилетки серебряные часы, открывает крышку и произносит:

— Маша, тебе пора!

Мария Ивановна хочет что-то сказать ему, жестом задержать, остановить, но... пролетка медленно удаляется, растворяясь в трепетно-зыбкой куще.

Мария Ивановна как бы машинально кинулась за пролеткой и... вдруг очутилась в людной многоярусной аудитории, где возбужденно спорили Макарьев и Лясота.

— Дети продолжают жизнь, заложенную ранее [redacted] их родителей,— говорит Макарьев.— Ибо и дети и родители являются продуктом одного и того же наследственного вещества.

— Это схоластика, средневековая ложь! — кричит Лясота.— Мы поломаем вашу мистическую наследственность [redacted] будем управлять ею в интересах нашего хозяйства [redacted] общества.

— Вам не хватит жизни для этого.

— Мы начнем, а дети завершат!

— К счастью, у горбатых родителей рождаются нормальные дети.

— Овес рождается от овса, а пес от пса! — крикнул кто-то из студентов, и аудитория загрохотала...

— Когда это было? — спросил тот самый старик.

— Всю жизнь так было,— ответила Мария Ивановна.

— Всю жизнь Лясота был аспирантом? Маша, ты о чем говоришь?

Мария Ивановна и [redacted] самом деле как бы очнулась, смотрит с удивлением на старика. Она все еще стоит возле столика, рука ее по привычке перебирает журналы и газеты.

— Ты меня совсем не слушаешь,— продолжал старик.— Здорова ли ты?

— Я, как старая лошадь, вроде бы стоя задремала,— усмехнулась Мария Ивановна и другим голосом: — Наташа, где ты?

— Тут я! — донеслось из дому.— Плащ твой ищу.

— Он на вешалке, за шкафом. Не забудь мою сумку на столе! В ней часы,— крикнула Мария Ивановна и обернулась к старику: — Спасибо, друг мой. До свидания!

Она забрала газеты и журналы и направилась к машине. Наташа тем временем вынесла ей из дому плащ и портфель. Мария Ивановна раскрыла портфель-сумку, достала серебряные часы-луковицу (те же самые, отцовские), раскрыла крышку. Было ровно восемь утра. Послушала еще — часы тикают.

— Ну, мы поехали.

Она села в машину, махнула рукой, и «газик» сорвался с места. Мария Ивановна смотрит сквозь лобовое стекло на убегающую дорогу, на пшеничные поля и произносит про себя:

— Овес от овса, а пес от пса...

— А я вам говорю — наша наука оторвана от практики. Она преклоняется перед стойкостью видов и забывает о конкуренции,— звенит высокий голос Лясоты.

Стоит он за трибуной; сбоку стол с президиумом, в зале полно народу, не студентов, а пожилых людей: председателей колхозов, агрономов, партработников. Среди них мы видим Марию Ивановну. Идет областное совещание.

— Биология не капиталистический рынок! — крикнула Мария Ивановна.— Вы отрицаете основное положение генетики.

— Ваша генетика — предрассудок. И притом буржуазный. Нам каждый год надо пахать и сеять. Весной мы с севом запаздываем. Наука должна помогать — как справиться с этой задачей. Вот мы и предлагаем: давайте сеять осенью. Некоторые так называемые ученые поучают нас — де, мол, нет стойких озимых сортов. А мы им говорим: обойдемся и теми, что есть. И более того, будем превращать, перевоспитывать твердую пшеницу в мягкую, то есть в озимую. Для сибирских полей это будет революционным актом.

— Надо выращивать новые сорта, а не манипулировать старыми! — крикнула опять Мария Ивановна.

— Видимо, товарищу Твердохлебовой с ее высокой научной колокольни наплевать на наши хозяйственные нужды. Поэтому она и пытается вставить нам палки в колеса. Я предлагаю, по замечательному почину нашего

опытного хозяйства, которое возглавляет товарищ Колотов,— кивок в президиум, где один из сидящих склонил голову в ответном поклоне,— посеять по стерне пшеницу во всем крае. Какая экономия выйдет на одной пашне!

Лясота под аплодисменты сходит с трибуны. На трибуну подымается Мария Ивановна, в руках у нее небольшой сверток; она распаковывает его — это оказались свежие зеленя пшеницы.

— Товарищи, эти зеленя я привезла с того самого опытного поля Колотова, где была посеяна твердая пшеница без пахоты, по стерне. Всходы есть, но изреженные, слабые. Вот они (она подняла зеленя), полюбуйтесь! Это же не твердая пшеница, не мильтурум, а обыкновенная, вульгарная красноколоска. Откуда она взялась? Да оттуда же, от стерни. Когда ее жали, произошло самовысевание. Явление это известно тысячу лет. Конечно, можно вместо пахоты применить культивацию. Это еще в начале века Овсинский предлагал. Но такой метод посева требует постоянного поддержания рыхлости почвы, то есть больших усилий, иначе все сорняками зарастет. Сеять кое-чем и кое-как, лишь бы отсеяться — значит обманывать себя и других.

Она сошла с трибуны и стала раздавать зеленя — один пучок положила на стол президиума, другие раздала по рядам в зале.

Лясота отшвырнул зеленя и поднялся над столом грозной тучей:

— Вы тут, товарищ Твердохлебова, давно занимаетесь антигосударственной практикой.

— В чем она заключается? — обернулась Мария Ивановна.

— В том, что на вашей так называемой научной станции вместо кукурузы культивируются клеверища!

— Это единственные семенники во всем крае. И вы об этом отлично знаете! — крикнула Мария Ивановна.

— Травопольная система нанесла огромный ущерб государству. Надеюсь, вы это тоже знаете?

— Нет, не знаю!

— Понятно... Значит, умышленно бережете очаг травопольной системы на всякий случай! Я полагаю, что в интересах всего края ликвидировать последние очаги травополья как опасную заразу для наших полей. Видимо, найдутся решительные люди, которые распашут эти

клеверища, а на их месте товарищ Колотов посеет кукурузу. Для пользы дела. Вот так.

Шум, хлопанье откидных сидений, громыхание стульев. Публика в зале поднялась и двинулась на выход. Все члены президиума сгрудились за сценой. Массивный человек, сидевший рядом с Лясотой, говорит одному из членов президиума:

— Северин, подготовьте приказ о распашке клеверища на опытной станции.

— Я как областной агроном считаю эту акцию вредной,— отвечает Северин.— И решительно отказываюсь подписать такой документ.

— Хорошо, обойдемся без вас,— раздраженно бросил ему Лясота и массивному: — Василий Михайлович, поручите это Колотову. Он исполнит аккуратно.

На краю обширного клеверного поля урчит трактор с трехлемешным плугом. К нему по целине подъезжает «газик». Тракторист, заметив машину, вылез из кабины. Колотов, приоткрыв дверцу, кричит ему из «газика»:

— Чего ты волынишь? Начинай!

— Дак, Семен Семенович, клеверища больно богатые. Как-то не знаю.

— Чего не знаешь? Пахать разучился?!

— С какого бока начинать то есть?

— Заваливай прямо отсюда! — Колотов вылез из машины, вошел в хромовых сапогах в клеверище, потоптался.— Давай! Приканчивай эту кабинетную науку.

Несмотря на осеннюю пору, клевер стоял молодым, зеленым и ровным, как бархат. Тракторист взлез на сиденье, двинул рычагом управления — трактор всхрапнул, как норовистая лошадь, крутнулся на месте и, опустив в землю черные плуги, ходко двинулся по зеленому полю.

— Вот так! — ухмыльнулся Колотов, глядя на развалистую черную полосу, словно траурной прошвой отбившую зеленое поле клеверища.

Между тем от дальнего строения опытной станции бежала на клевер Мария Ивановна; она часто спотыкалась, размахивала руками и что-то кричала. Когда она подбежала к Колотову, трактор уже сделал разворот и приближался вторым ходом.

— Стойте! Что вы делаете? Варвары! — кричала она.

— Нет, это вы варвары. А мы искореняем предрассудки от науки,— сказал Колотов.— Так будет точнее, товарищ Твердохлебова.

— Вы — бандиты! Разбойники!!

— Поосторожнее... Все ж таки я при исполнении служебных обязанностей.

— Вы не имеете права!

— Имеем. Все права наши. Вот — приказ подписан.— Колотов вынул из кармана бумагу и протянул ей.

Мария Ивановна не стала читать, она бросилась навстречу трактору.

— Стой! Остановитесь!! — подымая руки, кричала она.

Тракторист, с опаской выглядывая из кабины, правил прямо на Марию Ивановну. Она так и остановилась с поднятыми руками, с округленными от негодования и ужаса глазами. Но трактор черной глыбой наезжал на нее, заслоняя небо.

— Дави, мерзавец! — Вдруг Мария Ивановна упала ничком в борозду навстречу трактору.

Тракторист мертвенно побелел, резко потянул рычаги и с трудом остановил гусеницы перед лежащей Марией Ивановной. Потом, как-то неестественно задирая ноги, он вылез из кабины и бросился бежать. Мария Ивановна все еще лежала ничком в черной борозде, лежала недвижно, и только плечи ее вздрагивали от глухого рыдания.

Колотов, не сводя с нее глаз, пятился задом к машине, нащупал дрожащей рукой дверцу и юркнул в нее, как в нору.

— Гони!

«Газик» резко тряхнуло и занесло в глубокий кювет. Мария Ивановна схватилась за держальную скобу и с удивлением поглядела на Петю:

— Что случилось?

— Сейчас узнаем.

Петя потянул на себя рычаг ручного тормоза и вылез из «газика». Сперва он поглядел под колеса сзади, присел на корточки, постучал по скатам, потом зашел спереди — опять присел и поглядел.

— Не могу определить. Вроде все на месте — и колеса, и хвостовик.

— А почему же нас в канаву занесло?

— Не знаю. Мария Ивановна, а ну-ка, покрутите руль!

Мария Ивановна попробовала крутить баранку. Петя глядел под колеса.

— Не могу,— сказала Мария Ивановна.

— Вот и я не мог свернуть. Заело.

— Почему?

— Сейчас определим.— Петя бросился наперерез идущему самосвалу с гравием, поднял руку.

Грузовик остановился на обочине, из кабины высунулся цыганистый парень в майке.

— Тебе чего?

— Помоги, друг... Руль заело. Не могу определить.

Парень спрыгнул наземь, пошел к «газику».

— Куда едешь?— спросил на ходу.

— В город.

— Зачем?

— Ученого везу.

— Не ври!

Парень в майке заглянул в «газик», посмотрел на сумку с едой, подмигнул Марии Ивановне, потом дернул стопор — капот открылся. Парень и Петя подошли к передку.

— Пенсионерка? Мать начальника?— спросил парень Петю, заглядывая в мотор.

— Говорю — ученый.

— Не ври. По сумкам вижу — на базар едете. Так... Головку рулевого управления осмотрел? Нет?! Дай разводной ключ!

Петя быстро достал разводной ключ, и оба они уткнулись в мотор. А Мария Ивановна поглядела в боковое окно и вдруг увидела странно одетого мужчину — галстук бабочкой, старомодная соломенная шляпа с низкой тульей, с прямыми полями. Усы, бородка клинышком...

— Папа!

— Пойдем со мной, Маша! Я хочу тебе что-то сказать.— Он поманил ее.

— Но как же я пойду? У меня машина. Входи сюда, садись!..

— Вы меня, что ли, Мария Ивановна?— Петя поднял голову от мотора.

Видение исчезло. Мария Ивановна провела ладонью по лбу, поглядела на Петю.

— Это я про себя, Петя... Так просто.

— А-а! — Петя опять уткнулся в мотор.

Парень меж тем отвинтил гайку на головке рулевого управления.

— Ну, как в лагун глядел. Червяк затянут. Давай крути руль!

Петя стал крутить баранку, парень кряхтел и завинчивал гайку.

— Ну как?

— Порядок,— сказал Петя.

— И колесо перетяни. Видишь, спицы разболтались? — Парень ударил сапогом по колесу, потом с маху закрыл капот, передал ключ Пете и кивнул Марии Ивановне: — С пустыми руками не возвращайтесь. Привет начальнику!

И пошел вразвалочку.

— Чего это он? — спросила Мария Ивановна.

— Узнал вас по портретам... Говорит, для большого ученого и я постараюсь. Мария Ивановна, вот вам подушечка. Располагайтесь! А я подшипники подтяну.— Петя взял подушечку с заднего сиденья и подал ее Марии Ивановне.

— Я и в самом деле вздремну.— Мария Ивановна откинулась на подушечку, раскрыла журнал с портретом отца.

Этот же портрет, но сильно увеличенный, висит в овальной раме в гостиной. Рядом в таких же рамах висят портреты Анны Михайловны и самой Марии Ивановны — она молодая, еще студентка, и звали ее Мусей. Она только что вошла в квартиру. В ней трудно было узнать теперешнюю старую, усталую женщину: это была рослая статная девушка со спокойным взглядом пристальных глаз, с короткой стрижкой, в сером костюме, в туфлях на низком каблуке. Было в ней что-то от исполнительного, подчеркнуто опрощенного комсомольского активиста 20-х годов. Она снимала в прихожей туфли и прислушивалась к голосам — мужскому и женскому,— доносившимся из гостиной, где висели видные через дверной проем портреты.

— Понимаешь, вызывают меня в одно заведение и говорят: «Уважаемый товарищ Лясота, ваша селекция может подождать. Сейчас нам нужно разобраться в художественном наследии проклятого прошлого, то есть

определить: что ценно для рабочих и крестьян в качестве произведений искусства, а что есть простые предметы роскоши, которые надо пустить в дело. Поскольку вы бывший художник и активист, ваша помощь тут необходима». И бросили меня как специалиста по искусству на эти коллекции. Ну, скажу тебе — настоящий завал! — рокочет мужской тенорок.

— Побольше бы таких завалов,— отвечает весело женский голос.

Муся входит в гостиную. За столом сидят мать и Филипп Лясота. Он худ и важен — в модных широких галифе, в сверкающих сапогах, с редкой рыжей бороденкой и сухим, высоким, чуть свалившимся набок носом. На столе вино, закуски.

— Добрый вечер,— говорит Муся.

— Рад приветствовать надежду семьи и науки,— кривляется Филипп.

— Муся, самовар на кухне. Горячий еще,— говорит мать.— Нет, ты только подумай, что выкинул Филипп? — обращается к Мусе.

Муся молча проходит на кухню.

— Он зачислил нас в свои родственники. И бумаги выписал.

— Какие бумаги? Что за родственники?

— Поставил вас в свой распределитель на довольствие,— лениво, с победной ухмылкой ответил Филипп.

— Какое еще довольствие? — с раздражением спросила Муся.

— Не беспокойся, за картошкой тебя не пошлют,— сказала Анна Михайловна.— Иди сюда, погляди.

Муся подошла к столу.

— Смотри, что он подарил нам! — Анна Михайловна приставляет к груди сапфировый кулон. Потом раскрыла красную коробочку и вынула широкий, крупного плетения, золотой браслет.— Это тебе.

— Что это значит? — Муся требовательно смотрит на Филиппа.

— Да сущий пустяк... Служебный паек, так сказать.

— Что?!

— Филипп, не ерничай. Я ей все поясню,— сказала Анна Михайловна.— Понимаешь, Филипп сейчас работает в разборе конфискованных коллекций. И в качестве оплаты за труд они имеют право получить по одной вещи на каждого члена семьи.

— Это кем же вы изволили меня зачислить? — свирепея, спросила Муся. — Сестричкой? Или, может быть, кем-то другим?

— А в нашем департаменте полное равноправие и сестер, и братьев, и жен, и матерей.

— Я не имею чести принадлежать к вашему департаменту. И паек мне ваш не нужен.

Она бросила браслет на стол.

— Пардон, — сказал Филипп. И с огорчением: — Ничего лучшего я изобрести не мог, чтобы помочь семье моего учителя.

— Папу оставьте в покое!

— Ну, чего ты взбеленилась? — набросилась на нее Анна Михайловна. — Ты что, не понимаешь? Это ж проформа. Служебная игра! И больше ничего... Не все ли равно, чем платить — деньгами или пайком?

— Ты можешь получать паек чем угодно и жить как угодно. А меня увольте! — Муся пошла к себе в комнату.

— Вот вам и благодарность! — обиженно развела руками Анна Михайловна. Но браслет взяла и спрятала вместе с сапфировым кулоном в складках платья.

— Но любимую вашу книгу... «Дон Кихот» с рисунками Дорэ, может, примите? — спросил Филипп и взял с дивана роскошное издание.

— Краденого мне не нужно, — сказала Муся с порога.

— Глупенькая, книги не крадут — их умыкают, как девушек.

Утро. Муся сидит за столом, пишет. Входит Анна Михайловна в каком-то странном халате, смахивающем на японское кимоно.

— Надо все-таки объясниться, — говорит она, присаживаясь на стул.

— В чем? — неохотно спрашивает Муся.

— Ты подозреваешь Филиппа бог знает в каких грехах.

— Подозрениями я не занимаюсь. Я не сыщик.

— Послушай, Филипп обыкновенный честный селекционер и по совместительству общественный работник культурного фронта.

— Вот как ты научилась! А еще на каком фронте он был?

— Война — это не его стихия.

— Потому что он — талант? — насмешливо спросила Муся.

— А ты не смейся! Может быть, война как раз и помешала нормальному развитию его таланта.

— Зато теперь он развивается во всем блеске.

— Ты не смеешь так! Он искренне верит в построение новой культуры.

— И присваивает чужие вещи?

— Это же так примитивно... Упрощаешь.

— Ах, ты хочешь обстоятельней? Пожалуйста. Ни в какую новую культуру он не верит. И вообще, новую культуру надо делать чистыми руками. А он служит только одному богу — собственному удовольствию. Сначала в живопись играл — таланта не хватило. Потом в селекцию — терпения нет. Теперь играет в культуру. Решил, что выгодней. Пойми ты, все эти несостоявшиеся таланты идут либо в сыщики, либо в шулера. И твой Филипп шулер. Рано или поздно он проиграется!

— Какой же ты жестокий человек. Ты всех душишь своей слепой принципиальностью. Отцу подражаешь? Но, между прочим, он сам жил и других не стеснял.

— Ну, я твою жизнь стеснять не буду. Я ухожу в общежитие.

— Неблагодарная! — Анна Михайловна гневно выходит.

Общежитие студентов Тимирязевки. Муся сбегает по лестнице в вестибюль, на руке у нее полотенце. Навстречу ей Василий Силантьев. Черноволосый смуглый парень лет под тридцать.

— Здравствуйте! Вы что здесь делаете?

— Живу.

— Вы удивительный человек — что не явление, то новая роль. А как же мать?

— Вы слишком любопытный зритель.

— Ага. А полотенце зачем?

— Купаться иду. На пруд.

— Вода холодная. Еще только яблоня зацвела.

— Пока цветет яблоня, пруд чистый. А потом зацветет вода — не искупаешься.

— Разумно. А мне можно с вами?

— Так вода же холодная!

— А что мне, дикому тунгусу, холодная вода? Я с моржами купался.

— А с акулами не пробовали?

— Я могу только с разрешения. Но акулы не моржи, по-тунгусски не понимают,— улыбается Василий.

— Это намек?

— Ну, что вы? Так уж с ходу намекать на ваши зубы? Вы можете когти выпустить.

— Выходит состязание в глупости,— Муся улыбнулась.— Пойдемте лучше купаться.

Яркий солнечный день. Муся и Василий идут по тропинке цветущим садом. Они выходят на берег пруда, поросший раскидистыми ветлами, наклоненными над водой. Муся мгновенно скинула сарафан, и не успел Василий стянуть сапоги, как она уже ласточкой полетела с берега в воду и поплыла по-мужски саженками, потряхивая блестевшей от воды головой.

Василий ловко вскарабкался на наклонную ветлу, стал на толстый сук, балансируя руками, выбрал момент равновесия и, сильно оттолкнувшись, полетел вниз головой. Бух! И надолго пропал под водой.

Муся уже тревожно поглядывала по сторонам, когда он с шумным выдохом, словно кит, вынырнул перед ее лицом.

— Ай! — вскрикнула она от неожиданности.

— Не бойтесь, я не морж.

— Да ну вас! — надула она губы.— Я уж бог знает что подумала.

— Неужели обо мне?

— Да ну вас! — и, резко выкидывая руки, поплыла к берегу.

Василий плыл за ней. Она вышла первой, легла на полотенце, подставив лицо, шею, грудь полуденному солнцу. Он лег рядом.

— Скажите, Василий, может ли талант переродиться под воздействием так называемой среды? И превратиться в обыкновенную серость... приспособленца. Нет, хуже — в пиявку!

— Как вы хотите, чтоб я ответил? По-научному или попросту?

— Как угодно.

— Если человек с умом и честью, то никакая среда

его не испортит. А если у него чести нет, то нет и не было таланта. Потому что талант — это прежде всего искреннее и честное отношение к жизни. Иначе он не сможет верно отразить явления жизни. Какой же это талант?

— Но ведь говорят же — злой гений?!

— Там в основе не талант, а изворотливость.

Муся надела сарафан, но оставалась сидеть, глядя в воду. И Василий сидел. Помолчали.

— Кто-то перед вами оправдывался? На среду сваливал? — спросил Василий.

— Ну, не так чтобы оправдывался... Но намекал.

— Вся штука в том, из чего человек вырос. На какой закваске? Из каких убеждений? Я шесть лет провоевал. Всякое видывал. Но такое, чтобы честный человек да еще талантливый превращался в подлеца — не видел. Такие люди либо ломаются, гибнут, либо выбывают из игры.

— Да. По крайней мере, надо, чтобы так было.

— Именно! Ведь вся ваша селекция построена на этой закономерности — выращивать такие разновидности, такие сорта, которые сопротивлялись бы окружающей среде, смогли бы выдержать ее напор. А для этого что берется? — спрашивает, улыбаясь, Василий.

— Элита.

— Но не по видовому родству, а по качеству.— Он поднял палец.

— С такой биологической аналогией можно далеко зайти,— усмехнулась и Муся.— Яблоко не далеко падает от яблони. Или — овес рождается от овса, а пес от пса.

— Кстати, мы готовим комплексную экспедицию в Якутию. На целое лето! Ботаники нужны. Поедем с нами? — предложил Василий.

— Попасть в такую экспедицию не просто.

— Я знаком с Вольновым. Хотите, поговорю?

— Я сама с ним знакома...

Он усмехнулся как-то извиняюще:

— Вы все такая же... несговорчивая. Отцовский характер.

— А вы все еще любите в тунгуса играть? Как у отца на практике. У костра потешаться?

Он опять невесело усмехнулся:

— Да нет, я уж натешился. Шесть лет из фронтовой шинели не вылезал.

— У каждого своя война,— сказала она серьезно.— Сколько всего накопилось — и слез, и злобы.

— А я вот встретился с вами и словно в другой век перелетел, в старую жизнь.

— Туда пути заказаны.

Они встали и пошли опять садом. Возле общежития Муся подала ему руку:

— До свидания!

— Подумайте насчет экспедиции.

— Мне думать нечего. Все зависит от начальства.

— Тогда считайте, что вы зачислены.

Муся усмехнулась:

— Значит, до встречи в Якутии.

Вниз по реке Лене плывет старый рыболовецкий карбас, похожий на Ноев ковчег. Члены экспедиции — их пять человек — расположились на палубе. Тут же лежат палатки, рюкзаки, кухонный скарб, теодолитные треноги, ящики с гербариями и коллекциями, весла, сети рыболовецкие и даже лодка.

Муся держится особняком. На ней шаровары, сапоги и брезентовая курточка с капюшоном. Она даже на палубе ухитряется перебирать гербарные сетки, заполнять листы. Из мужчин, кроме Василия, еще трое; все они заросли бородой, и трудно определить, кто из них моложе, кто старше. На них сапоги и такие же, как на Мусе, куртки. Они похожи скорее на рыбаков, чем на ученых.

Худой и важный начальник экспедиции Филипп Лясота, как заправский рыбак, курит трубку. Близко к нему держится завхоз экспедиции Лебедь, ничем не примечательный, разве что диковинной шапкой из нерпичьей шкуры да пухлыми розовыми щеками.

Пятый член экспедиции, коренастый светлобородый Макарьев, лежит, опершись на локоть, и всю дорогу насвистывает. Кажется, ему нет ни до чего дела.

В рулевой будке за штурвалом в обыкновенной кепке старшина этой посудины. Он тянет цигарку и лихо сплевывает в реку через открытое окно. Время от времени он кричит в трубку трюмному:

— Эй, машина! Ты чего там? Спишь или семечки лузгаешь? Прибавь обороты!

Из-за кривуна карбас выходит на широкий плес. На

пологом берегу небольшая деревня, узкий клин желтеющих полей глубоко врезается в тайгу.

— Будем приставать? — спрашивает Василий Мусю.

— По мне везде интересно. Как начальство,— она кивает на высокого тощего Лясоту с редкой рыжей бороденкой.

— Филипп, пристанем? — спрашивает Василий.

— Местность глухая,— отвечает тот.— Надо обследовать.

— Кузьмич! — кричит Василий старшине.— Сворачивай в тот затончик за деревню!

Кузьмич грохнул сапогом по обшивке — из трюма высунулась в люк чумазая морда.

— Ты чего? — спросил трюмный.

— Сбавляй обороты! Причаливаем.

Карбас зачихал и стал сворачивать к небольшой деревне.

— Эй, там, на баке! Приготовить швартовы! — крикнул Кузьмич.

Мужчины поднялись и засуетились... Карбас пристал к берегу.

Ржаное поле в Якутии. Рожь невысокая, но колосья полные, как говорится — на подходе. Муся перебирает колоски, срывает изредка и кладет их в мешочек. Рядом с ней стоит крестьянин средних лет, видимо, хозяин поля.

— Да ты рви смелее! Чать, не обедняем,— говорит мужик.

— Мне много не надо. Я выбираю только ярко выраженные колоски.

— А чего их выбирать? Они все хорошо уродились. У меня рука верная — где кину, там и вырастет. Значит, для науки собираешь? Что ж там у вас, в Москве, ай ржи не хватает?

— Там есть, да не такая.

— А какая же? Рожь, она рожь и есть.

— Ну, не скажите. Московская рожь тут не вызреет.

— Во-он что! Видать, у московской ржи корень тугой.

— Что? Что?!

— Значит, не способен быстрый оборот давать. Влагу плохо гонит. Она и не успевает напиваться. Вроде пашеницы.

По ручью проходит Василий с ящиком на ремне через плечо.

— А пшеница у вас вызревает? — спрашивает Муся мужика.

— Здесь нет, а на заимке поспевает.

— Далеко ваша заимка?

— В тайге, верст пять по ручью.

— Можно там взять колоски?

— Берите. Я сейчас лошадку запрягу, отвезу.

— Не надо. Мы пешком пройдем,— говорит Василий.

Муся только теперь заметила его, смотрит вопросительно.

— Я уже взял в низовьях образцы почвы,— ответил тот как бы на ее безмолвный вопрос и качнул своим фанерным ящиком.— А теперь там, наверху, возьму. Так что по пути.

Они идут по лесному берегу ручья; чем дальше, тем все гуще тайга, все таинственнее ее темные чащобы, все заманчивее ее незнакомая глубь. Тоненько, скрипуче посвистывают рябчики. Василий свернул в трубочку листок жимолости, положил на язык и засвистел, как рябчик. Вдруг совсем рядом ухнула и заулюлюкала полярная сова.

— Ой, что это? — вздрогнула Муся.

— Леший. Давай руку! Ну?! — Он притянул ее к себе, хотел обнять.

— Не надо! — она вырвалась и пошла впереди.

Василий приотстал, спрятался за толстую сосну и вдруг затянул высоким срывающимся волчьим воем. Муся замерла на ходу, обернулась и, не увидев Василия, пронзительно закричала:

— Ва-а-ася!

— Ай-я-яй-а! — ответил он тихонько, так, словно голос его доносился издалека.

— Ва-а-ася! — закричала она сильнее и помчалась в ту сторону, откуда слышался его слабый голос.

— Вот он я! — Василий вынырнул перед ней из-за ствола сосны, озорной, смеющийся, и поймал ее в объятия.

— Дурак! Идиот!! — чуть не плача, она пыталась вырваться.

— Будешь от меня уходить? А? Будешь? — Он все крепче и крепче прижимал ее к себе.

Она долго и упорно держала его на отдалении, упершись ему в грудь прямыми руками. Наконец не выдержала напряжения, уткнулась лицом в его плечо.

Показалась заимка. Они шли теперь взявшись за руки.

— Уже? — спросила она, глядя на просвет в деревьях.

Залились хриплым утробным брехом собаки. Василий тотчас стал передразнивать их.

— Господи! Какой ты еще ребенок! — сказала она.

— А ты бука.

Возле длинной приземистой избы их встретил очень похожий на того мужика во ржи седой, как лунь, старик. И одет совершенно так же: на нем длинная полотняная рубаха, на ногах желтые улы из рыбьей кожи.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здорово живетя! Проходите в избу.

— Мы на часок, за колосками пшеницы.— Муся показала мешочек.— Нам хозяин разрешил.

— Рвитя, рвитя,— сказал дед.

Поле было тут же. Пока Муся и Василий собирали колоски, старик сходил в избу и принес глиняный кувшин медовухи, берестяную кружечку-чумашку да большой кусок копченой медвежатины.

— Подкрепитесь на дорожку-то. Вот медовуха да шматок медвежатины,— сказал старик.

— Нам, право, как-то неудобно...

— Спасибо, дед! — сказал Василий, перебивая Мусю и принимая его дары.

— Право же, неудобно,— пыталась урезонить своего напарника Муся.

— А чего ж неудобного? Вон там гумно с навесом, сенцо свежее. И располагайтесь как дома,— сказал старик.

Гумно на лесной опушке — сарай плетневый, молотильный ток, еще не чищенный с прошлогодней поры, омет старой соломы. Василий расстилает в сарае на свежем сене брезентовые куртки, нарезает мясо.

— Ну, как тебе наши якуты-тунгусы?

— Пока мы имеем дело больше все с кержаками,— ответила Муся.

— Они уже вполне объякутились. Смотри — чей продукт? — указывает Василий на медвежатину.— Наш, якутский.

— Ну, такого добра и в России хватает.

— Погоди, вот заберемся [redacted] низовья — я тебя там олениной накормлю. Ну, давай за Якутию!

Муся выпила.

— Божественно!

Василий налил себе.

— Во имя твое! — и выпил.

Они потянулись к медвежатине. Василий поймал ее руку, крепко сжал пальцы и притянул к своим губам. Она глядела на него широко открытыми глазами.

— Милая, милая!..

Он стал целовать ее руку, плечо, шею мелкими быстрыми поцелуями. И обнял, сграбастал всю ее и заслонил плечами, спиной, всем телом своим.

И мы видим соломенную крышу, всю в решетниках и [redacted] неошкуренных слегах. На краю стрехи сидит пегий зяблик с кирпичной грудкой и заливается:

чо-чо-чо-чок, тур-турс-во-во!
чо-чо-чо-чок, тур-турс-во-во!

В лагерь пришли они [redacted] сумерках. На берегу Лены возле самой тайги были натянуты две палатки: маленькая для Муси и большая для мужчин. Филипп Лясота и Макарьев уже сидели возле костра и спорили. На треноге висел большой медный чайник и котел, [redacted] котором варилась уха. Рядом лежали еще не собранные рыболовные сети. Лебедь подкладывал дрова и помешивал [redacted] котле.

На Мусю и Василия никто не обратил внимания; Муся прошла к себе в палатку, а Василий стал помогать Лебедю.

— Просто многие из наших злаков под воздействием культуры претерпели глубокие изменения,— возбужденно говорил Лясота.

— Я чую, куда ты метишь,— сказал Макарьев.

— Куда?

— В дешевую социологию,— ответил Макарьев: — Причеши, мол, идиота или хама, поставь его в культурные условия, [redacted] он прямо на глазах переродится.

— Да, переродится! — крикнул Лясота.

— И станет мудрым, чистеньким да гуманным? — язвил Макарьев.

— Ты просто не веришь в творчество масс! — горячился Лясота.

— Брось ты эти громкие фразы. Подражаешь самому Терентию Лыкову! Меня демагогией не возьмешь. В каждой массе есть и порядочные и хамы. Давай уж оставим массы политикам да философам. Займемся нашими баранами: ты ведь чего хочешь? Блеснуть и подскочить, да? Новые сорта пшеницы трудно выводить, да и долго. А вам бы что-нибудь эдакое отыскать. Враз бы отличиться, перевернуть. Революцию в биологии устроить. Эх!.. Работать надо.

— А я дурака валяю?

— Нет, фокусничаешь.

— А я тебе говорю,— опять повысил голос Лясота,— многие злаки видоизменились, понял?

— Ну и что из этого следует? — спрашивал Макарьев.

— А то, что ваши толки о стойкости наследственного вещества... эти хромосомы, гены — мистика!

— И все-таки виды остаются видами — овес остается овсом, а пшеница пшеницей. Тысячи лет! Как же ты это объяснишь?

— А так. Если принять материалистическое положение о возможности наследования приобретенных признаков, то выйдет: и овес, и пшеница в чистом виде не существуют: они частично изменяются.

— Это не материализм, а ламаркизм.

— Что, что?

— А то самое. Чепуха это. Еще Декандоль не допускал возникновения видов культурных растений от близких к ним видов в историческую эпоху. Стойкость наследственного вещества доказана Морганом.

— Так что ж, по-вашему, пшеница богом дана, что ли? — горячился Лясота, переходя на крик.— Как она появилась на земле? С небес?

— Для великих ученых мира сего это пока тайна.

— А я говорю: никаких тайн быть не должно.

— Что дальше?

— А то, что от этого божеством пахнет. Чистой метафизикой! Диалектики не вижу.

— Ну-ка, покажи мне свою диалектику!

— А диалектика говорит: изменения в природе существуют двух родов: количественные и качественные. Иными словами, за счет количественных накоплений происходят изменения качественные путем скачка. То есть в историческую эпоху и сейчас происходит перерож-

дение одних видов в другие. Одни культурные растения перерождаются в другие.

Услышав эти слова, даже Муся вылезла из палатки и подошла к костру.

— Эй вы, мыслители! Слышали о гениальном открытии Филиппа Лясоты?! — крикнул Макарьев.— Морган отменяется!

— Вы все ползаете на брюхе перед этими заграничными морганами. Вот оно, мое открытие,— сказал Лясота.— А ваш учитель Вольнов молится на гены как на икону. Буржуазное наследство вас заело. А я вам говорю — дело не в генах, а в среде.

— Значит, изменяй среду — и будут изменяться растения? — спросил Василий.

— Да. И не только будут сами изменяться, но и передавать по наследству изменения, вызванные средой! — Лясота выкинул свой длинный худой палец.— Это и есть единственно верное материалистическое истолкование происхождения видов.

— А зачем же мы тогда приехали в Якутию за образцами? — спросила Муся.— Давайте здесь изучать среду, а пшеницу привезем сюда из Москвы. Сворачивай дела!

— Вы верно изволили заметить,— ухмыльнулся Лясота.— Я точно так и решил: пора в обратный путь...

— Пора, Мария Ивановна,— толкал Петя в плечо заснувшую Твердохлебову.— Машина готова. В путь!

— Да! — Мария Ивановна очнулась.— Ой, господи! И долго я проспала?

— Порядочно.— Петя хлопнул дверцей и весело крикнул: — Поехали!

«Газик» снова выкатил на дорогу и помчался по широкой неохватной равнине. Мария Ивановна вяло перебирает телеграммы. Вот она взяла журнал со статьей об отце. Портрет Ивана Николаевича. Те же усы, бородка клином, но без шляпы. Она долго смотрит на портрет, и он словно оживает: вот подмигнул ей, как давеший шофер, будто сдвинулся и поплыл... Бородка куда-то пропала, усы стали короче, и вместо прилизанного языка волос — богатая седеющая шевелюра. Это учитель ее, профессор Никита Иванович Вольнов.

— Никита Иванович! — звучит голос матери, Анны Михайловны.— Вы как посаженый отец садитесь в центре, а жених с невестой подвинутся...

Свадебный стол в квартире Анны Михайловны. В центре за столом сидит Анна Михайловна, по правую руку от нее Никита Иванович Вольнов, а уж потом, чуть сдвинутые на край, жених и невеста.

Среди гостей только один Макарьев знаком нам. Все они молодые, шумные — студенты.

В этом окружении и Анна Михайловна помолодела и похорошела. На первый взгляд можно подумать, что это она выходит замуж за Вольнова. Он великолепен в черной тройке, со своей горделивой осанкой.

— Горько! — кричат хором.— Горько!

Муся и Василий церемонно целуются.

— Ах, ну кто же так целуется? — Анна Михайловна даже в ладоши прихлопнула (она пьяненькая).— Господа! Простите, товарищи! Да какие вы мне товарищи? Дети вы неразумные, дети. И целоваться как следует не научились. Как вы жить без нас будете?

— По закону Ньютона! — кричит кто-то.— Тело притягивается к телу.

— Ха-ха-ха! Горько!

— Да погодите вы со своим «горько». Подумаешь, тоже зрелище. Я спрашиваю о смысле жизни!

— Ён в вине!

— Ха-ха-ха!

— Горько!

— Боже мой! Да вы и в самом деле дети. Поцелуев не видели. Никита Иванович, да скажите вы им слово напутствия вместо отца.

Никита Иванович встал. Все тотчас умолкли.

— Что же мне вам сказать? Вы связали свою судьбу с наукой. А служить науке — значит служить истине. Порой это бывает не легко. Проще уступить, пойти на компромисс, на сделку с совестью. Но помните — от совести, как от истины, можно отречься, но обрести их вновь нельзя.— Он поднял бокал.— За чистоту вашей совести! Передвигайте камни науки!

Все встают, пьют.

И вдруг раздается откуда-то другой, скрипучий голос:

— Кто передвигает камни, тот может надсадить себя.

Мария Ивановна вздрогнула и очнулась. Она сидит в бегущем «газике», на коленях ее лежат газеты, журналы, телеграммы. Одну телеграмму она держит в руках. Невольно читает ее, звучит чуть насмешливый голос Лясоты:

— Приветствую и поздравляю вас, передвигающую камни науки.

И опять, вперебой, тот бесстрастный предостерегающий голос:

— Время обнимать и время уклоняться от объятий.

Мария Ивановна оглянулась. Слева, за рулем, сидит Петя, опустив голову. Ей послышалось, что он всхрапнул.

— Петя!

— А! — Он тревожно вскинул голову.— Что такое, Мария Ивановна?

— Ничего... Я, кажется, опять заснула?

— Не знаю, Мария Ивановна. Я сам вроде заснул.

— Ты шутишь?

— Ей-богу, правда! Даже сон видел — будто я сижу верхом на свинье, держусь за уши. Она визжит и тянет меня в болото.

— Эдак с тобой не то что в болото, на тот свет попадешь.

— У меня спотыкач — шоферская болезнь. Со мной разговаривать надо.

— Знаю я твою болезнь. С девками прогулял.

— Да шоферская судьба такая: днем держись за баранку, а ночью бери под крендель.

— Кого?

— А это уж какая попадет...

Бескрайняя сибирская степь с редкими березовыми колками на горизонте; и все это безлюдное пространство заполнено зреющими хлебами. Одиноко катится «газик» по дороге. Приоткрыто лобовое стекло, врывается ветер в машину, треплет на Марии Ивановне пеструю кофточку, раскидывает рассыпчатые седые волосы.

— Петя, тебе в жизни когда-нибудь говорили: служить истине?

— Нет,— ответил тот с ходу.— Истина, она не требует доказательств. Все ясно: истина она и есть истина. Чего же тут стараться служить?

— Но разве так не бывает? Вам говорят — вот истина. А на поверку она оказывается ложью.

— Почему ж не бывает? Вот третьего года возили мы

пшеницу в совхоз «Слава целине». Прямо от комбайна возили на ток и ссыпáли в кучу. Гору Арарат навалили. Ну, мы шумели поначалу: сгорит, говорили, зерно. А нам — не ваше дело. Это, мол, новый метод хранения. Ладно, насыпали. Не прошло и месяца — почернело зерно и пнем село. И кто же виноват? А никто. Вот такая истина вышла.

— А кто вам приказывал возить?

— Замдиректора. Дак что ты ему сделаешь? В глаза, что ли, плюнешь? Ну, плюнь! Он утрется да пойдет дальше. А тебе по шее за это.

— Ну а если этот замдиректора благодарность вам вынесет, поздравлять начнет? Обнимать за плечи? Тогда что?

— Дак наше дело телячье: дают — бери, а бьют — беги.

— В том-то и беда, Петя, что многие так и поступают.

Они подъезжают к большому придорожному селу. Разбитая дорога зигзагом пересекает два сельских порядка. «Газик» резко сбавил скорость — ухабы. Здесь, недалеко от дороги, прямо посреди села насыпана большая куча щебня. Возле нее стояли шумной толпой бабы и ребятишки; они окружили три самосвала и что-то кричали шоферу, грозя кулаками.

— А ну-ка, сверни! — приказала Мария Ивановна.— Что там происходит?

«Газик» подъехал к толпе, Мария Ивановна вылезла из машины. Ее тотчас окружили женщины.

— Что за шум? — спросила она.

— Да это же не шоферы — скоты!

— Только коровы посреди села гадят...

— Жеребцы они! Им на русском языке говорят, а они ржут.

— Дикари они! Печенеги!!

— Да в чем дело? — спросила Мария Ивановна крупную женщину в синем переднике, на голову возвышавшуюся среди остальных.

— Вот мудрец! — указала она рукой на седого мужика в пиджачке и в сапогах, стоявшего на крыле самосвала.— Облюбовал нашу улицу под щебеночный склад! Здесь дети играют. Вон какой луг! Вся наша отрада. Полынь

повыдергивали по былиночке, клены посадили, а он щебень валит.

Луг и в самом деле был превосходный.

— Ну что ты хлопаешь белками? — крикнула ему сухонькая старушонка и погрозила кулачком.— Иль посреди степи места не нашел? Ослиная твоя голова!

— Давай без оскорблений,— отозвался тот с крыла.— А то придется за личность отвечать.

— Твою личность надо уткнуть в эту кучу да вывозить хорошенько! — крикнула могучая женщина.

— Это что за щебень? — спросила его Мария Ивановна.

— Обыкновенно, придорожный склад.

— И сколько же его будет, щебня?

— Восемьдесят тысяч центнеров.

— Кто же вам резрешил посреди деревни открыть склад?

— Вы сперва спросите — для чего щебень? Мы дорогу делаем, по которой повезут хлеб... Целинный!

— Вам что, в степи места мало? — крикнула опять старушка.

— Я вас спрашиваю: кто разрешил в деревне заложить склад? — повысила голос Мария Ивановна.

В это время подкатил самосвал с тем знакомым нам цыганистым шофером. Он лихо развернулся, обдав пылью собравшихся, и с ходу включил подъемный механизм: кузов вздрогнул и стал подниматься.

— Остановите разгрузку! — закричала на него Мария Ивановна.

— Привет, бабуся! — крикнул ей шофер.— Рано базаришь... До города еще далеко.

— Я спрашиваю, черт вас возьми! — Мария Ивановна направилась к тому седому на крыле.— Кто вам разрешил здесь открыть склад? И кто вы? Откуда?

Тот нехотя слез.

— Я прораб дорожного управления. Разрешил нам председатель сельсовета. С вас довольно?

— Садитесь со мной, и поедем сейчас же к председателю сельсовета.

— А кто вы такая?

— Я депутат Верховного Совета. Вот мой документ.— Мария Ивановна вынула красную книжицу и протянула ее прорабу.

Тот обалдело уставился на нее и пролепетал:

— Хорошо... Сейчас... Хорошо...

Он, как-то пятясь задом, дошел до самосвала, мигом вскочил в кабину, и машина сорвалась с места. За ней понеслись, поднимая пыль, и два других самосвала. Цыганистый шофер сказал: «Вот так базар...» Поскорее опустил кузов, воровато озираясь на Марию Ивановну, и тоже укатил.

— Чуют кошки, чье сало съели,— сказал Петя.

— Дак они ушли-то на время,— сказали в толпе.

— Ничего, бабы, от меня не уйдут,— сказала Мария Ивановна.— Где у вас тут сельсовет?

— А вот поезжайте через село, там спуститесь в ложбинку, а потом колок будет — березовый лес, перевалишь через бугор — тут тебе и Голованово,— отвечала могучая женщина.— А там и сельсовет.

— Поехали, Петя!

— Опоздаем в город, Мария Ивановна.

— Ничего, нагонишь!

Головановский сельский Совет. Пятистенный старый дом с высоким крыльцом. Вывеска. Красный флаг под крышей. Возле крыльца остановился «газик». Мария Ивановна вылезла из машины и стала подыматься на крыльцо.

Ее встретила пожилая морщинистая женщина в рябенькой кофточке:

— Вам кого, гражданка?

— Председателя сельсовета.

— Я вас слушаю.

— Меня зовут Мария Ивановна Твердохлебова. Я депутат Верховного Совета.— Мария Ивановна подала свою книжечку.

— Очень приятно. Меня зовут Евдокия Тихоновна.— Она вернула красную книжечку, пожала Марии Ивановне руку и показала на стул: — Садитесь! — Сама села напротив.

— Кто разрешил в Дербеневе заложить щебеночный склад?

— Давыдов звонил... Заместитель председателя райисполкома. Дорожники просят. Я согласилась. Только, говорю, не валите возле памятника. Там у них площадь.

— А вы видели, где они сваливают щебень?

— Нет. Они должны были заехать за мной, чтобы место выбрать, и не заехали.

— Они валят посреди деревни.

— Не может быть!

— Звоните Давыдову!

Председательша сняла трубку:

— Алё! Почта? Дайте мне город... Город? Семена Ивановича Давыдова!.. Алё! Семен Иванович? Здравствуйте! Это Евдокия Тихоновна из Голованова. Ага! Семен Иванович, дорожники щебень валят прямо в Дербеневе, посреди деревни... Как что? Я говорю — посреди деревни! А? Я им не разрешала... До осени? Дак они одной пылью всю деревню задушат. У меня вот тут депутат Верховного Совета Твердохлебова. Она хочет с вами поговорить... Чего? — Евдокия Тихоновна с недоумением поглядела на трубку и положила ее.— Бросил... Говорит, некогда — срочно вызывают. Звоните, говорит, в дорожное управление.

— Понятно,— Мария Ивановна усмехнулась.— Ну, звоните дорожникам.

Председательша стала набирать номер, потом замешкалась:

— Вы бы лучше сами. А то опять бросят.

Мария Ивановна взяла трубку:

— Кого спросить?

— Страшнова Владилена Парфеныча.

— Страшнов? — сказала в трубку Мария Ивановна.

— Он самый,— басом ответила трубка.

— Из Голованова звонят... Кто вам разрешил посреди Дербенева закладывать щебеночный склад?

— Я согласовал с Давыдовым и с председателем сельсовета.

— Это неправда!

— Что?! А кто со мной, собственно, разговаривает? — грозно вопрошала трубка.

— Депутат Верховного Совета Твердохлебова.

Наступила пауза. Потом трубка заговорила мягче:

— Так, товарищ Твердохлебова, я вас слушаю.

— Кто вам разрешил посреди села заложить щебеночный склад?

— Понимаете, у нас срочное задание — к октябрю пустить дербеневский участок дороги. Ну и выбрали место сподручнее.

— А вы спросили тех людей, что в селе живут? Вы подумали: как они жить станут вокруг вашего склада?

— Учтем, товарищ Твердохлебова... Учтем.

— Так вот, щебень заберите оттуда! Пришлите в Дербенево своих людей, а я привезу председателя сельсовета. Выбирайте место где положено.

Мария Ивановна сходит с крыльца и видит: по широкой деревенской улице, по траве-мураве, катит ее отец на высоком старомодном велосипеде. Он весело смотрит на нее и машет ей рукой. На нем все та же соломенная шляпа, белый пиджак, желтые краги. Мария Ивановна пошла к нему навстречу.

— Мария Ивановна, вы куда? — крикнул Петя.— «Газик»-то вот он.

Она остановилась, чуть шатнувшись, взялась рукой за сердце. Петя в один прыжок очутился возле нее.

— Вам плохо, Мария Ивановна?

— Что-то сердце... Я сейчас, сейчас...

— Может, к доктору заехать?

— Нет, пройдет.

Она несколько раз глубоко вздохнула и пошла к машине.

— Зови председателя сельсовета! — сказала на ходу Пете.

Дербенево. Возле щебеночной кучи останавливается «газик». Из машины вылезают Мария Ивановна и Евдокия Тихоновна. Бабы, знакомые нам, окружают их.

— Ну, что? Как? — спрашивают они.

— Все в порядке, бабы. Вот привезла вам верховную власть. Щебень уберут, перевезут на новое место,— сказала Мария Ивановна.

— Спасибо вам, Мария Ивановна! А мы давеча спохватились было, да поздно. Школьники признали вас. Это, говорят, Твердохлебова. Пшеницу которая выводит,— подошла к ней могучая тетка.— Значит, вы та самая?

— Та самая,— смеется Мария Ивановна.

— Хоть молочка попейте, холодное молочко. Прямо из погреба,— подает Марии Ивановне старушка горшок с молоком.— По нынешней жаре это питье в самый раз.

Мария Ивановна приняла горшок:

— Петя, кружку!

Петя подал ей кружку. Мария Ивановна налила себе, а горшок передала Пете. Тот залпом выпил все, что было в горшке.

— Теперь доедем! — и хлопнул себя по животу.
— На здоровье!
— Счастливый путь! — раздавались голоса.
И бабы долго махали им вслед.

Раздался резкий хриплый гудок. Мария Ивановна подняла голову — они подъезжали к речному берегу. По реке шел буксирный пароход, тянул две баржи и гудел вовсю:

— В пу-уть, в пу-уть!

«Газик» спустился с откоса. Моста нет — у берега торчит бревенчатый припаромок, отдаленно смахивающий на колодезный сруб, с настилом поверху. Паром — плоскодонная развалистая посудина с будкой на корме — стоит на том берегу. Тишина и безлюдье. Река неширокая, метров двести, так что на тот берег кричать — хорошо слышно. Шофер сначала посигналил — никто не отозвался. Тогда он вылез из «газика» и закричал:

— Па-ро-ом!

Тишина.

— Паро-о-ом!

Наконец из паромной будки вышел детина в майке, босой, в засученных по колени штанах, упер руки в бока и зычно спросил:

— Чего орешь?

— Ты что, слепой? Не видишь машину? Перевези на тот берег!

— Обождешь.

— А я те говорю — перевези!.. Не то переплыву и по шее тебе надаю,— сказал Петя.

— Я те надаю...— миролюбиво ответил тот.— У меня инструкция, понял?

— Какая еще инструкция?

— Горючее экономим. Значит, поодиночке перевозить нельзя. Только группами.

— Не дури, слышишь?

— Я те говорю — группами съезжайся! Объединяться надо!

— Да с кем я тут объединюсь!

— Подъедут... Подождешь.

— Мы же торопимся. В райком едем!

— Все торопятся... Вас много, а я один.— Детина подался к будке.

— Стой, обормот! Ты грамотный?
— Чего?! — Паромщик остановился.
— Ты газеты читаешь? — кричал Петя.
— Ну!
— Про Марию Ивановну Твердохлебову читал?
— Это которая хлеб ро́стит?
— Ну! Вот я и везу ее.
— А не врешь?
— Чего мне врать?
— Пусть из машины выйдет... Покажется. У меня инструкция. Понял?
— Тьфу, мать твою! — выругался Петя.— Мария Ивановна!
Но она уже вылезала из «газика», смеясь, кричит:
— Паспорт нужен?
Перевозчик ничего не ответил, ушел в будку и в момент завел мотор. Паром отчалил, развернулся и довольно быстро стал приближаться к этому берегу.
Вот он пришвартовался к припаромку, перевозчик быстро натянул причальные канаты и бросил сходни. Петя стал съезжать на паром. Потом поднялась и Мария Ивановна.
— Что ж это вы нарушили инструкцию? — спросила она паромщика.— Одиночек перевозите.
— Вы, товарищ Твердохлебова, не подумайте, что это я из подхалимства,— суетился паромщик.— Чистое мое уважение к науке, и больше ничего.
— Шевелись, пустобрех! — сказал Петя.— Отчаливай! И так полчаса потерял из-за тебя.
— Ай-я-яй, какой невоспитанный шофер! Возит ученого, а ругается как сапожник.
Отдали концы, взревел мотор, и паром ходко двинулся поперек реки, давя, рассекая носом взводень на стремнине.
Когда стали причаливать, детина-паромщик зычно крикнул:
— Судейкин! Ты чего там, ай дрыхнешь?
Из прибрежной избушки проворно вынырнул сухонький старичок в засученных по колена штанах, в майке и, выбежав на припаромок, поймал конец, брошенный паромщиком, и накинул петлю на сваю. Мария Ивановна сошла на берег, за ней посеменил старичок, заискивающе поглядывая на нее, сказал:

— Здравствуйте, Мария Ивановна! Аль не узнаете? Я ж Судейкин. Помните якутскую станцию?

— Сидор Иванович! — Мария Ивановна смотрела на него с удивлением и скорбью, но руки не подавала.

А он ждал с подобострастием, подавшись вперед всем корпусом.

— Как вы здесь оказались? — спросила Мария Ивановна.

— Дак ведь нужда заставит сопатого любить. Вот в сторожа нанялся, подрабатываю. Пенсия маленькая.

— Но почему здесь, а не в Якутии?

— Ге-ге... Не сработались мы после вас с Людмилой-то Васильевной. Тяжелый она человек и зловредный. Она ведь меня под монастырь подвела... Попутала меня. Мол, казенное сено продавал. Какое оно казенное? Я сам его в косил. Ни за что, можно сказать, пострадал. И насиделся я, и из партии исключили. Теперь вот один как перст.

— Да, Сидор Иванович... Вот как оно все обернулось.

— Не говорите, Мария Ивановна! Вы уж меня извините... Ежели я вас и обидел чем тогда, так ведь исключительно по дурости. Зеленый был, совсем глупой.

— Бог вас простит.— Она пошла прочь.

А старичок осмелел и посеменил за ней, сладко улыбаясь, опять стараясь заглянуть в лицо:

— Я ведь чего хотел попросить у вас... Взяли бы меня сторожем к себе. У вас место постоянное, тихое и в тепле все ж таки.

— Не надо! И не просите. С меня хватит и того, что было...

Сурова якутская земля: каменистые осыпи, гольцы, горные склоны, покрытые изреженной тайгой. Словно под крылом самолета, проплывают широкие плесы таежной реки, редкие поселения, разбросанные по таежным распадкам, да неширокие проплешины полей.

Ранняя весна. Вдоль берегов реки на галечных косах еще истлевают голубые ноздрястые льдины, еще голыми стоят лиственницы и березы, а тальники в заводях уже в желтом пуховом налете. Стаи уток постоянно взлетают с воды и низко, долго мельтешат над волнами широкой реки. По реке идет первый пароход. Василий и Муся стоят на палубе, у них уже дети — Володя и Наташа.

Мальчику года три-четыре, а девочка совсем еще маленькая, на руках у отца. Пароход дал долгий хриплый гудок и стал причаливать к пристани. На дебаркадере надпись полукругом: «Вознесенское».

— Вот мы и дома,— говорит Василий.

Длинный рубленый дом барачного типа на отшибе от села. Возле дверей фанерная дощечка с надписью: «Вознесенская опытная сельскохозяйственная станция». Василий с чемоданами, Муся с детишками, сопровождающий их старый якут с огромными узлами подходит к двери.

— Сюда, понимаешь. Чего стали? Стесняй не надо. Якуты так говорили: заходи — хозяин будешь! — сказал старик.

Они проходят в коридор. Здесь якут открывает комнату:

— Это вам готовил. Сам печка топил!

Он бросает посреди комнаты узлы. Трогает рукой печку:

— Попробуй! Картошка испечь можно.

Василий, потом Муся притрагиваются к печи, радостно отдергивают руку.

— Как сковородка. Шашлык жарить можно,— сказал Василий.

— А как вас зовут? — спросила Муся старика.

— Аржакон.

— Вася, у тебя же дядю, кажется, зовут Аржаконом?

— А вот он и есть мой дядя,— сказал Василий, улыбаясь.— Правда, Аржакон?

— Конечно. А почему нет? Был дядя — стал дедушка, понимаешь? — Аржакон усмехнулся, покачал головой.— Борода нет — кто бабушкой зовет. Тоже неплохо.

Василий и Муся смеются.

— Вы что же здесь, на работе? — спрашивает Муся.

— Моя работа — такое дело: смотри за всеми — ничего не делай.

— Значит, ты самый главный начальник,— говорит Василий.

— Начальник уехал в Якутск. Моя оставил. Может, рибка хотите? Свежая есть — тала.

— Тала? А что это такое? — удивилась Муся.

— Строганина из сырой рыбы,— ответил Василий.

— Да кто же ест сырую рыбу? — удивилась Муся.

— Все едят, понимаешь,— ответил Аржакон.— Сырая рыба дух бодри.

— Да ты попробуй! — сказал Василий.

— Ну ладно,— соглашается Муся.— А где она, свежая рыба-то?

— Речка плавай,— ответил Аржакон.— Сейчас ходи поймай.

Все смеются. Аржакон уходит.

— Кстати, а где живет твой дядя? — спросила Муся.

— Не знаю.

— Как не знаешь?

— Ну, так. Он пропал в гражданскую. Ушел в Забайкалье... Оказался на территории Дальневосточной республики. А потом и след простыл...

— Ну что ж мы стоим? Развяжи-ка этот узел! Там у меня вировские образцы пшеницы и овса.

— Да подожди ты с семенами. Надо расположиться сперва.

— Располагайся, хозяйничай! А я сбегаю поля посмотреть.

Муся хлопнула дверью и вышла.

— Папа, пи-пи! — сказал Володя.

— Сейчас.— Василий достал из сумки горшок и стал расстегивать штаны на мальчике.

Опытные поля станции раскинулись на самом берегу Лены. Пожилая женщина, укутанная в шаль, водит Мусю по полям, отвечает равнодушно. Это Марфа — работница станции.

— Сколько дней длится вегетационный период?

— Не знаю. Селекционер уехал, ничего не сказал.

— Но он же вел записи?

— Какие там записи! Пил он целыми днями. Тут, говорит, не токмо что пашеница — овсюг и то не созреет.

— Но вы же собирали колоски? Образцы-то местные храните?

— Да чего их собирать, колоски-то? Они сроду не вызревали.

— Сеяли же рожь или овес?

— Сеяли.

— Куда же их девали?

— На сено скашивали. Лошадям.

— А чем занимались рабочие?

— Рыбу ловили, сено заготавливали. А кто и за пушниной ходил.

— Сколько вас было?

— Я да Чапурин. Вон еще якут, Аржакон.

Аржакон шел от реки и нес здоровенного ленка.

— А из начальства которые, постоянно менялись. Тут, говорят, озвереешь или осатанеешь от вина. Дак ить они и пили ведрами. Теперешний, слава богу, в рот не берет. Он комсомолец.

— Он что, в Якутске?

— Рыбу повез продавать... Летом рыбу, зимой сено... Оборот налажен.

— А почему не вызревала пшеница?

— Кто ее знает? Земля холодная.

— Поздние заморозки случаются?

— Бывают. Иной раз в июне иней на траву выпадает.

— Н-да, весело живете,— сказала Муся, подняла горсть земли, помяла в руке, потерла пальцами.

Подошел Аржакон с рыбой. Муся спросила:

— Инвентарь-то хоть есть какой?

— Чего?

— Ну, плуги там, сеялки?

— Сеялок есть — колеса нет,— ответил Аржакон.

— Куда же они делись?

— Растащили на телеги... А может, и пропили,— ответила Марфа.

— Ну что ж, будем сеять по доскам,— сказала Муся.

— Как это «по доскам»?

— Увидите.

Первая весенняя посевная на якутской земле. Чапурин, невысокий колченогий мужик с широкой, как ладонь, лысиной, идет за сохой. Идет сурово насупившись, изредка покрикивая на лошадь:

— Ближе! Ближе!.. Вылезь, ну! Вылезь! Но!

Аржакон боронит — сидит верхом на лошади и мурлычет свои «ырыата».

Муся и уже знакомая нам Марфа сеют «по доскам». Муся одной доской делает бороздку, высевает в нее семена, второй доской присыпает и, чтобы не топтать посев, становится на эту доску. Марфа каждый раз, когда Муся прижимает ногой доску, произносит:

— Та-ак! Та-ак! Та-ак!..— Потом просит у Муси доски.— Эдак-то и я сумею.

— Ну-ну! — Муся передает ей доски.

Василий приносит новые мешочки с семенами:

— Здесь вировский овес... Тут ячмень. А это вот тобой собрано в экспедиции.

Муся берет на руку зерно из последнего мешочка:

— Да, это олекминская пшеница. Местный сорт.

— Ну, не совсем местный. До ее родины добрых полтыщи километров. А то и всю тыщу намеряешь,— сказал Василий.

— Начальника едет! — крикнул с лошади Аржакон.— Вон его катер немножко трещит.

Небольшой катерок, попукивая, подходит к берегу. На поле невольно приостановились, смотрят на катер.

Из катера легко выпрыгнул щеголевато одетый молодой человек. На нем хромовые сапожки, серый френч с накладными карманами, фуражка. Он из того типа людей, про которых в народе говорили «полувоенный». Это тот самый Судейкин, но молодой и прыткий. Чуть пригнувшись, выбрасывая вперед колени, поднимался он по речному берегу. У него еще и планшетка оказалась через плечо, на тоненьком ремешке. Он даже руку приложил к фуражке, когда поздоровался, подойдя:

— Здравствуйте, товарищи!

Но рука коснулась фуражки неловко, дугой. Василий чуть иронически смерил взглядом его верткую фигуру и крепко тиснул ему руку, так что «полувоенный» поморщился.

— Давно из армии? — спросил Василий.

— В армии не был,— чуть замялся тот.— Военобуч проходил по решению ЦК комсомола Якутии.— И тут же, спохватившись: — Меня зовут Сидор Иванович, по фамилии Судейкин.

— Силантьев Василий Никанорович,— ответил Василий.

— Я уж в курсе. Опытную станцию мне приказано сдать вам. А я остаюсь при вас заместителем по хозяйственной части.

— Завотделом селекции Мария Ивановна Твердохлебова,— представил жену Василий.

— Сидор Иванович,— протянул руку Судейкин.— Рабочих по отделу селекции разрешено нанимать сезонно — не более пяти человек. Штатное расписание здесь,—

указал он на планшетку, и обратился к Василию: — Разрешите приступить к передаче?

— Пойдемте.

Василий и Судейкин двинулись к конторе.

— Извиняюсь, вы не комсомольцы? — спросил на ходу Судейкин.

— Я член партии, а жена выбыла механически, — ответил Василий.

— Извиняюсь, это вам минус.

— Почему?

— Не работали с ней по единой линии, вот она и выпала из рядов.

— Она беспартийный большевик.

— Ну, тогда мы и ее должны охватить.

— Чем это ее охватить?

— Программой всеобуча. Изучение противогаза, винтовки образца девяносто первого дробь тридцатого годов, комплексом ГТО, стрельбой по мишени.

— У нее теперь своя стрельба пойдет на опытном поле.

— Какая стрельба? Неорганизованная стрельба строго запрещается.

— Успокойтесь... У нее организованная.

И на поле возобновилась прерванная работа.

— Ближе! Но! Ближе! — покрикивает Чапурин на лошадь и идет за сохой, насупленно смотрит в землю.

— Та-ак, та-ак, — повторяет Марфа, придавливая одну за другой доски, пытаясь не отставать от сноровисто сеющей Муси.

А над их спинами, как песня жаворонка, протяжно льется заунывная «ырыата» Аржакона.

Короткая якутская весна протекает бурно; еще только вчера на голых речных берегах, в глубоких и черных проемах обнаженного леса чуть желтели ивняковые островки, а сегодня зазеленел подлесок, выбросила клейкие, резные листочки береза, окуталась салатным пушком лиственница. Еще только вчера табунились стайками над рекой утки, а сегодня одинокие селезни тоскливо жмутся к камышовым зарослям, где на гнездах сидят их присмиревшие подруги; еще вчера в сизом, вязком небе тянулись частые клинья гусей и журавлей, а сегодня по вечерам с глухих болот на таежных распадках послышались гортанные, высокие клики журавлиных песен, и на ранней светлой зорьке почти незакатного дня с черных

укромных проток да заводей ударил раскатистый трубный зов одинокого оленя.

Весна и лето слились в одном ликующем порыве пробуждения — взять от солнца, от земли, от этого теплого ветра, от влаги все для короткой и бурной жизни.

На полях опытной станции, где еще только вчера сеяли, сегодня густо зеленеют всходы, и две одиноких фигурки — Муси и Марфы — склонились в прополке и кажутся совсем точками на этом мягком огромном разливе зеленей.

Маленький Володя подбегает к пропольщицам и кричит:

— Мама, сегодня день давно уж кончился. Папа говорит: ночь началась. Спать пора.

— Ах ты, мой звоночек! — Муся берет его на руки.— Значит, маму пожалел?

— Нет, я тебя не жалел. Это папа меня послал.

— Слышишь, Марфа? Начальство приказывает бросать работу,— говорит Муся.

Марфа встала с колен, с трудом разогнула спину, уперев руки в поясницу.

— О господи боже мой! Спина одеревенела.— Оглядывает прополотую полосу.— Ну, Марья Ивановна, за вами и на четвереньках не угонишься.

— Это не я тороплю, Марфа,— время гонит. Если трава забьет всходы, тогда пиши пропало, не успеют они созреть.

— Так-то оно так. Потянем их. Господь даст — и вызреют.

— Тут, как говорится, на бога надейся, но сам не плошай. А вот с опылением нам вдвоем не справиться. Надо бы еще кого-то пригласить,— говорит Муся.

— Хотите, я племянницу позову?

— Где она? Что делает?

— В школе учится, в восьмом классе.

— Это хорошо. Это у нее вроде практики станет... Пригласи.

Они идут к длинному бревенчатому бараку, к своей конторе и своему жилью. У порога их встречает Василий:

— Привет старательным культурхозяевам! Вы что же нас голодом морите?

— То-то видно, как вы истомились, бедные,— отвечает Муся.

Из-за плеча Василия выглядывает Судейкин, а в глубине стоят Чапурин и Аржакон. Все в сборе.

— Вы что, или женить кого собрались? — спросила Муся.— По какому случаю сбор?

— А вот проходите и узнаете... Мы тоже не бездельничаем,— загадочно улыбается Василий.

Он ведет Мусю по коридору. Остальные идут за ними. Рядом с их комнатой над очередной дверью дощечка с голубой надписью: «Селекционная лаборатория».

— Видишь? — указывает Василий.

— Солидная вывеска,— улыбается Муся.— Неужели сам сотворил? Живописец!

— Минуточку! — Василий торжественно растворил дверь и королевским жестом пригласил: — Прошу, товарищ заведующий отделом селекции!

Муся перешагнула порог и ахнула: на свежеструганных аккуратных полочках стояли колбочки, пробирки, стеклянные банки, плошки, а на столе красовался новенький, сверкающий никелем микроскоп и пачка журналов и тетрадей.

— Откуда? Когда? — удивленно спрашивала она.

— Оборудование доставил сегодня из Якутска,— сказал Судейкин.

— А полки, полки-то? Какая прелесть!..— удивлялась Муся.

— Золотых дел мастер,— указал Василий на Чапурина.— Его работа.

— Андрей Егорыч, вы и это умеете?

— Дак дело нехитрое. Было бы из чего,— смущенно отвечал Чапурин.

— И все, почитай, одним топором сработано,— сказал Василий.

— Дак умеем топор держать. Дело нехитрое,— сказал Чапурин.

— У нас еще и почвенная лаборатория оборудована,— сказал Судейкин.

— Сидор Иванович, это уже разглашение военной тайны,— сказал Василий.

— А ну-ка, ну-ка! — подхватила Муся.

Они перешли в соседнюю комнату. И здесь такие же полочки с расставленными приборами, стол, принакрытый газетами.

— А что у вас на столе-то? — спрашивает Муся.

— Почвенные образцы,— отвечает Василий.

— Когда же вы успели? Покажи-ка!

Муся подходит к столу, Василий срывает газеты. На столе — водка, вино и закуски. В центре стола огромная миска, полная розовой строганины из тайменя с луком.

— Это главное произведение искусства — тала! — указывает на чашку Василий.— Принадлежит оно Аржакону. Что есть это? Рыба. А что есть рыба? Аржакон, ответь!

— Ну, риба есть — и жизня есть! Риба нет — и жизня нет.

— Правильно! — заключил Василий.

— Но по какому случаю? — спрашивает наконец оторопевшая Муся.

— По случаю открытия нашей опытной селекционной станции. Все за стол! — командует Василий.

Люди рассаживаются; Василий разливает водку и вино:

— За тот хлеб, который мы вырастим на этой земле!..

Широкое поле цветущего ячменя. Шелестящие овсы... А сочные короткие стебли пшеницы только еще начали колоситься.

Муся стоит на краю деляны ячменя, трогает руками колосья, словно малого ребенка гладит. К ней подходит Марфа с высокой, худенькой, но крепкой девушкой-подростком и говорит:

— А вот и моя племянница!

Муся протягивает ей руку, как взрослой:

— Меня зовут Марией Ивановной.

— Здравствуйте,— лепечет Люся.

— Ты знаешь, что такое селекция?

— Нет.

— Вот гляди: здесь ячмень, а это пшеница. Тут колос большой, а здесь нет еще. Надо нам вырастить такую пшеницу, чтобы она созревала раньше ячменя.

— А когда мы ее вырастим? — спрашивает Люся.

— Может, через десять, а может быть, и через двадцать лет. Не надоест тебе ждать?

— Я терпеливая. Я с детства пряду... И ткать умею.

— С самого детства! — улыбается Муся.— Да, стаж терпения у тебя большой. Тогда приступим к опылению.

Муся берет пинцет и начинает удалять пыльники.

— Вот, видишь, как это делается?.. Пыльники долой, пестики оставляешь... Потом опыляем, пыльцу берем отсюда... Вот это и есть скрещивание. А теперь — под колпак.— Муся надевает белый колпачок на колос.

— Как в больнице,— усмехается Люся.

— Правильно! Здесь тоже зарождение происходит, только нового зернышка.— Ну, бери инструмент... Прививай.

Люся начинает обработку колоска, от усердия прикусив губу.

— Та-ак! — подбадривает ее Марфа.

Они втроем начинают обработку деляны.

Солнце уже свалилось к закату, а они все еще стоят по грудь в зеленом ячмене, а за ними широкая деляна покрылась белыми колпачками.

Быстрые пальцы ловко снимают изоляторы с колосьев. Муся, обработав деляну ячменя, останавливается опять возле пшеницы. Медленно-медленно ходит вдоль деляны.

— Ну, что, плохо, Мария Ивановна? — спрашивает ее «из овсов» Марфа.

— Растет, но туго,— отвечает Муся.— Только бы похолодания не было. Тогда прощай наши пшеницы...

— Сколько трудов положено! — вздыхает Марфа.

Люся работает рядом с Марфой, на них легкие безрукавные кофточки.

— Что-то холодно под вечер стало,— говорит Муся.— Давайте-ка сегодня пораньше уйдем. А то как бы Люся не простудилась.

— Да мне вовсе не холодно,— отзывается та.

— Нет уж, кончайте... Хватит на сегодня,— Муся срывает несколько зеленых колосков пшеницы.

С этими колосьями она подходит к дому. Увидев ее, с громким криком подбежал Володя:

— Мама, мама! Папа сказал — холодно будет.

— Когда это сказал папа?

— Сегодня...

Муся проходит в почвенную лабораторию. Василий сидит за столом, работает — смотрит в микроскоп.

— Кто сказал Володьке, что холод будет? — спросила она.

— Вон, сводка погоды! С метеостанции передали. Понижение температуры, вплоть до заморозков.

— Боже мой! Заморозки в августе?

Входит Аржакон.

— Топить будем, такое дело?

— Да,— отвечает Василий...

— Пропала моя пшеница... Не вызреет,— говорит Муся.

— Я знаю такое место, где пшеница всегда поспевай,— сказал Аржакон.

— Что за место? — спросила Муся.

— Мой друг есть. Далеко живи. Надо на лодке ехать.

— Кто он такой?

— Его кержак. Пантелей зовем...

— Вы можете со мной съездить? — спросила Муся.

— А почему нет? Можно, такое дело.

— Поедем завтра же, утром.

Легкая долбленая лодка поднимается вверх по лесному ручью. Аржакон стоит на корме и отталкивается шестом. Ручей каменистый, порожистый, лодка идет медленно. Муся сидит впереди.

— Устал, наверно? — спрашивает Муся.

— Есть такое дело, немножко,— отвечает Аржакон.

— Давай я помогу, потолкаю,— говорит Муся.

— Сиди смирно! Женщин имей ноги слабые. Стоять лодка нельзя.

— Ты прямо все знаешь, Аржакон!

— Конечно,— смиренно соглашается тот.— А почему нет?

Укромная лесная протока. Вода тихая, темная, как машинное масло. Лодка идет быстро, бесшумно. Наконец Аржакон выпрыгнул на берег и вытянул лодку.

— Вылезай! Приехали, такое дело.

По еле заметной тропинке Аржакон пошел вперед, в лесную чащобу. Муся за ним. Вскоре они вышли на просторную поляну. Здесь было поле необычно низкорослой, по локоть, желтеющей пшеницы. Муся как увидела эту маленькую пшеницу с большим колосом, так и припала на колени.

— Это же карликовая пшеница! Карликовая! Загадка веков... Понимаешь, Аржакон?

— Конечно.

— И колос цветет вовсю. Она созреет, непременно созреет.

— А почему нет?

Муся сорвала один колосок, положила на ладонь.

— Ну, пошли к хозяину.

На другом краю этого обширного поля, возле самого облесья, стоял добротный крестовый дом из потемневшей коричневой лиственницы, а за ним двор, амбар, поленницы и, наконец, на отшибе молотильный сарай. Все здесь сделано прочно, экономно.

Когда Муся и Аржакон подходили к дому, залились собаки, и сам хозяин вышел на крыльцо. Это был еще относительно молодой мужик без шапки, с кудлатой рыжей головой, в оленьей безрукавке, в бахилах из сохатиного камуса, он высился горой на крыльце.

— Цыц! — зычным окриком унял он собак.— Проходите, они не тронут,— прогудел и, не здороваясь, сам прошел в избу.

В чистой передней комнате, с большой русской печью, с божницей в красном углу, он поздоровался легким поклоном:

— Здравствуйте! Проходите к столу.

На лавке у стола сидела миловидная женщина в длинной поневе и в белой полотняной кофте с красным шитьем на рукавах. Рядом с ней сидели и смирно глядели на вошедших два мальчика.

— Пантелей, я тебе привозил ученый. Его Москва ездил,— указал Аржакон на Мусю.— Теперь у нас на станции работай.

— Меня зовут Мария Ивановна...

— Милости просим,— повторил Пантелей, приглашая гостей к столу.— Авдотья, собери на стол!

Хозяйка встала из-за стола, прошла к печке.

— Может, молочка топленого испробуете? С кашей... Может, мясца? — спросила она Мусю.

— Спасибо, мы не хотим.

— Тебе не хочет, моя хочет. Тебе лодка сиди, моя шестом толкай. Не одинаково, понимаешь.

Все засмеялись. Стало как-то проще. Хозяйка накрыла на стол, беседовали, рассевшись по лавкам.

— У вас всегда вызревает пшеница? — спросила Муся.

— Всегда,— ответил хозяин.

— А сколько же лет вы здесь сеете?

— Не знаю. Еще дед мой раскорчевал эту заимку. Мне она досталась при семейном разделе.

— Значит, это заимка? А где же ваш основной дом был?

— В Вознесенском. Там отец проживал.

— А где же он теперь?

— Сослали в Сибирь.

— В Сибирь?! Куда уж еще из Якутии?

— Лес заготовлять. Говорят, кулак.

— Что значит — говорят?

— Значит, так определили. А какой же кулак отец мой? Вон Рындин был кулак! Рыбный завод держал... Работников имел. А отец мой сам всю жизнь хрип гнул, не токмо что работников нанимать. Дак мы сами плотники, сами все и смастерили. Какие же мы кулаки?

— И вас с Авдотьей притесняют?

— Покамест нет. Мы в середняках числимся.

— А вы жалобу писали насчет отца?

— Писал, да что толку? Может, отца бы и не тронули, да нужда случилась. Артель охотничью создали, а конторы не было. Вот и заняли дом моего отца под контору да под пушной склад.

— Кто же так распорядился? Это ж нечестно!

— Судейкин.

— Сидор Иванович?

— Он эту артель создавал. А потом ушел на станцию. Теперь и спрашивать не с кого.

— Нет, это дело нельзя так оставить. Я мужа попрошу — пусть съездит в Якутск.

— Где уж там...

Хозяйка меж тем накрыла на стол и даже поставку медовухи налила.

— Кушайте на здоровье, кушайте!

Хозяин налил медку себе и Аржакону. Муся пить отказалась.

— Я к вам с большой просьбой: нельзя ли у вас выкроить небольшую деляну? Для моих опытов. Мы все это оплатим вам, по договору.

— Какие же вы опыты хотите провесть? — спросил хозяин.

— Я хочу вывести такой сорт пшеницы, чтобы он созревал и здесь, и в Вознесенском... Повсюду в Якутии.

— Хорошее дело! Ну что ж, столкуемся.

— Ваше дело толковать, мое дело выпивать,— сказал Аржакон, поднимая кружку.

— На здоровье! — сказал хозяин.

Контора опытной станции. За столом сидит Василий. Рядом на стульях Муся и Судейкин.

— Как же так случилось, Сидор Иванович, что вы отобрали дом у Филата Одинцова? — спросил Василий.

— Очень просто — экспроприация экспроприаторов,— ответил бойко Судейкин.

— Какой же он экспроприатор, если у него не было батраков? — спросила Муся.

— Все равно — жил на широкую ногу. То есть паразитически-буржуазный образ вел.

— Он плотник... Середняк! Я проверяла! — крикнула Муся.

— За счет кого же он паразитировал? — спросил Василий.— За счет вас?

— Ну, это не обязательно, чтобы лично кто ему прислуживал. Он всех обирал.

— Каким образом? — спросил Василий.

— Больше всех наживался за счет продажи хлеба,— ответил Судейкин.

— Чей же он хлеб продавал? — спросила Муся.

— Свой.

— Ну и вы свой продавали бы,— сказал Василий.

— А у меня его сроду не было,— с гордостью ответил Судейкин.

— Почему? Земля-то у вас по едокам была поделена.

— Потому что у него скота много было, навозу то есть. Две лошади, две коровы да свинья с поросятами. Опять для наживы...

— И вы бы развели скот. Что в том плохого? — спросил Василий.

— А то, что я артель создавал, а он в сторону глядел.

— Мало ли кто куда глядел. Это еще не основание для репрессии. И я бы вам советовал написать письмо в РИК, чтобы пересмотрели дело Филата Одинцова.

— И не подумаю. И вам не советую связываться с его сыном. Это как же, оказывается, поддержка всяким элементам?

— А вы читали статью товарища Сталина насчет головокружения от успехов? — спросил Василий.

— Читал. Но я теперь не занимаюсь коллективизацией, значит, она меня не касается.

— Правильно! — улыбнулся Василий.— А ты оборотистый!

— Мы приехали сюда новые сорта пшеницы выращивать, а не заниматься глупостями! — вмешалась Муся.

— Вот как! — Судейкин весь залился краской и встал.— Классовая борьба поважнее всех наших пшениц и овсов. Я свое дело сделал — предупредил вас. Поступайте как хотите.— Судейкин вышел.

— Вот блоха-то на теле классовой борьбы,— усмехнулся Василий.— Ну, что будем делать?

— Надо ехать на заимку. У меня на подходе несколько колосков олекминской пшеницы. Проведу опыление там, на месте... Чувствую — тут что-то интересное может завариться.

— Ну, добро! Бери Марфу, Люсю, и Аржакон вас доставит. А я утрясу это дело в районе.

Аржакон, Муся, Марфа и Люся подходят к заимке Пантелея. Хозяин с хозяйкой встречают их еще на дороге.

— Проходите в избу! — приглашает Авдотья.

— Нет, сегодня нам некогда,— говорит Муся.— Пантелей Филатович, для начала нам хватит восьмой части десятины. Вы нам отмерьте. А рассчитываться будем так: подсчитаем средний урожай на вашем поле, и сколько придется на осьмушку, заплатим по базарной цене. Согласны?

— Дело,— ответил Пантелей.— Дак вы проходите на поле, а я сейчас принесу сажень и колья.

Пшеничное поле. Четыре женщины, пригнувшись, начали свое нелегкое кропотливое дело. А в летнем северном небе ходят кругами острокрылые стрижи. Они резвятся и над затерянной в тайге заимкой, и над обрывистыми берегами широкой таежной реки.

Василий едет по реке на катере, смотрит на далекие берега, на безоблачное белесоватое небо.

Впереди показался город Якутск. Василий останавливает катер в затоне и говорит мотористу:

— Ждите меня здесь. В случае необходимости справьтесь в райзо. Пока! — Василий уходит.

Райземотдел. Дверь с дощечкой «Заведующий райзо». Василий подходит к двери.

В кабинете встречает его пожилой человек, сдержанно-учтивый, в легком шевиотовом костюмчике.

— Здравствуйте, Василий Никанорович! — протягивает из-за стола руку заведующий.— Прошу присаживаться.

Василий, поздоровавшись, сел.

— Что там у вас за конфликт? — спросил заведующий.— Говорят, что вы начали кампанию за возвращение кулаков?

— А-а... Судейкин натрепал.

— Не знаю, кто натрепал. Но мне из райисполкома звонили и предупредили, чтобы вы занимались своим делом.

— Кто там звонил?

— Ну, фамилии я не спрашивал.

— Даже не спрося фамилии, вы уже решили: кто звонит оттуда, тот и прав?

— Я не хочу заниматься посторонними делами и вам не советую. У нас и своих хватает.

— Если человека незаслуженно, незаконно наказали? Неужели это вас не касается? Вы что, ничего не слыхали о перегибах?

— Есть люди, которых специально уполномочили разбирать эти перегибы. Вы-то чего волнуетесь?

— А я волнуюсь потому, что в наших учреждениях у некоторых своя рубашка ближе к телу. Своя хата у них с краю... А между тем партийный билет носят в нагрудном кармане.

— Это намек?

— Вы догадливы.

— А вы невыдержанный молодой человек. Мне еще сообщили, что вы вступили в сделку с кулацким элементом. И на его заимке чуть ли не опытное поле открыли?!

— Это клевета! На заимке Одинцова скороспелая пшеница, нужная нам позарез.

— Заведите себе такую же.

— Вот этим мы и занимаемся.

— На кулацкой заимке? — усмехнулся заведующий.

— Где угодно. И у самого господа бога смогли бы подзаняться, будь у него опытное поле.

— Ну что же, ваше дело — ваш ответ. А вы, между прочим, читали последнюю статью товарища Лясоты «Революция в ботанике»?

— Читал эту галиматью! — ответил Василий.

— Вон вы как! Товарищ Лясота правильно говорит — старые методы селекции не для нас. Черепашьи методы! А то еще и раковые! Назад пятитесь, к богу.

— Нам некогда играть вперегонки.

— Вот-вот... Товарищ Лясота так и говорит — в застойные болота превратились опытные станции. Надо заниматься передовыми методами земледелия. Продукцию выдавать на-гора! Пример показывать для колхозов. Продукцией! А вы по заимкам шляетесь.

— За свои дела мы умеем держать ответ, — сказал Василий.

— Желаю удачи.

Василий вышел.

— Мария Ивановна, а почему вы на делянах оставили несколько колосков под бумажными колпачками? — спросила Люся.

Они идут по деляне с ячменем, где когда-то проводили опыление. Мария Ивановна срывает эти редкие колоски под белыми колпачками.

— А это чтобы проверить, как чисто мы сработали. Если в колоске зерен нет, значит, мы удалили все пыльники и он не самоопылился. Вот видишь, — Муся подает ей колосок из-под колпачка, — он совсем пустой, мягкий... Потрогай.

Люся взяла колосок, помяла.

— Как интересно!

Снизу, от пристани, поднимался Василий. Муся, заметив его, быстро пошла навстречу.

— Ну, что стряслось? Зачем вызывали? — спросила она.

— Судейкин накляузничал...

— Насчет Пантелея?

— Да.

— Ну и что? Запретили?

— Отстоял...

— Спасибо, милый! — Она целует его.— Значит, можно продолжать на заимке?

— Продолжай,— говорит он весело.

Серп режет пшеницу. Ловкие женские руки крутят свясло, вяжут снопы. Вот уже целый крестец, второй, третий.

Укладывают снопы Муся, Авдотья, Марфа, Люся...

Мы видим, как летят эти снопы на телегу... Воз растет до поднебесья. Его утягивают деревом.

Поскрипывая, телега катится по травянистой дороге. Пантелей идет сбоку.

И вот уже цепы мелькают в воздухе... Летит зерно во все стороны. На току лежат снопы...

Лопата подкидывает зерно высоко-высоко, оно опускается на землю медленно, и так же медленно отлетает от него полова. Ворох золотистого зерна все растет и растет...

— Цены ему нет! Оно дороже золота,— говорит Муся.

Они стоят все вшестером возле этого вороха, и каждый берет на ладонь и разглядывает зерно, будто бы оно и впрямь чудо.

— Мы из него вырастим такой сорт, которому никакой холод нипочем. По всей Якутии пойдет,— говорит Муся.— Вы его берегите как зеницу ока, Пантелей Филатыч. Вы его в отдельный сусек ссыпьте.

— Об чем беспокоитесь? Все будет как надо.

— А по морозу, как только первопуток установится, мы приедем за зерном.

— Приезжайте, милости просим.

Василий мастерит детишкам тележку, прилаживает плетеный короб на четыре деревянных колеса.

— Вот сейчас наладим телегу, сядем и поедем.

— А куда мы поедем? — спрашивает Володя.

— Далеко... На Северный полюс.

— Это там, где мама работает? — спрашивает Наташа.

— Ну, мама работает чуть поближе,— отвечает отец.

— А почему же тогда она домой не приходит?

— Она приходит, когда вы спите.

— А когда же она уходит? — спрашивает Володя.

— И уходит, когда вы еще спите.

— Значит, мама наша не спит,— решил Володя.

Чапурин и Аржакон вносят в коридор охапки снопиков из ячменя и овса и проносят их мимо Василия в лабораторию. За ними появляется Муся, в фартуке у нее пшеничные колоски. Она остановилась:

— Вась, погляди! Вот и все, что я смогла собрать на наших делянках,— показывает она колоски Василию.

— Это олекминский сорт?

— Все тут. И вировские, и олекминские. Все питомники забраковала — не созрели. Вот и вся элита.

— Зато у Пантелея много.

— Да, на Пантелееву пшеницу вся надежда.

— Мама, ты больше не уйдешь от нас? — спрашивает Володя.

— Милый мой! — она поцеловала его.— Вот подойдет зима, еще надоем тебе.

— Мария Ивановна, а можно мне и на будущий год прийти? — спрашивает Люся, стоявшая за ее спиной.

— Конечно, дорогая, если тебе интересно.

— Мне очень, очень интересно! Я поступлю обязательно в институт. Вот только школу окончу.

— Спасибо тебе за старание! Зимой учись как следует.

Зима. Сквозь окно селекционной лаборатории видно, как летят белые снежинки. Муся и Марфа сидят, сортируют семена, пересчитывают, ссыпают в бумажные пакетики. Теперь на стенах развешаны апробационные снопики, на полках колоски.

Входит Чапурин.

— Лошадь запряжена... Поедем, что лича?

Чапурин и Муся подъезжают на дровнях к заимке Пантелея. Вот и поля, теперь опустевшие, сарай, овины хлебные. А вот и дом. Но странно — не лают собаки, не видать ни хозяина, ни хозяйки. На крыльцо вышел ветхий мужичонко с ведрами, в нагольном полушубке и валенках.

— Вам кого? — спросил он Мусю.

— А где Пантелей Филатович?

— Хозяин что ли?

— Да.
— Ён теперь далеко.
— Куда он уехал?
— Туда, куда повезли. А куда повезли, одному богу известно. Да вы иль не слыхали? — удивился он наконец.— Его же выслали. Здесь теперь живет бригада лесорубов.
— А где Авдотья с детьми?
— В амбаре.
— Там же холодно?
— Они «буржуйку» приспособили. Привыкнут!
Муся быстро пошла к амбару. Здесь и в самом деле из крыши торчала труба, из которой густо валил дым. Она постучала. Открыла ей Авдотья и, как увидела ее, закрылась углом платка и заголосила. Муся обняла ее за плечи.
— Как же это случилось-то?
От «буржуйки» поглядывали мальчишки, одетые в пиджаки и валенки. Авдотья откашлялась, утихла, открыла заплаканное лицо.
— Вечером приехали на двух подводах. Скотину увезли и его посадили... А потом уж этих вот, лесорубов, привезли, а нас в анбар переселили...
Авдотья прошла к сусеку.
— Зерно-то ваше в сохранности. Пока не добрались до зерна-то. Забирайте...
— Спасибо! И вот что, Авдотья, собирайся! Детей собирай, и поедем с нами.
— Да куда же мне ехать? — заплакала опять Авдотья.— Кому я нужна?
— Мы вас проведем рабочей. И комнату вам дадим.
— Спасибо вам, кормилица! Матушка-заступница...— завопила Авдотья и повалилась перед Мусей на колени.— Всю жизнь за тебя бога молить буду.
Глядя на мать, горько заплакали дети.
— Что вы? Что вы? Встаньте! Разве так можно? — говорила Муся, пытаясь поднять Авдотью.
— Чапурин, собирайте детей! — приказала Муся.
Авдотья мигом встала.
— Да вы уж не обессудьте. Я сама быстренько соберусь. А вы зерно-то, зерно грузите в мешки. Там вон и мешки приготовлены.
Чапурин взял мешок, развернул его, пощупал и сказал:

— Добрый мешок... Травяной! Начнем, что лича!

Муся с Авдотьей стали держать мешок, а Чапурин насыпать зерно.

Подвода с Мусей, Авдотьей с детьми и Чапуриным подъезжает к станции.

— Сгружай пшеницу,— говорит Муся Чапурину и решительно идет в дверь.

Комната Судейкина. По стенам развешаны осовиахимовские плакаты: разрезы винтовки и противогаза, окопы полного профиля, с красноармейцами, ползущие по-пластунски стрелки и прочее. Судейкин сидит за столом, подбрасывает костяшки на счетах.

Входит Муся.

— Сидор Иванович, мы приняли новую рабочую. Квартиры пока у нас нет. Придется размещать в вашем кабинете.

— То есть как в моем кабинете? А мне куда?

— Переселяйтесь к директору. Зимой вам будет веселее.

— А кого мы приняли? Что за рабочая?

— Авдотья Одинцова.

— Ту самую, с заимки?

— Да.

— А вы знаете, что их раскулачили?

— А это меня не интересует. Приказ директора... Прошу выполнять.

— Ну ладно, поглядим! — Судейкин уходит.

Муся начинает снимать со стены плакаты.

В селекционной лаборатории женщины перебирают семена. Перед каждой на столе небольшая кучка, которая постепенно истаивает...

Муся засевает семена в плошки. В иных плошках уже крупные зеленя.

Мерзлое окно оттаивает, оплывает. В окно стучатся первые капли дождя. На поле Чапурин пашет на паре лошадей двухлемешным плугом.

Аржакон погоняет лошадь с сеялкой. Муся стоит на запятках сеялки.

И вот уже комбайн плывет. Комбайнер в очках, незнакомый нам. А подручным сидит Аржакон; он дерга-

ет за веревку копнителя. Параллельно с комбайном идет грузовик — принимает зерно.

Грузовик отходит от комбайна и катит по пыльной полевой дороге.

Он подъезжает к пакгаузу возле реки; здесь грузчики насыпают мешки. На каждом мешке крупное табло: «Госсортиспытание» и чуть ниже, крупно: «Якутянка-241». Мешки несут на катер. Здесь Муся что-то говорит приемщику и расписывается в накладных. Приемщик тоже подписывается.

На очередной машине подъезжает Василий, подходит к Мусе, спрашивает:

— Нагрузились?

— Да,— отвечает счастливая Муся.

— Ну, поздравляю! С первым рейсом нашей «Якутянки»,— Василий жмет ей крепко руку.

— Разрешите и мне присоединиться,— жмет руку Мусе приемщик.— Ваша «Якутянка» далеко пойдет.

— Не знаю, как «Якутянка», а вот автор ее далеко поедет... Это уж точно! — Василий вынимает из папки отпускной билет и подает Мусе.

Муся читает, сначала не понимая:

— Отпускной билет...— И взрывается от радости: — В Москву едем? На восемь месяцев! Вася, милый!

И она, забывшись, целует его при всех.

Опытная станция. Длинный северный день клонится к концу. Еще в кровавом отсвете заходящего солнца полыхает закат, еще в синей дымке хорошо просматриваются восточные дали, а природа уже спит: затихла до зеркального блеска река, не видно птиц в воздухе, бормочут спросонья куры на поветях, тяжко вздыхают жующие сено лошади, спят на подушках дети — Володя и Наташа, и где-то далеко на лесной опушке монотонно и протяжно кричит полярная совка-сплюшка:

— Сплю-у-у... Сплю-у... Сплю-у-у...

Василий и Муся сидят в селекционной лаборатории. На столах целые вороха отборного зерна. И они утомились: Василий курит, Муся сидит, устало опустив руки.

— На сегодня хватит,— говорит Василий.— Спать пора. Завтра с рассветом в путь.

— Да, пора,— отзывается Муся...

Они шли от реки. Их было трое: один в военной форме с пистолетом, второй в сапогах, черном плаще и широкой кепке, третьим был Судейкин. Они подошли уверенно к дверям Силантьевых и постучали.

— Кто там? — отозвался Василий.

— Василий Никанорович, откройте! — сказал Судейкин.— К вам уполномоченные.

Василий открыл дверь и те вошли, оттеснив его плечом.

— Спокойно! — сказал человек в кепке.— Мы из Якутска.

Он показал Василию удостоверение и ордер на арест, потом коротко приказал:

— Собирайтесь!

Муся, еще толком не поняв, в чем дело, спросила:

— Куда?

— Вас это не касается,— ответил тот, в кепке.

Между тем он и лейтенант стали тщательно осматривать комнату. Но здесь, ничего, кроме кроватей, да шкафа, да спящих детей не было.

— Где ваши бумаги? — спросил старший, что был в кепке.

— Какие бумаги?

— Ну, записи, книги, тетради.

— Все в лабораториях,— услужливо сказал Судейкин.

— А вы помолчите,— оборвал его старший.

— Есть! — вытянулся Судейкин.

— Попрошу в лабораторию!

Василий, все трое пришедших и последней Муся вошли в лабораторию Василия.

— Это ваши записки? — указал старший в черном плаще и кепке на стопку папок, тетрадей и черновых записок.

— Да,— сказал Василий.

— Забери! — коротко кивнул лейтенанту старший.

Тот моментально сложил все в большую кожаную сумку. Человек в кепке деловито осмотрел содержание стола, прошелся глазами по стенам, оглядел полы.

— Вы, может быть, ответите мне, что это значит? — опять спросила Муся.

— Ваш муж обвиняется в антисоветской деятельности,— холодно ответил человек в кепке.

— В чем она заключается? — спросил Василий.

Тот даже не обернулся к нему.

— Он еще удивляется! — сказал Судейкин.— То кулаков покрывал... То кампанию всеобщей коллективизации дискредитировал...

— А вы помолчите! — оборвал его старший, и — Василию: — Пошли!

Они двинулись к выходу. Муся преградила дорогу Василию, глядела на него скорбно и потерянно.

— Не волнуйся,— произнес Василий.— Это какое-то недоразумение. Я скоро вернусь.

— Прощай, Вася! — она поцеловала его и сказала спокойно: — Вещи необходимые пришлю.

— Прощай, Муся!

— Я буду ждать тебя.

Все четверо вышли. Муся осталась недвижной и глядела куда-то в угол.

Муся сидит одна-одинешенька на пустынном речном берегу. Уже высоко поднялось солнце, стремительно проносятся над речной гладью береговушки, топают на пристани проснувшиеся пассажиры, поскрипывают сходни под тяжелыми сапогами грузчиков, а она не шелохнется, будто спит. Смотрит в туманную речную даль, где скользит еле различимая черная точка, похожая на такую же шуструю береговушку. Но эта черная точка заметно приближается, вырастает и обретает знакомые очертания станционного катера. Сидит за рулем один Судейкин. Василия нет.

Муся встала, спустилась по берегу к самому урезу воды. Судейкин вырулил на песчаную отмель, лихо выпрыгнул из катера, даже не поздоровавшись с Мусей, словно ее и не было здесь. На лице его играла злорадная усмешка.

— Где Василий? — сухо спросила Муся.

— Ваш муж отстранен от должности. Его попросили задержаться... до выяснения обстоятельств.

— Это какое-то недоразумение,— машинально повторила Муся давешнюю фразу Василия.

— Недоразумение то, что вы руководили станцией. А я переживал.

— Ну что ж, зато теперь вы довольны,— сказала Муся.

— Пока еще нет. Вот когда я вас отсюда вытряхну, тогда успокоюсь.— Он повернулся уходить и через плечо бросил: — Почвенную лабораторию сегодня же освободить. В ней будет мой кабинет. Вам подготовить дела к сдаче,— и ушел.

Утро. Проснулись дети: Володя, черноголовый мальчик, в трусиках и в майке делает зарядку, Наташа все еще лежит в своей кровати, закинув руки за голову, смотрит в потолок. А мать, безучастная ко всему, сидит за столом все в той же одежде, в которой была возле реки, смотрит долгим невидящим взглядом куда-то в окно — по всему видно, что она и в руки ничего не брала.

— Мама, а где папа? — спрашивает Володя.

— Папа заболел. Его увезли в Якутск.

— В больницу? — удивляется Наташа, приподняв голову.

— Да, в больницу.

Володя перестал делать свою гимнастику, спрашивает тревожно:

— Мама, что-нибудь серьезное?

— Пока еще трудно сказать,— отвечает, помедлив, Муся.— А вам придется в Москву ехать, к бабушке.

— Ой, в Москву! — закричала Наташа, вставая с кровати.— Да здравствует Москва! Ура-а!

— Значит, бабушка ждет нас? — спрашивает Володя.

— Конечно. Она письмо прислала.

— Мама, а наша бабушка старенькая? — Наташа подходит к матери, обнимает ее за плечи, старается заглянуть в лицо, расшевелить ее или насмешить.— Она, поди, чепец носит, как в книжках?

— Она всегда по моде одевалась,— ответила мать, грустно улыбаясь.

— В школе говорят, что пароход пристает прямо к лесному берегу. Можно брусники набрать, пока он стоит,— сказал Володя.

— Ой, мы наберем брусники для бабушки! — обрадовалась Наташа.

— Вот и молодцы,— сказала мать.

— А как же папа? — спросил Володя.

— Я тут погляжу за ним. Поправится он — тогда и мы приедем в Москву. А за вами тетя Ирина прилетит. Ей телеграмму дали.

Муся в лаборатории упаковывает зерно в пакетики, надписывает их, складывает в стопки.

— Марфа, это вот образцы «урожайной». А здесь «магницкий овес».

— Я боюсь перепутать... У меня голова дырявая,— говорит Марфа.

— Я все записала... И в каталогах все есть...

— Вы уж погодили бы до приезда новенькой,— говорит Марфа.

— Это от меня теперь не зависит.

Открывается дверь, входит старшая сестра Марии Ивановны, Ирина. Это строгая располневшая женщина в сером дорожном костюме и в шляпе. Светлый плащ висит на согнутой руке.

— Муся, что случилось?—спросила от порога.

— Ирина, милая!—Мария Ивановна кинулась к ней на шею и разрыдалась, не стыдясь своих слез.

Муся с Ириной собирают детские вещи, упаковывают чемоданы. Детей нет. Ирина, заперев последний чемодан, присела на стул и сказала решительно:

— Ты как хочешь меня ругай, но я тебе прямо скажу—во многом ты сама виновата.

— В чем же?—спрашивает Муся.

— Да хотя бы в этой истории с кулацкой заимкой!

— Какая же она кулацкая?

— Ну не будем придираться к словам. Ладно, я еще понимаю тебя, когда ты проводила там опыление пшеницы. Ну, дело требовало... Но забирать с собой на станцию Авдотью?.. Это уж слишком!

— А бросить людей, которые помогли тебе... На произвол судьбы! Это не слишком?

— Но пойми же наконец, под какой удар ты ставила Василия! Станцию! Все свои опыты! У тебя же не частная лавочка, а государственное заведение! С этим считаться надо.

— С этим я считаюсь,— сухо сказала Муся.

— Нет! Желание быть доброй у тебя сильнее чувства служебного долга. Но мы ученые. Во имя науки мы не имеем права рисковать собой и своим делом ради отвлеченных филантропических идей. Неужели тебя папина судьба ничему не научила?

— Папу ты оставь в покое... И науку тоже. А насчет отвлеченных филантропических идей я тебе вот что скажу. Грош цена той науке, которая слепа и глуха к

человеческим страданиям. Если мы работаем не для собственного благополучия, а для блага людей, то как же мы смеем проходить мимо той же Авдотьи, не протянув ей руку помощи?

— Ну, Авдотья еще не весь народ...

— Понятно... Проще служить отвлеченному народу, чем возиться с этими Авдотьями...

— Мы говорим на разных языках.

— Пожалуй...

Вознесенская пристань. Пароход готов отчаливать — раздался гудок. Муся чинно прощается с Ириной.

— Поезжай в Тимирязевку: Вольнова попроси. Может, он поможет. Все-таки у него вес,— говорит Ирина.

— Да, да,— машинально произносит Муся, потом целует детей.

— До свидания, мои милые... До свидания!

— Мама, а у тебя слезка на щеке,— говорит Наташа.

— Да что ты? Это водой с реки брызнула капелька...

— Мам, приезжайте и вы... Забирай папу с собой. Там он скорее поправится,— говорит Володя.

— Приедем, приедем! Целуйте бабушку.

Опять гудок. Пассажиры ушли на пароход. Поднят трап, и Муся долго машет отходящему пароходу.

Потом медленно поднимается в гору, идет по полю. А поле зреющей высокой пшеницы все ширится и ширится до самого горизонта. И нет больше ни тайги, ни реки, ни строений, ни дымков... Бескрайнее поле, желтое поле, бегут по нему размеренные волны, да вьется узкая дорога, да человек идет. Да песня в небе льется, грустная, с хрипотцой, будто усталый женский голос поет:

Средь высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село,
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Муся выключает радиоприемник, из которого и разливалась песня. Стало тихо. Она бесцельно прошлась по опустевшей теперь комнате, оправила одеяла на детских кроватках и вышла в коридор.

Здесь она почти столкнулась с молодой женщиной, которая шла с Судейкиным.

— Мария Ивановна! — окликнула ее женщина.

Муся узнала ее, улыбнулась.

— Здравствуйте, Люсенька!

— Здравствуйте! — Люся подошла к ней, уткнулась в плечо и вдруг всхлипнула не то от радости, не то от горя. Но быстро оправилась и сказала Судейкину:

— Сидор Иванович, оставьте нас.

Судейкин ушел.

— Пройдем в лабораторию,— приглашает ее Мария Ивановна.— Значит, вы и есть тот человек, которому я должна сдать дела? Ну что ж, я очень рада.

— Мария Ивановна, я должна вам сказать...— начала в лаборатории Люся.— Я должна извиниться перед вами... Я глубоко виновата...

— В чем?

— Я только здесь узнала обо всем... Я бы никогда не посмела подменять вас... Я ехала сюда с радостью, думала работать с вами...

— К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим.

— Нет, я не могу от вас принимать дела...

— Да вы успокойтесь... Почему же?

— Потому что я не хочу работать вместе с этим подлецом. Мне уже здесь рассказали, что этот Судейкин оклеветал Василия Никаноровича. Как же мне работать вместе с таким?.. Я откажусь.

— Я понимаю тебя.— Муся взяла ее за руку.— Милая девочка, в твою пору я бы, наверное, так же поступила. Но мы с тобой для отечества стараемся, а наше отечество не из одних Судейкиных состоит. Работай не с Судейкиным, а с Марфой, с Аржаконом, с Чапуриным... Работай со всеми этими семенами... Мы вместе начинали... Я не могу, ты обязана продолжать. Разве мы для Судейкина выращивали все это? — Она указала на столы, на полки, заваленные снопиками, да семенами, да мешочками, да стопками исписанных тетрадей и журналов.— Так что принимай!

— Хорошо, Мария Ивановна, я приму... Я...— Люся прикусила губу и запнулась, но потом подавила нервический приступ и сказала твердо: — Я постараюсь быть достойной вас... А вам желаю успеха там... в Москве.

— Надо доказать, что работали мы не впустую.

Возле трехэтажного горкома партии остановился знакомый нам «газик». Из него выходит Мария Ивановна.

— Ничего, Петя... Мы им докажем, почем фунт изюма.

— Если обедать пригласят, не соглашайтесь. У меня здесь все организовано,— он похлопал по термосу.— Мы лучше на вольном воздухе поедим.

— Ты у меня, Петя, просто отец-кормилец. И когда ты все успеваешь?

— Одна нога здесь — другая там.

— Уважаемые товарищи! Дорогая Мария Ивановна! Вся сложность и даже некоторая деликатность поставленного перед нами вопроса самой жизнью требует от нас известного мужества при его решении. Не эмоции должны руководить нами, а трезвый реализм, экономический расчет, реальная необходимость. Надо уметь наступить на горло собственной песне, как сказал поэт. Эта закономерная необходимость, увы, хорошо знакома не только поэтам, но и нам, ученым. Я сам руководил опытным хозяйством при Академии наук и знаю, как мне было больно закрыть его в силу более высокой целесообразности, продиктованной современной наукой,— горячо, проникновенно ораторствует Лясота; он стоит за невысокой трибуной в конференц-зале горкома партии. Он старчески сух, аскетически бледен, но темные беспокойные глаза его полны лихорадочного блеска, внутренней силы и огня. Перед ним за столами сидит городской актив, среди которого и Мария Ивановна; а председательствует секретарь горкома Северин, тот самый бывший областной агроном, который когда-то отказался уничтожать клеверища.

— Мы понимаем, что ваш селекционный участок, Мария Ивановна, находится в самой глубинке, в окружении полей, которые должны быть преображены плодами и трудами вашей научной деятельности. В этом, бесспорно, преимущество вашего участка. Но какова его производственная мощность? Полторы тысячи, ну две тысячи линий... Это, извините, вчерашний день науки, пройденный этап. Современные селекционные станции имеют десятки тысяч, а то и сотни тысяч линий всех разновид-

ностей злаков и овощей. Вот он, предел нашей науки сегодняшнего дня. Тургинская селекционная станция может иметь исключительную перспективу развития и с радостью примет в свои пределы ваш участок. Вы, Мария Ивановна, не чужой человек для Турги. Вас там помнят и ждут, как опытного ученого, как своего учителя. Вот почему я голосую обеими руками за перенесение вашего участка в Тургу.— Лясота в гробовом молчании прошел на свое место.

Встал Северин и объявил:

— Слово имеет председатель райисполкома товарищ Колотов.

За трибуну прошел уже известный нам бывший начальник опытного хозяйства, он также сильно постарел, раздался телом, но потерял ту напористость и самоуверенность, манеры его теперь отличаются какой-то умиротворенностью и даже мягкостью.

— Дорогая Мария Ивановна, чествуя вас сегодня с заслуженным юбилеем, мы надеемся, что эта производственная процедура, совпавшая по чистой случайности с вашим торжеством, не огорчит вас. Вы в достаточной мере доказали высокую принципиальность ученого и многим из нас преподнесли в свое время наглядный урок. Поверьте, мы оценили его по достоинству. Но поймите нас правильно, вернее, оцените нужду нашу,— нам необходима ваша помощь. Вы знаете, что мы срочно создаем откормочное хозяйство. Без него трудно выполнить план по мясу. Это наше узкое место. И не мне говорить вам, как необходимо наращивать темпы развития животноводства. Короче, без откормочного хозяйства нам не обойтись. Где его создавать? Нужны для этого луговые угодья, производственные помещения, хотя бы на первое время. Кроме вашего участка, к сожалению, у нас ничего подходящего нет. У вас и сеяные травы, и клевера, и цеха имеются. Помогите нам. Ведь не лично мне, Колотову, понадобился ваш участок под совхоз. В этом проявляется государственная необходимость. Вы как государственный человек, Мария Ивановна, должны это понять.— Колотов еще что-то хотел сказать, но только вздохнул и развел руками.

— Понять вас не трудно, товарищ Колотов,— сказала Мария Ивановна, поднимаясь из-за стола, и к Северину: — Можно мне с места говорить?

— Пожалуйста! — отозвался тот.

— Приспело на охоту идти, тут и собак кормить. О чем же вы раньше думали, товарищ Колотов? Спору нет, откормочное хозяйство создавать необходимо. И место у нас подходящее — и приволье хорошее, и контору есть где разместить... А вы забыли, чем мы там занимаемся? Мы выращиваем скороспелый сорт пшеницы. Не мне вам говорить, товарищи дорогие, как важно для сибирских полей иметь сорт пшеницы, созревающей недели на две, на три раньше обычного. Это миллионы тонн зерна, сбереженные от осенней слякоти и распутицы. Если мы сейчас свернем свои работы и станем перебазироваться в Тургу, то наверняка потеряем со сменой питомников три-четыре года, а то и больше времени в создании такого необходимого нам сорта пшеницы. Вот и посчитайте, товарищ Лясота, какие миллионы может потерять при этом страна. И ваша экономия за счет концентрации науки окажется призрачной и даже смехотворной. И пора бы вам уяснить наконец — наука не делится на день вчерашний и день сегодняшний. Наука не мода, зависящая от прихотей закройщиков и капризов шаловливой публики. Наука, как вечнозеленое дерево жизни, питается соками человеческого познания беспрерывно — и день вчерашний, как и день сегодняшний, суть побеги и ответвления могучей и единой кроны ее. Случается, что засыхают отдельные побеги. Их отымают. Так вы хотите сказать, что наш селекционный участок и есть такой вот засохший побег, который отымать надо? Так, да?

Молчание.

— А если не так, то кто из вас, скажите мне, хочет резать по живому телу? Вы спросили нас, целый коллектив, проработавший на этом участке двадцать лет?..— Она вдруг смолкла с мучительной гримасой и тяжело оперлась руками о стол.

— Что с вами, Мария Ивановна? Может, доктора позвать? — спросил Северин.

— Ничего... недомогание.— Она перемогла себя и, вздохнув, сказала: — Собственно, говорить больше не о чем,— и села.

— Я тоже так полагаю, товарищи! — поспешно согласился Северин.— Мария Ивановна очень впечатляюще доказала нам всю преждевременность затеи с перенесением селекционного участка в Тургу. Будем голосовать. Кто за то, чтобы селекционный участок оставить на месте?

Руки поднялись довольно густо.

— Так, все ясно. Большинство за...

Северин проводит Марию Ивановну в свой кабинет и произносит на ходу извинительно:

— Я виноват, Мария Ивановна. Это я настоял на сегодняшнем заседании. Честно говоря, боялся, что после юбилея голосование пройдет не в вашу пользу. А на юбилее, рассчитывал, постесняются обидеть вас. Да и вы были молодцом. Садитесь! — указывает на кресло Северин.

Мария Ивановна села в кресло, Северин на свой стул.

— Приезжайте сегодня вечером к нам,— сказала Мария Ивановна.— Мы будем рады.

— Мне уже Наташа звонила. Спасибо. Приеду непременно. Выпью за ваше здоровье с удовольствием. Мы с вами друзья старинные, как в песне поется.

— Зачем же вы пригласили на сегодняшнее заседание Лясоту? Порадовать меня?

— Извините... Но тут я бессилен. Из области прислали. Они там помешаны на укрупнении научных заведений. А Лясота, как всегда, готовый к услугам. Он хоть и отстранен от большого дела, но все еще консультант, старается...

— Да, все играет в науку.— Мария Ивановна невесело качнула головой.

— В общем-то, доигрался. С авоськой бегает, на автобусе ездит. А бывало, приезжал к нам что твой министр — три машины гонит, цугом! А Макарьев ему: «Разрешите к вам на запятки?» И пойдет потеха.

— Присмирел... Но зато каким изворотливым стал,— сказала Мария Ивановна.

— Да, почерк изменился,— согласился Северин.— А раньше игрок был крупный. Ва-банк шел: или я, или никто! Макарьев прозвал его стерневым Аракчеевым. Помните?

— Мы с Макарьевым были друзьями.

— Да, ведь они с Василием однокашники. А когда Василий помер?

— Он не помер... Он ушел.

— Куда ушел?

— Туда... В тридцать восьмом году.

— А Макарьев?

— Макарьев встретил меня в Москве. Пытался помочь, утешить...

Москва, Тимирязевка... Знакомая лиственничная аллея, пруды. Муся проходит вестибюлем факультета селекции, где когда-то встречал ее внушительный швейцар. Теперь никто к дверям не приставлен.

Муся поднимается по лестнице,— канцелярия. Она растворяет дверь. В канцелярии много столов, за одним сидит Макарьев. Он во что-то погружен и не замечает Мусю, пока она не тронула его за рукав:

— Здравствуй, Миша!

— Ты? Откуда ты? Что нибудь случилось?

Макарьев встал, пожал ей руку.

— Да... Ужасное несчастье...

Макарьев оглянулся:

— Погоди... Пройдем со мной.

Он вывел ее из канцелярии и остановил на какой-то укромной лестничной площадке:

— Что такое?

— Васю посадили... Ты помоги мне увидеться с Никитой Ивановичем... Может, он поможет: Вася ни в чем не виноват. Его просто оклеветали, из зависти...

— К сожалению, не смогу твою просьбу выполнить.

— Почему? Никита Иванович на захочет принять меня?

— Вольнов арестован.

— Никита Иванович? За что?

— Неизвестно... Его взяли в экспедиции.

Муся так и поникла.

— Извини, Миша... У вас свое горе, а я тут со слезами.

— Ну что ты! Просто я не знаю, как можно помочь тебе. Вместо Вольнова теперь Лясота. Он стал правой рукой Терентия Лыкова. Ну, сама понимаешь... Их не попросишь.

— Да-а... Ну, до свидания.

— Да погоди минутку, я провожу тебя. Только уберу со стола,— Макарьев быстро ушел.

По аллее к автобусной остановке идут Муся и Макарьев. Макарьев вдруг приостанавливается:

— Да, ты на выставке сельскохозяйственной была?

— Какая мне теперь выставка!

— Да погоди! Ты хоть знаешь, что выставка у нас открылась?

— Слыхала.

— Поехали! Я тебе приготовил сюрприз.

— Миша, мне теперь не до сюрпризов.

— Это совсем другое... Поехали, поехали!

Она садятся в подошедший автобус.

Выставка. Знакомые ворота, павильоны... Вот и павильон Сибири. Макарьев и Муся входят в павильон. Здесь на стенде — большой Мусин портрет, а под ним сноп пшеницы и крупная надпись: «Выдающееся достижение советского ученого — пшеница перешагнула Полярный круг...» И далее мельче неразборчиво, только название пшеницы выделяется — «Якутянка-241».

— Ну, узнаешь? — спрашивает Макарьев.

Муся как-то горестно улыбается.

— Между прочим, Лясота приказал повесить.

— Чего это он вдруг расчувствовался?

— Ну, Терентию угождает. А Терентий — человек не сентиментальный.

Вокруг стал собираться народ, с удивлением глядя то на портрет, то на Мусю. Она засмущалась. Макарьев взял ее под руку, вывел из павильона.

— Лясота и Лыков все делают с расчетом,— сказал Макарьев.— Вот, мол, глядите — какие у нас достижения... Под нашим руководством достигнуто. Вот так! К тому же ты теперь лицо в науке номенклатурное и не соперник для Терентия... Так что здесь все обдумано. Но попробуй попросись на факультет? Лясота тебя на порог не пустит.

— Я не факультетская, Миша. Да и что мне за кабинетным столом делать? Мое дело — земля.

— Да... Я тоже ухожу. С Терентием нам не с руки. Поеду в Сибирь. Предлагают мне главным агрономом в Верхне-Тургинскую область. Слушай, поезжай на Тургинскую станцию. Там как раз нет селекционера. Материалы прекрасные. Там работал Михайлов. Макарыч. Слыхала?

— А что с ним?

— Ну, точно не знаю. Одним словом, пропал, как Василий. А места суровые. Интересно!

— Не знаю, возьмут ли?

— О чем ты говоришь? Только заикнись.

— Ладно, Миша, я подумаю.

Квартира Анны Михайловны. Муся с матерью сидят за столом.

— Ну чего ты здесь добьешься? — говорит Анна Михайловна.— Только проживешься да нервы истреплешь. Поезжай работать.

— Но я же знаю — он не виноват. Как же я стану спокойно работать, если он сидит ни за что?

— Откуда ты знаешь? Может, и сболтнул что лишнее,— сказала Анна Михайловна.

— Ну, мама, человека судят не по словам, а по делам.

— Это раньше так было. У тебя устарелый взгляд. А теперь вон говорят: болтун — находка для шпиона.

— Да какой может быть у нас шпион на станции?

— Ах, не говори! У нас вон в библиотеке и то плакат висит — палец к губам. Не болтай! Дисциплина и политика — вот что теперь главное.

— Ну какие мы политики? Наше дело — семена да поле...

— Ах, не скажи! Ты совсем отстала от жизни. Даже у нас в библиотеке — успеваемость на политзанятиях по краткому курсу есть основной показатель зрелости масс.

— Ну, ты у нас всегда была зрелой, а я отсталой,— раздражается Муся.— Мне этого не понять.

— Ну чего ты сердишься, глупенькая? Я тебе дело говорю: поезжай на новое место, приступай к работе. А с Васей разберутся... Невинного держать не станут...

— Да не могу я спокойно работать, когда он сидит! Я должна все сделать, чтобы вытянуть его...

— Феня ты упрямая! Делай, как знаешь.

Прокуратура СССР. Приемная. Сидит на стульях очередь. Муся в черном костюме, черной шляпке на переднем стуле. Секретарь за столом. Ждут.

Раскрывается дверь, выходит очередной посетитель.

— Следующий! — говорит секретарь, отрываясь от своих бумаг.

Муся входит в кабинет.

Ее встречает солидный, строго одетый человек. Он очень учтив, но непреклонен.

— Садитесь, пожалуйста,— говорит начальник, указывая на стул.

Муся, не успев присесть, порывисто произносит:

— Я к вам по делу Василия Никаноровича Силантьева... Я подавала жалобу три недели назад...

— Ваша жалоба направлена по инстанции. Дело разбирается, ждем ответа.

— Но, понимаете... Это исключительный случай... Мой муж обыкновенный научный работник.

— В нашем деле каждый случай исключительный. У нас повторений не бывает,— перебил ее начальник.— Разберемся... Вам сообщат, будьте терпеливы.

— Но я хотела узнать подробности дела!

— К сожалению, пока ничего определенного сказать не можем. Разберемся... Сообщим. До свидания...

Муся выходит из приемной.

— Следующий! — вызывает секретарь.

Приемная Верховного Совета. Очередь. Муся сидит все в том же черном костюме и черной шляпке.

— Твердохлебова! — выкрикивает секретарь.

— Да! — привстает Муся.

— На вашу жалобу еще нет ответа.

— Но я подавала ее месяц назад.

— Значит, разбирается...

— Когда же мне прийти?

— Мы вас известим.

— До свидания! — Муся уходит.

Она идет по летней Москве мимо ограды Александровского сада. На одной из скамеек сидит одинокая старушка. Муся присаживается с краю, задумалась. Над ней похрипывала и булькала воронка громкоговорителя, из которой вдруг как гаркнет во все железное горло:

Здравствуй, страна ученых,
Страна мечтателей, страна героев!..

Муся вздрогнула и быстро пошла прочь. А вослед ей громыхало:

Нам не страшны
Ни бури, ни моря.
Твердой стеной стоим...

Анна Михайловна встретила Мусю вся в слезах.

— Представляешь, он не виновен! — сказала она.

— Как? Известили? Откуда?! — с радостью спросила Муся.

— Да, да... Но какой ужас! Он умер от воспаления легких! — Анна Михайловна всхлипнула и закрылась платочком.

Муся прошла к столу. Там лежало извещение, — коротенькая бумажка со штампом:

«Обвинения, выдвинутые против Вашего мужа, Силантьева Василия Никаноровича, не подтвердились. К сожалению, он умер от крупозного воспаления легких.
Справка выдана на предмет...»

Далее слова расплылись, исчезли. Муся судорожно скомкала справку и только простонала, как выдохнула, да так и застыла, глядя в пустоту.

Подошел Володя, положил ей руку на плечо:

— Мамочка, мама... Выдержим. Мы тебе помогать будем...

Таежная река Турга. На берегу ее опытная станция: несколько бревенчатых домов, вертлюги на метеоплощадках, поля. Ранняя осень. На станции пустынно, лишь на завалинке одного из домов сидят два мальчугана, болтают босыми ногами и упоительно тоненькими голосами поют:

Накинув плащ, с гитарой под полою,
Я здесь стою в безмолвии ночной.
Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы мо-ёй!

Мария Ивановна тяжелой походкой, с небольшим саквояжем подходит к дому:

— Ребятки, где здесь контора станции?

— А вон там, в крайнем доме.

Мария Ивановна пошла к тому крайнему дому, а ребятишки опять запели:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы мо-ёй!

Мария Ивановна поднялась на крыльцо, открыла дверь и чуть не вскрикнула от удивления — за столом сидел Макарьев.

— Миша? Ты? — Она заплакала.

— Что с тобой?

— Васю вспомнила...

Макарьев встал, скорбно склонил голову. Помолчали.

— Крепись, Маша.

Она вытерла слезы и сказала:

— Извини... Все еще не привыкну...

Макарьев подошел к ней, дотронулся до волос, она отвернулась и спросила иным тоном:

— А что ты здесь делаешь?

— Тебя встречаю. Я уже второй год как в Верхнетургинске. Главный областной агроном, прошу любить и жаловать.

— А здесь чего сидишь?

— Говорю — тебя встречаю. Директора станции перевели в совхоз. Маркович, как ты знаешь, ушел на фронт. А здесь придется тебе властвовать. И селекционером будешь, и начальником. Без сибирского хлеба не выиграем войну. Так что принимай дела.

Муся оглядела стеллажи, приборы, каталоги и сказала:

— Внушительно!

— Маркович был работник серьезный... Он начинал еще у твоего отца. Гляди.— Макарьев открыл один шкаф, другой, третий... И все завалено образцами — маленькие пакетики семян с надписями.— Более трех тысяч. Вот каталоги,— Макарьев указал на папки с каталогами.— Это элитные растения. Здесь самоопылители... Это перекрестники. У дядюшки Якова товару всякого — выбирай на вкус.

— Да, скучать не придется,— сказала Муся.

— Еще бы!.. Я тут почти неделю проторчал. Богатый материал. Честно говоря, завидую твоей работе.

— Садись рядом.

— Да где мне! У меня и пальцы не гнутся. Какой я селекционер! Между прочим, я тут вычитал,— он указал на каталоги,— один сорт пшеницы, «таежную-девятнадцать», Маркович особо выделял. Обрати внимание! — Он вынул из шкафа небольшой снопик и передал Мусе.— Ведет себя не как самоопылитель, а как перекрестник. Странно?

Муся поглядела на колос, на чуть красноватое зернышко.

— Гибрид... сложный. Пока ничего примечательного незаметно.

— Ну, Маркович не станет зря откладывать на видное место.

— Поживем — увидим,— сказала Муся.

— Само собой... Да, а где твои вещи?

— Я пока налегке,— ответила Муся.— Кое-что в Верхнетургинске оставила. Вот обоснуюсь, ребят вызову, тогда и вещи привезу. А ты где живешь? Не женился еще?..

— Я, Маша, бобыль. Один как перст.

— Отчего ж не женишься?

— В экспедиции всю пору. Всю жизнь пеший.— И сказал иным тоном: — Надеюсь, ты мне позволишь помочь тебе...

— Я справлюсь, Миша. Спасибо!

И опять вороха семян на столе, и сортирующие их ловкие женские руки, и пакетики с образцами, и записи в каталогах, и высевание в плошки... и зеленя, зеленя.

Только помогают ей другие люди, и лицо ее теперь другое: скорбное, с резкой складкой меж бровей, как надруб. И Мусей ее уж не назовешь — Мария Ивановна.

От зеленей в плошках сначала через окно, потом с высоты птичьего полета мы видим просторную весеннюю сибирскую землю — всю в зеленеющих березовых колках, в черных пахотных косогорах и в рыжих от прошлогодней стари низинах с блюдцами просыхающих болот.

По полевой дороге катит черная избитая и старая «эмка». Вот она въезжает на усадьбу опытной станции и останавливается у крыльца конторы. Из автомобиля вышел хотя и пожилой, но прямой человек в суконной гимнастерке и быстро пошел в контору.

В кабинете директора сидела машинистка и стучала на машинке.

— А где Твердохлебова? — спросил вошедший.

— В лабораторном цехе,— ответила машинистка.

Приезжий прошел в лабораторный цех и несколько оторопел — за длинным столом сидели шесть женщин и перебирали целый ворох семян. Среди них была и Мария Ивановна.

— Мне нужна товарищ Твердохлебова!

— Я Твердохлебова.

— Поговорить надо.

— Пожалуйста, говорите,— ответила Мария Ивановна, не вставая.

— Разговор служебный. Я Титов, председатель райисполкома.— Он как бы с обидой поглядел в сторону, подчеркивая всем корпусом своим неудовольствие.— Вопрос ответственный. Мы должны оказать вам поддержку.

— Хорошо, пройдемте.

Мария Ивановна встала и провела его в кабинет.

— Я вас слушаю,— сказала она, присаживаясь и приглашая присесть гостя.

— Что же это получается, товарищ Твердохлебова? Вы представитель науки, наша опора — и подводите весь район? — начал весело Титов.

— Чем же я вас подвожу?

— Ну как это! Вся округа сеет, а вы все еще тянете.— Титов как бы приглашал ее на обмен взаимной шуткой или хотя бы любезностью.— Чего ждете? Милости божьей?

— Погоды... Рано еще,— сухо ответила Мария Ивановна.

— Погода для всех одинаковая. Вон в Карагожском районе уже вовсю сеют, а он севернее нас.— Титов все еще улыбался.

— Ну и что? Мало ли бывает в жизни нелепостей!

— Какие нелепости? С нас план посевной спрашивают. План! А вы — нелепости! — Он опять обиженно отвернулся.

— Подойдет время — и вы посеете, выполните свой план.

Он аж привстал и чуть ли не руками всплеснул:

— Да вы что, с неба свалились? Соцсоревнование идет: кто раньше отсеется — получит Красное знамя. На доску Почета заносятся! В области...

— Кто раньше начнет зерно кидать в землю — это игра в глупость.

— А вы слыхали, что район принял соцобязательство — закончить весеннюю посевную раньше, чем в прошлом году? — Титов все более накалялся, и землистого цвета лицо его покрылось багровыми пятнами.

— Не понимаю, зачем вам нужно отсеяться непременно раньше? Вы отсейтесь в сроки, которые природа устанавливает.

— Не природа нам, а мы ей диктуем условия. Взять от природы все, что можно,— вот наша задача.

— Но поймите же, сроки сева — это не прихоть, а научная закономерность. Здесь ранний сев вреден. Земля холодная, сорняки еще спят. Надо дождаться, пока они пойдут в рост... Спровоцировать их надо, а потом заломать и посеять...

— Не знаю, как насчет провокации сорняков, но от речей ваших отдает провокацией сева.

— Да куда вы гоните? Микрофлора здесь пробуждается только в июне.

— Какая микрофлора? Саботаж — вот что это такое.

— Извините, в таком тоне я не привыкла разговаривать.

— А вы не извиняйтесь! Вы нарушаете сроки сева, утвержденные областью.

— За свою станцию отвечаю я. И за свой сев.

— Вы не на огороде сеете. У вас десятки гектаров нашей районной земли. По вас равняются колхозы и совхозы. Глядя на вас и они артачатся. Вы подаете дурной пример. Это вы учитываете?

— Очень хорошо! Могу только порадоваться за районы, где есть разумные хозяева.

— Вот как! В таком случае, я вас предупредил: если до пятнадцатого мая не отсеетесь, вызовем на бюро райкома.

— Собирайте бюро в июне... Потому что во время посевной я просто никуда не поеду.

— Поглядим!

Председатель, не прощаясь, вышел.

Районный сибирский городок. Зеленый сквер перед двухэтажным зданием райкома. Лето. На огромной расцвеченной доске Почета крупные фотокарточки передовиков весенней посевной и крупно, белым по красному, названия колхозов: «Рассвет», «Путь Ильича», «Заветы Ленина», «Красный пахарь». Рядом с доской Почета пониже и поменьше черная доска. На ее поле надпись: «Тургинская опытная станция закончила сев только 3 июня. Позор отстающим!» И еще ниже белым по черному: «Директор станции — М. И. Твердохлебова».

Мария Ивановна стоит возле доски, читает. Подходит Макарьев.

— Ай-я-яй! Чем это вы любуетесь, товарищ Твердохлебова? Чем гордитесь?

Мария Ивановна обернулась:

— Миша! И ты здесь?

Они поздоровались.

— А как же! Представитель области. Явился на пленум к вам — разбирать итоги посевной. Наградить передовиков, наказать отстающих.— Он озорно подмигнул.

— Раньше говорили: цыплят по осени считают,— усмехнулась Мария Ивановна.

— То раньше! А теперь у нас боевая задача на каждый период; вот кончилась посевная — намечай новые рубежи, нацеливай на уборочную. А если вас не нацелишь, вы, пожалуй, и убирать хлеба не станете.

— Значит, вразумлять будете? Но кого же?

— А это военная тайна. Что у тебя за конфликт приключился? — спросил Макарьев.— Мне уж звонили, жаловались на твою заносчивость!

— Приезжал председатель РИКа. Это командир в фуражке. И набросился на меня: «Сей незамедлительно!» Чуть ли не кулаком стучал. Ну, я его и выставила за порог.

— Нехорошо! Он же показатель гонит.

— Я не понимаю, чего они всполошились с этим севом? — спросила Мария Ивановна.— Да, идет война! Иные хозяйства ослабли. Так пусть сеют пораньше. Но есть еще крепкие колхозы. Зачем их подгонять? Зачем стричь всех под одну гребенку?

— Председатель РИКа не виноват, Маша... Это наш Лясота кинул сверху лозунг насчет раннего сева. Вот все и стараются.

— И откуда они только берутся?

— Кто? Филипп, что ли?

— Да я про этих начальников вроде председателя РИКа...

— Эх, Маша, был бы святой, а угодники найдутся.

— Да, пожалуй, ты прав. Ну что ж, пошли на пленум!

— Нет, Маша... Я приехал проститься с тобой.

— Как?

— Еду на фронт.

Макарьев и Твердохлебова идут по скверику. В пустынном уголке возле скамейки они остановились, Макарьев, как-то полуотвернувшись, глядя на свои ботинки, проговорил:

— Я хочу тебе что-то сказать, Маша. Может, присядем?

Она молча села. Макарьев продолжал стоять, глядя все так же косо и вниз.

— Я сегодня же уеду... Завтра буду в военкомате, а там — на фронт. И я больше не могу молчать... Я тебя люблю, Маша...

— Не надо об этом, Миша, не надо...

Он опустился на скамью и положил голову ей на грудь. Она как бы машинально гладила его волосы и смотрела прямо перед собой невидящими глазами.

С таким же отсутствующим взглядом она провожала его на перроне и смотрела куда-то вдаль, поверх его головы.

— Маша! — кричал он с подножки вагона.— Я буду писать тебе — ты мне отвечай, слышишь?

— Да, да... Хорошо! — Она кивала, прощально махала рукой. А взгляд оставался все таким же — невидящим.

Осень. На окнах первый налет морозного рисунка. Входит со двора Володя, вносит несколько кружков мороженого молока, потирает руки, говорит радостно:

— Ну, мама, дорожка промерзла, уф! Как по асфальту покатим.

Мария Ивановна укладывает в рюкзаки продукты на недельный срок Володе и Наташе. Двумя стопками разложено мороженое молоко — шесть кружков Наташе, шесть Володе. Потом картофельные лепешки. Тоже на две стопки.

— Наташа, картофельные лепешки уже посолены — только разогреть надо. А молоко оттаивай на медленном огне. Не то пригорать будет,— наставляет Мария Ивановна.

— Господи, уже уяснила,— как взрослая, отвечает Наташа.

В окно кто-то постучал. Володя выглянул в форточку и крикнул:

— Мам, ребята уже собрались! Только нас ждут.

— Ну, ступайте, ступайте!..— Она затягивает рюкзаки.

Дети одеваются.

— Володя, уши завяжи! — приказывает Мария Ивановна.— Смотри не обморозь!

— Да ты что? Каких-то десять километров всего... Мы единым духом доедем.

— Наташа, накинь еще вот эту шаль,— подает она дочери клетчатую толстую шаль с кистями.

— Да я что, бабушка? Мне и в платке не холодно.

— А я говорю — повяжи!

— Ой, прямо кулема,— ворчит Наташа, но шаль повязывает.

Кто-то опять стучит в окно.

Володя хватает рюкзак и в дверь.

— Если будет занос, в субботу не приезжайте, я сама съезжу к вам,— наказывает Мария Ивановна.

— Ну да, испугались мы твоего заноса,— говорит Наташа.

Ушли дети, и квартира опустела. Мария Ивановна подходит к столу, машинально оправляет скатерть, берет треугольничком сложенное воинское письмо. Развернула, пробежала глазами, улыбнулась. Потом выдвинула ящик стола, достала чистый лист бумаги, ручку, села писать письмо: «Остались мы тут одни бабы. Работаем да вас вспоминаем. Конец лета был дождливый, бурный. Не только хлеба — овсы полегли. И только одна «таежная-19» устояла, та, что выделил Маркович. Помнишь, белесые колоски и красноватые зерна? Урожай дала средний, а устойчивость у нее просто поразительная. Так вот в чем ее секрет... Буду тянуть ее, тянуть за уши. Улучшать...»

Скрипнула дверь, на пороге показалась встревоженная машинистка:

— Мария Ивановна, в лабораторном цехе беда...

— Что такое? — оторвалась от письма Мария Ивановна.

— Степанида упала со скамьи.

— Как упала?

— Так... Перебирала семена и вдруг повалилась, повалилась... На полу лежит. Кажись, не дышит.

— Позвоните доктору, чтобы немедленно явился! — Мария Ивановна бросилась из кабинета.

Лабораторный цех. Возле длинного стола, на котором насыпан ворох семян, суетились бабы. Входит Мария Ивановна.

— Что с ней?

Она отстраняет баб, наклоняется над лежащей Степанидой.

— Омморок... Обнакновенно,— ответила одна женщина.

— Что за обморок? Отчего?

— От голоду...

— Она же вакуированная...

— Хозяйства своего нет... ни коровы, ни молока.

— А что по карточкам получает — детям отдает...

Бабы заговорили все враз, и Степанида слегка приоткрыла глаза.

— Подымите меня. Я сейчас, сейчас... наверстаю...

Ее подняли. Она попыталась было сесть к столу.

— Нет,— сказала Мария Ивановна.— На сегодня ты отработала. Отведите ее в мою комнату. Там теплее. Уложите в постель. А я сейчас принесу молока и лепешек картофельных... Покормить ее надо.

Две женщины уводят Степаниду под руки, остальные сели к вороху зерна.

— Вот она, жизнь, Мария Ивановна,— сказала одна со вздохом.— Сидим возле хлеба и с голоду пухнем.

— Это не хлеб, бабы... Это семена. Наш хлеб воюет.

В лабораторном цехе в плошках колосящаяся пшеница. Мария Ивановна занимается перекрестным опылением. Рядом с ней стоит Наташа.

— Вот видишь, дочка, как это делается? Это пыльники. Пыльца должна быть влажной, тогда она хорошо прорастает. Значит, пыльцу переносишь с этого колоска на другой... Вот так.

— Мам, а тебе Володя говорил о своем решении?

— О каком решении?

— Он уходит из десятого класса. В военное училище поступает, в бронетанковое.

Мария Ивановна роняет пинцет.

Она проходит по коридору, выходит на улицу — раскрытая, с развевающимися на зимнем ветру волосами, в одном платье идет к своему дому.

Володя сидел за столом, читал книгу. По тому, с каким

возбуждением вошла мать, он понял, что его тайна открыта. И сразу нахохлился.

— Володя, что за училище? Что ты надумал? И что это значит?

— Просто хочу поступить в военное училище ускоренного типа. На фронт хочу.

— Почему ты мне об этом не сказал?

— Потому что я еще комиссии не прошел.

— Но ты же школьник!

— Мне скоро стукнет восемнадцать.

Он встал, закрыл книгу, положил ее на полку и, сложив руки на груди, сказал твердо:

— Подошло время, мама, когда я должен решить, мужчина я или нет. Настоящие мужчины все там! И отец, будь он жив, понял бы меня. Я уверен.

Она чуть пошатнулась и как бы прикрылась рукой.

— Мама, что с тобой? — Он поддержал ее за локоть.

— Ничего...— Она подняла голову и поцеловала его.

И вот он идет в колонне таких же молоденьких и крепких ребят. Идут как солдаты, грохают сапогами, держат равнение и даже песни боевые поют: «Эх, махорочка, махорка! По-о-ороднились мы с тобой...» Только чубы да челки выбиваются из-под шапок, да за плечами не ранцы, а рюкзаки, да шаг нестройный, да много плачущих среди провожающих женщин. И Мария Ивановна провожает; она стоит в обнимку с Наташей и долго смотрит вслед уходящей колонне новобранцев.

— Ну вот, мам, и остались мы с тобой одни,— говорит Наташа.— Поедем домой!

— Наташа, я забыла тебе сказать: конюх наш заболел и возить вас в город некому. Придется тебе до конца зимы здесь пожить, в интернате. А я уж одна поеду...

По зимней таежной дороге едет одинокая подвода. Лошадь трусит легкой рысцой, понуро свесив голову. На дровнях сидит в тулупе Мария Ивановна, вожжи отпустила. Они низко провисли и нисколько не тревожат лошадь. Она бежит сама по себе, по какому-то необъяснимому велению.

Такими безучастными друг к другу они и появляются на пристанционной усадьбе. Мария Ивановна вроде

очнулась. Вылезла из дровней, повела лошадь к воротам и стала распрягать ее: отпустила чересседельник, потом долго развязывала супонь — узел туго затянулся и руки плохо слушались, она часто отогревала их дыханием. Наконец сняла гужи, отбросила оглобли и повела лошадь в хомуте и седелке в конюшню.

Потом вышла, убрала дугу, связала оглобли чересседельником и только после этого пошла домой. В почтовом ящике на двери что-то белело. Мария Ивановна открыла ящик, там были газеты и письмо треугольником. Она прошла в коридор, подложила дров в топящуюся печку, потрогала ее рукой, вошла в лабораторию. Первым делом осмотрела колосящуюся в плошках пшеницу — не померзла ли? Потом разделась, села за стол и вскрыла письмо, читает:

— Милая Маша! Я часто думаю о тебе, о том, как обезлюдела наша станция и как трудно вам справляться с такой прорвой дел. И радуюсь тому, что ты разгадала главный секрет Марковича: вытянула из небытия прекрасную пшеницу — устойчивую, неполегаемую. Для нашей суровой землицы лучшего подарка и не придумаешь. Тяни ее, тяни изо всех сил! И придумай ей подходящее название. Назови ее «Твердью». В ней будет и сила небесной благодати, и вера Марковича в бессмертие дела нашего, и стойкость, несгибаемость духа Марии Твердохлебовой. Прости мне высокопарность, но чую великое будущее за этой пшеницей на наших сибирских полях. Назови ее «Твердью» — прошу тебя...

Сильный ветер треплет пшеницу, гонит по ней волны, клонит к земле, но она снова и снова выпрямляется...

Грохочет гром, мощный ветер срывает с деревьев листья, обламывает ветки и гонит по земле. И бьет пшеницу, кладет ее наземь, крутит, метет в разные стороны, но она снова и снова распрямляется, встает.

И смотрит на эту пшеницу Мария Ивановна Твердохлебова.

Она идет сквозь пшеничное поле, направляется к лесной опушке, к высокому речному берегу.

В отдалении виднеется оставленный «газик». В руках Марии Ивановны полевые цветы.

Грозовая туча вроде бы сваливает за реку, но ветер все еще силен и порывист.

На речном берегу раскинул свои удочки древний дед. Увидав Марию Ивановну, он засуетился, воткнул покрепче свои удильники и пошел ей навстречу. Это был старый работник ее отца, Федот, бывший конюх и сотрудник станции.

Они поравнялись на прибрежном откосе, на самой опушке соснового бора.

— Здравствуйте, Мария Ивановна! — старичок приподнял кепку, а потом уж подал руку.

— Здравствуйте, Федот Максимович!

— А я уж с утра здесь. Все вас поджидал... Приедет, думаю, сегодня ай нет? Все же таки у вас у самой праздник: правительственная награда. Поздравляю!

— Спасибо. А я вот взяла да приехала.— Она достала часы, посмотрела: — Уже четыре... Но часы стоят. Странно!

— Я чуял, что приедешь... Я уж и рыбки наловил. У меня там, на кукане, судачок плавает. А на веревочке беленькая... За горлышко привязана. Тоже в реке прохлаждается. Так что есть чем помянуть Ивана Николаевича.

— Спасибо за память.

— Так работали ж вместе с Иваном Николаевичем, и с того света он меня выволок. Как же тут не помянуть? Ай мы некрещеные! И тебе, Мария, подфартило с наградой. Опять причина...

Мария Ивановна подошла к сосне и положила возле корней цветы. Старичок снял кепку, перекрестился...

— Тут была могила,— как бы извинительно произнес старичок.

— Верю, Федот Максимович,— сказала Мария Ивановна.

— Приехал я после мобилизации, в гражданскую ишо, а тут все разворочено, перекопано... Батарея стояла... Фронт, стало быть. Не то белые, не то красные.

Блеснула молния, ударил гром, и с новой силой зашумели сосны, заметалась пшеница.

— Кабы дождь не пошел,— сказал старичок.

— Это ничего,— отозвалась Мария Ивановна.

Она смотрела на мятущееся пшеничное поле и вся ушла в себя.

— Гляди ты, какая пшеница,— говорит старик.— Ее рвет и мечет, влежку кладет, а она все распрямляется. Говорят — это ваша «Твердь». Хорошо вы сработали!

— Я только завершала... А заложил ее он, давным-давно. Все от отца идет...

Она вдруг качнулась и оперлась рукой о сосну.

— Что с вами, Мария Ивановна?

— Наверное, от жары... Напекло. Принесите воды! Голова кружится.

— Воды! Скорее воды! — запричитал старик и трусцой побежал вниз по откосу.

А Мария Ивановна стала медленно сползать вдоль сосны наземь.

Зашаталась земля, дрогнули хвойные ветви и поплыли во все стороны, растворяясь в голубом бездонном пространстве.

Вроде бы и то поле, и место чем-то похоже на то, но перед нами уже не колосья пшеницы, а белая россыпь ромашек, да синие вкрапины ирисов, да желтые пятна купальниц.

Девушки в длинных платьях и мужчина с бородкой, в той же старомодной соломенной шляпе с низкой тульей, собирают гербарий. Это Твердохлебов Иван Николаевич с дочерьми Ириной и Мусей. Младшая Муся, совсем еще подросток, в беленькой панамке, в плетеных башмачках, бегает по лугу.

— Папа, папа! — кричит Муся.— Смотри, кто к нам едет! Дядя Сережа!

От леса прямо по лугу, выметывая выше груди ноги, шел запряженный в дрожки серый, в крупных яблоках орловский рысак. На дрожках, слегка откинувшись на натянутых ременных вожжах, сидел широколицый, бородатый, медвежьего склада мужчина. Это Смоляков Сергей Иванович, сибирский агроном и предприниматель: он и земледелец, и скотопромышленник, и маслозаводчик, и торговец, и прочая и прочая...

Поравнявшись с Твердохлебовым, он рывком намертво осадил жеребца и молодцевато, пружинисто спрыгнул с дрожек.

— Вот где я разыскал тебя. Здорово, друг народа! Честь Сибири и надежда науки!

— Так уж все сразу! — улыбаясь, Твердохлебов шел к нему.

— Нет, не все! Еще либерал и демократ! — Он сгреб Твердохлебова и облобызал трижды.

— Ты что ж, так на дрожках и прикатил из Сибири? — посмеивался Твердохлебов.

— Милый! Я к тебе не то что на дрожках — на аппарате прилететь готов. А этого зверя напрокат взял у костромского барышника. Не поеду же я к тебе на извозчике. Ну как, хорош, мерзавец? — указывал он на рысака.— Хочешь, подарю!

Меж тем Муся уже держала под узцы этого серого красавца: жеребец ярил ноздрями и косил на нее выпуклым, с красноватым окоемом, блестящим глазом.

— Муська, стрекоза! А ну-ка да он сомнет тебя? — ахнул Смоляков.

— А я на узде повисну, дядь Сережа. Я цепкая.

— Ах ты егоза тюменская! А как выросла, как выросла! — Он потрепал ее за волосы и обернулся к старшей сестре: — Здравствуй, Ириш! Значит, гербарий собираем? Отцу помогаешь?

— Нет, я для себя... Я теперь на Голицынских курсах учусь.

— Ишь ты какая самостоятельная!

— А я для папы собираю! — кричит Муся.

— Большего мне теперь не дано,— кивает Твердохлебов на пучок трав.— Вот, на каникулах хоть душу отвожу... А потом опять всякие комиссии, заседания, выступления...

— Да брось ты к чертовой матери эту Думу!

— Меня же выбрали... Народ послал. Голосовали! Как же бросишь? Перед людьми неудобно.

— Я слыхал — тебя на третий срок выбирают?

— Нет уж, с меня довольно! — резко сказал Твердохлебов.— Откажусь, непременно откажусь.

— И куда же потом?

— Опять в Сибирь, папа? Да? — крикнула Муся.

— Это не так просто, дочь моя,— озабоченно ответил Твердохлебов.— Ну, что ж мы посреди луга встали? О серьезных делах за столом говорят.

Письменный стол в домашнем кабинете Твердохлебова, заваленный газетами, письмами, телеграммами. У стола сидят хозяин и Смоляков. Сквозь растворенную дверь видны другие комнаты; там раздаются голоса, мелькают женские фигуры, кто-то играет на пианино.

Муся сидит тут же в кабинете отца за легким столиком и заполняет листы гербария.

— Ну уж нет... На этот раз я от тебя не отстану. Должен я что-то сказать сибирякам,— говорит Смоляков.— Поставку семян, закладку питомника — все возьмет на себя кооперация... Исходный материал можешь заказывать всюду, в любом месте земного шара — достанем. Любые расходы покроем.

— Но мне понадобится еще и метеорологическая станция.

— Иван Николаевич, лабораторный цех для селекции уже готов. Все остальное построим. Помощников набирай сам сколько хочешь. Оклад тебе положим от кооперации — десять тысяч в год, как начальнику департамента,— смеется Смоляков.

— А вы не боитесь прогореть на моей науке, господа кооператоры?

— Нет, не боимся. У нас все подсчитано... Помнишь, как мы с тобой голландцев побили сибирским маслом? А с чего начинали? С ярославских быков да с вологодской коровы с одиннадцатью тысячами пудов масла. А как только наладили селекцию, по сто тысяч в год давали приросту! А?

— Ну, пшеницу новую не выведешь за год.

— Да мы и старыми сортами иностранцам нос утрем. Наши мужики наладили караваны зерна в Афганистан. И по морю, и на верблюдах. И поезда фрахтуют. Всю торговлишку англичан там порушили. До Персии добираемся, Индии!.. В Китай идем. А если нашим мужикам дать новые сорта, засухоустойчивые, скороспелые, урожайные... Они весь мир завалят... Дело говорю?

— Дело!

— Ну так едем?

— Трудно мне сейчас сказать тебе что-либо определенное. Видишь, я занят, даже здесь, в отпуске,— сказал Твердохлебов. Он взял со стола письмо.— Это вот жалоба от ссыльного Крючкова... Угодил в ссылку за сбор подписей в защиту иваново-вознесенских забастовщиков. Я говорил с министром внутренних дел... Обещал освободить. А это письмо от тюменского попа. Архиерей притесняет — поп на проповеди обличил местные власти в растратах пособий переселенцам. Надо в Синод писать.

— И хочется тебе с этой политикой возиться? Ты же ученый, друг мой. Учти, наука ждать не может,— сказал Смоляков.

— Это верно, наука не ждет. И мириться с простоем нельзя. А с такой мерзостью мириться можно? Вот, полюбуйтесь.— Твердохлебов достал из папки телеграмму и подал Смолякову.— Телеграмма из Верного. Мать телеграфирует... Сына ее, студента Филимонова, предают во Владимире военно-окружному суду. Будто покушался на урядника. Но это ложь!.. Я проверил. Его просто оговорили провокаторы. А сам Филимонов находился в то время в Москве. И тем не менее...

— Не понимаю, какой смысл в этом?

— Простой... У Филимонова голова на плечах и горячее сердце. Молчать не хочет. Проповедует. Вот это и опасно. В подлые времена мы живем: честных людей увольняют, порядочных обыскивают... Так что же мы должны? Сидеть и ждать — когда до нас дойдет очередь? Нет! — Твердохлебов встал и нервно прошелся по кабинету.— Нет и нет! Я завтра же еду во Владимир и сам буду слушать это дело.

Муся, отложив гербарий, следит за отцом.

— Папа, возьми меня с собой!

Твердохлебов остановился, поглядел на нее:

— Ну что ж, поедем. Тебе это полезно будет.

Военно-окружной суд. Небольшое помещение забито военными, полицией. Штатской публики мало; в гуще самой мы видим Твердохлебова с дочерью.

За судейским столом сидят пять офицеров, в центре — председатель суда, полковник. Чуть сбоку в загородке стоит бритый смуглый молодой человек. Это подсудимый Филимонов. Возле него два солдата с саблями наголо. Молодой человек говорит, обращаясь к судьям:

— Вам хорошо известно, что ни в каком покушении я не участвовал, так как находился в то время в Москве, а не в Шуе. Вы не смогли найти ни одного свидетеля, кроме полицейского осведомителя. Вы боитесь даже присяжных — вам нужно единогласие в расправе. Даже публику впускали по пропускам, свою, доверенную. И вот вы сидите одни и разыгрываете комедию суда. Вы боитесь даже признаться, за что меня судите. А судите вы меня за покушению, но только не на урядника, а на присвоенное вами право — одним говорить открыто, а остальным молчать. Вы судите меня за то, что я осмелил-

ся сказать рабочим людям, что они имеют право свободно выражать свое мнение, право на собрания, демонстрации, право самим решать свою судьбу. Я говорил и буду говорить, что люди должны быть свободны и никакими высокими словами о государственной необходимости нельзя оправдать произвола и насилия. Вы меня судите за идеи. Вам нечего выставить против наших идей, кроме дубинки, тюремной решетки и виселицы. Но помните — идеи нельзя посадить за тюремную решетку. Насилие, брошенное против идей, что ветер для огня; оно может только раздуть это негасимое пламя в огромный пожар. Берегитесь! Вы сами сгорите в этом огне.

Подсудимый сел.

Председатель суда, вставая:

— Суд удаляется для вынесения решения.

Все встают и выходят в фойе.

Твердохлебов очень возбужден. К нему подходит молодой вертлявый репортер.

— Господин депутат, что вы думаете об этом процессе?

— Это издевательство над правосудием. Процесс должен быть гражданским, с присяжными, с защитой,— ответил Твердохлебов.

— Что вы предлагаете предпринять?

— Подождем решения суда.

— Папа, а почему он такой спокойный? Ведь его могут засудить? — спрашивает Муся.

— Он прав, поэтому и спокоен.

В другой группе слышны голоса, но трудно уловить, кто что говорит.

— Скажите на милость — у них еще молоко на губах не обсохло, а им подай равноправие! А хрена тертого не хочешь?

— Это они голос пробуют. Не замай!.. Откукарекают свое и за дело возьмутся.

— А если бы он урядника смазал из револьвера? Это как, тоже кукареканье?

— Им, видите ли, дай свободу выражаться! Испорченная молодежь.

— А все Запад мутит. Весь соблазн оттуда.

— Известное дело — Европа.

— Нет, скажите на милость! Дайте им мнение свое высказать! А ты заслужил такое право? Где? В каком заведении? У нас государство... Порядок то есть...

— Шебуршат ребятки... Потому как выпить не на что.

— Человек за идею пошел... Социалист! А ты выпивку! Тьфу!

— А ты мне поднеси... Я те такое наговорю, что про весь сицилизм забудешь...

— Разболтанность...

— Глупость наша, и больше ничего.

— И откуда такие личности взялись? Суд закрытый, публика отборная.

— Подставные, не видишь, что ли?

Раздается звонок.

Публика входит в зал, занимает места.

Вдруг зычный окрик:

— Встать! Суд идет.

Все встают.

Входят судьи, стоя зачитывают приговор:

— «Именем его Императорского Величества Самодержца Великой и Малой Руси и прочая и прочая выездная сессия Московского губернского военно-окружного суда, рассмотрев дело бывшего студента Михаила Васильевича Филимонова, обвиняющегося по приказу генерал-губернатора о покушении на жизнь шуйского урядника Репина Федора Ивановича, признала подсудимого Филимонова Михаила Васильевича виновным и на основании положения о чрезвычайных мерах по пресечению беспорядков и смуты, подписанного его Императорским Величеством, постановил: приговорить Филимонова Михаила Васильевича к смертной казни через повешение.

Председатель военно-полевого суда
Полковник от инфантерии — Васильев».

— Ну что ж, посмотрим! — сказал Твердохлебов и быстро пошел к проходу. Муся еле поспевает за ним.

Почтовая контора. Твердохлебов, облокотясь на полок, пишет телеграмму на фирменном бланке депутата Думы. В левом верхнем углу типографским шрифтом отпечатано «Таврический дворец». Он быстрым размашистым почерком пишет: *«Срочно. Москва. Генерал-губернатору Гершельману. Владимирским судом приговорен к смерти бывший студент Михаил Филимонов. По прошению матери его обращаюсь к вам и умоляю смягчить приговор ради несчастной матери его. Помогите. Член Г. Думы* Твердохлебов».

Газета «Биржевые ведомости» на столе у премьер-министра Столыпина. Красивый, гладко зачесанный, в прекрасном костюме, в очках в тонкой золотой оправе, Столыпин читает заметку:

«В кулуарах, как мы уже передавали, от члена Г. Думы Твердохлебова получена телеграмма, в которой сообщается об ужасной судебной ошибке, допущенной владимирским военным судом».

В дверь входит в новеньком мундире молодой адъютант:

— Петр Аркадьевич, к вам председатель Думы Хомяков.

— Зови!

Адъютант скрывается за дверью с надписью «Премьер-министр П. А. Столыпин».

Хомяков входит озабоченный, чуть горбясь, пожимает протянутую руку Столыпина и, узнав «Биржевые ведомости» с судебной заметкой, начинает без обиняков:

— Неприятный скандал... Левые депутаты волнуются. Требуют провести расследование.

— А что с этим подсудимым? Покушался он или нет?

— По-видимому, наговор... Показывал некий Быков, а потом отрекся. Шума испугался,— усмехнулся Хомяков.— Так что следователи не могли найти даже подходящего свидетеля.

— Ослы! А кто этот Филимонов?

— Социал-демократ... Опасный пропагандист.

— Ослы в квадрате.

— Пресса шумит. Что будем делать?

— А что ж тут делать? Прессу надо успокоить. Приготовьте телеграмму об отмене приговора... На имя московского генерал-губернатора... А я подпишу.

— Телеграмма уже готова.— Хомяков вынимает из портфеля телеграмму и кладет на стол Столыпину.

Тот слегка повел бровями:

— Твердохлебов подсунул?

— Его работа.

— Оборотистый этот либерал...— Подписывает телеграмму.— Кстати, в новых списках кандидатов в Думу есть его фамилия?

— Нет. Он наотрез отказался баллотироваться.

— Наконец-то он понял, что его время давно прошло... Впрочем, в Думе он сделал кое-что и полезное.

— Очень энергичен, очень.

— Если бы не его комиссия, нам бы ни за что не утвердили в бюджете двести тысяч рублей на сельскохозяйственную науку... Подумать только — с одиннадцати тысяч поднять до двухсот! Клянусь тебе, Хомяков, без вашей Думы мне бы не утвердили эту сумму.

— Бюджет-то он пробил, да куда сам пойдет после Думы?

— Восстановится в прежних правах губернского агронома.

— Не думаю... Министр не простит ему этого шестилетнего либерализма.

— Да, эти его либеральные заскоки... Хороший ученый и большую пользу мог бы принести отечеству и науке.

Петербургская квартира Твердохлебова. Иван Николаевич собирает вещи, укладывает чемодан. Входит квартирная хозяйка, аккуратно одетая, уютная старушка, подает пачку писем и газет:

— Почта вам, Иван Николаевич.

— Спасибо, Надежда Яковлевна.

Старушка уходит. Твердохлебов быстро перебирает конверты, останавливается на одном — обратный адрес не заполнен, только помечено: «г. Шуя». Он вскрывает конверт, читает письмо:

«Народному представителю от рабочих г. Шуи.

Иван Николаевич!

Не нахожу слов для выражения Вам безграничной благодарности за ходатайство за Михаила Васильевича Филимонова.

Мы, рабочие г. Шуи, были ошеломлены ужасным приговором над нашим дорогим учителем, но и не могли ничего сделать, так как лишены возможности говорить. Сердце обливается кровью, смотря на наше правосудие. И это делается в XX веке, при наличности Государственной Думы. Нас удивляет молчание владимирских депутатов о таких вопиющих несправедливостях...»

В дверь постучали.

— Войдите.

Входит Надежда Яковлевна.

— Я совсем забыла передать: заходил к вам высокий бородатый господин, говорит — из Сибири. Сказал, что будет к вечеру...

— Спасибо, Надежда Яковлевна. Я сейчас ухожу... Если он придет, путь непременно подождет меня.

— А вдруг ему ждать придется долго? Что сказать?

— Не придется... Скажите, что у министра земледелия. Тот не задержит.

Министр земледелия — внушительных размеров мужчина с холеной окладистой бородой. Твердохлебов сидит перед ним такой неприметный, обыденный, и только глаза настойчиво, требовательно смотрят на министра. Хозяин кабинета говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит, прячет.

— Мы ценим ваш талант, богатый опыт, но сфера общественно-государственного служения, к сожалению, небезгранична. И что-либо обещать вам в данный момент, к сожалению, не могу.

— А что же тут обещать? Вы меня восстановите в правах губернского агронома. Я имею на то право — шесть лет отработал в Думе.

— Да, но вы были уволены раньше вашего избрания. Если не ошибаюсь — в девятьсот шестом году? За революционную деятельность?

— Я никогда не был революционером. Или съезд сибирских крестьян, который провел я, вы считаете революционным актом?

— Если съезд проходит по указанию властей, то нет. И потом, политическая окраска вашей деятельности в Думе имела определенное направление.

— Я не принадлежал ни к одной партии.

— И тем не менее.

— Вы не хотите восстанавливать меня в правах?

— Ну зачем же так категорично? Просто у нас нет подходящей губернии, где бы вы смогли развернуть во всю силу ваши организаторские дарования.

— Но одну из тех опытных станций, которые будут заложены на деньги, что я выхлопотал,— вы сможете доверить мне?

— О тех станциях говорить еще рано.

— Хорошо! Тогда назначьте меня на Саратовскую опытную станцию помощником директора по селекции.

— Ну что вы, Иван Николаевич,— широко улыбнулся министр.— Такого крупного ученого и помощником директора? Я сам бы рад был работать у вас в помощниках. Если вы читали мои статьи, то, может, изволили заметить — я пользуюсь вашими выводами. Весьма признателен...

— Не стоит благодарности.— Твердохлебов встал.— Честь имею!

На людной петербургской улице торопливо идущего Твердохлебова нагоняет лихач. Из коляски выпрыгивает Смоляков и кричит во все горло:

— Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? — Обнимает Твердохлебова за плечи.— А я за тобой в министерство катал. Выручать... Го-го!

— Мерзавцы они! Мерзавцы! Я им двести тысяч на науку выхлопотал, а они же мне места не дают. Даже на станцию... помощником директора.

— Да плюнь ты на них! И на их двести тысяч. Мы тебе миллион дадим! И такую станцию отгрохаем, что на весь мир загудим. А земли сколько хочешь. Рожалая, сибирская... Э-эх, косоплетки за спиной! — Он обернулся к лихачу: — Эй ты, козолуп! Дорогу в кабак знаешь?

— В какой?

— Где цыгане.

— Известно.

— Ну, по рукам, что лича? — тискает он руку Твердохлебова.

— Обговорить надо.

— А вот там и обговорим, и отметим...— Они садятся в пролетку.— Пошел!

И лихач срывается с места.

— Эй, чавеллы!

— Хоп! Хоп! Хоп! Хоп!

— Что ты?.. Что ты?

Поют цыгане, трясут плечами, звенят бубны.

А за столиком, в укромном кабинете, сидят Смоляков и Твердохлебов и не столько пьют, сколько заняты разговором.

— Так и отказал тебе министр? — спрашивает Смоляков.

— Если бы просто так... А то еще с издевкой,— отвечает Твердохлебов.— Сидит, бороду поглаживает, говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит в сторону. Я не выдержал и сказал: честь имею!.. А за порогом выругался от бессилия.

— И прекрасно! — сказал Смоляков.

— Чего же прекрасного-то?

— А то, что послал их к чертям собачьим. И едешь в Сибирь. Я уж учуял, депешу дал, чтоб встречали. И цех для твоих образцов приготовил.

— Образцы у меня собраны... Только по Тобольской губернии около семисот...

— Я читал твои статьи о тобольских пшеницах. О чем говорить!

— Дело не только в пшеницах. Я хочу заложить линии и по кукурузе, по картофелю, по конским бобам, гороху, могару, сорго, свекле...

— Отлично!

— Я хочу провести агротехнические опыты! Влияние томасшлака и селитры на урожай картофеля, влияние способов посева овса, сравнение урожаев смесей двух рас яровой пшеницы с урожаем чистой расы...

— Превосходно!

Кострома. Тот же самый дом Твердохлебовых на Нижней Дебре. Но теперь мы видим просторную гостиную с растворенными дверями на террасу. Обстановка довольно скромная. В гостиной сидят тетя Феня, Ирина, Муся. Сестры тихонько наигрывают в четыре руки на пианино. Тетя Феня слушает плохо, все поглядывает на террасу. Хозяйка Анна Михайловна с палитрой и кистями стоит у мольберта, набрасывает портрет худого длиннолицего молодого человека, сидящего в шезлонге. Тот курит и говорит, лениво покачивая ногой:

— Черт-те что! Не глаза получаются, а провалы, колодцы! Я пока еще живой.

— А я виновата? У тебя взгляда нет, Филипп, мысли!.. Или ты спишь?

Да, это тот же Филипп Лясота, но еще совсем молодой, без бороды.

— Я забываю мир — и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем...— бормочет он.

Тетя Феня заметно нервничает, наконец встает, подходит к Анне Михайловне.

— Аня! Ты можешь оторваться наконец! Я сегодня уезжаю.

— Попробуем теперь краплак...— говорит свое Анна Михайловна и кладет кистью мазок.— Вот так! — Не отрываясь от работы: — Феня, голубчик. Ведь ты знаешь мою привычку: когда я пишу, чувства мои трезвеют, я могу принять самое нужное решение. Говори! Здесь все свои.

— Но боже мой! Есть же у человека какие-то интимные вопросы.

— И просыпается поэзия во мне...— бормочет Филипп, но, услышав последнюю фразу, словно очнулся: — А? — Смотрит на тетю Феню, та на него.— Это вы мне? Пардон, мадам, пардон.

Он встает, перешагивает через поручень балюстрады и уходит в сад.

— Ну вот, всегда у тебя так! — с досадой говорит Анна Михайловна.— Что тебе понадобится — сейчас же вынь да положь.

— Не столько мне понадобилось, сколько Ивану Николаевичу, детям и тебе, наконец.

Сестры прекращают игру, прислушиваются.

— Пойми же, Иван Николаевич ушел из Думы, сейчас он вроде безработного... Рвется в Сибирь, и под любым предлогом. Все решится на днях. Надо готовиться к переезду,— говорит тетя Феня.

— Но я теперь не могу ехать в Сибирь... Теперь...

— Почему?

— Ну, нельзя же бросить дом... Ивану Николаевичу легко — он шестой год как студент, по квартирам живет. И в Сибирь налегке поедет.

— Зачем же налегке? Езжайте все вместе. Я помогу вам.

— А куда девать Иришу? Здесь ей полдня езды — и дома... А Филиппа? Он же больной! Его в Карлсбад везти надо!

— В Карлсбад? Но это больших денег стоит!

— Деньги Карташов даст. Филипп — талант, пойми ты. Ему нельзя без ухода, без надзора — он погибнет!

— Но Иван Николаевич?

— Что Иван Николаевич? Ивану Николаевичу за пятьдесят перевалило... Он человек выносливый, пре-

красно приспосабливается к среде... И если хочешь знать — мы для него обуза. По крайней мере, на первый период.

— Тетя Феня, я еду с тобой,— говорит Муся.

— Ну и пожалуйста! — вспыхнула мать.— И ты тоже собирайся. Ну, чего смотришь? — накинулась она на старшую дочь.— Уезжайте все! Все!

— Мама, не шуми,— холодно произносит Ирина.— Ты же знаешь — я поеду. Но только на практику. Подождем отца, а там рассудим.

Широкая сибирская равнина, по степной высокой траве на лошади скачет девушка. Она сидит без седла, по-мальчишечьи цепко обхватив голяшками бока лошади. Вот она подъезжает к небольшой, но глубокой, прозрачной речке и с ходу — в воду. Поначалу лошадь лениво цедит воду сквозь зубы, потом идет дальше и все дальше на быстрину. И вот уже плывет, вытянув голову и прядая ушами.

Муся стоит на ее спине, держась одной рукой за повод.

Когда лошадь, уже по колена в воде, выходила на другой берег, откуда-то из-за кустов рванулись к ней с лаем две рослые лохматые собаки. Лошадь шарахнулась в сторону, а Муся, все еще стоявшая на ее спине, упала в воду.

— Долой, долой, говорю! Фьють-тю! — кричал на собак, подбегая к девушке, парень лет восемнадцати.

Собаки, замахав хвостами, смущенно отошли, лошадь остановилась на берегу и стала щипать траву, а девушка, сердитая и мокрая, чуть не плача, кричала на парня:

— Распустили тут целую псарню!.. Бросаются как бешеные! Если не умеете воспитывать собак, так держите их на цепи.

— Это не мои собаки. Пастушьи.

— А вы кто такой?

— Здрасьте! Я же к отцу вашему приехал с группой практикантов из Курганской лесной школы.

— А почему же вы здесь, а не в питомнике? — строго спросила Муся.

— Ого! Да ты прямо как управляющий допрашиваешь.

— Во-первых, не ты, а вы...

— Ишь ты как строго! А вы сами почему не в питомнике, господин управляющий?

— А я пригнала лошадь попоить да выкупать... Мне дядя Федот доверяет.

— А нам Иван Николаевич доверил земли изучать в пойме... И грунтовые воды.

— Тогда другое дело...

— И вы разрешаете? — усмехнулся парень.

— Не смейтесь, пожалуйста. Из-за ваших паршивых собак я все платье намочила. Как я теперь домой покажусь?

— А мы его высушим. Я для вас вот здесь костер разложу. И пока вы будете обсыхать, мы уху сварим. Так что пообедаете с нами.

— Вы рыбы наловили?

— Нет, я только еще собираюсь.

— А откуда вы знаете, что она сразу так и полезет к вам в сеть?

— Нет у меня сети.

— И вы хотите удочкой так вот с ходу поймать на уху?

— И удочки нет у меня.

— Чем же вы будете ловить, рубашкой?

— Острогой...— Он подошел к тальниковому кусту и достал оттуда трезубец, насаженный на длинный тонкий шест.

— Этой штукой ночью бьют, с подсветом,— сказала Муся.

— А я и днем умею.

— Как это?

— А вот так, смотри...

Он скрылся за кустом. Через минуту, стоя в маленькой долбленой лодке, отталкиваясь прямо острогой, он вышел на стремнину и замер в напряженном внимании. Лодка тихо скользит по воде, парень стоит, замерев, глаза устремлены в воду, в согнутой руке острога, как гарпун. Вдруг бросок, промелькнувшая в воздухе острога — и вот уже бьется на поверхности реки, поблескивая белым брюхом, пронзенная острогой нельма. Парень берет со дна лодки весло, подгребает и снимает нельму.

— Видала? — показывает он Мусе.

— Здорово! — восхищенно произносит она.— Как вас зовут?

— Меня? Василий, Силантьев...

— А меня Муся.

— Слыхал.

Костер на берегу реки. Двое молодых парней и Муся едят уху. Муся уже успела обсушиться.

— Кто же вас выучил так бросать острогу? — спрашивает Муся.

— Дядя Аржакон,— отвечает Василий.

— Кто, кто? В жизни не слыхала такого имени.

— А между прочим, про него сам Пушкин написал,— сказал Василий.

— Где это? Не помню.

— Ну как же! «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус...» Так вот тот самый дикий тунгус и есть мой дядя. Правда, он теперь уже не дикий, а совсем прирученный. Домашним стал.

— А почему вы не похожи на тунгуса?

— Почему нет? Немножко есть такое дело.— Он приставил пальцы к вискам и растянул глаза.

— Ой, и в самом деле! — засмеялась Муся.— Как интересно!

— Чего? Тунгусом быть?

— Нет, иметь такого дядю. А вы учитесь или уже окончили?

— Оканчиваю лесную школу... Потом поступлю в Петровскую академию...

— А я поступлю на высшие Голицынские курсы при этой академии. Там сейчас моя сестра учится.

— Слыхал. Серьезная барышня...

— Ей официально засчитывают практику у папы. А мне нет.

— Где же ты учишься?

— В коммерческом, в Тюмени. Мне уже немного осталось.

— Сколько?

— Пять лет.

— Пустяки...— говорит Василий.

Верхом на лошади подъезжает Муся к селекционной станции. Вдали виден двухэтажный, обшитый тесом лабораторный корпус, жилые дома, конюшни... А здесь, на переднем плане, огромные, на много десятин, питомники; и пшеницы, и ржи, и овса, и кукурузы, и

картофеля, и чего только нет здесь; все забито аккуратными рядками, всюду таблички с надписями, и все по делянкам. И люди, кропотливо обрабатывающие эти делянки,— все больше молодежь.

Ирина обрабатывает колосья, увидев подъезжающую Мусю, распрямляется.

— Ты где это носишься?

— Меня дядя Федот посылал лошадь искупать.

— За это время и слона можно было вымыть. А кто деляну за тебя станет обрабатывать? Дядя Федот? Или колоски ждать тебя станут?

— Не беспокойся, от тебя не отстану...

Муся шевельнула коня, и он перешел на рысь.

Возле конюшни неподалеку стоял и ждал ее конюх Федот, чернобородый, в длинной синей рубахе, перехваченной тоненьким ремешком.

— Иль случилось что? — с тревогой спросил он подъезжавшую Мусю.

— Да ничего особенного,— отвечала Муся.— Просто я упала в воду, ну и обсыхала.

— Не ушиблась? — суетился Федот, привязывая коня.

— Пустяки...

— Сестрица на вас гневается. Самая, говорит, кастрация колосков подошла, а она прохлаждается.

— Ее просто завидки берут, что я быстрее работаю.

— А что же это за кастрация такая? Ну, к примеру, жеребца облегчить или там боровка — это я понимаю... Промежности, значит, вычистить. Лишние штуки, извиняюсь, удалить. А здесь колоски. И что у них могут быть за штуки? Я, конечно, извиняюсь... Мудрено...

— Все очень просто — надо пыльники удалить, ну, тычинки, а пестики оставить...

— Гм... значит, и у пашеницы есть тычинки, да ишо и пестик? Скажи на милость, всю жизнь прожил, а вот ни тычинок, ни этого самого... у пашеницы не видал.

— Да поглядите, я вам покажу. И научу, как делать кастрацию.

Муся и Федот подходят к пшеничной делянке. Муся берет колосок и пинцетом начинает отводить ость.

— Вот видите?.. С еле заметной пыльцой — это тычинки. Их удалять надо... Вот так. А этот стволик с рыльцем — пестик. Его оставляют. Понятно?

— Ну-к, дайте я попробую.

Федот робко взял пинцет и неуклюже зажал его толстенными пальцами.

— Да вы не так... Надо чтобы он ходил... Вот так...

Федот опять сжал пинцет, на этот раз с каким-то остервенением стал пырять в колосок, аж вспотел...

— Да вы же не захватываете пыльники,— говорит Муся.

— Нет, милая, знать, мне не дано,— сказал Федот.— Вот жеребца я могу завалить или борова. А здесь не дано.

— Вот смотрите, как я...

— Нет, нет... Да мне и некогда. К Ивану Николаевичу надо. Лошадь просили запречь.

Федот уходит.

Он входит в лабораторный корпус, подходит к дверям кабинета Твердохлебова и казанком указательного пальца осторожно стучит.

— Войдите,— раздался голос Твердохлебова.

Иван Николаевич сидит за столом. Перед ним в пакетиках и вроссыпь образцы семян... На стенах засушенные снопы пшеницы, овса, кукурузы. Стоит микроскоп. Иван Николаевич что-то пишет.

— Я извиняюсь, конечно... Но вы просили лошадь заложить. Дак запрягать?

Федот хочет уйти.

— Федот Ермолаевич,— останавливает его Твердохлебов.— Присядьте на минуту,— указывает он на жесткое кресло.

Федот сел на самый краешек с такой осторожностью, словно это было не кресло, а горячая сковородка.

— Я все хотел спросить у вас, Федот Ермолаевич: случалось в вашей практике, что пшеница не успевала вызревать?

— Всякое было, Иван Николаевич... Мотаешь, мотаешь соплей на кулак, а она возьмет и захолонеет. Я более двадцати лет пашу и сею.

— А не обратили внимания, какие сорта не вызревали?

— Больше всего «полтавка»... и «саратовскую» осень прихватывала. Ломаешь-ломаешь, да так и остаешься с пустым кошелем.

— А ваша «курганская» как себя ведет?

— Красноколоска, что ли? Эта убористая.

— Как вы сказали?
— Приспосабливается то есть... Погоду чует.
— Прекрасно! Вот именно чует.
В дверь с грохотом влетел Смоляков. За ним незаметно проскальзывает Муся, прошла к дальнему шкафу, затаилась там.
— Извини за вторжение... Но собираюсь в Иркутск, завернул попутно. Авось нужен,— сказал Смоляков.
— Нужен, голубчик, нужен. Я как раз к тебе собирался. Вот у него и лошади готовы,— кивает он на Федота.
— Дак я тады отпущу лошадей-то,— говорит Федот, вставая.
Федот уходит.
— Где ты такого лешака выкопал?
— Здешний хлебороб. Светлая голова, и какой глаз! Любые сорта запоминает с ходу и потом из тысячи зерен выбирает нужные.
— Не перехватил?
— Нисколько! Я постоянно говорю: знания у народа от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум. Да!
— Ну, сел на своего конька!.. Друг народа... Ты лучше похвастайся своими делами.
— Похвастаться пока нечем... Но дела идут. Одной пшеницы яровой заложено тысяча триста пятьдесят восемь линий, да пять коллекционных питомников, десять питомников по селекции кормовой свеклы да картофеля. Да питомники элитных растений по овсу, по озимой пшенице... И двадцать три сорта кукурузы.
— А говоришь, нечем хвастаться?
— Пока могу только сказать, что линии «мильтурум-триста двадцать один» и «цезиум-три» очень перспективны... Да, я зачем к тебе хотел заехать? Ты, кажется, в Иркутск собираешься?
— Еду,— сказал Смоляков.
— У меня к тебе просьба.— Твердохлебов взял со стола конверт и протянул его Смолякову.— Передай от меня генерал-губернатору Князеву.
— Что это?
— Просьба... Ну, ходатайство. Считай как угодно.
— Поди, опять насчет политических?
— Опять.
— Ну, горбатого только могила исправит.
— Мне Фатьянов написал из Германии. В Иркутском

централе сидит его брат с товарищами. Приговорены к смертной казни. Увидишь Князева — и от моего имени, и сам попроси смягчить приговор. Я его знаю по Тобольску. Он человек порядочный, добрый...

— Эх, Иван Николаевич, Иван Николаевич! Мы деловые люди, страну обстраиваем. А эта шантропа мокрогубая растащить ее хочет.

— Дорогой мой! У отечества не должно быть сынков и пасынков. Право на полное участие в жизни, право на свободу мысли, де́ла, творчества, наконец, должны иметь все! И равноправно! И если такого равноправия не дают наши законы, то следует их пересмотреть. И не кому-либо другому, а нам с вами лично... В том, что страдают эти молодые люди в Иркутском централе, есть и доля нашей вины. И прискорбно слышать, что вам на это, в сущности, наплевать. Очень сожалею...

— Ну, хорошо... Я передам твою просьбу.— Смоляков кладет письмо в карман.

— Премного благодарен.— Твердохлебов слегка наклоняет голову, потом сопровождает до двери гостя. Обернувшись, увидел Мусю: — Ты что здесь делаешь?

— А я слушала.

— Гм...

Муся подошла к нему и порывисто поцеловала в щеку.

— Ты такой молодец, папочка!.. И я клянусь тебе, что все буду делать как ты...

— Вон как! — усмехнулся Иван Николаевич и с притворной строгостью: — Тогда марш на деляну!

По пыльному сибирскому большаку катит пароконная бричка, груженная узлами и саквояжами. Федот сидит в передке, лениво помахивая кнутом, тянет песню: «Ой да ты кал-и-и-инушка! Разма-али-инушка!» Тетя Феня и Муся сидят на задке на сене. Лошади бегут дружно, весело, потряхивая головами. Над степью кружит одинокий коршун.

— Дядя Федот, за сколько же дней мы доедем до Тюмени?

— Дён за десять, за пятнадцать, бог даст, доберемся,— отвечает Федот.

— За десять или за пятнадцать? — переспрашивает Муся.

— А не все ли равно? Ты моли бога, чтобы колесо не отлетело.

— Да мне же через две недели в школу идти.

— Школа не медведь, в лес не уйдет.

— Но и опаздывать нам негоже,— сказала тетя Феня.

— Нагоним, Фекла Ивановна. Лошади, они дорогу знают.

— А сколько нам еще осталось верст? — спрашивает опять Муся.

— Кто его знает! Наши версты мерил черт да Тарас, но у них цепь оборвалась... Но-о, залетные! Шевелись, что лича!

Он дернул вожжами, и кони прибавили ходу.

— Я так себе кумекаю,— рассуждает Федот,— ежели ты в дороге, то выбирай день по силам. Об конце не думай. Потому как думы об конце зарасть вызывают.

— Это какая такая зарасть? — спрашивает Муся.

— Чаво?

— Ну, азарт,— отвечает за Федота тетя Феня.

— Вроде,— соглашается Федот.— А зарасть в любом деле помеха, потому как ты думаешь не о том, как бы лучше сделать да силы сохранить, а о том, как скорее.

— Так ведь дорога для того и дана, чтобы ее скорее проехать,— сказала тетя Феня.

— Для тебя да. Но каково лошадям? А мне? Бричке? А?!

— Верно, дядя Федот! — Муся даже в ладоши хлопнула.

— Пожалуй, да,— усмехнулась тетя Феня.

— Ай да дядя Федот! — сказала Муся.— Мудрец!

— Ты не в ладоши хлопай, а на ус мотай,— снисходительно заметил Федот.— Кончишь свои важные учения, начнешь работу гнать — помни не только о деле, но и о тех, кто тянет твою работу... Н-но, милые! Н-но, помаленьку!.. Ой да ты не сто-о-ой, не сто-ой на гаа-аре кру-утой...

Навстречу им по дороге идет странная колонна: арестанты не арестанты и не солдаты, одеты пестро — кто в пиджаках, кто в поддевках, а кто и просто в полотняных и холщовых рубашках. Впереди идут подводы, груженные заплечными мешками. Идут нестройно, не то колонна, не то толпа — не поймешь. Поравнявшись с ними, Федот спрашивает головного:

— Куда путь держите?

Головной, насупленный военный в погонах, молча прошел мимо.

— На работу? Али, может, по пожару собрались? — спрашивает Федот.

Ему ответили из колонны нехотя:

— Мобилизация.

— Какая ишшо мобилизация? — спросил Федот.

— Тетеря! Ай не слыхали, что война началась?

— Германец поднялся.

— Вот те раз... Приехали...— сказал Федот.

Муся в сером платье с кружевным воротником и такой же вязки кружевными обшлагами читает письмо:

«Дорогая казачка!

Пишет Вам тот самый дикий тунгус, который вилкой рыбу из реки доставал. Вы, наверное, уже приступили к своему пятилетнему курсу обучения. Не сомневаюсь, что Вы его одолеете в пять прыжков. А вот моя академия скрылась в синем тумане. Я ухожу на войну — мобилизован. И вообще все помощники Ивана Николаевича, которые брюки носят, за исключением Федота, идут на войну бить германца. И даже сестрица Ваша, чего мы не ожидали, добровольно пошла на курсы сестер милосердия...»

— Тетя Феня! — кричит Муся.— Со скольких лет принимают на курсы сестер милосердия?

Тетя Феня появляется в дверях Мусиной комнаты в строгом костюме.

— Должно быть, с восемнадцати. А в чем дело?

— Ирина в добровольцы записалась...

— Правильно сделала.

— Литовцев в классе сказал, что воевать будут за интересы капиталистов.

— Оно конечно... Хотя отечество состоит не из одних капиталистов.

— Как подойдет срок, я тоже запишусь в сестры милосердия.

— Прекрасно! А сейчас иди на собрание.

В актовом зале коммерческого училища собрались все учащиеся, педагоги — на сцене за столом. Из-за стола встает строгая тетя Феня и произносит:

— Господа! Отечество наше переживает трудное испытание войной... От того, как будут вести себя ее сыны и дочери, зависит победа над коварным врагом. Это касается всех, в том числе и учащихся. Больше собранности, больше старания и ответственности. Помните, мы начали учебный год в военное время...

Веселыми стайками сбегают ученики с лестницы парадного крыльца. Здесь, неподалеку от училища, пристроился со своим огромным деревянным аппаратом и натянутым холстом с намалеванным озером и горами фотограф. Он зазывает пробегающих учеников:

— Аспада юноши и девицы! Античный горный пейзаж! Один момент, и вы перенесетесь навечно в голубые горы Кавказа. Подходите сниматься!

Мимо фотографа пробегают два парня и две девушки. Один из парней приостанавливается:

— А что, ребята? Сняться в такой момент. Война — и начало года!

— Фантастика!..— кричит второй парень.

— Вы будете иметь удовольствие на всю жизнь,— говорит фотограф и, не давая им опамятоваться, тащит всех четырех к холсту.

— Вы потом себе просто не простите, если не снеметесь,— суетится вокруг аппарата фотограф, накидывая на голову черную тряпку.— Я вам сделаю вещь, вы сами удивитесь...

Ученики стоят возле холста... И только теперь мы замечаем среди них Мусю. Она все в том же сером платьице с кружевным воротником. Один из парней, почуяв на себе объектив, с улыбкой придвинулся к Мусе. Она тотчас же нахмурилась, надула губы и отодвинулась к подруге.

Так она и вышла на фотокарточке — с надутыми губами, наклоненная к подруге.

Фотокарточка стоит на ее письменном столе в знакомой нам комнате. Горит настольная лампа. Муся читает учебник, а рядом фотокарточка Ирины — она в белом чепце с красным крестиком на лбу. За окном

мечутся снежинки, и белая мгла постепенно заволакивает весь мир. И видим мы бесконечные снежные просторы и холмы, холмы — не то борозды, покрытые снегом, не то могилы...

А за столом у окна все так же сидит Муся, читает учебник. Но теперь на ней накинута шубейка. Переворачивается страница — и вот к знакомым нам фотокарточкам добавилась еще одна — Василий в папахе, с медалью на груди.

Стук в дверь. Муся, словно очнувшись, встает, кутаясь в шубу, подходит к двери.

— Телеграмма! — Почтальон подает телеграмму.

— Откуда?

— Из Кургана.— Почтальон уходит.

Муся читает телеграмму: «На станции тиф». И больше ни слова.

— Тетя Феня! — кричит Муся.

— Что случилось? — спрашивает тетя Феня, вырастая на пороге.

— У папы беда! Вот...— она протягивает телеграмму.

— Странная телеграмма,— сказала тетя Феня, прочтя ее.— Впрочем, Иван Николаевич ни слова не скажет. Это кто-то из рабочих.

— А почему Смоляков молчит? — спросила Муся.

— Он в Петрограде.

— Тетя Феня, я туда еду. Немедленно...

— В Кургане сейчас весна, распутица...

— Но я должна... Обязана!

— Хорошо, поезжай! Если застрянешь, попытаюсь туда вырваться.

Опытная станция. Весна. По грязной, оплывшей конским навозом дороге тащатся дровни. Лошадь идет еле-еле... Правит вожжами баба в нагольном полушубке. В дровнях сидит закутанная в тяжелую клетчатую шаль Муся. Вот и пристанционная усадьба, конюшня, дом... Но никто не вышел навстречу подводе. Даже Федот не вышел.

Муся встает с дровней и, оставив чемодан, бежит на крыльцо.

В просторной комнате на железных койках двое больных: молодая женщина — рабочая-селекционер — и конюх Федот. Возле койки Федота сидит на табуретке в

ватнике Иван Николаевич и пытается кормить с ложки больного.

— Иван Николаевич, не идет... В горле заслонка.

— А ты проглоти ее... Глотни, глотни. Она и откроется.

Скрипнула дверь.

Иван Николаевич обернулся, да так и застыл с ложкой бульона — на пороге стояла Муся.

— Папа!

— Тебе нельзя сюда!

— Папа! — крикнула она, с плачем кинулась ему на шею.

— Успокойся, дочка! Успокойся!.. Напрасно ты приехала сюда... Это же опасно.

— Нет, нет! Я не уеду от тебя,— плакала Муся.

— Успокойся, успокойся... Кто тебя вызвал?

— Телеграмма была от вас.

— Кто давал? Федот, не твой грех?

Федот с минуту тяжело дышал.

— Виноват, Иван Николаевич. Внучку посылал. Жалко мне вас... Вы уж три недели на ногах.

— А это тебя не касается! — сердито сказал Твердохлебов.— Твое дело принимать лекарство и еду...

— Муся,— слабо сказал Федот,— заберите вы его отсюда, Христа ради. Помрем мы все... Двое уж преставились... Ох-хо-хо...— Федот закрыл глаза.

— Не говори глупостей! А ты иди отсюда, иди... Расположишься в кабинете,— говорит Иван Николаевич.

Кабинет Ивана Николаевича. Но теперь в нем стоят две койки: на одной лежит сам хозяин, на другой Муся. Чуть брезжит утро. Иван Николаевич, откинув одеяло, вынимает градусник, смотрит на него — температура тридцать девять с половиной. Он натягивает халат, надевает валенки и садится к столу, что-то пишет.

Муся, проснувшись:

— Папа, ты почему не спишь?

— Я уж отдохнул... Спи, спи...

Муся вглядывается в его лицо и вдруг с тревогой:

— Пап, да ты весь красный!

— Это я так... Простудился малость.

— Папа, да у тебя сыпь! — Муся кинулась к нему с постели.

— Не подходи ко мне, слышишь?

— Я сейчас за доктором,— засуетилась она.

— Нет здесь доктора... А до Кургана тебе не добраться...

— Но надо же что-то делать!..

— Я уже послал за фельдшером. И лекарство нужное принял. На вот, выпей! Может, предохранит! — Иван Николаевич дал ей таблетку.

Муся выпила.

— Не давай телеграммы ни матери, ни Ирине. Слышишь? Все обойдется.

Иван Николаевич кутается, заметно, как бьет его озноб, дрожит рука.

— Нет, не могу писать!

— Да ты ложись, ложись... Папа!

Он и в самом деле идет покорно в постель... Ложится. И, приподняв голову на подушке, говорит:

— Присядь поодаль. Я тебе хочу что-то сказать.

Муся присаживается на стул.

— Я уже написал там,— кивнул он на стол,— Смолякову... И ты передай ему... Если со мной что случится... Весь селекционный материал станции перевези в Омск в сельскохозяйственное училище... И там продолжать начатые работы. Ирина пусть туда переезжает... Если живой останется. А я поехал... Вон видишь, как понеслись? Кони-то, кони. И столбы... Все дым клубится. Земля горит...

— Папа, папа,— плачет Муся.

Слезы текут по ее щекам, и мы видим, словно сквозь бегущую водяную пленку, как начинает дрожать и смещаться мир реального видения. И вот уже рыжие кони несутся прямо на нас и через мгновение, кажется, стопчут, сровняют нас с землей. Но что это? И земля сдвинулась, поднялась клубами, словно пар. И тени повсюду мелькают, огромные тени перечеркивают дымный небосвод. А потом все затихает, опадает какими-то черными хлопьями. И мы видим бескрайнюю, унылую пустыню, всю в рытвинах да в воронках, как изрытое оспой лицо.

Полную тишину подчеркивает мерный ход часов да тихое потрескивание дров в горящей печке. Мусина комната в Тюмени. Тетя Феня сидит у изголовья

кровати, вяжет кружева. На подушке исхудалое Мусино лицо. Мы ее почти не узнаем — она острижена наголо и так похудела, что похожа на мальчика. Она открывает глаза и долго с недоумением смотрит на тетю Феню.

— Где я, тетя Феня? — спрашивает она тихо.

— У нас, в Тюмени.

— А где папа?

— Ты спи, спи...

— Нет, тетя Феня... Я хочу знать все, — сказала Муся.

Тетя Феня молча глядит на нее, и глаза ее наполняются слезами...

— Где он умер? — спрашивает Муся.

— В Кургане, в крестьянской больнице... Я поехала вслед за тобой... И нашла вас обоих в тифу. Ивана Николаевича взял к себе в палату доктор Успенский, его знакомый... Сам ходил за ним... Но все было напрасно.

Муся смотрит в потолок невидящими глазами. Помолчали.

— Когда вы с ним познакомились, тетя Феня?

— Двадцать пять лет назад... Мы с твоей матушкой работали в Красноуфимской женской прогимназии. Я вела немецкий язык, она рисование... И обе были влюблены в земского статистика Ивана Николаевича. Он и смолоду был неброской красоты, зато уж начнет говорить — божий огонь! На его лекции как в театр ходили...

— Тетя Феня, извини за нескромный вопрос: а ты влюблялась?

— Да... Однажды в жизни...

— А почему же замуж не вышла? — с наивной простотой спрашивает Муся.

— Потому что не хотела изменять... ему... — Тетя Феня уткнулась в свое вязание и быстро вышла.

— Вот оно что! — Муся встала с постели, пошатываясь, подошла к столу. — Вот оно что! И мне больше никого не надо... С тобой останусь... — Она взяла со стола карточку Василия, выдвинула боковой ящик, достала оттуда тоненькую пачку писем, подошла к печке и бросила все это в огонь...

Карточка и письма вспыхнули и на какое-то мгновение в комнате стало светлее.

Муся глядела, как они догорали, и прошептала:

— Клянусь тебе, папа, я сделаю все, что ты не успел!

И опять перед нами те же сосны, где похоронен Иван Николаевич. Но рядом уже не поле, а тот самый луг, на котором они когда-то собирали гербарий.

И снова та же картина: Твердохлебов в неизменной соломенной шляпе, юные Ирина и Муся в легких пестрых платьях, в белых панамах.

— Ну, вот мы и собрались все вместе,— говорит отец.

— Папа,— кричит Муся.— А где же колоски? Ты обещал колоски!..

— Поле вон там, за темным лесом,— отвечает отец.

И в самом деле: за высоким сосновым кряжем открывается беспредельное поле. И тихо в поле — ни ветерка, ни дуновения. День клонится к закату.

Иван Николаевич и дочери его входят в пшеницу по грудь, как в воду, и, оглаживая рукой колосья, уходят все дальше и дальше.

И смотрит на них от сосны Мария Ивановна, старый человек с таким усталым и таким светлым лицом.

Вот она сдвинулась и пошла за́ ними туда, к горизонту.

Так они и растворяются среди высоких созревающих хлебов.

1972

Рассказы

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

— Как у вас голова насчет качки, крепкая? — спросил меня шофер Попков.

— А что? — я подозрительно посмотрел на его суровое, цвета кедровой коры, лицо.

— Так, на всякий случай.

Я пожал плечами,— вроде нам не по морю плыть, а ехать по таежной дороге. Но шофер больше — ни слова. Он, видимо, сердился на то, что пришлось меня ждать, а тем временем ускользнул его начальник лесопункта Мазепа. Лови его теперь на заснеженных лесных времянках!

Ехать нам далеко, километров за сто, до Ачинского лесопункта, аж в предгорья Сихотэ-Алиня. Попков везет туда сено на своем грузовике. Где-то ему еще надо нагрузиться — не то в Улове, не то в Баине. «Уточним на месте,— сказал ему Мазепа.— Заедешь — найдешь меня».

Мне тоже нужен был этот самый Мазепа. В редакцию пришло письмо от рыбнадзора. «На Теплой протоке гибнет кета... Мазепа уничтожает нерестилища. Помогите! Чуряков».

Накануне я звонил из редакции директору леспромхоза, просил с утра задержать Мазепу, разумеется не сказав — по какой причине.

Мазепа у газетчиков был на хорошем счету. И директор, видимо, понял, что будет очередная похвала. Поэтому он не стал задерживать своего начальника лесопункта. А когда увидел меня, только руками развел: «Поздно прилетел самолет... Опоздали, дорогой мой. Мазепа-то уехал...» — «Какая жалость!» — «Ну ничего — нагоните. Я задержал тут грузовик».

День выдался морозный, солнечный, с тем необыкновенно чистым и бодрым снежным духом, который бывает только в начале зимы.

Дорога из Трухачева потянулась к сопкам, пропадая ■ частом буром мелколесье. Грузовик шел резво по накатанной снежной колее. Хотя еще и октябрь не кончился, но снегу ■ тайге навалило по колено. Ранняя зима выпала. Дубы стояли огненно-рыжими, не потерявшими ни единого листика; и даже голенастый маньчжурский орех топырил еще в зеленоватое холодное небо поредевшие, свернутые ■ трубку длинные листья.

Клубились паром незастывшие бурные таежные протоки, а на обмелевших речных перекатах, мотая обнаженными спинными плавниками, обдираясь о коряги и камни, на брюхе ползла, пробираясь вверх, кета. Нерест все еще продолжался.

Мой попутчик сидит за баранкой прямо, вытянув вперед подбородок, словно правофланговый в строю, по которому все должны равняться. И фуфайка на нем защитного цвета, и шапка серая армейская; будто он и впрямь только со службы. Но ему уже за сорок — баранку он крутит нехотя, как бы между прочим; и, глядя на его строго сведенные брови и немигающие глаза, можно подумать, что машину ведут не руки, а вот эти насупленные брови.

— Давно здесь работаете? — пытаюсь я завести беседу.

— С детства.

— И все шофером?

— Раньше плоты гонял по Бурлиту.

— Какие плоты?

— Леспромхозовские, какие же еще? Раньше в плотах сплавляли лес-то. А мой батя вроде за лоцмана был. И меня держал при деле...

— Что ж вы ушли? Шофером выгодней?

Он как-то искоса смерил меня взглядом, криво усмехнулся:

— Ты что, нездешний?

— Да вроде бы...

— Чудак. Ныне одни кедры валят... А кедра и морем плывет. Зачем же ее ■ плоты вязать?

— Почему же вы одни кедры берете?

— Такой порядок,— ответил он просто.

— Но это же вредно для тайги...

— Само собой. Заламывается...

— Почему ж вы не протестуете?

— Чего?! — он опять удивленно искоса посмотрел на меня.

— Протестовать, говорю, надо. Тайга мертвой станет. Кедр уничтожат — зверь уйдет...

— Из одного места уйдет, в другое придет. Зверь — он и есть зверь. Намедни вон старуху волки съели. Одни валенки остались... В Баин шла из Улова... К фельдшеру. Да сбилась с дороги-то. Они ее и вылечили.

Дорога начинает показывать свои первые лесные капризы: вот она, вырвавшись из мелкого ельника, неожиданно ныряет в глубоченный ухаб. Ухаб настолько крут, что мне из кабины кажется он обрывом. Я невольно хватаюсь за держальную скобу; но грузовик на мгновение будто застывает на откосе и плавно съезжает вниз. Я с удивлением смотрю на Попкова, но он по-прежнему невозмутимо суров. Машина встает на дыбы, с ревом вырывается из ухаба и облегченно мчится под откос. Вдруг — поворот, и перед нами темная полоска полыньи, клубящейся паром, — а глаза шофера уже отыскали желтую ленту бревенчатого моста и гонят к нему машину. Короткая встряска — и снова грузовик летит по извилистой коварной дороге.

Вскоре я заметил, что все эти бесчисленные бревенчатые мосты имеют совершенно одинаковый характер: чуть только дотронутся до них колеса грузовика, как они начинают трястись, точно в лихорадке; и чем длиннсе мост, тем он трясучее.

— А не провалимся? — спрашиваю я.

— Бывает, — невозмутимо отвечает Попков, подпрыгивая за рулем, точно верховой в седле.

— А дальше лучше?

— Дальше хуже.

Грузовик размеренно ныряет в ухабы, точно плывет по волнам, — и до меня доходит предупреждение шофера насчет качки.

— Ничего себе качка!

— Подходящая. Это у нас «шифером» зовется.

— Неужто нельзя выправить его?

— Почему ж нельзя? Можно. Прицепил нож к трактору, да и посрезал бы ухабы.

— А что ж, тракторов нет?

— Есть! Как же так? Леспромхоз — и без тракторов?

— Отчего ж не исправите дорогу?

— Приказа нет.

— А если без приказа? Прицепили бы нож и попутно посрезали бы ухабы...

— Чудак! Нож — это ж государственное имущество. Его просто не возьмешь! Порядок заведен!

— Какой же это порядок?! — указываю я на ухабы.

— Ничего, проехать можно... Конечно, без привычки трудновато... Ежели голова слабая насчет качки. А привыкнешь — ничего. Зимой-то еще благодать. Вот уж летом — не прыгнешь.

Говорит об этом Попков вроде бы и с радостью, словно ему доставляет удовольствие ежедневно нырять по этим выбоинам.

На одном из крутых поворотов, посреди самой дороги, стоит ясень, в наезженном прогале намертво села машина, груженная какими-то бочками. Мы еле выбираемся из месива новой колеи, вылезаем из кабины, осматриваем место аварии. Машина карданом сидит на пне, рядом валяются рассыпанные передние рессоры.

— Крепко сел...— удовлетворенно замечает Попков.— Теперь без домкрата его и трактором не стащишь.

— Неужели трудно срубить этот пенек?

— А зачем? Проехать можно. В лесу пеньков много... Что ж теперь? Ты их и будешь всех рубить?

— Так пень-то посреди дороги стоит!

— Возьми да объехай... Кто тебя на него толкает?

Мы усаживаемся в свою машину и едем дальше.

— Я вот тоже один раз на пенек сел,— сказал шофер.— Ночь, зима... Крутился я, крутился возле машины, взял да и лег в кабинке. И вот слышу, будто во сне, трубы играют, а очнуться не могу никак. Потом вроде меня несут на носилках санитары, и пение кругом... А это, оказывается, проезжий шофер меня вытаскивал из кабинки и матерился. Чуть не замерз. Еле очухался...

Он ловко, орудуя одной рукой, достал папироску, зажег спичку и прикурил; второй рукой держал баранку и правил, не сбавляя скорости.

— Зимой у нас рай. Хоть плохая, да есть дорога. Вот с весны и такой не будет. Здесь только пеший да верховой и проберется.

— Сколько же лет здешнему леспромхозу?

— Да уж больше двадцати лет.

— И все без дороги?

— Лет пять назад начали было строить. Да вон, видите просеку? Под дорогу делали.

Эту просеку я заметил раньше, она тянется от самого Трухачева.

— И далеко ее прорубили?

— Аж до Бурлита... Километров на двадцать пять,— отвечает Попков.— И кюветы под дорогу прорезали... Делов наделали тут, да все и бросили.

Проскочив одну из проток, Попков свернул направо.

— Заедем в Улово,— сказал он.— Здесь недалеко, Мазепу надо разыскать, чтоб сена отпустил.

— Прямо гетман ваш начальник,— сказал я.

— Гетман у нас лесником работает.

— Прозвище, что ли?

— Может, и прозвище, может, фамилия... Кто его знает!

Вскоре в стороне от дороги показалась приземистая избушка; она была так сильно завалена снегом, что издали походила на сугроб.

— Это и есть Улово?

— Здесь конюшня,— ответил Попков.— А Улово— чуть подальше — два барака... Там, за протокой.

Мы остановились напротив избушки. Попков посигналил; сиплый, словно простуженный гудок коротко оборвался, как будто утонул в снегу.

— Дрыхнут, как медведи, чтоб им через порог не перелезть...— незлобиво выругался Попков; но и сам не стронулся с места, только поглядывал на избушку вроде бы с завистью.

Между тем мы остановились на самой границе леспромхозовских владений,— там, за широкой, скованной льдом протокой, начинались приметы недавнего разгула пилы и топора.

За частой щетиной невысокого прибрежного краснотала виднелись обломанные, похожие на черные костыли, ясени; покосившиеся в разные стороны со сшибленными верхушками лиственницы; корявые толстенные ильмы с белеющими ранами отодранных сучьев толщиной с доброе дерево. Сердце сжималось от этой мрачной картины.

— Что сделали с лесом? Заломали и бросили... Негодяи! — не выдержал я.

— Одни кедры рубили. А кедра, я те скажу, что

колокольня... Все деревья ей вот до сих пор,— Попков ребром ладони провел по ремню,— то есть по пояс... Кыык она шарахнет наземь... Всем макушки посшибает.

Наконец из избушки вышел старик в нагольном полушубке, в малахае с одним ухом, торчащим в сторону, как вывернутое крыло у заморенного гусака; сначала он было двинулся к нам, но, видимо передумав, остановился, достал кисет, стал закуривать.

Шофер опять посигналил.

— Чего орешь? — крикнул старик.

— Мазепа здесь?

— Утром был,— ответил тот.— На Баин подался.

— Догоним его? — спрашивал Попков, высунувшись из кабины.

— Пожалуй, не настигнете.

Грузовик разворачивается долго, словно норовистая лошадь, не желающая пятиться задом. Колея была сдавлена наметенными сугробами, и грузовик осторожно тыкался в них тупым рылом, словно принюхивался. Наконец мы развернулись и покатили к Баину быстро, в надежде настигнуть ускользнувшего от нас Мазепу.

Вскоре пошли бывшие поселки лесорубов: один, другой, третий...

Скучно они выглядят! Покосившиеся заборы, пустые с выбитыми окнами избы, почерневшие от времени бревенчатые амбары без крыш и дверей... Тишина и запустение. Да и кому нужны эти поселки? Лесорубы покинули их, ушли вместе с тракторами, пилами, подвижными электростанциями в более глухие и нетронутые таежные дебри, а здесь остались либо кородеры, либо охотники, либо рабочие тощих подсобных хозяйств, любители огородничества и «самостоятельной» жизни; в леспромхозе их зовут иронически «пенсионерами». А те, которые рубили эти избы, где-то в новых местах снова строят бараки, избы, так же наспех и так же вскоре бросят их, чтобы идти куда-то дальше на временное житье. Куда они идут? Куда торопятся? Зачем бросают столько добра в тайге? Здесь бы жить и жить да работать на славу еще десятки лет. Кругом стоят исполинские ильмы, лиственница, маньчжурский орех и, наконец, золото нашей тайги — ценнейшее дерево — ясень! Но сплавлять их нельзя — тонут. А вывозить — нет дороги. И вот их заломали, захламили и бросили чахнуть да гнить...

* * *

Баин ничем особенным не отличался от других поселков. Те же маленькие, кособокие бревенчатые избы с неаккуратно обрезанными углами, те же длинные приземистые бараки, срубленные из толстых красных бревен, с окнами без наличников, с безобразно частыми переплетами, похожими на тюремные решетки. В Баине было побольше застекленных изб и бараков да чаще над тесовыми крышами кудлатились жидкие дымки. Здесь расположилось подсобное хозяйство ОРСа, осели многие семьи далеко откочевавших лесорубов.

Мы остановились на конном дворе. Возле ворот две бабы навивают воз сена.

— Мазепа здесь? — спрашивает у них Попков.

— Кажется, на Мади уехал,— отвечает ему женщина в фуфайке и, сняв рукавицы, дует на руки.

— Тьфу, дьявол! — плюнул шофер и, повернувшись ко мне, сказал: — Посидите в сторожке, а я тут поразведаю.

Под сторожку была отведена половина пятистенной избы, во второй половине помещалась шорная. Я рванул дверь в сторожку — не поддается. «Она примерзла! — кричит кто-то со двора.— Ногой ее долбани!» Я бью ногой в притвор, дверь с сухим треском распахивается. В сторожке никого не было. Посреди избы топилась плита, в углу стоял топчан, у окна — стол с табуреткой. Через минуту в сторожку вошла та самая женщина в фуфайке, что отвечала Попкову.

— Окаянный мороз,— сказала она беззлобно, протягивая над плитой большие иссиня-красные руки.— Аж с пару сошлись.

— Вы что, конюхом работаете? — спросил я ее.

— Да где поставят, там и работаю. Заработки у нас ни к черту. Одно слово — подсобное хозяйство.— Она нагнулась и начала заметать щепки травяным веником.

— А на лесозаготовках зарабатывают?

— Там зарабатывают.

— Что ж вы там не работаете?

— Да куда мне с детьми скакать с места на место. У меня их двое. Я уж здесь привыкла.

— А что, мужа-то нет?

— Нет мужика...— Она аккуратно собрала щепки, бросила их в печь.— Старший-то у меня семилетку кончил и в город подался на каменщика учиться. Вызов ему

пришел оттуда. Уж так рад! Да и я радехонька — лишний рот с плеч.

В дверь вошел сухощавый мужик средних лет с таким выражением лица, как будто он знает что-то такое, от чего все могут ахнуть.

— Саня,— обратился он к женщине.— Поди навивай, Мазепа приказал.

— Он здесь?

— Нет... Давеча верхом на Мади подался. А мне наказал распорядиться...

Женщина натянула тряпичные рукавицы и пошла на двор.

— Механизация механизацией, а все равно без лошади и в лесу ни шагу,— прищуриваясь, словно оценивая меня, хрипло заговорил вошедший.— Шорник в колхозе первый человек... А здесь...

— Вы, должно быть, шорником работаете? — спросил я его.

— Без расценок какая работа! Я тебе, положим, клещи переберу, а ты опиши все, как есть. Или возьми потник — он у тебя сопрел, а ты с ним возись.

В сторожку вошел плечистый человек в новом полушубке.

— Вот это Евстафий Дмитрич, ветврач,— сказал шорник.— На него все лошади замыкаются.

Мы поздоровались.

— Ты ему расскажи насчет поросят,— попросил шорник ветврача.

Евстафий Дмитрич вдруг заговорил очень тихим, тонким, не по комплекции, голосом:

— Видите ли, ОРС тут бракованных поросят продает по дешевке. Вот рабочие жалуются.

— На то, что дешево?

— Нет, на то, что поросята потом дохнут. Видите ли, для отчетности ОРСу выгодно проводить поросят проданными, пусть даже дешево. Это значит — помощь населению. А какая же это помощь — одна видимость. Я им запрещал, да не слушают меня.— Он говорил равнодушно, не веря, что его слова что-то могут изменить.

— А Мазепа знает?

— Мазепа все знает.

— Почему ж он не запретит?

— Не выгодно ему с ОРСом ругаться. Без мяса оставят... Рабочие и так разбегаются. А план выполнять нужно.

Вошел Попков, за ним высоченный мужчина в тулупе, с кнутом в руках. Это [redacted] был Гетман, здешний лесник. Он уже собрался ехать на Мади, вслед за Мазепой.

— Зачем вы за ним гонитесь?—спросил я лесника.

— Ему новые лесосеки дали... Не проверишь—он обязательно лишку прихватит. Да выберет, что получше.

— Возьмите меня... Мне он тоже нужен.

Гетман критически осмотрел мою куртку.

— В этой одежке до пупа только за девками бегать— полы [redacted] ногах не путаются. А [redacted] санях да по тайге тулуп нужен.

— Тулупов у нас нет,—сказал ветврач.—Так что поезжайте с Попковым до Ачинского.

— За Баином перемело дорогу?—спросил Попков.

— Перемело. Но с утра машины пробили, проедешь,—успокоил его лесник.

— Вот опять же непорядок,—снова сердито заговорил шорник, поглядывая с неодобрением на меня.—Ведь каждый день за этим Баином машины вязнут. Переметает не больше километра. Что бы плетень там поставить? Нет никому до этого дела...—Он смотрит на меня с такой укоризной, словно я-то [redacted] есть главный дорожный мастер.

Чтобы как-то оправдать себя в глазах шорника, я спросил Евстафия Дмитриевича:

— А почему снегозадержатели там не поставят?

— Не знаю,—пожал плечами ветврач.—Оно дело-то пустяковое, да сверху никто не распоряжается... Видать, привыкли.

— Теперь дорога сносная,—возразил свое Попков.— Зачем понапрасну обижаться. Вот летом фасон другой...

— Это уж точно... Летом тяжельше.

— Сахару месяцами не было.

— Что там сахару! Хлеба не подвозили...

— А нынче [redacted] хлеб и сахар... Магазин вон торгует. Чего еще надо?

— Зачем обижаться? Теперь жить можно.

— Точно, точно,—повторяли со всех сторон, и даже шорник согласно кивал головой.

* * *

Километровый участок дороги за Баином мы пробивали медленно метр за метром; машина дрожала от рева и напряжения, продвигаясь мелкими рывками по заметен-

ной колее. И когда уже оставалось рукой подать до лесной опушки, грузовик затрясся, как в ознобе, и стал.

— Так... Понятно! — Попков выключил зажигание и вылез из кабины.

С минуту он осматривал задние скаты, зачем-то бил каблуком по неподатливой, как дерево, резине и наконец изрек:

— В колесник сели... Это мы си-ичас.

Он полез в кабинку, сдвинул сиденье и выбросил оттуда грязную брезентовую куртку, топор, пилу и лопату.

— Дай покопаться? — попросил я.

— Сиди! — он взял лопату, встал на одно колено и начал откидывать снег из-под задних колес.

— Это еще ничего... Снег ноне неглубокий. Вот в марте сядешь — беда. Не докопаешься.

По словам Попкова получалось так, что я попал в самую счастливую пору его шоферской жизни. Вот комедиант! Меня это стало раздражать.

— Значит, у вас теперь самая легкая пора?

— Чего? — он перестал копать и глядел на меня с недоумением.

— Легкая пора, говорю, у тебя.

— Ага! И у тебя сейчас будет легкая пора,— подмигнул мне Попков.— Ну-ка, подай куртку! Та-ак... А теперь лезь под машину! Полезай, полезай! Во-от... Протаскивай рукава сквозь колесо... Та-ак! Ташши, ташши! Чего смотришь? Ну-к, дай сюда.

Он, сердито сопя, стал повязывать брезентовую куртку на заднее колесо. Рукава протянул между скатами и скрутил их жгутом. Потом залез в кабину, громко хлопнул дверцей. Заурчал, завизжал мотор, затряслась машина, и бешено закрутились задние колеса, поднимая снежную пыль. Ни с места...

Попков высунулся из кабинки:

— Эй, из конторы! Возьми топор и дуй в лес. Вагу сруби подлиньше... Да еще чурбак! Вывешивать машину будем.

А потом негромко матюгнулся вслед мне:

— Легкая пора! Язви тя...

Странно, меня ничуть не обидела ругань Попкова. Мне даже доставляло какое-то непонятное удовольствие его озлобление. Еще несколько минут назад я думал о скверной привычке человека довольствоваться малым.

Но это была привычка циркача, танцующего на канате. А что нам стоит? Перекувыркнуться? Пожалуйста! Все очень просто... Но не вздумай сказать ему, что работа его и в самом деле простая и легкая.

Пока я вырубал вагу и чурбак, пока нес их из лесу, обливаясь потом, возле грузовика уже крутился «газик», а мой шофер командовал, размахивая руками:

— Давай назад! Осади, говорят!! То-ой!

— Эй, из конторы! — крикнул он, увидев меня.— Ты что, в лес по грибы ходил, что ли ча? Давай сюда! Чего остановился? Обрубок клади под колесо... Та-ак! Да это ж нешто вага? Это ж бревнище! Хоть в венец укладывай... Эх, заставь богу молиться... медведя.

Он подошел к «газику», открыл правую дверцу:

— Как вас по имени-отчеству, извиняюсь?

— Иван Макарович,— раздалось из «газика».

Потом тяжело вылез хорошо одетый грузный мужчина. Я узнал директора леспромхоза Пинегина. Мы поздоровались.

— Берись за верхушку, Макарыч! — подвел Попков Пинегина к ваге.— И гни, дави ее!

— Из конторы! — обернулся он ко мне.— А ты поддерживай ногой чурбак и тоже на вагу ложись... Брюхом. Та-ак! — Попков залез в кабину и продолжал оттуда командовать. Он включил мотор.— Ну, взяли. Р-раз-два! Эй, поехала...

Мы подняли засевшее колесо, «газик» натянул трос, и грузовик медленно выполз на пробитую колею.

Попков собрал свой шанцевый инструмент, отвязал с колеса брезентовую куртку и спросил меня:

— Со мной поедешь или пересядешь к ним?

— А вы куда едете? — спросил я Ивана Макаровича.

— На Мади. Мазепу ищу.

— И мне он нужен, Мазепа. Подвезете?

— Пожалуйста.

Попков кивнул мне:

— Ну, бывай, помощник из конторы.

Так и не простил он мне «легкой поры».

Иван Макарович подал ему руку и сказал уже в «газике»:

— Орел... Сразу видно — мазеповской выучки.

Иван Макарович человек приятный, обходительный — светлая улыбка постоянно на его лице. И одет он

как-то весело: светло-белые валенки, серое пальто, серый каракуль... И шутит как-то весело:

— Наши хозяйственники рупь [redacted] карман кладут, десять на дорогу бросают.

— Мазеповская выучка,— сказал я.

— Ты Мазепу не трогай... Он уже в счет будущего года работает.

Мы подъехали к реке Бурлиту... Длинный бревенчатый мост, настланный по каким-то деревянным козелкам и по неокрепшему льду, местами перехлестывала вода, вырывавшаяся из промоин и трещин. Река кипела. Ехать по такому шаткому основанию было рискованно. Иван Макарович вылез из машины, потрогал валенками бревна, вздохнул.

— Эх, Мазепа ты, Мазепа! Атаман ты, и больше ничего... Видал, какая стихия? — спросил он меня, кивая на кипящую реку.— А они каждый день мотаются по ней. Башки отчаянные! Одначе, с волками жить — по-волчьи выть,— сказал он, влезая в «газик», потом смиренно своему шоферу: — Давай, Петя! Плыви...

Но как только «газик» забарабанил по шаткому бревенчатому настилу, Пинегин приоткрыл дверцу.

— Ты на всякий случай тоже приоткрой дверь-то,— обернулся он ко мне.— Все успеем вынырнуть.

Он опасливо заглядывал в реку, вытягивая, как гусь, шею:

— Да тут вроде и неглубоко, а, Петя?

— Местами по шейку,— тихо ответил Петя.

— Вот обормоты! Даже бортовых бревен не положили... Да куда ты на край-то лезешь? — крикнул Пинегин.

— Чуток занесло.

Петя, остроносенький белобрысый паренек в черной фуфайке, как скворец, сидел сгорбатившись, крепко вцепившись [redacted] баранку, положив подбородок на руки, и пугливо таращил глаза.

— Весной на этом месте растащило мост... «ЗИЛ» провалился,— сказал Петя.— Шофер вон там, у Монаха, вылез.— Он кивнул в сторону высокого черного камня, одиноко торчащего из воды.

— Да, купель [redacted] эту пору так остудит, что штаны примерзнут,— сказал Пинегин.

«Газик» приостановился; сразу за мостом разлился широкий заберег с раскрошенным снегом и льдом.

— Прикройте двери,— сказал Петя.— С разгона пойдем. Не то сядем в этой квашне.

Я захлопнул дверцу.

— А здесь не глубоко? — Пинегин вопросительно посмотрел на шофера.

— По-моему, по дифер.

— Ну давай... С разгона так с разгона...

Но дверцу Пинегин все-таки не прикрыл; и пока «газик» шумел колесами по воде, он напряженно поглядывал, как волны обмывали подножку. Наконец мы выскочили на прибрежный откос.

— Сколько героизма проявляется на одной только дороге! — сказал Пинегин, облегченно вздыхая и шумно хлопая дверцей.— Скромные, незаметные труженики... А чуть поскреби каждого — романтик! Мало мы говорим о них, мало пишем! Простите за любопытство, вы очерк о Мазепе думаете написать? — спросил он, обернувшись ко мне.

— Пожалуй, нет.

— А что же, если не секрет?

— Еще не знаю.

— Он стоит и очерка. Сам покоя не знает и другим не дает.— Пинегин торжественно умолк, чтобы дать почувствовать значимость сказанного.

— Такие кадры — наша опора,— сказал он через минуту.— Завтра в райкоме совещание передовиков. От Мазепы целая бригада будет. Вот так...

— Вы представляете, сколько стоит временный мост через Бурлит? — спросил я Пинегина.— Ну, хотя бы приблизительно...

— Зачем приблизительно? Я могу вам точно сказать — десять тысяч списывают на него ежегодно.

— Десять тысяч! За двадцать пять лет — двести пятьдесят тысяч... два с половиной миллиона рублей на старые деньги! — считал я вслух.— За эти деньги можно было четыре постоянных моста построить.

— Но вы не учитываете фактор времени,— снисходительно улыбнулся Пинегин.— Времянку за неделю наводят, а постоянный мост и за год не построишь.

— Да кто же за нами гонится?

— Время такое... Стране нужен лес сегодня, а не вообще...

— А завтра не понадобится?

Пинегин даже не взглянул на меня,— то, что он

говорил, казалось ему настолько очевидной истиной, что и доказывать не нужно:

— Мы должны торопиться... Обязаны!

— А если я не хочу торопиться?

Пинегин наконец обернулся и весело поглядел на меня:

— Жизнь заставит!

* * *

Мади встретила нас огромными штабелями бревен; они тянулись как высоченная крепостная стена вдоль по-над берегом промерзшей до дна речушки. Медно-красные в корне, желтовато-масляные на срезах, как располосованные свежие дыни, они поражали своими размерами; крайнее кедровое бревно, у которого мы остановились, в поперечнике было под крышу «газику». Казалось, что эти громадные кедры валили под стать им великаны-люди, а потом, играючи, укладывали их, как кирпичики, в эти стены. Но люди были самые обыкновенные, даже большей частью малорослые, все, как один, в серых выгоревших фуфайках, в кирзовых сапогах,— сидели они тут же, на бревнах, курили. Поодаль стоял черный, как ворон, длинноносый автокран. Неужели все эти горы они наворочали? Не верилось.

Откуда-то из лесу доносились глухие раскатистые удары; будто кто-то колотил там по мокрому белью огромным вальком.

Мы вылезли из «газика», поздоровались.

— Мазепа здесь?—спросил Пинегин.

— Был... Только что уехал в Ачинское.

— На чем?

— На хлебовозке...

— Ах ты, неладная!—Пинегин обернулся ко мне:— Может, догоним?

— Надо сходить на нерестилища.

— А что там?

— Посмотрим! Как пройти на Теплую протоку?— спросил я лесорубов.

От автокрана подошел черноглазый скуластый паренек, подал нам по очереди маленькую, но жесткую руку.

— Мастер,— представился он.— Между прочим, моя фамилия Максим Пассар.

— Хорошо работаете!—весело сказал Пинегин, кивая на бревна.— Но как вы их вывозить отсюда станете?

— О, милай!.. Весна все сволокет,— ласково щурясь, отвечал маленький, но длиннорукий мужичок.— Вы не глядите, что эта речушка воробью по колено. А взыграет, вспузырится... так попрет, что верхом на лошади не угонишься...

— Нам нерестилища надо посмотреть... Теплую протоку,— сказал я Пассару.

— Туда в обход надо. Лесом нельзя — валка идет.

Из лесу, прямо на нас, словно танк, поднимая с треском молодняк, выпер черный стосильный трактор. Здесь, на раскряжевочной площадке, он развернулся, утробно всхрапнул и умолк.

— Отчаливай! — крикнул тракторист.

Один раскряжевщик бросился снимать чокер с огромного кедрового хлыста, приволоченного трактором.

— Вот это кедровина! Кубов на десять будет...

— Две нормы на рыло...

— Боров!

— Слон!

— Китина...

Поваленный кедр и в самом деле напоминал исполинскую тушу кита; и петля стального троса была внахлест затянута на суковатой развилине, как на хвостовом плавнике. За кедром тянулся глубокий черный след вспаханного им, перемешанного с землей снега... Широченная борозда! Кора его была вся облита, ободрана о корневища. А сколько он поломал, повыдрал с корнем, похоронил молодняка на этом долгом пути, подумалось мне.

— Пойдемте через лес! — сказал я Пинегину.— Валку посмотрим.

— Но туда нельзя.

— Пассар нас поведет... Как, Максим, проведете?

— Если не боитесь, конечно, можно такое дело...

Я смотрел на Пинегина. Он откашлялся, вынул платок, долго утирался.

Наконец сказал своему шоферу:

— Подожди меня здесь, Петя.

Мы пошли по черной борозде, проложенной кедром; она завиляла, пересекаясь с такими же глубокими бороздами, извиваясь вокруг уцелевших раскоряченных ильмов да стройных, стального воронения, ясеней.

— Э-ге-гей! — кричали нам вслед.— Смотрите поверху, не то рябчик долбанет.

— Это что еще за рябчик? — спросил Пинегин Пассара.

— Сучки у нас так называются.

Кедровые сучья, перемешанные с валежником, с покалеченным, искореженным молодняком, повсюду высились в завалах — не перелезть...

Сверху, с заломанных, обезображенных деревьев тоже свешивались кедровые сучья, комлями вниз, тяжело покачиваясь, готовые в любую минуту сорваться и ринуться вниз.

— Идите только за мной... В сторону ни шагу,— сказал Пассар.

Мы вытянулись гуськом, шли молча след в след, словно по сторонам было минное поле. Глухие ухающие удары, доносившиеся с лесосеки, перемежались теперь с раскатистым треском, напоминавшим пулеметные очереди.

Потом стал долетать до нас высокий, комариный голос пилы, и чем ближе мы подходили, тем надсаднее, ниже и злее становился этот звон.

Наконец Пассар поднял руку, остановился.

От неожиданности мы почти столкнулись.

Перед нами метрах в ста качнулся и стал валиться высокий кедр; сначала он вроде бы застыл в наклонном положении, и казалось, что он еще выпрямится и его тупая, словно подстриженная небесным парикмахером, вершина снова появится в оголенном проеме. Но, помедлив какое-то мгновение, тяжелыми косматыми лапами погрозил он, опрокидываясь, небу и быстро пошел к земле, со свистом рассекая воздух, по-медвежьи с треском подминая долговязый орешник, и с пушечным грохотом ударился наконец оземь. Гулким стоном отозвалась земля, и долго, как смертный прах, парило в воздухе облако снежной пыли. И в наступившей тишине было жутко смотреть на этого поверженного недвижного, точно труп, лесного великана, на мотающиеся обломанные, как костальжки, ветви орешника да трескуна, на пустой, как прорубь в пропасть, небесный проем, который еще мгновение назад закрывала кудлатая голова кедра.

— А теперь бегом, бегом! Чего, понимаешь, стали? — Пассар пропускает нас вперед.— Бегом! Прямо к кедру...

Я бегу впереди и чувствую, как у меня колотится, словно от испуга, сердце. «С чего бы это?» — удивляюсь я.

Возле высокого пня, похожего на лобное место, стоял

вальщик в оранжевой каске с брезентовым, спадающим на плечи покрывалом.

На пне лежала бензопила,— совсем игрушечной казалась она на этом поперечнике, размером с хороший круглый стол.

— Как же вы ухитрились эдакую махину? — спросил я вальщика.

— Минут сорок провозился... С подпилом брал ее, с обоих концов... Натанцевался.

Вальщик — немолодой, густая темная борода на щеках заметно серебрилась, но был он плотный, коренастый и, видимо, немалой силы.

Однако я заметил, что пальцы у него дрожали; когда он скручивал цигарку, крупинки махры полетели на землю.

— Не владеют пальцы,— как-то извинительно улыбнулся он, перехватив мой взгляд.— Как повалишь кедру — руки и ноги трясутся. Ничего не поделаешь.

— От чего? От усталости?

— Да нет... Вроде оторопь берет. Испуг не испуг, но сердце бьется и что-то такое подкатывает под самый дых! Повалишь такое вот дерево, как живую душу сгубишь. Пятнадцать лет уж как валю, а все еще оторопь берет.

— Это наш лучший вальщик Молокоедов,— сказал Пассар, подходя с Пинегиным.

— Замечательно у вас получается. Прямо — салют!.. Как пушечный залп...

Пинегин похлопал вальщика по спине.

— Вот они, покорители тайги!

Вальщик смущенно улыбался и жадно затягивался дымом.

— А зачем ее покорять, тайгу-то? — спросил я Пинегина.

— Как зачем? Человек — хозяин своей земли.

— И это по-хозяйски? — я указал на заломанные деревья.

— Ну, это пустяки... Зарастут, новые вырастут.

— Как можно говорить такие слова? Кто в тайге живет, знает — такое дело не зарастет. Гнить будет, болеть будет... Короед появится. Тайга пропадет! Гиблое место называется это! — неожиданно вспылил Пассар.

— А кто виноват? Ты ж и виноват, милый... А на меня шумишь.— Пинегин засмеялся.

— Я не виноват...— Пассар отвернулся.— Пойдемте на Теплую протоку...

Мы опять растянулись гуськом и шли за Пассаром. Ухающие раскатистые удары теперь раздавались где-то справа, но все казалось, что вот-вот перед нами повалится очередной кедр.

— Зачем же вы одни кедры рубите? — спросил я Пассара.

— Еще ель немножко берем. Больше ничего нельзя, лиственные породы тонут. Сплавлять нельзя. Дороги нет. Что делать?

— Стройте дорогу.

— Не могу... Мое дело — рубить лес.

— Но ведь кедр не восстанавливается при такой рубке?

— Конечно...

— По закону запрещена такая рубка? — кричу я ему в спину.

— У нас есть разрешение,— отвечает Пассар, не оборачиваясь.— Трест давал...

— Но послушайте, это же преступление! — я оборачиваюсь к Пинегину, и мы останавливаемся лицо в лицо.

Он чуть ниже меня и поэтому смотрит исподлобья своими бесцветными навыкате глазами.

— Не кричите! Вы что, не знаете?! Нужен лес не завтра, а сегодня.

— А завтра что, лес не понадобится?

— Ну и что?! Завтраками кормить будем государство? Мол, подождите там, наверху... Вот построим дорогу, тогда и лес будет. Так, что ли? — повышает голос и Пинегин.

— Не умеете рубить по-человечески, не лезьте! Лучше будет.

— Да поймите же, дело не в рубке!.. Лес — это стройки, лес — это химия, лес — это валюта, наконец.

— Чего спорите! — крикнул Пассар.— Протока подошла.

Мы не заметили, как он отошел на значительное расстояние.

— Идите!

Пинегин кивнул в сторону Пассара и все так же смотрел исподлобья.

Мне не хотелось подставлять ему спину и топать впереди, как под конвоем.

— Ступайте вы! — сказал я.

Но и Пинегин заупрямился.

Мы стояли друг перед другом, как бараны. Его округлое лицо как-то вытянулось — отвисли щеки, и на переносице проявилась красная сетка частых прожилок. Передо мной был другой человек — упрямый, злой и старый.

Наконец он свернул в сторону и пошел чуть сбоку. До самой протоки мы шли медленно, молча, не глядя друг на друга. Я — чуть впереди, и мне слышно было, как трещал валежник да тяжело дышал Пинегин.

— Вот она и есть Теплая протока! — сказал Пассар.— Зимой и летом не замерзает.

Мы остановились на обрывистом берегу. Неширокая порожистая протока была завалена кругляком, коряжником и кетой. Оседавшие на галечных перекатах заломы из выворотней, бурелома да почерневших коряжин обросли за лето свежими бревнами и сплошь перегораживали течение. Перед заломами вода кишела кетой; сильная рыба тараном шла на бревна, билась хвостами о галечные отмели, выпрыгивала из воды, сверкая радужным полукружьем, старалась перемахнуть через высоченные заломы, плюхалась снова в воду и опять шла на приступ.

Выбившись из сил, в кровоподтеках и ссадинах, она отходила к берегу и здесь, раздвигая трупы своих собратьев, торопливо разбивала хвостом один из продолговатых бугорков, выбрасывала оттуда уже политую молоками икру своих предшественников, выметывала сама икру в эту ямку и, не успев как следует зарыть ее, тут же умирала. Вода красная от икры; отмель усеяна сдохшей рыбой.

Закатное солнце тяжело плавало над лесными вершинами, и в этом медно-красном свете рыбины казались окровавленными.

Мы долго молчали и смотрели на это мрачное рыбье побоище.

Затихли отдаленные глухие раскаты,— видать, вальщики закончили работу.

Ветра не было — ничто не шелохнется. И только редко и жирно каркали вороны; они лениво перелетывали над протокой, садились на прибрежные кедры и сердито кричали на нас.

— Хоть бы вы растащили эти заломы,— сказал я Пассару.

— Нам некогда... Людей нет. И очень бесполезно. Сплавщики много раз взрывали заломы. Все равно затягивает. Вода села к осени. Вот беда!

— Значит, вода виновата? А вы — молодцы!

— Зачем молодцы?! Конечное дело — наши бревна в заломах лежат.

— И опять сплавлять будете... Сваленный лес на Теплую трелюете?

— Куда же еще? — сказал Пассар.

Я посмотрел на Пинегина.

— А что бы вы стали делать на месте Мазепы? — спросил он с вызовом.

— Во-первых, не поехал бы на совещание передовиков...

— Смелый шаг, ничего не скажешь, — усмехнулся Пинегин. — Кстати, пора ехать в Ачинское. Не то ночь застанет.

— Счастливого пути.

— А вы остаетесь?

— Да.

Пинегин обернулся к Пассару:

— Пошли! — и уже на ходу громко заговорил: — Оказывается, не умеем мы лес рубить, не умеем... Теперь журналисты будут руководить лесорубами.

Пассар крикнул мне:

— Идите по следу! Как раз в бараки... Понял?

— Ладно, ладно!

До самых сумерек ходил я по берегам протоки.

Странная рыба! Живет, вырастает в океане... Но настанет время метать икру — уходит в далекие таежные речушки на родину. Только здесь, в своем родном нерестилище, может она выметать икру, народить детей.

Каким непостижимым чутьем находит она эту единственную из тысячи проток, затерявшуюся в глухой тайге за тысячи километров от моря-океана?

Какие приметы расставлены там, в морских и речных волнах, что она не сбивается с пути?

Что за мудрый и строгий закон гонит ее в далекую таежную речушку, чтобы народить детей и помереть самой?

Да, помереть во имя жизни детей... Эти малыши, вылупившиеся из икринок, зарытых в песчаное дно, в голодную и холодную апрельскую пору будут поедать то,

что осталось от родителей; чтобы, подкрепившись, выйти в дальнее плавание — в море-океан. Жить и жить!..

Но из этих икринок, торопливо брошенных в воду, ничего не вылупится; унесет их равнодушная вода в большую реку, и будут они долго носиться в волнах, пока не потеряют цвета и запаха и не упадут вместе с песчинками в береговую отмель.

* * *

В бараки пришел я вечером.

Поселок Мади ничем особенным не отличался от многих других мастерских точек, виданных мной за долгие разъезды по Амурской и Уссурийской тайге,— три приземистых барака — в одном столовая и лавка, в двух других живут лесорубы.

Один барак — мужское общежитие, другой — смешанное: женщины и семейные.

Еще кроме этих бараков стояла маленькая избенка, покрытая корьем,— в ней складывались пилы, бочки с горючкой, тросы, запчасти к тракторам и всякий тряпичный хлам.

Пассара нашел я в столовой, он сидел при керосиновой лампе и пил густой, как деготь, чай. В помещении было жарко натоплено.

Максим расстегнул фуфайку, лицо его разопрело до красноты, от головы густо валил пар, как от самовара.

Из раздаточного окна выглянул щуплый смуглый человечек в белом колпаке с выпуклыми блестящими глазами.

— Ты озябла? — спросил он, улыбаясь, и подал мне кружку такого же черного дымящегося чая.— Бери, кушай!

— Дай ему поесть! — сказал Пассар.

— Картошка хочешь? Икра хочешь? — спрашивал меня повар.

— Давайте, что есть! — Я сел рядом с Пассаром.

— Попков тебя вез, да? — спросил Пассар.

— Попков.

— Застрял возле моста. Я трактор послал.

Распаренный, без шапки, с торчащими черными волосами, Пассар не казался таким уж юным, как давеча. К тому же на висках заметно пробивались иголки седины.

— Сколько же вам лет? — спросил я его.

— Тридцать семь.

— Что вы говорите! А я вам дал не больше двадцати пяти.

— Я капли водки не истреблял,— сказал Пассар.

Повар поставил на стол икру и картошку.

— Своя готовим. Кушай.

Икра, с пружинящей, точно вулканизированной кожицей, раскатывалась по зернышкам.

— Тоже нанай? — спросил я Пассара, когда повар ушел.

— Его узбек. Крепко сердился на вас Пинегин,— сказал Пассар, закуривая.— Везде, говорит, суется...

— Он что, сват или брат Мазепе?

— Почему?

— Горой за него стоит... покрывает.

— Мазепа план хорошо выполняет... Очень выгодно для района.

— Послушайте, Максим, вы же таежный человек... Выросли здесь. Неужели не жалко вам леса?

— Я уж привыкал.

— Рыба погибнет...

— Конечно... Нанай так говорит: рыба есть — и жизня есть, рыбы нет — и жизни нет.

Мы долго молчим, курим...

— Сначала я так говорил Мазепе: давай рубить все подряд... дорогу строить, дома строить. Плюнем на директора. План свой составим... А он мне сказал — дурак! Нас прогонят — других возьмут.— Максим смеется, крутит головой, потом внезапно замолкает и с грустью смотрит в темный угол.— Рабочие бегут, понимаешь. Живем как в стойбище, через год поселки бросаем. Мужчины и женщины в одном бараке... Давайте, говорю, хоть столами отгородим — женатых в один ряд, холостых в другой. Тогда одна женщина встает и говорит: «А мне куда ложиться? Днем я холостая, а ночью женатая».

— А что же Мазепа? — спросил я.

— Ну что Мазепа?! Я говорю — давай поставим еще один барак. А он: «Зачем?» На будущий год и эти бросим. Тож правильно. Ачинское — большой поселок. Дома двухквартирные... Школа есть, больница, клуб... Тротуары дощатые, понимаешь. Все равно через год бросим. Кедры вырубили.

— Сколько же вы кубометров берете с гектара?

— Сорок кубометров берем, а двести пятьдесят бросаем...

— Богато живете...

— Пора спать! — бесцеремонно сказал Пассар.— Только вам придется идти в женский барак. В мужском мест нет. Ларда вас проводит. Аделов! — крикнул он повара.— Корреспондента проводи в барак! Койку там приготовили. Спокойной ночи.— Пассар подал свою маленькую сухую руку и вышел.

Меня удивила простота нравов, которая царила в женском бараке.

Койки стояли двумя рядами попарно, вплотную друг к другу.

На койках спали по соседству женщины и семейные пары.

В дальнем углу, слабо освещенные висячей лампой, сидели и целовались влюбленные.

Длинный дощатый стол загородил весь проход; одним торцом он упирался в кирпичную облупленную печь, вторым подходил к самым дверям.

Над плитой с веревки свешивались портянки; от них перечеркивали весь потолок и стены широкие ломаные полосы теней, отчего в бараке казалось таинственно и мрачно. Пахло приторно-сладковатым духом преющего тряпья, распаренной резины и жженого волоса.

Указав мне на свободную крайнюю койку, Аделов прошел в дощатый чулан, отгороженный в ближнем углу. Оттуда высунулась маленькая смуглая ручка в цветастом рукаве и быстро задернула такую же цветастую штору.

Потом в чулане часто, горячо и непонятно забубнили.

На меня никто не обратил внимания.

Я разделся, прилег на койку.

За столом сидели несколько человек, занятых кто чем. Крайняя к двери пожилая женщина в зеленой шерстяной кофте и белом в горошинку платочке вязала и часто нашептывала. Напротив нее, на скамье, девушка в синей рябенькой кофточке и черных шароварах считала на маленьких счетах и потом что-то заносила в табличку.

За ней сидели два парня, покрытых черными тенями от портянок, зато девушка между ними была ярко освещена — белоносая, с обветренным красным лицом, она часто прыскала от шепота ухажеров и закрывала лицо ладонями.

Из дальнего угла влюбленных раздался затяжной

вздох, похожий на стон, потом высокий довольный смешок.

— Что ж это вы при людях-то обнимаетесь, иль не терпится? — спросила, отрываясь от вязки, пожилая женщина.

— Я глухой... Меня трактором переехало... Девять месяцев пролежал, дело прошлое,— лениво отзывается из угла парень.

— А то вы ночью не слышите, что делается,— недовольно огрызнулась девица из угла.

— Да тебе все едино — что ночью, что днем,— беззлобно возразила женщина.

— Завидуешь? — в углу послышался сдавленный смех.

— Дура.

Женщина снова принялась за кофту.

Я приподнялся, пытаясь разглядеть тех, в дальнем углу: парень опрокинулся на подушку, девушка висела над ним,— лица не разглядеть, только спутанные черные волосы да широкие дюжие плечи, обтянутые синей футболкой, которым и добрый мужик позавидовал бы.

— Новички, должно быть? — спросил я пожилую женщину.

— Она только что приехала откуда-то с целины. А он из наших «старичков», уже третий год доживает. Вот и соскучился, бедный...

— А чего мне скучать? Житуха нормальная... По сто восемьдесят зарабатываю в месяц,— донеслось из угла.

— Вы что ж, пожениться решили? — спросил я.

В углу засмеялись. Прыснула и белобрысая девушка за столом.

— Она его лет на десять старше,— сказала девушка с таблицей в руках.

— Возраст не помеха, дело прошлое,— донеслось из угла.

И снова хохот.

— Весело живете! — сказал я.

— Это еще хорошо — в бараке живем,— сказала пожилая женщина.— Тепло. Зима пришла — времянку проложили, по ней и ездим. А вот всю осень жили возле делян в будках. В каждой будке восемь человек. Повернуться негде — комары, холод, грязь... Ездили туда на волокушах. Двадцать пять верст — два дня едешь. А потом работаешь по двенадцать часов, чтобы наверстать упущенное в дороге.

И сразу разговор становится общим.

— А дорога-то не оплачивается...

— Рябчики нас заклевали...

— У нас одно дерево повалят, у десяти других сучки пообламывают. Вот они и висят. Сунешься за хлыстом — он тебя сверху и долбанет.

— Вальку Парилова, шофера, стукнул рябчик. Долго валялся, дело прошлое,— не вытерпел и влюбленный.

— А Белова лесина зажала... К пихте его притиснула. Чокеровщики шли, чокера собирали. Вдруг слышат — что такое? Вроде коза блеет. Подошли — а это Белов. Он уже голос потерял.

— Бывает, дело прошлое.

В барак ввалился высокий парень в свитере, без шапки, лохматый, как медведь, и заголосил:

Обниму свою милую женушку
И усну на груди у нея...

— Ты что, Чечиль, с ума спятил? Орать в такую пору? — сердито сказала девушка с таблицей в руках.

Между тем на койках никто даже не шевельнулся. А Чечиль, покачиваясь, пошел к столу и плюхнулся на скамью рядом с рябенькой кофточкой:

— Эх, Любушка-голубушка! Я тебя на Ангарскую сосну не променяю. Звали — не поехал. И никуда от тебя не поеду. Да брось ты эту стиральную доску! — Он потянулся за таблицей.

— Не мешай шахматку заполнять! Ну! Кому говорят.— Люба вырвала у него таблицу.

— Ты вот как, да?! А может, я с тобой поговорить пришел последний и решительный, а?

— Вон садись к Сереге на койку. Он там уговаривает одну. А мне не мешай.

— Десятник у нас серьезный,— сказал один из ухажеров, выныривая из-под портяночной тени.

— Ты, Чечиль, смотри не толкни ее. Не то она мне вместо плюса минус поставит.

— А на черта тебе плюсы! Ты и так гребешь по две сотни!

— Как на черта? А вон Ларда ящик водки привез... Иль ты хочешь один всю выпить?

— Я даю только тому, кто озябла,— высунулся из чулана Аделов.

— Брысь! — цыкнул на него Чечиль.

И Ларда мгновенно скрылся.

— Давеча прошу у него поллитру — не дает. На обогрев, говорю. Человека спасать еду, говорю. Не дает, ханжа насредине!

— В самом деле, тебя посылали Попкова выручать? — спрашивает Люба Чечиля.

— Ну? — Тот любезно осклабился.— Еще что?

— Вытянул?

— Вон, на дворе стоит его сено.

— Зачем ты его припер сюда?

— Он сам приехал.

— Так ему же в Ачинское надо.

— А я почем знаю... Он в кабинке уснул...

— Где ж вы нализались?

— Водку из ОРСа везли да засели. Мы их вытянули и литровку дубанули...

— А где Попков?

— Да говорю, в кабинке! Спит...

— Он же замерзнет, чертяка! — Люба бросает шахматку, встает.— А ну-ка марш на двор! Вся застолица... Пошли, пошли! Надо вытащить Попкова.

Две девушки и три парня, накинув фуфайки, вышли из барака.

— Господи, господи, вот шалопутные! Ни днем, ни ночью угомону не знают,— сказала женщина в зеленой кофте, снова берясь за свою вязку.

— Откуда они приехали? — спросил я.

— Кто откуда... Всё бором-собором. Слетятся, года не проживут — и бежать. Я уже вот в третьем месте по вербовке доживаю. Тоже сорвалась, дуреха, на старости лет. Помирать уж пора, а я все ищу, где лучше. Народ ноне проходной стал... Не держится на месте... Кругом одно озорство.

Этот неприхотливый, веселого нрава люд пришел сюда, в таежные дебри, из дальних далей, чтобы в рабочей сутолоке добыть свои нелегкие рубли и опять податься на новые места в поисках хорошей работы, большого заработка, жилья, романтики... По-всякому это называется. Но суть одна — человек стремится туда, где лучше...

Я спал тревожным сном. Мне все снилось, что я иду по тайге и куда ни сунусь — везде высоченные завалы. Я карабкаюсь на завал, хватаюсь за какие-то ветки, сучья... И вдруг — завал уже не завал, а сопка: на вершине стоит

огромный Пинегин и размахивает кедром. «Ты куда лезешь? Забыл, что времена теперь другие. А? Хочешь, я те напомню? Кедром-то как долбану сейчас...» Он ударил кедром по сопке, и земля подо мной зашаталась...

Я очнулся. Возле меня стоял Пассар и тряс койку:

— Вставайте, Попков в Ачинское едет.

* * *

Наскоро одевшись, я проглотил кружку черного чая, отдающего жженой коркой, и вышел. На улице было совсем светло. Сухой морозный воздух ударил в голову до опьянения. Я тяжело и отрывисто дышал, как загнанная лошадь.

— Садитесь, что ли ча! — Попков открыл дверцу кабинки.

Мотор у него уже ревел, слегка подрагивал капот, и зудела какая-то железяка на дне кабинки.

— Здравствуйте! Вот не ожидал встретиться здесь,— сказал я, влезая в кабинку.

Попков только повел бровями. Выражение лица у него было такое, что казалось — вот-вот зарычит и замотает головой.

— Может, прикажешь своему кашевару? — высунувшись из кабинки, упрашивал Попков Пассара.— Мне только полстакана. Дайте муть осадить.

— Ты что, понимаешь? Думаешь,такое дело? За рулем сидишь. А кого задавишь! Я отвечай, да? — Пассар стоял на крыльце, из-за его спины выглядывал Аделов.

— Да кого я в тайге сшибу? Медведя, что ли?

— Порядок везде одинаковый.— Пассар был неумолим.

— Я водку даю только тому, кто озябла,— сказал узбек.

— А я что, на печке буду сидеть? — рыкнул Попков.

— Поезжай, понимаешь... Зачем без толку говорить? — Пассар даже отвернулся

— У-у, басурманы...— проворчал Попков.— Одно слово — азияты...

Погнал он быстро, очевидно решив всю свою обиду выместить на грузовике. Меня бросало по кабине, как горошину в бочке. Я упирался ногами и спиной во все, что было неподатливым, вцепился обеими руками в

держальную скобу, и все-таки меня поминутно срывало, и я бился обо все углы либо головой, либо плечами, либо коленками. Дребезжали стекла, подпрыгивал капот, и над нашими головами, шурша о кабинку, мотался огромный воз сена. Мы оседали то на одну, то на другую сторону, но, не сбавляя скорости, летели вперед, каким-то чудом не опрокидываясь

Только мы успели выехать на главную Ачинскую дорогу, как навстречу нам из-за ельника вывернулась карета «скорой помощи».

— Больных везут. Придется нам уступить дорогу,— забеспокоился я.

— Это — наш автобус... Приспособили,— сказал Попков.— Видать, участковое начальство едет.

Карета, не доезжая до нас, попятилась задом с дороги прямо в снег. Мы проехали мимо, шаркнув сеном по кабине «скорой помощи». Из кареты посыпались на снег пассажиры, все в полушубках и чесанках. Сразу видно — не на работу едут.

Мы вышли навстречу. Оказалось, что ехал на совещание начальник лесопункта Мазепа с бригадой передовиков. Я незнаком был с Мазепой и удивился при встрече с ним. Он был мал и невзрачен, сухопарый, с желтым морщинистым лицом, словно исхлестанным корявыми ветвями ильма, с печальными, умными и усталыми глазами.

— Архип Осипович,— подал он мне большую костистую руку.

Я назвался в свою очередь.

— Мне Пинегин рассказывал о вас.— Мазепа повернулся к Попкову.— Что ж ты, труженик, дороги путаешь, как слепая лошадь? Мы ночью тебя ищем, а ты в бараке дрыхнешь.

— Хвостовик у меня занесло малость,— пробурчал Попков.

— Чтобы не заносило еще раз, за вчерашний день зарплату с тебя удержим.

Мазепа кивнул на стоявшего рядом с ним сутулого, в черной сборчатке рыбного инспектора Чурякова, большеносого, с унылым, каким-то сонным лицом.

— Мне эта рыбья мамка руки связала. Вот поеду в леспромхоз, там развяжут.

Видя мое недоумение, он пояснил:

— Запретил мне трелевать лес к Теплой протоке.

— Правильно сделал! — сказал я.

Мазепа ничуть не смутился.

— Это ж нерестовая протока, пойми ты. Нельзя по ней сплавлять,— нехотя пояснил инспектор.

— Лыко и мочало — начинай сначала,— вздохнул Мазепа.— А если других проток нет — что делать? Трелевать к Бурлиту за пять верст? — трактора не выдержат. И лес будет золотым.

— Стройте дорогу,— ответил равнодушно инспектор, и видно было, что подобные разговоры между ними ведутся не впервой.

— Дорогу за год не построишь.

— Будто вы здесь год работаете,— усмехнулся Чуряков.

— Вы же губите лес! Губите рыбу! Люди страдают...— сказал я.— Неужели вам это непонятно?

— Я уже на такое насмотрелся, дорогой мой, что глаза слепнут,— Мазепа потер виски и устало посмотрел на меня.— Мне за последние пять лет удвоили план, а техника все та же. Работаем на износ... А вы — строй дорогу... Кем? На что?

— Денег не отпускают на дорогу, что ли?

— Когда отпускают, когда нет. Это не наше дело. Дороги — дело высокого начальства.

— Оно кому плохо без дороги-то, а кому и подходяще,— протискиваясь боком, подмигивая мне, говорил молодой рыжий технорук с белесыми бровями, с вислым хрящеватым носом.— Была бы дорога, небось перевели бы леспромхоз из райцентра к нам в тайгу... А может быть, и трест бы сюда загнали... Кому в глухомани жить хочется? Теперь каждый едет из леспромхоза на лесопункт — ему и суточные платят. А тогда — прощай командировочные,— он многозначительно улыбается и чем-то напоминает мне шорника.

— Ну, что мы топчемся на дороге? Поехали! — сказал Мазепа и, посмотрев на меня, спросил: — С нами поедете? Или в Ачинское?

Этот вопрос застал меня врасплох.

Те сердитые слова, что я копил за всю долгую дорогу, чтобы бросить их в лицо Мазепе, оскорбить его, отхлестать... слова эти куда-то исчезли, ушли, точно вода в песок. Передо мной стоял усталый невысокий человек, в рыжем малахае, и смиренно, по-собачьи печально глядели его округлые умные глаза. И я не знал, что сказать.

— Поезжайте к нам,— Мазепа истолковал по-своему мое молчание.— Люди у нас хорошие... Есть такие, что уже семилетку выполнили.

Мы разошлись по машинам.

Раздался пронзительный свисток «скорой помощи», и желтая карета с красными крестами на бортах заныряла по ухабам.

Тайга пошла гуще. Размеренные ухабы, словно застывшие морские валы, потянулись далее на десятки километров. Дорога так запетляла вокруг рябоватых ильмов, полосатых светлых ясеней и пегих, как в заплатах, кедров, что, казалось, решила оплести их, связать между собой. Повороты следовали один за другим, и шофер беспрестанно крутил баранку.

«Черт возьми! — думал я.— Кто должен срезать эти гребни, заваливать ухабы, ставить снегозадержатели? Неужели и для этого нужно сметы составлять?»

«Оно дело-то пустяковое»,— вспомнились мне слова ветврача. Но ежедневно на этих дорогах надрываются моторы... Пропадают дорогие минуты, часы, дни... «Видать, привыкли»,— слышались мне слова ветврача. Но и он привык. И даже недовольный шорник с многозначительным выражением на лице привык критиковать для успокоения совести.

А дорога все петляет, все вьется, и нет, кажется, конца ни этим ухабам, ни этой монотонной размеренной качке. Я упорно смотрю на желтую, исхлестанную шинами колею. И снова встает передо мной в высокий мужчина в тулупе с кнутом в руках. «Видать, привыкли»,— говорит он мне и пожимает плечами; и женщина в фуфайке, протягивающая над плитой большие красные руки; и шорник с неодобрительной усмешкой.

И я перестаю замечать головокружительные повороты, обрывистые глубокие ухабы, почти отвесные спуски...

И мною понемногу овладевает состояние уверенного, ленивого спокойствия. «Дорога как дорога... Чего ж особенного? Дорогу, конечно, приведут в порядок...»

И только шофер по-прежнему остервенело крутит баранку, и сурово сведены его брови.

1964

ТРОЕ

(Рассказ художника)

I

О прибывших невесть откуда молодоженах, которые на председательском чердаке «устроили канцелярию», я услышал от лесничего Ольгина.

— Чудной народ! — говорил он с усмешкой.— Их честь честью в избе просят располагаться, а они полезли, как куры, на повети. По вечерам все лампу жгут. Того и гляди, спалят село-то.

— Кто ж они такие?

— Говорят, какие-то ученые. Она все сказки записывает. А он — не поймешь, зачем и приехал: целыми днями, как сыч, на чердаке отсиживается.— Ольгин снова усмехнулся.— И одет как-то по-чудному: рубаху в клетку поверх штанов выпустил и не подпоясывается.

— Это — мода такая,— пояснил я.

— Мода? — Ольгин подозрительно покосился в мою сторону.— Не слыхал.

— Молодые они?

— Да. Он голенастый такой, вроде маньчжурского ореха... И уши торчком.

— А она?

— Глазастая девка,— неопределенно ответил лесничий.— А ты бы сходил к ним. Может, компанию составят.

И в самом деле, надо бы познакомиться с ними. Я пробыл в Усинге уже с месяц. Пора было снаряжаться в обратный путь. А может, попутчиками окажутся эти ученые?

Знакомство наше вышло неожиданным. Однажды под вечер, искусанный комарами и гнусом, злой от неудачи, я возвращался с охоты. Впрочем, должен признаться, что только наш брат, охотник, пойдет на таежное болото

после проливных дождей. Если он натянет сапоги и плащ, да еще впервые накинет удэгейский накомарник, похожий на бабий ситцевый платок, ему уж и кажется, что он неуязвим, как водолаз в скафандре. Я, разумеется, всем этим запасся честь по чести. Однако у меня не было лодки, я шел вдоль берега тихой протоки, погружаясь по грудь в мокрые травяные заросли, отчего мой накомарник намок и налепливался на шею, как пластырь. Этот ситцевый скафандр комары прошивали с лету и несметной тучей вились надо мной, не отставая. Они подняли вокруг меня невообразимый звон, тонкий, злорадный, торжествующий, словно потешались над моей беспомощностью. Преследуемый этой ошалелой от крови комариной стаей, я сбился с тропинки и вышел из лесу совсем в другом месте, чем предполагал.

Передо мной оказался бревенчатый амбар, возле которого стояли удэгейки с ведрами и плетенками, наполненными голубицей. После лесного сумрака здесь, на поляне, все было необыкновенно ярко: еще не просохшие капли дождя повсюду сверкали на сочной свежей зелени, и даже умытая дождем синеватая голубица поблескивала в лукошках, как стеклянные бусы. Ягоду ставил на весы, потом высыпал из ведер в бочки сам председатель артели, Тыхей Кялундзига, мой давний знакомый.

— Чего такой мокрый? — спросил он, поздоровавшись.— Бежал, что ли?

— Комары заели... на болото ходил,— отвечал я, переводя дух.

— Кто сейчас на болото ходит? Поставь там меду, медведь и то не пойдет.— Тыхей добродушно посмеивался, оттопыривая верхнюю губу с черными колючими усиками.

Удэгейки тоже начали посмеиваться, прикрываясь для приличия руками.

По моему лицу ручьями текла вода, перемешанная с потом, я тяжело дышал и, должно быть, выглядел смешным в этом налипшем накомарнике. Мне показалось, что кто-то сбоку пристально рассматривает меня. Я обернулся и встретился взглядом с молодой, легко одетой женщиной. На ней был сарафан в крупных цветах и белая маленькая накидочка, едва прикрывавшая ее округлые плечи и красивую сильную шею. Я обратил внимание на ее большие, чуть впалые серые глаза с припухшими

сонными веками и на пышные волосы какого-то желтовато-белого, молочного оттенка. В руках она держала раскрытый блокнот, в котором, должно быть, делала запись, прерванную моим приходом. Мы с минуту молча рассматривали друг друга, и наконец, спохватившись, я поздоровался. Тыхей представил нас по-своему:

— Чего ж, понимаешь, не знакомитесь? Сколько дней живете, вместе не собираетесь.

Я зачем-то стащил с себя накомарник, словно это была шляпа, и подал руку.

— Нина,— коротко назвалась она и стала со мной говорить так свободно и просто, словно мы были давно знакомы.

Я узнал, что она — аспирантка Ленинградского пединститута, с отделения народов Севера, приехала сюда изучать нанайский и удэгейский фольклор, что она здесь с мужем и что муж работает археологом в Академии наук.

— Идемте, я познакомлю вас.

Мы направились к обнесенной высокой изгородью из жердей председательской избе, рядом с которой виднелся новенький сруб.

— Нам Тыхей Батович часто говорил про вас,— сказала Нина, поглядывая на меня с любопытством.— Мы, признаться, ждали вас. Отчего же вы не приходили?

Я ответил, что был занят, и спросил в свою очередь:

— Не скучаете здесь?

— Что вы! Среди этих милых доверчивых людей невозможно скучать. К тому же я здесь не бездельничаю. И Стасик занят — он пишет диссертацию сразу по-русски и на английском языке.

— А почему на английском? — невольно вырвалось у меня.

Она недоуменно пожала плечами и посмотрела на меня с таким выражением, словно я спросил: «Почему дважды два — четыре?»

— Защищать будет на английском языке,— наконец ответила она,— так весомее.

Мы остановились возле сруба под двускатной тесовой крышей. К чердачному лазу была приставлена стремянка. Нина поднялась по стремянке и, заглядывая на чердак, позвала:

— Стасик, ну-ка слезай!

Наверху долго шуршало сено, потом из чердачного лаза высунулись длинные худые ноги, обтянутые синими

спортивными рейтузами и с минуту осторожно ощупывали стремянку, словно тот невидимый хотел идти не по стремянке, а по натянутому канату. Наконец он спустился на землю. На нем оказалась, как и говорил лесничий, ковбойка с коротенькими рукавами. Худой, но жилистый, плоскогрудый, с тонким, по-птичьи заостренным носом, с редкими прилизанными желтоватыми волосами, с выпирающими ключицами и широкими, но острыми плечами, он чем-то напоминал вылинявшего на весенних болотах журавля.

— Стасик, а я художника заловила,— похвасталась Нина, представляя меня.

Он поздоровался с подчеркнутой любезностью, слегка наклоняясь, и назвался:

— Станислав Полушкин,— и, немного помолчав, спросил: — В творческой командировке?

Едва заметная улыбка тронула его тонкие, будто подтянутые губы. Не понравилась мне эта улыбка,— в ней было что-то пренебрежительное, что-то давно обусловленное, выражаемое фразой: «Знаем мы вашего брата». Я ответил, что приехал сюда без определенного задания, приехал скорее отдыхать, чем работать.

— А Стасик у меня совсем не отдыхает,— сказала Нина.— Просто беда. Вместо отпуска взял сюда командировку и работает изо дня в день.

— А разве ваша работа связана со здешними местами?

— Конечно! — поспешила ответить за него Нина.— Он пишет диссертацию о возникновении и гибели Бохайского царства. Оно существовало когда-то на здешних землях.

— Я слышал.

— Не правда ли, интересная проблема? — спросила Нина.— Ведь об этом так мало написано.

— Да, к сожалению.

— Восполнять пробелы в науке — дело интересное. Не правда ли?

— Да, конечно.

В течение этого коротенького разговора она бросала испытующие взгляды, и я понимал, что ей очень хотелось знать, какое впечатление произвел на меня ее Стасик. Он спокойно глядел на нас своими прозрачными, как спелый крыжовник, зелеными глазами и принимал как должное уделяемое ему внимание.

— Ты извини меня, Нинок! И вы тоже... У меня

работа.— Он медленно полез на чердак, так же как давеча, тщательно опробывая ногами каждую перекладину.

— Ну, вот мы и познакомились,— весело и с заметным чувством облегчения сказала Нина, и я подумал, что она ждала этой встречи и готовилась к ней по-своему.

— Не отпущу вас до тех пор, пока не получу вашего согласия,— Нина ласково взяла меня за рукав.— Завтра приходите к нам, я пеку пироги с черникой. Приходите обязательно.

Я согласился, и мы распрощались. Возвращаясь в избу лесничего, стоящую на отшибе, я все думал о моих новых знакомых. Признаться откровенно — она мне нравилась: и эти чуть впалые, словно уставшие глаза, и такой свободный широкий разворот плеч, и вся ее сильная статная фигура. Рядом с ней он казался каким-то искусственно вытянутым, и его руки действительно напоминали оголенные побеги маньчжурского ореха, как метко заметил Ольгин. Я вспомнил, как она настойчиво желала, стремилась к тому, чтобы ее Стасик произвел впечатление. Но в этом стремлении чувствовалась не гордость за мужа, а скорее скрытое беспокойство, желание подкрепить свою не очень крепкую уверенность в его значимости. Недобрая примета, думал я.

II

Прошла уже неделя после нашей встречи, а я и не собирался уезжать. Теперь я каждый день вижусь с Полушкиными, часто слушаю, как Нина записывает сказки, а рисую старух-сказительниц в синих халатах-тегу, ярко расшитых по бортам, и с неизменными трубочками во рту. Нина часто прерывает сказительниц, строгим тоном задает десятки вопросов и все торопливо записывает, словно ведет следствие. Когда встречаются смешные места, она сильно запрокидывает голову, смеется бисерным счастливым смехом, и на ее белой шее мелко подергивается голубая жилка. Потом она оборачивается ко мне: «Вот посмотрите, какая удивительная деталь».

Я наклоняюсь к ней, чувствую ее упругое плечо и вижу, как странно блестят ее глаза.

Раза два ходил с нами Станислав, но записывание сказок ему кажется скучным делом, на мои рисунки он

смотрит косо, с нескрываемой презрительностью и вообще старается со мной не разговаривать. Он ехал сюда с надеждой — найти в удэгейском фольклоре предания о былом приобщении племен к древней цивилизации бохайцев, следы, которые позволили бы судить об удэгейцах и других малых здешних народностях, как об осколках погибшего Бохайского царства. Но, просмотрев несколько десятков записей, он махнул рукой: «Родовщина!» — и потерял всякий интерес к фольклору.

Зато с Ниной у нас вырабатывалось нечто вроде фольклорного сотрудничества; она вычитывала мне про всяческих чудищ: «Зубы у него большие, язык острый, как шило, на лице шерсть черная, на руках когти медвежьи. А зовут его Кугомни. Летает он по воздуху, кровью питается». Я изощряюсь и набрасываю чудовище на медвежьих лапах, с крыльями комара. Или рисую летящую жабу с чертами лица старой карги, а то говорящую рыбу — кальму, похожую на Нину. Все это забавляло ее: она по-детски смеялась, запрокидывая голову, [redacted] потом аккуратно складывала рисунки в свои тетради.

Как-то после обеда Нина читала нам новые записи сказок. Мы втроем сидели на огороде [redacted] клетушке, густо обросшей диким виноградом: здесь в тени на глиняном прохладном полу было райское убежище от знойного августовского полдня. Тыхей принес нам мелкие, но спелые арбузы; Полушкин время от времени нарезал длинным столовым ножом тоненькие ломтики и складывал их на деревянный кружок.

Каждую запись Нина начинала одними и теми же унылыми протяжными звуками «аннана-аннана», что значило давным-давно. Как правило, каждая сказка не имела строгого сюжетного развития, а складывалась из множества случайных встреч, похождений, единоборств. В каждой сказке кто-то с кем-то состязался,— сильный сильного пробовал,— и кончалось все это тем, что победитель либо обдирал шкуру с убитого, если это был зверь, либо отбирал имущество у побежденного. Но зато как много было [redacted] них мудрых поучений, какие оригинальные образы, столько красок и воображения!

— Как это ни странно,— сказал Полушкин,— но эти народные сказки являются пока лишь материалом для народных сказок. Все, что вы читаете,— лишь наброски, этюды для будущих картин. Они ждут своего художника.

сказителя, который приведет эти бесчисленные единоборства и похождения к единой мысли, придаст им строгую форму, законченность, и только тогда мы сможем почувствовать красоту народного творчества.

— Ну, уж извините! — резко возразил я.— Почему это непроизвольность народного творчества вы хотите подогнать под колодку определенного образца, хорошо известного вам? Разве от того, что вы придадите сказке вашу законную систему развития сюжета, она выиграет в оригинальности?

— Но ведь нельзя сумбур или, как вы говорите, непроизвольность выдавать за оригинальность,— осторожно возразила Нина.— Ведь согласитесь, есть же определенные законы сюжета: завязка, развязка, там, кульминация, которые незачем нарушать.

— Закон сюжета, строгость формы!.. Да поймите же — все это относительные понятия; реалисты под ними разумеют одно, модернисты — другое, а удэгейские сказочники — третье. А у нас читаешь, так сказать, народные сказки в обработке иных сочинителей: осетинские, тувинские, якутские,— и все на один манер сказываются, похожи, как башмаки с одной колодки. И там и тут богатый притесняет бедного, и там и тут бедняки обманывают богатого; вся разница лишь в том, что у одних мулла, у других бай, у третьих шаман. В литературе же находятся умные люди, которые обобщают все это и делают мудрый вывод о бродячих сюжетах. Нет никаких бродячих сюжетов! Есть бродячие литераторы, которые оболванивают народное творчество, подделывают друг под друга.

— Ну, по отдельным недобросовестным литераторам не следует делать столь широкие обобщения,— пренебрежительно усмехнулся Полушкин.— Если они умеют подделываться под известные образцы, то ничего вольготнее не было бы для них, когда вообще отрицались бы всяческие каноны и писали бы кто во что горазд. А что касается определенного сходства в сказках различных народностей, то ведь на самом деле богатые не пестовали бедных, и потом, жили на свете и муллы, и баи, и шаманы... И кажется, благодетелями они не были. Так что не следует из-за них отвергать законы и строгость формы. Таким наскоком даже и не поколеблешь незыблемость сюжета.

— Опять незыблемость, закон! Да на что рассчитана

эта незыблемость? — спрашивал я.— Уж если вводят в обиход эти всяческие каноны и рьяно ограждают, то, разумеется, делают это не ради высоких идеалов искусства, а прежде всего потому, что за этими канонами живется спокойнее — не надо думать, рисковать не надо. Нет, я враг всяких канонов и всяческой незыблемости.

— На самом деле всяких?

— Да, на самом деле.

— А как же быть с такими явлениями, как пропорции человеческого тела, музыкальный и речевой ритмы, цвета спектра? Ведь это тоже каноны, на которых строится скульптура, музыка, поэзия, живопись.

Полушкин, видимо, решил, что поставил точку; он спокойно и насмешливо смотрел на меня.

— Передовым художникам современности давно уже тесно в них; они скинули эти изначальные каноны, как платье, из которого выросли...

— И перешли от изображения человека к намазыванию ржавых пятен на холст да лепке косталышек,— перебил меня Полушкин.

— Чтобы судить об искусстве, мало знать анатомию или законы спектра. Надо иметь еще хотя бы вкус.

— Где уж нам, дуракам, чай пить!

Полушкин отвернулся и демонстративно замолчал. Нина тоже молчала,— видно, растерялась от неожиданного оборота в споре. Наступила неловкая минута.

— А вы не пробовали арбузы с медом? — наконец спросила меня Нина.— Ананас напоминают... Стасик очень любит.

Я вопросительно посмотрел на нее. И вдруг она смутилась — то ли от неуместности сказанного, то ли от чего другого. Мне почему-то стало жаль ее. Так и не ответив ей ничего, я распрощался и ушел.

III

Живу я по-прежнему в просторной ольгинской избе; ем прямо из котла уху да кашу, запиваю обед мутно-желтой медовухой, сплю на полу на медвежьих шкурах. Вся мебель в избе состоит из двух скамеек и стола да еще деревянной кровати, стоящей в простенке за печкой. На кровати и днем и ночью лежит дед Николай, тугой на уши, и, видать, оттого крайне немногословный. Лежит он

[redacted] шубе, в валенках и [redacted] малахае. Впрочем, иногда он встает, проходит на крыльцо и греется на солнышке, не снимая ни шубы, ни малахая. Он подолгу смотрит в одну точку, тихо шевелит губами, и мне порой кажется, что он шепчет старые длинные молитвы. В такой позе он совершенно недвижим, и я часто делаю с него наброски. Не раз я просил его снять малахай и шубу.

— А зачем? Шуба-то при мне дух удерживает...— возражал он с расстановкой, словно боясь выпустить из себя этого живого духа.

Сам Ольгин располагается [redacted] конторе лесничества, такой же просторной и голой избе, стоящей неподалеку. В отличие от отца, он разговорчив и любопытен. По вечерам, когда мы с ним варим на костре неизменную уху из ленка или хариуса, он любит пофилософствовать. В его рассуждениях о тайге есть что-то унаследованное от старых поверий лесовиков. Лес ему заменял и семью, и друзей, и жилье.

— Врос я [redacted] тайгу,— говаривал он часто, мечтательно вглядываясь [redacted] темные чащобы.— Меня отсюда ничем не выдернешь, разве что подрубить можно... Да и то корни в земле останутся.

В такие минуты его синие, как лесной воздух, глаза наполнялись светлой задумчивой грустью; глядя на них, я вспоминаю врубелевского Пана.

Однажды, подавшись ко мне, он произнес со значительным выражением:

— Она, тайга-то матушка, свою душу имеет, да не каждому открывает ее. Любить надо.

— А наука?— возразил я.

— Что наука? Наука без любви — что посох слепому: пройти пройдешь, а ничего не увидишь.

Широкоплечий, высокий, в синей косоворотке, ладно облегавшей его костистую фигуру, он выглядел молодцевато для своих шестидесяти лет. Бороду он брил, оставляя короткие, чуть седеющие усы. В эту глухую сторону мало находится образованных охотников на лесничество, и поэтому его, бывшего лесника, подучившегося на курсах, назначили лесничим. Свое лесное хозяйство в полтора миллиона гектаров он исходил вдоль и поперек, он сжился с лесом, и от него самого веет этой неизбывной лесной силой.

Каждый вечер он спрашивал меня одно и то же:

— Видались с учеными-то?

— Видался.
— Ну и как?
— Вареньем угощали.
— Кто ж, сама, поди?
— Она.
— Обходительная дамочка.

В один из таких вечеров мы сидели у костра, возле самой избы. Перед нами на «козелке» висел прокопченный котел, похожий на большой булыжник. В двадцати шагах от нас лесная опушка. Оттуда из-за могучего кедра выглядывал амбарушко на сваях, называемый по-удэгейски — цзали. Солнце еще цеплялось за макушки кедров и ясеней. Легкий синеватый парок поднимался от сочной лесной поросли. Вечерние тени подползали к нам все ближе от опушки и волокли за собой горьковатый запах коры бархатного дерева и острый, свежий дух грибной сырости.

Ольгин где-то мимоходом подбил пару крохалей и теперь варил их в котле целиком, словно карасей. Впрочем, у него все варится на один манер: и уха, и суп, и каша; сначала в котел наливается вода, потом все остальное разом. Четыре рослые собаки крутились возле костра, огрызаясь и повизгивая.

— Узнали, что пишет сам-то? — допытывался Ольгин.

— Про Бохай пишет. Царство такое было в здешних краях, да погибло давным-давно.

— Погибло,— отзывается Ольгин и, помешивая ложкой в котле, спокойно добавляет: — Все помрем.

Через несколько минут, разливая суп, он заметил:

— Видная она женщина. Потомство от нее хорошее будет. Я, грешным делом, люблю крупных баб. И сынам всегда наказывал: не путайтесь с мелкотой. Младший у меня хотел жениться на малышке — я против. Кого ты, говорю, берешь? Посмотри, она тебе под сосок и то не будет. Что ты из нее сделаешь? Одного ребенка выкроишь, а на большее и материалу не хватит. Да и род наш измельчишь.

— И послушал он?

— Видать, не любил. Уж если полюбил, не отговоришь: тут хоть тресни, а человек по-своему сделает. По себе сужу. У меня батя строгий был в молодости. Но уж чего я, бывало, задумаю, так сделаю. Хоть шкуру с меня спусти.

— А на что она, твоя шкура-то? — прошамкал дед Николай с крыльца.— Чай, сапоги с нее не сошьешь.

— Значит, кто полюбит, тот сделает по-своему?

— Непременно сделает,— уверенно произнес Ольгин.

В этот вечер нам так и не дали поужинать. От села прибежали полдюжины босых ребятишек и наперебой затараторили:

— Дядь Иван, лес горит!

— Врете, чертовы дети! — Ольгин кинул ложку.

— Не, дядь Иван! Возле Шумного переката горит... Председатель послал за вами.

Ольгин бросился в амбарушко, выкинул оттуда пару лопат, топор и сердито крикнул:

— Что сидишь? Бери лопату!

Топор он засунул за ремень. Мы разобрали по лопате и побежали к селу. Впереди нас с лаем неслись ольгинские кобели, за ними ребятишки, и замыкали всю эту шумную ораву мы.

Возле правления артели на берегу Бурлита толпился народ. Тыхей раздавал всем лопаты и что-то кричал. Тут же на воде покачивались три бата и несколько оморочек. Подбежав к толпе, Ольгин спросил председателя:

— Где горит?

— За Шумным перекатом.

— Чего же вы стоите?! — гаркнул Ольгин.— Марш в лодки!

Он с ходу прыгнул в оморочку и оттолкнулся шестом на быстрину. Лодочка глубоко осела под его грузным телом и стремительно понеслась в беспокойную толчею переката. За Ольгиным стали прыгать в баты удэгейцы, подгоняя друг друга короткими взрывными восклицаниями: «Га! Га!»

В этой толпе, к своему удивлению, я увидел Нину; на ней были черные шаровары, хромовые сапоги и полотняная куртка.

— Едем вместе! — крикнула она мне с какой-то ребяческой радостью.

Я подал ей руку и помог спрыгнуть с берега в бат.

— Стасик, до свидания! — замахала она руками, и только тут я заметил Полушкина. Он стоял поодаль от людей в своей ковбойке, уперев руки в бедра, и спокойно наблюдал за происходящим. Нине он едва заметно кивнул головой.

— Ему нельзя ехать,— словно оправдывая Полушкина, произнесла Нина.— Ему как раз пишется...

В наш бат село человек восемь. Эта небольшая корытообразная лодка оказалась довольно вместительной и устойчивой. Удэгейцы, стоя, начали отталкиваться шестами. Нина порывисто поднялась на ноге и, вскинув лопату, хотела тоже оттолкнуться от берега. Однако бат закачался, она неловко замахала руками и упала на дно лодки.

— Тебе сиди смирно! — строго предупредила ее пожилая удэгейка, работавшая кормовым веслом.

— Нет, просто невозможно, невероятно усидеть! — проговорила, обращаясь ко мне, Нина.

Суровые сосредоточенные лица удэгейцев, плеск и шум воды на быстрине, лай собак, бегущих вдоль берега,— все это действовало на Нину возбуждающе. Она поминутно обращалась ко мне:

— Смотрите, смотрите, какой страшный залом!

— Вон хлопья пены, как белые утки...

— А что такое перекат?

— Ой, черемуха над рекой!..

Ее радовала и эта поездка на батах, и эта близость тайги, погружающейся в вечерний сумрак, и предстоящее тушение пожара, такое тревожное и романтичное.

Наши баты и оморочки вытянулись в целую вереницу, как в гонках на какой-нибудь регате. В голове этого своеобразного кильватерного строя шел на оморочке Ольгин. Заходящее солнце бросало на воду длинную тень от его высокой фигуры; тень пересекала всю реку и быстро бежала по красноватым стволам прибрежных кедров.

Дым над рекой появился совершенно неожиданно. Сразу за бурной кипенью Шумного переката река круто сворачивает и уходит за отвесные отроги сопки Сангели. И вот над острыми гранитными гольцами сопки вырос перед нами и закурчавился дымный гриб, а над рекой потянуло тревожным запахом гари. Сопка высоченная, с голой вершиной, на которой будто вырубили глубокую чашу, наполненную водой. В том озере утонул, по удэгейскому преданию, охотник Сангели, пожелавший достать для своей невесты небесные ракушки — кяхту. Я все это рассказываю Нине; она слушает, крепко вцепившись в мой рукав. А выражение лица ее такое, какое

бывает у охотника на тяге: напряженное, выжидательное и алчное.

Наши лодки одна за другой с разбегу ныряли за зеленый гранитный выступ, как за барьер, и разворачивались в небольшой травянистой протоке. Люди карабкались на берег, хватались за свисающие ветви черемух, тальника и, поднявшись, скрывались в зарослях. Мы тоже вместе с Ниной взбирались на берег и потом вместе, держась за руки, прибежали на дымный откос.

— Где же горит? Где? — спрашивала она, торопливо оглядываясь.

— А вот здесь и горит

— Да разве это — пожар? — разочарованно воскликнула Нина. Картина таежного пожара совершенно не соответствовала ее воображению.

Казалось, горела не тайга, а сама земля. Сквозь лежалые прелые листья, сквозь валежник и всякий растительный хлам просачивались откуда-то снизу жидкие космы дыма. И только кое-где возле корней ильмов да кедров поблескивали мелкие и острые язычки пламени да на прелых листьях там и тут тлели искры, издали похожие на волчью ягоду. Ольгин с засученными рукавами размахивал топором, расставлял людей и кричал: «Шуруй лопатами! Работа — не забота, скоро пользой обернется». Люди обваловывали место пожара, откуда-то таскали в мешках песок и засыпали им вороватые язычки пламени.

Нина, позабыв о своем разочаровании, преданно всюду бегала за Ольгиным и по первому слову его кидалась с лопатой в огонь...

— Вот тебе и городская да ученая! Смотри какая расторопная... Эх, дочка! — одобрительно восклицал Ольгин.— Вот это по-нашему.

В то же время он, азартно и злобно «хакая», рубил топором горевшие корни, подваливал ясеньки или елки; а Нина, ухватившись обеими руками, оттаскивала срубленные деревца подальше от пожара.

Я смотрел на Нину, раскрасневшуюся, перепачканную землей и сажей, в потемневшей от пота полотняной куртке, обтянувшей сильную грудь, и никак не мог представить ее, такую вот крепкую, искреннюю, порывистую, рядом с медлительным, нарочито степенным мужем, с лица которого редко сходит брезгливая гримаса. «Почему они сошлись? И что между ними общего?» — думал я.

Но мысли эти приходили на какие-то мгновения: меня охватил всеобщий азарт работы,— я копал ров, разбрасывал песок, тащил куда-то сучья и кричал во все горло, как Ольгин. И всюду передо мной стояло ее полыхающее румянцем лицо, ее озаренные восторгом серые глаза.

Когда с пожаром было покончено и мы садились в лодки, я, одержимый какой-то дерзкой силой, взял ее под мышки и, как маленькую, перенес с берега на вытянутых руках.

— Ох! — удивленно воскликнула она, видимо не ожидая такой смелости и силы, и как-то притихла вся, сжавшись в комочек на дне бата.

Всю обратную дорогу она молчала, а я вместе с удэгейцами яростно налегал на шест, проталкивал бат вдоль берега вверх по Бурлиту.

IV

На другой день Ольгин рассказал мне о причине пожара.

— Слыхал, как все обернулось-то? Ведь лес-то Чиуя поджег.

— Не может быть!

Чиуя был древний старичок, весь какой-то скрюченный, тонконогий, в длинном белесом халате, похожем на женскую исподнюю рубаху. Желтолицый, без усов и бороды, он сильно смахивал на старуху, и лишь неожиданно густой бас выдавал в нем представителя мужского пола.

— Я сам сначала не поверил,— говорил Ольгин, разводя руками.— У него в том месте огородик был, мак выращивал. Видать, накурился гашиша... И траву поджег. Сухую! Или трубку выронил, или с ума спятил от курева? Кто его знает. Только пожар от его огорода пошел. Вот до чего доводит дурман-то.

— А что Чиуя говорит?

— Да мертвый он.

— Как мертвый?

— Нашли его на берегу реки, недалеко от пожара... Бежал, видать с перепугу. Выдохся — да и помер. Уж ежели нахватался гашишу, далеко не убежишь... А еще они что делают? Подмешивают в гашиш сок от семян

бархата. Ты знаешь, какой это яд? В прошлом году я заготовлял семена бархата и промывал их на берегу Кленовой протоки. А слив — сок то есть, выплеснул в протоку. Так веришь — вся рыба от тайменя до мальков кверху пузом всплыла! Дьявольское зелье...

Я быстро пошел к домику Чиуи. Он жил на отшибе за протокой, через которую переплывали на ветхом бате, сиротливо валявшемся на песчаном берегу.

Возле домика, заросшего по самую крышу бузиной, толпился народ. Тыхей Кялундзига что-то шумно доказывал хозяйке дома — Хабале, маленькой старушке с плоским скуластым лицом. Стоявшая рядом Нина встретила меня каким-то пристальным настороженным взглядом и крепко, по-мужски пожала мне руку. У нее вообще была прывычка крепко жать руку.

— О чем это они спорят? — спросил я ее, кивнув в сторону Тыхея и Хабалы.

Но Тыхей, заметив меня, обернулся и заговорил, ища поддержки:

— Опять, понимаешь, пережитки капитализма. Сколько воспитуем старушек — ничего не помогает. Почему так? — У него от мучительного недоумения ползли кверху черные редкие брови, резко морщился лоб, а короткие усы сердито топорщились, как иглы у ежа.

Хабала также уставилась на меня просительным взглядом немигающих черных глаз, и тяжелое серое лицо ее подрагивало от внутренней напряженности. Я не понимал, в чем дело.

Пережитки капитализма, как разъяснил мне Тыхей, заключались в том, что Хабала отказывалась выносить гроб с телом Чиуи через дверь. Оказывается, по удэгейскому поверью следует, что дух покойника, вынесенного через дверь, становится хозяином дома. А так как Хабала пустила на старости лет осиротевшего Чиую в свой дом из милосердия, то она и не хотела отдавать свой дом духу Чиуи. Поэтому Хабала настаивала, чтобы умершего выносили в окно, а не через дверь.

— Но ведь окна у тебя маленькие! В окно не пойдет гроб,— кричал, сердясь, Тыхей.

Но Хабала угрюмо потряхивала головой и неотступно стояла на своем:

— Надо, понимаешь, простенок вырезать,— наконец бессильно произнес Тыхей и, ругая на чем свет стоит пережитки капитализма, пошел за пилой.

Мы с Ниной вошли в избу. Здесь у порога сидел Полушкин и что-то быстро записывал. Посреди избы, от стены к стене на скамейках лежала длинная широченная доска, на которой стоял гроб с забитой крышкой. Несколько стариков сидели на полу и тихо разговаривали, не обращая на нас никакого внимания.

— О чем это они? — спросил я Нину.

— Об удачной охоте вспоминают,— отвечала она шепотом,— задабривают дух умершего.

— А зачем эта доска?

— На доске удэгейцы уносят умерших в загробный мир. Они раньше не предавали земле — на деревьях гробы ставили.

— Не мешайте работать,— сказал Полушкин и строго, с укором, посмотрел на нас.

Нина осеклась и нахмурилась.

В избе было сумрачно, пахло плесенью и тем сладковатым удушливым запахом, который издают преющие шкуры.

Я вышел и направился к Бурлиту.

Еще издали приметил я высокий обрывистый берег, черным утюгом выпирающий в податливое синее ложе реки. У подножия его кипели волны, окаймляя черный выступ пушистой белой прошвой пены. А наверху была мягкая травянистая площадка, охваченная тесным строем кедрача.

Здесь, расположившись возле опушки, я работал до самого вечера. Я набрасывал в то время этюды для задуманной картины — «Дети тайги». В ней две девочки-удэгейки в расшитых халатиках должны выходить с лукошками из дремучей тайги. Две маленькие беспомощные фигурки будут казаться яркими цветами в торжественной таежной чащобе. И над ними, вокруг них тайга — такая близкая для них, совсем родная, заботливая и тревожная...

В этих беспокойных и всегда неожиданных извивах ильмовых ветвей, в тесном таинственном переплетении трескуна и виноградных лоз, в угрожающей тяжести нависших кедровых шишек, в настороженности темных, не пробиваемых солнцем колючих аралий я подолгу искал ту всегда живую и тревожную душу тайги. Не знаю, оттого ли, что на меня подействовали похороны или под впечатлением вчерашнего пожара, мой этюд получился мрачным.

— Какая страшная тайга! — сказала за моей спиной Нина, и я от неожиданности вздрогнул.

— Ага! Вот видите,— смеялась она,— сами испугались!

С минуту она пристально разглядывала этюд и сказала серьезно:

— А знаете, вы — человек решительный... Пожалуй, вас надо остерегаться...

— Вам не нравится? — спросил я как можно равнодушнее.

— У вас все грубовато, но смело и откровенно,— ответила она уклончиво, и я не понял, к чему более относилась эта фраза — к моим рисункам или ко мне.

— Вас, должно быть, шокирует эта грубость? — я упорно смотрел на нее и ждал ответа.

— Какой вы напористый! — Нина заглянула мне в лицо и добавила с игривой улыбкой: — Вам следует искупаться, вы слишком разгорячились.

— Не против,— согласился я, кладя палитру.

— Кстати, это мое купальное место. Вы его незаконно оккупировали.

Разговаривая, она непринужденно отстегнула белую накидочку, сняла через голову пестрый сарафан и осталась в синем шерстяном купальнике. И странное дело, будто она уменьшилась и вроде бы похудела. Мне как-то неловко было смотреть на нее, такую обнаженную, и тем не менее хотелось смотреть, отчего я бестолково переминался на месте и путался в собственной рубахе. Надев резиновую шапочку, Нина крикнула:

— Догоняйте меня! — и с разбегу ласточкой полетела в воду.

Я с трудом догнал ее у противоположного берега. Потом мы, разбрызгивая воду, бежали на перегонки на галечную отмель.

— Давайте кидать гальку, кто дальше! Я Стасика перекидываю.— Она схватила обкатанный влажный голыш и, размахнувшись, по-мужски сильно бросила.

— А я буду кидать сидя,— сказал я и далеко закинул голыш.

— Откуда у вас такая сила?

— О, на это трудно ответить.— Я сжал бицепс и протянул ей окаменевшую руку.— Хотите удостовериться?

На какое-то мгновение глаза ее чуть раскрылись и дрогнули ноздри, и мне вдруг показалось, что ей хочется прильнуть ко мне. Сердце мое сладко оборвалось и жарко

застучало. Я застыл в напряженном ожидании. Но это длилось всего лишь одно мгновение. В следующий миг Нина, звонко смеясь, бежала по воде. Я быстро нагнал ее, и мы поплыли рядом.

— Вы здешний? — задала она мне впервые за наше знакомство биографический вопрос.

— Дальневосточник, коренной...

— А учились?

— В Москве.

— И не тянет туда?

— Нет.

— Вы счастливый. А меня вот всю жизнь куда-то тянет.— Она вздохнула и умолкла.

Быстрым течением нас отнесло довольно далеко в сторону. Берег здесь был обрывистым, поэтому мы возвращались тайгой.

— А где же вы живете постоянно? — неожиданно, как и давеча, спросила Нина.

— Да знаете, нигде,— отвечал я, замешкавшись.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Так вот и не пришлось обзавестись своим хозяйством.— В самом деле, не весьма приятно сознаваться в том, что ты даже не имеешь своего угла, когда тебс перевалило за тридцать.— Постоянно я бываю только в командировках,— пытался отшучиваться я.— Почти год пробыл на Чукотке, потом на Камчатке, на Сахалине, здесь по тайгам брожу... на зиму снимаю комнатенку в Хабаровске.

— И так в постоянных разъездах?

— Да.

— Как это интересно... А я сижу целыми годами на месте. Вы очень любите свое дело?

— Очень,— ответил я серьезно.

Она крепко пожала мою руку. Так мы и вышли на поляну, держась за руки, и вдруг перед этюдником увидели Полушкина. Он удивленно и растерянно смотрел на нас.

— А нас вот отнесло течением, по берегу нельзя идти: обрывисто, глубоко...— скороговоркой произнесла Нина, отворачиваясь и торопливо одеваясь.

И я заметил, что у нее шея покраснела. Станислав молчал, разглядывая этюд; он уже овладел собой, и на лице его появилось обычное сосредоточенное, слегка ироническое выражение.

— Недурно, правда, Стасик? Особенно эта темная чащоба. Какая мрачная глубина, словно омут... Таежный омут! — Нина быстрыми движениями поправляла прическу, и в ее торопливом говоре чувствовалось что-то виноватое.

— Я не нахожу здесь ничего объективно мрачного, просто плохо прописанная тайга или даже болото... Не поймешь. Не обижайтесь.— Полушкин отошел в сторону, затем, точно сломавшись в пояснице, как складной нож, сел на траву и вытянул свои длинные ноги в синих рейтузах.

В его словах я уловил еле сдерживаемое раздражение, которое невольно передалось и мне:

— Добросовестное перенесение натуры на холст исполняют теперь фотографы.

— Я не раскрою какого-то секрета, если скажу, что именно за это и не любят многих наших художников,— Полушкин, словно от усталости, слегка прикрывал глаза и размеренно играл веткой жимолости.— То есть за то, что вы уклоняетесь от добросовестного перенесения натуры на холст. Вы утратили художественные навыки, верность глаза, твердость руки. Взамен натуры вы изображаете свои углы, да полосы, да пятна... И похожи друг на друга, как поленья из одного чурбака. Работать надо, а не изображать.

— То есть копировать?

— Хотя бы... для начала. Только реалистическое искусство имеет право на существование.

— Реализм не будем трогать. А копирование, даже добросовестное, убивает не только искусство, но и натуру в искусстве.

— Что-то мудрено.

— Нет, просто. Я хорошо понимаю и прощаю художника, который, к примеру, изобразил разъяренного тигра на слишком коротких ногах. Эти короткие, словно приплюснутые ноги живо передают всю тяжесть звериной злобы. Я вижу живого разъяренного тигра и совсем не замечаю умышленно укороченных ног. Но придайте ему нормальные, правильные пропорции — и как бы он ни раскрывал у вас на картинке пасть, я буду видеть просто правильно нарисованного тигра и не почувствую никакого живого ощущения звериной злобы.

— Иными словами, вы стоите за принесение природы

в жертву субъективному нраву художника. Да здравствуют лиловые деревья и долой реализм!

— Опять реализм! Какой реализм вы имеете в виду? «Фауст» Гете — тоже реализм. Хотя там действует сам дьявол. Фауст одет в средневековую мантию, окружен чертовщиной, но реален для меня, потому что глубок, трагичен в поисках истины, бьется над вопросами, которые и я не могу разрешить. Поймите, в наш век, когда люди взорвали атомное ядро и вырвались в космос, скучно смотреть на раскрашенные фотографии. Мы хотим видеть так же глубоко субъективный мир художника, как глубоко заглянули в мир материи. Таинственное своеобразие духа человека не раскроешь лишь живописанием нефтяных вышек да грудастых спортсменок. Нужны новые формы и методы, их надо смело искать.

— Ищите! Но не забывайте, что мы живем в обществе и каждый должен выполнять свой долг, в том числе и художник. И когда он под видом поиска формы уходит от изображения насущных вопросов и задач сегодняшнего дня, то это, мягко выражаясь, называется увиливанием.— Полушкин резко откинул ветку жимолости и поджал, словно втягивая в себя, нижнюю губу.

— Стасик, что ты говоришь? — Нина настороженно смотрела то на Полушкина, то на меня.

— Простите,— холодно произнес в мою сторону Полушкин.— Я не имел в виду именно вас. Я говорю вообще, безотносительно.

— А я и не обижаюсь,— сказал я, как мог, сдержанно.— Я просто хочу вас спросить: почему вы занимаетесь каким-то Бохайским царством, а не насущными вопросами сегодняшнего дня?

— Я ученый. Для науки прошлое существует только в интересах сегодняшнего дня.

— Вот оно что! Значит, вы, ученые, работаете в интересах сегодняшнего дня, а мы — нет?

— Вам виднее, как вы работаете и в чьих интересах. Но если общество выражает вам порой свою неудовлетворенность, то, наверное, не без причины. Дыма без огня не бывает.— Полушкин встал и обратился к Нине: — Ты идешь домой?

Резкий переход от спора к такому категорическому вопросу, видно, застал ее врасплох. Она как-то встрепе-

нулась, недоуменно посмотрела на Полушкина, словно не понимая, что от нее хотят, и наконец произнесла:

— Да, да... Конечно. Извините, мы, кажется, помешали вам,— сказала она мне, глядя куда-то в сторону и подавая руку.

Рука ее была прямая и холодная.

— Заходите, пожалуйста,— тихо, все так же не глядя на меня, пригласила она на прощание и пошла торопливо впереди Полушкина.

Я долго еще, до самых сумерек, просидел на берегу и рассеянно бросал в темную бегучую воду земляные комья.

V

Как-то под вечер Ольгин сказал мне:

— Ступай, пригласи ученых-то; я нынче казан настрою, на ночь рыбу поедем лучить. Так ей и передай, что, мол, Иван Николаевич постарался для науки. Да и ты закис что-то. Может, на пользу пойдет прогулочка.— И он лукаво усмехнулся.

Я действительно в последние дни места себе не находил, ничего не делал — все из рук валилось и спал скверно.

Разумеется, предложение Ольгина очень обрадовало меня. А что, если она не поедет? Черт возьми, кажется, я начал беспричинно волноваться. Я быстро надел резиновые сапоги, накинул репсовую курточку и, на ходу затягивая всяческие молнии, направился к Полушкиным. Нина встретила меня возле калитки палисадника. Опираясь на жердевую изгородь, она о чем-то беседовала с хозяйкой дома, приземистой, крепко сбитой удэгейкой, с круглым миловидным лицом.

— Вы что, опять на охоту? — спросила Нина вместо приветствия.

— О нет!

— А куда же так вырядились?

— Видите — у меня нет накомарника, значит — на реку. И знаете зачем?

Мое загадочное возбуждение передалось и ей, она выжидательно улыбалась.

— За вами,— я комически расшаркался и торжественно передал ей приглашение.— Начальник экспедиции Ольгин Иван Николаевич желает видеть ваши ученые сиятельства на борту своего корвета с наступлением

темноты. Цель экспедиции — охота с острогой на тайменей. Форма одежды — походная.

— Ой, как это хорошо! — воскликнула Нина и ударила в ладоши.— Я сейчас быстро переоденусь. Идемте.— Она схватила меня за руку и потянула в избу. На пороге она налетела на выходящего Тыхея.

— Чего ты скачешь? Может, кабаргой захотела стать — тогда беги в тайгу,— добродушно ворчал Кялундзига.

— Ой, Тыхей Батович, извините! Я на лучение рыбы собираюсь.

— Может, боишься опоздать? Не бойся, на моем бате поедем.

— Значит, и вы с нами? Какой вы чудесный, Тыхей Батович! — И она чуть не поцеловала его. Затем опрометью бросилась в избу, увлекая меня за собой.

Здесь в передней половине избы за столом, перед тарелкой огурцов сидел Полушкин. На нем была голубенькая майка.

— Стасик, одевайся! Нас приглашают рыбу лучить...

— Ты уже согласилась? — сухо спросил Полушкин.

Она шла в другую комнату и остановилась в дверях словно вкопанная.

— Да,— взгляд ее был настороженным и просительным.

Он обернулся ко мне.

— Спасибо за приглашение, но воспользоваться им, к сожалению, не сможем.— Полушкин строго посмотрел на Нину и добавил: — Я, по крайней мере...

Наступило неловкое молчание. Это был слишком резкий вызов, брошенный Нине, да еще в моем присутствии. С минуту она колебалась, но, видимо, самолюбие взяло верх над покорностью и условным приличием. А может быть, заговорили иные чувства...

— А я уже согласилась и не вижу основания отказываться.— Она четко выделила последнее слово и как-то вызывающе гордо вскинула голову.

И вдруг Полушкин сконфузился и уставился в тарелку с огурцами.

— Ну, как знаешь,— растерянно проговорил он.

Лицо его мгновенно изменилось: выражение иронического превосходства и напускной строгости исчезло, словно стертое намыленной мочалкой.

В этой упавшей на лоб челке жидких белесых волос, в этом обиженном мигании больших светлых ресниц и во

всем его облике появилось что-то беззащитное, детское. На какое-то мгновение мне стало жаль его. Я молча вышел.

Через полчаса мы с Ниной были на песчаной косе, где нас уже поджидали Ольгин с Тыхеем в длинном черном бате, похожем в сумерках на фантастическую рыбину. Вся носовая часть бата была завалена «смолянкой», то есть кедровыми смолистыми чурками. На самом носу, там, где днище переходит в лопатообразный выступ, высоко водружен казан с проволочной плетенкой, в которой были уложены кедровые чурки. На дне лежали длинные, почти во весь бат, три остроги, похожие на изящные вилы с заусенками. Мы разобрали шесты и двинулись вверх по Бурлиту.

Долго поднимались мы, обходя заломы и перекатные мели; и чем дальше уходили, тем все тревожнее и глуше шумела река, плотнее и таинственнее становилась темень и мрачно вырастали, надвигались на нас берега. Порой казалось, что мы плывем не по таежной реке, а по глубокому горному ущелью, где не видать ни зги, и только бронзовый отсвет зари, гаснувшей где-то за дальней сопкой, похожей на огромную юрту, служил для нас единственным ориентиром. Этот окружавший со всех сторон таинственный мрак будто усиливал во мне какое-то тревожное ликование. Я чувствовал в себе такую силу, что, казалось, шестом способен был оттолкнуться на самое небо, туда, за островерхую черную сопку. Обычно неустойчивый на бату, я теперь стоял как врытый; ноги мои обрели необыкновенную уверенность, отяжелели, словно чугуном налились. И здесь, возле моих ног, сидела она, притихшая, такая близкая и влекущая.

Но вот Ольгин зажег казан: бойкое пляшущее пламя потянулось кверху, раздалось и защелкало во все стороны раскаленными угольками. В красноватом неровном свете появились берега, на них — первые ряды елей и кедров, кусты черемух, свесившие над самой водой необыкновенно зеленую, светящуюся листву. Со всех сторон потянулась на свет мошкара, она густо замельтешила над нами и, смешиваясь с гаснущими искрами, летящими от казана, живо напоминала веселую пляску снежинок. А где-то в вышине суетливо запищали невидимые летучие мыши, потом пролетел самолет, наполняя небо таким неуместным гулом.

— Клади шесты! — скомандовал Ольгин.

Он пустил бат на стремнину, выровнял его, и мы пошли теперь по течению.

— Начнем, пожалуй.— Ольгин взял острогу, сильно тряхнул тонким шестом и утвердительно закончил: — С господцем.

Тыхей со второй острогой ушел в корму, а я остался с Ниной на середине бата.

До дна пробиваемая сильным светом речная вода текла сизыми дымными струями. В этих извивах, выделяясь темными спинками, застывали хариусы и ленки, и только чуть подрагивающие хвостовые плавники отличали их от донных валежин и продолговатых голышей. Поначалу у меня не ладилось: я бил торопливо, не чувствуя еще рукой нужного смещения,— подводил глаз, и я промахивался.

— Ну, что же вы? Ай-я-яй! — осуждающе восклицала Нина, видя, как, поблескивая боками, уходили от моей остроги хариусы.

— Давненько я в руки не брал шашек,— отшучивался я, стараясь не смотреть на нее, чтобы не выдать своего смущения.

Но вот первый удар встретил упорное податливое тело... Рука радостно дрогнула. Я рванул острогу и сбросил на дно бата трепещущего хариуса. Я ждал от нее восторженного восклицания, похвалы или хотя бы благодарного взгляда. Но Нина, склонившись над хариусом, неожиданно произнесла:

— Бедненький! У него кровь течет...

Воодушевленный удачей, я стал бить азартно, но расчетливо; острога будто сама тянулась к рыбине, как магнитная, и я все чаще выбрасывал в лодку трепыхающихся ленков и хариусов. На мелком пенистом перекате я заметил, как навстречу бату, поднимая над собой волну, шел огромный таймень. У меня мелко задрожали колени. Я впился глазами в его приплюснутую широкогубую пасть и, выждав момент, сильно ударил в толстую темную спину. Мощный рывок остроги чуть не выбросил меня из бата. Я упал на колени, лихорадочно подтянул тайменя и с трудом перекинул его в бат. Это была огромная, пуда на два, рыбина. Она как бешеная запрыгала на днище, готовая ежеминутно выпрыгнуть в воду. Я схватил топор и тремя ударами в голову успокоил ее. Таймень тяжело хватал воздух жабрами, заливая днище кровью.

— Какая жестокость! — произнесла Нина с каким-то внутренним содроганием.— Прекратите эту ловлю... А то я вас возненавижу.

Я удивленно посмотрел на Нину. Она была в сильном волнении.

— Успокойтесь! Что с вами? Что произошло? — Я сел рядом с ней и взял ее за руки.— Если вам не нравится, я прекращаю.

К нам подошел Ольгин.

— Хорошего ты красавца подвалил.— Он приподнял обеими руками тайменя.— Отгулялся, бродяга.

— А вот Нине не нравится, говорит — убийство.

— А этот таймень нешто не убийца? Сколько он за свою жизнь чебаков поел? А теперь и сам попался. Какая же тут несправедливость? Здесь в тайге — полный порядок.

— Не спорю,— ответила Нина.— Но бить топором живое существо — зрелище не из красивых.

— Н-да,— Ольгин положил тайменя.— Вот что, ребята, по-моему, лучение без ухи — не лучение. Я тут прихватил котелок и все необходимое. Давайте-ка свернем на косу и разведем костер.

— Очень хорошо! — радостно воспрянула Нина, которую, как я уже заметил, захватывало всякое новое занятие.

— Тыхей, ухи хочешь? — спросил Ольгин стоявшего в корме Кялундзигу.

— Можно, конечно, такое дело, похлебать.

— Сворачивай на косу!

Мы вытащили бат на первую же песчаную косу, выгрузили кедровые чурки, немного рыбы. У Ольгина, кроме котелка, оказались и складные козелки. Он воткнул их в землю, повесил на них котелок с водой и, быстро вспотрошив трех хариусов, развел костер.

— Ну вот что, ребята,— обратился он к нам с Ниной,— вы тут за ухой следите, а мы с Тыхеем рыбу в протоках малость попугаем.

Он столкнул бат в воду, позвал Тыхея, и они скрылись в темноте.

Первые минуты, оставшись вдвоем у костра, мы растерянно молчали, смущенные неожиданным уединением. Я был слишком возбужден и взволнован: мне нужен был откровенный и поэтому трудный разговор с ней, и я его искал все последние дни.

Здесь на косе было тихо; река, прошумев на дальних перекатах, спокойно и лениво разливалась на песчаной отмели, и только кузнечики обалдело заливались в недалеком лесу, словно воодушевленные тем, что их стрекот больше не заглушается шумом реки, да где-то совсем рядом пронзительно и тоскливо кричал куличок.

Нина смотрела в костер широко раскрытыми глазами, словно хотела увидеть в этом мятущемся пламени то, что тревожило ее.

Я взял ее за руку.

— Расскажите мне что-нибудь о себе.

— А что же вам рассказать?

— Ну расскажите, как учились, как женились,— я неуместно усмехнулся и спросил: — Вы любите мужа? — спросил и почувствовал всю нелепость этого вопроса.

— Я нужна ему.— Она ответила это так просто и с такой убежденностью, что мне стало не по себе.

— Откуда у вас такая уверенность?

— На это одной фразой не ответишь. Мы с ним учились в одном университете, на одном курсе,— отделения разные... Я давно его знаю. Он всегда выделялся на курсе. Ни один диспут без него не проходил. И знаете, за что он пользовался успехом? За самостоятельность суждений... или за броскость фразы, что ли... Он ни одному авторитету не уступит...

— И вас покорила эта неуступчивость?

— Нет, совсем не то.— Она посмотрела на меня с какой-то жалостной, трогательной улыбкой и с минуту раздумывала: говорить ли? — Я его видела совсем с другой стороны,— почему-то мне всегда было немного жаль его. Бывало, Станислав гневно бичует с трибуны какие-нибудь отклонения, а я смотрю на него и вижу, что его надо просто пожалеть. Чувствовала я в нем какую-то внутреннюю болезненность, обостренную нервозность. Это меня и потянуло к нему. А когда мы познакомились ближе, я узнала, что он много страдал. Правда, в детстве жил хорошо... Потом потерял отца. Не привыкли они к скупой и размеренной жизни, ну и бедствовали. И Станислав ожесточился. Дальше — больше... Сказать по правде, мне надоело выслушивать его постоянные нападки: в городе скверно, потому что пыль, духота, грохот; в тайге тоже скверно, потому что глушь, скука, комары. С Ольгиным разговаривать не стал — чурбан; вас он презирает за то, что вы чепуху рисуете. Да что там говорить!..

Нет у него, кроме меня, никого на свете. Он ко мне очень привязался, полюбил. И теперь я просто необходима ему. Я даже не представляю, как он смог бы остаться без меня.

— Но вы не ответили на мой вопрос: любите ли вы его? — Я понимал, что это прямолинейно, грубо, эгоистично, наконец, но продолжал смотреть на нее в ожидании ответа.

Она отвела взгляд и, задумчиво глядя в костер, тихо ответила:

— Раньше мне казалось, что да, а теперь я не знаю...

— Нина! Я... полюбил вас. Извините, я не могу больше молчать. Я совсем измучился: не работаю, не сплю и постоянно торчу у вас перед глазами. Но что же делать? Что? Скажите мне, научите?! — Я положил голову ей на колени и стал целовать ее руки, холодные, пахнущие рекой.

— Я тоже вас полюбила... Я это предчувствовала. А потом все поняла там, на поляне, во время спора. Вы говорили будто мои слова, мои мысли... Вы так близки мне по душе, так понятны... и жизнь ваша... Вы — сильный и весь такой простой и мудрый, как этот лес и эта река... Рядом с вами словно свежеешь и хочется какого-то большого чувства, настоящего дела... Да, полюбила. Мне радостно и тяжело... Я знаю, что-то решать надо. Но дайте мне подумать, собраться с мыслями.— Она тихо поцеловала меня в голову.

Я поднялся и обнял ее за плечи; она с трудом отвела мои руки и, пристально, мучительно глядя мне в лицо, сказала:

— Вот что — едем завтра на пасеку... И все решим.

«Едем на пасеку!.. Все решим! Все!» Я ликовал. Эти две фразы проносились в моем уме тысячи раз, и уж ни остаток ночи, ни утром я не мог и глаз сомкнуть.

VI

На следующий день, как и было условлено, я пришел к Полушкиным пополудни. На берегу протоки, напротив избы Кялундзиги, лежал уже знакомый мне бат, приготовленный для поездки. Нина встретила меня подчеркнуто приветливо и сказала в присутствии Полушкина с явной насмешкой:

— А знаете, Стасик тоже с нами едет. Решил прогуляться. Засиделся!

Полушкин пропустил иронию и любезно резюмировал:

— Да, тем более в такой приятной компании.

Сначала мне было крайне неловко и стыдно перед ним, и я старался не смотреть на него.

Я чувствовал, что между ними произошел неприятный разговор, что Полушкин крайне раздражен и что быть буре.

Он столкнул бат, подал Нине руку и заботливо усадил ее. Все это он делал с вызывающе подчеркнутой внимательностью. В дороге он был необыкновенно любезен со мной, и эта нарочитость постепенно сказывалась: я перестал испытывать неловкость перед ним, и потом начал злиться. «Чего он тянет? — думал я. — Если все знает, так пусть хоть негодует, что ли... Хоть бы выругался... оскорбил! И то уж лучше — определеннее. Или трусит? Чего? Не стану же я с ним драться».

Удэгейская пасека располагалась в тайге, километрах и пяти вниз по Бурлиту. Плыть по течению было легко и приятно. Тугой прохладный ветерок с миндально-горьковатым запахом черемухи и жимолости резво гулял над рекой, сбивал рыхлые пенные шапки с темных водоворотов и оставлял на губах мелкие тающие брызги. Солнце светило мощно и радостно; игриво, нарядно поблескивала река перекатными гривами, а над ней, уходя в самое поднебесье по дальним синеющим отрогам сопок, ровно тянул свою шумную баюкающую песню нескончаемый лес.

Минут через сорок мы свернули в широкую протоку и подошли к подножью сопки Сангели, только с другой стороны от того склона, где когда-то тушили пожар. Здесь перед сопкой образовался довольно широкий залив с необыкновенно сочными и густыми зарослями кувшинки и водяного лютика вдоль берегов. Замшелая сопка возвышалась перед нами отвесно, как стена. Откуда-то с высоты, по острым гранитным перепадам сыпались чистые водяные струи. Это — вечный источник, по удэгейскому преданию, слезы невесты охотника Сангели, погибшего там, на вершине.

— Я никогда не пробовал на вкус девичьи слезы, — мрачно сострил Полушкин. — Давайте подвернем!

— Вода очень холодная, тебе нельзя пить, — предупредила его Нина.

— Мне теперь все можно.— Он вызывающе посмотрел на нее.

— Ну, как знаешь.— Она не уклонилась и твердо встретила его взгляд.

Я ухватился за бурую корявую веточку карликовой березы, вцепившейся корнями в гранитную глыбину, и подтянул бат к самой скале. Затем мы стали ловить губами тоненькие, сверкающие, как ожерелье из горного хрусталя, водяные струи. Они были холодными до ломоты в зубах и чуть солоноватыми.

Утираясь полой распашной клетчатой рубашки, Полушкин сказал:

— Оказывается, чужие слезы-то ничего... даже приятственны.— Он с деланной веселостью посмотрел на меня.

— А вы до сих пор не интересовались чужими слезами? — спросил я, задетый за живое.

— Нет, отчего же? Я их изучал по картинам наших художников.

— После чего решили заняться археологией на английском языке?

— Чтобы установить: насколько ваше искусство стоит ближе к жизни, чем археология.

— Будьте добры, разберите весла! — Нина подала мне и Полушкину по веслу.— Не до ночи же нам стоять под скалой.— И приказала: — Гребите и прекращайте спорить.

Мы налегли на весла, стараясь перегрести друг друга; и я с удивлением заметил, что он вынослив и умело работает веслом.

Впрочем, грести оставалось нам недолго. Мы пристали к более чистому противоположному берегу заливчика и вытянули бат на прибрежную траву.

— А теперь пешком! Здесь недалеко! Пошли! — Нина повела нас по еле заметной в траве тропинке к зарослям.

Широкая лесная поляна предстала перед нами внезапно. Вырвавшись из зарослей кипрея и цепкой аралии, мы очутились перед красноватым бревенчатым омшаником. За ним, на мягкой, свежего салатного цвета луговине вольно раскинулись, как ошкуренные пни, свинцового цвета долбленые ульи. Там, в конце пасеки, полускрытые ветвистым дубом, стояли две избы, чуть поодаль амбарушко на сваях — цзали. Одна изба оказалась жилой, вторая — складом. Перед последней стояла медокачалка.

Толстая полногрудая удэгейка с головой, посаженной прямо на объемистые плечи, размеренно подкручивала ручку медокачалки. Рядом на пне сидела подслеповатая старушка и курила трубочку. Сам пчеловод вместе с мальчиком-подростком вынимал из ульев рамки с медом и подносил их сюда, к бочкам. Это был невысокий плотный мужичок с загоревшим лицом цвета просмоленной лодки, с приветливой, не сходящей с губ, точно приклеенной, улыбкой. Увидев нас, он издали закричал:

— Кто вас пригласил? Медведь, наверно?

— Какой медведь? — спросила Нина, здороваясь.

— Я убил нынче. Большой медведь! Праздник будем делать. Немножко дух медведя задобрить надо. Тебе понимай?

— Конечно! — весело отозвалась Нина.— Выпьем за компанию с медведем.

— А-га-га! — пчеловод утвердительно закивал головой, довольный, что приглашение его принято.

У пчеловода странное имя — Сактыма, в переводе оно значит — Бурый медведь.

— Я, понимаешь, на пасеке. Меня как имя? Медведь одинаково. Второй медведь сюда приходил. Зачем такой порядок? Я стрельнул его, самый сердце попал. Непорядок кончил.— Сактыма, довольный своей шуткой, смеется.

Нина обернулась к нам:

— Располагайтесь здесь, как умеете. Я ухожу с бабушкой в цзали сказки записывать.

Полушкин тотчас же ушел к заливу удить рыбу. Нина скрылась в амбарушке, а я слонялся по пасеке.

До самого вечера мне было не по себе: оставшаяся между нами мучительная неопределенность изматывала меня, я ощущал и душевную и физическую тяжесть, с трудом держался на ногах, точно из меня вынули какой-то опорный стержень, отчего тело обмякло, стало непослушным, а к ногам будто кто привязал по тяжелой гире. И если бы не Сактыма со своей забавной речью, я бы, наверное, лег где-нибудь под кустом и заревел.

VII

К вечеру Сактыма начал готовить пир. Под жердевым навесом, покрытым корьем, на сбитой из глины печурке он поставил огромную жаровню, похожую на противень,

наполненную мелко нарезанным медвежьим мясом. Медвежью голову он выварил в котле, потом тщательно очистил череп и понес его на «медвежье» дерево. Шагах в двадцати от избы стояла береза, на ее ветвях красовалось уже десятка два таких черепов. Последний, еще теплый, череп Сактыма надежно укрепил в развилке ветвей.

— Падай не будет.

— Зачем вы это делаете?

— Бросай нельзя,— строго сказал Сактыма.— Раньше наши люди так говорили: убьешь медведя, потом дух его ходил там, тут и мешает охотиться. Надо, чтобы дух туда ходил,— он указал на деревья.

— Сактыма, ведь вы же на курсах учились, пчеловодом стали,— пытался я укорять его.— Неужели вы еще духам верите?

— Что ж, понимаешь, такое дело на курсах учить не умеют,— дипломатично ответил удэгеец.

— Значит, верите духам? — настаивал я.

— Верить — не верим, но так раньше делали наши люди.

В сумерках явился с двумя чебаками Полушкин, а чуть позже — Нина.

— Устала — косточки затекли. Купаться хочу,— сказала, поводя плечами.

— Возьмите меня за компанию,— предложил я.

— Я тоже не против,— отозвался Полушкин.

Нина посмотрела на него, чуть сощурившись, и произнесла с вызовом:

— Пошли!

Она сорвалась с места как угорелая, и только сарафан ее заполоскался.

С меня как рукой сняло всю апатию; я бросился за ней и слышал, как стучит за моей спиной Полушкин. Мы поскидали рубашки и брюки буквально на ходу, и оба, как по команде, бросились за ней в воду. Вода оказалась обжигающей: здесь в заливчике били родники, и даже теплый день не смог нагреть эту воду.

Нина с двух метров повернула к берегу и крикнула нам:

— Назад! Холодно!..

— Ничего!

Я был в каком-то упоении и не брассом плыл, а, казалось, летел ласточкой. Вдруг сбоку я услышал сильные удары по воде.

Я оглянулся и увидел сквозь водяную пелену плывущего Полушкина. Он так усердно работал руками и ногами, что вокруг него шумели настоящие буруны. Я усилил темп; от стремительных гребков я сильно выпрыгивал над водой. Но частый стук ног неотступно шел где-то сбоку. Тогда я, не доходя до берега, чтобы не дать ему отдохнуть, повернул и пошел обратно. Он также повернул, но вскоре отчаянный стук стал затихать. Наконец Полушкин отстал и вышел на берег, покачиваясь. Лицо его было бледным, без единой кровинки. Нина с любопытством наблюдала за ним, и в глазах ее все еще поблескивал вызов. Мы оделись.

— Ну как, опять бежим? — весело спросила Нина.

— Бежим,— зло ответил Полушкин.

И опять за моей спиной тяжело стучали его каблуки.

Сактыма поставил на стол весь противень медвежатины и огромную глиняную корчагу медовухи. Мы сели вокруг противня здесь же под навесом. Сактыма налил медовуху в большие алюминиевые кружки, и пир начался. Медовуха была прохладная, терпкая, мясо сочное, духовитое.

— Хороший был медведь... Вкусно! — похвалил я.

И сразу на меня полетело со всех сторон:

— Сондо, нельзя! — строго сказал Сактыма.

— Сондо, сондо! — осуждающе покачали головами старуха и хозяйка.

— Что это значит?

— Грешно про медведя говорить,— пряча улыбку в кружку, перевела мне Нина.

— Так нельзя говори,— разъяснил мне Сактыма.— Тебе получается — радуйся немножко. Дух медведя ходи тут, там, слушай — нехорошо! Обидится. Охотиться мешать будет.

— Тогда выпьем за здоровье духа!

— За дух можно,— согласился Сактыма.

Нина залилась неожиданно громким смехом. Полушкин вздрогнул и опасливо покосился на нее.

Сактыма налил еще по кружке, мы выпили залпом. На щеках Полушкина выступил крупными резкими пятнами румянец. Он потянулся к лежащему на столе кисету с табаком.

— Кури тебе,— одобрительно заметил Сактыма, подвигая кисет.

Полушкин начал скручивать цигарку, и было заметно, как мелко дрожали его руки.

Я видел, как Нина пристально смотрела на его пальцы, но в ее взгляде не промелькнуло и тени жалости; наоборот, выражение лица ее было подзадоривающим и как бы говорило: «Ну-ка, ну-ка, покажи, на что ты еще способен...» Мы встретились с ней взглядами и в одно мгновение поняли, что следим за ним, как заговорщики. И я удивился тому, что это нисколько не смущало нас; мне вдруг захотелось обнять ее, поднять, как ребенка, на руки и закружить, заласкать... Кажется, я тяжело и сильно вздохнул и спросил:

— Может быть, еще выпьем?

— Сактыма, налей еще! — крикнула она с какой-то отчаянной веселостью.

Сактыма начал наливать в кружки, но хозяйка со старухой отказались и вышли из-за стола. Мы остались вчетвером. Пламя, освещавшее навес, сникло, и теперь из открытого печного жерла вымахивал неровный тревожный свет, и по жердевому настилу, по столу, по нашим лицам плясали иссиня-багровые пятна... Вся наша застолица с огромным железным противнем, на котором кусками лежало спекшееся мясо, высокая аляповатая глиняная корчага с мутноватой медовухой, жердевой навес над нами, с которого свешивались сохнувшие медвежьи лапы, и, наконец, наши ссутулившиеся темные силуэты, похожие на тени заговорщиков,— все это приобретало какой-то мрачный, первобытный колорит.

После третьей кружки в голове моей зашумело, словно в дубняке на ветру. Полушкин осмелел, стукнул кружкой о противень и громко заговорил:

— Кое-кто, очевидно, раздосадован моим присутствием. Ну как же, я неучтив, неделикатен! Я слишком определенен или, как теперь модно выражаться,— критичен. Ну и что ж? Я не привык срезать острые углы, прятаться за чужую спину и уходить в деликатные формы выражения. Таков уж я и в деле и в...— он запнулся, кашлянул и тихо произнес: — и в личной жизни. А потому я и приехал сюда. Сактыма, налей еще этого древнего соку!

— А может, хватит,— сказал я.

Полушкин резко подался ко мне:

— Вы за меня беспокоитесь? Или за нее? — Он кивнул в сторону Нины.

— Сактыма, наливай! — сердито приказала Нина замешкавшемуся удэгейцу.

Сактыма налил. Мы выпили, но Нина не притронулась к своей кружке. Она с вызовом посмотрела на нас и сказала повелительно:

— А теперь и мою.

Я потянулся к ее кружке, но Полушкин с лихорадочной поспешностью перехватил ее, расплескивая:

— Н-нет, это мое по праву. Я не позволю никому, да, да... Твое здоровье, дорогая!

— Подожди! — Я остановил его руку и протянул кружку Сактыме.— Налей!

Удэгеец, ласково улыбаясь, охотно наливал, приговаривая:

— Крепкий напитка, понимаешь: медведь и то пьяным будет.

— А теперь давай выпьем! — Я поднял наполненную кружку и обернулся к Нине: — Ваше здоровье!

Отставив пустую кружку, я скрестил руки на груди и спросил Полушкина:

— Вы что-то намеревались мне сказать?

Он опирался локтями о стол, голова его тяжело клонилась, и видно было, как трудно ему держаться на скамье. Временами он вздрагивал, зябко поводил плечами и наклонял ко мне лоб, словно хотел бодаться.

— Да, я скажу, все вам скажу... Некоторые реалисты любят рассуждать об этом самом,— он тяжело выговаривал слова,— об обязательности... О подчинении законам искусства своеволия художника. Гм, своеволия! Как выражаться-то умеют. А что коснется в жизни — так им подай лакомый кусок... То есть мы имеем дело с обыкновенными эгоистами, которые за разговорами о строгости и обязательности искусства прячут свое фарисейское нутро. Это я о вас говорю... Вы не догадываетесь?

— Что!..— Я встал из-за стола, готовый броситься на Полушкина.

Но меня опередила Нина. С чувством открытой неприязни она сказала насмешливо Полушкину:

— Мой друг, ты даже оскорбления произносишь, не меняя тона,— скрипишь, как надломленная осина.

Лицо его болезненно дернулось, словно от тока. Он жалобно и как-то беспомощно посмотрел на Нину и горько произнес:

— Анна стала замечать, что у Каренина длинные уши...

Затем уронил голову на стол и зарыдал.

— Крепкий напитка,— радостно улыбался Сактыма.— Смотри, чего делает. Хорошо!

Мне неловко было оставаться здесь, я вышел из-под навеса.

Через минуту Сактыма и Нина поволокли Полушкина к омшанику.

— Тебе ходи спать в цзали! — крикнул мне Сактыма.

Но мне было совсем не до сна. На мои крайне возбужденные бессонными ночами и последним напряженным днем нервы даже выпитое не подействовало. Сознание работало четко и лихорадочно, шумно колотилось сердце и сильно било в виски. Я раза два прошел мимо омшаника, прислушиваясь к приглушенному разговору и не решаясь войти туда. Наконец прошмыгнула из дверей тень Сактымы, и долго еще он покачивался от улья к улью на освещенной луной поляне. И вот вышла Нина. Увидев меня, она коротко и глухо сказала:

— Спит,— потом вздохнула.— Он прав: какие мы эгоисты! Как все скверно получилось.

А еще через минуту, прижимаясь ко мне горячим и сильным телом, она шептала:

— Все равно кончать надо... Боже мой, как я вас люблю!

Она стояла передо мной, запрокинув голову, и лицо ее, освещенное луной, было по-русалочьи зеленовато-бледным.

— Ты ему призналась?

— Он все и сам понял, потому и поехал... Хотел поговорить с вами как мужчина с мужчиной.

— И поговорил...

— Теперь мне уже все равно. Я с тобой...

— Навсегда?

— Навсегда!

Крепко обнявшись, мы ушли на берег заливчика. Там в торжественном лунном свете стояли молчаливые деревья, и тени их ветвей и листьев лежали на светящейся поверхности залива, точно тонкий рисунок чернью на серебре. На берегу, так и не разнимая объятий, мы сели на траву возле бата. Нас окружали легкие и таинст-

венные лесные шорохи. Неистово свиристели кузнечики, словно опьяненные нашей радостью. И только далекое уханье да неясное бормотание филина раздавалось зловеще, как дурное предсказание. Но мы тогда не хотели и не могли считаться ни с какими предсказаниями...

Расстались мы с ней на рассвете, с клятвенным заверением встретиться днем и уехать отсюда вместе. Она пошла на пасеку, а я в Усингу пешком. В лесу было свежо от росы и пахло сыростью, как в погребе. Я долго не мог установить — взошло ли солнце; здесь у корней внушительных и недвижных лесных исполинов стоял полумрак; густые ветви подлеска заслоняли от меня далекие вершины, на которых радостно заливались дрозды. Где-то призывно, жалобно посвистывала иволга, словно заблудившаяся.

Тропинка часто ныряла в густую высокую траву и была хорошо заметна лишь после того, как я проходил по ней, оставляя сочно-зеленую полоску на блеклой росе. Я думал только о ней, о том, как мы уедем, поселимся где-нибудь на Амуре и будем жить, жить... «Ну, что ж, пора костям на место... пора!» — твердил я про себя. Замечтавшись, я сбился с тропинки и проплутал несколько часов. Солнце было уже высоко, когда вышел я к домику лесничего. На крыльце сидел в своем малахае дед Николай.

— Где тебя носило? — спросил он вместо приветствия.— Весь вымок да ободрался.

— Просто прогуливался. А где хозяин?

— В лес отправился по делам.

Я прошел в избу, не раздеваясь лег на шкуры и тотчас заснул тяжелым сном.

VIII

Мне снился сон: будто я ночью лежу на пасеке в цзали. Дверь амбарушки раскрыта. И вдруг в дверном проеме появляется медведь. Я не вижу его головы — только лапы, полусодранные, что висели там над столом. И вот медведь хватает меня за плечи и говорит голосом Полушкина:

— Это ты украл мою голову? Куда ты ее дел? Говори!

Я хочу ответить, что голова его висит на березе и что вовсе не я ее туда повесил. Хочу и не могу, словно язык у меня отнялся. А медведь все сильнее и сильнее встряхивает меня за плечи. Я в ужасе просыпаюсь и вижу склонившегося надо мной Ольгина.

— Эко ты спать-то горазд! Так ведь проспишь все царство небесное.

Я вскочил на ноги:

— А что? Разве я долго спал?

— Да уж вечер на дворе.

— Вечер? Не может быть! Что ж вы меня раньше не разбудили?

— Да ведь я сам только пришел.

— Неужели меня никто не спрашивал? Не приходила ко мне Нина?

— Уехала твоя Нина.

— Как — уехала? — спросил я, холодея.

— Говорят, на самолете улетели. Пока ты спал, тут все село всполошилось. Сактыма чуть свет привез с пасеки этого ученого еле живого. Фельдшер поставил градусник ему — температура за сорок. Говорят, какое-то крупозное воспаление у него. Жена-то волосы на себе рвала. Самолет вызвали... И вот улетели.

— Да как же так улетела? Мы же с ней договорились,— растерянно бормотал я.

— Видать, не договорились. Не удержал, чего уж тут! — сердито оборвал меня Ольгин.— Да и она, видать, опамятовалась. А ведь страдала по тебе, сам замечал. Ан не ушла от больного-то, к нему потянуло. Материнское, должно быть, в ней заговорило... А все же таки это непорядок! — хлопнул он себя по коленке...— Такая душевная баба, настоящая — кровь с молоком! И живет, прости господи, с каким-то скрипучим трескуном. Он и на людей-то не смотрит, все глаза в сторону воротит. У-уче-ный!..

— Побегу к Тыхею,— сказал я, не слушая Ольгина.— Может, она хоть что-нибудь оставила для меня.

— Беги, беги...

Я опрометью бросился к избе Кялундзиги. Тыхей встретил меня возле того сруба, на чердаке которого они располагались. Только теперь лестница валялась у ограды, а чердак слепо смотрел черным открытым проемом, из которого торчал взъерошенный клок сена.

Тыхей подал запечатанный конверт:

— Просили передать...

Я нетерпеливо, с сильно бьющимся сердцем порвал конверт, и прочел короткую записку:

«В его болезни виновата я... Это было безумие!

Нельзя добиваться счастья ценой жизни человека.

Мне так тяжело... Надеюсь, что вы поймете меня и простите это бегство. Пожалуйста, не ищите нас и забудьте меня.

Прощайте!..

Н.»

В тот же вечер я нанял батчика и уехал из Усинги.

1956

ИНГАНИ

Нас было трое на пробковом плоту: плотогонщик Сусан Суляндзига, щуплый удэгеец лет сорока с морщинистым коричневым лицом, похожим на маньчжурский орех, его подручный Илья Канчуга, молодой парень, недавно демобилизованный из армии, и я. Сусан перегонял плоты до железнодорожной станции километров за сто, Илья ехал в город искать работы, а я — до первого таежного села Олонга по газетным делам.

Плот был большой, трехсекционный — с носа на корму кричать надо, чтобы услышать. Все мы расположились на корме, где было единственное весло,— изогнутое бревно ильма, закрепленное ломом на па́рном стояке. Когда нужно было «отбивать» плот от берега, Суляндзига брал обеими руками рукоять весла, изгибался всем телом, сипел от натуги, и чуть затесанный конец бревна, отдаленно напоминавший лопасть весла, слабо шлепал по воде. Несмотря на такие героические усилия нашего кормчего, плот заносило на кривунах на мель, и мы, вооружившись шестами, сталкивали его на стремнину.

— Это не страшно, понимаешь,— говорил Сусан.— Вот в завал снесет, тогда беда будет.

И все-таки на новом повороте он, виляя корпусом, шлепал веслом по воде.

— Брось ты, Сусан! — равнодушно произносил Илья Канчуга, лениво развалившийся под тюком пробковой коры.— Все равно снесет.

Илья и Сусан, хотя и принадлежали к одному племени, внешне сильно отличались друг от друга. Сусан, корявый, слегка сутулый, был похож на изогнутый высохший ствол трескуна. На нем трепалась выгоревшая

белесая рубаха, которую он носил без пояса поверх штанов, замызганных, неопределенного цвета и материала, на ногах его — легкие бурые улы, подвязанные ремешками. Штаны он по непонятным соображениям засучил, обнажив на голенях сухую чешуйчатую кожу. Канчуга же, щеголевато одетый в новенькую военную форму, в маленьких хромовых сапожках, был строен, подтянут и недурен лицом. У него низкий, аккуратный нос и слегка раскосые желудевые глаза. Над чуть припухлыми губами — тоненькие черные усы, которые придавали ему выражение заносчивое и капризное.

Я заметил, что с самого начала, с отплытия из Усинга, они косятся друг на друга и почти не разговаривают.

Мы плывем по таежной извилистой реке Бурлиту. Река неширокая, но быстрая, с холодной слюдяной водой. Берега ее то бурно кудрявятся у самого при́плеска перепутанными ветром и водой тала́ми, то выбрасывают в реку длинные песчаные косы, то сумрачно нависают над темными быстринами приступчатой террасой, на которой внушительно и строго стоят одинокие исполинские кедры, словно часовые, охраняющие покой тайги. Солнце давно уже оторвалось от дальних зубцов горного перевала и, кажется, плавает в синем таежном мареве. С берегов легкий ветерок доносит к нам на плот горьковатый костяничный запах прелой листвы, стрекот кузнечиков и ленивое, загадочное посвистывание ястреба.

Хорошо лежать на плоту всего в трех вершках от прохладной речной воды! Она то шумит сердито на перекатах, обдавая тебя мелкими брызгами, то тихо у самого уха воркует на глубинах, плавно покачивая плот. А ты смотришь в бездонное небо, слушаешь нескончаемый шепот ее, и тебе чудится, будто все остановилось: река, ветер, плот,— нет никакого движения, и ты висишь в этом странном голубом пространстве.

— Эй, на плоту! К берегу давай! — вдруг раздался из тайги женский голос.

Мы все вскочили, как по команде. Из тайги на песчаную косу выходила рослая девушка в пестром сарафане.

Она махала нам руками.

— Инга! Тукса туксани...[1]— проворчал недовольно Сусан и, взяв шест, стал подталкивать корму к берегу.

[1] Заяц тебя породил *(удэг.)*.

Девушка шла к нам по воде, не обращая внимания на всплывший подол сарафана.

Илья молодцевато оправил солдатскую гимнастерку и подал Инге руку. Вода доходила ей до груди. Ухватившись одной рукой за Канчугу, второй — за бортовую жердь, она легко вспрыгнула на плот. Мокрый сарафан облепил ее тонкую талию и сильно развитые бедра. Вода струями сбегала по загорелым икрам на резиновые тапочки. Она радостно смотрела на Илью, словно не замечая нас. Ее густые черные волосы были грубые и волнистые, как конская грива. Они сплошь покрывали ее плечи, спадали на спину угловатой шалью. Ножницы, видно, давно уже не касались их, и от этого они нисколько не проигрывали. Эти волосы нельзя было забыть, увидев однажды: они змеились, как живые, в них чувствовалась скрытая упругая сила.

Илья тряс ее мокрые руки и говорил:

— Значит, со мной? Вот хорошо!

— Чего встали? Долго не виделись, что ли? — прикрикнул на них Сусан по-удэгейски.— Грести мне мешаете.

— Не шуми, все равно по-твоему не будет,— ответил ему Илья, отводя Ингу.

— А ты ею не распоряжайся, она не твоя. Чего облапил? — не унимался Сусан.

Но вместо ответа Илья обнял Ингу за талию и повел к тюкам.

— Ингани! — строго крикнул Сусан.— Ты не думай о городе! На первом кривуне высажу.

Инга резко обернулась, ее щелевидные глаза с припухшими веками остро заблестели.

— Ты, дядя, мной не командуй,— тихо, но внятно сказала она по-русски.— Я уж сама как-нибудь решу — не маленькая.

Инга с Ильей сели за штабелем. Пробковый плот, в отличие от бревенчатого, вяжется из спрессованных тюков коры бархатного дерева. Его большая подъемная сила позволяет перевозить часть тюков навалом на плоту в штабелях. Вот за одним из них и уселись Инга с Ильей. А Сусан плюнул в сердцах в воду, опустился возле весла и, нахохлившись, как филин, стал набивать бронзовую трубочку из расшитого мелкими бусинками кисета.

Я догадывался, что между моими спутниками до отъезда произошел какой-то разговор, который сильно

волновал Ингани и особенно Сусана. Мне хотелось заслужить доверие рассерженного Суляндзиги, и я встал к кормовому веслу.

Река часто петляла по каменистому руслу, то бурунами вскипая на перекатах, то разбиваясь в завалах с ревом и грохотом на десятки пенистых потоков, то растекаясь по тихим укромным лесным протокам, где среди кувшинок и водного лютика, среди нависших по берегам ильмов, ивняка и черемухи дремлет чуткая лесная свежесть.

На кривунах я с силой налегал на примитивное весло, отбивая корму от мелей. Стояк, крепивший весло, шатался и жалобно скрипел.

— Ай, сколько силы! — восторгался Сусан, глядя на меня.— Пудов пять будет.

Иногда Сусан хватал шест и бежал на нос отталкивать головную секцию. Тогда плот извивался на кривизне русла, как живой.

— Чего тебе, гребешь без конца, садись покурим,— пригласил меня Суляндзига.— Тебе кору бархата надо заготовлять... охотиться — силы много.

— Разве у вас своих охотников не хватает?

— Старых хватает, молодых мало...

Сусан долго раскуривал свою трубочку, часто причмокивая и сплевывая в воду. Его маленькое безбровое лицо оставалось почти бесстрастным, и только слабая усмешка, глубоко запрятанная в морщины возле губ, придавала ему оттенок некоторого лукавства.

— Много детей удэ растет — мало в тайге остается,— произнес наконец Суляндзига, попыхивая трубочкой.

— Отчего же так? Может, здесь жить плохо, невыгодно? — спросил я.

После некоторого молчания Сусан ответил:

— Зачем невыгодно? Наши люди так говорят: тайга делает сытый и зверя и человека. Тайга все дает: шкуры, панты, бархат. Это не выгода, что ли? А кто за зверем ходит? Старики. Кто бархат заготовляет? Старики. Молодые вырастают, в городе учатся, в городе остаются. Как на счетах костями стучать, учат, понимаешь, как соболя ловить — нет. Почему?

— Охота — дело любительское,— ответил я,— такому ремеслу в школе не научишь.

— А зачем в город наши дети идут? Мы их сами научим.

— А если они не хотят быть охотниками? Если они

хотят стать врачами или инженерами? — спросил я.— Тогда что?

— Неправильно хотят,— невозмутимо ответил Сусан.— Наши люди удэ — мало осталось. Дети пойдут в город — кто [redacted] тайге останется? Старики помрут. Где удэ тогда найдешь? Не будет удэ, все потеряются.

Я понимал, что он живет тревогой за свой древний люд. По городам и селам нашей необъятной страны разъезжаются дети этого маленького народа. И грустит и сердится старый Сусан! Затеряются они [redacted] огромных каменных кварталах городов... где тогда найдешь удэ?

Несколько минут убеждал я Сусана: я говорил ему о том, что удэ, как и все прочие, должны учиться, кто где захочет, что никуда они не потеряются, что в городах удэ живут и работают так же, как [redacted] все остальные, если только у человека есть профессия [redacted] если он не идет в город за легкой жизнью... Сусан терпеливо и смиренно выслушал мои пространные рассуждения и невозмутимо продолжал твердить свое:

— Неправильно делают. Наши удэ много человек институт окончили, Где они теперь? Кто знает. Я не пустил Ингани в город. Семь классов окончила дома — тоже хорошо. Охотник хороший будет, грамотный. Я сам школу окончил, когда мне тридцать лет было. Все пойдем в город — кто охотиться будет? Без охотников тоже нельзя. Откуда посылать их, из города, что ли? Зачем так делать?

— А что, Инга хорошо охотится?

— О-о, хорошо! — закивал он головой.— Одну зиму сто тридцать белок убила. Она точно бьет, понимаешь.

— Кем же она вам доводится, племянницей, что ли?

— Да. Отец на войне погибал, мать умерла.

— Что ж она в город решила уехать?

— Я не знай,— сердито ответил Сулядзига и умолк.

Он опять вынул свой расшитый кисет, долго заново набивал трубочку, кряхтел и наконец заговорил сам с собой:

— Плохой парень Илья... Из армии пришел — ничего делать не хочет. Месяц живет на реке. Работа у нас нехорошая? В город захотел. Чего умеет делать? Кости на счетах туда-сюда бросать... Разве это мужская работа! Стыдно! Инга молодая, глупая... Куда за ним идет?

Вдруг под плотом раздался слабый скрежет пробковой коры о камень, ходуном заходили связанные тюки, и я почувствовал, как что-то словно поднимает нас из воды.

— Эй, шесты бери! — крикнул Сусан и бросился бежать по плоту, легко перепрыгивая через прогалы между секциями.

За разговорами мы не заметили, как нас вынесло на кривуне на галечную отмель. Плот, охватив косу, прочно прилип ко дну. Канчуга и Инга тоже взялись за шесты.

— Навались! — кричал Илья.— Р-раз, два, дружно!

Мы уперлись шестами в берег [redacted] навалились изо всей силы. Только Инга стояла, опустив в воду шест, и смотрела, как плот медленно сползал, оставляя взбученную, быстро уносимую течением полосу.

— Что же ты не отталкиваешь плот? — спросил ее Илья.

— Мое время не подошло, подождите... может, пожалеете.— Она загадочно подмигнула Илье и недобро усмехнулась.

На этот раз они уселись за ближним штабелем и заговорили так громко, что до меня отчетливо долетало каждое слово.

— Последний раз тебя прошу — одумайся,— говорила Инга, и в ее голосе вместе с просьбой слышалось отчаяние.

— Ах ты, чудной человек! Как же ты не можешь понять, что мне [redacted] этом селе делать нечего? И потом, скукота... А я — человек, привык к обхождению: [redacted] краевом городе служил, на центральных складах МВД. Это не просто армия, а министерство: там не маршировать — головой работать надо! Одного кино — каждый день по картине ставили для нас. А по субботам духовой оркестр играет... А здесь что? Изюбры одни трубят.— Илья говорил ровно, неторопливо, словно перебирал не слова, а диковинные камни и сам удивлялся: «Ишь ты какие!»

— У нас тоже кино бывает,— угрюмо сказала Инга.

— Ха! Звук хриплый, экран с носовой платок. Да ведь дело не [redacted] кино. Что я здесь буду делать? Не пробковую же кору драть?!

— Счетоводом в артель пойдешь,— убеждала глухо Инга.

— В помощники к Семенову, что ли?

— Да, к дяде Васе.

— Он моих способностей не поймет — человек он старый, слепой.

— Он зимой на медведя ходит...

— Вот в медведях он разбирается, а в дебете нисколько. Да у него всего-то на счету тысяч пятнадцать, наверно.

— На отчетном собрании он говорил — триста тысяч.

— Мало ли что говорил он! — протянул Канчуга.— Да хоть бы и было, все равно продукт не тот: шкуры да панты. Скукота!

— А ты бы попросился,— не унималась Инга.

— Да я и просился, должности счетовода нет в артели — только один бухгалтер.

Инга тяжело вздохнула и умолкла.

— А ты не горюй,— начал уговаривать ее Илья.— Вот приедем в город — я поступлю заведующим складом... Будем ходить в парк на танцы. На пляже тоже хорошо... народу много.

— Никуда я не поеду, и ты не поедешь... В артели работать будем,— оборвала его Инга.

— Кабанов вонючих стрелять? Я?! — Илья захохотал заливчатым едким смехом.

— Ты обманул меня, обманул...— прерывисто начала Инга и вдруг зарыдала.— Мы с тобой были, как жених и невеста. Люди знают... Что мне теперь делать?

— Поедем со мной, поженимся. Что плакать? — равнодушно сказал Илья.

— Куда? Куда поедем-то? В город на камнях спать? Пыль глотать? Чего я там делать буду? Полы мыть? А ты кому нужен? Так для тебя и берегут склад! Дядя Вася в помощники и то не взял тебя... Думаешь, я не знаю, что он сказал тебе? Ты, говорит, таблицу умножения выучи, счетовод! Кто ж тебя заведующим поставит? — Инга выговаривала последние слова с гневом и болью.

Это обозлило Канчугу.

— Ну вот что, понимаешь! Ты мне грубую мораль не читай. Хочешь — уходи! Я плот подгоню к берегу,— предложил Илья.

— Ты меня не любишь? — глухо спросила Инга.

— Зачем такой глупый вопрос? Любовь, когда все понятно...

Инга молча встала и пошла прочь на носовую секцию плота, где сидел Сусан.

Мы подплывали к подножью обрывистой сопки. Огромная отвесная скала проглотила солнце, и ее зубчатая в гольцах вершина засветилась, точно бронзовая... Мы

сразу будто окунулись в родниковую прохладу. Здесь, под скалой, все стало как-то тише, наполнилось таинственной строгостью. Не слышно было ни шелеста ветвей, ни стрекота кузнечиков, доносившегося ранее с берега; даже река умолкла, затаилась под скалой, словно боясь нарушить эту торжественную тишину. Лишь одинокая ворона, летевшая над нашим плотом вровень с вершиной скалы, глупо каркнула, и неожиданно гулкое эхо ударилось об уступы, поросшие мелким березняком.

Канчуга встал, заложил пальцы в рот и свистнул — в воздухе долго носился, постепенно угасая, тонкий режущий звук. Инга, сидевшая возле самой воды, даже не шелохнулась. Она свернулась в клубочек и казалась теперь совсем маленькой, ее змеистые волосы доставали до плота. Глядя на ее сгорбленную фигурку, я почти физически ощущал тяжесть горя, неожиданно навалившегося на нее. Мне хотелось помочь ей, но я понимал, что мои советы и даже разговоры с ней в эту минуту были совершенно неуместны.

Сразу за скалою река делала резкий поворот. Выплывая на быстрину, мы уже видели седые буруны пенистого переката, а там, дальше, огромный завал, из которого, словно черные кости, торчали во все стороны обломанные стволы деревьев. До нас доносился глухой угрожающий гул.

— Бери шесты! — крикнул Сусан.

Мы бросились к шестам. Инга подошла ко мне и сказала решительно:

— Идите на среднюю секцию к Канчуге. Я встану на корме. Я умею.— Она опустила шест в воду и отвернулась.

Делать нечего. Я уступил ей место у кормового весла и подошел к Канчуге. Мы встали с шестами наперевес метрах в десяти друг от друга и приготовились к схватке с рекой. Головная секция уже выходила на перекат, и Суляндзига, прыгая в засученных штанах, как кулик, бегал по плоту, отталкиваясь в нужном направлении. Канчуга стоял спокойно, отталкиваясь изредка, как бы нехотя.

— Перекат не страшно, вот завал... Слушай, как шумит! — говорил он, обращаясь ко мне.

Инга стояла, опершись на весло. В руках у нее шест. Ее щелевидные глаза смотрели поверх нас на завал. Чувствовалось по ее округлившимся широким ноздрям,

по строго сдвинутым бровям, как она ждет его приближения. Перекат прошел, и Сусан закричал во все горло:

— Отбивай к правому берегу!

Мы налегли на шесты, но почему-то плот слушался плохо, корму заносило прямо к завалу.

— Инга! — испуганно крикнул Канчуга.— Куда гребешь? Не к тому берегу!

Я оглянулся на корму и увидел, как Инга сильно взбивает воду веслом, а весь наш плот медленно разворачивается и его тащит течением от спасительного берега.

— Что такое там? — кричал тревожно Сусан.— Шестом толкайте корму!

— Инга, брось весло, говорят! — крикнул Канчуга.

Инга взяла шест и яростно навалилась на него, отталкиваясь не к берегу, а к завалу. Плот выравнивало, и теперь было ясно, что завала нам не миновать.

— Куда ты толкаешь? — орал на Ингу Илья.

— Куда мне надо,— зло ответила Инга.— Поезжай теперь в город!

— Инга! Та! Убью!..— Канчуга с шестом бросился на корму.

Инга подпустила его совсем близко, рассмеялась ему в лицо и с возгласом: «Лови!» — бросилась прямо в водоворот. Мы в ужасе застыли. До завала оставалось всего метров десять — пятнадцать, и казалось, участь пловца решена — сильное течение подхватит и затянет, запутает в корневищах, в сучьях погибших деревьев. В следующее мгновение раздался треск, всплески, уханье, и я еле устоял на ногах. Плот с ходу врезался в завал и застыл.

— Где Инга? Инга-а! — кричал Сусан и бежал к нам.

Инга вынырнула через минуту в стороне за завалом, откинула с лица растрепанные мокрые волосы и резкими размашистыми саженками поплыла к противоположному берегу. Мы молча смотрели, как она добиралась сначала вплавь, потом вброд, наконец вышла на отмель, хотела было выжать мокрый сарафан, но, тряхнув своими длинными, как плети, волосами, побежала в тайгу, оставляя на песчаной отмели глубокие следы. На нас она даже не посмотрела.

Сусан, лукаво улыбаясь, спросил Илью:

— По-твоему все вышло? А?

— Ну и черт с ней! Нужна она мне,— ответил Канчуга и выругался.— Сиди вот теперь тут.

Вода бурлила, клокотала возле плота и ревела

довольным утробным ревом. Крупные шапки пены всплывали из-под пробковых тюков и ошалело крутились в водоворотах. Мы осмотрели плот. Некоторые бортовые тюки были сильно помяты при ударе, в некоторые глубоко впились острые коряги и ломаные бревна.

Сусан молча покуривал трубочку. Илья ругал Ингу:

— Ах ты длинноволосая злючка! До ночи теперь провозимся.

— Ругаться будем — до утра простоим. Надо работать,— сказал Сусан.— По частям надо разбирать и в протоку сводить отдельно.

Он принес пилу и топор, припасенные на случай, и мы взялись за дело. Я обрубал и подпиливал сучья и корневища, вонзившиеся в плот. Илья разбирал плот, развязывал проволочные жгуты, резал веревки, Сусан перегонял секции в мелкую заводь. Работали мы упорно, молчаливо, и только Илья чертыхался, поминая Ингу, когда крепкий проволочный жгут не поддавался его усилиям. Я хотя и досадовал на непредвиденную задержку в пути (кого мне беспокоить ночью в Олонге?), но Ингу не обвинял. Она рисковала своей жизнью.

Довязывали плот мы в маленьком затончике, почти на закате солнца... Небо еще только чуть золотилось на западе, когда вода в затончике стала краснеть, наливаться словно малиновым соком и наконец загорелась, засверкала брусничным глянцем. Возле прибрежного красноватого тальникового куста гулко ударил таймень.

— Сети с собой у тебя? — спросил Илья Сусана.

— Здесь.

— Давай закинем. Видишь, как играет?

Сусан посмотрел на противоположный берег. Там на песчаной косе четко виднелись следы Инги. В прибрежных талах будто мелькнул пестрый сарафан ее. Я решил, что мне почудилось. Не может быть, чтобы она сидела здесь до вечера!

— Поедем,— сказал Сусан.— Зачем бездельничать? Скорее!

В голосе Сусана послышалась озабоченность, в движениях суетливость. Он быстро взял шест и, не дожидаясь нас, начал отталкивать плот один. Но плот не слушался.

— Чего же вы? — торопил он нас.— Га! [1]

---

[1] Ну! Скорее! *(удэг.)*

Мы дружно налегли и сдвинули плот. Сусану казалось, что мы плывем очень медленно; он подталкивал с кормы плот и все посматривал на противоположный берег. Вскоре выяснилась причина беспокойства Сусана. На одном из поворотов с высокого песчаного берега покатился в воду с шумом камень. Мы обернулись и увидели на самом краю у обрывистого берега Ингу. Она, видимо, споткнулась, но уже встала и отряхивалась. Заметив, что мы на нее смотрим, она спряталась за толстый кедр.

Сусан прибежал на противоположный конец и стал отталкивать шестом от того берега, где была Инга. Он все еще боялся, как бы она не надумала снова ехать с Ильей.

Мне было жаль ее. Бедная Инга! Пустив в завал наш плот, она думала, что плот застрянет и мы вернемся в деревню. И вот теперь сама шла за нами, словно привязанная невидимой веревкой. Шла и стыдилась своей слабости. Иначе зачем бы ей прятаться?

Над тайгой сгущались сумерки. Первым потемнел лес; теперь он стоял вдоль берегов сплошной стеной, и казалось, что это и не лес, а просто берега стали выше. Затем почернело, опустилось на сопки небо, и только река долго еще тускло поблескивала в мягкой ночной тишине.

До самой темноты мы внимательно всматривались в прибрежные заросли. Но Инга больше не появлялась.

1955

ДАЯН ГЕОНКА

Ранним морозным утром я вышел из домика лесничего и направился к Усинге, небольшому удэгейскому селу, расположенному на берегу Бурлита в глубокой тайге. В Усинге нет ни одной улицы, небольшие деревянные избы стоят в совершенном беспорядке группами или в одиночку. Их владельцы, очевидно, выбирали места поудобнее, поближе к воде, мало беспокоясь об улицах и переулках, будто ставили не дома, а юрты.

Стоял сорокаградусный мороз. Вскоре я почувствовал, как щеки мои покрылись инеем. В чуткой морозной тишине все живое притаилось, даже деревянные домики удэгейцев, казалось, теснее сошлись в кружок, принакрывшись сизыми платками дымков. И только неугомонные синицы тоненько звенели на опушке леса: «Дзинь, дзинь, дзинь...» Да кто-то на речке требовал сердитым тенорком:

— Пей, ну! Пей!.. Почему ты не пьешь? Почему?— вдруг спрашивал этот же голос растерянно и жалобно.

На землю косо и медленно спускались частые мелкие снежинки, и было любопытно смотреть на голубовато-серое безоблачное небо. Мой попутчик до Тахалона, удэгеец Даян Евсеевич Геонка, вел с речки рыжую мохнатую лошаденку, так заиндевевшую, что издали я принял ее за буланую. В правой руке он нес пустое ведро и что-то сердито ворчал себе под нос. Я догадался, кто кричал на реке, и спросил:

— Что, не пьет, Евсеич?

— Не пьет,— отвечал он, потягивая упиравшуюся лошадь.— Кабанья голова в ведре была. Вот и не пьет, отфыркивается только. Такой упрямый лошадка.

Около изгороди из жердей стояли розвальни с одной оглоблей более длинной, чем другая. Упрямая лошадка покорно встала в оглобли и задремала. Даян быстро запряг ее, бросил две охапки темно-бурого таежного сена, и мы тронулись.

Геонка едет встречать дочь и сына, студентов педагогического института, прибывающих на новогодние каникулы. Встреча должна произойти где-то на перегоне между Тахалоном и Переваловским, расстояние не маленькое — километров шестьдесят будет.

Узкая таежная дорога петляет вокруг могучих ильмов, ныряет в протоки, поднимается на бугры и пропадает в густом кедраче. Лошадь трусит рысцой, ритмично подбрасывая округлый лохматый круп.

Тайга словно застыла: ни шороха, ни дуновения; резко и сухо, как валежник, хрустит под копытами снег, скрипят полозья да раздаются где-то в стороне частые постукивания дятла.

— Сказки едете записывать? — не столько спрашивает, сколько утверждает Даян, и я вижу, как едва уловимая улыбка подергивает его всегда полураскрытые губы.— Я знаю много их. Только зачем говорить? Люди узнают — смеяться будут. Скажут: Геонка рассказки теперь рассказывает, легкую работу нашел.

Даян работает мастером по заготовке коры бархатного дерева. Сезон заготовки еще не наступил, поэтому он несколько стыдится своего вынужденного отдыха.

С минуту я безуспешно пытаюсь выудить из него хотя бы одну сказку.

— Зачем? — равнодушно отзывается он на мои просьбы.— Когда молодой — сказку рассказывай. Когда старый — дела делай.

— Сколько же вам лет?

— Сорок два.

— И такие взрослые дети у вас? Уже в институте учатся.

— Э-э, старший у меня в армии отслужил. Теперь на сверхсрочника остался,— не без гордости сказал Даян.

— Когда же вы женились? — спросил я с удивлением.

— Первый раз рано, совсем рано,— отвечал он, дергая вожжи.— По закону младшего брата женился.

— Что же это за закон? — все более удивлялся я.

— Наши люди удэ закон такой имели: старший брат помрет — жену младший брат забирай.

— И у вас умер старший брат,— подсказал я Даяну.

— Нет, убили,— коротко и невозмутимо ответил удэгеец.

— Как это случилось? Расскажите,— попросил я Даяна.

— Можно, конечно, рассказать, такое дело.— Он снова чуть заметно улыбнулся.— Все равно как сказка будет.

Рассказывал он неторопливо и совершенно бесстрастно, словно эта история не имела к нему никакого отношения.

— Раньше как жили наши люди? Один род — одно стойбище, второй род — второе. Сколько стойбищ в тайге было? Юрта от юрты далеко стояла, люди редко виделись, плохо знали друг друга. И вот в нашем стойбище сельсовет объявили. Брата председателем избрали, меня — секретарем. Я ликбез на лесозаготовках закончил, читал по складам, писал большими буквами, с папироску каждая будет. Избрали — значит, работать надо. Как работать? За неделю не обойдешь все стойбища. Стали мы агитировать, чтобы всем в одно место съехаться: жить будет легче, говорим, веселее. Школу, говорим, откроем, детей учить надо. Не хотели переезжать старики. Собираться в одно место не хотели. Где, говорят, зверь живет, там и охотник, [redacted] где человек живет — там охотнику делать нечего. Род Кялундзига не хотел ехать в наше стойбище. Пускай, говорят, к нам род Геонка едет. Открыли школу — детей в школу не отпускают. Кто-то со зла сказал: всех детей после школы отберут у родителей и погонят на войну. Шаманы сильно портили народ. Приедешь в стойбище из сельсовета, а шаман возьмет бубен, соберет народ [redacted] танцует. Нельзя отрывать людей в это время: духи обидятся. А шаман весь день в бубен бьет [redacted] кричит дурным голосом. Долго мы терпели такое дело и не выдержали. И сделали мы с братом политическую ошибку.

Он умолк, видя мою заинтересованность, полез в карман темно-синих суконных брюк, достал портсигар и начал закуривать. Его неторопливые движения и хитроватая улыбка выражали достоинство и удовлетворенность собою: вот тебе, мол, [redacted] сказка. Потерпи немного, если хочешь дослушать до конца.

— Такое было дело,— через минуту продолжал Даян, попыхивая трубочкой.— Пришли мы с братом в стойбище Кялундзига антирелигиозную пропаганду проводить. Те

на охоту готовились, багульник жгли. Охотники у костра сидели, а шаман бегал перед ними, бил в бубен и высоко подпрыгивал. Подошел брат к костру и крикнул: «Шаман врет про духов! Зачем его слушать?» Испугались охотники, головы опустили и закрыли руками лица. А шаман подбежал к брату и замахнулся на него бубном. Тут брат вырвал у шамана бубен, ударил его о коленку и порвал бубен у всех на глазах. Шаман упал, мертвым притворился. Однако люди разошлись. Нам такое дело понравилось, мы все бубны в стойбище отобрали, потом записали на собрании всё в протокол и в райком комсомола отправили. Через неделю вызывают меня в район. Спрашивают: «Расскажите, Геонка, как антирелигиозную пропаганду ведете?»

Я обрадовался. Думаю, есть что рассказать. Я стал говорить, как мы с шаманом воюем. Все рассмеялись, а секретарь позвонил звоночком и строго сказал:

— Это политическая ошибка. Это, товарищ Геонка, анархизм! Мы вас привлечем к ответственности.

Я не знал тогда, что значит слово «анархизм». Однако все умолкли и стали серьезными. Я понял — нехорошее это слово. За что, думаю, меня наказывать? За какой такой анархизм? Может, это воровство? Но ведь мы же не украли бубен, а отобрали и в протокол записали.

Возвратился домой невеселым.

— Что случилось? — спрашивает брат.

— Наказывать нас будут,— говорю.— Анархизм мы сделали какой-то, политическую ошибку.

Брат подумал немножко и сказал:

— Ошибку надо исправлять как-то. Может, извиниться перед шаманом?

— А разве такой закон есть, чтобы председатель сельсовета перед шаманом извинялся? — спросил я.

— Не знаю,— ответил брат.— Надо с нашими людьми посоветоваться.

В тот день пришли к нам на батах охотники Кялундзига. Окружили сельсоветовскую избу, крик подняли, все равно как медведя из берлоги выгоняют. Мы с братом вышли навстречу.

— Куда шаман наш делся?

— Давайте нашего шамана!

— Кто его теперь найдет? — кричали со всех сторон.

— Чего такое? — спрашиваем.

Немного разговорились. Оказывается, шаман к духам

ушел. Духи крепко сердиты на весь род Кялундзига. Во время моления в стойбище председатель обидел духов. И ни один Кялундзига не заступился. Худо теперь будет роду Кялундзига, сказал шаман. Удачной охоты не будет, болезнь страшная придет, если шаман не задобрит духов. Но где теперь шаман, кто знает? Надо найти шамана, хорошенько попросить, чтобы он с духами договорился.

— Хорошо,— сказал брат,— я вам найду шамана, с духами договорюсь.

— А разве духи слушаются председателя сельсовета?—спрашивают нас. Видно, совсем не верят.

— Молодые уже слушаются,— важно сказал брат,— а старых мы вместе с шаманом уговорим. И шамана я найду обязательно.

Немного успокоились охотники Кялундзига.

— Ладно,— говорят,— подождем. Не обмани только.

И уехали они домой.

— Где ты искать шамана будешь?—спросил я брата.— Зачем такое дело обещал?

— Найду,— отвечал брат.— Я знаю, к каким он духам ушел.

Вверху по Бурлиту у самого большого перевала скрывалась тогда разбитая банда. Немножко грабила еще. Брат сказал, что шаман туда ушел. И отправился на поиски. Я отговаривал его:

— Зачем идешь? Разве послушает тебя шаман и возвратится с тобой в стойбище?

— Конечно, нет,— отвечает брат.— Зато я выслежу, где шаман прячется, с какими духами живет. Потом приведу туда охотников Кялундзига. Пусть они увидят, как их обманывают. Сами потом переселятся к нам. Хорошая агитация получится.

Я хотел идти с братом. Он не согласился.

— Зачем? Один пойду,— говорит.— Оставайся здесь. Весь сельсовет на тебе.

Конечно, думаю, брат найдет, обязательно найдет. Разве кто знал тайгу лучше брата? Никто. До самого большого перевала не было охотника, как мой брат. Он одним копьем убивал медведя. В голодные годы, когда не было орехов и кабаны ушли из наших мест, Куты-Мафа — тигр — напал на наше стойбище. Он сломал цзали и украл все мясо. Брат один расправился с ним. А ведь Куты-Мафа — божество, как раньше говорили. От его рева сердце замирает, глаз неверно смотрит, рука дрожит.

Веселым был брат. Помню, поплыл на оморочке, песню запел. Таким и видел я его в последний раз.

— Однако, холодно,— прервал я рассказ Даяна.— Давайте пройдемся немного.

Мы выпрыгнули из саней. Я невольно залюбовался его ладной невысокой, несколько сухопарой фигурой. Идет он легко, танцующей походкой, мелким шагом — таежная, охотничья привычка. В тайге нельзя ходить размашисто ни летом ни зимой: летом мешает валежник, а зимой — рыхлый глубокий снег. На ногах у Даяна бурые прокопченные олочки, из-под отворота полушубка черной дубки виден поношенный защитного цвета китель. На черных, торчащих ежиком усах появился белый налет инея.

Несколько минут мы шли молча: по-видимому, обычно молчаливый Даян сожалел, что слишком разговорился. Я попросил его продолжить рассказ, он отозвался без особого желания и рассказывал далее суховато, отрывисто:

— Пять дней прошло — везут брата в оморочке. Смотрим — убитый. Кто убил? Неизвестно. Пуля сначала грудь ему пробила, потом борт оморочки. Видать, с берега стреляли. Выследили. Привезли его охотники Кялундзига. Четыре бата шли вокруг оморочки. Почти все стойбище. Из-за нас, говорят, погиб. Помочь хотел нам. Притихли Кялундзига. Не ожидали, понимаешь, такое дело. И тут, возле оморочки брата, вроде собрания получилось. Пусть, говорили Кялундзига, увидит тот, кто убил Геонка: мы делаем, как он хотел. И решили они всем стойбищем к нам переселиться. И я тогда сказал: пусть все будет так, как будто брат живой. Здесь в толпе стояла жена его, Исама. «Подойди ко мне!» — позвал я ее. Она подошла. Я взял ее за руку, подвел к оморочке брата и сказал: «Смотри, я буду жить с твоей женой, как ты жил. И значит, ты будешь жить во мне». И старики закивали: «Хорошо делает Даян: закон предков выполняет». А мне тогда казалось, будто брат и вправду станет жить во мне.

Схоронили мы его хорошо — никто не плакал.

— То есть как не плакал? — удивился я.— Разве не было жалко?

— Жалко не жалко, а такой закон наши люди имеют,— отвечал невозмутимо удэгеец.— Если кого убьют, нельзя плакать: плакать — значит перед врагом унижаться, мертвого оскорблять.

Видимо, мое удивление было настолько выразительно,

что Даян, мельком взглянув на меня, снисходительно улыбнулся.

— Так и женился я на невестке,— продолжал он монотонным голосом.— Семнадцать лет мне было. Всякий человек [redacted] это время девушку любит. И я любил одну девушку из стойбища Кялундзига. Имя у нее такое — Тотнядыга. Плакала она сильно, и мне потом тяжело было. Вырежу я себе кингуласти, уйду на Бурлит и наигрываю, а сам ее вспоминаю. У нас есть мелодия такая — «Жалобы девушки» называется. Я хорошо тогда ее играл.

— А из чего делают кингуласти? — спросил я Даяна.

— Трава такая есть. Я сейчас покажу вам.

Он отошел в сторону, сорвал высохшую пустотелую коричневую соссюрею, срезал наискосок со стороны раструба, обрезал бурую метелку, и получилась длинная дудочка. Даян стал втягивать воздух через тонкий конец. Сначала будто заскрипело что-то, потом тоненько взвизгнуло, [redacted] в морозном воздухе полилась тихая жалобная мелодия. В ее переливах слышалось то завывание ветра, то плеск ручейка, то свист какой-то знакомой птицы — все это вызывало тягостное ощущение, как будто бы оттого, что утрачено что-то очень близкое и дорогое. И вдруг в эту мелодию вплелось глухое улюлюканье, идущее из тайги.

— Стой! — остановил я Даяна.

Он прервал свою мелодию.

«Улю-лю-лю-лю!» — доносился с минуту из тайги невнятный призыв.

— Что это?

— Это ястребиная сова, она [redacted] днем охотится. Очень любит нашу музыку,— ответил Даян.

Странная перекличка удэгейской трубочки и таежной совы длилась несколько минут.

— Как же вы жили? — спросил я Геонка.

— Жена тоже мучилась, будто виноватой была. Ходила она сгорбленной, хмурой, все говорила — помру скоро. И правда, как все равно чуяла смерть. Напорола весной ногу о сук и умерла от заражения крови. Оставила мне сына.

— А где же Тотнядыга?

— На Хору живет. За нее двадцать пять соболей заплатили. Семья у нее большая. Муж — хороший охотник.

— Значит, она счастлива?

— А как же, довольна. Живут хорошо, муж не пьет.

— Ну, а любовь?

— Какой любовь? — переспросил недовольно удэгеец.— Любовь, когда молодые бывают, а старым зачем любовь? Старым семья нужна.

Разговор на этом прервался. Даян курил и сердито погонял лошадь, а я думал о том, как он твердо и просто ответил на такой вопрос, о котором написано много романов и драм, объясняющих, но часто не разрешающих его.

Мы выехали на лесную поляну. В прогалине между деревьями показалось тусклое солнце; в его свете все так же медленно падала изморозь, покрывшая наши одежды толстым слоем снега. На широкой поляне стояли вразброс невысокие сизые столбы дыма.

— Вот и Тахалон.— Даян показал на небольшие деревянные дома, полузакрытые бурым кустарником.

С высокого крыльца сельсовета спрыгнул юноша и, застегивая на ходу полушубок, вприпрыжку побежал нам навстречу. Даян Евсеевич натянул вожжи, сразу как-то преобразился, губы его слегка вздрогнули, расплылись в широкой улыбке, под припухшими веками радостно заблестели глаза.

— Здравствуйте, папа! — воскликнул высокий, лет восемнадцати паренек и протянул отцу руку.— Я вышел на целые сутки раньше ребят,— заявил он с мальчишеской гордостью.

— А где Валя? — спросил отец.

— Она осталась в институте. Куда девчонкам по тайге таскаться в такую стужу,— отвечал сын, и в его голосе послышалось пренебрежение.

— Поедемте с нами к тете Кате,— обратился ко мне Даян.— Это родственница наша. Она недалеко отсюда живет. Отдохнем с дороги.

Мне не хотелось больше стеснять их своим присутствием. Я поблагодарил Даяна, выпрыгнул из саней и долго провожал глазами знакомую подводу.

1954

В ИЗБЕ ЛЕСНИЧЕГО

Однажды зимняя ночь застала меня на одинокой почтовой подводе, плетущейся по глухой таежной дороге.

В тайге темнота подступает очень близко; различаешь только два-три ряда придорожных деревьев, а глубже они сливаются в сплошной непроглядной мути. Полная тишина отчетливо выявляет каждый шорох, и с непривычки мягкое падение комьев снега с деревьев принимаешь за прыжки осторожного зверя. В такие минуты человеку с беспокойным воображением, впервые попавшему в лесной приют, становится немного не по себе. Время, кажется, идет слишком медленно, как заиндевевшая лошадка. Я потерял всякую ориентовку, завернулся с головой в тулуп и задремал.

— Чего ты спи? — толкнул меня в бок почтальон Михаил Суляндзига.— Смотри, Усинга подошел.

Я поднял голову. Над белесым полем дрожали тусклые редкие огоньки. Самый ближний к тайге я принял за домик лесничего. Поравнявшись с ним, я выпрыгнул из саней и пошел напрямик на этот огонек по рыхлому глубокому снегу. Вскоре показалось очертание домика с обнесенным вокруг него дощатым забором. Ко мне навстречу бросились с разноголосым лаем собаки лесничего. Впереди бежал старый рослый Трезор, лаявший охрипшим словно от простуды голосом. В тайге на лай собак хозяева не выходят. К чему! Человека таежная собака не трогает, а собачью острастку здесь никто не принимает во внимание.

Я на ощупь отыскал никогда не запирающуюся дверь и рванул ручку. Дверь распахнулась с сухим треском.

— Ого, уверенно рвет! Стало быть — свой,— воскликнул лесничий Ольгин, вставая из-за стола. Чисто

выбритый, высокий и костистый, в черной безрукавке, ладно облегавшей его мощную фигуру, он выглядел моложаво. В его широких плавных движениях чувствовалась медвежья неукротимая сила.

— Быть тебе богатым: прямо к ужину угодил,— говорил он, пожимая мне руку.— А у меня гости. Садись, вместе повечеряем.

Я разглядел сидящих за столом. Один из них, молодой, с припухшими веками, назвал себя Василием. Второй, заросший седой щетиной, смерил меня крутым взглядом маленьких серых глаз, глубоко посаженных под нахохленными густыми бровями, подал мне корявую жилистую руку и произнес твердым голосом:

— Константин Георгиевич.

Этот пожилой, но еще крепкий мужчина вызывал к себе уважение и любопытство. Одет он был необычно: из-под желтой меховой безрукавки виднелась серая суконная толстовка, на ногах — бурые, прокопченные, точно смазанные дегтем, олочи с затейливо загнутыми носками; на длинных ремешках, заткнутых за пояс, висели суконные наколенники, или «арамузы», как их здесь называют. Весь этот странный наряд не соответствовал его умному выразительному лицу с глубокими складками возле губ и с упорными, почти не мигающими глазами. В ногах его под столом лежали две собаки, но слабое освещение не позволяло разглядеть их. Рядом с ним стояла банка из-под какао, из нее исходил сильный запах чеснока, черемши и какой-то кислятины. Я его принял за обозника и потому спросил:

— Все ли подводы приехали?

— Не знаю, мы шли пешком,— ответил он.

Я умолк, несколько озадаченный...

В просторной, ничем не перегороженной избе Ольгиных было пусто и сумрачно,— дальние углы проваливались, точно в яму. За печью, стоявшей посередине избы, на деревянной кровати лежал дед Алексей и безучастно смотрел в потолок.

Все в этой избе дышало густой дремотной тайгой: и голые бревенчатые стены с торчащими из пазов кудлатыми пучками мха, и деревянные кадки вместо ведер, и висящие над ними ружья и ножи, и беспорядочно валяющиеся на полу медвежьи и оленьи шкуры, и этот резкий берложий дух кисловатой испарины влажных шкур, горький, еле уловимый аромат березовых веников

и острый свежий запах снега, врывающийся снаружи белыми струйками сквозь оледенелый, осклизлый дверной притвор.

Хозяин рассказывал, как удобнее пройти на Арму, где привалы делать, где имеются ночлежные избушки.

Гости, слушая Ольгина, ели мелко нарезанное кабанье сало. Константин Георгиевич накладывал из банки на сало пахучую буро-зеленую мешанину, похожую на перебродивший силос.

— Что это такое? — спросил я.

— Нанайский салат,— ответил он, хитро улыбаясь.— Может, попробуете?

Я зачерпнул половину чайной ложки и проглотил. Сначала мне показалось, что я проглотил железное веретено, потом — горячий уголь. Внутри у меня что-то сверлило, обжигало, захватывало дыхание. Я закашлялся и вынул платок, чтобы вытереть глаза.

Константин Георгиевич, откинувшись, залился по-детски звонким смехом.

— Ничего, для дезинфекции полезно. Это адская смесь от тридцати трех болезней,— сказал он, оправившись от смеха.— Нанайцы говорят, что, если поешь этой смеси, ни один медведь тебе не страшен, только дыхни на него — вмиг удерет.

— Вы охотник?

— Нет, я из Академии наук.

— Как — ученый? — воскликнул я и смутился от своего нелепого вопроса.

— Да, ученый. Что, не похож? — спросил Константин Георгиевич иронически.

— Нет, почему же. Просто мне подумалось, что в вашем возрасте ходить по тайге в такую стужу не совсем легко. Ведь вам лет шестьдесят, не меньше?

— Семьдесят два исполнилось,— сказал он, склонив свою седую, стриженную ежиком голову.— Ходить не легко, это верно. А сидеть разве легче? Для меня сидеть на месте тяжелее, чем бродить по тайге. Да я не один. Со мной помощники. Вот они, извольте познакомиться — Амур и Янгур.

Он похлопал по шее лежавших подле него собак. Собаки вскочили и, замахав хвостами, уставились на своего хозяина. Одна из них, амурская лайка, по кличке Амур, выглядела великолепно: длинная рыжевато-бурая шерсть, короткие сильные ноги, широкая мускулистая

грудь и крепкий, отлично развитый торс говорили о выносливости и силе. Редкая порода лайки! Вторая с необычной кличкой Янгур (что значит по-нанайски — волк) была гладкошерстная и поджарая.

— Этот глуп еще. Молод,— показал Константин Георгиевич на Янгура.— В тайге на пень лает. Зато Амур у меня молодец, один кабана держит. А нарты везет не хуже оленя.

— Простите за любопытство, как ваша фамилия?

— Абрамов.

— Абрамов! — невольно воскликнул я. Это была фамилия известного на Дальнем Востоке зоолога.

— Что, слышали?

— Да я, признаться, мечтал с вами встретиться.

— Ну вот и отлично! Значит, встретились. Я должен оставить вас на некоторое время. Схожу в правление артели. Мне проводника обещали выделить.

Надев черной дубки полушубок, Абрамов вместе с Василием вышел в сопровождении собак; белые клубы морозного воздуха мягко расстилались от двери по полу, словно брошенная легкая прозрачная ткань.

Так вот он каков, этот неуживчивый старик с тяжелым характером, как аттестуют его дальневосточные охотоуправители за частые стычки с ними.

Мне нравились книги Абрамова о нашем дальневосточном зверье. Читая их, я представлял себе автора медлительным, тучным и почему-то с большими белыми руками.

Странная у него биография. Не имея специального образования, он полжизни посвятил изучению животного мира тайги и стал видным зоологом. Приехав на Дальний Восток в двадцать третьем году по направлению Главной палаты мер и весов, он сделался организатором и впоследствии директором обоих дальневосточных заповедников.

За долгие годы скитаний по тайге он встречался на звериной тропе с добычливым браконьером и один на один с поразительным хладнокровием обезвреживал вооруженного нарушителя. В Сидатуне его сообща собирались избить браконьеры, а он, узнав об этом, сам пришел поздно вечером в разгулявшуюся компанию и смутил своей смелостью самых отчаянных заговорщиков. Однако, обладая выдержкой и сохраняя спокойствие при встречах с медведем или тигром в таежных зарослях, он неистовствовал в кабинетах. Строгие взыскания за его, так

сказать, благородную невыдержанность несколько укротили нрав Абрамова и снискали ему известность неуживчивого человека с тяжелым характером.

— Тут с Абрамовым история получается,— сказал Ольгин, пододвигаясь ко мне.

— Что вы говорите? — Я изобразил на лице крайнее любопытство.

— Абрамов-то прижал председателя артели. Они, видишь ли, зверя много побили. А ведь зверь, хоть и дикий, но живность,— рассуждал Ольгин.— Так они в отместку, что ли, назначили Абрамову в проводники Андрея Геонка. У этого самого Андрея Абрамов три года назад ружье отобрал за незаконное убийство изюбря. Понял, какой тут расчет? Ведь они вдвоем в тайгу-то пойдут, да не на день. Я давеча узнал про это, хотел сказать Абрамову, да промолчал: как-то неудобно.

— Напрасно.

— Да ведь оно и не знаешь, как подойти к нему в таком деле. Уж больно человек-то сурьезный. Я сам гоняюсь за браконьерами, а однажды и меня прижал старик, на что уж мы с ним давние приятели. Да если хотите, я расскажу вам этот случай.

Я охотно согласился.

— В прошлом годе,— начал Ольгин,— заметил я неподалеку отсюда следы молодого тигра. По размеру следа я определил вес тигра — пудов пять-шесть будет. Ну, думаю, попытаю счастья. Ловить тигров мне не впервой, на моем счету их уже штук пять было. Кого взять в напарники? Сынов не было дома, младший служил в армии, старший на метеостанции работал. А что, думаю, возьму с собой двух удэгейцев. Охотники они хорошие, да вот беда — врожденный страх у них к тигру. Ну ничего, полагаю. Силу мне самому девать некуда. Тигра-то я прижать сумею, а они лапы вязать будут. Сказал я Геонке Николаю и Канчуге Сергею. Согласились они. Взял я с собой двух собак, четырех много, думаю, кобели злые — удержат и вдвоем. Сплел намордник для тигра, захватил бинт из драных простыней и ремни для вязки лап, вырубил рогульки из трескуна, и пошли. Снег лежал в тайге глубокий и рыхлый. Тигру тяжело по такому снегу уходить от преследования. Выбился он быстро. На третьи сутки мы его настигли недалеко от Улахезы. Мы шли друг от друга метров на пятьдесят. Собаки вырвались вперед, скрылись в низкорослой ча-

щобе и вдруг залаяли не визгливо, а приглушенно, эдак утробно. «Держат!» — крикнул я и бросился в чащу. Выбегаю из чащи, смотрю: Канчуга стоит метрах в двадцати от тигра, спрятался за кедр и ждет чего-то. А собаки надрываются, того и гляди за бока возьмут тигра. Он стоит почти по брюхо в снегу и огрызается на собак, бока у него впали и ходуном ходят — запыхался. Мне-то далеко до тигра — метров сто было. Я бегу по снегу с рогулькой наперевес и кричу Канчуге: «Дави его, дави!» А он стоит как вкопанный за кедром и ни с места. Зло меня взяло, так и трахнул бы его палкой. Потом-то самому смешно стало. «Что ж ты, говорю, как пень стоял?» — «Нашло, говорит, на меня, Александр Николаевич. Сам не знаю, что такое. Будто весь дух из меня вышел, жутко стало». Ну, я с разбегу прямо на тигра. Он рявкнул да прыжком ко мне. «Эх, думаю, беда! Отдохнуть тигру дали». Я уж за нож схватился, да Трезор мне помог — на втором прыжке в трех шагах от меня он нагнал тигра и прыгнул ему на холку. Не успел тигр развернуться к собаке, как я его прижал рогулькой, ровно бревно в снег вдавил.

— Вяжи! — кричу. Подбежали мои напарники, перевязали ему лапы тряпьем, потом связали их попарно ремнями. Рычит он, а сам дрожит, видать, с перепугу, а может, от холода или от усталости, кто его знает. Стал я намордник надевать — не лезет. У него морда вон с ведро будет. Ах ты, досада, промахнулся я с намордником! Ну ладно, сел я на него, держу за уши, а он зубы оскалил и дрожит, как ягненок. Холодно ему, думаю. Простудим мы тигра. Снял шубу, накрыл его. Проходит час, а Геонка с Канчугой еще клётку делают, и конца работы не видать. Колья словно не топором, а косырем тешут. «Ну-ка, подержи, Канчуга, а я поработаю,— крикнул я.— А то вы как к теще на помощь пришли». Сел он на тигра, а мы с Геонкой клетку делаем. Заработался я, не смотрю ни на что; а Канчуга от страха накрыл тигра с головой и лег на шубу. Чем перерезал тигр ремни — зубами или когтем — не знаю. Но порезал словно ножом, да как рванет с места — шуба в сторону, Канчуга — в другую, а тигр — в тайгу. Но передние лапы у него были еще связаны, и он поскакал, как стреноженная лошадь. Собаки за ним. Не успели мы подбежать, как собаки тигру весь зад порвали. Видно, заражение крови у него получилось, подох он на другой день.

Через несколько дней приезжает Абрамов и заметил у меня тигровую шкуру. Пришлось официальное объяснение писать — так разошелся старик... Ведь вот какой человек! И дело-то, казалось бы, не его, а он спокойно не может пройти мимо. Помню, когда он отбирал ружье у Геонка, разговор у него с начальником экспедиции получился. «Оставьте вы это,— говорит ему начальник,— хочется вам возиться со всякими браконьерами. Мы — ученые, у нас свое дело. А ими пусть займутся другие, у кого есть на то обязанность». А Константин Георгиевич в сердцах ему отвечает: «А у нас с вами разве нет такой обязанности не по бумажке, а по совести?» — «Что совесть? — говорит ему начальник.— Все природой дадено, а они лишь дети неразумные ее».— «Нет,— отвечает Абрамов,— не дети природы, а сукины дети. Учить их надо, да не словами, а делом».

— Крутой человек,— неопределенно произнес Ольгин, не то одобряя, не то осуждая Абрамова.— Вот и теперь, пришел искать баргузинского соболя, а сам на охотничьи порядки набросился. То ему не так, это не эдак — до всего дотошный, словно хозяин. Полтораста километров отмахал по тайге в сорокаградусный мороз, а впереди еще не меньше будет. Ночевать в тайге на снегу в палатке, тащить на себе нарты в его возрасте — нелегкая штука. Амур далеко не протянет: собака не лошадь, что с нее взять! Да что говорить, упорный старик.

— Откуда здесь баргузинский соболь появился? — спросил я Ольгина.

— А в прошлом годе по осени выпустили здесь штук сорок. Думали, приживутся, а они ушли куда-то. Вот Абрамов и хочет выяснить, почему баргузинский соболь идет ходом, не приживается в этих местах.

На улице послышался лай и рычание собак.

— А будь они неладны! — воскликнул Ольгин.— Целый день мои собаки с абрамовскими дерутся. Не признается, видать, в собачьем мире гостеприимство.

Вошел Абрамов один.

— А где же Василий? — спросил Ольгин.

— К своему проводнику ушел.

— Откуда он? — спросил я.

— Практикант из Иркутского университета, якут,— ответил Абрамов, раздеваясь.— Маршруты у нас разные. Все хорошо, да вот лыжи у меня никудышные — тяжелые, сырые, как калоши.

Абрамов был чем-то недоволен. Он тяжело опустился на табуретку и сдвинул свои мохнатые брови.

— А, черт! — не выдержав, хлопнул он себя по коленке.— Это же не охотоуправитель, а классная бонна! Посмотрите, что я вам за бумажку покажу,— обратился к нам Абрамов, доставая из нагрудного кармана толстовки сложенную вчетверо бумажку.— Вот послушайте: «Отстрел изюбрей вы произвели больше установленного плана, добычу соболя тоже. Ну, что с вами делать? Штраф налагать — дорого для артели обойдется. Не наказывать — тоже плохо. И вы все время допускаете нарушения...» Имярек — директор крайуправления. И это называется директивой для артели. Только и не хватает здесь приписки,— мол, извините за беспокойство.

— А разве плохо, когда перевыполняют план добычи пушнины, хотя бы по соболю? — спросил я Абрамова.

— Плохо? — переспросил он, сверкнув глазами.— Не то слово, молодой человек. Бесхозяйственность, шарлатанство! Вот что это такое.

Он резко нагнулся к рюкзаку, вынул карту, развернул ее на столе.

— Смотрите сюда. Вот карта популяции соболя в нашей тайге. Места популяции обозначены красным карандашом.

Я взглянул на карту, испещренную красными пятнами малого и большого размера.

— Видите, какое множество этих пятен? — продолжал Абрамов.— Добычу соболя надо вести повсюду в этих местах. А у нас что делают? Ловят там, где есть охотничьи артели. Да как ловят! Дадут план на край, а они его — бух! — на две-три артели. А эти еще и перевыполняют... А ведь соболь — золото нашей тайги! Недаром раньше на Руси казна соболевая была.— Абрамов посмотрел на меня сердито и неожиданно закончил: — И задам я ему перевыполнение плана! Вот только вернусь...— Он закурил и сердито нахмурился.— Надо создавать таперские участки,— продолжал Абрамов через минуту.— И делать плановый отлов с каждого участка, а не задавать какую-то норму на охотника. Охотник сегодня там ловит, завтра в другом месте, послезавтра — в третьем... Если учесть, что удэгейцы охотнее выбирают соболя в местах чистых, а в россыпи не лезут, там труднее брать, вот и получается: в одних местах соболя уничтожают почти поголовно, а в других

он сам подыхает от старости. В конце концов, таперские участки нужны не только для планомерной охоты, но и для облегчения труда самих охотников. Сами подумайте: вот подходит сезон, и охотники за сто — за полтораста километров уходят на три-четыре месяца, а то и более. И продукты, и снасти, и боеприпасы — все на себе тянут. А живут где? В крохотных полотняных палатках. В такой палатке они за ночь, согнувшись в три погибели, обдирают на коленях по пятнадцать — двадцать тушек колонка и белки. Да еще при свете жирника... И спят на снегу, подстелив шкуры. Разве не нужны нам таперские бараки? Ведь для них — охота не развлечение, а профессия.

Он встал с табуретки и, видимо взволнованный разговором, несколько раз прошелся взад-вперед по комнате.

— Однако, поздно, засиделись мы,— сказал Ольгин.— Пора спать.

— Да, да,— машинально подтвердил Абрамов.

— Кого вам в проводники выделили? — спросил я у него.

— Андрея Геонка,— сухо ответил он.

Мы с Ольгиным понимающе переглянулись.

Я стал расстилать медвежьи шкуры, любезно предложенные мне хозяином. Возле печки похрапывал дед: он лежал на кровати, все так же поверх одеяла в своей неизменной шубе, в малахае и в валенках.

Абрамов возился возле плиты, развешивая олочи, растрясал вынутую из них траву — хайкту, незаменимую подстилку таежных ходоков, и долго потом в темноте ворочался в спальном мешке, по-стариковски кряхтел.

На следующий день рано утром пришел проводник Геонка. Это был невысокий коренастый удэгеец с продолговатыми карими глазами; за спиной у него висели котомка и ружье, в руках тонкие, изящно выгнутые в виде фигурной скобки лыжи, подклеенные снизу камусом.

— Здравствуй, товарищ Абрамов! — приветствовал он от самого порога Константина Георгиевича, не обращая на нас никакого внимания, как будто, кроме Абрамова, в избе никого не было.— Смотри, какие лыжи! Тебе принес. Свои лыжи. Бери, старик! Много ходить по тайге надо. Твои лыжи — плохой чурбак. Куда такие лыжи брать? За дрова и то не дойдешь.

— Нет, спасибо, тебе самому они нужны,— ответил Абрамов, смущаясь.— Мои лыжи тоже неплохие.

— Зачем тебе так говори! — воскликнул удэгеец.— Я сам вчера видел — толстые, как доска все равно. Бери! У меня есть еще, у брата взял.

Абрамов принял лыжи и с чувством пожал руку Геонка.

— Спасибо!

— Тебе тож спасибо!

— За что же?

— Учил меня хорошо,— ответил Геонка и вдруг рассмеялся.

Мы тоже рассмеялись. Стало как-то светло и радостно на душе, словно тебя ключевой водой умыли.

Через час, позавтракав и навьючив нарты, они тронулись в путь. Возглавлял шествие Геонка, за ним Амур с Янгуром тянули нарты. За нартами, слегка сутулясь, шел Абрамов неторопливой хозяйской походкой.

1954

ОХОТА НА УТОК

Однажды мне сказал редактор:

— Поезжай-ка в Усингу и напиши очерк о заготовителях пробковой коры, особенно о Сучкове. Он и мастер-заготовитель, и охотник,— словом, на все руки от скуки. Заверни этак покрепче, да про психологию...

И я полетел в таежную глухомань на «кукурузнике». Первым, кого я встретил, подходя к таежному селу, был обыкновенный русский мальчик лет семи. Вся одежда его состояла из застиранных зеленых штанишек. Он стоял на опушке леса, возле дороги и сердито сопел, завязывая резинку штанов. Завязав резинку, он победно посмотрел на меня и серьезно заявил:

— Теперь не спадет.

Не удостоив меня больше ни единым взглядом, он побежал по извилистой тропинке. Однако резинка подвела, и на зеленом фоне травы засверкала белая попка.

Я подошел к нему.

— Как тебя звать?

— Вова,— ответил он, развязывая узелок резинки.

— Сколько тебе лет, Вова?

— Тринадцать, наверно. Мамка мне не говорит, а я не знаю.

Мои вопросы, очевидно, пробудили в нем интерес к моей персоне. Он оторвался от резинки и, сморщив конопатый нос, посмотрел на меня.

— А мамка мне не дает на конфеты копеечки,— испытующе сказал он.

Я дал ему несколько монет.

— А у нас живая утка есть, дикая...— поведал он, решив, очевидно, что даром деньги не берут.

— Почему же она не улетает от вас?

— А мы у нее из крыльев перья повыдергали,— ответил Вова, потом, подумав, добавил: — Ее Толька с Васькой с собой забрали.

— Куда же это?

— На Бурлит купаться. Вон туда,— махнул рукой.— Все иди, иди, потом будет трава, потом дыра большая, вот такая! Пролезешь в дыру — там их увидишь.

— А кто твой отец?

— Сучков.

— Николай Иванович?

— Ага.

— Ну, тогда веди меня домой.

Я знаком был с Сучковым. Он заезжал ко мне, привозил множество таежных историй и всякий раз приглашал к себе. В его рассказах много было необычного, загадочного, и сам он казался мне существом романтичным. И вот его сынишка, деловито посапывая, ведет меня к одиноко стоящему домику возле самой протоки.

Навстречу нам бросился со звонким лаем белогрудый кобель.

— Нельзя, Тузик! Свои,— важно сказал Вова, отстраняя морду рослой собаки, приходившейся ему почти по плечи.

Из сеней вышел Сучков в распоясанной косоворотке, в сандалиях на босу ногу. Отворяя двери, он всматривался в меня, наконец улыбнулся.

— Андреич! Вот кто навестил меня в берлоге. Ну, проходи, проходи,— говорил он, пожимая мне руку и обнажая в улыбке ровные крепкие зубы.

Невысокого роста, худощавый, жилистый, заросший черной щетиной, в черной пузырившейся от ветра рубахе, он был похож скорее на таежного бродягу, чем на известного мастера-заготовителя.

— Надумал, значит,— говорил он, усадив меня за стол в сенях и наливая мне кружку мутно-желтой медовухи.— Ну-ка, давай, брат, дерябнем за встречу.

Мы выпили.

— Отдохнуть приехал или по делу?

— Думаю написать что-нибудь о корозаготовителях.

Он засмеялся сильным неторопливым смехом:

— Что это нынче потянуло вас на бархатное дерево, как мух на мед. Ко мне ты уж из третьей газеты приезжаешь.

В сени вышла из избы молодая женщина в повязанном углом платке, в свободной ситцевой кофте, выпущенной поверх юбки, босая.

— Моя жена, Наталья. Познакомься! — сказал мне Сучков.

Наталья неуклюже подала прямую, как лопата, ладонь с жесткими мозолями.

— Что ж вы в сенях уселись? Проходите в избу,— пригласила нас хозяйка.

— А нам и здесь неплохо,— отвечал Сучков, хитровато подмигивая мне.— Достань-ка нам чего покрепче, тогда и в избу зазывай.

— Вовка, подь сюда! — крикнула Наталья и уже в избе наказывала мальчику: — Сбегай в погреб, чашку с грибами принеси.

Пробегая мимо нас, мальчик похвастался перед отцом подаренными мной деньгами.

— Молодец! — одобрил отец.— Где ты раздобыл?

— Дядя дал.

— Ого! Он уже с тебя за постой взял. Вот сорванец! — В голосе отца чувствовалось удовлетворение практичностью сына.

Я с любопытством приглядывался к Сучкову. Своею простотой и откровенностью он вызывал чувство симпатии, и в то же время что-то мне в нем не нравилось.

— А ведь я собираюсь на охоту, уток пострелять. Может, съездите со мной. Здесь недалеко, километров пять будет. Поедемте! Пробковая кора от вас не уйдет — насмотритесь еще.

«А что,— подумал я,— надо своего героя наблюдать не только в деле». И я согласился.

Сучков повел меня в избу смотреть ружья. Изба оказалась довольно просторной, без перегородок. В двух углах стояли деревянные кровати, покрытые сшитыми из лоскутов одеялами, посреди избы — печь и два стола со скамейками. На неоштукатуренных стенах висели плакаты, оленьи рога и ружья.

Мы выпили на дорогу крепкую настойку и закусили солеными грибами. Во время нашей выпивки хозяйка

сидела в стороне, спокойно сложив руки на коленях. Такое положение в этом доме считалось, очевидно, обычным, и меня все более занимал характер хозяина.

— Наталья, ружья,— приказал Сучков.

Наталья подала ружья, и мы пошли.

Метрах в десяти от дома протекала заросшая тростником и кувшинками протока. На берегу под развесистым ильмом лежала длинная узкая долбленая лодочка, называемая здесь по-удэгейски оморочкой. Сучков легко поднял оморочку и опустил на воду. Тузик, виляя от радости всем телом, ошалело крутился в ногах.

Я прыгнул в оморочку и еле устоял на ногах. Лодочка дернулась подо мной, вильнула кормой и, зачерпнув воды, закрутилась, готовая вот-вот погрузиться.

— Осторожней, черти тебя драли!— выругался Сучков.— Сиди смирно.

Вскоре оморочка успокоилась. Сучков вычерпал консервной банкой воду, и мы тронулись.

Сучков сидел на носу оморочки и делал плавные гребки двухлопастным веслом. Тонкий нос оморочки рассекал зеркальную гладь протоки, оставляя за собой на воде длинные валики; они медленно бежали к берегам и тихо покачивали круглые листья кувшинок. Часто протока сужалась и в этих местах сплошь перекрывалась кисейными ветвями ильмов, черемухи, оплетенными виноградными лозами. Мы скользили под ветви, пригибая головы, словно в подземные коридоры. Нас обдавало горьковатым запахом черемухи, прохладной влажностью и какой-то торжественной тишиной. Падающие с весел капли звонко тенькали, но лай Тузика, бежавшего по берегу, звучал глухо, как из подполья.

Сучков говорил, лениво пожевывая папироску:

— Люблю я вот так по тайге скользить. Не слышно тебя и не видно... Где утку или гуся подшибешь, где изюбра выследишь, а то и медведь выпрет сдуру на тебя, и его приберешь. Кормит тайга-матушка.

В его неторопливых, спокойных движениях чувствовались уверенность и сила. Казалось, он врос в лодку и лодка стала частью его самого, готовая в любую секунду ринуться в погоню или уйти от опасности.

— Давно вы здесь живете?— спросил я его.

— Шестнадцать лет. Я из-под Ярославля. В тридцать четвертом ушел из родного села. А потом лет пять слонялся по свету. Трудно нашему деревенскому брату к

городской жизни привыкать. Я и маляром работал, и плотничал, и даже сапоги вздумал тачать... Все не то. Душа-то на волю просится. Тут и надумал: в учителя сельские подамся! И четыре года тянулся... аж башка трещала. И сдал, сначала за седьмой класс, а потом и педучилище закончил. Стали на работу направлять. «Куда тебя?» — спрашивают. «Куда-нибудь в тайгу, в глухомань»,— говорю. Вот меня и прислали сюда. Сначала учителем работал, а теперь в заготовителях числюсь да охотой промышляю. Так-то оно независимей, да и прибыльней.

В тайге показался большой прогал, и сразу стало виднее, как будто солнце выглянуло. Оморочка уткнулась в берег.

— Вылезем на минуту,— сказал Сучков,— у меня тут огородец.

На довольно большом клину земли, притиснутой с трех сторон к протоке, раскинулся огород. На грядках зеленела кустистая картофельная ботва, раскидистая приземистая капуста, помидоры.

— Ого, да у тебя тут целая усадьба! — не удержался я от восторга.

— Вот этими руками корчевали тайгу-то,— сказал Сучков не без гордости.

— Как же ты лошадь сюда доставляешь?

— Лошадь?! А где ее взять?

— В артели.

— Там всего две лошади... Да и не положено в тайге огороды держать. Это же потайной промысел. Мы картошку да капусту сажаем... Удэгейцы мак выращивают.

— Зачем?

— Гашиш делают... Кто продает, кто сам курит...

— Черт знает что! Ну, мак выращивать тайно — еще понятно. А запрещать картошку?

— И картошку запрещают. Мне положено всего десять соток на усадьбе. А у меня семья, скотина... Чем кормить? Купить негде. Вот и лазаешь по тайге, корчуешь ее, и сам уродуешься, и жену уродуешь...

— В город перебирайся.

— В городе на мою зарплату не проживешь... А здесь — тайга кормит. Хорошо!

— Уродоваться из-за десяти возов картошки? Чего ж хорошего?

Сучков ощупал меня своими колючими зелеными глазами, улыбнулся.

— Чудак человек! Ты когда-нибудь охотился? Или, может, рыбу ловил? Так вот, разве измеряешь добычу по труду, который затратишь на нее? Так и здесь. Ведь это — та же добыча. В ней никому отчета не даешь, а это — главное. Ты походи по тайге, сколько в ней таких лоскутов найдешь.

— В единоличники тянутся?

— Да нет, не то. Предложи им разойтись из артели — не уйдут: тяжело будет.

— Так сказать, пережитки прошлого,— поспешил я сделать определение.

— Модный ярлык! — воскликнул Сучков.— Не то. Вот у наших удэгейцев есть любопытная шуточная пляска — «хэ-ку» называется. Весь смысл ее вот в чем. Жена вприсядку под припевку «хэ-ку, хэ-ку» гоняется за мужем — выпроваживает его в тайгу. А он отговаривается: мол, и так все есть — и рыба и мясо. Нет, ты все-таки иди, добывай... Не ровен час... Так вот и у меня совесть вроде той жены — не дает покоя.

— Старая припевка,— заметил я.

— Припевка-то старая, да смысл не стареет,— ответил Сучков и хмуро уставился в воду.

Мне хотелось спорить с Сучковым, сбить его самоуверенность, но я не находил, как возразить ему, и злился на свою беспомощность.

А лодка плыла медленно по густо заросшей травой воде. По берегам протоки стояла такая пышная растительность, что ни клочка черной землицы нигде не заметно было: все — и небо, и землю, и воду — скрыла буйная сочная зелень. Развесистые кудлатые лапы кедров, длинные перистые листья маньчжурского ореха, словно крылья огромной зеленой птицы, коричневато-синяя, крепкая, как витое арматурное железо, виноградная лоза с густыми пачками зубчатых листьев — все это лезло на глаза, тянулось в небо, отражалось в слюдяной воде, все поражало богатством, роскошью и какой-то тихой, затаенной радостью жизни. И только мы, владельцы всего этого богатства, сидели в долбленой лодочке и хмурились.

Мы подплывали к длинному лесному озеру. Сучков пристально всматривался сквозь густой и частый камыш,

отделявший протоку от озера, и вдруг, изменившись в голосе, зашипел на меня:

— Голову нагни! Ниже, ниже...

Цепляясь за камыш, он толчками подводил оморочку к берегу. Что-то в камышах зашлепало. Мы увидели собаку.

— Пошел, Тузик! Убью, сволочь!

Тузик звонко тявкнул, и небольшой табунок уток поднялся над озером. Сучков весь так и потянулся за ним. На его жилистой шее резко обозначился острый кадык.

— Утята! — вдруг радостно крикнул он, глядя, как табунок, не набрав высоты, почти отвесно плюхнулся в воду.

Мы вылезли на берег. Отсюда, из-за тальникового куста хорошо было видно все озеро. Заходящее солнце бросало на него длинные тени от прибрежных деревьев, они темными контурами лежали на желтовато-бронзовой воде, отчего озеро казалось пегим. Табунок уток сиротливо плавал посредине. Старая утка иногда поднималась на хвосте, размахивала крыльями и кричала, видимо жалея, что ее питомцы плохие летуны.

— Слушай, как-то неловко на утят охотиться,— сказал я Сучкову.— Давай еще что-нибудь поищем.

— Да ты что! Они же совсем взрослые,— зашептал Сучков.— Видишь, как они озираются? Стой здесь, а я с того края зайду: оттуда их достать можно.— И, не дожидаясь моего ответа, он, легко подпрыгивая, побежал вдоль берега, укрываясь за деревьями.

Я стоял в кустах и, кажется, впервые за свою жизнь не испытывал охотничьего азарта. Я даже обрадовался, когда увидел, как табунок утят, ведомый уткой, стал быстро удаляться от того берега, на который выходил Сучков.

Тузик бросился в воду.

— Ах, чтоб тебе сдохнуть! — громко выругался Сучков и выстрелил.

Расстояние до уток было слишком велико: дробь не долетела. Но Тузик быстро подплывал к табунку. Чувствуя опасность у берега и желая, очевидно, оставить середину озера утятам, утка вдруг поднялась и полетела низко над водой по направлению к собаке. Тузик несколько раз выпрыгнул из воды в погоне за уткой. Но вот грохнул выстрел, и утка камнем упала в воду.

Оттащив ее хозяину, Тузик бросился за утятами. Весь табун быстро пошел к берегу, оставляя маленькие волны, и наконец скрылся [redacted] камышах. Вдруг я заметил, как в прибрежной траве Тузик, сделав несколько прыжков, припадал на передние лапы и махал хвостом. Сучков, размахивая руками, бежал к Тузику.

«Давит, утят давит!» — сообразил я и бросился к тому месту.

Я заметил, как Сучков подобрал одного утенка, потом второго и кричал в азарте:

— Пиль. Тузик! Фютть-тю его!

У меня сильно колотилось сердце, как от испуга. Мне хотелось крикнуть: «Стой! Не смей!» Но я бежал, стиснув зубы.

Шагах в десяти от меня вынырнул из травы утенок. Раскрыв клюв и растопырив плохо оперившиеся крылья, он бросился не разбирая куда. Тузик в два прыжка нагнал его и, придавив лапой, схватил зубами. Я видел, как утенок отчаянно махал свободным крылом и жалобно пищал.

— Долой! Пошел, дьявол! — заорал я и со всего маху ударил Тузика плашмя ружейной ложей.

Тузик взвизгнул, бросил утенка и, виновато махая хвостом, стоял в недоумении.

— Ты что, с ума сошел! — спросил Сучков, подбегая, но, встретившись со мной взглядом, вдруг угрюмо потупился и сказал огорченно: — Что ж, бить — так уж бей меня... В чем же собака виновата?

Гнев, охвативший меня, словно водой смыло. Я растерянно молчал.

Сучков поднял утенка и пошел к оморочке.

Весь обратный путь мы ехали молча, стараясь не глядеть друг на друга. И только одну фразу задумчиво произнес Сучков, впрочем, более обращаясь к самому себе:

— Не заметишь, как и озвереешь...

Передо мной в оморочке валялись задавленные утята; я перевел взгляд с утят на Сучкова и произнес:

— Что у волка в зубах, то Егорий дал... Что же плакаться?

С минуту он сумрачно смотрел на меня исподлобья:

— Со стороны всегда виднее. А ты пробовал в моей шкуре пожить?

Я промолчал.

У кривуна, недалеко от избы Сучкова, я попросил высадить меня.

— Куда же ты? А ночевать? — спросил он.

— Я у лесника... Обещал ему еще утром, — соврал я и вылез из оморочки.

— Уток-то возьми! Твоя половина, — крикнул он мне вдогонку.

— Не надо, — ответил я, не оглядываясь, и пошел прочь от Сучкова.

1954

МАША

Из окна приземистой дощатой конторы Маше хорошо видна стройка: сначала две толстые, короткие, словно срубленные, трубы — их пока еще кладут,— потом широкая красная коробка банно-прачечной; чуть сбоку, перепадом к Амуру идет будущая улица, настолько перекопанная траншеями и котлованами, что земляные отвалы подходят под самые крыши строящихся двухэтажных домов. А там, под откосом, у амурского берега, поднимается стальная башня, в пролетах которой лепятся, словно ласточки, маляры. В лучах предзакатного солнца они выглядят совершенно черными.

Маша старается угадать, который из них Федя и далеко ли от него работает Зинка. «Уж она не отстанет,— думает Маша про Зинку.— На небо и то увяжется за Федей». Маша знает, что маляры красят эту башню черной краской с необычным названием кузбасслак. Почему кузбасслак? Неужели эту краску привозят из Кузбасса сюда на Амур? Надо непременно спросить у Феди. Он, должно быть, знает.

В последнее время Маша была влюблена в Федю, бригадира маляров. Не так уж чтоб по-настоящему, а мысленно, как говорит она. Маша старалась отыскать в человеке какую-либо примечательную особенность и уж потом влюблялась в него. Но никто, конечно, и не догадывался об этом. Федя Маше нравился тем, что был бесстрашным верхолазом, работал на стройке Варшавского дворца и имел за это польскую похвальную грамоту. Однажды Маша видела в руках у Феди книжку, закладкой которой служила денежная польская ассигнация по названию «злот». Правда, вокруг Феди в последнее время все

увивалась Зинка, приехавшая из какой-то таежной экспедиции. Скандальная особа. Но Маша и не думала вступать с ней в соперничество: ведь она же влюблена просто так, мысленно.

— Маша, пронормируй наряды! — прерывает ее размышления прораб Булкин.

Маша не сразу понимает, что от нее хотят. С минуту она смотрит своими робкими зеленоватыми глазами на Булкина. На нем черная спецовка и черная, круглая, какая-то древняя шляпа. Из-под шляпы у Булкина выбиваются прямые и темные пряди волос, и когда он сидит за столом в этом черном одеянии, то здорово напоминает монаха, как представляют их на сцене. А шляпа у него похожа на черепенник, какие раньше продавали на Рязанщине, откуда приехала Маша. «Интересно, за что бы можно было полюбить Булкина?» — думает Маша и старательно ищет в нем какую-нибудь примечательную черту. Но ничего особенного в нем не находит.

— Маша, я кому сказал! — начинает сердиться прораб.— Опять ворон ловишь?

Маша наконец встает, торопливой виноватой походкой идет к прорабскому столу и берет толстую пачку истертых на сгибах нарядов.

— Да построже сверяй с контрольными замерами,— предупреждает ее Булкин.— А то они понаписывают. Знаю я их.

— Хорошо,— с готовностью отвечает Маша и уходит за свой стол.

«Они» для Булкина — бригадиры. Маша знает, что некоторые бригадиры из отстающих в день закрытия нарядов отчаянно ругаются с Булкиным, а ее обзывают конторским сусликом.

— А ты не сердись на них,— утешал ее Булкин.— Это они из уважения тебя обзывают. Строитель без ругани — что телега без колес: с места не тронется.

И Маша не сердилась.

Новую стопку нарядов она просматривала тщательно, сверяя с контрольными замерами. А Булкин тем временем распекал вызванного бригадира каменщиков со смешной фамилией — Перебейнос.

— Ну зачем ты приписал в наряде — приготовление раствора? — наседал на него прораб.— Ведь тебе же раствор готовый привозят!

— Привозят! А что это за раствор? В нем извести мало.

— А ты что, известь добавляешь?

— Нет.

— Так зачем же пишешь — приготовление раствора? Кому ты очки втираешь?

— Плохой он, ваш раствор,— обороняется упрямый Перебейнос.— Мы его перелопачиваем.

— Да ведь всем же одинаковый раствор привозят. И тебе, и Пастухову, и Галкину. Но они-то не требуют оплаты за приготовление раствора?!

У Пастухова — бригада передовая. И когда Булкин читает кому-нибудь нотацию, то обязательно приводит в пример Пастухова. И наверное, поэтому Маша была одно время влюблена в Пастухова.

В минуты, когда Булкин сердит, Маша проверяет наряды особенно придирчиво. Вот и теперь она отложила наряд маляров в сторону. «Опять Зинка подводит Федю»,— с досадой подумала Маша. Последняя строчка в наряде была дописана Зинкиной рукой: прямые, высокие буквы резко отличались от мелкого Фединого почерка. Зинка писала о подноске воды на триста метров для промывки стальных ферм. «Вот фантазерка! Ведь от башни до Амура и ста метров не будет,— подумала Маша.— И опять Феде краснеть...»

Дождавшись, когда Перебейнос ушел, Маша подала прорабу наряд:

— У маляров завышена подноска воды.

— А, черт побери! — воскликнул Булкин и бросил карандаш на стол так, будто чему-то обрадовался.— Я сейчас.

Он сильно хлопнул дверью и спустился к башне под откос так стремительно, что пыль завихрилась следом.

«Начинается»,— испуганно подумала Маша и живо представила себе, как Булкин вызовет сюда Федю и начнет распекать его. А Федя будет стоять, неуклюже опустив большие красные руки, и смотреть исподлобья, как школьник в учительской. И Маше будет стыдно за него.

Но от башни сюда, на бугор, быстро шла Зинка. Маша видела, как она резко выбрасывала согнутые острые колени. «Точно вприсядку пляшет»,— невольно подвернулось веселое сравнение. Но Маше было совсем не

весело. «Такая уж скандальная должность,— думала она.— Куда же деваться!»

Зинка не вошла, а ворвалась, как амурский низовой ветер. Аж стены затряслись от дверного удара.

— Сидишь? — ехидно спросила она, медленно приближаясь к Машиному столу.

Заляпанная краской фуфайка на ней была распахнута, а под черным свитером тяжело вздымалась высокая Зинкина грудь. И даже круглое озорное лицо ее точно вытянулось от негодования.

— Значит, за столом тебе виднее?

— Зина, милая! Но ведь согласись сама — от Амура до башни и ста метров не будет.

— Во-первых, я тебе не милая,— отрезала Зинка, поджимая губы.— А во-вторых, ты бы сама попробовала таскать эту воду... Там бугор глинистый — не вылезешь. В обход надо... Понимаешь ты, копеечная твоя душа! — повысила она голос.

— Но зачем же шуметь? Давай разберемся спокойно.

— Ах, спокойно! — насмешливо воскликнула Зинка.— Скажите на милость, тихоня какая! Она шума боится...— Рванувшись к ней, Зинка вплотную приблизила свое обветренное, красное лицо и спросила: — Ты зачем сюда приехала? Молчишь? Люди город строят, а ты учитывать? По комсомольской-то путевке в учетчицы попала. Теплое местечко нашла... Эх ты, доброволец! Таких, как вы, добровольцев презирать надо.— Она резко оборвала свою речь и вышла, хлопнув дверью.

Когда Булкин вошел в контору, Маша отвернулась к окну и, чтобы подавить всхлипывания, стала шумно сморкаться.

— Николай Иванович,— произнесла она как можно спокойнее, все еще глядя в окно,— я больше не буду работать в конторе.

— Это что еще за новость? — Булкин подошел к ней.

— Никакая это не новость.— Маша повернулась, и прораб увидел ее нахмуренное и сердитое лицо.— Я сюда ехала работать на стройке.

— А где же ты работаешь?

— В конторе. А я хочу штукатурить или малярить... Словом, дело делать.

— Черт побери! — воскликнул Булкин, всплеснув руками.— Может, и мне взять в руки сокол или кельму? Перестать бездельничать?

— Вы — это другое дело. Вы — инженер. Вас учили строить. А я педучилище окончила, а не курсы нормировщиков. И потом, я же по комсомольской путевке.

— Ну и что ж? У тебя вон рука болит.

Маша посмотрела на свою правую руку с искривленными пальцами и уродливыми красными ногтями.

— Зажила у меня рука. Хватит уж.

Булкин забегал по конторе.

— Черт побери! — говорил он на ходу, глядя куда-то на пол.— Ведь это что ж получается? В штукатуры, в маляры агитируют кого угодно... И в газетах пишут. А про нормировщиков ни гугу. А кто такой нормировщик? Эксплуататор, что ли? Кто он такой, я вас спрашиваю? Труженик. Даже не деятель. Понятно? Значит, никуда ты не пойдешь, и выбрось из головы свои мысли.— Булкин остановился перед Машей и, сердито наморщив свой выпуклый лоб, уставился на нее карими глазками. Он ждал ответа и вдруг заметил, как стали краснеть [redacted] дергаться Машины веки и первые слезы угрожающе поползли на щеки.— Ну, ну, ладно! — примирительно вскинул он руку.— Ладно, говорю, ладно.— Булкин снова сорвался и зашагал, глядя на пол.— Вот оно дело-то какое получается, да,— рассуждал он сам с собой.— Если мне ее отпустить, значит, самому надо табели составлять и за наряды садиться... А кого я на свое место поставлю? Может, эту скандалистку из маляров? — спросил он Машу.

— Я не знаю,— тихо ответила она.

— Да, ты не знаешь. Ты, Маша, ничего не знаешь...— Булкин внезапно умолк, глаза его сухо заблестели, а на лоб снова поползли бугристые валики, стиснутые морщинами. Но выражение лица его было растерянным. И вдруг он с трудом выговорил, словно выдавил слова: — Привык я к тебе... Вот оно, дело-то какое.— Булкин сухо, как-то надрывно кашлянул [redacted] кулак и быстро вышел.

* * *

Маша познакомилась с Булкиным три месяца назад, когда одна-одинешенька приехала на перевалочную станцию Силки. В дороге Маше прибило руку вагонной дверью. Пальцы были сильно повреждены, пришлось сойти с поезда и пролежать несколько дней [redacted] больнице. Так [redacted] отстала она от своей комсомольской группы.

В тот вечер как раз на станции отгружал цемент на

свой участок Булкин. Он встретил Машу любезно и, глядя на ее забинтованную и подвязанную руку, все шутил:

— Бедный подранок, отстал от своей утиной стаи.

Он взял Машины вещи: чемоданчик, рюкзачок и даже сетки-авоськи. Маше ничего не оставил.

— Вам нельзя, крылышко зашибете.— А сам все по-петушиному забегáл вперед.— Вслед ступайте, утеночек. Меньше испачкаетесь.

Маша смеялась вместе с Булкиным. Ей понравилась эта суетливая обходительность прораба и весь его простецкий, какой-то домашний вид. «Хороший он,— думала она со свойственной ей сердечностью.— И смешной такой в своей древней шляпе».

Булкин усадил Машу вместе с собой в кабинку могучего «МАЗа». Дорога была невообразимо грязная, тряская. Но Булкин бережно поддерживал ее больную руку и предупреждал, где будет трясти и как нужно держаться за скобу здоровой рукой. Маше было с ним легко, просто, как с давнишним знакомым, и она всю дорогу рассказывала ему про свою Рязанщину, про то, как она решилась ехать на новостройку.

— Я люблю больше всего в жизни детей. Со взрослыми я сама чувствую себя школьницей,— призналась она прорабу.— Учительницей мечтала стать. А тут вдруг призыв комсомола — на стройки ехать. И знаете, услышала я это по радио — и мысль у меня вроде вспыхнула: «А что, если и мне поехать?» Я сначала даже испугалась такой внезапной мысли, прогнать ее старалась. Да куда там! Разве прогонишь собственные мысли? Встретила я, помню, свою подружку, одноклассницу, да и призналась ей. Вот, говорю, и хочется поехать на Дальний Восток, и боязно. Решительная она. Обняла она меня. «Маша, говорит, милая, и со мной такое же творится! Поедем, поедем... И чтоб на самый Дальний Восток!» Посмеялись мы, и весело нам стало и так радостно — куда весь страх пропал. Подали мы заявление. А с нами за компанию еще четверо. В училище наше заявление как снег на голову. Ведь мы же выпускники были и назначение получили. Вызывают нас на педсовет. «Вы все продумали?» — спрашивают. «Все, все»,— отвечаем. «Так вы же учителя, а не строители!» — «А мы, говорим, сами на пустом месте и химический комбинат построим и школу. А потом детей учить станем в ней». И такой счастливой нам

показалась мысль — самим построить школу, самим и учить [redacted] ней,— что мы непременно мечтали приехать [redacted] глухое место, [redacted] тайгу...

Увлеченная воспоминаниями, Маша недовольно встречает посетителей. Ввалились целой толпой штукатуры — шумные, веселые.

— Баста! Один дом закончили. Ну-ка, что мы там заработали?

Маша взяла у бригадира наряды, раскрыла «Единицы норм и расценок» [redacted] начала подсчитывать.

— Братцы! — восклицали штукатуры.— В этой цифири шею сломать можно.

— Это же так просто,— смущенно поясняла Маша.— Сначала нужно определить норму времени, потом выработки, [redacted] потом уж и расценки.

— Хо-хо! Ничего себе простота,— смеялись ребята.

Заработок у них получился высокий; довольные, они, уходя, говорили:

— Хорошо считаешь. С получки конфет купим.

Потом пришел бригадир разнорабочих, бровастый сумрачный крепыш, которого звали все на участке Серганом.

— Где прораб? — спросил он строго.

— Где-то на участке. А что?

— Ну вот, он где-то по участку бродит, а у меня рабочие отказываются землю копать.

— Почему?

— Определить надо категорию грунта.

— Ну что ж, пойдемте.— Маша встала из-за стола.

— А ты умеешь? — недоверчиво спросил Серган.

— Посмотрим.

Маша пришла на площадку, где копали ямы под столбчатый фундамент будущего дома. Она осмотрела несколько ям — грунт был глинистый, плотный, вперемешку с крупными булыжниками.

— Ну что ж, четвертая категория,— авторитетно сказала Маша.— Давайте проставлю в наряде.

Рабочие, удовлетворенные, загомонили.

— Ишь ты,— с довольной усмешкой заметил Серган.— Где ж ты обучалась этой премудрости?

«Где я обучалась? — думала Маша, возвращаясь в контору.— Вот здесь... Мало ли чему он обучил меня».

В конторе Маша снова вспоминает, как они ехали [redacted] тот вечер с Булкиным по лесной дороге. И как она все

рассказывала ему про мать и про сестренку Нинку. И снова в памяти перенеслась она в ту кабину грузовика, и слышится ей свой неторопливый ровный говор:

— Все хорошо, думала я, но как мне маму известить? А вдруг она не поймет меня? Помню, застала ее в огороде. Подошла к маме, она склонилась над грядкой. Кофточка на ней потемнела от пота, прилипла к спине. Как подумала я, что уеду от нее далеко-далеко, и [redacted] горле запершило. И такой она мне дорогой была [redacted] ту минуту, что и сказать не могу. «Мама,— говорю [redacted] тихонько,— а ведь я на Дальний Восток еду». Она вроде бы вздрогнула. Потом молча поднялась, а траву из фартука-то прямо на рассаду выронила. Посмотрела на меня так строго да только и сказала: «Ты взрослая уже, дочка». А дома-то все-таки не выдержала. Сели мы ужинать. Она не ест. Смотрит в миску, а глаза слезами наливаются. Обнялись мы тут [redacted] поплакали вместе. «На дело, говорю, нужное еду, мама».— «Я же понимаю. Поезжай, дочка, поезжай». А сама так и заливается слезами. «Ты уж на людях-то не плачь, а то неудобно...»

На Машу нахлынули эти воспоминания, такие яркие, волнующие, что она, сидя за столом в пустой конторе, не замечает, как давно уже закончился рабочий день и сумерки потихоньку вползают в подслеповатое окошко. Она сидит неподвижно, и видится ей огромный черный «МАЗ» — он идет по лесной ухабистой дороге, гудит и сотрясается. А по сторонам стоят сплошные высокие стены леса. И Маше кажется теперь, что ехали они не лесом, а по дну огромной траншеи. Потом видит она кабинку и себя с Булкиным рядом, как на экране в кино... А он все слушает, слушает. Какой терпеливый!

А как смешно было, когда он поскользнулся и поехал по глинистому откосу, вот здесь, возле конторы, и сел прямо в лужу вместе с чемоданом. Было совсем поздно. Булкин привел ее сюда [redacted] контору и сказал: «Будете спать [redacted] мой конуре. Коменданта теперь с семью кобелями не сыщешь».— «А вы где же?» — спросила Маша. «А [redacted] в палатке».

Конурой Булкина оказалась дощатая пристройка к конторе. В ней стояли койка, тумбочка и грубо сколоченная этажерка, заставленная книгами и справочниками. «Вот мое хозяйство. Не богато. Да мне одному и не надо большего». Булкин достал из чемодана чистые простыни, полотенце, положил все это на койку, пожелал Маше

спокойной ночи и ушел. И Маше долго еще сквозь сон чудилось, что она подпрыгивает в кабине грузовика, а Булкин бережно поддерживает ее.

«А где же он теперь? — думает Маша.— И рабочий день уже давно кончился, а наряды не подписаны».

Она замечает наконец, что сгущаются сумерки и давно уже пора домой в палатку. Маша встала из-за стола, заглянула в пристройку: может, Булкин там? Пусто. «Обидела я его, наверно, своими неуместными слезами,— думает Маша.— Он и так устал от этих нарядов, а тут еще со мной возись. Найти бы его, извиниться... Что же делать? Ведь и в конторе кому-то нужно работать. Тем более что привык он ко мне».

Маша вспоминает последнюю фразу Булкина и его вдруг охрипший голос, словно ему в это время горло перехватили пальцами. «Странный он какой,— думает Маша.— Я ведь тоже к нему привыкла. Но зачем же так волноваться?»

«А может быть, он влюбился в меня? — Эта мысль вспыхивает внезапно и ярко, как лампочка в сумеречной конторе. Но Маша пугливо гонит ее прочь.— Чего только не взбредет в голову. Он человек серьезный. А я что ж, подросток еще. Да и за что мы будем любить друг друга?»

Маша старается думать о Булкине, представить себе, как он жил, где работал. Но оказывается, кроме того, что ему уже перевалило за тридцать и что жена отказалась ехать сюда с ним и живет где-то в большом городе, Маша больше ничего про него не знает.

Наконец она закрывает контору и в наступивших сумерках идет домой. Палаточный лагерь, где живет Маша, лежит за изрытой увалистой сопкой. На этой высоте строится новый городской квартал; повсюду здесь навалены штабеля кирпича, бетонных блоков, плит. А из развороченной земли там и тут высятся зубчатыми уступами стены будущих домов. Бывшие владельцы этой высоты — могучие ясени, дубы, осокори, поверженные тягачами,— с великим трудом расставались с землей-матушкой: выкорчеванные деревья высоко подняли свои черные корни, словно хотели доказать, что они еще живы и неистребимы. В темноте эти корни казались Маше притаившимися косматыми зверями, поэтому она невольно обходила сопку.

По извилистой каменистой тропинке она быстро поднималась на высокий прибрежный утес. И вдруг на

высоте, возле приземистого курчавого ильма, Маша заметила одинокую темную фигуру. Она невольно отпрянула в сторону.

— Это я, Маша,— отозвался сидящий человек голосом Булкина.

Сперва Маша не узнала прораба: он был без шляпы и в темноте казался дюжим и высоким.

— Ты не торопишься? — спросил прораб оторопевшую Машу.

— Нет.

— Не хотите прогуляться вдоль Амура? — предложил он, неожиданно назвав ее на «вы».

Маша согласилась.

Они спустились по крутой тропинке на песчаную отмель. Здесь, у самой речной кромки, они остановились. Река тихо плескалась мелкими волнами, словно огромная рыба шевелила плавниками. Ветра совсем не было, и оттого казалось, что все кругом тихо-тихо засыпает. И только на далеком невидимом острове жалобно и торопливо кричал куличок: пить, пить, пить!

— Я была неправа,— сказала Маша.— Извините.

— Ах, Маша! Дело совсем не в том! — воскликнул Булкин, беря ее под руку, и заговорил горячо, все более волнуясь: — Вас ни в чем нельзя обвинить. У вас светлая, чистая душа верящего в добро человека. Вы оставили школу, призвание свое и поехали за тридевять земель в тайгу на неизвестную вам стройку. Поехали потому, что совесть велит вам так поступать. И вы хотите, чтобы все это совершалось не по нужде, а радостно, душевно. И чтоб все было светлым — не только то, во имя чего вы приехали, но и то, чем вы живете, дышите. Ведь мы же новый город строим! Это новые квартиры, новые улицы, театры, парки... Красоту новую создаем. А не все люди еще это понимают и несут в нашу жизнь и грязь, и сквернословие, и обман. И неустроенность такая кругом...

С минуту они помолчали.

— Мы сами во всем виноваты,— продолжал Булкин.— Мало мы обращаем на это внимание. Нам все некогда, все торопимся. Не успели еще просеку под дорогу прорубить, а город уже строим. В ином месте и дом новый поставим, а к нему ни подъехать, ни подойти — утонешь в грязи. Мол, временные трудности! А сколько эти временные трудности поглощают сил и средств? И тотчас их используют ловкие люди. И в наряде прикидку

сделают — выгоду на этом ищут. Вот и шумишь целыми днями. И так обидно бывает, когда тот человек, которого ты любишь, и знать не хочет о твоей маете. Ему, видишь ли, красивой жизни нужно, радостной... А та жизнь, которой мы живем, выходит, по его мнению, некрасивой и нерадостной... Так вот и остается человек одиноким.

Маша не все понимала из сказанного, но то, что говорил прораб, волновало. Она живо представила маленькую дощатую пристройку, похожую на большой ящик, одинокую койку, некрашеную, грубо сколоченную этажерку... И ей стало жаль его. «Чудной,— думала Маша,— но говорит замечательно. А ведь за это можно полюбить его!» — внезапно сообразила она; и оттого что пришла в голову такая хорошая мысль, ей стало радостно и захотелось как-то подбодрить Булкина. «Ну отчего он такой грустный? — спрашивала себя Маша.— Ведь я же люблю его, люблю. Ведь между нами зародилась любовь!» Но что нужно говорить в таких случаях, Маша совершенно не знала.

— Расскажите что-нибудь веселое,— попросила она.

Булкин посмотрел на нее долгим внимательным взглядом и, глубоко вздохнув, хмуро произнес:

— Заговорился я совсем, вот оно, дело-то какое. Пойдемте, Машенька, по домам.

Они долго поднимались на высокий прибрежный утес. Все было по-прежнему тихо, и лишь торопливо и жалобно кричал им вслед одинокий куличок: пить, пить, пить...

1957

ВСТРЕЧА С ОГНЕМ

— Ну, молодой человек, вам повезло,— начальник отдела кадров Амурстали снял очки и, слегка откинувшись назад, как это делают грузные люди, встал, тяжело опираясь на край стола.— Поздравляю!

Женя Бутягин схватил обеими руками протянутую ему короткую мягкую ладонь и сильно покраснел.

— Похвальное чувство волнения! — добродушно басил начальник.— Натурально. К печи идете... К мартену! Да еще подручным к Венюкову!

Человек, которому «повезло», был дюжий восемнадцатилетний парень в суконной куртке, сильно вытертой на локтях. Он совсем недавно окончил десятый класс, и если смотреть внимательней, то можно заметить на его накладных карманах замытые чернильные пятна. Он весь сиял — от застежек-молний до корней белесых вьющихся волос. А что же вы хотите? Попробуйте попасть в подручные к известному сталевару!

В заводской проходной новичку выписали разовый пропуск, и он в мечтах своих уже картинно стоял с поднятой рукой возле заслонки, всматривался в печь сквозь синие очки... Все вокруг застыли, ждут его сигнала. Он махнет рукой — и сталь пойдет с ревом, с искрами... Уф, хорошо!

Женя и раньше бывал в цехе со школьной экскурсией, но никогда ему не казался цех таким величественным, огромным. Солнце врывалось сквозь фонари только в отдаленные незакопченные стекла. Редкие, но мощные пучки света прорезали синеватую дымку высотного пространства цеха и упирались в подкрановые балки. Снизу лучи были похожи на раскаленные брусья, вылившиеся

из огнедышащих мартеновских печей. Цех казался безлюдным. С мягким шумом скользили ажурные краны, переносящие в толстых крюках разливочные формы с болванками свежесваренной стали. Малиновые тюбики болванок, весом тонны в три каждая, устанавливались правильными рядками на платформах, и в сумрачное пространство цеха плыли от них теплые ласковые волны с легким запахом серы и прокаленной земли.

Женя поднялся на высокий помост — туда, где должны быть сталевары. Здесь так же, как и внизу, все громыхало, шипело, ухало, распространяя кругом пронзительный лязг металла и упругие волны горячего воздуха. В маленьких подвесных кабинках плавали на головокружительной высоте незаметные крановщики, кое-где на вагонетках проезжали формовщики и грузчики да перед ревущими печами сновали с лопатами в руках сталевары.

— Приготовиться к спуску стали! — загремел над самым ухом Евгения железный голос, и он испуганно шарахнулся в сторону. «Фу-ты, микрофона испугался»,— конфузливо подумал Женя.

Напротив первой мартеновской печи стояла железная будка. Женя постучался в легкую листовую дверь и вошел, не дожидаясь разрешения. Будка оказалась лабораторией. У стола над микроскопом сидела девушка в темной косынке. Перед нею стояли ванночки с водой, пробирки, валялись стальные блинчики.

— Сюда нельзя входить! — строго сказала она, отрываясь от микроскопа.

— Мне бы обер-мастера Елкина или начальника смены,— робко попросил Женя.

Коренастый седоусый человек в черной, лоснящейся от копоти кепке, рассматривавший стальные блинчики, обернулся к Жене и сказал:

— Я обер-мастер.

— У меня вот направление к вам из отдела кадров.— Женя поспешно вынул из кармана бумажку и подал Елкину.

Тот прочел направление, внимательно осмотрел Женю и наконец произнес:

— Добро. Пошли за мной!

Поодаль от лаборатории стояла такая же железная будка — контора цеха. На скамейках сидело четверо рабочих: у каждого к козырьку были прикручены про-

волокой синие очки, а козырьки лихо заломлены чуть ли не на затылки. Один из них в свитере, когда-то, видать, белом, а теперь насквозь прокопченном, оказался Венюковым.

— Пополнение тебе привел,— обратился к нему обер-мастер.— На место Горюхина прислали.

Венюков, так же как давеча обер-мастер, внимательно осмотрел Женю быстрыми серыми глазами, словно ощупывая его, и спросил:

— Где работал?

— Я не работал еще... Я только что десятый класс окончил,— ответил Женя и снова почувствовал, что краснеет.

— Фюйть! — свистнул сидевший рядом с Венюковым чернявый парень в военной фуражке.— На трудовое воспитание к нам, значит? Так сказать, за производственной характеристикой...

— Попридержись! — толкнул соседа в фуражке Венюков и, все так же придирчиво глядя на Женю, спросил: — А вы лопатой шевелить умеете?

— Приходилось,— Женя нахмурился.

— Вот что, ребята,— заметил обер-мастер,— вы эти вступительные экзамены до другого раза отложите, а сейчас — к печам.

— Иван Фролович! — Венюков развел руками.— Я не против культурного пополнения. Но ведь был же у нас один техник без пяти минут, а магнезит в печку не мог забросить... Послужную карту нам испортил; опять же хлопоты в отделе кадров.

— Вы это о Горюхине? — Обер-мастер дернул за козырек кепку и нахлобучил ее на самые брови, в отличие от усов, рыжие.— Мало ли кто когда сбегал. А если парень со всей душой идет?

— А я про что? — Венюков снова развел руками; в его светлых глазах мелькнула лукавая насмешка.— Хлопцы, слышали? — спросил он своих подручных.— А теперь знакомиться. Как тебя, друг, звать-величать? То есть, вас...

Женя представился. Парень в военной фуражке встал во весь свой длинный рост и как-то смешно дунул в хрящеватый с горбинкой нос, словно хотел сдуть Женю.

— Жора Старостин,— объявил он и захватил Женину руку своими черными жесткими пальцами.

«Где-то я видел его,— подумал Женя.— И эти крупные, навыкате глаза с синеватыми белками, и эта высокая горбатая переносица с выпирающим из-под кожи хрящом... Знакомое лицо! Но где же, где я его видел?»

— Что загляделся на меня? Может, понравился? — спросил Жора и озорно подмигнул: — Смотри, кабы жаловаться не пришлось.

Венюков достал из настенного железного ящика, похожего на аптечку, синие очки и подал их Жене.

— Сам прикрепишь или помочь? — насмешливо спросил Жора.

Женя пропустил мимо ушей эту насмешку; очки он прикручивал к козырьку проволокой старательно и долго.

— Как в сапожной пришивает,— заметил неугомонный Старостин.— Может, тебе конец помылить?

— Ну, пошли, братцы! — Венюков вразвалочку, хозяйской походкой двинулся на выход.

За ним подались другие. Последним вышел Женя.

По рельсам перед мартеновскими печами ходила взад-вперед завалочная машина, похожая на железнодорожную платформу, поставленную поперек пути; время от времени она поднимала огромный чугунный ковш, наполненный какими-то слитками, и совала его в очередное садочное окно печи. Из окна вырывались ослепительно яркие языки голодного пламени и жадно лизали стальные заслонки. Печи ревели то яростно, протяжным утробным ревом, то прерывисто и тревожно: «Уррру-у! Ту-ту-ту!..»

Женя, пораженный силой рева и ослепительным пламенем печей, стоял как зачарованный. Его легонько толкнули в спину и над самым ухом громко крикнули:

— Интересно?

— Ага.— Женя повернулся и встретился с насмешливо сощурившимся Жорой. И только тут Женя спохватился, что он позабыл на минуту о своих напарниках, они замешивали лопатами какой-то серый раствор, похожий на штукатурку.

— Ребята, слышали — ему интересно! — крикнул Жора и снова резко дунул в свой хрящеватый нос.— А эта штука для тебя неинтересна? — И он подал Жене из-за спины лопату, точно букет цветов.— Может, возьмешь?

— Ну конечно,— Женя взял лопату и, смущенный, подошел к Венюкову.

Тот загадочно улыбнулся.

— Влечет наша стихия?

— Влечет.

— Ну-ну... А теперь смотри сюда. Вот это — магнезит, а в этой куче — огнеупорная глина. Если перемешать их, получится такая адская смесь, что ей и огонь нипочем.— Он взял на лопату смесь, подошел к открытой печной заслонке и крикнул: — Смотри!

Женя сквозь синие очки видел, как небольшой комочек серой смеси полетел в бушующее огневое пекло и ловко прилепился в печном небе на месте выбитого кирпича.

— Понял? — крикнул Венюков.— А теперь действуй.

Женя набрал раствор на лопату, подошел к печи и сквозь открытую заслонку стал смотреть на белые раскаленные всплески кипящей стали. Вдруг он заметил, как один из стальных языков лизнул дальний край печного свода и в белом мареве заалела ранкой выбоина. Женя подался вперед, замахнулся и... выронив лопату, отскочил как ужаленный. В своем усердии он забыл об осторожности и шагнул слишком близко к печи — кожа на лице, на руках теперь сильно болела, и было такое ощущение, словно ее кто-то натягивал.

Старостин, схватившись за живот, смеялся и вытанцовывал затейливые кренделя. Остальные сдержанно улыбались и наблюдали выжидательно. Женя стиснул зубы и, набрав раствор, снова пошел к печи.

— Стой! — остановил его Венюков.— Горячностью тут не возьмешь. Готовь глину да приглядывайся.

Женя долго и усердно смешивал магнезит с глиной и часто замечал, как вызывающе поглядывает на него Жора, и чувство острой неприязни к этому сутулому горбоносому парню все нарастало в нем. «Чего он хочет? Смотрит на меня, как будто я ему сто рублей должен»,— думал Женя. Черные с синеватыми белками глаза раздражали его и смущали.

Венюков взял маленькую стальную ложку на длинном стержне, зачерпнул ею из печи кипящий металл и позвал Женю:

— Смотри, как проба берется.

Из ложки Венюков стал сливать сталь на плиту. Во все стороны полетели россыпью ослепительные искры.

Женя от неожиданности зажмурился. Венюков маленькой лопатой выбил из этого искристого ниспадающего ручейка несколько блинчиков и бросил их в котелок с водой.

— Видишь искры? — спросил Венюков.— Чем они мельче, тем сталь готовее. Замечай!

— За поглядки деньги платят! — крикнул Жора и, подав котелок Жене, приказал: — Неси в лабораторию.

Женя покорно взял котелок и пошел.

— Быстрее! — крикнул ему вслед Жора.

«Вот прилепился, пластырь,— тоскливо думал Женя и погрозился про себя, скорее от отчаяния, чем от злости: — Ну, погоди, я ему еще покажу! Он меня узнает...»

Вернувшись к печам, Женя увидел необычную, яркую и жуткую картину: в одно из раскрытых окон хлынула из печи широким ручьем расплавленная лава; растекаясь по стальным плитам, она бросала тревожные густо-красные отсветы на фермы перекрытия, на стены, на людей. Жора схватился руками за голову, повернулся со страшным лицом к Жене и крикнул испуганно:

— Сталь пошла! Авария... Зови обер-мастера!

Женя опрометью бросился в лабораторию, рванул жестяную дверь и, столкнувшись с Елкиным на пороге, скороговоркой выпалил:

— Авария! Сталь пошла из печи — все заливает...

— Чего, чего? — Елкин, не дослушав Женю, отстранил его рукой и побежал к печам.

Их встретил оглушительным хохотом Жора, он, так же как и давеча, забавно вытанцовывал, взявшись за живот.

— Сукин ты сын! — обругал его Елкин.— Чего ты ржешь, как кобыляка! Иль позабыл, как сам-то плечом мульду ворочал?

— Кто через это не пройдет, тот не сталевар,— ответил Жора сквозь смех.

— Ты, Старостин, брось озоровать. И парня гонять нечего. Понял? — Елкин погрозил Старостину и, обернувшись к Жене, сказал: — Это не сталь, а шлак, накипь... Понял?

Женя кивнул головой и сердито посмотрел на Жору. Ах, как ему хотелось бы сейчас намять бока своему обидчику!

Подошедший Венюков длинным стержнем сдвинул

стальной лист, прикрывавший сточное окно, и расплавленная масса потекла, оставляя на остывающей поверхности маленькие острые язычки пламени, похожие на синие лепестки лилии.

Ободренный заступничеством обер-мастера, Женя остаток дня работал бдительно, готовый в любую минуту встретить подвох со стороны неугомонного Старостина. И все-таки он снова попал впросак.

Перед самой сменой Венюков ушел выбивать сточное окно и готовить сталь к спуску. Старостин зорко следил за кипящей сталью и, вдруг кивнув на завалочную машину, стоявшую возле второй печи, крикнул:

— Бутягин, убери мульду!

— А что это такое? — спросил Женя.

— Ковш завалочной машины, видишь — у самой заслонки, мешает.

Рабочий, управлявший завалочной машиной, куда-то ушел. И Жене ничего не оставалось делать, как выполнить распоряжение. Он подошел к ковшу и плечом хотел подвинуть пятитонную махину. Разумеется, мульда не подалась.

— Поднажми! — крикнул ему насмешливо Жора.

Чугунный ковш еще не успел как следует остыть и больно обжег Жене щеку. Он отошел от мульды с пылающим от огня и гнева лицом.

— И чему вас только в школе учили! — с этими словами Жора полез в кабину завалочной машины, потянул рукоять, и ковш плавно откатился назад.— Видишь, как надо! А ты целоваться полез с ковшом,— иронически изрек он, подходя к Жене.

— А вы... просто негодяй! — крикнул Женя с дрожью в голосе.

— Ишь ты! А он огрызаться умеет. С характером,— сказал Жора стоявшим поодаль подручным.— А я-то думал, что он все еще школьник.

— В другом месте я бы вам показал...— Женя исподлобья смерил глазами Старостина.

— А здесь чем плохо — пол железный? Так не бойся за мои кости, они выдержат. Ну, что ж остановился? Покажи класс. Кинь разок через себя.— Жора подзадоривающе сверкал белками.

Женя заметил, как выжидательно смотрели на него ребята, и понял, что отступать нельзя, если не хочешь потерять в их глазах уважение. Выкинув руки вперед и

слегка пригнувшись, он пошел на Старостина. Старостин тоже слегка пригнулся, выбросил руки и встретил Женю мягкими цепкими движениями кистей, словно заботливо ощупывал его. Наконец руки Старостина сплелись на Жениной спине в железный замок и стали давить на позвоночник со страшной силой. Женя рванулся и неожиданно почувствовал, как Старостин обмяк и упал на колени.

— Егор! — крикнул появившийся Венюков.— Ты что, с ума спятил?

— Ничего подобного,— лукаво ответил Жора, поднявшись.— Просто мы поразмяться решили.

— Ты брось валять дурака! — Венюков подозрительно посмотрел на Старостина.

— Вот пусть руки отсохнут, если вру! — Жора дурашливо перекрестился.— Он меня так скрутил, что ребро выдавил... Не верите? Вот оно, вот...— Жора схватил складку побуревшей гимнастерки и так искусно натянул ее, что получилось полное подобие выпуклого ребра. Затем он скорчил такую уморительную рожу, что все покатились со смеху.

Женя тоже смеялся со всеми вместе, впервые за этот день.

Венюков подошел к Жене и положил ему на плечо свою горячую влажную ладонь.

— А ты смелый, брат,— заговорил он.— Это хорошо. В нашем деле смелость — не последняя мерка.

— Ребята, зайдите-ка после смены в конторку,— позвал проходивший мимо Елкин.

И снова Женя наблюдал, как его напарники садились на отполированную прокопченными пиджаками и брюками скамью, с наслаждением курили, лихо сдвинув набекрень кепки с синими очками. Но теперь в этих спокойных и слегка усталых взглядах не выражалось к нему того повышенного, чуть насмешливого интереса, с которым они его встретили утром.

Старый мастер сидел на углу стола и долго разминал папироску, собираясь с мыслями.

— Мне, ребята, чтой-то вспомнилось, как я впервые к печи попал,— начал Елкин, напряженно сдвигая свои рыжие брови.— Мне еще повезло, дед кузнецом был, а кум отцов, Иван Митин,— сталеваром. Здоровый был мужчина, Митин-то: борода во всю грудь, рубаха — по колена, вечно распоясана и огромные бахилы на ногах.

Осмотрел он меня, шестнадцатилетнего паренька, и говорит: «Жидок к печи-то идти. Ступай-ка к деду зубило держать». Я и держал зубило целый год. А хотелось к печи; бывало, стоишь поодаль и смотришь как зачарованный. Дед жалел меня. Ты, говорит, Иванка, силу нагуливай: с одним желанием без силы возле печки, что с зубилом без кувалды — наметку и то не сделаешь. Оно и вправду. Работа раньше возле печи была адская, не то что теперь; печи загружали вручную: привесишь лопату к ролику, навалишь на нее тонны три шихты, потом берешься за рукоять, вывесишь шихту, как чугун на ухвате,— и в окно. Бывало, Митин, перед тем как взять подручного, протянет согнутый мизинец и говорит: «Берись обеими руками и тяни». Если разогнешь мизинец — возьмет, а нет — так не обессудь. Да... А теперь вот Егор на старый манер тоже решил экзамен на силу устроить. Я ведь все видел. Не с того конца подходишь, вот что я тебе скажу.

— Да какой там экзамен,— ответил Старостин, выпуская клубы дыма.— Просто поразмялись после работы. Ну, Женька меня и мотанул. Силища! Хвалю...

Елкин подозрительно покосился на Старостина и недоверчиво изрек:

— Тебя мотанешь.

— Не знаю, как это выразить, Иван Фролович, по-научному,— заметил обер-мастеру Венюков,— а попросту скажу вам: в рабочие люди тоже надо держать экзамен, и не только по знанию, но и по характеру. Характер в нашем звании должен быть железным. Ведь мы же рабочие, сталевары!..

— А ты что скажешь? — спросил Елкин у Жени.

Ребята насторожились.

— По-моему, они правы,— ответил Женя.

— Хо-хо! — Обер-мастер покачал головой и улыбнулся.— Гордые, черти. Может быть, и так, ребята. Ну, а теперь — по домам.

У выхода из конторы Женю задержал Старостин.

— Вот что, парень, приходи-ка после работы как-нибудь к нам, в секцию борьбы. Мне кажется, из тебя выйдет толк,— он по-мальчишески лукаво подмигнул Жене и протянул руку.— Ну, а за насмешки извини, брат. Мне просто хотелось знать, какая у тебя закваска.

Он стиснул руку Жени и пошел своей неторопливой валкой походкой. И Евгений вдруг вспомнил все: и эти

черные, навыкате глаза, и этот выпирающий из-под кожи хрящ на переносице, и этот могучий покатый загорбок. Да ведь это же Георгий Старостин, чемпион края по борьбе!.. Женя вспомнил, как на последнем первенстве Старостин перекинул через себя семипудового Тришкина, и тот плюхнулся на ковер, словно мешок.

«Значит, он нарочно упал на колени,— мелькнула мысль,— чтобы мой престиж поддержать... А я-то что про него думал? Эх!»

И Женя, смущенный и радостный, пошел из цеха, даже не завернув в душевую помыться.

1955

ДОЖДЬ БУДЕТ

1

Николай Иванович видел сон: пестрый коротконогий бык из Погорей, гремя длинной цепью, приклепанной к ноздревому кольцу, бежал на него по тропинке сквозь оржи. Николай Иванович бросился было в сторону, но запутался в оржах, упал и с ужасом почуял, как у него отнялись руки и ноги, словно ватными сделались,— ни встать, ни шевельнуться он уже не мог, только лежал и слушал, как гремела цепь. Наконец курчавый широкий лоб быка наплыл на лицо, заслонил собой свет...

— Ааы-ы-ы! — закричал Николай Иванович гортанным сдавленным криком и проснулся.

— Что ты, господь с тобой? Ай домовой навалился? — спрашивала, появившись в дверях спальни, мать Старенькая.

В руках у нее было ведро, длинная цепь от дужки тянулась по полу.

— У-уф! У-уф ты, черт возьми... Никак не отдышусь.— Николай Иванович расстегнул исподнюю рубаху, провел рукой по влажной, ходенем ходившей груди.— Бык мне приснился, Старенькая. Чуть не забодал...

— Какой бык-то? Белый, ай черный? Если черный, то к болезни.

— Пестрый... из Погорей.

— Пестрый? Пестрый я уж и не знаю к чему.

— Лоб у него курчавый; кудри черные, как у ихнего председателя Мышенкина. В носу кольцо, а от нее цепь длинная... Гремит! — Николай Иванович увидел вдруг цепь на полу.— Так это ты гремела цепью-то?

— За водой вот собралась, а цепь никак не привяжу. Глаза-то плохо видят,— смущенно оправдывалась мать

Старенькая.— Вроде узел сделаю, но потяну — отвязывается. Приклепал бы мусатку.— Она снова ушла на кухню.

— Ну да... Мне только мусатки сейчас приклепывать.

Николай Иванович встал с постели, вышел в залу, поглядел на часы, потом в окно. Небо было чистое — ни облачка.

— Чего смотришь? — выглядывая из кухни, спросила мать Старенькая.— Дождя, поди, ждешь? Хорошая будет погода.

— Откуда ты знаешь?

— По радио слыхала. Ночью передали — дождя не будет. Будут только эти самы... осадки.

— А что ж такое означают эти самые осадки?

— Роса!.. За ночь оседает. Осадок есть, а дождя нет.

— Ты у нас, Старенькая, прямо как ходячий календарь колхозника. Все растолковать сумеешь. Но к чему бы это бык меня бодал, а?

— Кабы черный бык, тогда к болезни. А этот пестрый? И волосы у него, говоришь, на лбу кучерявются, как у того председателя. Он чей же, этот бык-то?

— Того самого председателя... Из Погорей. Я еще торговал этого быка. Чистый холмогор!

— Значит, у тебя с ним сурьезность будет.

— С кем? С быком, что ли!

— С каким быком! Говоришь чего не надоть... С председателем!

— Если бы только с председателем... Это еще — горе не беда.

Николай Иванович мечтал о дожде. Дождь не столько нужен был для земли, как для него, председателя. Пойдет дождь — не будут сегодня жать пшеницу; а не пойдет — заставят. Да мало того, еще и на бюро вызовут. А там — подставляй загорбину. Уж накостыляют.

Жизнь неожиданно преподнесла Николаю Ивановичу «сурьезность», как говорит мать Старенькая. К первому июля приказали сверху составить виды на урожай. Бумагу прислали, которая заканчивалась грозными словами: «Лица, подписавшие отчет о видах на урожай, несут персональную ответственность за правильность сообщенных сведений...» Ничего себе! Попробуй по траве

определи эти «виды на урожай». Овес еще и в трубку не вышел, а просо только проклюнулось. И озимые еще цвели. Не будет дождя под налив — и сразу центнеров по семь не доберешь на гектаре. Вот и гадай, и неси ответственность...

Подали отчет. И себя не обидели, и от правды далеко не ушли. Но тут приехал сам Басманов: «Занизили!» И пошел пересчет... Опять по траве. «Сдашь два плана?» — «Без фуража останусь. Не могу».— «Сможешь!..»

А потом и решение на бюро вынесли: «В связи с повсеместным трудовым подъемом на полях страны и неблагоприятной погодой, бюро Вертишинского райкома призывает все колхозы подойти со всей серьезностью...» Словом, намекнули, что сдача хлеба сверх плана и теперь обязательна.

Пока суд да дело — и хлеба стали поспевать. Райком прислал второго секретаря, чтобы узаконить эту самую «сверхплановую». Но колхозники зашумели на собрании: «План получай и — баста... Хватит! Времена не те».

«Лучше бы ты меня лично оскорбил,— сказал, уезжая, второй секретарь Николаю Ивановичу.— Но ты плюнул в моем лице на бюро. Народ подговорил...» И в тот же вечер позвонил сам Басманов: «Отдельные коммунисты вели себя не по-партийному. Учти, Николай Иванович».

Николай Иванович знал, что теперь Басманов придерется к любому пустяку и вызовет на бюро. Ему нужен повод. Вчера приказал жать пшеницу лафетной жаткой. И жатку прислал от Мышенкина. Тот уже смахнул все озимые, почти зелеными уложил. А Николай Иванович все тянул: барометр стал падать. Дождя не миновать. Но когда он прольется?

— Старенькая, у тебя поясницу не ломит, случаем?

— С чего бы это ломить-то! Чай, не переневолилась.

— Ломит к дождю.

— Да я ж тебе сказала — не будет дождя.

— Не будет, не будет... Заладила! У тебя все не кстати. Когда не нужно, и поясница болит, и дождь идет,— ворчал Николай Иванович.

— Ах, погодой тебя возьми-то! Ты сам ноне пузыришься, как дождь.

Мать Старенькая доводилась ему тещей,— маленькая, округлая вся, с пухлыми, в красных прожилках щечками,

будто свеклой натертыми, она колобком каталась по четырем комнатам опустевшей председательской избы. Жена, фельдшер, уехала в область на сборы, дети — в лагерях. И Николай Иванович то ли от непривычного одиночества, то ли от вчерашней выпивки и жаркой, дурной ночи чувствовал тяжесть на сердце. И тоска давила.

Одевался он долго — всё не так было; сначала сапоги не смог натянуть — волглые, отсырели за ночь. Он плюнул и надел сандалеты. Потом галстук не поддавался, как ни завяжет — все узел кособоким получался. И галстук бросил. Надел расшитую рубашку... Уф ты! Инда лысина вспотела. Он провел рукой по лицу — щетина царапает, что проволока. Побриться бы. Да настроения нет — сосет под ложечкой, и шабаш.

— Старенькая, медку нацеди!

— Господи! Глаза-то еще не успел продрать как следует. А ему уж отраву подавай. Вон, выпей молочка парного!

— Этим добром ты теленка потчуй. А я уж давно вышел из телячьего возраста.

К завтраку зашел Тюрин, председатель сельсовета.

— Ты чего так набычился? Иль таракан во сне дорогу перебежал? — спросил он от порога.

— Всю ночь с быком лбами сшибались,— ответила из кухни мать Старенькая.— Видать, бык одолел, вот он и дуется.

— Ну, супротив Николая Ивановича и слон не устоит,— говорил, посмеиваясь, Тюрин.

Старенькая принесла поставку мутновато-желтого медку.

— Пей! — Николай Иванович налил по стакану.

Выпили.

— Что там на улице? Дождем не пахнет?

— Жарынь! — сказал Тюрин.— У меня ажно утроба перегрелась.

— Знаем, отчего она у тебя греется.

Тюрин сидел перед Николаем Ивановичем, как белый попугай перед фокусником, только головой крутил. Скажи, мол, куда надо клюнуть? Иль крикнуть что забавное? Все на Тюрине было белым: и натертые мелом парусиновые туфли, и молескиновые широкие брюки, и трикотажная рубашка, туго обтянувшая свесившуюся над ремнем «утробу». Соломенную шляпу с отвисшими полями, похожую на перевернутый ночной горшок, он любовно держал на коленях.

— Я к тебе по какому делу... Ячмень, значит, возим на заготовку. Машина за машиной по улице так и стригут. Пылища — ни черта не видать, как в тумане. А на улице ребятешки, телята, гуси, утки, птица всякая... Тут и давление может произойти. Тогда шоферу тюрьмы не миновать.

«О своем зяте беспокоишься. Видим, чуем»,— подумал Николай Иванович.

Тюрин выдал весной единственную дочь, а зять работал шофером.

— Ну так что? — спросил Николай Иванович.

— Вот я и хочу сегодня вечерком радиоузел использовать. Объявление сделать.

— Делай на здоровье. Ты не меньше моего имеешь на то права.

Тюрин занимал по совместительству еще и должность колхозного парторга. Правда, временно.

— Лафетную жатку привезли вчера? — спросил Николай Иванович.

— Доставили на поле. Ноне жать будем.

— Я вам пожну!

— Но ведь Басманов приказал!..

— А ты об чем думаешь? У нас шесть комбайнов на семьсот гектаров пшеницы. Мы ее за пять дней обмолотим. Вот только с ячменем разделаемся. А ты положи ее сейчас лафетной жаткой, ан завтра дожди. И пляши камаринскую. Ее тогда и зубами не выдерешь из жнивья-то.

— Да ведь я не то чтоб против... Поскольку привезли ее. А ты вчера в лугах был.

— Хоть бы колесо у нее отлетело.

— Колесо? — Тюрин покрутил свою соломенную шляпу на пальце.— Ну да, колесо очень возможно и отлетит. Дорога была дальняя. И жатка валяется в поле. Кто там за ней присмотрит?

Николай Иванович тяжко засопел и еще налил по стакану медовухи.

— К обеду, может быть, Басманов нагрянет.

— И пусть приезжает. Его здоровье! — усмехнулся Тюрин и выпил.— Только насчет радиоузла я, значит, распоряжусь от твоего имени.

— Валяй, валяй.

2

На открытой веранде колхозного правления Николая Ивановича поджидал шофер Севка. Он лежал на поручнях балюстрады, раскинув руки, подставив солнцу запрокинутое лицо. Палевая «Волга» стояла тут же, возле крыльца. Николай Иванович провел по теплому капоту машины, как по голове ребенка погладил, посмотрел на ладонь — чистая.

— Я тебе сколько говорил — не дрыхни здесь, на глазах у честного народа! — строго сказал Николай Иванович.

— Это я загораю,— ответил Севка, не подымая головы.

— Вот бы вас ремнем вдоль спины, лежебоков,— ворчал Николай Иванович, проходя мимо Севки.

Тот лениво, прищуркой, как кот, косил глаза на председателя.

— Брякин здесь?

— В конторе,— отозвался Севка и снова блаженно прикрыл глаза.

Брякина Николай Иванович встретил в прихожей.

— Ну, всех разогнал?

— Всех! — Брякин, заместитель председателя, рослый чернобровый молодец в белой рубашке с отложным воротничком, крепко тиснул Николаю Ивановичу руку.

— Машины где?

— Там же... Четыре на ячмене. Две баб повезли и луга, оттуда на молокозавод пойдут.

— А Васяткин?

— В гараже стоит.

— Стервец! Изувечил машину в горячую пору.

— Зато Федюшкин на его колесах уехал. Так на так выходит. Все равно резины нет...

— Вам все равно... Лишь бы не работать. Лежебоки! А этим что надо? — спросил Николай Иванович, кивнув на старика и девушку, стоявших за спиной Брякина.

— Чай, знакомы? По твою душу... На торги пришли. Я в таких делах не континентин.

— Ишь ты, какой образованный!

Брякин блеснул яркими, как перламутровые пуговицы, зубами и растворил дверь председательского кабинета:

— Принимайте, Николай Иванович. А я в поле поехал.

— Давай! А вы в кабинет проходите.

Николай Иванович пропустил впереди себя старика и девушку, притворил дверь. Старик — дядя Петра, по прозвищу Колчак, худой и нескладный, с красным, как у гуся, шишковатым носом, был известен на все село своим упрямством. Он давно уж сидел у Николая Ивановича в печенках. А эта коротко стриженная девица в клетчатых штанах приехала из музея собирать по избам всякий хлам. Но чего им надо от него, председателя? Николай Иванович посадил их на клеенчатый диван, а сам уселся за свой обширный двухтумбовый стол и закурил.

— Чем порадуете нас? — спросил наконец председатель.

— Я насчет закупок экспонатов для музея,— подалась вперед девица в штанах.— Если вы обеспечите нас зерном, может, и столкуемся тогда с гражданином.

— Ты что-нибудь продаешь, дядя Петра? — спросил Николай Иванович.

Дядя Петра крякнул и сурово поглядел на девушку.

— Мы отобрали у него кое-что из деревенского инвентаря. Вот список,— девица протянула листок бумаги Николаю Ивановичу.

— Как то есть отобрали? — дядя Петра вытянул свою длинную сухую шею, как пробудившийся гусак, и потянулся за бумажкой.— У вас таких правов нету, чтоб струмент отбирать.

— Да вы не так меня поняли,— удержала его за руку девица.— Это мы для себя отобрали.

— Для себя... Для вас его никто не припас. Ишь, на дармовщину-то все вы охочи. Отдай бумагу!

— Ты что, дядя Петра? Законов не знаешь? Если ты не согласен, никто у тебя ничего не отберет,— сказал Николай Иванович.

— Знаю [illegible] ваши законы! На дармовщину все охочи. Давай, давай!

— Не даром, а по себестоимости возьмем,— остановила опять его девица.

— Это по какой еще сабестоимости? — дядя Петра часто заморгал круглыми светлыми глазками.

— Ну, что стоят.

— Что стоит, я проставил. Хотите, берите, хотите, нет.

— Но ведь это нереально! Товарищ председатель, убедите его.

Николай Иванович развернул тетрадный листок. Там было нацарапано кривыми буквами нечто вроде прейскуранта:

борона — два пуда пашеницы
стан — девять пудов
подножка к стану — два пуда
воробы — два пуда
скальница — один пуд
прялка — пять пудов
дуплянка — два пуда
цеп с калдаей — один пуд
горобок — один пуд.

— Двадцать пять пудов пшеницы! Ты что, дядя Петра, белены объелся? — сказал председатель.

— Небось с меня всю жизнь налоги брали. Я этой пашеницы поотвозил в город и днем и ночей. Кабы ссыпать все в кучу, выше горы Арарат будет. А мне заплатить за мой же струмент нельзя. Белены объелся!

— Но ведь у музея нет же пшеницы! — взмолилась девица.

— У музея нет — зато в колхозе найдется.

— Погоди, дядя Петра, погоди! Уж коли ладиться, так по всем правилам. Вы ему сколько даете? — спросил Николай Иванович девицу.

— Двадцать рублей можем заплатить.

— На деньги я не согласный.

— Хорошо! Колхоз заплатит тебе за все десять пудов. Согласен? — сказал Николай Иванович.

— Не согласный.

— Ай какой же вы канительный! — девица покачала головой.— Вот у вас записана дуплянка. И просите вы за нее два пуда?

— Ну?

— А ведь она старая и без крестовины.

— Зато она липовая... Не токмо что на телеге, под мышкой унесешь куда хочешь... вместе с пчелами. Ставь хоть посередь леса, хоть на поле. А крестовину срубить — плевое дело.

— Дед, у нас в музее и пчел-то нет! — крикнула девица.

Дядя Петра подозрительно посмотрел на нее:

— Тогда зачем же вы дуплянку торгуете?

— На обозрение выставим.

Дядя Петра опять часто заморгал и уставился вопросительно на председателя:

— Какое это еще обозрение? Протокол составлять будут, что ли?

— А тебе не все равно, куда выставят твой хлам?

— Какой это хлам? — насупился дядя Петра. — У меня стан кляновый. А челнок из красного дерева. Еще век проткет.

— Ага, так в городе и ждут твой стан. А то там портки не на чем ткать, — усмехнулся Николай Иванович. — Ты вот стан продаешь, а за подножку к нему отдельно просишь два пуда. Это ж нечестно!

— Дак я же сам покупал все по отдельности. В двадцать втором годе заплатил за стан десять мер проса, а за подножку сорок аршин холста отвалил... А за воробами в Сапожок ездил.

— Ну, кончай канитель, дядя Петра! Бери десять пудов, а не хочешь — скатертью дорога. У меня тут и без тебя забот полон рот.

— Я те говорю — за один стан десять мер проса отвалил, — упрямо повторял свое дядя Петра.

— То были двадцатые годы, а теперь шестидесятые... Разница, голова! — всплеснула руками девица.

— Как был он стан, так и остался. Какая же разница?

— Ты и при коммунизме, видать, не расстанешься со своим станом. Вот они корни частной собственности! — девица посмотрела с укором на председателя. Тот уклончиво разглядывал тетрадный листок.

— Коммунизм коммунизмом, а война случится — без стана не обойтись, — словно бы оправдывался дядя Петра. — Сколь мы в войну холстин поткали? Да и теперь, кабы не запрет, и одеяла ткали б, и тик.

— У вас что же здесь, фабрика ручного труда была? — спросила девица.

— Да ну, какая там фабрика! Так, артель ткачей-надомников при колхозе. Тик на матрасы ткали, — ответил Николай Иванович. — Четвертый год как запретили... Промышленное производство. Нельзя.

— А теперь в зиму мужики в отход идут. Это что ж, лучше? — сердито спрашивал дядя Петра.

— Как в отход? Что это значит? — девица опять требовательно смотрела на председателя.

Но отвечал дядя Петра:

— На заработок идут, на сторону. Кормиться надо. Нам платят на трудодень грош да копу. Вот и отходят.

— А кто больше нас платит? — спросил Николай Иванович.

— Я говорю про отходников,— сказал дядя Петра.

— Ах, это шабашники! — радостно догадалась девица.— Вы тоже шабашник?

— Нет, я уж отшабашил.

— Ты будешь продавать или нет? — спросил Николай Иванович.

— Двадцать пять пудов пашеницы или пятьдесят рублей деньгами,— твердо ответил дядя Петра.

— Нет, столько я не смогу заплатить,— сказала девица.

— Тогда пусть сам музей приезжает,— сказал дядя Петра, вставая.

— Ага, жди. Завтра явится к тебе турус на колесах,— усмехнулся председатель.

— Вот видите, какой вы неуступчивый,— девица тоже встала.— А бабка Еремкина бесплатно отдала нам платье кашемировое, фату и гайтан.

— То тряпье, а это струмент,— нехотя пояснил дядя Петра.— Кабы жива была моя старуха, и она бы вам, может, чего отдала задаром. Да, вчерась вы по радио объявили, чтоб туфли подвенечные принесть. Вот! — дядя Петра вынул из кармана старые парусиновые туфли на резиновых подошвах.— Берите. За рупь отдам.

— Да это ж обыкновенный ширпотреб! — девица прыснула и передала туфли Николаю Ивановичу.— Я же просила рукодельные туфли, расшитые. Старинные!

— А эти чем не рукодельные? И старинные...

— Ну чего ты мелешь? Их же при Советской власти выпустили,— сказал Николай Иванович.

— А тогда что ж, не выпускали таких?

— Тогда был, во-первых, Петроград! А здесь смотри — клеймо! Красный треугольник. И написано — Ленинград.

— Он и есть Петроград.

— На, читай!

Дядя Петра читать не стал, сунул в карман туфли, тяжело пошел к двери. Но у порога все же обернулся, переминаясь с ноги на ногу, спросил:

— А плуг вам не нужен?

— Иди к черту! Или я в тебя чернильницей

запущу...— не выдержал Николай Иванович.— И вы идите. Хватит с меня и своих забот,— выпроводил он и девицу в клетчатых штанах— Ну и денек начался! То бык, то дядя Петра... Севка, заводи машину! — крикнул Николай Иванович из окна.

3

Возле машины Николая Ивановича поджидала все та же музейная девица. Но теперь с ней рядом стоял приземистый, тугощекий парень в кедах и с фотоаппаратом на животе.

— Ну, что еще? — сердито спросил Николай Иванович, подходя.

— Николай Иванович, дорогой! Пожалуйста, не сердитесь,— она прямо на цыпочки поднялась, того и гляди обнимет да расцелует.— Оказывается, у вас кулечный промысел сохранился? Кули рогожные ткете. Прямо чудеса!

— Чего же тут расчудесного?

— Ну как же? Рогожи! Это ведь один из древнейших промыслов на Руси... Сохранился в девственном виде, так сказать. Это находка для нашего музея. Я вот и фотокорреспондента пригласила.

— Спартак Ласточкин,— представился парень с фотоаппаратом на животе.

— Для вас находка, а для меня вся эта канитель может потерей обернуться.

— Почему?

— Потому что запрещают колхозам промыслами заниматься. Тик у нас отобрали. Шуметь станете — и кули прикроют.

— Почему же?

— А чтоб мы только в земле ковырялись, не глядели бы по сторонам.

— По-моему, это абсурд. Если промысел выгоден для вас, занимайтесь на здоровье — сказал Спартак Ласточкин.— Вы меня просто заинтриговали. Надо посмотреть.

— Ну что ж, садитесь,— угрюмо, но покорно сказал Николай Иванович.— Что же вам показать? — спросил он в машине своих навязчивых гостей.

— Сперва плоды, так сказать, промысловых усилий. Что это вам дает? — сказал Спартак Ласточкин.

— Севка, давай на скотный!

«Волга», ныряя на дорожных ухабах, резво выкатила в поле. За оврагом, на пологом взъеме, в строгом порядке потянулись вдоль села коровники, телятники, свинарники... дворы, дворы. Каменные фундаменты, бревенчатые стены, рифленые, серые, как речные плесы, крыши. И конца не видать.

— Это все на кули построено,— сказал Николай Иванович.

— На рогожи? — удивилась девица.

— Да, на рогожи. Только за прошлый год мы продали этих кулей на двести тысяч рублей.

— А кто же их покупает?

— Те, кто рыбу ловит. Все! От Белого моря до острова Сахалина.

— Невероятно! — воскликнул Спартак Ласточкин.— Везите нас в избу. Покажите, как ткут эти богатства.

— Давай в село! — приказал шоферу Николай Иванович и, обернувшись назад, неожиданно для себя стал откровенничать: — А кредиты не дают нам на покупку мочала. Говорят — неплановое производство. Не положено! Значит, мы вроде бы подпольщики. Просто смех! И агента своего держим в Башкирии. Мочало закупает. И платим выше кооперативных цен. Дерут с нас сколько хотят. И вагоны не дают нам для перевозки сырья. Так мы по праздникам перевозим, когда дорога разгружается. А в заявках на вагоны вместо мочала пишем — зерно. Мочало нельзя. Ни-ни... Непланово!

— Невероятно! — сказал Спартак Ласточкин.

— Невероятно! — подтвердила девица из музея.

Машина остановилась возле крайней избы. На бревнах у завалинки грелся на солнышке сухонький дед с жидкой, землистого цвета бороденкой.

— А вот и ткач,— сказал Николай Иванович, вылезая из машины.— Евсеич, наладь-ка нам свою орудию!

— Это можно. Проходите в избу.

Евсеич пошел впереди, шаркая кирзовыми сапогами. Глядя на его узкую согнутую спину, на его морщинистую сухую шею, Спартак Ласточкин сказал, усмехаясь:

— Чего уж ему ткать! Хорошо хоть, что своим ходом идет.

— Это мои главные кадры. Опора! — ответил Николай Иванович.— У меня триста человек пенсионеров и всего тридцать молодежи.

— Невероятно! — воскликнула девица.

В избе их встретила бойкая старушка с рыхлым, раздавшимся на все лицо носом, в домотканом переднике, перетянутая поперек живота, точно сноп.

— Ай, гости дорогие! И чем мне вас угощать-потчевать? Да и откель же вы такие хорошие будете? Уж и не знаю, куда пристроить вас,— певуче причитала она и хлопала руками по бокам.

— Дед, да чего ж ты рот разинул? Натяни-ка основу поскорее! — крикнула она совсем иным тоном.— Покажи людям свою снасть-то!

— Это мелянок верхний. А вот — нижний,— пояснял Евсеич и подвязывал на веревках две длинных палки.— А посередь берда. Мочалу, значит, натягивает. Которая лучше, на основу идет. А похуже — уток.

Подвесив к потолку свою нехитрую снасть, Евсеич начал набирать из пучка мочало для утка и загонять его билом. Горьковато и пряно запахло липовой свежестью, и в воздух полетели мочальные хлопья.

— Уж как он работал-то! — умилялась хозяйка, глядя на своего старика.— Била-то, бывало, ходенем ходила в руках. Глазом не усмотришь.

— Он еще и теперь молодец. Давай, давай! — сказал Николай Иванович.

— Нет уж, хватит... Отдавал свое.

Евсеич повернул вспотевшее острое, птичье лицо, с минуту молча и рассеянно смотрел на гостей, тяжело дыша, будто прислушиваясь к чему-то своему:

— Ноне во сне видел — быдто наро-оду в избу навалило. Думал, отпевать меня станут. А вон что, оказывается. Вы пришли.

— Что у вас болит? — спросил его Ласточкин.

— Нутро,— ответил Евсеич и, помолчав, добавил: — Все нутро болит.

— Он докторов боится,— озорно поглядывая на Евсеича, сказала хозяйка.— Боится, как бы его в больницу не положили.

— Чаво там делать, в больнице? Вон — осень на дворе. У нас дров нет, а ты — в больницу,— говорил свое дед.

— Зачем тебе дрова-то? Небось и до зимы не доживешь! — все более резвилась хозяйка.

— А то что ж, и не доживешь,— согласился Евсеич.— Поработал, слава тебе господи. С двадцать четвертого года все кули тку.

— А пенсию вам платят? — спросил Спартак Ласточкин.

— Тринадцать рублей по инвалидности.

— У нас колхозная пенсия,— пояснил Николай Иванович.

— Сколько же вы зарабатываете? — спросила девица из музея.

— А вот считайте,— вступился Николай Иванович.— Платим им по шестнадцать копеек за куль. Кулей восемь соткете за день-то?

— Чаво там восемь! — укоризненно ответил старик.— Кулей шесть осилим со старухой вдвоем.

— Вдвоем?! — отозвалась бодро хозяйка.— Да я одна боле натку. С места не сойтить, натку. Нук-тё!

Она села за этот примитивный станок и ловко начала петлять плоской билой.

— Хватит уж резвиться-то! — остановил ее председатель.

— А не тревожьте ж меня, ради бога! Дайте уточину доткать,— она кокетливо избоченилась и, глядя на гостей через плечо, просительно затараторила: — Ай, с барыни десятоцку да с вас по пятацку!..— и, довольная своей прибауткой, весело рассмеялась.

— Один момент! — поднял руку Спартак Ласточкин.— Вот в такой позе мы вас и спроектируем на бумагу. Музей любит радостный современный труд. Как раз то, что надо.

Он раскрыл фотоаппарат и засуетился вокруг старухи.

— Рублей тридцать зарабатывают в месяц на двоих — и то хлеб,— сказал Николай Иванович.— Дело-то верное. Но вот беда — не финансируют нас под кули. Непланово! Осенью нам нужно заготовить сто тонн мочала. Значит, требуется тысяч семьдесят рублей. Но банк не дает нам взаймы под это дело. Ведь выплатим через три-четыре месяца. Где же нам занимать деньги? Дело требует оборота. А если мы не закупим с осени мочало, значит,— труба.

— А знаете что? — участливо посмотрел на него Ласточкин, взяв Николая Ивановича под руку.— Мы вас посадим на скамью рядом с Евсеичем. На фоне станка... А? Маленькое производственное совещание. Жанр!

— Нет! — Николай Иванович отступил к порогу.— Вы меня извините, но больше не могу с вами. Некогда.

Он протянул руку девице из музея:

— Спасибо за участие!

Она цепко обхватила его пятерню:

— Спасибо вам! Вы нам клад открыли. Мы еще что-нибудь поищем из инвентаря. Ведь это настоящий рогожный промысел... Колоссально!

Николаю Ивановичу вдруг стало не по себе: «Мотаюсь я бог знает с кем»,— досадливо подумал он. И жаль стало времени, потраченного на эту девицу в клетчатых штанах и на этого упитанного тугощекого корреспондента. И себя стало жаль: «Лезу я со своей нуждой ко всякому встречному-поперечному. Ну, кому это нужно?»

Он поспешно вышел во двор и впервые за сегодняшнее утро почувствовал жару. Воздух был томительно-душный и недвижный. Небо затянуло какой-то белесой сквозной поволокой, словно тюлевой занавеской задернуло. Сквозь эту кисейную муть солнце выглядело красным, как раскаленная сковорода. Николай Иванович лопатками, плечами, бритой головой почуял эту влажную тяжесть жары. «Эка парит! Дождю не миновать»,—подумал он.

Куры и те сидели в тени возле завалинки, раскинув крылья, тяжело и часто дыша, словно и они поджидали дождя.

А на бревнах, на самом солнцепеке, задрав локти кверху, положив кулаки под голову, спал Севка. Глаза он прикрыл козырьком кепки и так храпел, что стоявший неподалеку от бревен теленок тревожно поводил ушами, готовый [redacted] любую минуту дать стрекача.

Николай Иванович ткнул Севку в бок:

— Эй, сурок! Интересно, что ты ночью делал?

— А! — Севка приподнялся на локте и ошалело глядел на Николая Ивановича.

— Походя спишь, говорю. Чем ночью занимался?

— Звезды считал.

— Ага. Сквозь девичий подол.

Севка хмыкнул и спрыгнул с бревен:

— Куда поедем?

— Подальше от этих чертей. Жми в Пантюхино.

4

Пантюхино было самым дальним селом колхоза «Счастливый путь». Чтобы попасть [redacted] него на машине в летнее время, надо было сделать дугу километров в шестьдесят. А напрямую — лугами да лесами, хоть и

половины того расстояния не было, не проедешь даже и посуху. Дорога, накатанная в луговую пору, обрывалась на низком берегу извилистой речушки Пасмурки. Далее езды не было — болотистая пойма, покрытая кочками и ольхой, тянулась до самого Пантюхина. Старые мостки изопрели, гати затянуло. И остался только длинный дощатый настил для пешеходов, называемый почему-то «лавой».

Николай Иванович ехал в Пантюхино с надеждой — просидеть там до дождя. А дождь хлынет — и Басманов не страшен. Тогда можно и в правление возвращаться.

— В объезд поедем или через луга? — спросил Севка.

— Давай через луга. Кабы дождь не пошел. Засядем на дороге-то. А по траве и дождь не страшен.

Севка хоть и был отчаянный гуляка и пьяница, но машину водил осторожно. По ровному летит сломя голову, но стоит подойти ухабу, как он замирал перед ним, словно лягавая перед куропаткой. Так и потянется весь, готов лбом продавить смотровое стекло, и съедет в любой ухаб машина, по-собачьи на брюхе сползет.

— Ты бы еще сам под колесо лег,— подзадоривал его Николай Иванович.— Не то вдруг засядет.

— Ну уж это — отойди проць! Как говорят в Пантюхине,— отвечал обычно Севка.

Николай Иванович хоть и был почти вдвое старше Севки, но относился к нему по-приятельски. Вместе обсуждали и председательские нужды, и Севкины любовные похождения, и водку пили вместе. На немыслимо скверных сельских дорогах проходило у них полжизни. И немудрено, что роль председателя и роль шофера делились у них поровну на двоих. На двоих, кроме «Волги», был у них еще «газик» и полный набор шанцевого инструмента. Они не столько ездили по этим дорогам, сколько копались, вытаскивая свой «газик». Стало быть, и работа была у них одна на двоих.

Оба они представляли тот тип русского человека, которого не удивишь плохими дорогами и в душевное расстройство не приведешь. Скорее наоборот — они принимали эту виртуозную езду по колесникам и колдобинам как особый вид охоты или развлечения: «Ну и ну... Выкрутились! По этому поводу и выпить не грех».

Зато какие богатые возможности проявить смекалку, изобретательность! Сели в лесной луже — часа два рубят лес, сооружают нечто вроде крепостного ряжа, потом суют вагу под дифер и, кряхтя, вывешивают машину. «Ах,

славно поплотничали!» Или где-нибудь в поле лягут на бугор прочно, «всем животом», и долго ведут подкоп под машину; копают по всем правилам саперного мастерства, копают, лежа на боку, словно под огнем противника. И потом уж, где-нибудь в заезжей чайной вспоминают с удовольствием: «Хорошо покопали!» — «Хорошо! Только земля холодная... зараза!»

Они ехали по лугам, по травянистой, похожей на две параллельных тропы дороге. Петляли мимо дубовых и липовых рощиц, мимо серебристых зарослей канареечника и осоки на болотах, и вдоль затейливых изогнутых озер-стариц с прибрежными желтыми пятнами кувшинок, с темно-синей щетиной камыша. На высоких берегах, почти над каждым озером стояли длинные шеренги покрытых травой шалашей, дымились костры, чернели закопченные котлы на треногах. Это были все станы дальних, погоревских. Свои колхозники шалашей не строили — ночевать ездили домой, а обед варили — котлы вешали прямо на оглобли. Свяжут оглобли чересседельником, поднимут повыше да подопрут дугой, на чересседельник вешают крючки с котлами. По этим высоко поднятым оглоблям Николай Иванович еще издали безошибочно узнавал — свои стоят или погоревские.

И председательскую «Волгу» узнавали еще издали; бабы опускали грабли наземь, и все, словно по команде, приставляли руки козырьком ко лбу; а мужики застывали с вилами в руках — зубья кверху, как с винтовками «на караул»; а те, что стояли на стогах, как на трибунах опускали руки по швам. Все напряженно ждали, заедет сам или мимо пронесет.

От ближних станов бросились наперерез «Волге» двое верховых. Они скакали по высокой, по брюхо лошадям, траве, так что конских ног не видно было, отчего казалось, что они плывут, только локтями отчаянно махали и каждый придерживал рукой кепку на голове.

— Останови! — тронул Севку за плечо Николай Иванович.

Когда верховые вылетели на дорогу, в ногах у лошадей оказались еще две косматых собаки. Они с хриплым лаем завертелись возле машины, подпрыгивая и злобно заглядывая в стекла кабины. Николай Иванович высунулся в дверцу:

— Ну что?

— Николай Иванович, погоревские стадо запустили

на наши луга. Сено в валках потравили! — верховые говорили вдвоем сразу, обступив с обеих сторон машину.

Николай Иванович узнал в одном из них объездчика по прозвищу Петя Каченя. Это был громоздкий и сырой малый лет тридцати с припухшими веками, с красным не то от солнца, не то от водки лицом. Он сидел охлябью в мокрых штанах и босой.

— А ты чего без седла ездишь, печенег? — сердито спросил его Николай Иванович.

— Да не успел оседлать.

— Что, бреднем рыбу ловили? А в седле за водкой кто-нибудь уехал?

— Да ее и рыбы-то нету,— Петя Каченя уклончиво косил глаза.

— Лазаешь тут по озерам, а у тебя луга травят! Где потрава?

— На Липовой горе.

— Акт составили?

— Да я еще не видал. Вон, Васька сказал... Подпасок с Пантюхинской мэтэфэ,— Каченя кивнул на своего напарника.

Васька, конопатый подросток, сидел так же в мокрых штанах и босой.

— Хороши сторожа! Мокроштанники! К вечеру чтоб акты на потраву были в правлении. Иначе и вас самих оштрафую. Поехали! — обернулся Николай Иванович к Севке.

Собаки снова залились злобным лаем и частым поскоком долго бежали возле передних колес «Волги».

До Пантюхина председатель так и не добрался. Возле самой «лавы» — длинных дощатых мостков, в болоте лежал на боку трактор «Беларусь». Видны были только колеса — переднее маленькое и заднее огромное; они лежали как спасательные круги на мутной воде. Рядом, уткнувшись лицом в кочку, наполовину в воде валялся тракторист. Кто его вынул из затопленной кабины? Сам ли выбрался и дальше отползти не хватило силы? А может, изувечен до смерти при падении трактора?.. Нашлись добрые люди, оттащили в сторонку да и оставили в воде. Не все ли равно, где лежать ему теперь?!

Николай Иванович и Севка вылезли из машины, невольно остановились в скорбном молчании. Вдоль Пасмурки от лугов ехала, стоя на телеге, широкоплечая

баба в подоткнутой юбке, с оголенными мощными икрами. Она крутила над головой концом вожжей и настегивала лошадь.

— Вот и за трупом едут,— сказал Николай Иванович.— Куда его черти несли?

Трактор оставил грязный след на старой дорожной эстакаде, обрывавшейся в болоте сгнившим мостиком. След затейливо извивался, как две ползущие из болота черные змеи.

— Эх, дьявол, зигзагом шел! — с восторгом заметил Севка.

— Надо посмотреть, наш, что ли? — сказал Николай Иванович.

Севка зашел по воде к передним колесам, засучил по локоть рукава, поболтал руками в воде — номер хотел нащупать.

— Нет, не могу определить.

— Может, тракториста узнаем? — Николай Иванович взял грязную тяжелую руку тракториста, стал нащупывать пульс.

— Да он курит! — крикнул Севка.— Вот бегемот!

Николай Иванович даже вздрогнул и руку выпустил:

— Брось шутить! Нашел место...

— Да ей-богу курит. Смотри!

В углу рта у тракториста, прижатая к кочке, торчала папироска.

— Отверни ему рожу-то! Дай посмотреть — наш, что ли? — крикнула баба с телеги, остановившись возле болота.

Николай Иванович приподнял обеими руками голову тракториста. Это был совсем еще молодой, перепачканный грязью и мазутом парень.

— Погоревский! — разочарованно махнула рукой женщина и повернула обратно лошадь.— Но!

— Да подождите! — крикнул Николай Иванович.— Может, на станы его свезти надо. Сам-то не дойдет.

— Проспится — придет. Пить поменьше надо,— сказала баба.

— Да что за черти занесли его сюда?

— В Пантюхино за водкой ехал,— ответила женщина.

— Здесь же дороги нет.

— Ему теперь везде дорога... Море по колено...

Николай Иванович взял тракториста за плечи и сильно потряс.

— Мм-э-эм,— коротко промычал тот и открыл розовые глаза.

— Ты как сюда попал? — спрашивал Николай Иванович, стараясь удержать тракториста в сидячем положении.

— Обы-ыкновенно,— ответил тракторист и посмотрел так на Николая Ивановича, словно забодать его решил.

— Оставь его,— сказал Севка.

Николай Иванович выпустил пьяного, и тот снова уткнулся носом в кочку.

— Вот она, молодежь-то нынешняя... С чертями в болоте ночует! — Женщина стегнула лошадь, закрутила концом вожжей над головой.— Н-но, милай!— и с грохотом покатила прочь.

— Сто-ой! Вот шалопутная... Чего ж с ним делать? — спросил Николай Иванович.

— Да ну его к черту! Поехали,— сказал Севка.

Но сюда, уже заметив председательскую «Волгу», шли от дальних стогов пантюхинские бабы. Шли без граблей, с закатанными по локоть рукавами, все как одна в платках, и на некоторых, несмотря на смертную жару, были натянуты шерстяные носки. Николай Иванович пошел к ним навстречу.

— Что ж вы, горе не беда? Человек в воде валяется, а вы и ухом не поведете? — сказал Николай Иванович, подходя к бабам.— Хоть бы трактор вытянули.

— А он не наш... Погоревский!

— На чем его вытащить, на кобыльем хвосте, что ли?

— У них, видать, спросу нет на трактора-то... Намедни один их трактор неделю проторчал в затоне.

— Они рыбу ловить приезжали на тракторе.

— Жарынь... Кому работать хочется?

— Это что! Вчера на пожарной машине прикатили на рыбалку. Перепились все... У них и сети стащили.

Бабы обступили председателя полукругом, и наперебой корили погоревских, Николай Иванович посмеивался, подзадоривал их:

— Поди, сами вы и стащили сети. Не побоялись подолы-то замочить.

— Пастухи! — радостно всплеснув руками, подсказала проворная старушка в облезлом мужском пиджачке.— Эти «шумел камыш» играют, а те на другом берегу в кустах сидят. Эти наигрались да уснули. Те сети стащили,

а колья от сетей в костер погоревским положили. Пусть, мол, погреются на заре.

— Смеху что было!..

— Озорники, вихор их возьми-то!

Смеялись дружно... В Пантюхине воровство сетей считается простой шалостью. Потом все бабы враз заговорили о деле, ради чего они и побросали грабли, увидев председателя.

— В столбовской бригаде вчера ячмень давали?

— Давали,— ответил Николай Иванович.

— По сколько? По два пуда на едока?

— По два.

— А нам когда дадут?

— Чем Пантюхино хуже Столбова?

— Завтра и вы получите.

— А чего-то говорят, будто из района запрет поступил?

— Не давать, мол, колхозникам ни грамма зерна, пока с государством не рассчитаются!

— Значит, столбовским дали, а нам нет?

— Тогда пускай они и работают.

— А мы и на работу не пойдем!

Николай Иванович поднял руку, и шум утих. «Вот тебе и бабье радио! И когда только узнать успели?» — подумал он. Запрет на выдачу зерна колхозникам и в самом деле поступил от Басманова. Но Николай Иванович запер эту бумагу в сейф. И все-таки выдали «секрет».

— Я вам сказал, что завтра получите. А нет — наплюйте мне тогда в глаза.

— Ой, Николай Иванович! Смотри, нас много... Заплюем!

— А може, слюна у кого ядовитая? Глаза лопнут.

— Никола-а-ай Иванови-и-ич! — вдруг, покрывая бабий гвалт, ухнул кто-то со стороны речки хриплым басом.

Все оглянулись; там, на дощатой «лаве» стоял Терентий, сторож со скотного двора, и махал рукой. За разговором никто не заметил, как прошел он всю «лаву» и теперь стоял на самом конце, широко расставив ноги в резиновых сапогах, как будто в лодке плыл. Терентий был стар и худ, синяя распоясанная рубаха просторно висела на нем, как на колу.

— Ну, чего машешь? — крикнул ему председатель.— Иль сам не можешь подойти?

— Не могу! Далее поручня нет! Боюсь оступиться... Упора в ногах нету-у.

— Говори оттуда! Чего тебе?

— Басманов тебя разыскивает... В правлении сидит!

— Кто тебе сказал?

— Мяха-аник! Из клуба... Послал за тобой.

— А что он сам не прибежал?

— Грит, некогда. Аппарат разбирает.

— Я ему ужо разберу.— Николай Иванович длинно и затейливо выругался.— Ну, ладно, бабы, работайте! — и повернул к машине.

Но перед ним выросла сутулая широкоспинная баба Настя Смышляева. На ней был темный, [redacted] белую горошинку платок, повязанный плотно и низко, по самые глаза. Глядя куда-то [redacted] ноги председателю, она глухо и безнадежно спрашивала:

— Как же насчет паспорта, Николай Иванович? Иль моя девка пропадать на ферме должна?

— Пока у нас на фермах никто еще не пропал. И черти вроде не таскают людей. Вы вот до старости дожили. И ничего! Крепкая.

— Обо мне-то уж Арина мало говорила,— сказала баба Настя.— А ей двадцать один год. Пожить хочется.

— Ну, кто ей не дает? Пусть живет себе на здоровье.

— Ей замуж пора. А за кого она здесь выйдет? Небось других отпустил... Вон Маньку Ватрушеву.

— Так у Маньки аттестат, голова! Она среднюю школу окончила. В институт поступила. А твоя дочь прошла четыре класса да пятый коридор.

— А чем она хуже других? Дай паспорт! Хоть на фабрику устроится.

— Да не могу же я всех отпустить из колхоза! Кто же тогда землю останется обрабатывать? Небось вы-то недолго продержитесь. Вон, посмотри на своих подружек-то.

— Настя! Ну что ты человеку дорогу загородила? Отойди прочь! — крикнул кто-то из толпы.

— А мне что, подружки? Мне дите устроить надо,— упорно стояла на своем баба Настя.— Дай паспорт!

— Да не могу я, голова! Прав у меня таких нет. Севка, заводи машину! — Николай Иванович обошел бабу Настю и крикнул бабам на прощанье: — Вы хоть из болота вытащите тракториста.

И уехал.

— А зачем его тащить? — сказала Дуня-бригадирша.— Он в воде-то скорее проспится. Чай, не зима.

— И то правда. Пошли, бабоньки!

5

Басманов был всего на три года моложе Николая Ивановича, но на вид в сыновья ему годился. Этот был и сед, и лыс, оттого брил голову, а Басманов еще черноволос, подтянут, с жарким взглядом желтых монгольских глаз на широком скуластом лице. Обоим им перевалило за сорок; но Николай Иванович и телом раздался, и осел на месте, а Басманов круто шел в гору.

Десять лет назад и тот, и другой начинали свой руководящий путь председателями колхозов. Николай Иванович был до этого директором школы, а Басманов инструктором райкома. Упряжка-то была у них одинаковая, да тягло разное. Если Николай Иванович тянул битюгом, упорно глядя под ноги, в землю, то Басманов сразу рысью пошел и ноздри держал по ветру. Он первым в области кормокухни построил. Первым коров обобществил... Первым построил кирпичные силосные башни. И хотя потом коров снова роздали по колхозникам, а кирпичные башни за ненадобностью растащили по кирпичику на печи, Басманов был уже далеко. За новые прогрессивные методы был выдвинут в председатели райисполкома. Он шел рысью, не сбиваясь, как хороший бегунец. И та пыль, которая поднималась за ним, не достигала и хвоста его. Пыль опадала на дорогу да на обочины, а Басманов шел вперед. Он отличился и на должности председателя рика — три с половиной плана по мясу сдали. Орден повесили на грудь Басманову, повысили в секретари райкома. В новый район послали — поднимать, подтягивать. А в тот район, где он хозяйничал, спустя полгода тоже новых руководителей прислали «поднимать и подтягивать». И Басманов «поднимал»... Первым в области травополье уничтожил, все луга распахал. А когда начался падеж скота, трех председателей колхозов поснимали с работы, Басманова же послали на учебу.

Теперь он возвратился дипломированным, получил самый большой район... И все говорили, что Басманов здесь не засидится... К прыжку готовится.

Николай Иванович и раньше сталкивался с Басмановым. Года три назад, когда тот был секретарем соседнего райкома, они сцепились на областном активе. Басманов выбросил лозунг: «Поднять всю зябь в августе!» И на соцсоревнование всех вызвал.

— Ну, какую же зябь поднимет Басманов в августе? — спрашивал с трибуны Николай Иванович.— Кукуруза еще растет. Свекла тоже... И картошку копать рано. Овса теперь нет, а проса — кот наплакал. Из-под чего же зябь собирается поднимать Басманов?

Но Николая Ивановича осудили за «демобилизующее» настроение. Предложение Басманова было принято и объявлена кампания «по раннему подъему зяби».

Теперь Басманов вроде бы и не напоминал о той стычке, но руки при встрече не подавал Николаю Ивановичу — здоровался кивком головы.

Николай Иванович застал Басманова в правлении. Несмотря на жару, на нем был серый дорогой костюм и белая рубашка с галстуком. Он сидел за председательским столом и сердито отчитывал стоявших перед ним Тюрина и Брякина.

— Наконец-то! — перевел Басманов взгляд на вошедшего Николая Ивановича.— Вас целый день собирать надо... Расползлись, как овцы по выгону. Тоже мне руководители! Никто не знает, где прячетесь.

— Нам не от кого прятаться,— сказал Николай Иванович, проходя к столу.

Он сел с торца и заметил, как недовольно дернулись широкие брови Басманова и сдвинули бугор на переносье. «Думал, что и я навытяжку встану перед ним,— догадался Николай Иванович.— Но уж это — отойди проць!»

Басманов был настолько сердит, что даже и кивком головы не поздоровался.

— Кто вам позволил разбазаривать государственный хлеб? — теперь Басманов глядел только на председателя.

— Мы таким делом не занимаемся.

— Как то есть не занимаемся? А кто вчера выдавал ячмень колхозникам?

— Мы выдавали.

— Вот это и есть прямое разбазаривание государственного хлеба.

— Пока он еще не государственный, а наш, колхозный.

— Когда рассчитаетесь с государством... Что останется, будет вашим.

— Рассчитаемся! Можете быть спокойны.

— А вы меня не успокаивайте! — повысил голос Басманов.— Пока не рассчитались с государством, не имеете права выдавать хлеб на сторону!

— Колхозники не посторонние.

— Да вы понимаете или нет, что в этом году неурожай? Погодные условия плохие!

— Это вон у погарёвских. У нас урожай неплохой.

— Значит, на соседей вам наплевать?

— У них своя голова. Пусть она и болит от неурожая.

— Я знаю, психология у вас индивидуалистов. Но колхоз не единоличное хозяйство. И если вы не хотите считаться с интересами страны, то мы вас заставим.

— Считаемся с интересами страны... Потому и выдаем зерно.

— Выдавайте, когда положено. Вы подаете дурной пример другим. Понятно?

— Мы сами определяем, когда это положено.

— А не много ли вы на себя берете?

— Ровно столько, сколько законом позволено... И постановлениями партии.

— Вон вы как понимаете дух последних постановлений! Может быть, вы и руководящую роль партии теперь не признаете?

— Партию оставьте в покое.

— В таком случае, от имени райкома партии я запрещаю вам производить преждевременную выдачу зерна!

— У нас выдача своевременная. Примите это к сведению.

— Хорошо! Тогда решим на бюро, какая у вас выдача — своевременная или нет. Сегодня извольте явиться к пяти часам в райком. А теперь ответьте еще на один вопрос: почему вы не жнете пшеницу?

— Рано... Да и комбайны на ячмене.

— Все в округе половину в валки уже уложили, а у вас — рано. Район позорите! Из-за вас в хвосте плетемся. И потом — раздельный метод уборки еще никто не отменял.

— А у нас жаток лафетных нет.

— Но я же вам прислал одну жатку. Почему она не работает?

Николай Иванович посмотрел на Брякина и Тюрина; те в свою очередь переглянулись, и Тюрин чуть заметно подмигнул председателю. «Ох и жулики! Уже успели»,— подумал Николай Иванович не без удовольствия и сказал:

— У нее колеса нет.

— Как нет? Я же ее только вчера прислал!

— Не знаю. Говорят, по дороге отвалилось.

— Но уж это слишком! — Басманов встал.— Покажите мне жатку!

Через минуту две палевых «Волги», по-утиному переваливаясь на дорожных ухабах, подымая пыль, катили в поле.

Николай Иванович еще издали определил по тому, как задрался один конец лафета, что жатка без колеса. Он вылез из машины и вместе с Басмановым подошел к жатке. Колесо было отвинчено второпях — даже две гайки валялись тут же. К дороге шел широкий в клетку след от колеса. «Вот идиоты! Приподнять колесо не смогли!» — выругался про себя Николай Иванович.

Басманов сразу определил, что колесо было не потеряно по дороге, а отвинчено здесь, на месте. Да и трудно было не определить этого.

— Все ясно! — сказал он, сумрачно глядя на Николая Ивановича.— Сработано с умыслом. Но мы выясним, чьих рук это дело. Завтра же пошлю сюда следователя и участкового...

Не попрощавшись, сел в машину и крикнул на ходу:

— Не забудьте на бюро!

Николай Иванович достал из широкого кармана широких серых брюк платок и стал деловито, сосредоточенно обтирать голову. Севка осмотрел след от снятого колеса и сказал:

— Сам Тюрин с Брякиным и снимали.

— Почему?

— Рубах побоялись замарать, потому и катили колесо по земле.

— Дураки! — устало выдохнул Николай Иванович.

— Куда теперь? — спросил Севка в машине.

— Крой домой! Только не мимо правления, а с нашего конца въезжай в село. Не то меня еще кто-нибудь подцепит.

Но и на «собственном» конце села Николаю Ивановичу не удалось проскочить беспрепятственно. Неподалеку

от крайнего дома Панки-почтальонши, обочь дороги в колхозной картошке паслась здоровенная свинья. Со двора, из-за приотворенной калитки выглядывала тетка Вера, Панкина мать.

— Останови машину!

Николай Иванович растворил дверцу ■ поманил тетку Веру:

— Ну, ты чего выглядываешь? Иль ■ прятки с кем играешь? Иди сюда!

Тетка Вера, позабыв бросить прут, умильно улыбаясь, пошла по картошке. На ногах у нее были короткие валеные коты. Зацепившись за высокую ботву, один кот спал с ноги. Тетка Вера нагнулась за ним и только тут заметила в руке прут. Она присела, украдкой поглядывая на председателя, незаметно положила прут в борозду, а коты взяла ■ руки и, босая, легкой рысцой потрусила к машине. Так, прижимая коты к груди, остановилась между свиньей и председательской машиной. Поздоровалась, слегка поклонившись:

— Здравствуйте, Николай Иванович!

— Чья свинья? — спросил председатель.

— А кто ж ее знает! — бойко ответила тетка Вера.— Сама вот гляжу... Дай-ка, думаю, выгоню с картошки. А тут вот и ты как раз подоспел.

— Значит, не твоя свинья?

— Ни, ни! Моя же ма-а-хонькая. Вот такая,— тетка Вера присела, показывая ладонью на вершок от земли.— А эта ж вон какая зверина. Черт-те знает откелева!

— А не врешь?

— Ей-богу, правда! Не моя... Знала бы — и сказала. Я ж тебя люблю, как сына. А вот Тюрина терпеть не могу. Это ж не человек, а самый что ни на есть боров. Своих свиней на колхозную картошку выгоняет, а моего поросенка и на траву не велит.

— Последний раз спрашиваю — чья свинья?

— Аж честное слово, не ведаю.

Севка ткнул Николая Ивановича в бок:

— А вот мы определим.

Он вынул из-под сиденья ружье, вылез из машины:

— Сейчас застрелю ее к чертовой бабушке... тогда и хозяин найдется!

Севка остервенело крутнул на себе кепку, сбил козырек на затылок и приложился, наведя ружье на свинью.

— Ой, стойте!.. Сто-ойте!..— тетка Вера бросила коты и, раскинув руки, побежала было к свинье, но обернулась и так же, с раскинутыми в стороны руками, пошла на Севку.— Стойте!

Севка опустил ружье. Тетка Вера повернулась к избе:

— Па-анка! Па-а-анка!

В избе открылось окно, высунулась взлохмаченная Панкина голова.

— Чего тебе?— но, увидев председателя, снова скрылась.

— Да кто ж это свинью со двора выпустил? Ты, что ли?

— Нету-у!— отозвалось из дома.

— Ох, окаянные! Это все те, кто за письмами к нам ходит. Я ж тебе говорю, брось ты эту почтовую работу! Только один грех от нее. И свинья пропадет задаром. Как есть пропадет. Говорю тебе, ступай работать в колхоз. Не то Тюрин со свету нас сживет.

— Ну, хватит!— остановил ее Николай Иванович.— За представление тебе спасибо. А за потраву Тюрину уплатишь.

— Да какая там потрава? Она и со двора не успела выйти как следует. Схватилась я в разу-то — нет свиньи. Гляжу — вон она. И ты как раз едешь... Ты погоди-ко, погоди!

Но Николай Иванович махнул рукой, и «Волга» покатила.

— Приготовь «газик». Кабы дождь не пошел...— сказал Николай Иванович.— Прямо тошно... От жары, что ли, или так от чего.

1965

ПЕНСИОНЕРЫ

— Кто очередной? — Минеевич вскидывает светлую сквозную бороденку и строго смотрит в зал.

Он сидит за кумачовым столом на сцене, справа от него председатель колхоза, слева — парторг, а где-то за его спиной бригадиры и сам председатель сельсовета. Шутка сказать! Минеевич руководит колхозным собранием впервые в жизни. От волнения нос и глаза его покраснели, словно он только что луку наелся.

— Кто очередной?!

В середине зала качнулась чья-то голова в бараньем малахае, потом поднялась загорбина в рыжем полушубке, выплыла в проход и только тут разогнулась. Высоченный старик в шубных чембарах, которые отвисали на нем, как пустой курдюк у заморенного за зиму барана, снял малахай и, держа его, словно крест, у груди, степенно поклонился лысой головой сначала президиуму, потом залу.

— Граждане колхозники,— сказал он президиуму, затем, повернувшись в зал,— товарищи мужчины,— и, прошамкав беззубым ртом, добавил: — ...и протчие женщины. Поскольку, значит, я, как и всякий живой человек, должен кормиться, я и составил заявление.— Он вынул из кармана чембар тетрадный листок, развернул его и протянул к сцене, а сам — ни с места.— В котором и подаю прошение на пензию. Прошу не отказать.

— Передайте заявление, Викул Андриянович! — Председатель колхоза кивнул, кто-то взял у Викула заявление и передал в президиум по рядам. Председатель уставился в тетрадный листок; его яркие сочные губы были чинно поджаты.

Минеевич все так же напряженно смотрел в зал, положив перед собой на столе сжатые кулаки, как пару гранат.

— Ну как, товарищи, решать будем? — спросил наконец председатель.

— А чего там решать! У него стажу колхозного нет. Какая может быть пензия! — отозвался первым Минеевич.

— Ты, Викул, где был, пока не состарился? — спросили из зала.

— Дак вы же все знаете... где. Но меня это самое... ребилитировали.— Викул пошамкал и добавил: — Восстановили, одним словом.

— Вот и ступай туда. Там и спрашивай себе пензию. А на чужой каравай рот не разевай.

— Он у нас черствый... У тебя и зубов нету. Х-хе,— злорадно захохотал тот же голос.

— Куда ж я пойду... Поскольку инвалид, престарелый...— сказал Викул.

— Нет, старики... Вырешить мы должны,— поднялся древний, но все еще юркий, маленький Карпей, замуравевший какой-то землисто-серой щетиной, как еж.— Викул, он человек с уваженнем.

— А что толку от его поклонов! Все равно на работу он не ходит,— сказал кто-то из президиума.

Карпей быстро обернулся к президиуму:

— Совершенно правильные слова сказали... Я только насчет почтительности, стало быть... Викул, он, може, и пошел бы. Мужик почтительный, отчего не сходить? А куда же он пойдет? Може, где он был, там теперь и нет никого. И начальников распустили. Не-е! Вырешить мы должны.

Карпей, торопливо дергая сухонькой головой в стороны, как гусь, заглотавший корку хлеба, победно сел.

— Нет, мы должны вырешить.

— Я грю, стажа у него нет...

— Смотри-ка, председатель, кабы тут обману не было! — загалдели со всех сторон.

— Да стаж у него колхозный и в самом деле малый.— Председатель теребит заявление Викула и смотрит на него так, для порядка.— Значит, всего работал здесь шесть лет, а нужно двадцать пять...

— А что там работал, рази это не ■ зачет? — спрашивает Викул.

Председатель, совсем еще молодой человек, выпячивает красную, будто с мороза, нижнюю губу, подымает девичьи тонкие брови — силится взвесить Викуловы сроки — и наконец произносит, пожимая плечами:

— Конечно, все надо засчитывать. Но поскольку мы колхоз... у нас есть свой устав... Как собрание решит.

В зале опять заволновались:

— Он там и утром и в обед пайку хлеба получал...

— А мы деруны пекли...

— Хлеба-то не давали на трудодни...

— А ему пайку три раза в день!..

— Дак ведь я ж за эту пайку норму выколачивал!

— А мы что, не работали?

— Зачем все кричите? — приподнялся в президиуме сухопарый татарин с оголенной кирпичной шеей, вылезавшей из облезлой фуфайки.— Пускай Пешка скажет. Она, это самое, парьторг.

— Жасеин! Я сколько раз говорил тебе: не Фешка, а Фетинья Петровна,— строго обрывает его председатель колхоза и косо смотрит на широкогрудую, широколицую Фетинью Петровну.

— Какой разница! Пускай будет Петинья Петровна.

Фетинья Петровна зарделась до ушей:

— Дак ежели каждый, кто вернулся, пойдет к нам в колхоз на пензию, тогда чо же будет? На трудодни не хватит.

— Расшиби вас паралик!..

— Я в таком деле несогласная.

Бабы зашумели, заволновались.

— Цыц вы, проклятущие! — не вытерпел Парамон и встал с места спиной к президиуму, лицом к задним рядам, где на скамьях густо сидели колхозницы.— Вам какое равноправие дадено? Голосовать?! Вот и сидите — ждите. А тут мы и без вас разберемся.

— Ты уж помалкивай, Лотоха! — крикнула на него Фетинья Петровна.— Ишь раскричался! Мы еще разберем тебя за домашнее самоуправство.

— Какое ишшо самоуправство? — Парамон с вызовом обернулся и наклонил голову, словно бодаться решил.

— На жену кто руку подымал?

— А ежели за дело? Что ж это за порядок завели: бабу свою нельзя поучить? Дак она тебе на шею сядет.— Он стукнул себя по сухой и морщинистой шее.

— Тебе сядешь на шею...

— Дак на его шее, ровно на суку, воробей, может, и усядется.

Парамон азартно замахал руками, стараясь унять смеявшийся зал.

— Садись, садись,— кивнул ему председатель колхоза.— Дойдет и до тебя черед.

— Мы еще разберем его... Кто у Криволаповой опару хлебную выпил? — Фетинья Петровна погрозила пальцем.

— Может, мякину ишшо съел? — огрызнулся Парамон, но сел быстро, как в воду нырнул.

А Викул, чуя, что его «пензия» ускользает, поднял руку и помахал шапкой:

— Я в колхоз вступал ай нет?

— Вступал,— ответил Минеевич.

— Чего я отнес туда? Значит, два хомута ездовых, два пахотных, три бороны, одну железную,— Викул загибал пальцы,— дроги на железном ходу.

— Все понятно, Викул Андриянович,— останавливает его председатель колхоза.

— А ты, председатель, не перебивай! Дай слово сказать человеку,— поднялся чернобровый, богатырского сложения кузнец Филат Олимпиевич.— Не то иной человек блоху привел на аркане в колхоз, а туда же за пензией топает... За что, к примеру, Карпею Ивановичу выдали пензию? Что он, внес в колхозную кладовую накопления?

— Извиняем, извиняем...— с готовностью отозвался Карпей.— Я в Назаровке вступал в колхоз. Там я сдал поболе вашего.

— Вот и ступай в Назаровку за пензией! Стаж свой где растерял?

— Товарищи, ведь он же самый старый у нас! — вступается за Карпея председатель.— Ему еще в то время, когда колхоз создавали, уже пенсию надо было платить.

— Совершенно справедливые слова говорите,— ввернул Карпей.

— Сколько вам лет, Карпей Иванович?

— Второй годок после сотни...

— Ну что ж вам еще! — Председатель махнул рукой, и те сели.

Помедлив, сел и Викул.

— Значит, голосуем,— сказал Минеевич.— Кто за то, чтобы Викулу пензию отказать?

Руки поднялись довольно густо.

— Пешка пусть считает...

— Жасеин, опять!

— Петинья Петровна, какой разница...

— Чего ж считать? И так ясно,— говорит Фетинья Петровна.— Большинство против.

— Вот видите, Викул Андриянович, не получается у вас с колхозной пенсией,— обратился председатель колхоза к Викулу.— Придется вам ждать государственной пенсии.

Но Викул встает, тычет себя шапкой в грудь и заведенно произносит:

— Дак же обсудить надоть.

— Всё уже, всё!.. Голосование было...

— Одно дело — голосование, другое — обсудить надоть. Мне никак нельзя без пензии.— Он опять кланяется президиуму, потом по сторонам: — Товарищи правление! Товарищи мужчины и протчие женщины...

Но его никто не слушает. Председатель, косо поглядывая на листок с повесткой дня, лежащий перед Минеевичем, произносит:

— Разбирается заявление Черепенникова Федула Матвеевича.

— Очередной! — выкрикивает, опомнившись, Минеевич и смотрит в зал.

Встает Федул, плотный квадратный старик с лихо закрученными усами, краснощекий, черноглазый еще по-молодому. Браво расправив грудь, он рыкнул на Викула:

— Кого тебе ишшо надо? Вырешили старики — и надевай шапку. Садись!

— ...поскольку кормильца лишен,— твердит свое Викул.

— Вам будут хлопотать пенсию через сельсовет, Викул Андриянович,— пояснил председатель колхоза и кивнул в сторону председателя сельсовета.

— Дадим ему что положено как одинокому. Но учтите, тогда его надо из колхоза выводить.— Председатель сельсовета сел, и стул под ним жалобно скрипнул.

— А у вас таких правов нету, чтобы выводить меня из колхоза. Два ездовых хомута сдал, три бороны, одну железную, да дроги на железном ходу, да плуг двухлемешный...

— Ясно, ясно, Викул Андриянович,— успокаивает его председатель колхоза.— Решили с вами... Садитесь. Похлопочем.

Викул наконец садится, но все еще бормочет про себя:

— Обсудить надоть... Я тоже закон знаю.

Федул держит руки по швам и с готовностью таращит глаза на президиум. Как только председатель колхоза обернулся к нему, он скороговоркой отчеканивает:

— Я тоже сдал в кладовую накопления: двух кобыл, одну жеребую, бричку на железном ходу, двенадцать метров пеньковой веревки для постромок...

— Ты лучше скажи, где ты работал? — перебивает его Фетинья Петровна.

— А где ж? В колхозе и работал...

— В колхозе? — весело переспрашивает Фетинья Петровна.— А кто ж тебя видел, как ты работал?

— Могут подтвердить свидетельским показанием Амос, Феоктист, Микиш...

— Это какой Микиш? — спрашивает Минеевич.

— А Черепенников!

— Дак он же второй год как помер.

— Ну тогда Симеон,— не сморгнув глазом отвечает Федул.

— Ты самулянт! — взрывается Минеевич.— Ты всю жизнь просамулировал...

— А ты прорыбачил,— отбивается Федул.— На пасеке бабу оставишь, а сам на реку... Теперь ишшо на сцену залез. Слазь оттудова... Не заслужил!

— Да я тебя слова лишаю! — грохнул Минеевич кулаком по столу.

— Лишенцев теперь нету! Упоздал на сорок лет... Хватит...

— Ты как был подкулачником, так и остался! — крикнул, багровея, Минеевич.

— А ты раскулаченными холстинами торговал...— не сдавался Федул.

Минеевич заерзал на стуле и беспокойно озирался по сторонам, как бы ища поддержку в президиуме. А в зале смеялись и топали ногами.

— Федул Матвеевич, припомните все ж таки, где вы работали? В какой бригаде? — спрашивает Фетинья Петровна.

— Вот те раз! — пучит глаза Федул.— А кто вас всю войну дровами обвозил? Школу, сельсовет...

— Тять, это ж ты от райтопа работал,— дергает его за полу сидящий рядом сын-тракторист.

— А ты молчи! Тебя не спрашивают...— отымает полу Федул.— А кто в бойной работал?

— Бойная от сельпа была! — кричит Минеевич.

— Хорошо. Ладно... А кто десятидворкой по дорожному делу руководил? Кто вас выгонял с подводами на щебень, за песком? Это вы мне так теперича отплачиваете!.. Мстительность ваша, и больше ничего...

— Это обчественная нагрузка...

— Не юляй... В какой бригаде работал?

— Садись, тятя, садись...

— А ты молчи! — Федул скидывает с себя полушубок, за который тянет его сын, и торопливо начинает выдергивать рубаху из-под пояса.— А теперь учтите такую прокламацию. Поскольку я награжденный «Георгием» и воевал в последнюю очередь в мировую... Ишшо в японскую на Цусиме, на «Цесаревиче» то есть. А в плен попадал!.. Это как можно отбросить? Что надо мной там японец исделал? — Он заголил по самую шею рубаху, обнажив синевато-белое брюхо и мускулистую, заросшую седыми волосами грудь. На его груди, размахнув крылья, парил татуированный орел; в когтях он нес женщину, у которой вместо головы приставлен был сморщенный Федулов пуп.— Вот какие протчие предметы оставил на моем теле плен,— торжественно произнес Федул в наступившей тишине, поворачиваясь во все стороны оголенным брюхом.— Спрашивается, когда ж мне было работать? Иль и это не в зачет?

— Ты нам пузо не показывай. Его в протокол не запишешь. И птицу твою мы видели. Опусти рубаху! — повышает голос председатель сельсовета.— Ты что, не знаешь, как отвечать надо? В какой бригаде работал, говори?!

Федул опустил рубаху и молча стал запихивать ее, оттягивая пояс штанов.

— А что его спрашивать? Голосовать надо,— сказала Фетинья Петровна.

— Поскольку Федул Черепенников стажу колхозного не подтвердил, ставим на голосование. Кто за то, чтобы пензию Федулу не давать? — спросил Минеевич.

— Можно не считать. Картина ясная — почти единогласно. Опустите руки,— сказал председатель колхоза.— И последний вопрос: какую пенсию назначим Максиму Минеевичу Пустовалову? — Председатель взял со стола заявление Минеевича и прочел: — «Поскольку я создавал

колхоз, был в активе и безотлучно выходил на работу, а не какой-нибудь тунеядец, прошу назначить мне двадцать рублей в месяц». Кто имеет слово?

— Ты создавал колхоз!.. Как это так? — крикнули из зала.

Минеевич, опираясь на стол, встал:

— Которые молодые — не знают как раз... У Толоконцевой горы стояла Панфилова мельница. В тридцатом году ее растащили, а Панфила сослали, то есть вослед. Феоктист, не дай соврать! Помнишь, в двадцать девятом годе мы всемером у Панфила собрались на помол?

— Феоктист за дровами уехал,— ухнул кто-то басом из зала.

— Егор Иванович, не дай соврать... Ты ишшо маленьким был,— метнулся Минеевич к старшему конюху, сидевшему за его спиной в президиуме.

— Я не помню,— ответил Егор Иванович, краснея: весь президиум обернулся и смотрел на него.

— Да не с тобой, чудак-человек... С отцом твоим ездили на помол... Значит, я, Иван, Феоктист...

— Ты не юляй! — кричат из зала.

Этот окрик точно подстегнул Минеевича, он передернул плечами, вскинул сердито бороденку и сам пошел в наступление:

— Как впервой назывался наш колхоз, ну? «Муравей»... Мураш то есть. А кто ему дал такое название? — сердито крикнул он в зал и, не дождавшись ответа, погрозил кому-то кулаком: — Я придумал! А через чего?.. Сидели мы в мельничном пристрое... Сговорились: артель создавать. А какое название? Смотрю я — по моим чембарам мураш ползет. Я его цоп — и кверху.— Минеевич вскинул щепоть, словно в пальцах у него был зажат этот самый муравей.—Мурашом, грю, и назовем. Так и вырешили... Магарыч распили.—Минеевич почуял, что сказал лишнее, мотнул головой и добавил: — За помол то есть...

— Граждане колхозники, они тем разом перепились и Назарку заседлали,— говорит Федул.— А Минеевич сел на него верхом и вокруг жернова ездил.

— Врет он! — покрывая хохот, срываясь на визг, кричит Минеевич.— Он самулянт!

— А кого за это выключили из артели? Кого? — распаляется и Федул.— Он всю жизнь бабу на пасеке продержал, а сам прорыбачил. За что ж ему двадцать рублей?

— Прямо не Минеевич, а как это... литературный инструктаж,— говорит на ухо председатель сельсовета председателю колхоза.

Тот снисходительно улыбается и поправляет:

— Не инструктаж, а персонаж.

— Какая разница!

— Тихо, товарищи! Хватит прений. Все ясно. Давайте голосовать: кто за то, чтобы Максиму Минеевичу Пустовалову назначить пенсию в двадцать рублей? — спросил, поднявшись, председатель колхоза.

Зал не колыхнулся, ни одна рука не вскинулась кверху.

— Понятно... Кто за пятнадцать?.. Как всем... Единогласно!

— А ежели как всем...— затрясся от негодования Минеевич,— сами и заседайте. В насмешку сидеть не желаем.

Он с грохотом отодвинул стул и вышел из президиума в зал.

— От дак вырешили!..

— Прямо как в лагун смотрели...

— Совершенно правильные слова...

— По первому вопросу всё,— сказал председатель колхоза.— Шестнадцать пенсий выдали, две отказали. На второй вопрос разное. Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович.

Федосей Иванович подошел к столу, раскрыл папку с делами, солидно откашлялся.

— Поступила жалоба от гражданки Криволаповой Евдокии Семеновны на Силантьева Парамона Ивановича и на Черепенникова Федула Матвеевича в том, что они, отперев замок, вошли в дом Криволаповой, выпили осадки от пива, хлебную опару и съели на закуску картошку для поросенка. Посему поросенок визжал, когда пришла хозяйка. Вопросы имеются?

— Судить их надо колхозным судом чести!

— Хорошенько их приструнить! Они, как попы, по дворам шастают...

— В таком разе суд колхозной чести занимает свои места в составе председателя Фетиньи Петровны и заседатели — я и Егор Иванович.

— Подсудимые, встаньте! — приказывает Фетинья Петровна, глядя в папку Федосея Ивановича.

Федул и Парамон встают. Парамон в отличие от Федула сух, с бритым морщинистым лицом; впалые щеки

придают ему мрачный аскетический вид, и смотрит он в пол, как заговорщик.

— Как вы проникли в избу Криволаповой?

— Подошли — замок висит... Ну, мы его шевельнули. Я шевельнул замочек ай ты, Федул? — спрашивает Парамон.

— Чего его шевелить? Это он от ветру.

— От ветру?! Эх, бесстыжие ваши глаза,— встает Криволапиха.— Небось палец-то об замок зашиб?

Парамон тычет в ее сторону обвязанным тряпицей большим пальцем:

— На, посмотри, на нем шкуры нет!

— А чо у тебя с пальцем-то? — спрашивает Фетинья Петровна.

— Чирьяка под ногтем. Фельдшер говорит: иделай ванную и помочи... Авось отмякнет. Я скипятил чугунок да сунул туда палец-то. Вся шкура и спустилась, как чулок.

— Не отвлекайтесь! Что в избе делали? — строго спрашивает председатель сельсовета.

— А что там делать? Чай, не на работу мы ходили к Криволапихе,— огрызается Федул.

— Не рассуждать! Отвечайте согласно уставу...— повышает голос Федосей Иванович.

— Посмотрели, посмотрели — вроде никого и нет...

— А вы думали — там гостей застолица? — спрашивает ехидно Фетинья Петровна.

— Пускай Федул скажет.

— Я, значит, заглянул на шесток — лагун не лагун и чугуном не назовешь. Ну, вроде бидон... стоит. А в нем и пива-то нет, так — гушша.

— Одна видимость.

— Мы ее выпили...

— Там малость было... На донышке.

— А больше ничего не брали?

— Боле ничего...

— Ах, совесть ваша! — восклицает Криволапиха.— И где ж на донышке! Там более полбидона было. Опара хлебная в деже неделю стояла — и ее выжрали. А кто картошку съел? Поросенку стояла в чашке на скамье... Девки лапшу не доели — я ее тоже туда. Пришла я — поросенок визжит. Я хвать чашку, а там и отчистков нету. Все подчистую стрескали. Хряки они, хряки и есть...— Криволапиха села под общий хохот.

— Что будем с ними делать? — спросила Фетинья Петровна.

— Выговор записать в дело.

— Пускай покаются.

— Граждане колхозники! — переждав шум, говорит Федул.— Ну чего с кем не бывает? Простить надобно. А мы более не будем.

— А Парамон?

— А что Парамон? Иль я чужих коров доил? — вскидывается он.— Не более других пил...

— Хорошо, запиши им выговор,— сказала Фетинья Петровна.

В зале задвигали стульями.

— Подождите расходиться! Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович,— сказал председатель колхоза.

Федосей Иванович встал, полистал в папке свои дела, нашел нужную бумажку, стал зачитывать:

— Товарищи, весна свое показывает: мусор, тряпки, солома, назем и прочие отбросы из-под снега повылазили. От столовой зайдешь в проулок... Тут тебе и собака, и кошка дохлая, и всякие животные валяются до самой речки. А Егор Иванович намедни в речке поймал худые чембары. Протерты не в ходу, а на этом самом месте... На сиденье... Сразу видно — табунщик носил. И у кладовой Степана Ефимовича тоже... мусор и назем. Спрашивается, кто старые чембары в речку кинул? Ведь из нее пьют лошади, скот; ребятешки, подростки купаются с первесны. А что от старых чембар? Один волос исходит и дух чижолый. Куда такое дело годится... Учтите!

— Почем ты знаешь, что табунщик свои штаны бросил?..— кричат с задних рядов.

— Так они же протертые на сиденье, в седле то есть.

— А может, кто их в конторе просидел?

— Ты сначала установи!..

— Установим... И на следующем собрании сообщим. Все! — Председатель сельсовета закрывает свою папку.

Народ расходится.

1965

ДОМОЙ НА ПОБЫВКУ

1

Мы приехали в Тиханово на велосипедах, как туристы — в синих рейтузах да ■ майках, на спинах рюкзаки, лица потные, пыльные.

— А ну, прочь с дороги! — встретил нас окриком милицейский лейтенант.

Он сидел на скамейке возле милиции у самого въезда в Тиханово. Перед ним разливалась лужа во всю обочину, а за лужей, да еще за канавой лежала свежая чистая мостовая, покрытая асфальтом. Поперек мостовой на треногах висела доска с корявой надписью: «Проезд запрещен». Буквы черные в потеках, писаны не то мазутом, не то отработанным машинным маслом. Я притормозил велосипед, а мой сынишка Андрей свернул на обочину, с ходу врезался в лужу и, наткнувшись на какой-то невидимый предмет, полетел ■ воду.

Милиционер засмеялся:

— Вот дурень! Летит ■ болото сломя голову. Там камни!

Андрей встал мокрый и грязный с головы до пят, пошарил руками в воде, нащупал велосипед, вытянул.

Милиционер отечески журил его:

— Дурачок, тут с весны никто не ездит. Колесники глубокие, по шейку тебе будет. Скажи спасибо, что не утоп.

Андрей обиженно сопел и вытирал своего «Орленка».

— Почему мостовая перекрыта? — спросил я.

Лейтенант был в годах ■ разговорчив:

— А ты что, маленький? Не видишь — асфальт свежий?!

— Он уже захряс. На нем колесные следы...

— Мало ли что...
— Когда его уложили?
— На той неделе.
— Так чего же ждут?
— Как чего? Вот проложат до моста, до конца то есть, тогда и откроют.
— Где же в село въезжают? Со стороны Бочагов подъехали — там овраг.
— Ну, правильно. От Бочагов проезду нет,— согласился с удовольствием лейтенант.— Там у нас плотина была, через овраг. По ней и ездили. Но ее прорвало в позапрошлом году... От Выселок тоже не проедешь. Там ЛМС стоит, мелиораторы.
— Так что ж они, оглоблей перекрыли дорогу-то?
— У них трактора, милок, да еще колесные. Они из этой дороги сделали две траншеи полного профиля. Хоть становись в колесники и веди пулеметный огонь в обе стороны.
— А от Сергачева можно въехать в село? — спросил я, уже охваченный любопытством.
— От Сергачева чернозем. Его так размесили, что коровам по брюхо. Веришь или нет, стадо гонят — ягнят на себе переносят?!
— Ну да... А Ураза верхом на козе переезжала,— ввернул я старую тихановскую присказку.
Милиционер поглядел на меня с удивлением; лицо у него белесое, обгоревшее, но гладкое, без морщин, какого-то японского складу: веки припухлые, губы толстые, чуть навыворот, нос пуговкой, с открытыми ноздрями.
— Ты здешний, что ли? — спросил он.
Я назвался.
— Фу-ты, мать твоя тетенька! А я тебе про дорогу смолу разливаю. Из газеты, значит! А я Ежиков Яков. Знал гордеевского милиционера Ежикова? Так вот я сын его. Теперь участковым состою в райцентре. Дежурю по отделению.
Он кивнул на раскрытые окна двухэтажного дома, где помещалась милиция. Время было вечернее, тихое — во всем здании ни души. В палисаднике стоял мотоцикл с коляской, видать, дежурного. А сам дежурный с удовольствием теперь разглядывал меня.
— В газете, значит. Слыхал, слыхал... Ну, здорово! — он протянул мне руку.

Мы поздоровались.

— Что ж ты сразу не сказал — кто такой? И ехал бы себе по мостовой. Свой человек, какой может быть разговор,— он вдруг рассмеялся.— Ты знаешь, сколько висит эта вывеска. Боле двух недель. Кому надо — тот ездит. На побывку или по служебным делам?

— В гости к Семену Семеновичу Бородину.

— Ну да, к брату! — И вдруг обрадованно: — А Пашка Жернаков тоже тебе братом доводится!

— Двоюродным,— поправил я.

— Аха!.. Ты знаешь? Ведь я на его место переведен. Значит, когда его посадили... Прямо скажем — здря!

— Он вроде бы дома...

— Отсидел, как миленький. Правда, не полный срок. Два года отбухал, хоть и в особом лагере — для нашего брата. Но там тоже не сладко.

Я смутно помнил, что у Павла какие-то нелады с женой были, и спросил для приличия:

— Живет он с женой?

— Ну что ты? Она ж его в тюрьму посадила. Вернее, не она, а ее подружка. Сонька Ходунова. Вот пройда! Пробы негде ставить. Мне сам Пашка рассказывал. Да ты присядь!

— Некогда. Спешим.

— Куда вам спешить? Только что стадо пустили. Семен Семенович за коровой пошел, а Настя, поди, на дворе возится. Присядь! Я те такое расскажу — в любую газету за первый сорт сойдет. Ты, случаем, не «Беломор» куришь?

— Сигареты.

— Тьфу! Этими сигаретами только ноздри раздражать. Ну, давай, подымим!

Закурили сигареты.

— Так вот, мне сам Пашка рассказывал,— начал он с заметным нетерпением, будто целый день только сидел и ждал меня.— Приехал я, говорит, с задания. Нет жены! Где Шурка? У Ходуновой. Ну, говорит, зараза,— в чайной шоферню завлекает. Побежал в чайную. А ему там в ответ: Ходунова ноне выходная. И верно, за буфетом стоит Лелька Ликака. Ну, где их искать? Взял он бутылку красного, которая потяжельше. Тяпнул всю бутылку из горлышка — не берет. А Ликака ему со смехом: мелкой дробью, мол, стреляешь. Ха-ха-ха. Говорит, для сурьезного мужчины красное — что быку прутик. Она, говорит, и

предсердии растворяется, а до сердца не достает. Он вроде бы на спор еще белой хватанул бутылку. Где Ходунова? В Выселки пошла. И Шурка с ней? Точно. Ну, я им покажу помятую траву, сказал Пашка. Двинулся он в Выселки. А ночь темная, в трех шагах ничего не видать, хоть глаз выколи. Пока шел через выгон, его разобрало так, что на ногах не держится. Вышел на запруду перед самыми Выселками... Откос крутой, высокий, а съезд глинистый, горбатый. Он поскользнулся и полетел по откосу в овраг. Очухался... Куда ни погляжу, говорит,—стена склизкая. Лезу по ней, лезу — вроде бы приступки подо мной и край близко. Рванусь! — и шлеп опять в болото. И вот, говорит, досада: все почему-то головой вниз падал. Или голова тяжельше остального тела, или ногами вверх подымался... Кто его знает?

Шурка с Сонькой Ходуновой нагулялись вдоволь, уже домой возвращались, а он все в грязи челюпкается. Услыхал голоса — кричит из оврага: люди добрые, помогите! Тону!! И где, говорит, я? В колодце, что ли?! Зубами стучит... Продрог весь. Они его даже по голосу не узнали. Сняли с себя платки, связали их и кинули ему конец. Вылез он на плотину, как тот кочегар из печной трубы — одни глаза блестят... «Кто ты? Кого искал на дне морском?» — спрашивают со смехом. А вот вас, говорит, искал. Нагулялись, трам вашу тарарам?! Хвать одну по уху, а второй по шее. Они его повалили и давай топтать. Пьяный — встать не может. А сознание работает: меня, мол, участкового, бабенки паршивые топчут! Был у него перочинный ножичек. Эдакий вот, с палец. Он его вынул и Соньке по голяшке, повыше коленки чиркнул. Они завизжали — и деру. А на другой день уголовное дело открылось: превышение полномочия власти... Рукоприкладство, да еще с ножом. А какое там рукоприкладство? Жену проучить за дело и то не удалось. И Сонька разоралась: поранил! Какая рана? Царапина. Котенок и то глубже когтит. Еле чиркнул повыше коленки. Место, правда, интересное. Но судили не за место, по которому провел... А судили за то, что при погонах был. Значит, если на тебе нет погон — валяй, дерись с кем хочешь? А если ты при погонах, то собственную жену поучить не имеешь права. Где же она, правда? Тут стоишь — тебе ни сна, ни отдыха. Ночь-в-полночь вызывают — идешь. А платят всего девяносто рублей. А вон Авдей Пупок ушел от

нас завмагом... Как сыр в масле катается и получает по сто тридцать рублей. Вот об чем напиши.

Наконец-то он высказал, зачем огород городил. Удивительное свойство русского человека говорить о нужде своей околичностями; вроде бы он и весел, и счастлив, и доволен всем, а под конец ляпнет: похлопочи за меня, напиши куда следует. Сам он не любит жаловаться начальству и тем паче писать. А ты, мол, напиши. У тебя должность такая. Это не робость, не лень — просто вековая привычка, выработанная неверием в силу и разумность хлопот. Куда я пойду? Кому скажешь? Кто поверит?! Да и что за беда, в конце концов! Люди вон и похуже живут. И мы переживем... Другое дело, ежели кто за тебя скажет или напишет. Это — пожалуйста. Тут можно и слезу пустить, а слезы нет — «слюной глаза помажет».

Вот почему нашего брата газетчика встречают везде приветливо, откровенничают с тобой, как верующие с попом на исповеди. И жалуются все: от колхозного сторожа до председателя областного совета.

Мой наезд в Тиханово в то далекое лето был тому хорошим доказательством.

2

Вечером к Семену Семеновичу потекли мои родственники; первой пришла тетя Марфута — лицо темное, землистого цвета, как выгоревший на солнце черный плат, но все еще прямая, подтянутая — гвардейской выправки; за ней пожаловал дядя Ваня, Семен Семеновича тесть, восьмидесятилетний старик с коротко стриженными, прокуренными усами, с широкой лоснящейся лысиной. Пришла и тетя Соня, вечно в черном, как монашка, зато ликом светла да улыбчива, и зять ее пришел, Петр Иванович, у которого все щелкала да выпячивалась вставная челюсть, мешая говорить ему. Да самих трое: Семен Семенович, Настя и Муся, дочь, приехавшая на каникулы из московского института. Да нас с Андреем двое... За стол не усадишь.

— Что Пашка Жернаков, вернулся? — спросил я.

— Возвратился, не запылился,— ответила тетя Марфута.— А что ему, шарлоту, сделается? С одной разошелся, теперь вот с другой сошелся. А мать через него умерла.

— Кто умерла? Тетя Параня?!

— А кто ж еще! — подхватила тетя Соня.— Ворожить ходила на Паньку... В Высокое. Вон куда! Да еще по весне, в раздополье. Он в тую пору в тюрьме сидел... И вот тебе, объявилась ворожея в Высоком. Будто из Сарова приехала. Хорошо предсказывала — на кого ни поставишь. Вот Паранька и пошла гадать на него — скоро вернется или нет? Дорога мокрая, склизкая. В валенках не пойдешь... Она чуни стеганые надела. Чуни стоптанные, худые. Она еще калоши на них натянула. Вот этими калошами и нахлопала себе пятки. Веришь или нет, в кровь, до костей истерла!

— В Высокое сходить — это тебе не мутовку облизать: туда двадцать пять верст да назад столько же,— наставительно заметила тетя Марфута. В отличие от подвижной, готовой на услужение тети Сони, эта сидит строго и прямо, руки держит на коленях — ладонь в ладонь — и только большими пальцами поигрывает, да все подмигивает, посмеивается.

— Заражение крови у нее открылось,— ревниво поглядывая на тетю Марфушу, подхватила снова тетя Соня.— По ногам чернота пошла, а она все живет.

— Сердце крепкое,— сказал дядя Ваня, покуривая; он сидел на диване рядом с Петром Ивановичем.— Доктора присудили ей скоропостижную смерть, а она до Егорьева дня прожила.

— Присудили,— поигрывая пальчиками, усмехнулась тетя Марфута.— Больно у нас много охотников до суда развелось... Все бы нам судить да рядить.

Настя и Муся бегали как шатоломные то в погреб, то в сени, в подпол лезли. Настя в красной кофте, сама раскраснелась от суеты, аж веснушки выступили, остановится на бегу, поведет глазами:

— Ой, что ж я хотела? Эта, Семен?! Ты куда грыбы вынес?

— Грыбы?! Так мы их еще вчера съели.

— Ах, идол вас возьми-то!..

В горнице на большом столе накрыта скатерть вязаная: на темной мелкой сетке огромные красные бутоны из шленской шерсти. Тарелки летали из рук в руки: с огурцами, с яйцами, с луком, с сыром, с клубникой. Семен Семенович нарезал хлеб, свиное сало; он уж и побриться успел, и рубашку белую надел, да еще широкие, шикарные резинки натянул повыше локтя, для форсу. А как же?

Мы, Бородины, народ культурный. Знаем обхождение... Вокруг него увивался Андрюшка и приставал с расспросами:

— Дядь Сень, а какой народ самый первый?

— Русские,— с ходу отвечал Семен Семенович.

— А потом?

— Потом американцы.

— А потом?

— Англичане, французы... европейцы, одним словом.

— А чехи, дядь Семен?

— Чехи — наши братья по вере и Христу.

— А индусы?

— Индусы — народ богобоязненный. У них был еще премьер-министр Бурхадур Шастри... Мастенький мужичонко, с тебя ростом. Он все в кальсонах ходил. А теперь у них премьер-министром ходит Индира Ганди, красивейшая женщина в мире. У нее за это есть на лбу отметина.

— Не в красоте счастье,— сказала тетя Марфута.— Было бы что обуть да одеть.

— Ноне обижаться гре-ех,— пропела тетя Соня.— Теперь у нас все есть,— и хлеб, и пашано продают, и масло подсолнечное.

— А махорки нету,— возразил из угла дядя Ваня.— Куришь папиросы, куришь... Ни крепости, ни скусу... Только горло дерет.

— Дядь Сень, а ты богатый? — спросил Андрей.

— Да как тебе сказать? Вот если б мы с тобой, Андрюша, нашли баржу с золотом... Ее в озере Падском Стенька Разин затопил. Тогда бы разбогатели. Ого-го!

— Ты уж помалкивай! — оборвала его тетя Марфута.— Проворонил ты свои тыщи.

— Какие тыщи?

— Какие?.. У дяди Паши лежали под крыльцом. Сто тридцать тыщ пропало,— тетя Марфута подмигивает мне и посмеивается.

— Да ну тебя! — отмахнулся Семен Семенович.

— Это что за тыщи? — спросил я.

— Дядя Паша Кенарский... конюхом у него работал. Тогда еще Семен председатель сельпа был. При пекарне держали дядю Пашу. А Полинка заведующей пекарни.

— Чья Полинка? — спросила тетя Соня.

— Да наша. Семенова сестра. Она все жалела дядю Пашу — хлебом его кормила. Он и признался ей: я,

говорит, Полинка, богатый человек. А сам в шоболах ходит. Полинка смеется. А он ей: ты не смейся. У меня в одном месте сто тридцать тыщ лежит. Где взял? Табак в войну продавал да складывал. Она все со смехом: куда ж ты их прячешь? Никому не говорил, а тебе скажу. Потому — ты мне ближе родной матери. За доброту твою признаюсь. А лежат они под крыльцом у меня, под верхней ступенькой. Вот Полинка и говорит Семену,— тетя Марфута подсмеивается и кивает на Семена Семеновича, тот насупленно молчит, режет сало,— давай их возьмем! Все равно они пропадут. Жена у него, Катя, простая, и сам скряга старый. Что им делать с такими деньгами? А Семен ей: ты с ума спятила. Чтоб я, председатель сельпа, взял сто тридцать тыщ? Дура ты! Сам дурак. Ну, посмеялись, да забыли. Вот тебе реформа объявилась... Дядя Паша сидит на крыльце в пекарне и плачет, рекой разливается. «Полинка,— говорит,— деньги-то мои пропали... Все сто тридцать тыщ. Я удушусь».— «Да ты,— говорит Полинка,— хоть сдай их — тринадцать новыми получишь».— «Да меня посадят за них. Скажут — где взял? Я сжег их с горя».— «Ну и фофан! Я их, признаться, хотела украсть у тебя».— «Да что ж ты, глупая, не взяла? Хоть бы ты попользовалась...»

Все засмеялись.

— Да, жил человек! — распевно произнесла тетя Соня.— На одном хлебе сухом держался. Что дадут в пекарне, то и ест. А купить что-нибудь — ни боже мой. От таких денег-то! Родилась у него девочка. Он говорит: Катя, давай окрестим ее! Да в чем я пойду крестить? У меня ни обуть, ни одеть! Вот дура, у самой нет — взаймы попроси. Она и крестить ходила в чужих валенках.

Петр Иванович молчал, молчал да изрек из своего угла:

— Вы чего, на свадьбу накрываете, что ли? Выпить есть, а чем закусить каждый сам себе найдет. За стол сажайте, не то живот брехать начнет.

— Ой, да я эта... Яишенку изжарить хотела,— метнулась из сеней Настя.

— Она пойдет на второе,— сказал дядя Ваня.— А пока и огурцами обойдемся. Да вон сало свиное. Чего еще надо? Больно хорошо.

— Что и говорить,— усмехнулась, подмигивая, тетя Марфута.— Каждое блюдо — прямо декальтес...

— Ну тогда садитесь,— сдалась Настя.

Все двинулись к столу.

— Эдакое разнообразие, а ей все мало,— ворчал Петр Иванович, присаживаясь первым.

— Да, не говори! — подхватила тетя Соня.— Забыли, как пустую мурцовку хлебали.

— Смотря где. К примеру, в лугах ежели, в полдни, мурцовочки похлебать — первое дело,— сказал дядя Ваня.— Только хлебец посолить с утра надо, чтоб соль впиталась, да водички из озера зачерпнуть, посвежее...

— В двадцатом годе мурцовочку только во сне видели,— распевала тетя Соня.— Мы, в семье, три воза выжимок картофельных съели.

— Ты скажи спасибо Зиновею,— перебила ее тетя Марфута.— Он заведующим в Лопатинской больнице работал. Вот и достал нам выжимок на Гордеевском заводе. А то выжимки! Их ни за какие деньги не купишь в те годы.

— А я разве против? Я не против Зиновея,— согласилась тетя Соня.— Я только насчет выжимок. Колготно с ними. Бывало, промоешь их, отожмешь — и в чугуны. Напаришь, вывалишь в дежу — она вровень с краями. Вот и киснут...

— Ну, хватит вам про выжимки! — сказал Семен Семенович.— Вы еще расскажите, как мякину ели.

— А что, и мякину ели! — обрадовалась тетя Соня.— Помнишь, как в тридцать третьем году дранки на холстины наменяли? А уж дранки наешься... На двор без вилки не ходи, не расковыряешь...

— Чего, баба Соня? — не понял Андрей.

— Ой, Андрюша!.. Села баба на чело. Тебе еще рано знать.

И все засмеялись.

— Как он растет! Какой большой! — умиленно сказала мне тетя Соня.

— В кого им маленьким быть? — возразила ей тетя Марфута.— Воспитание хорошее, питание ноне правильное. Вот они и дуют, как на дрожжах.

— Бородины — народ определенный, пьют только белое вино.

— Когда есть чистое белое, красным вином годится разве что рот полоскать.

— Ну, с приездом, Андреич!

— Дай бог не последний раз видимся...

Выпили, покривились, поели. И как-то неожиданно,

словно по морской команде — все вдруг! — повернули разговор в другую сторону, пошли пьянство осуждать.

— Жизнь настала хорошая, все у нас теперь есть. А вот как с пьяными поступать? — спросила тетя Соня.

— Связать по ноге да пустить по полой воде,— сказал Петр Иванович и сам засмеялся.

— Ты вот что скажи, почему у вас в газетах не пишут про пьяниц? Почему не осуждают такое дело? — допрашивала меня Настя.— Вы считаете, что пьяницы сами одумаются?

— Небось вон Пашка одумался,— ответила ей тетя Марфута.— Как посидел в тюрьме-то, так в рот не берет.

— Он-то протрезвел, а тетя Параня через его пьянство умерла! — крикнула Настя.— Нет, по-моему, всех пьяниц надо через газету протаскивать и потом в тюрьму сажать на хлеб и на воду.

— Это ж какую тюрьму надо построить,— удивилась тетя Соня.— Ведь они дуют ноне каждый день. Да чего там мужики? Бабы пьют. Теща Мишки-милиционера пьет. «Москва», Соньки-буфетчицы мать, пьет. Чувал с Веркой и сыном — всей семьей пьют и дерутся. Чувала парализовало от вина-то. Елизавета Максимовна, что за Ивана Ивановича Прохорова выходила, теперь пьет. Намедни возле магазина в грязи валялась... всем хлыстом упала. А ведь раньше при хороших должностях была — и в банке работала бухгалтером, и в доротделе. Лельку Чистякову посадили. Муж ее, Серенька, отчет составлял. Она села сзади его, стала мораль читать: деньги просила то есть. Пьяная! Он сидит, считает, на нее ноль внимания, ни гугу. Что, говорит, язык проглотил? Я те приведу в чувство. Да топором ему по черепу бац! Спасибо, топор вскользь пошел. Оклемался Серенька... Да что толку? Раньше в заготсырье работал, а теперь вон на пенсии. Хромает. На него повлияло.

— Да, теперь он неполноценный,— согласился дядя Ваня.

— Ты вот об чем напиши, Андреич.

— Ладно уж, Лелька дура. С дуры какой спрос? — сказала Настя.— А вот возьми моего зятя, Степана Степановича Климачихина. Он — бывший прокурор, а пьет. За сыном с ножом бегал. В сноху тарелкой бросил. Сноха с ребенком сидела. А ведь у него сын не простой человек — кредитным инспектором работает. Вот об чем напиши.

— Господи, какие страсти принимают! Какие страсти! А из-за чего? — сказала тетя Марфута.

Петр Иванович вдруг рассмеялся:

— Где похороны, Елизавета Максимовна сразу венок хватать. И передом идет.

— Она и свадьбу не пропускает,— сказала Настя.— Кто идет из зака, они с Веркой Сипатой веревку протягивают: давай поллитру!

— Кому хочется с дураками связываться,— ответила тетя Марфута.— Когда хорошие люди погибают, и то никому нет дела. Вон Валерка Панков. Какой парень погиб! А через чего?

— И он через пьянство,— отозвалась тетя Соня.

— Нет, бабы, нет. Пьянство вы сюда не впутывайте,— замотала головой Настя.— Валерий Панков погиб через суеверию.

— Через какое еще суеверие? — прыснула Муся.

Она примостилась на уголке стола и поклевывает с тарелки, как залетная курочка,— носик вострый, глаза круглые, бойкие и смеется как-то округло, рассыпчатым горошком: «Ко-ко-ко-ко!»

— А ты не смейся! — одернула ее Настя.— Не знаешь — и молчи! Его при жизни записали в поминащее. Жена, Шурка, записала. А теща ездила в Пугасово, в церковь, земле предавать. По нему, по живому, службу заупокойную вели. И навалилась на меня, говорил он, тоска. Ну, деваться некуда. Вот он и ахнул себя из ружья.

— А я вам говорю — тут ревность причиною. И больше ничего,— настаивала Муся.

— Что бы там ни было, а человека нет,— сказала тетя Марфута.— И причиною тому Шурка. А ей никакую статью не подыщешь, хоть и виновата кругом. Вот об чем писать надо.

— Все дело в породе,— со значением мотнула головой тетя Соня.— Небось вот из нас, Бородиных, ни одного пьяницы не найдешь. Все живут своим разумом. Сказано: кто на корню устоял, тому ни одна буря не страшна. И пьянка его не повалит.

— Да, это верно. Ежели корень сырой, то пиши пропало,— согласился дядя Ваня.— Одного лень валит, другого воровство, третьего водка.

— А Пашка Жернаков? — спросил Петр Иванович, видимо уязвленный втайне тем, что его род обошли.

— А что Пашка? — вскинулась тетя Марфута.— Иль

он больше других пил? Лошадь вон на четырех ногах и то спотыкается.

— Пашку вы не трогайте! — пропела тетя Соня.— Человек встал на свои собственные рельсы.

— Ага. И на твоей племяннице женился. Теперь он праведный,— хохотнул Петр Иванович.

— А что тут плохого? Племянница — человек порядочный. Она не чета его бывшей вертихвостке. Живут они мирно. Не пьют.

— Да ну их к монаху, ваших пьяниц огорчающих! Это есть пережиток исторического прошлого,— сказал Семен Семенович и тряхнул седеющими кудрями.— Споем!

Не дожидаясь ничьего согласия, он запрокинул голову, сладко прикрыл глаза и запел, раздувая ноздри и выпячивая кадык:

Ой-и-й, чтой-то сделало-о-о-ось, случи-и-и-лось
над тобо-о-ой, хоро-о-оший мо-ой?

Его дружно поддержали высокие женские голоса и печально, протяжно, как на похоронах, тоскуя, жаловались:

Глаза серые, веселые на свет больше не глядят,
Разуста твои прелестные про любовь не говорят...

Пели долго и согласно, разбившись на голоса да еще с подголосками,— то отваливаясь к стенке, отрешенно уходя в себя, то подавшись к столу, ревниво одергивая друг друга, подталкивая: «Ты эта, Марфа, не балуй на верхах», «Семен, живее давай, пускай в перебой! Чай, не на быках едешь», «Ну бабы, ну! Давайте мою любимую: «Отец мой был купец известный, имел наличный капитал...», «Дак мы еще Ланцова не пели». «А Ваньку Ключника?», «Про княгинюшку, про страда-алицу!»... И опять умолкли враз, как по команде, и упоительно заливался раскатистый баритон Семена Семеновича:

В саду я-я-ягода ма-а-алина
под закры-ы-ышею росла-а-а...

Расходились поздно, по-темному, удоволенные, с просветленными лицами.

— Эх, Андреич! Спасибо, что приехал. Как [redacted] церкви побывали... На спевке да на исповеди.

— Почаще приезжай! Не забывай родину.

Я вышел на волю. Стояла тихая летняя ночь. Ничто не шелохнется, нигде не шумаркнет; только в кромешном

небе низко над селом прочертил огнями дугу учебный самолет, деревянно протарахтел мотор, да где-то за моей спиной в ответ ему прозудело оконное стекло. Самолет нырнул за горбины темных ветел и, видимо, сел на близком аэродроме. И снова воцарилась благостная тишина. Я прошел садом, поднялся по лестнице на поветь, где на свежем душистом сене постлали нам с Андреем постель, и лег на большую пуховую подушку лицом кверху. Подо мной, где-то на насесте, сонно пролопотали потревоженные куры, да шумно вздохнула корова, словно кузнечный мех кто-то качнул. Потом грохнула щеколдой сенная дверь, послышались женские голоса, потренькивание тарелок да звонкое цоканье кружки в пустой алюминиевый таз. Посуду вышли мыть, догадался я.

— Дядя Федя не озоровал. А этот прямо зафреник,— послышался утомленный Настин голос.

— Никакой он не зафреник. Зафреник! Просто дурью мучается,— лениво возражала Муся.

— Нет, не скажи! Мне сама племянница говорила. И сестра Нюрка. Запирали, говорит, его... на испыток. И что же? Он один воюет с чугунами да с горшками. А ты говоришь — не зафреник...

«Ну, вот и дома...» — приятно думал я, засыпая.

1970

СИМПАТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

Дело было в Тиханове. Я жил у двоюродного брата Семена Семеновича Бородина. Однажды хозяйка, вернувшись с полдневной дойки, сказала мне:

— Тебя спрашивала Даша Хожалка, которая с Выселок.

— Она жива еще!

Я вспомнил темнолицую худую женщину неопределенного возраста с негнущейся ногой. Всю жизнь она работала в больнице нянькой, или, по-старому, хожалкой, за что и получила свое прозвище, по которому ее знали все в округе от малого до старого.

Помню, как в детстве мы, ребятишки, завидев ее, табуном бежали за ней и кричали во след всякие обидные прозвища, как это делали все шалуны в деревне при виде убогого: «Солдат с бородой, с деревянною ногой». Не то еще: «Баба Яга — костяная нога!»

Ходила она быстро, решительно выбрасывая вперед, как кочергу, свою негнущуюся ногу, и не обращала на нас никакого внимания. И мы скоро отставали.

— Зачем я ей понадобился? — спросил я Настю.

— Ей подбрасывают эти самые... симпатические письма.

— Чего, чего? — удивился я.— Ты знаешь, что такое симпатические письма?

— Которые со всякими оскорблениями и угрозами.

— Запомни, голова — два уха: симпатические письма пишутся невидимыми чернилами, и чтобы их прочесть, надо либо погреть на огне, либо в раствор опустить.

— А я что говорю! Которые против закона шпионы пишут.

— Какие тут шпионы? Окстись, милая.

— Шпионы, это я к примеру сказала. А здесь свои орудуют, да еще родственники.

— Чем они пишут, молоком?

— Каким молоком? Чернилами.

— Симпатическими?

— Ну чего ты привязался? Дарью, говорю, обижают.

— Кто ее обижает?

— Сноха с подружкой. Они обе в больнице работают прачками. Вот и развлекаются: письма эти самые сочиняют и подбрасывают Дарье под порог. А то и по почте шлют.

— Она бы властям пожаловалась.

— Жаловалась! И письма эти в суд отнесла, и заявление писала. Но судья отказалась разбирать ее дело. Говорит, передам в товарищеский суд. А Дарья в слезы. Какой у нас товарищеский суд? Там тюх да матюх, да колупай с братом. На смех подымут. Она руки на себя наложит. Ей-богу, правду говорю. Сходил бы к судье. Поговорить надо. Не погибать же человеку.

И я пошел к судье.

Антонина Ивановна, так звали судью, встретила меня в своем кабинете; это была худенькая женщина средних лет, одетая в серенький пиджачок, какие носят домохозяйки, когда собираются сходить в магазин или на рынок. На столе перед ней лежала целая кипа бумаг, сама она что-то усердно писала, озабоченно сводя брови.

Я представился и спросил насчет дела Дарьи Горбуновой.

— Горбуновой, Горбуновой...— повторила она несколько раз.— Ах, да! Это насчет шантажа и мелкого хулиганства? Разбирательству в суде не подлежит.— Ее тоненькие брови сдвигали складку на переносице, отчего придавали лицу выражение нахмуренное и сосредоточенное.

— Почему же?

— Это мелочи.

— Защитить доброго человека — дело не маленькое. Вызвать, да разобрать в суде, да оштрафовать хулиганов...

Она только вздохнула и посмотрела на меня с укором.

— Видите, сколько дел скопилось! — указала на стопку

бумаг перед собой.— И все за неделю набралось. Тут голова кругом идет.

— А что за дела?

— Да все одно и то же: пьянство да хулиганство. Вот, оформляю на одного ухаря. Шофер из рязанской АТК, на шефской помощи здесь. В Гордееве сразу двух баб сшиб да мужику пятки отбил.

— Как это он ухитрился сразу трех зацепить?

— Эти поля осматривали, выбирали массивы для жатвы, какие поспелее — метки ставили. Ну и сели на обочине, возле дороги, полдневать. А этот обормот пьяный ехал. Ему надоело по дороге ехать — пыльно! Свернул на обочину и чесал впрямую, не глядя перед собой. Ну и наехал... Мужик успел отпрянуть в последнюю минуту, кувырком через голову — ему колесом ударило по пяткам. А бабы и не шелохнулись, как куры на гнезде,— только головы нагнули.

— Насмерть задавил?

— Да нет. В больнице отлеживаются. Он их не задел колесами — только спины ободрал — не то карданом, не то мостом. И даже не остановился, стервец. Мужчина встал, видит: еще один грузовик едет. Помахал рукой. Этот остановился и тоже пьяный. «Отвези в больницу женщин,— говорит пострадавший.— Помощь срочная нужна». Ладно, положили их в кузов. Едут. Вдруг шофер говорит: «Я не поеду в больницу. Меня ж заберут как пьяного».— «Как не поедешь? А если они помрут?» — «А кто их задавил?» — «Да вон тот грузовик». Тот еще впереди пылил. «Ах, Володька! — говорит.— Сейчас мы его догоним». И догнали. Переложили ему в кузов пострадавших. Сам виновник и привез их в больницу. Вот, в субботу будет суд.

— Веселое дело,— говорю,— предстоит вам разбирать.

— Тут все дела такие же веселые,— кивнула она на стопку бумаг и, воодушевляясь, как продавец перед покупателем, стала перебирать их и раскладывать, словно товар.— Вот здесь еще заявленьице — пенсионер подал. Пришли к нему два архаровца, под видом электриков. Связали, воткнули в рот ему веник из клоповника, взяли деньги и ушли. Оказалось — десятиклассники. Один — племянник нашего главного врача Ланина. А вот еще тип... Залез в магазин, напился, как свинья, и проспал там всю ночь. Проснулся на рассвете, опохмелился еще и взял деньги. Принес домой девятьсот рублей. А про-

давцы говорят: у них недостает тысячи восьмисот рублей. Вот и разбираемся.

— Помогай вам бог.

— Это все частные дела, личные, так сказать,— все более воодушевлялась Антонина Ивановна.— А вам для газеты куда интереснее тяжба лесхоза с колхозом. Вот, полюбопытствуйте! Веретьевский колхоз выкашивает на силос лесные поляны, принадлежащие соседнему лесхозу. Тот составляет акты, а этот не подписывает их. Потеха! Вот, поглядите.

Она взяла из пачки одну бумагу и протянула мне:

— Прочтите!

Читаю. Акт составлен лесхозом на типографском бланке. Иные пункты и в самом деле забавны.

Вот пункт одиннадцатый: «Было ли лесонарушителем оказано сопротивление?» Ответ чернилами: «Бригадир Володин Роман Иванович обругал матом лесничего Ракова».

Пункт тринадцатый: «Объяснение лесонарушителя». Чернилами дописано: «Лесонарушитель от объяснения отказался». Четырнадцатый: «Показание свидетелей или понятых». Ответ: «Председатель Веретьевского сельсовета от заверения акта отказался. И понятых не выделил. Я, говорит, колхозниками не распоряжаюсь, а других граждан на территории сельсовета не проживает».

Я вернул акт судье и спросил:

— Что же вы будете делать?

Только плечами пожала:

— Взыскать надо с колхоза тысячу девятьсот восемьдесят рублей штрафа. Но документы недействительны. Акт не заверен. Вызываю председателя колхоза — не идет. Следователю отдаю акт — не берет. Говорит: я что? Силой буду заставлять их подписывать этот акт? Нет у меня таких полномочий. Вот и веселись тут.

— Да! — Я головой покачал и спросил: — В чем же корень зла?

— Водка! Вот вам и корень. Все она творит. Будь моя власть, я бы запретила ее продавать, проклятую.

— Не поможет,— говорю,— самогонку станут гнать.

— Нынче не из чего гнать ее. Хлеба-то нет, в смысле, зерна. И сахару продается в обрез.

— Найдут! Из свеклы начнут гнать, из картошки. Питие да хулиганство — пороки древние, социальные. Вон Дарью Горбунову травят, поди, не по пьянке.

— А те свихнулись на антирелигиозной пропаганде! — Антонина Ивановна впервые улыбнулась, словно обрадовалась чему-то.— Я вызывала сочинителей этих писем. Стала стыдить: что вы, говорю, срамите человека и сами срамитесь? Письма сквернословные.— Она вынула из ящика стола стопку писем, написанных на листиках, выдранных из школьной тетради.— Вот, полюбуйтесь!

— А что они вам ответили? — спросил я, принимая эти письма.

— Говорят: она же верующая! Сектантка! И даже удивились — за что я их распекаю? Какая сектантка, спрашиваю. Ну как же! Это которая на дому молится. Мы, говорят, сами видели: и утром, и вечером поклоны бьет. И даже молитвы читает. Вот это и есть сектантка, говорят. Мне тошно стало.

— Неужели глупы до такой степени? — удивился я.

— Да придуриваются! — Она даже рукой прихлопнула по столу, как бы от досады.— Причина-то ведь ясная: хотят прибрать к рукам ее полдома. Сноха дурит, Татьяна Горбунова. Вот и сочиняют эту галиматью, пугают старуху. Может, сбежит.

— Куда же она сбежит?

— Да к ним же, к сыну. Они живут раздельно ■ одном и том же доме, дом-то пятистенный! Вот сноха и хочет прибрать Дарьину половину, поселить там своего сына со снохой, а Дарью загнать к себе на печь, ■ угол. Ну ■ шлет анонимные письма. Дура набитая! Думала, что никто не догадается о ее проделке. А когда ее уличили, прижали, тут же стала выкручиваться, искать снисхождения по статье. И ведь нашла! Она, видите ли, хочет взять верующую под свой контроль. Оказывается, это она ведет антирелигиозную пропаганду. Почитайте, что это за пропаганда.

Я взял наугад одно из писем, прочел вслух:

«Уважаемая сектанка, святая.

Вы душегуб ряда товарищей. Очень строго предупреждаем тебя, сволоча, в трагической смерти Горбунова А. Ты его, паскуда, прокляла своими молитвами. Этого мы тебе никогда, дрянь, не простим. Колдунья! Если ты не кончишь колдовать, тебя будет судить товарищеский суд. В молодости блудила, а сейчас открыла на дому секту, собираешь людей и пропагандируешь с молитвами. Ах ты, душегуб, злодей, игоист-сектанка!..» Дальше пошел сплошной мат.

— Кто такой Горбунов? — спросил я.

— Это ее пасынок. Работал механиком в ЛМС. Зимой поехали за сеном. Завязли в лугах, выпили и уснули в машине. Трое обморозились, а он замерз до смерти. При жизни помогал Дарье. Вот они и бьют ее по самому больному месту.

— У нее вроде своих детей и не было,— сказал я.— Кажется, она жила одинокой.

— Правильно! Вышла замуж за Горбунова в годах. Тот овдовел, имел на руках пять человек детей. Вот она их и выращивала. Да больных выхаживала всю жизнь. Плакала здесь у меня.

— И посмели травить ее?!

— Так и посмели... Был расчет, что верующую надо взять под контроль, то есть переселить к родственникам, к ним же. И полдома к ним перейдет. А письма эти, мол, побоится показать: ведь в них разоблачают сектантку. Каждый преступник, и крупный, и мелкий, и тем более хулиган, вытворяет свои художества только в расчете на безнаказанность. Возьмите хоть этот случай с покосом. Ведь ясно же, где концы спрятаны: колхоз скосил поляны, тридцать шесть га, на силос, оприходовал и отрапортовал. Они уже в районной сводке. Теперь он плюет на лесничество. Лесничий выделял покосы пенсионерам да своим рабочим на частный скот. А колхоз скосил траву общественному скоту. Ну, чьи козыри выше?

— А закон? — спросил я.

— Про закон у нас любят говорить, а не исполнять его. Ведь тот же паршивец, племянник Ланина, который веник затолкал в рот старику, знал, что дядя хлопотать начнет. И дядя хлопочет. А он главный врач, сила! Вот и выходит, что дядя выше закона. Оттого и творится вся эта карусель.

Ее бледное лицо от возбуждения порозовело, и вся она как-то преобразилась, помолодела, даже похорошела; ее блеклые карие глазки теперь сердито округлились, и было в них что-то гневное и грозное, как у орлицы, готовой броситься на врага.

— Это же какое-то взаимное подталкивание на соблазн, на преступление, какое-то бесовское соучастие и правых, и виновных. Ведь даже продавцы нарушили инструкцию: заперли магазин не на два замка, а на один висячий слабенький замочек! Словно это был не магазин

а почтовый ящик. И деньги оставили в магазине в нарушение инструкции. А теперь доказывают, что у них там лежало не девятьсот рублей, а вдвое больше.

«Ну, допекло тебя до белого каления»,— подумал я про нее сочувственно и спросил:

— А может, все-таки разберете дело Горбуновой?

Она пристально поглядела на меня и словно погасла, потеряла всякий интерес к разговору. Ответила сухо:

— Извините, не могу. Это мелочь. Я же сказала им: пусть подают в товарищеский суд.

Я попрощался и вышел.

* * *

Горбуновы жили на выселках. Их кирпичный пятистенный дом стоял на берегу речки Пасмурки, затененный раскидистыми ветлами, на которых густо чернели грачиные гнезда. Перед окнами, в палисаднике, цвели белые и красные мальвы, а вокруг плюшевый разлив травы-муравы, а ближе к речке извилистым вервием спадали вниз по речному бугру песчаные тропинки.

Помню этот дом с той еще, детской поры: он всегда был каким-то голым и стоял точно сторожевая башня на юру — ни палисадника перед ним, ни околицы сбоку, ни тесовых ворот на подворье, ни ветл, ни берез. Окна были вечно растворены, а стекла частенько разбиты, и шибки заткнуты были тряпьем или забиты фанерой. Хозяин этого дома, Парфен Селиваныч Горбунов, целыми днями пропадал в кузнице, а многочисленная грязная и голопузая детвора его, как саранча, налетала на соседние сады и огороды.

Старший, Ивка, был одним из лучших казаношников на селе и мастерски играл в выбитного. И зимой и летом носил он отцовскую «куфайку», свисавшую на нем, как на чучеле огородном, по самые колени; в карманах этой «куфайки» скрывалось великое множество бесценного ребячьего добра: и точеные орляники из старинного синего фарфора, и надраенные до красного блеска тяжелые, как сковородки, медные гроши, и казанки, и любовно отшлифованные не столько напильником, сколько ребячьими мозолями налитки-свинчатки.

Кажется, он вечно ходил во второй класс: и со мной ходил, и с моими младшими сестрами ходил. Школьный

директор Яков Васильевич Орлов во время своих инспекторских налетов любил ставить «столбом» у доски всех, которые оплошали при его взыскующих опросах. Ивку Горбунова всегда вызывал первым и ставил у доски столбом: «Ивушка стоеросовая, детина неразумная! Стой столбом, пока не зазеленеешь. Краснеть ты уже давно разучился».

Меня встретил возле дома здоровенный мужчина, шириной в два обхвата. Седеющие волосы непробиваемой, как баранья шуба, густоты спадали на лоб по самые брови и придавали его широкому скуластому лицу выражение угрюмой нелюдимости.

Поздоровались, сели на лавочку.

— А я вас помню,— говорю,— со школьной поры.

— А я вас нет,— и даже не смотрит на меня.

— Где работаете?

— Механиком, на ЛМС.

Руки лежат на коленях, пальцы отдают вороненым блеском и согнуты, как зубья конных граблей. Серая рубаха поверху расстегнута, кажется, что ее и не натянешь на эту каменную бугристую грудь.

— Довольны работой?

Он лениво и как бы с недоумением поглядел на меня и спросил:

— Вы пришли ко мне по делу или так, покалякать?

— Иван Парфеныч, не дело вы с письмами затеяли. Нехорошо.

Он поднял голову, как гусь по тревоге, и глянул на меня так, будто я только что с облака спустился.

— В Москве, говорят, работаешь? В печати? — спросил иным тоном.

— Да,— ответил я и назвал одну именитую газету.— Вот и командировка.

— Не надо! — остановил меня он жестом.— Неужели и туда дошло?

Это свое «туда» он произнес с особенной интонацией — не то с испугом, не то с недоверием.

— Как видишь, дошло.

— Н-да, доигрались.— Он шумно вздохнул и потупился.— Ну, чего со мной говорить? Иди к матери. Она тебе все расскажет.

— А где жена?

— Ушла за стадом.— И кивнув на другую половину дома, сказал: — Ступайте к матери!

Обитая жестью дверь в половину Дарьи Максимовны была заперта. Я постучал. За дверью послышались шаркающие шаги, потом старческий женский голос спросил:

— Кто здеся?

Я назвался. Прогремел железный засов, и дверь открылась. На пороге передо мной стояла Дарья Максимовна. Я ее сразу узнал — хотя она и была седой, но держалась все так же прямо, как солдат на смотру; широкие черные брови высоко взметнулись на лоб, сгоняя в складки смуглую кожу и придавая лицу выражение тревожного недоумения.

— Проходите в избу, касатик,— приглашала она меня, уступая дорогу.— Просьба моя решающая — не оставьте без внимания.

Посадила меня на деревянный диванчик, обшитый клеенкой, сама села на табуретку возле стола, положила перед собой на столешницу худые руки с темными узловатыми пальцами.

— Они меня замучили симпатическими письмами: то по почте шлют, то под порог их подкидывают. Там такая клевата, такая клевата! «Ты пойдешь в огород к своим пчелкам, мы тебя убьем, твой труп пойдет на распятие, а нам тюрьма родная мать». Вот что они пишут! Так что просьба моя решающая — не оставьте без внимания.

Потом, нагибаясь ко мне, достала из-под дивана старые калоши и драные чулки, положила возле меня:

— Это вчера мне подкинули под порог. А вот записка,— сунула мне в руку тетрадный листок, сложенный вчетверо.

Развернул записку, читаю:

«Сектанка. Прими Христа ради божее подаяние. Это тебе на смертъ тапочки. В них чулочки безразмерные. На сапожках дорожка. Это смертъ сектанке...» Почерк мне был уже знаком, все та же рука, и ошибки грамматические те же.

— Как же так,— говорю,— судья вызывала их, предупреждала... А они снова за свое?

— Правда, правда! — закивала она.— Сперва взялись за них молодцевато: вызвали их обоих, и сноху, и ее подружку. Они перепугались. А потом как узнали, что в товарищеский суд передали, так еще пуще стали измываться. Они что делают? Сладкий раствор брызнули на крышки моих ульев. Чужие пчелы налетели и пошли

клевать моих пчелок. Что тут было! Ведь я свои ульи перевезла в соседнее село и никому не говорю, где их поставила. Вон, на окна и на подполье замки повесила. Не то ведь ночью залезут и придушат меня.

Замки, большие и маленькие, висели на каждом переплете, обезображивая вид из окна.

— За что же они вас мучают?

— Господи! За добро свое страдаю. А пуще всего через дом свой. Ты, говорят, старый человек, должна уступать молодым. Ну, я вам уступаю. Чесанки свои снохе отдала. Ненадеванные чесанки! Пуд меду им на свадьбу накачала. Тканые панёвы отдала. И все мало! Полезай, говорят, к нам на печь, а дом свой отдай молодым. Внучек женился, их сынок. У нас печь даром остывает, а ты полдома без толку отапливаешь. Да я вам что? Инвалид? Я без работы сидеть не могу. Я болею от этого. У меня огород, малинник, пчельник. Я сама себе хозяйка. Стыдно переходить на подаяние. Нет уж, пока ноги-руки владают, пока сила есть, ползком и то прокормлюсь. А если сразит лихоманка, умру тихонько. И все им останется. Так не верят! Боятся, что племяннику дом откажу. Замучили меня совсем, замучили...— Она, потупившись, глядела себе под ноги, и черные глаза ее заблестели от навернувшихся слез.

— Дарья Максимовна, отчего же вы боитесь товарищеского суда? Авось помогут вам.

Она даже вздрогнула и посмотрела на меня с испугом:

— Что вы, господь с вами! Да разве с этими саранпалами столкуешься? Там же одни пенсионеры. А председатель у них Авдей Пупков. Он в пятидесятом году племянника моего засадил на десять лет. Хлеба-то не было, а тот сметки из-под комбайна принес к себе домой. Ребятишкам кашу сварить. Вот его Пупков и отправил куда Макар телят не гонял. Он так в Сибири и остался, и детей туда выписал. Теперь хорошо живет. И мой дом ему не нужен. Так что просьба моя решающая — не оставьте без внимания.

Я вышел во двор. Иван Парфенович и жена его сидели на скамеечке, рядом стояла корова, ела картофельные очистки из помойного ведра. Хозяйка не торопилась доить корову, видно, что ждала меня.

Я поздоровался с ней, присел рядом, показал свое удостоверение.

— Из газеты. Должен записать кое-что про вас.

— А что про нас записывать? Мы не какие-нибудь артисты-гитаристы. Со сцены не поем,— ответила бойко и даже кокетливо плечиком повела: ее серые глазки приветливо щурились, обветренные губы кривились в улыбке. Но когда я раскрыл блокнот и стал записывать, она заерзала на скамье и тревожно поглядела на мужа.

Иван Парфенович сидел недвижно, как Будда, сложив руки на животе, и меланхолично глядел на корову.

— Вот не ждали, что про нас в газету напишут. Какие ж такие геройские дела мы натворили? — Она все еще надеялась перевести на шутку и улыбалась, хотя улыбка была жалкой.

— На вас поступила жалоба,— отвечаю.— Надеюсь, судья вам растолковала, в чем ваша вина.

— Жалобу передали в товарищеский суд. Она же эта самая... сектанка! Приходите на суд. Не меня будут судить, а ее.

— За что же ее судить?

— Как за что? Она же на дому молится. И днем, и ночью. В переднем углу поклоны бьет. Я сама видела. А то с подружками ходит покойников отпевать. Попа-то нет. Вот она за попов и наяривает. А дома, по вечерам, Евангелие читают. Это у них вроде репетиции.

— Ну при чем тут Евангелие? — говорю.— Вы шантажируете человека, угрожаете... Травите!

— А вот на товарищеском суде и разберутся, кто кого травит.

— Нет, извините... Такие вещи выносятся на суд всеобщий. Я вынужден написать о ваших проделках в газету.

— А как же насчет религиозного дурману? Что же, не наказывать ее? Или вы ее под защиту берете?

— Татьяна, перестань! — сказал Иван Парфенович и тяжело поглядел на жену.

Она покрылась бордовыми пятнами, затравленно переводила взгляд с меня на мужа и все еще пыталась оправдаться:

— Значит, нельзя трогать церковников и сектанок? А ежели люди добра им хотят, на поруки взять желают? Избавить от дурману? И такое возьмите в соображение: нас четверо живут в одной половине. Сын у нас женился. Две семьи в одной половине. Она же одна занимает

целую половину. А ведь старый должен уступать молодым...

— Замолчи! — рявкнул хозяин.

Она вздрогнула и ужалась вся, даже голову втянула в плечи, сгорбилась и затихла.

— Андреич, ты меня знаешь — я слов на ветер никогда не бросал. Не будет этого суда, и травли никакой больше не будет. Так и передай матери. А ежели сунутся опять с энтими письмами — башку оторву у обеих до суда. Мне один выход: что так позор, что эдак.

Он встал со скамьи и, тяжело грохая о ступеньки, ушел в сени. Татьяна, закрыв лицо ладонями, заплакала навзрыд...

Я сунул блокнот в карман и молча удалился.

1982

КАК МЫ ОТДЫХАЛИ

— А что, не отдохнуть ли нам сегодня вечером? — сказал мой приятель Володя Гладких.

— Чего откладывать на вечер? — подхватил Семен Семенович. — Отдых — дело сурьезное; ежели ты вечером размахнешься отдыхать — гляди, и ночи не хватит.

Мы сидели под яблоней в саду у Семена Семеновича и пили водку на разостланном одеяле. Можно сказать, и не пили даже, а так — причащались от нечего делать, — на троих была одна бутылка, и та неполная. Время заполдни, жарынь. А ты сидишь в холодке, ветерком тебя обдувает, и ведешь приятные разговоры. В такое время тело млеет, а душа просится на свободу. Вот Володя и надумал: давай отдохнем по-настоящему, с размахом.

— Куда поедем? — спросил Семен Семенович.

— Куда ж еще? К Батурину, — ответил Володя.

— Тогда запрягай «козла». Не то вечером Батурина и семи кобелями не сыщешь.

— Ехать-то ехать, но «козла» нет, — сказал Володя.

— Вот на! — удивился Семен Семенович. — У вас же в райкоме два бегают.

— Разбежались. На одном первый в Рязань укатил. А на другом Николай Иванович где-то в Корабишине застрял.

Володя Гладких был вторым секретарем райкома, теперь остался один и вот соображал, где бы «козла» достать. Он был еще относительно молод — чуть за тридцать перевалило, но успел поработать и председателем колхоза, и главным агрономом управления. Окончил он Тимирязевку и даже кандидатскую диссертацию писал. При каждом моем появлении в Тиханове

он заходил и спрашивал: «Венжера не привез?» Или: «Говорят, Лисичкин выпустил книгу о рынке?», «Ты Черниченко знаешь? Вот дает так дает...».

Но больше всего он любил поговорить с Семеном Семеновичем об уличных кулачных боях. Заспорят! Выдержат два боксера напор уличной стенки или не выдержат? «Два боксера — это ж тактика и стратегия! Круговая оборона, понял? — горячился Володя.— А уличная стенка — шантрапа необученная. Орут да кулаками машут, а глаза защурят, чтоб другие боялись».— «Это смотря по тому, какая стенка,— возражал Семен Семенович.— Ежели, к примеру, в стенке стоял бы мой дед Евсей. Он бы один уложил обоих твоих боксеров. Он, бывало, голицы наморозит, да еще коровьим дерьмом смажет. Они потяжельше твоих боксерских перчаток».— «Боксерские перчатки легкие, голова!» — «Тогда зачем в драке их на руки надевают?» — «Бокс — это честный бой, понимаешь?» — горячился Володя. «А в стенке тоже лежачих не били...» И так они могли спорить битый час.

— Где ж «козла» раздобыть? — раздумчиво вопрошал Володя.

— А чего тут ломать голову? Позвони Батурину, он пришлет свою «Волгу»,— подсказал Семен Семенович.

— Куда ты ему позвонишь? Он теперь в лугах.

— Ну возьми в управлении. Они ж тебе подчиняются.

— У них свои гаврики на дорогах голосуют,— Володя задумался, потом радостно воспрянул: — Пошли на ветпункт! Врач на сборах, а «козел» в гараже.

— А как же я? — спросил Семен Семенович.

— Жди. Сперва мы найдем Батурина, договоримся... потом за тобой машину пришлем.

— А кто нам даст машину? — спросил я.

— Как кто? Пойдем и возьмем. Сами,— ответил Володя.

— Она в гараже, под замком! И для машины ключ нужен?!

Володя поглядел на меня, как на школьника, и даже поморщился. Потом вынул из кармана несколько автомобильных ключей на кольце, побрякал ими перед моим носом и сказал:

— Этими ключами можно завести почти все тихановские «козлы». Мне доверяют. Вот...— он вытянул медный, сильно потертый ключик.— Этот ветеринарский. А гараж у них гвоздем открывается. Пошли!

Ветеринарная лечебница стояла на отшибе от села. Когда-то ее строили за колхозной бахчой. Белая круглая башня с двумя крыльями, с окнами во все стороны смахивала на татарскую мечеть. Мужики посмеивались в те далекие годы: «Церкву закрыли, а мечеть для лошадей построили».

От колхозных бахчей теперь и следа не осталось: два порядка добротных домов под шифером, под голубой и красной жестью растянулись от Тиханова до самых Выселок. Сады, палисадники, улица широкая да травушка-муравушка... Красота! Идем с Володей, любуемся.

— Это кто ж построился? — спрашиваю.— Совхоз для рабочих, что ли?

— У нас из тихановских в совхозе работает только один человек — управляющий,— ответил Володя.

— Как?! — удивился я.— В Тиханове эдакая прорва людей... Где ж они работают?

— В конторах.

— Так уж все и в конторах?

— Еще на кирпичном заводе, на аэродроме, в дорот-деле, в лесничестве. Мало ли где.

— Но ведь у вас в райцентре совхоз? По крайней мере отделение. Кто ж в поле работает?

— Сергачевские.

Село Сергачево лежало в трех километрах от Тиханова.

— Что ж они, на автобусе ездят?

— На грузовиках.

— Весело живете,— говорю.

— Не жалуемся.

Мы остановились возле щитового финского дома, покрашенного в желтый цвет.

— Зайдем,— кивнул Володя.— Это мое жилье.

Дом как дом — ничем не лучше других; веранда с крылечком под козырьком, сарай за домом, а впереди палисадник, обнесенный штакетником: молодые яблони, приземистая кустистая черноплодная рябина, аккуратные грядки клубники.

— Чей сад? — спрашиваю.— Кто садил?

— Сад мой, а дом казенный.

— Значит, надолго осел.

— Не в том дело. Просто я терпеть не могу оголенные дома. Крестьянская привычка: где живешь,

там и сад ростишь. Это, знаешь, вроде зуда в руках; как иная бабка без веретена или вязальных спиц сидеть не может, так и я... Эти яблони из рязанского питомника привез — семилетки. А за рябиной в Мичуринск ездил.

Он отпер дверь под английским замком, снял в сенях со стены брезентовую куртку и стеганую фуфайку.

— Выбирай, что по душе,— подал мне.

— Зачем? — спросил я удивленно.— И так жарко.

— Пригодится. Зори у реки холодные,— нехотя ответил он, захлопывая дверь.

Мы прошли задами к ветлечебнице. Здесь было пустынно и безлюдно. Двери на замке. В левом крыле окна выбиты.

— Это что? Ребятня хулиганит?!

— Нюрка Селезнева разбила,— сказал Володя, заглядывая внутрь, потом пояснил: — Санитарка эпидемстанции.

— Ненормальная, что ли?

— По пьянке... Они тут с врачом вдвоем хозяйничают. Он у нас и ветврач и эпидемиолог. Холостой... Путался с ней. Кто их знает — видать, поссорились. Он ее хотел уволить. Она напилась с утра пораньше и пошла окна бить. Да орет на все село: я ему, говорит, не только окна — глаза серной кислотой выжгу. Он и укатил на сборы.

Володя подошел к гаражу, с минуту поколдовал над замком и открыл ворота. В гараже стоял «газик» с зелеными крестами на боках и с длинной белой надписью по брезенту: «Ветеринарная скорая помощь». Мы сели в него и поехали.

Сперва мы приехали на пантюхинские луга. На станах у самой реки человек пять обступило крашенную в кирпичный цвет прицепную машину, похожую на перевернутую телегу — колеса у нее были выше платформы. Оказалось, это — прессовально-подборочная машина, и она испортилась: не подавало проволоку, отчего сенные брикеты разваливались.

— А ну-ка, дай попробую! — Володя засучил рукава и полез копаться, как заправский механик; то ложился на спину и под колеса заглядывал, то теребил барабан с намотанной проволокой. Наконец сообразил: — Да у вас секач не работает. Ну?! Глядите... Во-первых, скоба не захватывает проволоку, а во-вторых, она сползает... Не режет! Ну?

Секач исправили, машину запустили, и только потом Володя спросил:

— Батурин не был у вас?

— Был. За механиком уехал. Пресс чинить.

— Куда уехал?

— В контору, куда ж еще? Оттуда вызовет.

— Понятно...— он оглядел собравшихся и неожиданно спросил: — Чьи мотоциклы?

— Бригадиров один. А другой вон, Ивана.

— Николай, можно покрутиться? — спросил он сидящего на траве бригадира, одутловатого детину в замызганной кепочке и в белом тельнике.

— Валяй! — сказал тот и протянул ключ.

Володя завел мотоцикл с коляской и стал выписывать круги, опираясь на левую ногу, как на циркуль.

— Круто берешь! — крикнул кто-то.— Смотри не кувыркнись.

— Не таких объезжали,— сказал Володя.

Потом перешел к другому мотоциклу, без коляски. Этот завел не спрашиваясь: покрутил ручку, погазовал на месте и вдруг как откинется назад, как гикнет — и с ревом полетел на одном заднем колесе, держа переднее на весу.

— Эк, дьявол! Как рысак берет, с ходу!

— Кра-асиво.

— Отчаянная башка,— раздались голоса.

Я залюбовался его лихой и какой-то хваткой посадкой; белая рубашка пузырем вздулась на спине, плечи развернуты, голова запрокинута назад, глаза сощурены... А ноги сами по ветру летят. Разойдись, кому жизнь дорога!

Ладный мужик, ничего не скажешь. И ходит хозяином: поступь резкая, но пружинистая, легкая и взгляд снисходительный — только бровями поведет да веки чуть приспустит: «В чем дело? Какие могут быть затруднения?»

Батурина нашли мы в Пантюхине, в колхозном правлении. Это был дюжий мужчина в желтой чесучовой паре — пиджак с запасом, каждая штанина что твоя юбка, словом, костюм мог принять в себя еще одного мощного Батурина. Брови рыжие, косматые, нос толстый, голова красная, выбритая до блеска, как у Григория Котовского. Ну и, конечно, соломенная шляпа... Правда, покоилась она не на голове председателя, а лежала на его просторном столе.

— Владимир Васильевич! Андреич!! Вот так гостей мне бог послал! — широко улыбаясь, он встал нам навстречу и говорил тихим, надтреснутым тенорком.

— Гостей угощать надо,— сказал Володя и подмигнул мне.

— А как же, как же?! Значит, отдохнуть приехали? Сейчас мы сообразим... Сейчас отдохнем...

Он прошел к порогу и растворил дверь:

— Леша! Ива-ан! Да где вы там, черти? Позовите Рыжова!

Первым вбежал Леша, верткий морщинистый мужичок с ноготок.

— Иван Павлович, Рыжов в луга собрался пресс чинить.

— Да какой теперь к чертовой бабушке пресс!! Гости приехали. Скажи ему, чтоб Кутузову наказал: пусть, мол, приготовится. Мы зайдем на полчаса... На вот деньги возьми! — он сунул ему пачку «красненьких».— Да! Еще скажи: пусть к рыбакам пошлет «Москвича», чтоб рыбу приготовили... Да постой! Что тебя, пружина в зад толкает? Поезжай на ферму, закуски возьми. Корзину этих самых положи... Ну, понял?

— Понял, Иван Павлыч.

— Да в багажник положи пяток тех... горластых. Чтоб покрупнее были, помягче. Понял?

— Понял, Иван Павлович.

— Ну, поезжай!

Тот пулей вылетел.

— Значит, отдохнуть приехали. Это хорошо... Отдохнем,— потирая ручищи, радостно говорил Батурин, прохаживаясь по кабинету.

— Погоди радоваться! Ты сперва расскажи, как сенокос идет? — остановил его жестом Володя.

— Владимир Васильевич! — всплеснул руками Батурин.— Это мы всегда пожалуйста. У нас — не у гордеевских постников... У нас работа из рук не валится. Мы на шефах не едем. Да вот они,сводки! — он подошел к столу, раскрыл папку.— Вот, смотри!

Несколько минут они проглядывали сводки и ведомости: сколько скошено, да застоговано, да запрессовано; стучали на счетах, на бумаге прикидывали — когда кончат, сколько сена сдадут... Обычные сельские заботы да хлопоты.

Потом пришел механик Рыжов. Он был под стать

самому Батурину: плечи — руками не обхватишь, улыбка во весь рот, зубы один к одному, что твой кукурузный початок. Под мышкой он нес две буханки черного хлеба.

— Наказал Кутузову? — спросил его Батурин.

— Наказал,— ответил тот от порога.— Хоть сейчас, говорит, приходите.

— А хлеб зачем? У него что, хлеба не хватает?

— Это жена мне наказала. Я думаю: дай-ка сейчас прихвачу. Не то загуляемся — позабудем.

— О! Одной рукой передок «Москвича» подымает, а бабы своей боится,— засмеялся Батурин, обращаясь к нам.

— В наше время кого ж еще бояться? — смеялся и Рыжов, здороваясь с нами.

Зазвонил телефон. Батурин с досадой поглядел на него, потом вопросительно на нас: брать, мол, трубку или рукой махнуть? Но Володя уклончиво молчал, а телефон все трещал и трещал. Батурин тяжко вздохнул, как бык, и покорно снял трубку.

— Тебя, Владимир Васильевич,— сказал он, зажимая конец трубки и отводя ее от лица.— Что сказать?

— Кто спрашивает?

— Настя.

— Давай сюда! — Гладких взял трубку и с минуту молча слушал. Потом сказал: — Хорошо, сейчас приеду.

— Что там загорелось? — чуть не со слезой во взоре спросил Батурин.— Вот бестолковый народ! Отдохнуть человеку не дают.

— Кузовков приехал. В приемной ждет,— ответил Гладких, кладя трубку.

— Чего еще надо этому шаромыжнику? Всю жизнь на иждивении. Захребетник несчастный, кислый подворник! — шумно возмущался Батурин.

— Чего ему надо? — переспросил Гладких.— Да все то же самое — людей. Шефы, наверное, разбежались с сенокоса. Ну, ладно, я поехал.

— Да как же так, Владимир Васильевич? — Батурин ринулся к дверям за Володей.— Мы все заказали, приготовили. А ты от ворот поворот? Зачем обижаешь?

— Хорошо, я приеду,— отозвался тот.— Вы где будете?

— В углу на Мотках... Возле самой реки. Ну там, где стол выкопан.

— Хорошо, я вас найду. А Семена Семеновича сразу пришлю. Куда его?

— Семена Бородина! — обрадовался Батурин.— Семена давай прямо к Кутузову. Мы его там подождем.

Мы вышли втроем из правления: Батурин, Рыжов и я. «Волги» все еще не было.

— Пройдем пешком,— сказал Батурин.— Кутузов живет недалеко.

— Громкая у него фамилия,— заметил я.

— Какая фамилия! — удивился Батурин.— Кривой он, потому и прозвали Кутузовым. Пошли.

— Может, в магазин завернем, прихватим чего-нибудь,— предложил я.

— Еще чего! — отрезал Батурин.— Он сыроваром работает на молзаводе. У него только черта рогатого нет. И то потому, что эта скотина не держится на молзаводе. Не то бы он и черта рогатого спер.

Механик так и покатывается. Буханки черного хлеба он запер в столе Батурина. «Вечером загляну,— говорит,— прихвачу». А Батурин ему: «Смотри, вместо хлеба счеты не упри».

Кутузов нас встретил возле своего палисадника.

— Иван Павлович! Николай Федорович! — бросился он навстречу, словно родных братьев увидел.— Все уже готово. Только вас и ждем.

— Сейчас мы пробу сымем,— сказал Батурин, проходя мимо Кутузова в калитку.— Не переперчил?

Механик опять захохотал, а Кутузов в некоторой растерянности остановился передо мной: что это, мол, за птица? Откуда? На всякий случай подал мне широкую и жесткую, как лопата, ладонь:

— Михаил Кузьмич.

Я представился в свою очередь. Кутузов все поглядывал настороженно: лицо у него припухлое, красное, с мелкими бисеринками пота на лбу и на подбородке, словно он только из бани выскочил. И на этом красном лице резким пятном выделялся белый невидящий зрак.

— Извиняюсь, вы из области? — спросил он, пропуская меня в калитку.

— Хватай дальше — из Москвы! — крикнул Батурин с крыльца.— Главный ревизор по сыроварням.

Механик засмеялся.

— Пошли, пошли! — подгонял нас Батурин.— А то квас прокиснет.

На веранде был накрыт стол: в центре стола три поллитры водки, по краю тарелки с сыром, со свиным салом да с забеленной окрошкой. Хозяйка, маленькая, кругленькая, в белом фартучке, с таким же красным и потным, как у хозяина, лицом, суетливо расставляла стулья и приглашала к столу. На веранде было жарко, как в парной.

— А где шайки? Где березовые веники? — спросил Батурин.

Хозяева остановились, растерянно глядя то на стол, то на Батурина.

— Я спрашиваю: париться нас пригласили или отдыхать? Если париться, то ставь шайки с горячей водой, а если отдыхать — растворяй окна!

Механик засмеялся, а Кутузов, виновато улыбаясь, возразил:

— Нельзя, Иван Павлович... Окна у нас того... одна видимость только. Они обманные, не открываются.

— Мало вам государство обманывать! Так еще и самих себя решили обмануть? Вот я вас! — погрозил Батурин пальцем.

На этот раз с механиком заодно смеялись и хозяева, а Иван Павлович шумно сопел и требовательно оглядывал стол: не поймешь — не то шутил, не то и впрямь сердился.

— Это все она виновата,— сказал Кутузов и кивнул на жену.— Строили веранду, говорю: форточку давай сделаем. А она мне: чтоб мухоту разводить? Я, говорит, твоей башкой заткну эту форточку...

— Ковда я тебе говорила, ковда? — затараторила хозяйка.— Ты в избе-то фортку не открываешь — боишься, кабы кто не влез.

— Ну, ладно... Растворяй дверь на улицу,— сказал Батурин.

— Так ведь слышно будет. Пацаны сбегутся,— робко возразил Кутузов.

— А ты отгонять станешь... Вместо Полкана.

Механик опять засмеялся.

— Садись, Андреич! Садись,— приглашал и меня и хозяев Батурин. — Если и не отдохнем, то хоть попаримся.

Батурин налил всем водки по граненому стакану и первым поднял свой:

— Ну, за самих себя.

Выпили все до донышка; даже хозяйка пила, хоть и морщилась и плевалась потом, приговаривая: «И кто ее выдумал? Чтоб ему в гробу перевернуться!»

Водка была теплой до тошноты, и я оставил полстакана.

— Андреич, ты что? Ай обиделся? — удивился Батурин.

— Да как-то боязнь — сразу и до дна,— попытался отшутиться я.— Надо сперва приглядеться к ней.

— Э-э, нет! Ее брать надо с ходу, штурмом. Иначе она тебя самого одолеет. Выпить стакан — одно дело, а растянуть его на двадцать два наперстка — совсем другое. Пей и не мешкай! А главное — закусывай, закусывай... Ешь сало! Ни один хмель тебя не возьмет.

— А я люблю витамином закусывать,— сказал механик,— томатным соком. Во! — он теперь тоже покраснел и на его крутом высоком лбу засверкали такие же бисеринки пота, а черные высокие волосы опали и залоснились.

— Сало полезней,— не сдавался хозяин.

— В сале нет витаминов,— сказал механик.

— Ну, если в свином сале витаминов нет, тогда я уж и не знаю...— обиделся хозяин.

— Ладно вам спорить,— сказал Батурин, наливая еще по стакану.— Мы пьем по науке: по полной и до дна. А кому наша наука не по нутру, пусть хлебает квас.

Возле дома остановилась машина. Хозяин выскочил в палисадник и через минуту вернулся с Семеном Семеновичем.

— Привет запорожцам от турецкого султана! — крикнул Семен Семенович с порога и начал декламировать знаменитое письмо запорожцев: — Який ты к черту лыцарь, що голою ж... ежаки не вбьешь...

— А, привет заслуженным артистам-гитаристам! — шумно приветствовал его Батурин.— Давай штрафной!

И сунул ему в руки стакан водки. Тот вытянул губы трубочкой, чмокнул стакан и продекламировал:

— Здравствуй, рюмочка Христова! Ты откуда? Из Ростова.— Потом дурашливо перекрестился: — Господи, не почти за пьянство, прими за причастие! — и выпил, картинно запрокидывая голову.

— О, видал, как работает? — обернулся ко мне Батурин.— Между прочим, он всю историю и географию знает

наизусть.— Так рекомендовал мне Семена Семеновича, будто я видел того впервой.

Семен Семенович держался молодцевато для своих шестидесяти лет: всегда чисто выбрит, волосы волнистые, чуть с проседью, уложены так, будто он только что вышел из парикмахерской. Рубашечка белая под галстуком. Строен и сух. Вот что значит артист.

— Семен! — крикнул Батурин и опять подался ко мне: — Ты скажи гостю нашему, почему перестал в самодеятельности выступать?

Семен пошамкал губами, ухмыльнулся и сказал:

— Да он знает.

— Он знает, другие не знают. Расскажи!

— Народ больно грамотным стал,— поглядывая на меня, начал Семен Семенович, хоть я и не раз слыхал его откровение.— В Гордеево поехал с нашей самодеятельностью. А я делал объявление, за конферансье. Ну и объявил: сейчас я вам прочту стихотворение Александра Твердовского. Все засмеялись... И прозвали меня Твердовским. С той поры как выйду на сцену — кричат: «Прочти Твердовского!»

Все засмеялись. Хозяйка жалостливо поглядела на Семена Семеновича, а хозяин услужливо стал пояснять мне:

— У нас, в Пантюхине, любят прозвища давать. Меня тоже вот окрестили Кутузовым. Генерал был такой, при Наполеоне.

— А ты помолчи, Наполеон! Тебя не спрашивают,— оборвал его Батурин.— Пусть Семен Семенович письмо почитает.

Семен Семенович один на все Тиханово знал наизусть письмо запорожцев турецкому султану, и поэтому его приглашали на всякого рода попойки.

— Вавилонский ты кухарь, македонский колесник, ерусалимская бравирьня, александрийский козолуп...— лихо читал Семен Семенович,— всего свиту и пидсвиту блазень, а нашего бога дурень, свинячья морда, кобылячка с... разношерстная собака, некрещеный лоб мать твою...!

— О-хо-хо-хо! А-га-га-га-га!

— Где ты успел вызубрить, Семен? — спросил я его.

— В библиотеке имени Ленина, в Москве,— ответил гордо.— Специально ездил, в командировку.

— Ты на чем приехал? — спросил Батурин, просмеявшись.

— На ветеринарском «козле».

— А кто привез?

— Шофер Кузовкова.

— «Волги» моей не видать на улице?

— Нет, не видать.

Выпили еще по стакану. Семен Семенович начал было письмо читать, но его оборвали — опять машина подошла. На этот раз «Волга» Батурина. Все засобирались.

— А мне можно с вами, Иван Павлович? — спросил осмелевший хозяин.

— Ага, можно... Только в багажнике. Если хочешь, полезай.

И опять хохотал во все горло механик, за ним Семен Семенович, [redacted] даже хозяин подхохатывал, но как-то жалко, на одной ноте, как козлик: «Ке-ке-ке-ке...»

Когда мы выбрались [redacted] луга, солнце уже свалилось под уклон и жара стала спадать. Езда по луговой дороге в такую пору — одно удовольствие: ни пыли, ни ухабов. Дорога заметна по чуть примятой отаве,— два параллельных следа, как желтые обручи, охватывают крутобокие зеленеющие увалы да гривы и пропадают в низинах, теряясь в бурой некошеной траве. Дорог порою так много и все они такие кривые, бегут, переплетаясь и разбегаясь в разные стороны, что трудно уловить, какая дорога наша и куда, [redacted] каком направлении мы едем.

— Иван Павлович, отчего так много дорог? — спросил я.

— Потому что ездят по чужим лугам,— ответил он и выругался.— Здесь лежат мои луга, а там свистуновские. Дак они что, стервецы, делают? Не едут через бочаг по своей территории: там гати надо гатить, а дуют в объезд... И каждый сопляк торит себе дорогу. Места выбирают посуше да поровнее. Травы чужой не жалко.

— А мы по желудевским лугам гоняем,— сказал механик, блаженно улыбаясь.

— А ты молчи! Тебя не спрашивают,— обернулся к нему Батурин, и снова мне: — Я говорю Чернецу: штрафовать их за это надо! А он: тебе только волю дай. Ты, говорит, всех соседей заместо коров в тырлы загонишь. Ты думаешь, мне не обидно? Я, к примеру, луга улучшал, канавы прорывал, травы подсевал... А сергачевские прогон из них устроили — гоняют по ним

скотину к себе на луга. Я Ваньку Попкова с ружьем поставил: стреляй по головному, говорю! Кто бы ни был — бык, или корова, или ихний управляющий. И меня же прорабатывают на бюро: ты, говорят, применяешь элементы разбоя. Значит, пастуха припугнуть — разбой? А луга чужие вытаптывать — это не разбой?! Ты вот об чем напиши! Или поговори хоть с Чернецом, поговори.

Чернец был первым секретарем Тихановского райкома. Иван Павлович знал, что я был с ним на короткой ноге, и вот теперь «пускал» слезу.

На бугре возле озера показались станы: штук десять — двенадцать шалашей, похожих на копны сена под дубовыми примётинами, высокая прокопченная перекладина, словно виселица, на которой висели черные котлы и громадный чайник, две-три телеги с поднятыми, как орудийные стволы, оглоблями да грузовик с высокими бортовыми стенками. К грузовику тянулась из лугов вереница баб с граблями на плечах да с ведрами, обтянутыми белыми тряпицами.

— С подойниками, что ли? — спросил я.— Коров доили?

— Коро-ов! Луга доили. Я им сейчас покажу,— сказал Батурин — и шоферу: — Ну-ка, перехвати их!

Мы свернули с дороги и стали приближаться к бабам. Те остановились, сняли грабли, поставили наземь ведра и стояли, выжидая, глядя на председательскую «Волгу».

Батурин открыл дверцу:

— Ну, что теперь скажете?

— Здравствуйте, Иван Павлович! — сказали бабы хором, чуть подаваясь вперед, как бы в поклоне.

— Отработали, да? Семи часов еще нет, а вы хвост и зубы и по домам? — распекал их Батурин.— Что у вас в ведрах? Клубника?!

— Клубника, Иван Павлович.

— Ах вы, тетери мокрохвостые! Вместо того чтобы работать — опять по траве елозили? На Шенном были? На гривах?

Молчание.

— Я так и знал... Вам же русским языком сказано: не ходите по траве за клубникой! Николай! — обернулся он к механику.— Скосить Шенное! Завтра же.

— Есть, Иван Павлович! Четыре трактора брошу туда.

— Иван Павлович, давай клубнички возьмем на закуску! — сказал Семен Семенович.

— Да во что ее возьмешь? — отозвался тот.

— А вон, в шляпу! — Семен Семенович снял с задней полки соломенную шляпу Батурина, прикрывавшую бутылки с водкой.

— Николай, вылезь-ка, насыпь! — сказал Батурин механику.

Тот вылез из машины и со шляпой Батурина направился к бабам.

— Пожалуйста, Иван Павлович! — с готовностью подалось несколько баб, развязывая свои ведра.— Чего там в шляпу?! Давай в багажник насыпем... А то в кузов?

— Хватит, бабы, хватит,— смягчился Батурин, останавливая их жестом.

Механик насыпал полную шляпу луговой, в зеленых махнушках клубники.

— Бери в карманы! — кричали бабы.

— Мне что ее, сквозь штаны цедить?

— Ну [redacted] подол!

— Хватит!

— Иван Павлович, а когда Шенное скосят, можно выходной устроить? На клубнику?!

Батурин взял горсть клубники из поднесенной ему механиком шляпы, попробовал на зуб и сказал:

— Спелая. Ладно, бабы, грузовик выделю. И отвезут вас и привезут.

— Спасибо, Иван Павлович!

— Дай вам бог здоровья, Иван Павлович!

— Мы тебе тоже наберем, Иван Павлович!

— Ага, наберете... репьев на штаны,— сказал Батурин и, обернувшись, шоферу: — Гоняй, Леша, гоняй!

Обрадованные бабы, что гроза миновала, долго еще махали нам вслед.

В Мотках, на высоком обрывистом берегу Прокоши, нас уже поджидали с рыбой: два человека, голые по пояс, в закатанных выше колен брюках, возились возле костра. Один из них высокий, худой, с кипенно-белой грудью, с землисто-красными, как лежалый кирпич, большими кистями рук, словно приставленными от другого тела; второй приземистый, плотный, играя мускулами, блестел на солнце точно полированный. На треноге висел огромный — ведра на два — чугунный котел. Рыба лежала навалом на темном брезенте: толстые, разлапистые, с

медным отливом караси вперемежку с сизыми, как дикие селезни, линями.

— Вы что, верхом на попутном облаке приехали? — спросил рыбаков Батурин, вылезая из машины.

— А мы по щучьему велению, по вашему хотению, Иван Павлович,— улыбаясь во все лицо, зычно крикнул от костра тот, что поменьше. Это был егерь здешний, Николай Иванович Бородин, тоже мой дальний родственник.

В худом и высоком я признал Костю Хамова, бригадира рыбаков. Путаясь в словах и суетясь вокруг Батурина, он пояснял:

— Я, значится, как получил задание от Николая Федоровича, что, мол, Иван Павлович гостей повезет в Мотки, на реку. Рыбки, значится, организовать... Мать честная, говорю, у меня и снасти смотаны, и народ на покосе. Коровам, говорю, для себя пошли... разрешил покосить сам Иван Павлыч. А Николай Федорович мне: ты, говорит, рыбак или пастух? Чего на коров хвостом машешь? Смотри, говорит, рыбы не достанешь — хвост оторвем... И сам смеется, и я смеюсь... Пропал, думаю, пропал, а смеюсь...— был он сутул и как-то нескладно скроен, будто наспех гвоздями сшит: плечи узкие, грудь клинышком, а голова большая и чуть вперед подана, словно держать ее трудно, а говорил, как из пулемета чесал.— Я тогда к Бородину: Николай Иванович, выручай, говорю. Заводи мотоцикл, берем ботало, а сети у меня в лугах... Поботаем.

— Хватит тебе, ботало-мотало! — оборвал его Батурин.— Дай другим сказать.— Он обернулся ко мне: — Знаешь, как его пацаны у нас дразнят? Лотохой. Костя, завтра будет дождь? Наверно, будет, наверно, нет...

Семен Семенович и механик засмеялись.

— Значит, наботали? — спросил Батурин егеря, подходя к костру.

Тот не встал, не пошел рассыпаться мелким бесом, как бригадир. Тот знал себе цену. Однако ж отвечал весело:

— Ботать — не языком болтать... Сняли мы с себя штаны, завязали узлами порточины, а в ширинку объявление пристегнули: здесь выдаются делянки на покос. Записывайтесь по очереди. И кинули штаны в бочаг. Вот караси и набились в них.

— О-го-го-го! — загоготали все, как гуси.

И даже Иван Павлович залился так, что лоб и щеки его покраснели.

— Все-таки, где рыбу достали? — спросил Семен Семенович.— За час столько не наботаешь.

— У героя взяли, у героя,— залотошил Костя.— Я говорю: поедем ботать! А Николай Иванович мне: бери поллитру. На нее, говорит, любая рыба клюнет. Верное дело, говорит. Вот тебе взяли поллитру. Привозит он меня на Долгое. А там наш герой сети выбирает. Вот вам и рыба.

— Это что за герой? — спросил я Батурина.

— Из Высокого. Дорожный мастер.

— Прозвище, что ли?

— Зачем? С войны героем вернулся. У него и лошадь своя, и сети. Вроде поощрения ему.

— Так чего делать будем? — спросил егерь.— Архиерейскую, что ли, варить?

— А как же?! Леша, где петухи? — крикнул Иван Павлович.

— В багажнике,— отозвался тот из машины.

— Сейчас я их ощиплю! — кинулся к багажнику Костя-бригадир.

— Погоди ты! — крикнул Леша.

Но бригадир одним духом подбежал к «Волге», ткнул своей пятерней в замок багажника, крышка подпрыгнула кверху, и в то же мгновение из багажника с кудахтаньем полетели во все стороны белые куры и петухи.

— Алексей! Что вы, мать вашу перемать? Головы порубить не могли, а?! — заорал Батурин.

— Дак я говорил заведующему... А тот говорит: на всей ферме ни одного топора. Чем я их отрублю, пальцем, что ли?

— Да ловите вы их, дьяволы! Не то по лугам разбегутся,— кричал Батурин.— Опозорите на всю округу.

Кур ловили всей артелью: разбились в цепь, загоняли их в некошеную траву, а потом глушили, накрывали фуфайками и рубахами.

Из багажника вынули целую корзину яиц, переложенных сеном, с заднего окошка сняли «рядок» водки — четырнадцать бутылок. И заварили архиерейскую уху...

Володя Гладких приехал на вечерней зорьке — мы уж успели выпить как следует. Сидели мы, как древние греки, в земляных креслах, вырытых амфитеатром вокруг дернового стола. На брезентовой подстилке перед нами

лежали вареные куры да караси с линями, посыпанные крупной солью; поодаль, чтоб рукой подать, стоял котел с духовитой архиерейской ухой, в которой выварились сперва куры, а потом рыба; яйца рассыпаны были по столу, как горох. Ешь — не хочу. Водку запивали ухой, а кого разбирало — спускался вниз, к реке [redacted] в воду — бултых! Отмокали.

— Эй вы, аргонавты! — крикнул, вылезая из ветеринарского «козла», Володя.— Пошто пируем? Какого Зевсова быка задрали?

— Ты чего это? — вскинулся Батурин.— Вроде конокрадами нас обзываешь?

— Это герои древности,— сказал, присаживаясь, Володя.

— Хороши герои — чужих быков забивать,— ворчал Батурин.— У нас тут, брат, все свое... Как в пантюхинской частушке поется: «Мы плевать на тех хотели, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто их не давал».— Он поглядел значительно на нас и добавил: — Музыка Глуховой, слова Хамова.

Застолица грохнула, а Иван Павлович пояснил мне:

— Это у нас, в Брёхове, самодеятельный хор так объявляет: выступает хор из колхоза имени Марата. Частушки! Музыка Глуховой, слова Хамова,— и сам засмеялся еще раз.

Гладких молчал.

— А ты чего нос повесил, Владимир Васильевич? Бери кружку! Дай-ка я тебе налью,— потянулся к нему Батурин с бутылкой.

— Да погоди ты малость,— поморщился Володя.— Дай дух перевести.

Батурин дернулся и поднял голову:

— Что за тобой, гнались? Или прятался от кого?

— От вас спрячешься? — повел бровями Володя.— Вы на том свете и то покоя не дадите.

— Кузовков одолевает? — Батурин многозначительно усмехнулся, наливая [redacted] кружку Гладких.— Плюнь на него... Давай, отдыхай!

Гладких покосился на водку и вроде бы нехотя выпил. Семен Семенович принял это как сигнал читать письмо запорожцев и, мотнув головой, словно очнулся ото сна, загремел:

— Ты, шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ, самого Люцыпера секретарь...

— Да погоди ты со своим турецким султаном! — оборвал его Батурин.

Семен Семенович обиженно хмыкнул и насупился. Вся остальная братия с недоумением переглядывалась.

— Дак чего он, людей просил? — начал опять про Кузовкова Батурин.

— От него и те разбежались, что были,— нехотя ответил Гладких.— Тоже мне шефы...

— А что такое?

— Сено скирдовали на пресспункте. Подвозили два грузовика с рязанского треста. Ну и смылись... А те посидели, поглядели — никого нет. Ни шоферов, ни начальства... И тоже деру дали. Вот и собирал всех до самой ночи.

— А Кузовков за чем смотрел?

— А черт его знает.

— Нашел грузовики-то?

— Нашел. На желудевских отгонах были, возле доярок. Машины в кусты загнали, а сами по шалашам — девок щупать. Я их стыдить начал. А им хоть плюй в глаза. Человек, говорят, имеет право на труд и на отдых. Оглоеды.

— Пораспустили... А все ваша демократия виновата,— Батурин длинно и заковыристо выругался.

— Не демократия, а дурь,— сказал Володя.— Ведь тот же Кузовков два грузовика с весны обезвечил. Одну машину с удобрением посадили в клюевском овраге. Так тащили тракторами, что задний мост оторвали к чертовой матери. Тащили с грузом, а! Разгрузить поленились...

— А что ему! — чуть не обрадовался Батурин.— Одну машину угробит — вторую дадите. В районе сидят добренькие дяди... за счет других.

— Кого это других?

— Кого? Да хоть за счет меня. Ему за три года две машины дали. А мне выделили хоть одну?

— Ты только за этот год четыре тракторных тележки взял. И тебе все мало?

— А кто их мне давал? Вы, что ли? Я сам доставал, сам... Вон где! На областной базе,— распалялся Батурин.

— Ну и что? Не у каждого приятель в директорах базы ходит! — повышал голос Володя.

— Приятель! — деланно хохотнул Батурин.— Ты думаешь, мне этот приятель дешево обходится? Дак я

изворачиваюсь, я достаю. А плановые машины вы Кузовковым суете: на, голубок! Подымайся на ноги. А он все на брюхо ложится, как опоенный телок. Ты вот об чем напиши, Андреич! — крикнул мне Батурин.

— Несознательный ты элемент! — разошелся и Володя.— С кем ты равняешься? У тебя до асфальта три километра, а Кузовкову — двадцать три. У тебя семнадцать грузовиков, а у того три с половиной машины, да и то на всех девять колес... Индивидуалист ты.

— Я индивидуалист? Нет, я сознательный строитель светлого будущего. А вот ваш Кузовков индивидуалист. А знаешь почему?

— Ну?

— Потому что его цель не коммунизм, а промежуточная фаза.

— Это что еще за пантюхинская теория?

— А то самое... Это значит жить на иждивении за счет природы и соседей. То есть говорить об одном, а делать другое. Вот это есть промежуточная фаза.

— Ну, загнул вольтову дугу,— усмехнулся Володя.— С тобой договоришься до международного осложнения. Налей-ка лучше!

— А я об чем? — обрадовался смене настроения Батурин.— Сказано: кто не пьет, тот и не грешит. А коль согрешили, покаяться надо. Вот и опрокинем по одной в покаяние.

— Было бы за что, покаяться не грех. Не то теребят тебя, как петуха обезглавленного... Да еще помалкивай. Одни ушами хлопают, другие воруют, третьи бегут. А ты за всех отвечай.— Володя был явно не в духе. Видать, из области звонили.

— Такая уж планида наша,— сказал в тон ему Батурин.— Запрягли тебя в оглобли, и валяй только вперед. Назад ходу нет. Дуй на износ. Даже в рядовые не возьмут. Да и какой к черту из меня рядовой колхозник! Шестой десяток распечатал... В борозде упаду. Выгонят — куда пойдешь? Эхма! А с тобой, Владимир Васильевич, только есть одна отрада — отдохнуть. Вот и давай отдохнем.

Он налил в кружки и сказал с чувством:

— Выпьем, ребята, за нас самих!

Мы подняли кружки высоко над столом, как Горации клятвенные мечи, содвинули их с треском и выпили до дна.

— Ребята, а теперь песню! Только мою, любимую... про Сибирь...— Батурин защурился, покачал головой и сам запел неожиданно приятным, с хрипотцой, высоким тенорком:

Звенит звоно-о-о-ок насчет поверки-и-и —
Ланцов из за-а-амка у-у-убежа-ал.

Все ждали, опустив головы, сурово набычившись, пока запевала истаивал, замирал на высокой ноте. Потом дружно и мощно подхватили:

По че-е-е-ердаку он до-о-о-олго шлялся,
Себе-е-э-э вере-е-е-вочку иска-а-ал...

Мы пели старые русские песни посреди нетронутого степного раздолья. Под нами долго светилась в отблесках вечерней зари излучина спокойной реки, над которой весело сновали проворные береговушки. На дальнем пологом заречье, в этом неохватном разливе трав да кустарников струились редкие тонкие дымки невидимых костров, словно одинокие путники, рассыпанные по древнему лику земли, подавали друг другу безмолвные летучие весточки. И не было среди нас больше ни начальников, ни подчиненных: мы сроднились, слились в каком-то тихом и праздничном восторге, как дети одной семьи за большим родительским столом. «А ну-ка вот эту, ребята?»; «Уходи на баса...», «А ты вторь»; «Не зарывайся!..».

Мы не заметили, как опустилась над нами короткая летняя ночь, как потух костер и остыли угли.

— Какая ночь, братцы! Какая ночь! — утирал слезы и громко всхлипывал Батурин.— В такую ночь все отдашь. Вот попроси чего-нибудь, попроси у меня, а?!

— Будет уж, Иван Палыч! Будет...

— Будет?! Ну нет, ребята! Мы еще споем... Мы еще повоюем.

И запевал отчаянно высоким голосом:

Не броди-и-ил с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежа-а-а-ал я во рву в непроглядную но-о-очь...

1969

„ГОВОРИТ „БРАСЛЕТ-16"

Случилось так, что четыре последних года я не бывал в родных местах на Рязанщине, не колесил по заливным лугам да по лесным деревенькам.

Говорили мне, что через Касимов до Пителина теперь не проедешь — за Окой дорога разбита окончательно. И по южному большаку, по которому когда-то ездил тамбовский губернатор, от Шацка до Сасова, тоже не больно, мол, докатишься. Однако нынешней весной этот большак починили, и я доехал своим ходом до Пителина.

А дальше — увы! Не только что на луга — в соседнее село Синорму на «Волге» не проедешь, а село это в версте от Пителина и к тому же стало составной частью Пителинского поселка. Впрочем, и в другой конец поселка — в Шибково — тоже не проедешь, весь бывший выгон разбит, ездят в Шибково полем и в объезд, по немыслимо грязной дороге. Колеи глубокие, сядешь посреди такой дорожки — и не вылезешь. Станут тащить — все брюхо обдерут.

По всему поселку рытвины и выбоины страшенные: белый дорожный камень, уложенный в мостовую еще дедами, поднят на дыбы могучими «КрАЗами» да «КамАЗами», а заливные луга от Темирьева до реки Мокши исхлестаны все вдоль и поперек широченными и глубокими колеями, так что и места живого не найдешь.

Ездили в луга на вездеходе с председателем райисполкома Артюхиным, я все шумел при виде спущенных да пересыхающих озер. Особенно печальное зрелище представляло собой когда-то славное лебединое озеро

Широкое, растянувшееся более чем на версту среди роскошных заливных лугов и теперь обезвоженное, спущенное до илистого болота, зарастающего камышом, да сусаком, да водяной заразой.

Артюхин говорит, что озера эти нигде не числятся и называют их по-всякому. Мелиораторы с ними вообще не считаются. Я возражаю.

— Ведь не только погибло озеро, не только красоту порушили,— говорю,— это же прилегающие луга обезвожены. Сотни гектаров великолепных заливных лугов испорчены.

— Что делать? У мелиораторов свои планы. Они рыли канавы и спускали озера. Деньги зарабатывали. Что им наши луга! Им траву не косить и даже брусок не носить...— Артюхин поглядывал на искалеченное озеро, покусывая травинку, и говорил спокойно, не то чтоб в утешение себе, а как бы о давно переболевшем.— Мы уж привыкли. До нас их спускали, озера-то...

Александр Николаевич Артюхин еще относительно молод, учтив, при галстуке, скорее похож на доктора.

— Ну, то старый грех с озерами,— говорю.— А туда поглядите! Что делают грузовики с лугами-то! Всю траву с грязью перемешали.

Он только вздохнул и плечами пожал:

— Что поделаешь?..

— Да запретите ездить по лугам! Хотя бы в дожди да в весеннюю пору, когда еще грунт не окреп. Ведь это же не езда, а порча лугов. Где грузовик прошел — там и спаренная траншея метровой глубины, хоть становись в нее и веди огонь с колена. Вот только по кому стрелять? Кто портит ваши луга-то?

— Все кому не лень. Там, на берегу реки, щебеночный склад, щебенку привозят на баржах из-под Касимова. Карьер областного значения! За этой щебенкой едут со всех концов. Как же я им запрещу? Меня никто и не послушает.

— Луга-то ваши! Убытки вам наносят, вашему району.

— Район наш, и убытки наши. А земля ничья. Будь мы хозяевами, разве мы допустили бы такое каleченье лугов? Уж провели бы дороги, кабы сами капиталами распоряжались и технику могли бы покупать. А пока нам на дороги дают грош да копу. Вот и ездят по лугам да по полям — кто где хочет. А где еще ездить? Грунтовые

дороги и в грязь непроезжие, и посуху все в рытвинах. По ним не больно покатишься.

— Ну, хоть хозспособом постройте дорогу на реку. Хоть бором-собором! Она же необходима.

— Мы и сами не хотим строить ее. Карьер этот закрывают. Построй дорогу — сюда нагрянет столько машин отдыхающих, что все луга окончательно вытопчут.

— Отведите по реке специальную площадку для отдыха, покройте ее асфальтом или бетоном. А в любом другом месте проезд запретить. Посмотрите, как охраняют дюны в Прибалтике.

— У нас не та публика,— усмехнулся он.— Прут повсюду — и целиной едут, и по прогонам. Милиция с ног сбивается.

— Штрафуйте! Но дорога должна быть. Область не строит — сами постройте. На то и хозспособ.

— Хозспособом? — Он горько усмехнулся.— Дорожная техника старая, постоянно ломается, запчастей нет, горючего нет, людей не хватает. Какой там хозспособ! На ремонт дорог и то денег мало. Поселок вон весь разбит да разворочен. Не работа — тоска зеленая. А в дальних селах и того хуже...

Впрочем, унылая картина бездорожья угнетает душу лишь в дождливую пору; но вот выкатило солнце, пообдуло ветерком родимые просторы, захрясли дорожные колеи да рытвины, и, объезжая их, покатили во все пределы юркие «Запорожцы» да «жигулята», запылили по лугам и полям, прибивая колесами не только траву, но и рожь, и овес, и пшеницу, а то и по картошке ездят. Нет им ни запрета, ни удержу. Вольная жизнь наступает. На полях да на лугах работать некому, а леса полны грибников да сборщиков ягод, озера и речки забиты отдыхающим людом: и приезжими, и своими коренными жителями. Тут и автомобили всех марок, и мотоциклы, и мопеды, и велосипеды... Живет народ и не тужит.

В такой жаркий июльский денек ходил я по Пителину и вспоминал о том недавнем времени, когда на мостовой был свежий гладкий асфальт, по обочинам зеленела чистая трава-мурава, вдоль палисадников тянулась ровная лента тротуара из красноватых плиток, уложенных собственноручно и бесплатно пителинскими пенсионера-

ми. А стволы кленов и тополей были выбелены известью; в овраге, по краю села, поблескивало разливанное озеро, и плотина стояла высокая, и купальщицы по зеленым берегам бродили...

Как все изменилось! Говорят, что плотину прорвало в полую воду, затворить новую, дескать, денег нет и некому, да и некогда — все план выполняют. Теперь вместо озера — убогий овраг, затянутый тиной и грязью; купаться ездят на Сегму, за три километра, и пыль от каждой прошедшей машины бушует так, что забивает и глаза, и ноздри, хоть платком закрывайся, как, бывало, на току возле молотильного барабана. Странно, у меня было такое ощущение, будто здесь обитают уже не те постоянные жители, любившие свое село, а временные постояльцы, согнанные для какой-то трудовой повинности и ежедневно отлынивающие от нее. Тут поневоле Гоголя вспомянешь и почудится тебе, что сказочно здоровенная свинья рылом поработала, делая болотные канавы да ямины посреди села, чтобы в грязи поваляться. Натешилась вдоволь да ушла, а зачарованные ею жители поглядывают да посмеиваются, указывая на ту живописную картину, которую она оставила.

Но такое восприятие жителей как временных постояльцев тотчас покидает тебя, когда подходишь к Пителину с задов, куда выходят личные сады да огороды: и ты удивляешься — какой порядок на них царит! И заборчики стоят аккуратные, и ботва картофельная выше колен, капуста разлопушилась так, что ступить ногой негде. Иной осенью я видел глазами своими — отдельные вилки в корзину не лезут, по двадцать фунтов весом, когда взвешивают их на старых безменах. Так ведь недаром в старинных описях сказано: «Сельцо Пителино стоит на черноземах».

А какие ровные ряды садовых деревьев! Как они обихожены: и подстрижены, и подвязаны, и стволики выбелены, и подпорочки подставлены под раскидистые кусты. Сливы да яблони так усеяны плодами, что без подпорок ветки на землю лягут. Иной терновый куст как овечий хвост, говаривали пителинские старики, сравнивая именно эту изобильность и благодатную тяжесть от плодов с отяжелевшим от жира хвостом матерого курдючного барана или овцы.

А сколько домов построено за последние двадцать лет! Нет, нет, я говорю не о трехэтажном здании райкома

и не о замечательной школе-десятилетке; я говорю о самых обыкновенных жилых домах. Выросли новые улицы и даже целые кварталы; застроены бывшие коноплянники, одоньи, выгон, базарная площадь, колхозные бахчи и даже все пространство в чистом поле, где был когда-то разбит колхозом молодой сад. И какие дома замечательные! Кирпичные ли они или деревянные, но непременно просторные, на высоких фундаментах, с верандами, с сенями да с подворьями, а то и с кирпичными гаражами, с погребами да с кладовыми. И строилось все это великое множество домов не по генеральному подряду неведомо откуда свалившегося треста, а летучими артелями своих же умельцев из подручных материалов. Другое дело — как трудно доставать кирпич да известь, тес да шифер... Но добывают, изворачиваются.

Да, сила, ловкость, сметливость, умение подлаживаться под обстоятельства жизни у моих тороватых земляков еще не иссякли. Дать ход этой инициативе, найти новые формы проявления ее и организации не только сверху, но и снизу, от самих производителей,— вот задача! Вот главная опора в устроении теперешней жизни. Не подавлять инициативу, а искать ее выхода в деле и в благотворчестве. В нынешнем же состоянии видимого равнодушия много парадоксов. Взять хотя бы соображение по части занятости жителей. Пителино выросло за последние двадцать лет вдвое, и никто, ни один человек, не работает на земле, то бишь в колхозе. В местном отделении совхоза работают только синормские, а все пителинцы устраиваются в районных конторах и около. «Не хватает кадров в учреждениях,— жаловались мне в райкоме.— Хоть караул кричи».

Да и немудрено: на тридцать колхозов да совхозов района приходится более сорока контор в райцентре. Где же взять людей на такую прорву учреждений? Ведь не сгонишь же скопом всех колхозников и совхозников обслуживать эти конторы. Надо же кого-то и на земле оставить. А эти учреждения не уменьшаются — всё увеличиваются. Тут уже ходили толки, что в РАПО потребуется много новых специалистов, а где их взять?

Так думал я, бродя в субботний день по Пителину.

Напротив старой церкви, превращенной в товарный

склад, посреди улицы толпился народ. Я подошел, разговорились. Оказывается, публика вышла с судебного заседания — объявили перерыв перед вынесением приговора. Здесь, на дороге, толпились любопытные, свидетели же и виновники сидели в палисаднике, возле небольшого деревянного здания суда.

— За что судят? — спрашиваю.

— Одних за то, что дрова возили, других за то, что покупали.

Я прошел в палисадник. Подсудимые сидели на лужайке под тополями, их было человек шесть; на скамейке же возле забора, поодаль от других, держали двух главных виновников — трактористов из Ерахтурского леспромхоза. К ним был приставлен милиционер, охранял, чтоб не общались с родственниками и вообще с посторонними.

Прислонившись спиной к тополю, вытянув прямо перед собой ноги, обутые в шерстяные носки и в калоши, сидела старуха и понуро смотрела в землю перед собой.

— Что, мамаша? За родственников переживаете? — спросил я, присаживаясь.

— Нет, я — подсудимая.

У нее худое лицо в глубоких темных рытвинах и слезящиеся голубенькие глазки, как цветочки льна под росой; на ней платочек в горошинку, повязанный углом, да белесая, застиранная спортивная куртка, расстегнутая на груди, и эти старенькие галоши, привязанные к ногам бечевкой.

— В чем же вы провинились?

— Тележку дров купила — вот и провинилась.

— Откуда дрова-то?

— Из лесу. Откуда же еще.

— Лес-то ваш, колхозный?

— Да нет. Говорят — леспромхозный. Оттуда и привезли.

— А колхоз почему вам не дает дров?

— Председатель говорит: нету...

— Да вы же в лесу живете! — удивляюсь я.

— Поди ты. В лесу живем, а дров нету.

— А мы сроду так — покупали кто где может, — отозвалась соседка ее, женщина в летах, но еще бойкая и плечистая.

— И вы подсудимая?

— И я,— смеется.— Две тележки дров купила по двадцать пять рублей за каждую.

— Пенсионерка?

— Пенсию получаю, но еще работаю. Я заведующая овцефермой.

— И вам колхоз не привозит дров?

— Некому за дровами-то ехать. Лошадей перевели, тракторов много, а трактористов не хватает. По три трактора приходится на одного тракториста. Дак они пахать да сеять не успевают, не только что за дровами ездить. Вот и обращаемся к леспромхозовским. А те имеют право взять по десять кубов с лесосеки.

— За что же их судят?

— Лишку прихватили.— И опять посмеивается.— Директор и взъелся на мастера, взял да и оформил дело в суд. Вон и мастер сидит. А вон тот, однорукий, наш лесник. Тоже под суд попал.

Лесник, пожилой мужчина, но еще крепкий, с тугим и свежим лицом, услыхав, что в разговоре затронули его имя, встал и отошел подальше. А мастер, совсем еще молодой парень в черном пиджачке и светлой кепочке, отозвался нехотя:

— Лесник тут ни при чем. Это я виноват.— И приподнявшись на локте, стал объяснять мне: — Он подрядился у нас технику охранять. Ну? Месяца полтора сторожил. Подошло время расчета, а ему говорят: ты у нас не в штате. И катись колбасой! Мне совестно стало, и я приказал отвезти ему десяток кубометров дров. И вот за это самое директор на меня и на лесника в суд подал.

— В том и вина ваша?

— Моя-то? Я за все в ответе. Вон те ухари,— кивнул на трактористов, сидевших под охраной милиционера,— возили направо и налево... А я виноват! Потому как не запретил. Но как ты им запретишь? Он нальет глаза, заводит трактор и прет куда захочет. Что ему твои запреты! Воробьиное чириканье! За рукав возьмешь — он тебя по шее. Не то еще и топором грозится. Не-е, с меня хватит такого веселья. Если не посадят, завтра же сматываю удочки — и в город, к дальним родственникам.

— А вам что грозит? — спрашиваю женщин.

— Наверно, штраф,— говорит заведующая овцефермой.

— А меня посадют,— вздыхает горестно старушка, глядит печально и покорно, и вдруг частые слезы закапали на юбку.

— Что вы, что вы? Успокойтесь! — говорю.— Это какое-то недоразумение.

— Нет, нет... Она деньгами платила за дрова. У меня же нет денег. Я ведь самогонкой платила. Пришли ко мне с обыском. Я призналась во всем. А за самогонку, говорят, тюрьма.

Я записал в блокнот, обещал заступиться, если засудят.

— Все будет хорошо,— говорю,— к председателю съезжу, скажу, чтобы дров привезли... Все обойдется.

Она утешилась быстро, как ребенок, и даже смеяться стала.

Но потом, когда судья Соломатина зачитала приговор: «Гражданку Макарову Анастасию Васильевну за незаконную покупку краденых дров и за производство самогонки при помощи чугуна и таза оштрафовать на семьдесят рублей»,— отыскала меня глазами и опять заплакала.

— Что ж ты утешал меня? — говорила на пороге, всхлипывая.— Где я такие деньги возьму? Вон еще и защитник подсунул записку — тридцать рублей требует.

— Анастасия Васильевна,— говорю,— ждите меня завтра. Приеду к вам домой вместе с председателем колхоза. И все утрясем.

* * *

На другой день я поехал в тот самый колхоз имени Димитрова, в дальнее село Веряево.

Надо сказать, что я бывал и раньше в этом селе. Еще до войны учителем работал в соседнем Гридине. Какие это были огромные села, Гридино да Веряево! Дворов по восемьсот в каждом; клубы, больницы, почтовые конторы, агропункты, по школе-семилетке на каждое село! В одном Гридине было три колхоза, да в Веряеве два. И какой мастеровой народ здесь жил: плотники и бондари, штукатуры и каменщики, смолокуры, углежоги, санники, жестянщики,— словом, мастера на все руки...

От того Веряева мало что осталось: два порядка домов, редко разбросанных по выщербленному косогору вдоль речки Пёт. В конторе, в стародавнем доме, на

втором этаже я застал все колхозное руководство. Не было только председателя. На эту должность прислали из Высоких Полян агронома; парторг Мотин, бывший временно за председателя, передавал ему дела, возил где-то по обширному колхозному пространству.

А здесь, в конторе, одни женщины: и бухгалтер, и агроном, и экономист, и связист, и зоотехник, и кассир, и курьер, и уборщица... Я было заикнулся: отчего это они не развозят дрова по колхозникам? Меня смяли ураганным огнем из каждой огневой точки:

— Кто будет пилить? Кто возить? На чем?

В колхозе большие земельные угодья — шесть с лишним тысяч гектаров. Но грузовиков и тракторов маловато для таких площадей. Да и то на сорок семь тракторов всего пятнадцать трактористов, на двенадцать грузовиков девять шоферов, они же еще и обслуживают три легковые машины. Доярок не хватает, скотников, комбайнеров... Да кого ни возьми — всех не хватает.

— Как же вы обходитесь? — спрашиваю.

— Из города присылают и коров доить, и землю пахать. Ну что это за пахари? Они вон по канавам ныряют, носом землю пашут.

— У нас больницы нет, пекарни... Всё позакрывали.

— Да что больница! Контора наша отрезана от района. Связи нет!

— Какой связи? — обалдело спрашиваю, не веря ушам своим.— У вас испокон веку почтовая контора стояла.

— Не работает! Ни радио нет, ни телефона, ни телеграфа.

— Намедни умер главный бухгалтер колхоза — Демидов Иван Петрович. Родственников надо вызвать на похороны. А как ты их вызовешь? Вороне на хвост не привяжешь депешу. И машину в район не пошлешь — дороги развезло. Дожди вон какие! Не пошлешь ведь и трактор за двадцать километров.

— Ну, в Гридино сходили бы на почту. Это же рядом.

— И в Гридине почта не работает. Говорят, это самое... режим экономии. И лошадей нету. Так племянник бухгалтера пешком в район бегал, чтоб телеграммы дать. К следующему утру обернулся.

— Наша почта — как старая мельница: работает, когда ветер дует... и то со скрипом.— И смеются.

— Погодите, погодите...— стараюсь постичь всю пре-

мудрость этакой экономии. И не могу. Чувствую, что-то утаивают от меня. Ведь не может же контора, целый колхоз существовать без сводок и донесений. Ведь это же будет выпадение целого звена из общего потока стройных донесений, всесоюзного рапорта. И я, осененный этой догадкой, торжествующе изрекаю:

— Но такого не может быть! Ежели нет телефона и телеграфа, то каким же образом вы даете в район сводки? Ведь не держите же для этой цели почтовых голубей.

— А у нас есть полевая рация,— отвечают мне.— И в Гридине есть, по всему району раскиданы. Мы живем по-фронтовому. Небось, газеты читаете: там каждый год освещается битва за урожай. А мы на переднем крае: и оборону занимаем, и наступление ведем. Вот наша полевая рация «РТ-21-1». И позывные у нас есть — «Говорит «Браслет-16». И начальник отделения связи тут же сидит, вот она — Силина Лидия Петровна. Просим любить и жаловать.

Да, все истинно: и рация в ящике на окне стоит, и начальник связи сидит рядом и улыбается.

— Лидия Петровна,— говорю,— отчего ж вы не пожалели племянника главного бухгалтера? Взяли бы да и передали по рации телеграммы, чтоб ему в район не бегать?

— Дак она, эта рация, только в одну сторону говорит. Специально для сводок: туда передашь, а оттуда ничего не услышишь,— отвечает Лидия Петровна.— Да и то передаем в определенное время, только в семь тридцать утра. Скажем: «Говорит «Браслет-16». И передаем сводку: сколько молока надоили, сколько сена скосили, и все такое...

— А кто вас принимает?

— Тоже полевая рация — «Браслет-6», в райсельхозуправлении стоит.

— Откуда вы знаете, примет она вас или нет? У вас же односторонняя связь!

— Другой не дано... Наше дело — передавать сводки. Как петух прокукарекаем с утра — и с насеста долой.

— Доложил, и точка. Как на фронте.— И опять смеются.

— А вот почему с бывших фронтовиков, с инвалидов то есть, берут деньги за покос? — спросила меня кассирша, Сидорова Анна Степановна.

— За какой покос? — не понял я.

— За обыкновенный. Сена для своей коровы накосил — с него взяли девяносто рублей.

— Где накосил?

— По оврагам да по косогорам. Дикой травы.

— И за это берут?

— Берут!

— Почему же девяносто рублей? — спрашиваю.

— Из расчета тридцать рублей за тонну.

— Кто же такую цену установил?

— А шут его знает! Говорят, что на корову положено три тонны сена. Запас на зиму — вот и плати девяносто рублей. Трава-то вся, мол, колхозная. Все и платят. Вот у нас и ведомость есть. Но поскольку Сидоров Алексей Васильевич инвалид войны, с него налоги не положено брать. А за траву берут. Вроде как налог за корову. Это как, по закону?

— Нет, — говорю, — не по закону. И вообще за покосы на бросовых землях платить никому не надо. Не надо платить налог за прокорм личной коровы.

— Как не платить? — смотрят на меня с удивлением и не верят. — А мы сроду платим.

Встретив парторга Мотина на полевой дороге, я первым делом спросил его:

— Виктор Семенович, как же это вы ухитрились обложить налогом по девяносто рублей владельцев коров?

Глядит глазами юного пионера и произносит чистосердечно:

— Не понимаю.

— Ну как же? По девяносто рублей за покос берете?

— Ах, вон что! Так это ж за траву! Но здесь сроду так берут. Я эти суммы не устанавливал. Я же парторг.

— Да неужто не читали постановления насчет того, чтобы разводить личный скот?

— Постановления читал. Но указаний из района насчет отмены не было.

Святая простота! Как там у Крылова сказано? «Сильнее кошки зверя нет». Ну, если район не распорядился, то какой может быть разговор? Мало ли какие законы

писаны, да не про нашу душу. Жалует царь, да не жалует псарь.

Позже я спрашивал секретаря райкома Кокорева: «Неужели вы, Анатолий Дмитриевич, не прорабатывали постановления насчет льгот владельцам личного скота?» — «Ну как же? Прорабатывали». — «Отчего же у вас в колхозах сохранился налог на корову?» — «А шут его знает! — признался простодушно. — Разве за всем уследишь? — И в сторону председателя райисполкома Артюхина: — Ты разберись с этим делом».

Конечно, за всем уследить нельзя, но добиваться того, чтобы все исполняли закон, следует. От секретаря райкома здесь многое зависит, но далеко не все. Мы еще поговорим о том, что может секретарь райкома, а что нет. А пока вернемся к истории с дровами.

Вместе с Мотиным мы ездили в Андреевку к бабе Насте. По дороге Мотин уверял меня: «Вот увидите, у этой бабки запасено дров лет на десять».

Когда-то лесные деревни Андреевка и Павловка имели свой отдельный колхоз; и школа стояла в Павловке. Теперь же в обеих деревнях народу и на бригаду не наберешь, и больше всё пенсионеры.

А места прекрасные: высокие сосновые гривы кругом по горизонту, песчаные берега и чистые родниковые отмели речки Петас, и поля ровные, пространные, зарастающие у лесных полос березняком да осинником.

Анастасия Васильевна Макарова живет в крайней избушке — два окошка на улицу, да сени со скрипучей дверью, да курица Ряба, да кот Васька. Всё как в сказке про деда и бабу. Только деда нет... Возле сарайчика лежали плахи сваленных дров — кучка кубометра на два. Мотин заглянул в сарайчик — пусто...

— Ну, где этот запас на десять лет? — спрашиваю его.

Молчит.

Заходим в избу; все чистенько и светло: печка побелена, полы так надраены, что желтизной отдают, на окнах светлые занавесочки. Старуха сидела на кровати, застланной лоскутным одеялом.

— Ой, сядой приехал! — встретила она меня с удивлением.

— Кто вам дрова колет? — спрашиваю я.

— Ванюшка-дурачок из Павловки. Раньше я ему платила папиросками. А теперь он поллитру просит.— Она показала квитанцию на штраф, и глаза ее опять, как там, на суде, заслезились.— Не пожалела судья-то.

— Анастасия Васильевна,— говорю,— нельзя же самогонку варить. Это по закону запрещено. Судья не виновата, она избрала для вас самое малое наказание.

— Да я это... я не жалуюсь.— Она быстренько утерла кулаком слезы и с ожиданием уставилась на Мотина.— Виктор Семеныч, как же мы теперь?

— Ладно... Деньги не плати без моего ведома. Разберемся. А дров тебе привезем.

— Где дочь ваша живет? — спрашиваю я старуху.

— Вон, напротив,— указала она в окошко на большой дом, стоявший крайним, но с другого порядка.— Да ведь она уж полгода с постели не встает. Убилась она.

— Как убилась? — спросил я Мотина.

— Сено возили на ферму. Она и упала с возу. А земля была мерзлой. Теперь болеет. На пенсии.

Мы поехали к заведующей овцефермой; и здесь на дворе и около не было десятилетнего запаса дров. Осиновые хлысты, за которые она и попала под суд, валялись тут же, возле дома. К нам подошла хозяйка, Мелехина Мария Максимовна.

— Что ж вы их не распилите? — спрашиваю ее.— Они скорее подсохнут. Не то и гореть не будут.

— Мы их купили для починки забора да повети...— Она виновато улыбнулась, как бы оправдывая перед Мотиным своего брата, который выглядывал в притвор из сеней.— А дров мы еще и не запасали.

— Откуда хлысты привезли? — спрашиваю.

— Да, наверно, с мертвой деляны,— ответила Мелехина.

— Это что за мертвая деляна?

— А вон там, с краю леса. Срезали ее года два назад, да и бросили гнить. Она будто в дело не годится. Вот с нее и таскают.

— Съездим! Поглядеть надо,— сказал я.

— Давайте! — Мотин сел за руль.

Но Мелехина задержала его:

— Виктор Семенович, когда же колодец нам сделают? Ведь совсем завалился. Мы ж на Петас за водой ходим.

— Ты же знаешь, у нас ни одного колодезного мастера нет.

— А как же быть?

— Ищите мастера! А мы оплатим работу.

До лесу было метров шестьсот — семьсот. За березовой опушкой облесья мы увидели ту мертвую деляну: срезанные деревья лежали вповалку, накрывая друг друга, на огромном пространстве; лист давно уж облетел и черным прелым месивом густо покрывал землю; оголенные сучья торчали во все стороны, и некоторые, освобожденные от гниющей коры, белели, как кости. А отдельные осины еще зеленели; лежа на боку, подпитывались остатками соков недорезанной коры и луба, соединяющими дерево с пнем.

— Это что за мамаево побоище? — спросил я.

— Тонкомерный лес... Что покрупнее — взяли, а остальное бросили. Вот отсюда и таскают ухари-трактористы хлысты и торгуют ими. И зараза отсюда идет, на здоровый лес перекидывается.

— Что же вы молчите? За такие вещи наказывать надо.

— Деляна-то леспромхозовская. Он нашему району не подчиняется. Мы для него — что китайцы, обитатели другого государства...— Помолчал и с тоскливым безразличием, вроде самому себе, признался: — Совестно и за старух, которых судили, и за эту вот гниющую свалку. В своем же лесу не можем порядка навести. Эх!..— и заковыристо выругался.

— Виктор Семенович,— говорю ему,— привезли бы дров тем же старухам и совесть свою не терзали бы.

Только губы покривил и как-то отрывисто хмыкнул:

— Знаю, знаю, во всем я виноват... И что старух судили, и что коров некому доить, и что землю пахать некому... Поехали домой!

Ехали всю дорогу молча: у въезда в Веряево остановились возле новостройки. Десять парней-студентов во главе с девицей-десятником закладывали кирпичную контору: клали неумело, задевали кельмой суховатый жесткий раствор из ящика, ляпали отдельными кучками, придавливая их кирпичом. Швы получались неровными и с пустотами. Я по старой своей прорабской привычке подозвал десятника и сказал ей, что в такой жаркий день силикатный кирпич надо смачивать, и наброс делать ровный, постелью, тогда он схватится — и стена будет крепкой. А такую кладку через полгода корова рогом зацепит и развалит. Она развела руками: я им, мол,

говорила. Так не понимают. Они же студенты из сельхозинститута, бойцы стройотряда.

— Ага, бойцы! — усмехнулся Мотин.— Всё в солдатиков играем, в трудармию. И кто ее только придумал!

— Игру, что ли, или трудармию? — спросил я.

Он как бы не расслышал вопроса и продолжал свое:

— Нам запланировано построить восемь двухквартирных домов для специалистов. Ведь народу нет, хоть караул кричи. Ну кто сюда, в глушь, пойдет, если не дашь квартиру? А строить их некому. Районная стройконтора маломощная. Вон прислала один отряд... За год контору построят — и то хорошо. Эдак мы совсем тут запсеем. Без дороги и новой деревни нам не житье.

* * *

Ну вот, скажет иной рассудительный читатель, все ведь ясно как божий день. Запущенность. И куда смотрит районное начальство? А смотрит оно все на те же расхлобыстанные дороги, или, вернее, не дороги, а расхлестанные автомобильными колеями луга и поля да на выщербленные ветхозаветные деревни. И, прямо скажем, смотрит невесело.

Я говорил с первым секретарем Пителинского райкома партии Анатолием Дмитриевичем Кокоревым. Ведут они строительство двух дорог: одну, на Темирьево, уже пять лет, по километру за год, другую, на Мочилы, такими же темпами. На большее средств нет и сил не хватает. А нужно построить в районе десятки километров дорог, и все — первой необходимости. Но как? Чем? И главное — кому строить? Единственная ПМК не успевает скотные дворы строить, не говоря уж о жилье.

— Может, РАПО помогут? — спрашиваю его.

— РАПО же не строительные колонны и не базы снабжения. Правда, при нем будет совет, состоящий из руководителей хозяйств. Совет — дело полезное, он, глядишь, возьмет на себя вопросы с удоями да с привесами. А то всё у нас на шее. Но совет тогда будет полезным заведением, когда наделят его юридическими правами: взыскивать с тех, кто портит землю, леса или приносит ущерб хозяйствам. Взять тех же мелиораторов, или «Сельхозтехнику», или химиков. Они свои планы выполняют, а нам после этих исполнителей хоть плачь.

Иные луга так «осушат», что на них не растет ничего. И не отвечают за такие дела. Отремонтируют порой трактор или комбайн, сдерут за это втридорога, а он еще по дороге в колхоз ломается. И хоть бы хны. Или вон энергетики. В любой момент отключат ток и не чешутся. Представьте инкубатор — цыплята выводятся, и ток отключают. Всё! Меняй яйца. А то на ферме электродойка, а тока нет. Доярок резервных тоже нет. Да и не соберешь их сразу. Сутки-другие, да в жаркую пору просидишь без тока, и, глядишь,— десятка два-три коров выбраковывать надо: вымя портится, молоко пропадает. Кто оплачивает такие убытки? А никто. Если совет РАПО не будет наделен властью взыскивать за такие убытки с виновных организаций, то в нем мало проку. Но даже при самой оптимальной деятельности РАПО не смогут заменить нам мощную строительную базу и тысячи работников. Дороги надо строить и села перестраивать — вот первоочередная задача.

Тяжелая задача, но решать ее надо. Немедленно. Пора уже понять нам, что за спиной русской деревни нечерноземной полосы, малолюдной и немощной,— миллионы гектаров плодородных земель в центре отечества нашего, плохо используемых прежде всего по причине немощности деревни. И далеко не иссякла сила этой землицы, порукой тому и высокая плотность скота, и прекрасные урожаи, не уступающие никаким черноземам, в таких крепких хозяйствах, как Вороновской совхоз Московской области. Да ведь и то сказать: за морем телушка сто́ит полушку, да рубль перевоз. Мы гонимся за далекой целиной, что само по себе неплохое дело, но неразумно забываем землю исконно посконную, лежащую под боком, в трех-четырех часах езды от столицы. И ходит земля эта впусте, оттого что обезлюдела, погрязла в бездорожье.

Эта деревня подошла к тому пределу, как сказочный витязь на распутье, где две дороги расходятся в разные стороны: одна ведет под уклон, в болото экономического застоя, другая — в гору, на вершину трудных успехов. Идти по первой дороге — дело нехитрое, по второй же тянуть в гору воз — не под силу.

Деревне этой нужны работники, и не какие-нибудь шалые да залетные выпивохи, а современные хлеборобы, то есть люди технически грамотные и физически крепкие. А таких работников может поставить только город. Ну

кто из города пойдет сейчас в то же Веряево или в Гридино жить в этих ветхих избах да на ночь глядя бегать за двадцать верст по крайней нужде давать телеграмму?

Я было заикнулся в разговоре с секретарем райкома, что телефона нет в Веряеве, линию связи-де починить надо. А он мне: некого послать на это дело. Начальник связи районного узла и тот ушел на пенсию. И его заменить некем. И монтеров нет. Хоть сам надевай кошки и лазай по столбам.

Выход из этого трудного положения известен: Московская область начала строить воистину новую деревню: отдельные дома-коттеджи с приусадебным участком, надворными постройками для скота и хозяйственных нужд. Пока таких деревень немного, но на ближайшие годы планируется перестройка примерно четырехсот центральных усадеб, а потом и за села глубинки собираются взяться. В такую деревню по асфальтированной дороге охотно переезжают специалисты даже из Москвы и живут в современных коттеджах со всеми удобствами. Могут возразить: Рязанская область не имеет ни таких средств, ни такой мощной строительной базы, как Московская область. Но и в Рязанской, и в других областях живет предприимчивый народ, который, можно сказать, из чистого воздуха чудеса творит, если он в этом крайне заинтересован. Ведь удвоилось же Пителино за последние годы не по приказу свыше, а в силу необходимости. Люди переехали из захолустных деревень, в том числе из того же Гридина да Веряева, потому что в Пителине жить удобнее, лучше; раньше ради приволья, пастбищ, выгонов и прочего люди расселялись по захолустью — так выросли в двадцатые годы хутора: Ефимовка, Швынка, Ирша; теперь же все бегут в Пителино, потому что здесь каждый день хлеб продают и можно в любое время уехать на автобусе в Сасово, а там — куда хочешь.

Переселились в Пителино самоходкой и сами построились. Да какие дома отгрохали! Иные, право же, не хуже подмосковных коттеджей.

Если Продовольственная программа — дело всенародное, то и до́лжно делать так, чтобы народ был заинтересован в ее выполнении; то есть следует искать такие условия и создавать их, чтобы каждый рядовой колхозник или совхозник, главный наш производитель, проявлял максимальное старание, не сверху подстегнутое

окриком, а рожденное трудовыми условиями, заинтересованностью этого работника в деле. Ведь не случайно же звенья на закрепленной земле да подрядные бригады на стройках не имеют в своих рядах ни пьяниц, ни прогульщиков.

Да, сейчас мы заговорили о звеньях. Двадцать с лишним лет отбрыкивались от них, а тех, кто пропагандировал закрепление земли и техники за звеньями, называли чуть ли не врагами колхозного строя. Но ведь и звенья так просто, одним приказом, не создашь. Создать-то можно, но какой прок от таких скоросваренных звеньев? Надо, чтобы были прежде всего работники, высококвалифицированные и заинтересованные в самостоятельной работе. Технику необходимую надо подготовить — не просто дать кое-что, чтобы отвязаться, а собрать полный комплект всех машин для многообразной и сложной работы, своевременно поставлять и горючее, и удобрения, а главное — надо наконец понять смысл самостоятельности в деле и исключить из практики командование сверху как систему руководства.

Давайте вспомним, как Ленин вводил свою продовольственную программу в 1921 году, то есть кооперацию и нэп. Прежде всего, Владимир Ильич нашел и сформулировал главный принцип действия. В статье о кооперации он писал: «Теперь мы должны сознать и претворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверх обычного, есть строй кооперативный. Но поддерживать его надо в настоящем смысле этого слова, т. е. под этой поддержкой недостаточно понимать поддержку любого кооперативного оборота,— под этой поддержкой надо понимать поддержку такого кооперативного оборота, в котором *действительно участвуют действительные массы населения*» (курсив В. И. Ленина).

По всей стране были созданы торговые кооперативные базы для снабжения населения необходимым сельхозинвентарем и не менее необходимыми строительными материалами. И пошло дело. В том же Пителине было создано множество промысловых артелей, которые буквально перестроили село; великолепные кирпичные и деревянные дома, построенные в двадцатые годы, до сих пор являются лучшими домами на селе. И даже в глухой Андреевке два лучших дома, кирпичных, пятистенных, построены тогда же.

Не по разнарядкам привозили кирпич из дальних мест, а били и обжигали его тут же, за пителинским оврагом. Там, как золотоискатели в Клондайке, пителинские мужики изрыли огромную территорию и перелопатили миллион тонн земли, добывая отличную строительную глину. Редкий мужик не работал в кирпичниках, потому что выгодно было и для него, и для артели.

И комковую хрущевку — великолепную известь — тут же обжигали; и белый строительный камень-известняк, из которого жгли известь и тесали блоки на фундаменты домов, добывали в потапьевских меловых горах, за пять километров от Пителина. И дороги мостили все тем же камнем. И горы те не проваливались, и камень в них лежит, но, поди ты, едут за ним теперь за двадцать верст на реку, луга разбивают, а туда привозят его из-под Касимова, еще полсотни верст. Старый же большак на Касимов, через Толстиково, разбит вдрызг. А ведь еще двадцать лет назад по нему автобусы ходили вплоть до села Высокие Поляны, и он являлся составной частью знаменитого Рязанского кольца. Выпало целое звено из этого кольца, но никто и не почешется. Вот и ревут машины, луга разбивают. А чего? Жалко, что ли? Они же государственные.

Если Продовольственная программа — дело всенародное, то и обсуждать ее, то есть выявлять способы лучшего претворения в жизнь, надо общенародно и по-деловому. А что делаем мы, писатели?

Собирается пленум Союза писателей по важнейшему вопросу: налаживание связей с жизнью литературными журналами и выполнение Продовольственной программы. И что же? Услышали мы с трибуны наших прославленных писателей: Ф. Абрамова из Ленинграда, В. Белова из Вологды, Л. Иванова из Омска, И. Чигринова из Белоруссии, З. Балаяна из Армении, Ю. Черниченко из Москвы — этих подлинных публицистов и глубоких знатоков сельской жизни? Не тут-то было. На трибуну выходили в основном дежурные ораторы, работники нашей писательской канцелярии. Один такой деятель под общий хохот зала предложил... закрепить за каждым литературным журналом по какой-нибудь отрасли сельского хозяйства: за одним — свиноводство, за другим — птицеводство, за третьим — семеноводство. Все закрепил, только вывозку навоза оставил пока не закре-

пленной. Второй теоретик подсчитал, что поставленную задачу — налаживание связей с жизнью — мы исполним в три года и потом доложим по пунктам. И этот оратор вызвал веселое оживление в зале. Поставить галочку о проведенном мероприятии — вот цель подобных совещаний. А там хоть трава не расти.

Подобное говорение очень напоминает передачи веряевской рации — «Говорит «Браслет-16». Главное — сказать, а что сказать, кому? Услыхали тебя или нет? Это, мол, неважно. Нет, разговор по односторонней связи здесь не годится; надо, чтобы разговор шел и начистоту, и на деле, а главное, чтоб были звуки и отзвуки. Ведь от того, как мы будем обсуждать Продовольственную программу, как будем добиваться исполнения неотложных задач и требований, зависит в конечном итоге и претворение в жизнь самой программы, а следственно — быть полному достатку или не бывать ему.

1982

ПЕТЬКА БАРИН

Как-то поздней осенью заехал я в Тиханово зайцев погонять по первой пороше. У Семена Семеновича Бородина, моего дальнего родственника, был отличный гонец костромской породы, а у Гладких, второго секретаря райкома, русская гончая — пегий кобель, рослый, как телок. Собаки давно спарились в работе и вдвоем куда хочешь выгоняли и зайца и лису.

Володя Гладких был моим приятелем, и я запросто зашел к нему в кабинет под вечер, чтобы поговорить насчет завтрашней охоты. В приемной застал я директора Мещерского совхоза, с которым был едва знаком. Мы поздоровались. Это был сухой погибистый человек средних лет с темным, сумрачным лицом и белыми залысинами, отчего выглядел каким-то болезненным.

— Что, очередь? — спросил я.

Он замешкался, потянул со стола к себе под мышку желтую кожаную папку и сказал уклончиво:

— У меня тут дело такое, что не к спеху... Так что давай проходи,— и как-то жалко улыбнулся.

— Я тоже вроде не тороплюсь.

— Нет, проходи ты,— настойчивее сказал директор.

Я прошел. В кабинете секретаря застал я какого-то тощего старого просителя в армейском зеленом пиджаке и в резиновых сапогах. Он держал в руках рыжую телячью шапку и упорно глядел на Гладких красными слезящимися глазками:

— Дак пензию дадите мне али как?

Гладких сидел за столом, скрестив руки на груди, с тем выражением безнадежного отчаяния, которое вызывает разве что затяжная зубная боль.

— Ну, милый мой! Я ж тебе десять раз говорил: не имею права. Не занимаюсь я начислением пенсий. На то райсобес имеется.

— Райсобес отказался.

— Я ж тебе пояснил почему... При тебе звонил туда. Говорят, что бумаг у тебя нет. Справок, которые подтверждают трудовой стаж. Понял?

— Дак бумаги Федька не дает.

— Не Федька, а Федор Иванович. А он говорит, что ты мало в колхозе работал.

— А колько позовут, столь и работал.

— Но откуда ж я знаю? Я-то не состоял в вашем колхозе.

— Ну да... Я вот состоял, а пензию не дают.

— Тьфу ты! Опять двадцать пять,— Володя громыхнул стулом и повернулся ко мне: — Вот, поговори с ним.

Старик тоже поглядел на меня, часто заморгал, зашмыгал носом и заплакал:

— Бог с ними... Дадут — дадут, а не дадут — и не надо,— он утер шапкой лицо и горестно вздохнул.

— Вы откуда будете? — спросил я его.

— Из Петуховки я... Самохвалов.

— Кто ж поступил с вами несправедливо? На что вы жалуетесь?

— Мне не то обидно, что не работал, а то, что бумаг, говорят, нету.

— Так ведь только бумага подтверждает, что вы работали,— сказал Гладких.

— Небось, когда работал, бумаги не требовали. Ступай на работу, и все... Я, бывало, и на бакчи еду, и в лес за дровами. Мне говорят — иди в кавхоз, лошадь дадим.

— А вы что, безлошадником были? — спросил я.

— Когда лошади не было, я на крахмальном заводе работал.

— А в колхозе по доверенности работали или как? — спросил Гладких.

— Нет, я на труддень. Сани починю, тырлы... Кавхозник я.

— Да у тебя даже книжки колхозной нет,— сказал Гладких.— Ты в райтопе работал, и в лесничестве, и на кирпичном.

— Куда пошлют, там и работал. Получал колько

дадут. Мне больно обидно, что все получают пензию, а я нет. А еще больно грубо сказал секретарь Федька: от меня, мол, все зависит. Хочу — дам бумагу, хочу — нет. А я без работы не могу. Болею я от этого. Охо-хо-хо! Мало работал? Да я, брат родной, сидеть не могу. На быке шкуры возил в войну. А мосты через Петравку развалились. Это как сказать? Телега без наклесток... Не телега — дроги. Шкуры с нее плывут... а я по реке их ловить. По брюхо в воде плавал. Бумаг, говорит, нету. Это не доказывает. У меня свидетели есть. Кто хочешь подпишет, что дядя Васька работал. Эхе-хе-хе! Как, вы мне поясните, сделать-то? Что я в кавхозе работал.

— Надо такую бумагу, чтоб свидетели подписали... хотя бы два человека. Понял? — пояснил Гладких.— Голошеин так сказал.

— Голошеин... Какой Голошеин? Федька, что ли? Дак он не хочет подписывать.

— Да что тебе дался Федька? — взорвался Гладких.— Пусть подпишут свидетели, которые знают, что ты работал.

— Ну да... Подпишут — подпишут, а не подпишут — и не надо. Мне больно то обидно, что бумаги, говорит, нет. Когда работать надо — бумаги не просят... а пензию — дай бумагу. Охо-хо-хо...— Он натянул глубоко, по самые брови, шапку, расправил уши и пошел.

— Наконец-то,— с облегчением сказал Гладких и, дождавшись, пока тот вышел, спросил: — Как думаешь, бестолочь, или придуривается? Если придуривается, то неплохо играет.

— Небось есть захочешь — заиграешь.

— Нет, ты чудной! Что у нас тут, богадельня, что ли? Кто ему велел бегать с места на место? Порастерял все... А теперь и штанов не соберет.

Володя был еще молодым человеком — чуть за тридцать перевалило,— судил обо всем строго. Я только пожал плечами и вздохнул, как давешний проситель...

— Тебя там директор ждет, из Мещерского совхоза,— перевел я разговор.

Он вдруг рассмеялся с каким-то предвкушением потехи и даже руки потер:

— Пусть посидит.

— Да неудобно. Может, позвать?

— Он не войдет... При тебе — ни за что не войдет!

— Что у вас за секрет?

Володя достал из ящика письменного стола сколотую булавкой машинописную рукопись и кинул передо мной на стол:

— Читай!

Я прочитал заглавие: «Письмо директору совхоза «Мещерский» Петру Емельяновичу Проскурякову»...

— Личное письмо? — спросил я, отодвигая рукопись.

— Да ну, личное! Вроде вызова послал директору, как раньше на дуэль вызывали. Самым честным поступком вашим, говорит, было бы сейчас же написать заявление об уходе. Не ваше это дело — быть директором,— Володя рассмеялся.— А, каково выдал?

— Кто этот судья?

— Да есть у нас один строптивый... Рабочий совхоза... тракторист.

— Простой рабочий?

— Ну, не совсем простой. Наш изобретатель Ступин. Слыхал?

— Это что в газетах пишет?

— Он. Съездил бы к нему. Интересный мужик...

— А что у него с директором?

— Как тебе сказать... Тут нашла коса на камень. Шерстит он директора и на собрании и в печати. А тот прижал Ступина на горючем. Приказал за пережог дизельного топлива удержать со ступинского звена. Ну и высчитали по тонне с каждого. Ступин ему письмо: за что? Что у вас, трактора неисправны? Топливо течет? Или на свои нужды гоняем трактора? По чьей вине пережог? Да по вашей. Летом солому возим на санях, а зимой на телегах. Возле фермы непроходимые болота — за уши трактора таскаем... Мы и так мало зарабатываем по вашей милости, а вы с нас за пережог еще берете? Ну и пошла писать губерния... Другой бы получил такое письмо — в сейф его запрятал. А этот в райком прислал: примите меры, говорит, подрывает мой руководящий авторитет.

— Кто же из них виноват?

— Виноват тот, кто поставил бывшего коновала директором совхоза,— с обычной своей резкостью заметил Володя.— Был плохой ветеринар в районной ветлечебнице. Куда его девать? А пошлем-ка зоотехником в совхоз. Там единица. Послали. Проходит года два, умирает директор. Кого на место директора? А там же есть зоотехник... в заместителях ходит. Вот и пускай

старается. Он с дипломом. Совхоз-то животноводческий. Ему и карты в руки... Да что там говорить...— Гладких поглядел на письмо, полистал страницы.— И ведь вот хитрец этот Ступин. Чует слабую струну и сечет прямо под самый корень. Вот слушай, что пишет: «Личное командование без совета и звания дела в наше время выглядит как уродливое шарлатанство и обыкновенная наглость...» — Гладких поглядел на меня с вызовом: — Каково? — Стал пояснять: — Этот машину конструировал по разбрасыванию удобрений. А директор запретил: «Нам не нужна такая машина!» А Ступин ему: «Кому это вам? Инженеру и агроному нужна. Мне, механизатору, тоже. Кому же вам? Очевидно, следует понимать — мне, директору. Мне так показалось, мне, директору, так захотелось; мне, директору, нет дела до того, что думают другие. Вот это и есть, говорит, волюнтаризм, то есть хулиганство». Ха-ха-ха! Так и написал... вот, смотри! — он ткнул пальцем в строчку и прочел: — «Хулиганство».

— Ну, и что ж ты скажешь директору?

— Что ему скажешь... Хочешь послушать? — он озорно повел глазами и занес палец над кнопкой на торце стола.— Сейчас позову.

Я вспомнил, как директор при моем появлении поспешно взял со стола желтую папку (видно, там был второй экземпляр этого письма), с какой готовностью уступил мне очередь в кабинет, как услужливо кланялся, улыбался виновато: «Проходи, мол, ради бога... только не со мной...»

И не мог пересилить себя.

— Неловко,— ответил я.— Лучше съезжу к Ступину.

— Ну, как знаешь.

Поездка моя в совхоз «Мещерский» случилась неожиданно скоро. На другой день с утра поднялась такая метель, что не видать было домов на том порядке улицы. За двое суток немыслимой крутоверти намело-насугробило столько снегу, что мой Семен Семенович забастовал: «Куда в такую непогодь на охоту? В снегу вымокнешь по самую ширинку». У Гладких открылся какой-то семинар, и ему не до охоты. Я было загрустил совсем.

— Ты, кажется, к Ступину хотел съездить? — спросил

меня Гладких.— У нас подвода туда идет. Секретарь застрял в лесничестве. Поезжай.

И я поехал. Совхоз «Мещерский» лежит в лесной полосе километров за двадцать от Тиханова. Туда и в обычную пору проехать было нелегко, а уж в распутье да в зимние заносы на автомобиле и не суйся.

Не доезжая до Еремеева, мы встретили странную подводу. Гусеничный трактор тянул грубо сколоченные сани, на которых стояли две железные бочки, валялись толстые оцинкованные тросы, лопаты, и в самом задке прижались две бабы, закутанные в клетчатые шали, да мужик в тулупе.

— Куда они снарядились? — спросил я своего возницу.

— В Пугасово, за горючкой.

— За пятьдесят верст на тракторе? — удивился я.

— А на чем же еще? Грузовики не ходят: то ростепель, то заносы. Лошадей нет.

— Но они же и за сутки не обернутся?

— По два дня ездят. С ночевой.

— Какой смысл гонять трактора в такую даль?

— Нужда... Горючка необходима для тракторов.

— Они что, снег пашут?

— За кормами ходят.

— Куда?

— На луга... километров за сорок. Как только путь установится, по пороше то есть.

— Батюшки мои!

Возницу нисколько не трогало мое удивление. Он дергал вожжами, похлопывал шубными рукавицами, покрикивал на лошадь и, как бы между делом, пояснял мне, зачем нужна горючка к тракторам в такую пору, пояснял обстоятельно, терпеливо, как это делают неразумным детям.

— Поскольку совхоз откормочный, без сена никак нельзя.

— А трактора в разнос пускать можно?

— На то они и есть трактора. Не на себе ж таскать сено-то.

— Трактора в пять раз дороже сена!

— Мало ли что. В ином деле себя не бережешь. А то трактора.— Мой возница был неуязвим, сидел бочком, вполоборота и смотрел куда-то в сторону.

Эта странная отрешенность, уклонение от существа

дела озадачила меня и в разговоре с директором Проскуряковым. Он также глядел куда-то в сторону, морщил лоб и сводил брови с тем выражением, которое передается вопросом: «Что вы, собственно, от меня хотите?»

— Как же это, в лесной глухомани, вдали от лугов создали откормочный совхоз? — спрашивал я директора.

— Очень просто. Был колхоз, перевели его в совхоз.

— Зачем же?

— Потому что слабый был колхоз... нерентабельный.

— А совхоз крепкий?

— И совхоз слабый.

— Чего же добились? Неужели вы считаете разумным гонять трактора в эдакую даль за сеном?

— А ближе нет его, сена-то.

Логическая фигура замыкалась, и выйти из этого заколдованного круга не было никакой возможности.

Мы сидели в бухгалтерии. На столе у бухгалтера лежал список. Трактористы и возчики, одетые в полушубки, ватные брюки, входили по очереди, расписывались, потом шумно дули на руки — с мороза пришли — и получали по три рубля на ночевку, для сугреву.

— На сколько же хватает горючки, привезенной из Пугасова? — спросил я директора.

— На один рейс.

— А потом?

— Все повторяем... Те идут за сеном, эти в Пугасово.

— Весело живете. А Ступин ездит за сеном?

— Сейчас — нет...— ответил директор, помолчав.

— Почему?

Директор провел ладонью по лбу и поморщился:

— Он свою долю привез летом.

Я вышел на улицу, отпустил возницу в лесничество, а сам пошел искать Ступина. Возле колодца с журавлем я спросил старуху:

— Скажите, где Ступин живет?

— Какой Ступин? У нас, в Еремееве, полсела Ступиных.

— Который машины изобретает... Петр Александрович.

— А-а, Петька Барин! Ступай в конец села. Там стоит на отшибе новый дом под зеленой крышей. Увидишь. А нет — спросишь, где, мол, Барин живет.

Я сразу угадал дом Петьки Барина,— он стоял на высоком берегу Петравки, в окружении старых лип и заломанной чахлой сирени, чуть вынесенный из общего порядка улицы. Дом большой, обшитый свежим тесом, на замшелом фундаменте из дикого камня. И крыша зеленая, и вертлюги на крыше.

Хозяин встретил меня на улице; он обносил забором эти раскоряченные липы, да выщербленную сирень, да кое-где уцелевшие изуродованные яблони — жалкие остатки от большого сада. Хозяин был видный мужчина, широкоплечий, рослый, с лицом народного артиста, полный собственного достоинства. На нем была черная стеганка, открывавшая его мощную, кирпичного цвета шею, высокие, за колено, валенки и серая армейская шапка. Мы поздоровались. Я назвал себя, сказал, что приехал из газеты, что наслышан о нем и хотел бы написать... Словом, обычное приставание газетчика, когда хочешь понравиться человеку и выудить из него нужный «материал». Ступин вел себя не то чтобы просто, а величаво: протянул свою необъятную железную ладонь, чуть прикрыл большие сонные глаза и представился:

— Петр Александрович.

— Давно здесь поселились?

Он вскинул веки, повел крючковатым носом, как пробудившийся орел, и застыл в ожидании. «Чего ради спрашиваете?» — было написано на его крупном суровом лице.

— Поместье старое, а дом новый,— сказал я, кивая на черные липы.

Он поджал губы и насупился, видимо, уловил намек на его прозвище — Барин.

— Здесь жили братья Потаповы, мельницу на Петравке держали. Вон там. Видите, железо торчит из камня? Была плотина. А под берегом... вон, где лозняк, питомник держали. Фруктовые деревья разводили... Торговали.

— А где же они?

— Сослали в тридцатом году.

Он пошел к изгороди, неторопливо сложил в деревянный ящик свой нехитрый инструмент и сказал коротко:

— Проходите в избу.

В доме нас встретила хозяйка, удивительно похожая

на самого Ступина, такая же степенная, рослая, с большим и строгим лицом.

— Проходите в залу,— сказала она.

В чистом и светлом доме было четыре комнаты, отгороженные дощатыми перегородками. В дверных проемах висели шторы из красного бархата, в комнаты вели широкие ковровые дорожки. Мы разделись и прошли в просторную залу. Петр Александрович сел за свой письменный двухтумбовый стол, а меня посадил на широкую тахту под узбекским ковром. За стенкой гомонили потревоженные моим приходом дети: мальчик и девочка, лет по десять — двенадцать. Они сидели за столом, готовили уроки.

— Внуки? — спросил я, кивая на ту комнату.

— Дети,— ответил Петр Александрович.

Я с удивлением посмотрел на его седую голову:

— Сколько же вам лет?

— Сорок четыре.

— А я думал...— я запнулся.

— Что я старше? — сказал Петр Александрович и улыбнулся.— Не стесняйтесь. Мне многие дают больше моих лет. Я еще в армии поседел... на сверхсрочной.

— И давно ушли из армии?

— На тридцатом году.

— И все здесь, в совхозе?

— Сперва в колхозе, а потом совхозом объявили нас.

— Чай, дорого стала вам постройка? — спросил я, оглядывая высокие потолки и чистого оструга сосновые стены.

— Нет... Я ведь все своими руками сделал.

— Как? И отопление?! — я указал на крашеные радиаторы, висевшие под окнами.

— И отопление. И разводку, и опрессовку — все сам делал.

— А котел?

— Котла нет. Змеевик сварил. Он в печке опрессован. Вон, хозяйка обед варит, и система работает.

На чертежной доске, лежавшей поверх книжного шкафа, был наколот большой лист ватмана с чертежным наброском.

— Это что за конструкция? — спросил я Ступина, указывая на ватман.

— Это пока в карандаше... Наброски,— нехотя ответил он.

— А что набрасываете? Простите, может быть, это секрет?

— Да ну. Какие у нас секреты! Хочу машину сделать для разливки аммиачной воды. Заводские машины очень неудобны. Пока на ней поработаешь, сам весь провоняешь. Громоздкие и для здоровья вредные.

— А что ваш разбрасыватель удобрения? Тот, против которого директор возражал?

— Вы, должно быть, письмо мое читали? На имя директора?

Мне стало так неловко под его пристальным взглядом, будто я запустил руку в чужой карман.

— Да как вам сказать... Специально не читал. Но мне суть пересказали.

— Там никаких секретов нет,— ободрил он меня.— А с разбрасывателем все в порядке.

Он достал из ящика письменного стола информационный листок с синим клише научно-исследовательского института технической информации:

— Вот, институт рекомендует его в серийное производство. И авторское свидетельство выдали.

Я развернул информационный листок; на развороте был фотоснимок трактора с навешенным на раме огромным ковшом разбрасывателя. А внизу два чертежа — тот же ковш в разрезе.

— А скажите, в чем разница вашей машины с известными заводскими образцами?

Ответил скромненько:

— Заводские разбрасыватели надо загружать либо экскаватором, либо вручную. А мой сам черпает удобрения. И производительность у моего вдвое выше.

— Где ж вы научились всем этим премудростям?

— Да какое у меня учение? Так, приблизительно. У отца в кузнице баловался.

Хозяйка принесла нам квашеную капусту, длинно и мелко порезанную, с изюмом, соленые помидоры и грибы.

— Вы что любите выпить? Покрепче или винца?

— Как вы желаете.

— Тогда вот этой помаленьку,— он достал граненый графин со светлой жидкостью, налил в стопки.

Мы выпили. Водка не водка и спиртом не назовешь. Крепкая, и пахнет приятно, и чуть сладимая.

— Что это? — спросил я.

— Кальвадос,— сказал он, довольно ухмыляясь.— По-нашему сказать — яблочная водка. В книжке прочел про это и вот — сообразил.

— А вдруг аппарат у вас заметят? Не боитесь?!

— Мой аппарат — вон кастрюля с тарелкой, да еще конфорка от самовара.

После выпивки он оживился, поглядывал веселее:

— А что? Поди, директор жаловался на меня? От рук, мол, отбился. Так, приблизительно?

— Говорит, что вы отказались сено возить.

— А я свою долю перевез.

— Когда?

— Летом, на тележках. Мы звеном работаем, вчетвером. За нами и луга закреплены. Скосили, согребли. Езжайте, мол, пары парить. Ребята, говорю своим, пристегивай телеги! Ну, пристегнули... Весь свой пай навили да на скотные дворы отвезли. Попутно. За два рейса. А зимой гонять трактора отказался. Дураков, говорю, нет.

— А почему же другие так не сделали?

— Другие? А кто эти другие? Работают скопом, кого куда пошлют. Они и тележки поломали да порастеряли. А кто заботится? Кому надо? Директора вы знаете. Он заботится только о собственной персоне, кабы его не обидели. Заведующий ремонтными мастерскими? Есть такой пост. А человек на посту как чурка на мосту. Полдня ногой не зацепит, не споткнется. Вот о ком написать надо. Хотите расскажу?

Мы выпили еще по стопочке.

— У нас эти журналисты бегают по людям, передовиков ищут. Подойдет к тебе — расскажи, как жнешь, как пашешь? Метод ему открой... Так, приблизительно, а он передаст. Кому, зачем? Да разве по газете мастерству научишься? Ты вон гляди — одни пашут, а другие руками машут. Вот о чем писать надо... Так вот, есть у нас Сенька Горюнов, заведующий мастерскими. Когда-то мы вместе с ним начинали в эмтээсе. Еще на комбайнах С-шесть работали. Заснет, бывало, возле комбайна, подгоняй трактор, цепляй комбайн, гони куда хочешь — не проснется. Каждый день либо пьяный, либо с похмелья. А объяви любую кампанию — он тут как тут, передом лезет, хоть на четвереньках, но впереди. На трибуну не пустят — с места кричит. Мы, говорит, за все отвечаем, потому как на переднем краю стоим. Всем он в зубах

навяз, как горькая редька. А тут из совхоза «Память Ильича» просят: дайте заведующего в мастерские. Поактивнее кого. Ну, кто даст хорошего работника? Возьми, боже, что нам негоже. Вот и дали Сеньку на память... Смеялись еще. А он и там не пропал. Смотрю, через десять лет к нам в совхоз переводят. Заведующим. И пошел шуровать. Тут кампания развернулась — металлолом сдавали. Так он все дворы очистил. Ему благодарность вынесли в приказе. И только потом узнали, что он под шумок с ломом отправил исправную коробку передач, дизельный двигатель, бетономешалку и риджерный снегопах... единственный в совхозе. И других же обвинил: не на месте лежали, говорит. Бесхозяйственность! Поглядишь на него — рожа не мыта, не чесана, глаза блестят, как надраенные медные пуговицы, и такая собачья готовность ко всему, что скажи ему: полай,— забрешет! И все ему с рук сходит. Напьется где — приползет ночью до гаража, заведет любую автомашину и домой угонит. Он в Сосновке живет. Да и бросит ее где-нибудь в лесу. И вот что удивительно: так — на ногах не стоит, языком не ворочает, а за баранку сядет — куда хочешь уедет. Я, говорит, трезвею за рулем. Знаний никаких. Но апломба!.. Например, может глядеть вам в глаза и нагло доказывать, что балансиры кареток ДТ-семьдесят пять чугунные, а не стальные. А то начнет всасывающие окна искать на выхлопном коллекторе... Теперь вы меня спросите: а почему же, за что его держат? А я вам отвечу — запчасти умеет доставать. О! Тут десятерых отставь, а его приставь. Он знает, где взять и кому дать. Тому стакан, этому бутылку, а иному и бабину сунет. Потом спишет... в металлолом. Иначе откуда деньги взять? Ведь он из каждой поездки возвращается пьяным. Да что там говорить! И ведь понимают, что он за работник. Не все, конечно. Директор, к примеру, собой занят. А главный инженер у нас толковый. Иван Тихонович, говорю, сколько ж мы Сеньку Горюнова будем терпеть? А что, говорит, делать? Знаю, что хлюст, да запчасти доставать умеет. Кого поставишь вместо него? Некого. А совхоз без запчастей что телега без колес, с места не стронешься.

Ступин говорил без гнева, не повышая голоса и не подсмеиваясь, с той покойной ровностью, похожей на деловую обстоятельность, с которой он только что пояснял мне выгоды своей машины. И руки дер-

жал покойно, на коленях — широкие, обветренные запястья, узловатые пальцы в сбоях и темных отметинах металла.

— И вот что замечательно: на работе он шалопай, а домой к нему заглянешь — полный порядок. И постройка хорошая, и скотина накормлена. Значит, может работать, да не хочет. И он ведь не один такой залетный. Вон, бригадир животноводов, Родька Павлов. На скотном дворе — горлохват: я кормлю! я даю! я плачу! Хотя за всю свою руководящую планиду охапки сена не принес коровам. Скотников материт, к дояркам пристает, за мягкие места хватает. А дома вокруг жены вьюном ходит: Маша, Маша, ты посиди, я сбегаю, напою коровку... Дровец наколю... Или вон возьми управляющего вторым отделением, Федора Шмыгаткина. Технику от агротехники, как говорится, отличить не может. Помню, еще в эмтээсе тянули его, тянули... комсорг! А он выше заправщика тракторов, да и то на конной повозке, так и не поднялся. И на шофера посылали учиться, и на комбайнера — не вытянул. Над ним смеялись: «Федька, шкворень от какого трактора?» — «От колесного». — «Дурак, от четырехногого». Так Шкворнем и прозвали его. Эмтээс ликвидировали, а его куда? Ведь штатная единица! Послали в колхоз бригадиром. Пошел. Отчего не идти? Оклад выше прежнего, и горючее возить не надо. Ходи по избам, агитируй насчет работы. Это он умеет. И теперь на одной агитации держится. Зато дома у него и свиньи, и овцы, и утки, и канки... И одной лихоманки только нет. И дрова ему пилят, и баню топят, и зерно везут. Оплата? По нарядам из совхозной кассы.

— Но, простите... Есть же, наверное, среди этих бригадиров и управляющих и толковые работники?

— Отчего же нет? Есть, конечно. Тот же главный инженер... Энтот шкворень с шатуном не перепутает. И агроном толковый. Но тут есть один вопрос-закорючка... Насчет техники да агротехники мы сообразили, что без науки нельзя к ним подходить. А насчет людей? А?! Тут у нас не наука впереди, а штатное расписание. Я извиняюсь, конечно, это не везде, а только у нас в совхозе. Вот почему мы и гоняем трактора по сугробам.

У дверной занавески неслышно выросла хозяйка:

— Петр Александрович, яишенка поспела.

— Очень приятно, — ласково отозвался хозяин. —

Ставь ее на стол. Извините, закуска у нас простая.— Это ко мне.— Вы чай любите или кофий?

— Как вам лучше.

— Леля, свари кофий. Мы тут балуемся кофейком.

За яичницей да за «кофием» Петр Александрович перевел разговор по научной части, и я с удивлением заметил, как он все более оживлялся, глаза его заблестели, руки беспокойно заметались по столу, и все туманнее, велеречивее становилась его речь, хотя мы ни капли больше не выпили спиртного и были совершенно трезвыми.

— Что вы думаете насчет интеллектуальной перегрузки, о которой писали «Известия» в статье Владилена Золотушкина?

— Я, знаете, не помню такой статьи.

— Ну как же? Это писатель известный. Говорит, что много появилось различных предположений, гипотез, теорий и так далее. А системы не хватает, то есть противоречия и непоследовательность налицо. Даже могущественный диалектический материализм в затруднении. Как быть?

Я еще не уловил, куда он клонит, и спросил:

— Что же вы предлагаете?

— Я предлагаю — для правильного формирования стабильно-стойкого научного мировоззрения новых поколений рабочего класса и всего народа приблизить все достижения естественных наук к нашему основному закону.

— Простите, какому основному закону?

— Ну как же, основному закону общественного развития. То есть не загромождать все эти гипотезы бесконечными математическими вычислениями и формулами, эдак немножечко упростить, сделать понятными для широкой народной массы и выпустить в виде популярной увлекательной серии научных брошюр, наподобие Перельмана. Чтобы весь народ мог участвовать в объяснении и открытии новых гипотез. Кто знает, может быть, наиболее пытливый ум окажется не там, где его ждут, а в другом месте. Может быть, тот, кто не отвлечен рождением пар частиц и античастиц, тот, кто вооружен только основами познания, то есть закономерностями общественного развития — точно нам известными истинами, отталкиваясь только от них,— окажется ближе к истине необъяснимых гипотез.

Вон ты куда метишь, братец мой, подумал я. Ну что ж, знакомая замашка, знакомая. Видимо, уж так устроен русский человек, что мало ему кузнечного звона на все Еремеево, надо еще и науку по-нашенски причесать, по-еремеевски. Один писатель восторгался, глядя на русского мужика, что Петр Первый был натурой типично русской, потому что не прочь был себя поломать. Но Петр Первый и лики все стриг под одну гребенку. Сбрей бороду! Я ж не ношу бороды. Одевайся по-моему, молись по-моему, думай как я. Буде ж у кого различие приключится, бить оного кнутом до бесчувствия. Увы, и эта черта единообрядности и единомыслия не чужда русскому мужику.

— А с чем же вы не согласны? Вернее, с кем?

— Да как вам сказать... Великий Эйнштейн был прав, конечно, что все в мире относительно. Хотя надо признаться,— есть и абсолютное. Допустим, что свет обогнать нельзя, что скорость света не зависит от его источников... Это все возможно. Но объяснять тяготение, то есть гравитацию, искривлением пространства — это уж извините.

— А что, не допускаете?

— Никогда! Ну, сами посудите, искривиться может что-то материальное. А пространство есть пустота, ничтожность то есть. Как же пустота может искривиться? Чепуха. Гравитация, видимо, имеет волновую природу. То есть все частицы вселенной имеют стабильный и мощный ритм колебаний. Всякое удаление частиц друг от друга вызывает нарушение ритма, чему частицы сопротивляются. Например, как сопротивляется гироскоп попытке вывести его из плоскости вращения. Вот это объяснение понятно всем, а главное, имеет основу, почерпнутую из диалектического материализма. И таким манером можно объяснить многие загадки вселенной...

Я просидел до позднего вечера у Ступина. Хозяин мне и погреб показывал, и гараж с мотоциклом «Урал», и сад молодой фруктовый, рассаженный им на склоне горы. А вот с хозяйкой так и не познакомил. Она появлялась всегда в нужную минуту, ставила что-нибудь на стол и исчезала совершенно, словно растворялась. И детей я больше не видел и не слышал.

— Петр Александрович, какие у вас дети тихие,— говорю.— Ни стукнут, ни грохнут...

— Обувь у нас снимают на веранде,— ответствовал он.— Домой входят только в тапочках. Подошвы валяные, оттого и стуку нет.

— Ну, дети есть дети. Играют, возятся...

— А для игрищ улица существует,— сурово заметил Петр Александрович.

Когда я с ним прощался, он достал из письменного стола машинописную рукопись в четверть авторского листа и подал мне, слегка смущаясь:

— Может, у вас в газете напечатают... Тут мои главные мысли насчет учености... То есть чтобы наука не перегружала кругозора и не отводила в сторону.

Про свои машины он и не заикнулся, и про совхозные порядки тоже — не это главное.

1974

ШОРНИК

Мы сидели в холодке на низеньком кособоком крылечке. Перед нами в заплоте разгуливали кони; одни подбирали раструшенную скошенную траву, фыркали на нее, сдували пыль и лениво перебирали травинки губами; другие, равнодушные ко всему на свете, дремали, тяжело опустив голову, отвесив нижнюю губу. Жара...

Из шорной в открытую дверь обдавало нас сырым запахом земляного пола и резким сладковатым духом прелых потников.

Дед Евсей, широконосый, лысый, но еще крепкий грудастый старик с выпуклыми, как у верблюда, подслеповато прищуренными глазами, чинил седло. Сидел он над нами на верхней ступеньке, как на престоле, широко расставив колени, ковырял шилом кожу, вытягивал обеими руками дратву, сипел от натуги, потом, пристукнув черенком шила по шву, смотрел на нас значительно и долго, как бы пытаясь что-то вспомнить и наказать; но, мотнув по-лошадиному головой, снова колол шилом и опять с хрипом и свистом до красноты в отечных дряблых щеках вытягивал дратву.

Васька, черноглазый остроплечий подросток, с благоговением застыл у его ног,— дед чинил седло для бегунца, а Васька — главный колхозный наездник. Ему и читать недосуг, однако книгу он держал в руках.

Дед Евсей несколько раз подозрительно покосился на книгу и спросил:

— Это что ж у тебя за книжка такая?

Васька смутился, повертел книгу в руках:

— Дак ведь экзамены на носу. Химия.

— А, удобрения, значит,— сделал вывод дед Евсей.— Химия. А раньше на куриный помет задание доводили.

Он пристукнул черенком шила и строго поглядел на меня:

— Я через этот куриный помет в аппортунизьм попал.

— Не аппортунизьм, а оппортунизм,— поправил Васька.

— Все может быть,— согласился шорник.— Я в грамоте не больно силен. Правда, текущую политику я знаю.

— А что такое оппортунизм? — спросил Васька.

— Аппортунизьм — это течение. Рождается она не из чего, можно сказать. Вроде вон речки нашей, Таловки; так она — воробью по колена, а дожди пройдут — не суйся, закрутит и унесет черт-те куда! Ажно в море Каспийское... Вот так точен в точен и аппортунизьм. Все дело в том, в какое время угодишь,— шорник постучал черенком, покряхтел и назидательно закончил: — Ежели не в ту струю попадешь, вот и станешь аппортунистом.

Дед Евсей обращался к Ваське, однако я догадывался, что старался он больше для меня, человека заезжего, да еще из газеты. Вот, мол, мы какие... Не лыком шиты.

Я уже знал, что дед Евсей прошел полный цикл сельского руководящего лица,— из шорников он поднялся в бригадиры, потом в председатели сельсовета и наконец председателем колхоза был; затем пошел вниз — бригадир, сельский избач и опять шорник. Вернулся на круги своя.

Впрочем, в одном понижении его был повинен и я. Это случилось в пятьдесят четвертом году. Я приехал по заданию редакции обследовать культуру села. Время было такое, что на село впервые за много лет потянулся городской люд,— одни приглядывались к сельской жизни, к вольготности, справлялись насчет отмены налогов, какие ссуды дают на постройку, расспрашивали: «А правда ли, что теперь скота держи сколько хочешь?» Другие приезжали из города агитировать сельских жителей, чтобы работали лучше, потому что сентябрьский Пленум отменил всяческие препоны, разрешил главные проблемы, полностью развязал колхозникам руки — теперь дело только, мол, за вами, колхозниками.

Помню, в один день со мною приехал в Паньшино агитатор из какого-то столичного института, не то из мировой истории, не то из мировой литературы. В маленьком и тесном доме приезжих этот столичный гость, низенький, плотный, с тугими розовыми щеками, в

начищенных ботиночках, в сером мохнатом пальто с поднятым воротником (время было осеннее, морозное), стоял у порога, растерянно и жалобно спрашивал:

— Простите, а где же тут уборная?

— Уборная на том конце села,— отвечал Евсей Петрович.

Он сидел за столом на месте дежурной и читал газету. Уборщица, она же и дежурная дома приезжих, жена его Прасковья Павловна, ушла домой доить корову. Евсей Петрович остался за нее.

— Как это на том конце? — изумился агитатор.

— Ну, возле мэтээс... Бывшего райкома то есть,— пояснил Евсей Петрович.— Там и уборная есть. А здесь она повалилась в прошлом годе. Доски мужики растащили на дрова.

— Не может быть?! — лектор все еще недвижно стоял у порога.

— Район у нас закрыли. Теперь кто же ее поставит? — терпеливо втолковывал ему Евсей Петрович.

— А далеко это — на том конце?

— Да версты две будет...

Евсей Петрович снова взялся за газету.

Просидел я возле него в доме приезжих почти полдня. На все мои просьбы открыть библиотеку он отвечал: «Не подошло тому время».

— А чего тебе понадобилась эта библиотека? — вдруг подозрительно спрашивал он.

— Как для чего? Книги читать. Она должна быть открытой.

— Это для кого как... У тебя документы есть?

— Есть.

— Ну, тогда, сиди, жди.

— Почему?

— Порядок такой.

Попал я в его библиотеку, или по-паньшински в читалку, только поздним вечером, когда Прасковья Павловна подоила корову и убралась в доме.

Меня поразил тогда затхлый дух плесени, запах пыли и мышей... Книги валялись в полном беспорядке на грубо сколоченных полках, в окованных жестью старых сундуках с оторванными крышками и прямо на полу — в углу. Посреди читальни стоял непокрытый дощатый стол и четыре табуретки возле него. На стенках, густо усиженных мухами, висели плакаты и портреты, дощатый

потолок был закопчен до черноты круглой чугунной времянкой.

— Хоть бы стены побелили,— сказал я.

— А зачем? Все равно мухи засидят.

Я показал ему свой газетный мандат. Он и ухом не повел:

— Так бы сразу и сказал, что из газеты. Я б за Паранькой сбегал в читалку пораньше открыл. Она любит возиться дома... Баба, она баба и есть.

— Не для меня читалку надо открывать, а для народа.

— Известно — для народа,— охотно согласился он.— А то для кого же?

— Каталог у вас составлен?

— Чего? — он впервые насторожился.

— Ну, перепись книжек.

— Ах, перепись! А к чему она? Я их и так все книжки наперечет знаю. Сам читал.

— А как же вы их учитываете?

— По ящикам... Столько-то ящиков, столько-то полок... Да вон, остаток в углу. Чего же их считать?

Помню, на лекции в клубе Евсей Петрович сидел в первом ряду, и когда лектор, кончив читать, спросил: «Вопросы имеются?» — Евсей Петрович тотчас встал и задал вопрос:

— А вот скажите, как в Индонезии дела?

— В каком смысле? — переспросил лектор.

— Порядок там наведен? Помощь наша не нужна то есть?..

После моего выступления в газете Евсея Петровича сняли. И как-то сразу все стали называть его просто дедом Евсеем. Но странно, он не обиделся на меня или делал вид, что не обиделся. При каждом моем наезде в Паньшино он непременно разыскивал меня, заговаривал со мной все по книжной части и, прощаясь, всегда напоминал одно и то же: «А тогда-то, после твоего наезда, меня сняли. Да...»

Вот и на этот раз дед Евсей увел меня из правления на конный двор, угощал холодным квасом, ну и под конец повел умную беседу. Я догадался, что это была своеобразная месть — вот, мол, какого человека ты не у дел оставил. Не оценил...

О своей бывшей руководящей работе рассказывает дед Евсей как о веселой и не совсем понятной игре, в которую он бы и теперь не прочь поиграть.

— Раз попал я под течение... Меня [redacted] вызвали,— говорил дед Евсей, постукивая черенком шила о кожу.— Спрашивают: тебе задание довели на куриный помет? Довели, отвечаю. А ты что делаешь? Собираем, говорю. Кто же это собирает? Правление, отвечаю, по дворам ходим. Дурак! Твое дело спустить это задание дальше, понял? А ты по дворам, как поп, шатаешься. Мне бы надо согласиться... Но я не собразил — опыта в тую пору у меня по руководящей линии, можно сказать, не было никакого. Я [redacted] ляпнул: руководитель, говорю, сам должен пример показать. Эк, меня и почали молотить... Ты что же, самих руководителей на куриный помет хочешь бросить? Да?! Навоз вывозить, поле пахать! Да?! Может, ты [redacted] коммунизьм хочешь построить одними руководителями? Это и есть отрыв от массы, понял? То есть аппортунизьм. То-то и оно,— дед постучал шилом, помолчал...— А течение такое в то время было. Может быть, и я бы окончательно угодил тогда [redacted] него. Да, на счастье, народ [redacted] районе сидел с головой — разобрались, что к чему. И оставили меня в председателях,— он покосился в мою сторону, мотнул головой и добавил укоризненно: — Так-то.

Ваське этот рассказ показался, должно быть, скучным, он раскрыл таблицу Менделеева и разложил ее на коленях.

— Это по-какому же написано, по-немецки, что ли? — спросил дед Евсей.

— Это таблица Менделеева,— ответил Васька.

— Менделеева? — дед Евсей поджал губы и задумался.— Нет, что-то не слыхал. По текущей политике я разбираюсь, [redacted] вот в истории нет.

Он сделал несколько стежков, постучал, покряхтел:

— Она к чему ж дана, эта таблица, [redacted] умножению или [redacted] делению?

— Дед, это ж элементы... Классификация, понял?

— А чего ж не понять! Элементы — известное дело. Они бывают разные. Есть которые бабы получают: мужик сбежит — его цоп! и за элементы привлекают. А бывали и такие элементы, которых раскулачивали... Пережиток капитализьма то есть,— он поглядел на меня и спросил: — А у этого Менделеева про иностранные элементы написано, что ли?

— Дед, это ж химия! — ответил раздраженно Васька,

ерзая по приступке.— А пережитки капитализма к истории относятся. Неужели это не понятно?

— А ты не елозий, а то занозишь сиделку-то,— обиделся дед Евсей.— Ишь какой образованный! Для тебя же, дурачка, стараюсь, седло чиню. А он и разговаривать не хочет.

— Да ты что, дедушка? — испугался Васька и снова прильнул к его коленям.— Я ж просто так... Химия мне надоела. А ты что подумал?

— Глупый ты, Васька. Ежели бы я, как ты вот, сызмальства грамоту постигал, я б теперь ого-го где был. Погладить не достал бы меня.

— А где ты учился? — спросил Васька.

— Я в двадцать втором годе ликбез окончил. Ликвидировал безграмотность то есть. Потому как нельзя иначе — с одной стороны кулаки нас донимали, а с другой — темнота. Ну, мы, стало быть, уничтожили и тех и других. А потом колхоз построили.

— Постой, дед Евсей! — Васька хлопнул его по коленке.— А ликбез-то вы где проходили? В школе?

— А то где же! Утром ребятишки учатся, а вечером мы, дураки старые. Бывало, горит лампа-молонья́, а мы, как сычи, глаза таращим на доску. Пока домой дойдешь, буквы позабудешь. А дома что в тую пору? Лучина! Потому как военный коммунизьм. Я и теперь, как выпию, все про лучину пою: «Да-агарай, гари, моя лу-учина...» А некоторые про это позабыли, между прочим.— Дед Евсей снова прищуркой, по-верблюжьи, поглядел на меня.— Им что? Горя не видали, пришли на готовое, потому и критикуют. А ведь не все точен в точен приходит. Равнять нельзя и говорить нельзя. Вон, в магазине, один стоит в очереди, а другому через голову дадут. Ну и что? Скрычи возьми... Скрычишь — дураком и останешься. Потому как такой порядок установлен. Это понимать надо.

— Какие же вы предметы изучали, дед? — спросил Васька.

— А разные... То тебе буквы показывали, то на доске писать... Но больше все — чтение. Потом в тетрадь переписывали. Ба-альшие буквы писали, эдакие вот, с папироску каждая. Ну а потом — политграмоту. Когда политграмоту начали, сразу понятно — что к чему. Жизнь наша была забитая. После чего началась революция. Интерес появился. А тут колхозы образовали. Иначе и

нельзя. Оно, может, [redacted] прожили бы при колхозах... Отчего ж не прожить? Но — тут война. Немец попер... А до немца были еще Врангель, Деникин и двенадцать держав,— всё агенты мировой буржуазии. Но про гражданскую войну я вам говорить не стану, потому как вы оба не помните. А война кончилась — настала победа, и пошли мы восстанавливать. То есть на коровах пахать. Тут у нас много председателей сменилось... А теперь наша жизнь идет вперед...

— Дед, [redacted] география у вас была? — спросил Васька.

— Географии вот не было. А почему, я не могу сказать. Может, боялись, что мы из колхоза разбегимся. Да, я по совести сказать, и не люблю ее, географию. Где какая страна лежит — и так известно. Вот книжки — другое дело. Книжки я люблю. Какую ни прочтешь — в одной про одно, в другой про другое сказано. И главное, не знаешь, что же дальше будет. Только прочтешь книгу и думаешь — что дальше? Как проклятущая Паранька откуда ни возьмись орет: «Евсей, корову напои! Евсей, дров наколи!..» Тьфу! Обидно.

Возле конного двора остановился «газик». Председатель открыл дверцу и махнул мне рукой. Я встал с крыльца. Дед Евсей отложил седло и прошел со мной до околицы. Здесь он чинно поклонился, подал мне руку и, глядя на меня своими выпуклыми, скорбно прищуренными глазами, сказал:

— А тогда-то, после твоего наезда, меня сняли. Да...

1965

СТЕПОК И СТЕПАНИДА

— Борь, а Борь! Купи мне флакончик одеколона опохмелиться. Я тебе дровами заплачу,— клянчил Звонарь.

— Иди к черту!

— Ну что тебе стоит заплатить каких-нибудь несчастных шестьдесят копеек? А дрова у меня сухие, мелкие — швырок! Березовые...

— На что ему твой швырок? У него в Москве газом обходятся. И жарят, и парят,— сказал Федот.

— На газу-то?

— На газу.

— Не бреши. Отоплениё, может, и произведешь газом. Потому как по трубам. А жарить надо на вольном огне. Выпусти его, газ, на волю да подожги... Что ж получится? Во-первых, воспарение. Улетучится, значит. И вонь пойдет. Газ — он и есть газ. Ничтожность то есть.

— И дрова в ничтожность сгорают.

— Ну не скажи! А уголь откуда берется? Если б дрова сгорали в ничтожность, чем бы тогда самовары кипятили?

— Электричеством.

— Ты электричество не трогай. Для него есть приборы. А то самовар! Может быть, и золу из электричества делают? А? Так по-твоему? Зола из электричества? Нет, ты ответь, ответь!

— Зола есть продукт распада органического вещества. Дерева,— ответил я.

— А я что ему говорю? Дак уперся в свое электричество. Как будто мы не знаем, из чего делается электричество. Когда из воды, а когда из нефти. Правильно я говорю, Борь?

— Истинно.

— А хочешь, я тебе сюда принесу дрова? Прямо к пристани... И на пароходик внесу... И расколю, Борь?

— Отстань.

— И за что меня так трясет? Будто кур чужих воровал.

— Ты бы еще нагишом лег.

— Трясет меня изнутри, чудак. А снаружи я ничего... Вот пальцы не посинели. Видишь, владают.

Мы лежали на высоком речном берегу, возле обрыва. Под нами притулилась к берегу игрушечная пристань, похожая на дощатый ящик с длинной самоварной трубой.

Нас трое: шкипер Федот, человек неопределенного возраста — старчески сух, но еще черноволос, в облезлой стеганой фуфайке и парусиновых туфлях, я и Степок Звонарь, мужик лет пятидесяти, с красным помятым лицом и босой. Несмотря на сильный свежий ветер, на нем всего лишь драная белая рубаха да пестренькие штаны, такие ветхие, что, того и гляди, грех наружу вывалится.

Чуть поодаль от нас сидела, укутавшись в клетчатую шаль, пожилая женщина — только глаза одни видны, блекло-голубенькие, как цветочки льна. В ногах у нее стояли две корзины: одна с ежевикой, другая с калиной.

Все ждали катера. Я ехал в город, женщина — до своего села, километров за десять, а Степок пришел жену встречать.

Небо хмурилось на дождь. Река взъерошилась сивыми мелкими гребешками, словно озябла; и прибрежные тальники посерели от перевернутых исподней стороной, рвущихся на ветру листьев.

— И с чего меня так трясет? Иль съел холодного?

— Пить поменьше надо,— вступает в разговор женщина.— Да хоть бы фуфайку надел. А то в одной рубахе. Прямо атлёт...

— Да кто ж это в сентябре куфайку носит?

— К примеру, я,— ответил Федот.

— Ты на службе, по необходимости, значит. А я куда хочу, туда пойду.

Степок встал, поддернул штаны.

— Пойду хоть чайку хлебну. У тебя там осталось немножко?

— Осталось. На́ вот ключ от каюты.— Федот подал ему ключ.

Тот запрыгал по глинистым ковлагам вниз, к пристани. Рубаха на спине его захлопала и вздулась пузырем.

— Господи, посмотришь на него — и то инда мурашки по коже ползут. Вот злыдарь-то! — сказала женщина, кутаясь плотнее в шаль.

— А что он делает?

Я прожил здесь полмесяца и каждый день видел его пьяным.

— Дурака валяет,— ответил Федот.

— Сколько же можно?

— Всю жизнь. Такая уж порода. У него отец сроду не работал. Наймется, бывало, стадо пасти — ребятишек с коровами отошлет, а сам на колокольню звонить. Ни один праздник без его звону не обходился. И руками и ногами дергает колокольные веревки. Только, бывало, голова трясется. Их так и прозвали — Звонарями. Все они вокруг церкви побирались.

— Но церковь уже лет тридцать как закрыли.

— Церковь закрыли — колхоз открылся. Степок сразу в бригадиры. Как же! Беднота... Почет и уважение. Он двадцать с лишним лет все командовал. Надо тебе за дровами съездить — бери поллитру и ступай к Степку. Или огород вспахать... Он вина-то выпил — озеро. Какая уж ему теперь работа?

— Что ж его, за пьянку сняли?

— Да ну! Колхоз объединили. Из нашего целого колхоза одну бригаду сделали. Трех бригадиров за штат.

— И все не работают?

— Зачем? Одного учетчиком на ферме устроили. Второй помер. Почка у него заблудилась. Резали его врачи, резали... Все почку искали.

— Не нашли? — спросила женщина.

— Так и не нашли,— ответил Федот.

— Это все невренность,— сказала женщина.

— А то что ж,— согласился Федот.— Только на нервах и живем.

— У нас тоже у одного жена была дальняя, из лесной стороны. Реки сроду не видела. Нонешней весной во время ледохода под ней берег просел. Она у воды была. Вытащили ее из воды честь честью. Но она померла через неделю. На нее повлияло.

— Через нервы и жизни лишаются,— вздохнул Федот

и, помолчав, добавил: — Внизу моет вода, а берег кусками хлыщет.

— А может, это от холоду? — спросила женщина.

— И холод действует на берега, и ветер,— философски заметил Федот.— Природа, одним словом. Тут что от чего зависит — не враз определишь. Вот скажи, отчего такой холод в бабье лето приключается? Отродясь такого не бывало, чтоб в начале сентября иней на траву ложился.

— А в Москве теплее, чем здесь. Передавали, будто там ночью не было заморозка,— сказал я.— А ведь Москва севернее!

— Ой нет! — оживилась женщина.— Мне вчера дочь написала из Москвы — по утрам у них тоже сурьезность.

— Борь, а Борь! — раздалось с пристани.— Купи мне одеколону в долг! — я же совсем позабыл — на катере приедет Ваня Ромозанов. Он за пенсией поехал. Я возьму у него и тебе отдам.

— Ты чего пристал к человеку? Неужто он по твоей прихоти побежит в деревню за одеколоном? — сказал Федот.

— Дак я сам сбегаю. Ты мне дай шестьдесят семь копеек, Борь?! А Ваня приедет — я отдам тебе.

Он, как козел, в несколько прыжков поднялся на берег и, тяжело дыша, протянул руку.

Я дал ему рублевую бумажку. Он в момент сунул ее в карман.

— Я сейчас, мигом обернусь.

— А Степаниду встречать? — остановил его Федот.— Сейчас катер подойдет.

Степок в нерешительности остановился: бежать в деревню — жену опоздаешь встретить. Опасно! Остаться здесь — рубль надо возвращать... Жаль!

— А сколько времени? — спросил он.

— Без десяти пять.

— Видишь, а в пять катер приходит,— сказал Федот.

— Ну, тогда я чайку еще выпью... Погреюсь.— Он снова спрыгнул с берега.— А Ваня Ромозанов приедет — я верну тебе долг. Ты, Борь, не беспокойся.

— Вот совесть! — покачал головой Федот вслед Степку.

— А забоялся жену-то не встретить. Видать, строгая,— сказала женщина.

— Она бьет его. Намедни он у нее выручку стащил да

пропил. Они с матерью ему всю голову разбили. Недели две, как турок, в чалме ходил.

— А он что, глупый, не пожалился? За такое и под статью угодить можно.

— Они сами на него же все и свалили. Сами дерут, сами же и орут... Я прибежал той ночей — он валяется на полу, [redacted] Степанида в сенях кричит: «Помогите! Задавил совсем, разбойник!» Я свет включил — у него из головы-то кровь розовыми пузырями. Прямо пеной пенится.

— А може, мозговое окружение? Сукровь то есть.

— «Чем они тебя?» — спрашиваю. А он: «Рашпилем»,— говорит. И рашпиль тут же у порога валяется. Здоровенный, как валек. А старуха на печи лежит и тоже орет: «Развода требую, развода!»

— Господи! Страсти-то, страсти какие...— торопливо приговаривает женщина.— А милицию вызывали?

— Приходил Кулек... Это прозвище нашего милиционера,— обернулся ко мне Федот.— Ну что он? «Протокол на вас каждый раз составлять — бумаги не хватит»,— говорит. Но штрафу взял пять рублей и квиток выдал. Потому как ночной скандал. Нарушение правил тишины. Теперь они днем дерутся.

— Что ж он не уйдет от них? Эдак уж тоже не житье.

— Куда уйти? Кому он нужен? Милиция и та от него отступилась.

— Ну да, безвыходное положение. Тунеяд, одним словом.

— А кто этот Ваня Ромозанов? Родственником Звонарю доводится, что ли? — спросил я.

— Ромозанов-то? Первым председателем был. Всю власть на себе держал в восемнадцатом годе. Матрос — на боку маузер [redacted] лента пулеметная поперек живота. Он на острове мужика кутуковского убил.

— За что?

— За луга. На том острове у нас с кутуковскими прямо сражения происходили.

— Но ведь Лещинное от вас километров за семь, не меньше,— сказал я.

— Ну так что? Поначалу мы тот остров захватили. Ваня Ромозанов сказал: «Теперь вся власть наша! Мы хозяева, сами [redacted] отмерим. Луга от Волчьего яра до самых лещинских осокорей — все теперь наши. И кто сунется на них — того за зебры [redacted] с Волчьего яра прямо [redacted] омут».

— И наши то же самое говорили,— сказала женщи-

на.— Все на Лещинное зарились.— И, поглядев на меня, пояснила: — Там поместье Лещинина стояло. Дворы все каменные. А в доме зеркальные двери были... Разбили их на малые осколки и по избам растащили для поглядки.

— А на острове луга были,— ревниво перебил ее Федот.— Сено мелкое, как шерсть. Вот и бросились туда, на остров. Мы с одной стороны, а кутуковские — с другой. И пошла резня...

Неожиданно раздался низкий глухой рев сирены. Беленький приземистый катер выглянул из-за кривуна и, вытягивая по реке длинные косые волны, пошел к пристани. Мы спустились вниз.

Степок не выходил из каюты до самого подхода катера. Потом суетливо захлопотал возле Федота:

— Давай мне конец-то. Уж я прихвачу намертво. А ты сходни надежнее клади. Видишь, пассажиры с грузом.

Меня Степок теперь не замечал, все спиной ко мне поворачивался.

Первой с катера сошла сутулая морщинистая женщина в фуфайке и кирзовых сапогах. В руках она с трудом несла две корзины с помидорами.

— Стеша, Стеша, ну-к я помогу! — подлетел к ней Степок.

— Что ты как из Сибири бежамши? — устало и строго сказала Степанида.— Хоть бы людей постыдился, босяк!

— Да вроде бы солнушко проглянуло с обеда,— виновато ухмылялся Степок и вьюном вертелся вокруг хозяйки.— Давай, давай!

Одну корзину, кряхтя, взвалил на спину, вторую взял в руки.

— Что ж не продала помидоры-то? Ай не берут?

— Болгарских навезли... Не помидоры, а горох. Эдакие вот.— Степанида показала нам кончик пальца.— Но за полцены возьмут и такие. На язык нечего положить, но берут по дешевке. Подождем, говорят, пока и ты не пустишь свои по семьдесят копеек. Как болгарские. Уж нет! Меня политикой не возьмешь. Лучше с голоду сдохну, а не поддамся, чтоб за полцены. Ступай, Степа, ступай.

Федот тем временем помог сгрузиться семье — и мать, и дочь, и отец обвешаны были связками сушек и баранок с ног до головы. Мы сели с кутуковской женщиной, и катер отчалил.

— Стой, стой! — закричали с пристани и замахали

руками.— Ромозанова-то куда повезли? — указывали на верхнюю палубу.

Там на белой скамеечке одиноко сидел старик в такой же выгоревшей, как на Федоте, фуфайке, в голубом древнем картузе с лакированным козырьком и приветливо кивал головой.

Капитан катера выругался, сбавил газ и стал разворачиваться.

Высаживали Ромозанова прямо на глинистый берег. Сходней на катере не оказалось, но зато нашлась длинная широкая доска. Я сводил его по доске... Большие, черные от застарелой грязи, разбитые работой пальцы его мелко дрожали. Я держал его под мышки, и даже сквозь стеганку ощущалась жесткая сухость его тонких беспомощных рук.

— Как же это вы свою пристань проехали? — спросил я.

— Думал, окликнет кто... Ан никто не спохватился... Забыли, знать. А сам-то я плохо соображаю.

— Мешочек у меня там под скамейкой остался,— сказал он уже на берегу.

Я передал его тощий заплечный мешок в руки Федота.

— Хоть бы кто из родственников встретил старика.

— Он один остался. В богадельню не хочет. Тридцать рублей пенсии получает. Чего ему не жить? Хлеб нам привозят раз в неделю, тепленький. Воздух бесплатный. Рыбы сколько хочешь — вон в воде плавает...

Федот говорил, улыбаясь, ласково помахивая капитану, и не поймешь — язвил он или в самом деле хвастался. А сверху, по краю обрывистого берега, шли Степок и Степанида, шли ровным мелким шагом, вытянув по-лошадиному шеи, тяжело опустив руки. На их спинах горбатились огромные черные кошелки, покрытые мешковиной.

1965

ТИХОН КОЛОБУХИН

— Ты все говоришь,— правда, мол, свое возьмет, рано или поздно одолеет? — спрашивал меня шкипер Федот.

— Ну! Неверно?

— Может, и верно... Только не в наших местах. Мне так думается: правда где-то заблудилась. А может, дороги у нас неподходящие — боится завязнуть. Кто ее знает! Но в наших краях правда и не ночует.

— Это почему же?

— А потому... Ты Тихона Спиридоныча Колобухина знаешь?

— Знать не знаю, но слыхал.

— Что ж ты про него слыхал?

— Садовник он хороший... Сад большой вырастил в чистом поле.

— Про это и ребятишки знают, которые вон по садам лазают. А ты про его справедливость слыхал?

— Не припомню что-то.

— И об чем ты только помнишь? Если хочешь знать, перед Тихоном Спиридонычем все люди равны.

В прошлом году он председателю райисполкома Скобликову яблок бесплатно не дал. Тот прислал с «газиком» три мешка и записку от председателя колхоза: «Товарищ Колобухин, отпустить...» И подпись — Батурин. А Колобухин поперек этой записки написал: «За счет председателя колхоза». И — в бухгалтерию! Содрали с Батурина...

— И только?

— По-твоему, мало?

— Это все мелочи.

— Мелочи? Ладно. А как это рассудить — Колобухин от пенсии отказался?

— От какой пенсии?

— От государственной! Пока, говорит, мне шестьдесят лет не стукнет, пенсию получать не буду — совестно. А ведь у него не маленькая пенсия, он капитаном был, пожарным инспектором. И добровольно ушел в садовники, в колхоз... Это как рассудить?

Я пожал плечами.

— Любимое дело... Но при чем тут правда?

— Обожди! — сердито оборвал меня шкипер.— Ты сам небось не вступишь в колхоз? Добровольно! А? То-то и оно... Любимое дело? Я, может быть, тоже на земле люблю работать, но вот на пристани торчу... А Колобухин пошел... сад вырастил. Пятнадцать лет растил. И вдруг его из сада убрали. Теперь и скажи мне, есть у нас правда или нет?

— За что же его сняли?

— За непочтение родителей. В колхозе восемьсот рублей пропили, а он написал про это в листок народного контроля и по селам развесил. Сам Тутышкин приезжал. Это что, говорит, такое... Снять! Ну и сняли, и листки, и Колобухина.

Я без дальних разговоров закинул рюкзак за спину и прошел в деревню Малые Бочаги, где жил Колобухин. На травянистой дороге меня нагнал грузовик с полным кузовом людей — колхозники с лугов ехали. Проголосовал. Машина остановилась. Я влез в кузов. Тут мы и познакомились с Колобухиным. На нем была серая, потемневшая от пота и покрытая на плечах сенной трухой рубаха да видавшая виды соломенная шляпа с обвислыми и обтрепанными полями. Он был черен, как жук, с выпуклыми, блестящими карими глазами, и прямым носом и открытыми ноздрями.

Взглянув на мое газетное удостоверение, удивился:

— Неужели «туда» дошло?

— Дошло,— говорю.

— Но я не писал, не жаловался...

— Это неважно.

— Нет, важно. С работы меня никто не снимал,— я сам ушел. И вообще в моей истории винить некого,— он нахохлился, как петух перед боем.

Я не торопился с расспросами — здесь и народу было много, да и вообще сельские жители с ходу ничего не

делают. Надо приглядеться к человеку, прикинуть, что к чему.

Возле школы мы выпрыгнули из машины и пошли в конец деревни. Тихон Спиридонович пригласил меня на чай.

Говорил он с корабишинским напевом, растягивал гласные в конце слов: «Нюра-а, ставь самова-ар!» «Подвывают»,— смеются у нас в Тиханове над корабишинскими. Они, мол, люди пришлые и прозывались «талагаями». Одни, говорят, из Латвии переселились, другие — с Кавказа, третьи — из Крыма. Трудно определить, какая легенда наиболее правдива,— среди корабишинских жителей есть и медлительные голубоглазые гиганты Лактюнины, похожие на латышей, и бойкие приземистые черноголовые Кадушкины да Колобухины, смахивающие на крымских татар. Воистину русский бог велик.

— Вы родом из Корабишина,— говорю я.

— Как вы отгадали?

— По говору да по внешности.

Смеется:

— Меня на службе то за татарина, то за кавказца, а то и за еврея принимали.

— Давно переселились в Малые Бочаги?

— Пятнадцатый год пошел.

Его дом вынесен из посада и повернут лицом к улице, таким образом, как бы замыкает ее. Дальше ходу нет — поле. А вокруг этого пятистенка, обшитого тесом, разросся сад... И каких только чудес нет в этом саду! Тут тебе и малина величиной с кулак, и фрукты-ягоды, похожие сразу и на вишню, и на рябину — и кислят, и сластят, и во рту тают. И груши с яблоками растут на одном дереве. А под окном дальневосточный лимонник переплетается с виноградом «Мадлен-Анжевин».

— Тихон Спиридонович, откуда все это взялось?

Отвечает скромненько:

— Садовники присылают со всех концов... Кто семена, кто черенки. И я посылаю. Помогаем друг другу.

На стене у Колобухина висит карта европейской части Союза,— карта перекрещена черным карандашом, и как раз в пересечении диагоналей обведен жирный кружочек.

— Вот это и есть Малые Бочаги — пуп земли,— говорит Колобухин.

Разговор у нас был долгий, сумбурный, немыслимо разнообразный. Тихон Спиридонович все не хотел гово-

рить про то самое, ради чего я пришел к нему. Делал он это не столько из скромности или боязни, сколько из желания понять — с кем имеет дело, прощупать, что ты за птица, ну и себя показать.

— Интересно, вы не знаете,— отчего это бельфлер-китайка подмерзает?

Спрашивает и смотрит на меня так, словно я и пустил по свету этот неустойчивый сорт яблонь.

Что-то мычу неопределенное, пожимаю плечами, а Тихон Спиридонович сочувственно кивает головой и завлекает меня все дальше в словесные дебри:

— Как мы знаем, аммиачная селитра убивает широколистник, лебеду и сурепку, а против злаковых сорняков ничего не придумано. К примеру, против пырея. Или, может, я отстал? Извиняюсь, конечно, вы не в курсе?

Услыхав, что я не «в курсе», он откинется на стуле, прикроет глаза, долго молчит, и чуть заметная улыбка играет на его сухих губах. Насладившись моей полной неосведомленностью, он добреет, начинает себя показывать:

— Скажу вам по секрету — омаиновая мазь из семян осеннего безвременника — лучшее средство против рака кожи.

— Что вы говорите?!

— Не верите? Сейчас покажу.

Он моментально снял рубаху, повернулся ко мне спиной и показал желтое пятно на лопатке:

— Вот. Мелянома была. Врачи отказались, а я вылечил. Нюра, подтверди!

От шестка обернулась жена его, с покорным, одутловатым, нездорового цвета лицом:

— Истинная правда... Это не мазь, а сущая отрава. Как огнем жгла его. Он, бывало, как повязку наложит, так полночи крыком крычит.

Анна Петровна хоть и занята своим делом — жарит нам яичницу, подает огурцы, квас, но постоянно начеку, слушает, что говорит Тихон Спиридонович, не надо ли слово нужное вставить.

— А вот еще что интересно...— продолжает Тихон Спиридонович.— В нашей аптеке никто эритрицын не брал. Залежался. Но заболела девочка у соседки...

— Чем?

— Головная боль и температура...

— Да вроде бы она жаловалась на внутренности,— отозвалась от шестка Анна Петровна.

— Это возможно,— кротко соглашается Колобухин.— Боль, она хоть и чувствуется в голове, но причинную связь имеет с внутренними органами. Так вот я и говорю соседке: Марья, не ходи ты за лошадью в колхоз. День потратишь, а то и два — не отвезешь девчонку в больницу. Сама видишь — уборочная кампания в разгаре. Вот тебе записка — сбегай в аптеку и скажи: Тихон Спиридонович Колобухин для себя, мол, просит этого лекарства. Принесешь — дай девочке. Оно и боль снимает, и аппетит дает. Лучшего лекарства не придумано.

— И помогло? — спрашиваю я.

— Как рукой сняло.

— С той поры это лекарство прямо нарасхват берут,— радостно подхватывает Анна Петровна.— Так и говорят аптекарю: дай нам лекарства Колобухина — ото всех болезней помогает.

Пил он как бы нехотя, морщился и так медленно тянул из стакана, словно в нем была не водка, а медвежья желчь. Я попытался подобраться к его загадочной истории издалека, благо думал, что выпивка погасит его бдительность. Но не тут-то было...

— Это правда, что вы от капитанской пенсии отказались?

Улыбается:

— До пенсии я еще не дотянул.

— Года два-три.

— Неважно.

— Но вы служили в милиции?

— Двадцать пять лет...

— Уволили?

— Сам ушел.

— Куда?

— В колхоз.

— Кем? На какую ставку?

— Садовником... На тридцать трудодней.

Я невольно улыбаюсь:

— Веселый вы человек.

— Ага. Нюра, принеси-ка гитару.

Анна Петровна мягкой увалистой походкой сходила в горницу, принесла гитару. Тихон Спиридонович быстро настроил ее и протянул мне:

— Может, вы попробуете?

— Нет, уж лучше вы сами...

— Как хотите.

Он артистически откинул голову, выдавил из себя кадык и запел приятным с хрипотцой баритончиком:

Где-е же те лу-у-унны-ые ночи...
Где же тот пел со-о-лове-е-ей...

От шестка тоненьким детским голоском вплелась в песню Анна Петровна:

Где же те кари-и-ие очи?
Кто и-их ласкает теперь?..

Потом Тихон Спиридонович включил магнитофон, и по всей избе рассыпались лихие гитарные переборы «цыганочки».

— Под настроение наигрываю в магнитофон и вот вроде как по радио себя слушаю...

Так бы я и не добрался, наверно, до цели своего разговора, кабы не случай. В тот самый момент, когда Тихон Спиридонович, прикрыв глаза и сцепив на коленке пальцы, слушал свою «цыганочку», с улицы донеслись пронзительные крики.

Анна Петровна метнулась к окну:

— Опять к тебе на усмирение.

— Кто это? — спросил я.

— Да тут одни... Ревнует мужа. И дерутся каждый вечер,— ответил Колобухин, с опаской поглядывая на дверь.

— Молодожены, что ли?

— Какие там молодожены! Дураки старые. Под шестьдесят лет обоим,— ответила, отходя от окна, Анна Петровна.

В избу вошла, закрывая лицо руками, взвизгивая и причитая, простоволосая, голопятая баба и села на скамью у порога:

— Ой, Тихон Спиридонович! Помогите ж вы мне ради бога. Убивают меня... Ой-ё-ёй!..

— Будет тебе дурить-то, Марфа! Хоть бы людей постыдилась,— сказала Анна Петровна.

— Ну, что за беда? Что за беда? — не то спрашивал, не то утешал ее Тихон Спиридонович.

— Ну как же! Обидно мне... Ой, обидно! Говорят — он от скуки к ней ходит. Ты его в общество, мол, определи, потому что он совсем одичал. Ну, я его ввела в

общество: двое партийных, трое беспартийных. Мы в «козла», и карты играем. В домино! Наряжались на Новый год. Я в Деда Мороза, он тоже во все в белое. Чего ж ему еще надо? Ой-ё-ёй!..

— Ну и хорошо... Он поймет, оценит,— сказал Тихон Спиридонович.

— Чего ж хорошего? Ой, пропала я совсем, пропала...

Мельком взглянув на меня, она опять закрылась руками.

— Сидим мы, и карты играем. Приходит эта женщина. Она из Больших Бочагов. Ее там два раза поджигали из озорства. Один раз мужик от нее в подштанниках выпрыгнул, а она в одной рубахе. Это дело сурьезное. Как определить — кто из них с кем спал...

— А чего ж ты за нее волнуешься? — сказала Анна Петровна.— Ее грех, ее и ответ.

— Да как же! Она всю жизнь не работала, а у меня вон ноги пухнут... Я к нему в Муром, в тюрьму ходила. В вальницы ему вина напихивала. Сама не пила, а ему покупала. И теперь вот какое дело получилось... Не нужна стала. Он говорит — бить я тебя не буду, но уничтожу. Ой, милые, помогите! Конец решающий подходит.

— Он что, бил тебя? — спросил я.

— Бил где придется. Ой-ё-ёй! Матушка моя родная!

— Зачем ты врешь, Марфа? Ну покажи, где синяки? — спросил Тихон Спиридонович.

— У меня синяки раньше были, да прошли. А теперь она его научила: ты ее бей вот в это самое место,— Марфа нагнула голову и ударила себя по загривку,— и она сама исчахнет. Вот проста моя жизнь — конец решающий подходит. Или нам жить или разойтись... Но он меня все равно уничтожит. Ой, милые, помогите!

— Ну так разведитесь,— сказал я.

Она сквозь пальцы взглянула на меня:

— У нас хозяйство... Как же нам разводиться?

— Ну тогда живите,— сказала Анна Петровна.

— Я и то ему говорю: давай денег, я куплю вина, бригадира позовем. Он придет к нам, выпьем... Станет нас на легкую работу ставить. Дак не хочет. Все к ней норовит...

— Ну, ладно, ладно... Тебе чего хочется? — спросил ее Тихон Спиридонович.

— Я ноне чуть было не умерла на нервной почве... Грыбов поела.

— А-а! Так бы и сказала,— облегченно заметил Тихон Спиридонович.— Нюра, принеси-ка квасу!

Анна Петровна принесла из сеней ковш квасу. Убитая горем Марфа как ни в чем не бывало выпила квасу, утерлась рукавом и пошла вон. На пороге ее качнуло, она вовремя схватилась за косяк. И только здесь я догадался, в чем дело,— пьяная.

— Ничего себе, потешила,— усмехнулся я.

— Распущенность,— озабоченно отозвался Тихон Спиридонович.

Он как-то нахмурился, внутренне погас.

— Не боремся мы с пьянством, вот какая история. Я сказал председателю: что ж, мол, не смотришь, а он мне в ответ: «Кто я вам? Поп? Заблудшими душами заниматься. У меня от одного хозяйства голова кругом идет». И то правда.

— Да что говорить! — отозвалась Анна Петровна.— А нас разве не из-за этой проклятой пьянки прогнали?

— Вы что, запивали? — удивился я.

— Пил, да не я...— сказал Тихон Спиридонович.— На чужом пиру нам похмелье вышло... Весной были гости из соседнего колхоза, приглашенные из района. Ужин устроили... Четыреста рублей истратили... Председатель в курсе... Ладно! Уехал наш Батурин в отпуск. Собрались без него... И еще триста пятьдесят рублей пропили да съели пятьсот яиц. Руководил Марягин, заместитель. Этому только дай волю — полколхоза пропьет. Я, как председатель ревкомиссии, ставлю вопрос — взыскать с виновников! А Пупынин, есть у нас такой, говорит: «Подумаешь, семьсот пятьдесят рублей на пять сел пропили». Нет, говорю, давайте обсудим. Молчат. Ну, ладно, написал я листок народного контроля в четырех экземплярах, на машинке, печатными буквами... Все честь честью. Даже заголовок красным чернилом надписал: «Как пролетели в трубу семь тысяч пятьсот рублей колхозных денег по-старому...» И развесил эти листки в Малых и в Больших Бочагах, в Тихомировке, в Пантюхине... По всему колхозу, одним словом. И вот приходит за мной председательская «Волга» — в правление вызывают! Приезжаю. А там уже все в сборе. Обсуждают проект нового клуба — студент проектировал. Ну ладно, обсуждали, обсуждали, вдруг мне Пупынин и говорит: «Зачем ты

вывесил эти листки? Сними их, работать мешают». Соберем, говорю, собрание, тогда и сниму. «Не хочешь по-доброму? Ну вот Тутышкин приедет — он тебя благословит...» А к вечеру и сам Тутышкин приехал, тихановский предрайисполкома. Не знакомы? Мужчина внушительный — в расшитой рубахе, командирский ремень поперек живота, как обруч на пятидесятиведерной бочке. Вы, говорит, товарищ Колобухин, наглядную агитацию не на ту основу поставили. Ну где вы видели, чтобы листки народного контроля наклеивали на телеграфные столбы? За такое дело под суд вас мало отдать. А я ему — что ж, говорю, ваше представление страдает субъективизмом. Значит, вы хотите наказывать не тех, которые деньги колхозные пропили, а тех, кто их разоблачил? Не путайте, говорит, форму с содержанием. Я, говорит, не против ваших разоблачений, а против такой формы наглядной агитации. За это вы получите выговор...

И получил... А потом правление было. Я доклад делал... Четыреста рублей списали, а триста пятьдесят рублей и пятьсот яиц постановили взыскать с виновных. Потом поднимается Марягин и говорит: «Тут поступила записка с места — предлагают разобрать личное дело товарища Колобухина». Какое личное дело? А такое! Он семейственность развел в саду: жена у него подручным работает, а брат — сторожем. Он глухой, говорю, куда ж его? В том-то и дело, он, мол, всех своих и глухих пристроил... Ну, слово за слово... И заведующая фермой кричит: «Ты ответь нам, куда траву садовую деваешь?» По сторожам, говорю, делим. Вот-вот... По своим! Дак они же, говорю, всего по восемнадцать рублей в месяц получают... А за что им платить? И пошла щеповня. Тот же Марягин предложил вписать в резолюцию — в целях ликвидации семейственности сменить подручных Колобухину. Уволить жену мою? За что? Она ж, говорю, весь сад со мной вместе вырастила. Ставим на голосование... Нет, говорю, жену позорить не позволю. Уж лучше я сам уйду. Пожалуйста, уходи! У нас незаменимых нет...

Тихон Спиридонович налил водки и торопливо, не чокаясь со мной, выпил. Я заметил, что пальцы его слегка дрожали. Анна Петровна сидела на скамье у порога, опустив на фартук тяжелые руки, и недвижно глядела себе под ноги. Молчание становилось тягостным.

— Тихон Спиридонович,— сказал я,— с чего же вы сад начинали?

— С начала... Старый заглох, молодого не было... По селам с Нюркой ходили, черенки собирали: «У тебя какой сорт?» — «Лимоновка».— «А у тебя?» — «Бабушкино яблоко... до июня лежит». В пятидесятом году семена яблок высеяли. Еще капитаном был... Питомник закладывать — а своей земли нет. Так я у тещи в огороде оттяпал кусок земли... Питомник развился — я подаю в отставку. Меня на смех подняли, один деятель говорит: «Ты — пожарный инспектор. Кто же будет с пожаром бороться?» А я отвечаю — накупите на мое пожарное жалованье шиферу и покройте вместо соломы избы колхозников шифером. Вот и пожаров не станет.

— И отпустили вас?

— Попрыгали-попрыгали — и отпустили, куда деваться?

— Откуда у вас такая любовь к садоводству?

— Как вам сказать... В детстве еще прочел книжку: «Сад не баловство, плоды и фрукты — не роскошь, а необходимый продукт, сохраняющий человеку здоровье...» Вот, наизусть выучил. С картинками книжка была... Так эти яблоки и вишни всё во сне мне снились. Не знаю, может, от бедности нашей, а может, оттого, что в окрестных селах сады были, а у нас нет... Идешь, бывало, мимо тихановских садов — голова кружится от одних запахов. Заболел я садом... С годами эта страсть окрепла... Потом научился прививки делать, скрещивать... Интерес появился. И другое сказать, перевалит тебе за половину — думать начнешь: зачем живешь на земле.

— С пожарами бороться тоже дело...

— Дело делу рознь... Пустеет земля-то наша. От тихановских садов одни воспоминания... Балашовский лес помните, за Тимофеевкой?

— Ну как же!

— Теперь уж не лес, а поросль... А я, выросший на этой земле, сижу и в небо поглядываю — есть дымок или нет... Ну как бы вы на моем месте поступили?

Я молчу.

— То-то и оно. Дело не в том, что мне больше всех надо... Ведь к старости жизнь подходит. Надо же подумать — что ты оставишь детям и внукам.

— Как же вы теперь без сада?

Он только сухо кашлянул.

— Кто там работает? Как сад?

— И не говорите,— сказала Анна Петровна.— Уже пять яблонек повредили... Телятники бросились траву косить и подрезали яблоньки-то, подрезали. Чего им надо-то? Они же ма-ахонькие... Как дети грудные.

Тихон Спиридонович опять кашлянул, кадык его судорожно заходил, и вдруг он отвернулся, словно поперхнувшись. Потом встал и, не оборачиваясь, ушел в горницу.

— Он же каждое утро туда бегает. Чуть свет встает и по оврагу, как заяц... чтобы его не увидали. Все ночи не спит...— Она плакала тихо, не поднимая глаз, словно разглядывала простенький узор своего ситцевого фартука.

И мне совсем в ином свете предстал теперь его первоначальный кураж; это наивное горькое стремление выглядеть сильным, знающим и независимым. И я думал: ах, боже мой! Как долог путь к душе русского человека!

1970

СТАРИЦА ПРОШКИНА

Виждь слышателю: необходимая
наша беда, невозможно миновать.

Аввакум

На открытом берегу речушки Петравки, впадающей в Оку ниже Касимова, хорошо сохранились земляные валы древней крепости. Они довольно круты, высоки; и когда подымаешься на вершину их по влажной траве, нога скользит, поневоле припадаешь на колено: трудно удержаться без палки. Крепость так хорошо посажена на местности, что с валов ее ничто не заслоняет широкого обзора, даже темный сосновый бор, лежащий за речкой, кажется отсюда кустарником. Одни говорят, что в этой крепости жил когда-то разбойник Кудеяр, а другие — старица Алена... «И вышки по углам стояли ажно до облаков». Все возможно — крепость могла быть надежной и для разинской вольницы под командой Алены, да и разбойничкам послужила бы: место для набегов выбрано удачно,— и Ока рядом, и старый большак поблизости. Есть где было погулять.

Старый большак давно уж заброшен. Где-то размыло дорожное полотно, где-то мостки поснесло в разгульную полую воду, где-то навели другие... И вот остались на крутобоких песчаных угорах обрывки мертвой дороги. Местами они зеленеют — стреловидные листья пырея пробили обкатанный веками камень, а на обочинах густо распушилась никем не тронутая трава-мурава.

Неподалеку от крепости, на большаке, лежало когда-то богатое село Кустаревка,— от него осталось всего четыре кирпичных дома, да ямины от жилья, поросшие глухой крапивой и татарником, да корявые в два обхвата пни от спиленных ветел, да зарастающая травой, неезжалая, покрытая белым камнем дорога.

Таких заброшенных, таинственных крепостей в этом древнем лесном краю много; встречаются они и по Оке, и по Мокше, и по Цне — все это старая засечная полоса, граница Рязанского княжества. Но если верить старикам, в каждой из этих крепостей жил либо разбойник Кудеяр, либо старица Алена со своей лесной вольницей. «И ни один московский воевода взять ее не смог. Стеньку Разина взяли, а ее не смогли». Это добрые сказки с желанным концом. Старицу Алену взяли, хотя сопротивлялась она отчаянно долго, и на подмогу московскому воеводе Долгорукому посылали князя Волконского. Но сказки сильнее жизни. «Не взяли старицу, и шабаш. Обманом только выбили. Дак она потом в лес ушла. Монастырь построила. Сама камни клала и кумпола выводила. Царствие ей небесное».

Здесь же, возле этой заброшенной крепости, я узнал одну историю, которая заставила меня поверить, что «старицу Алену не взяли, и шабаш!». И камни она в монастырские стены клала, и «кумпола сама выводила».

На отшибе теперешней четырехдворной Кустаревки, возле самого подола угора, откуда начинаются пойменные луга, прилепилась странная изба,— еще издали, с крепостных валов, я заметил на ней необычную трубу: ведро не ведро торчит из соломенной крыши, таз не таз, но нечто жестяное, с широченным раструбом кверху, вроде мегафона или громкоговорителя, которые вывешиваются на столбах в домах отдыха. Вот и эдакую трубу хорошо ведьме вылетать на метле — не зацепишь. Кто додумался до такой нелепости? Что за чудак?

Только подойдя близко к дому, я заметил, что труба изнутри была кирпичной, а снаружи обернута жестью и обвязана проволокой. Зачем?

Впрочем, таких «зачем» у меня возникло множество. На тыне, возле околицы, ведущей во двор, висела дохлая ворона. В палисаднике, над долблеными допотопными ульями-дуплянками, на ветлах белели конские черепа. Но самой загадочной оставалась изба. Она была собрана из самых разнокалиберных бревен,— снизу венцы были толстые, обыкновенные, кверху же бревна шли все тоньше и тоньше и оканчивались под карнизом почти жердями, отчего вся изба выглядела как-то игрушечно, несерьезно, словно ее собрали так, потехи ради. Издали заметил я и

необычную ажурную веранду, словно оплетенную реечным каркасом, вязанным в шашку. Вблизи «реечный каркас» оказался сплетенным из белых тонких палочек — лутошек, то есть ободранных липовых ветвей. И опять показалось мне — в насмешку сделано. А рамы в окнах были самых разнообразных переплетов — и большие и малые; одни, поменьше, поставлены вертикально, а другие, подлиннее, горизонтально уложены в стену. Чудеса, да и только!

Но, приглядевшись, я понял, что сделано все не без умысла: все эти нелепости скорее от нужды, чем от чудачества. Голь на выдумки хитра. И в самом деле, поставь длинные рамы вертикально — они бы уперлись в карниз. Из-под жестяного раструба выглядывал слепленный из половняка дымоход. Не оберни его жестью, не свяжи проволокой — развалится. А бревна в сруб хоть и уложены слишком тонкие и даже попадались старые,— но под окнами лежит венец новый, толстый, и верхний венец, под балками, тоже вполне надежный. И во всем облике избы была какая-то трогательная и жалкая потуга на красоту — вместо резных наличников набиты затейливо изогнутые белые палочки, и карниз оплетен из тех же лутошек. Не гляди, что солома...

— Издаля кружево, а подойдешь — пужало. Так, что ли? — сипло спросил меня кто-то сзади.

Я вздрогнул и обернулся. Ко мне подходила старуха, шла тяжело, волоча ноги, покачивая большой, куце остриженной головой. На ней была исподняя рубаха, заправленная под грязную серую юбку, распоротую с боков, отчего похожую на какие-то широченные пиратские брюки. Впрочем, из-под распоротого подола мелькали еще и штаны — красные, заляпанные грязью. Обута она была в калоши, притянутые проволокой к заскорузлым голым ногам. Ее большие и грязные мужицкие руки, с согнутыми пальцами, висели до самых колен и впереди нее; казалось, она несла их, как гири, подвешенные к шее. А над низким косым вырезом рубахи так же безжизненно висели тощие длинные груди, прикрытые медным крестом.

— Ну, чего залюбовался, касатик? — спросила она, останавливаясь и глядя на меня блеклыми глазками.

— Да вот, смотрю на вашу избу. Как интересно все у вас сделано,— сказал я, испытывая неловкость от ее пристального немигающего взгляда.

— За поглядку деньги платят. У меня здесь не театр и не базар... Так что проходи своей дорогой.— Она заковыляла от меня прочь, бубня себе под нос: — Липнут, как мухи на мед. Мора на них нет, прости господи. Нельзя от дома отойти.

Только теперь я заметил оставленную старухой возле околицы тележку, высоко груженную травой и утянутую «деревом». Все честь честью, как на лошади привезла. Хоть и невелика тележка на железных колесах от старых плугов, но трава свежая, тяжелая, воз выше околицы. Неужели она сама притянула? А может, на корове, на телушке?

Старуха растворила околицу, взяла оглобли, неожиданно легко стронула груженую тележку и, пятясь, раскорякой, повезла ее во двор. Вот тебе и тягло.

Дворовые постройки — легкие соломенные сараюшки, окружавшие со всех сторон каменную кладовую, покоились на ветлах. Когда-то это были столбы, или вернее — ивовые колья, теперь они распушились в ветлы и поднимали на своих сучьях соломенные крыши. За этими сараюшками лежал садик, заросший вдоль плетня бузиной и крапивой. В конце садика, в частом окружении ветел, был пруд, довольно большой, со свежесрытыми откосами. В пруду плавали утки. Пруд чистый, обихоженный. Кто его рыл? Неужели старуха?

Я сел на пригорок поблизости от пруда и ломал голову над тем, как завязать разговор со старухой.

Вдруг за дальним кустом бузины, возле старой заброшенной дороги, звонко ударило бруском о косу — взинь, взинь, взинь! И тотчас со двора вышла старуха.

— Эй, шаромыжница! Прочь отсюда, не то пятки порежу! Фьють-тю!..— старуха лихо свистнула и длинно, скверно выругалась...

Из-за куста выглянула баба с косой и тоже скверно заругалась:

— А соли в задницу не хошь?

— Я вот косу возьму...

— Ну, бери! Давай, иди сюда. Я те покажу! Остригу твои мужицкие портки-то.

— Воровка! Кого грабишь? Старуху.

— Это колхозная трава. Тебе ж запретили здесь косить, и не вякай.

— Сейчас я пчел растревожу. Они те разукрасят рожу-то.

Старуха заковыляла в палисадник, а я подошел к женщине с косой. На вид ей было не более сорока лет — широколицая, приземистая, в белой в крапинку просторной кофте, в длинной до пяток юбке, босая.

— Что у вас за спор? — спросил я.

— Да ну ее! Ей запретили здесь косить, вот она и матюгается. Привыкла...

— Кто запретил?

— Колхоз. Отмерили ей пятнадцать соток вместе с прудом. А сюда не лезь. Трава наша, колхозная.

— А пруд чей?

— Ее. Сама вырыла по дурости. А теперь за травой в лес ездит на своем тарантасе да колхозников материт.

— Кто она такая?

— Колхозным председателем была. На всю округу шумела... Прошкина!

— Анна Ивановна?

— Может, и Анна Ивановна. Кто ее знает. У нас ее старицей зовут, потому как одичала. А вы почем знаете, как ее звать?

— Слыхал...

Анна Ивановна Прошкина. Как же я сразу не сообразил? Мне даже тетка моя рассказывала о ней, подружка ее. Да я и сам видел ее однажды в детстве. В полушубке черной дубки, опушенном серой мерлушкой, в серой, лихо заломленной папахе, она выступала в нашем районном селе на митинге в день убийства Кирова. Помню базарную площадь, запруженную санями, лошадей, привязанных вдоль дощатых ларьков, мужиков и баб, в валенках и в лаптях, в нагольных полушубках, в черных, крытых чертовой кожей сборчатках, в длинных коричневато-серых свитах, с округлыми стегаными воротниками,— всю эту темную подвижную толпу, толкущуюся вокруг покрытой кумачом полуторки. В кузове, как на трибуне, стояло человек десять; двое держали лозунг — красный лоскут на белых оструганных палках, по лоскуту в одну строчку аршинные буквы — «Нет пощады врагам народа!».

Из ораторов мне запомнились полувоенный в серой бекеше, в буденовке и Прошкина... Когда оркестр ударил «Интернационал» и крикнул кто-то сверху «Шапки долой!», первой сорвала свою папаху Прошкина,— прямые, коротко остриженные волосы ее развалились скобкой по вискам, придавая ей вид упрямый и задиристый.

— Эк, дьявол! Под мужика стрижется...— ахнул кто-то в толпе.

— А може, [redacted] [redacted] самом деле мужик?!

— Двухсбруйный!

— Кхе-хе, гхы-хы...

— Цыц!

Анна Ивановна Прошкина. Атаман-баба. Бой-баба. И вот что осталось от нее. Ну как я мог узнать в этой старухе ту громогласную воительницу? Хоть и рассказывала мне тетка [redacted] ней, просила сходить, поглядеть... «Живет она теперь, как отец Серафим-пещерник. Ей-богу, правда! Сходи, подивись...»

И мне по рассказам казалось, что живет она где-то [redacted] лесу у черта на куличках. Ан вот она где, у старого большака. В трех верстах от правления колхоза, от большого села Желудевки.

Я вошел к ней в палисадник и сказал:

— Здравствуйте, Анна Ивановна! У меня [redacted] вам дело,— я назвался и сказал, что пришел от тетки.

Она резко вскинула голову, обернулась от дуплянки, опять пристальным немигающим взглядом посмотрела на меня:

— А вы ее откуда знаете?

— Я племянник ее.

— Племянник! Ах ты боже мой! — она всплеснула руками.— Что ж ты сразу-то не сказал? А ведь я думала, что ты из правления. Сено описывать пришел.

— Ну, что вы! Хочу торговаться [redacted] вами. Тетка задаток просила оставить,— соврал я.

— Ах ты боже ж мой! — хлопнула она опять себя по ляжкам.— Скажи ты, не забывает про меня моя красавица. Как она, жива-здорова?

— Ничего, слава богу.

— Да что ж это мы здесь стоим? Пошли в избу. Я медком тебя угощу. Да чайку поставлю.— Она заковыляла к веранде.— Правда, самовара-то нет у меня. Я в чугунке скипячу чаек да малинкой заварю. Уж не побрезгуй, касатик.

Проходя мимо ветел с конским черепом, я спросил:

— А эта штука зачем?

Она лукаво улыбнулась, выпячивая нижнюю губу:

— Старая примета — конская голова пчелу держит.

— А вы верите?

— Хочешь веришь, хочешь нет. Про бога не скажу — грешница. Но что-то нами повелевает.

В избе было сумрачно от низкого потолка, настланного из жердей. Стены хоть и были оштукатурены и побелены когда-то, но почернели от дыма. Пол, собранный из старых кадушечных досок, горбился волнами. Вся мебель в избе — и стол, и скамья, и кровать, и стул — были сбиты из березовых палок. Белая береста придавала им нарядность, даже своеобразную красоту.

— Кто это вам мастерил мебель? — спросил я.

— Все, что здесь сделано, от нижнего венца и кончая этой печью — все моими руками.

— Неужто никто вам не помог?

— Никто.

— И стропила сами ставили?

— Сама. На земле все разметила, вырубила. Потом сама и ставила.

— И сруб?

— И сруб рубила сама.

— И крышу одна крыла?

— Все одна. Сперва набросаю, потом залезу, утопчу...— Она вдруг растерла пальцами слезы по щекам.— Эх, господи боже мой! Я и в землянке нажилась, и по миру ходила, и в тюрьме насиделась...

Она отвернулась, отрывисто, глубоко всхлипывая, сняла с печки сухое полено и начала отщепывать лучины.

Огонь развела на шестке, чугунок с водой поставила на таган.

— Вот мой и самовар! А ты садись хоть в креслице, хоть на скамью.

— Спасибо! Я все дивлюсь, как это вы печь смогли сложить из битого крипича.

— На иле. Ил у меня крепкий, как цемент. И не трескается от огня. Из пруда брала.

— Перевязки надо сделать, под выложить, нёбо — и все из половняка? — удивлялся я, разглядывая печь.

— Эх, родимый. Я этих печей-то в жизни сложила — не перечтешь, как волос на голове. Через эти печи вся моя жизнь скособочилась.

— Из-за печей?

— Да. С детства я обучилась этому ремеслу. А потом в селе лучшим печником была, по дворам ходила. Меня все знали. Вот и выдвинули. В ладоши нахлопали.

Она стояла у шестка, освещенная переменчивым пла-

менем, смотрела куда-то под ноги; высоко вздернутые, как наклеенные, седые брови придавали ей выражение мучительного недоумения.

— Сорвало меня, как скворечню с дерева, и наземь бросило. Так пустым ящиком и осталась.

— Как же это произошло?

— Э-э, всего не расскажешь.

— Вы хоть пенсию получаете?

— Нет.

— Почему?

— Говорят, не за что.

— Кто говорит?

— Тарарышкин, председатель рика. Стажу, мол, рабочего не хватает.

— А колхоз?

— Колхоз у нас слабый. На трудодни нечего платить, не то что пенсии.

— Пусть платят как беспризорной!

— Тарарышкин говорит — на беспризорных у нас лимит. Жди, говорит, очереди.

— Что же вам предлагают?

— Иди в богадельню! А не хочешь — жди, когда государство установит пенсию колхозникам.

— Почему же в дом инвалидов не идете?

— Там от безделья да от тоски помрешь. А тут сама себе хозяйка.

Логика была, что называется, каменной — не сдвинешь. И я отступил.

— Кем же вы числитесь: рабочей, служащей, колхозницей?

— А никем.

— Документы хоть какие-нибудь сохранились?

— Да какие документы! От партии отказ получила. Трудовых книжек тогда еще не было. Вон, справка лежит, что в тюрьме отсидела.— Она выдвинула из стола грубо сколоченный ящик, достала маленький тряпичный сверток, подала мне.— Вот.

Я развернул тряпку. В ней и в самом деле хранилась справка, выданная Н-ским УРом, что гражданка Прошкина действительно отбывала срок заключения. Да две картонных желтеньких книжечки — одна с красным крестиком на обложке, вторая с крупной надписью — МОПР. Обе книжечки выписаны были на Прошкину еще в 1928 году, на разворотах были наклеены крошечные марки —

уплата взносов. Да еще было в сверточке направление от райземотдела, выданное в июне 1931 года. В нем написано, что работник женсектора Прошкина Анна Ивановна направляется в село Еремеевку с рекомендацией председателем колхоза.

— Как вы сохранили все это?

— А тетка твоя сохранила. Когда меня держали под следствием, она ко мне ходила, передачи приносила. Я и передала ей эти бумаги. А возвратилась — первым делом к ней. Разве она не рассказывала тебе?

— Рассказывала...

Я вспомнил теткин рассказ: «Скребется вечером у двери. Кто такой, думаю. Курица или кошка приблудная?.. Открываю — стоит нищенка в телогрейке, и сума тощая. Сейчас подам, говорю. А она мне: «Анна Ивановна, неужто не узнаешь?» — «Тезка, ты, что ли?» — «Я, Анюта, я...» А сама плачет, рекой заливается. Неделю прожила у меня и ушла. «Живи еще».— «Нет, у каждого воробья и то свое гнездо. А у меня еще руки-ноги есть, слава богу». Так и ушла...»

— А вы бы сами рассказали мне, Анна Ивановна?

— Рассказать-то можно, отчего ж не рассказать? Если еще и не рассказывать, так совсем озвереешь. Я тут говорю только с утками да с канками, а с людьми все ругаюсь.

Она поставила вскипевший чугунок на стол, достала откуда-то из-под стола два граненых стакана. Они так густо запылились, что пролежали нетронутыми, должно быть, не менее года. Сначала она обтерла их пальцем, потом грязной отымалкой, висевшей возле шестка, наконец сильно дунула в каждый и поставила на стол.

— Я сама из кружки пью. Гостей у меня не бывает, разве что Анна Ивановна приедет раз в году, сено купит. А медок у меня свежий, сотовый. Пей, родимый, пей.

Мед она принесла в глиняной чашке, поверху лежали две маленьких лопаточки, вытесанных из лутошки. Сама пить не стала; все глядела своими блеклыми, немигающими глазками куда-то себе под ноги; так же высоко вздернуты были ее недвижные брови, и печать мучительного недоумения лежала на лице ее.

— Отца у меня в японскую убили, мать умерла... Мне восемь лет было. Как сейчас помню — были мы в работах у помещицы Бекмуратовой, луга убирали. День был жаркий, тихий. Мы, ребятишки, копны возили, а мужики

стога метали. У барыни порядок был строгий: что ни стог, то десять возов. Бывало, навьют его,— стоит что колокольня. Когда вершили, мужики навильники вдвоем подымали; и то, если ветерок, качались, как пьяные. Высокие стога ставили! А вершить мать мою сажали. Она и сено принимала хорошо, и утаптывала, и вершила ровно. Стог, бывало, поставит, как зализанный. «Ну, Федора, в тебе добрый мужик пропал»,— смеялись, бывало, над нею. И пришла к ней смерть через ремесло... Видать, уж жребий у нас такой. Свершила она стог, стала приметины привязывать. Ну и поскользнись... Схватилась за приметину да вместе с ней и полетела вниз головой, так обземь головой и ударилась. Сухо было. Земля на лугах как камень. Принесли воды из бочага, брызнули ей на лицо, думали, очнется. Она было и глаза открыла. Смотрит на меня. А я тут, возле нее, на коленях сижу и реву. И подружка ее, баба Ульяна, рядом со мной стоит и плачет. «Аленка,— говорит ей мать,— возьми у меня девку...» Да с теми словами и отошла. Заметалась, забилась, и кровь изо рта ручьем. Так вот и осталась я сиротой.

И стала мне Алена второй матерью. Я и звала ее — мать Ульяна. Была она батрачкой вечной, бездомной, прижилась у барыни. И я с ней осталась. Барыня птицу любила, были у нее и гуси, и утки, и канки. Луга рядом, озера. Простору много. Стала я с Ульяной работать на птичнике. Такая сила одних курей была — больше тыщи. А барыня строгая! Бывало, придет, сама курей кормит или смотрит, что даем. И чем их только не кормили! И мелом толченым, и рыбой. Бывало, одной селедки бочками возили. Разварят ее в котле — вонь на всю кухню. А я малая да глупая. Раз я насыпала песку в котел. Барыня как затопает ногами, как закрычит на меня: «Марш под печь!» Я и поползла под печь вместе с курятами. Так и прозвали меня — Анюткой-подпечницей. И мать Ульяну прогнали с птичника из-за меня. Устроилась она к каменщикам в артель — известь затворивать да воду подносила. А я все печникам глину месила. Перепачкаюсь по самый пупок. «Эй, подпечница! Опять подол подмочила. Смотри, замуж не возьмут!» Я была легкой на ноги. Начнем глину месить — ни один мужик за мной угнаться не мог, выдыхались. Работала весело. Я и мастерство шутя переняла. Вот те и подпечница! Иному печнику не уступала. Может, я бы и семьей рано обзавелась, да тут

война... Революция. И барыня сбежала, и поместье растащили. В голодную пору мы с Ульяной на конезавод поступили. Совсем обессилели. Мать Ульяна воду лошадям носила. Так и померла возле колодца, с ведрами в руках. И осталась я опять одна...

В раскрытое окно влетела пчела, покружившись над чашкой с медом, одна ударила меня в голову, застряла в моих вздыбленных волосах и забилась, зазвенела высоко и жалобно. Прошкина тотчас бросилась на ее зов; своими скрюченными пальцами ловко выпростала ее из моих волос, взяла в ладони и поднесла к губам, приговаривая:

— Да что ты, глупенькая, злобишься? Господь с тобой! Здесь все свои. Ах ты глу-упенькая! Ну, успокойся, успокойся.

Пчела и в самом деле утихла, поползла по ее широкой растрескавшейся ладони, взлетела и вылетела в окно.

— Нынче три роя ко мне прилетело. Мне бы взять их, а домиков нету и сделать не из чего.

— Откуда они взялись?

— Да из соседнего села прилетели. Такие уж теперь хозяева пошли. Эх, мать их...— Она опять длинно и скверно выругалась, как давеча на бабу.— Не то чтоб чего вырастить, умножить,— богом данное и то сохранить не умеют. Вот только бы на чужое зариться. Сколько одних ветел на месте Кустаревки осталось... Все поспилили. И на мое зарятся. Бывало, я вокруг своего дома скошу траву, глядишь — воза два сена и набралось. Вот мне и хлеб на зиму. А теперь запретили. С первесны целой бригадой сюда нагрянули, с косами. Эх, маленько день-то пасмурный был. А то бы я пчел на них, стервецов, напустила. Они бы им показали, как чужую траву косить.

— А почему вам не дают здесь косить?

— Да по злобе. Они на меня зубы точат.

— Кто же это?

— Начальники колхозные, мать их...

— Почему?

— Потому что я им покоя не даю. Все плутни их на заметку беру да куда надо отсылаю.— Она подалась ко мне и сказала тише, сдавленным, сиплым голосом: — Они все воры. Я знаю. Они думают — я сплю ночами. А я домок на замок, а сама в Желудевку. Где по задам, где по улицам, да ползком. И возле амбаров бываю, и под окнами.

Она встала, подошла к подпечнику, засунула глубоко

руку, достала сверточек, развязала тряпицу и подала мне скрученную в трубочку тетрадь.

— Посмотри, здесь у меня все записано.

Я раскрыл тетрадь — химическим карандашом, неровными буквами — где жирным до черноты, где тусклым было исписано несколько листков.

— Вот здесь читай! — ткнула она пальцем в строку и сама прочла: — Бригадир Семиглазов ночью двадцать седьмого августа тысяча девятсот шестьдесят первого года привез пять мешков ржи. Сам таскал мешки в кладовую, а жена светила. А тридцатого января шестьдесят второго года этот Семиглазов отвез целый воз ржи на базар. Запись вот здесь. Спрашивается, где взял он рожь? Украл на току. А пчеловод Колобок принес целый лагун меду председателю. Вот здесь записано — в ночь на десятое июля. А заведующий овцефермой барана колхозного съел. Вот что они делают! Сколько одного скота сдохло! Раньше за такое дело судили. А теперь я пишу, пишу, да все против меня и оборачивается.

Она снова скрутила в трубочку тетрадь, тщательно обернула ее тряпицей, завязала крепко и сунула в подпечник.

— Если узнают они про записи, убьют меня ночью.

— Вы не беспокойтесь. Я никому не скажу. А что же власти на ваши письма?

— Была один раз комиссия. Да они все тут спелись. Вот через это и запретили мне траву косить возле дома. Я возьму косу, тележку — да в лес. Накошу траву. Ее бы посушить на месте, да боюсь — украдут. Навью на тележку сырой травы и везу домой. Тяжелая трава. В песок попадешь — колеса вязнут. Бьюсь, бьюсь, да и упаду в оглоблях-то. Наплачусь досыта,— она всхлипнула и отвернулась.— Господи, господи! За что ж ты меня так испытуешь-мучаешь? Иль я прогневала тебя в чем?

— Анна Ивановна, а может, оттого и не привлекают их, что по мелочам воруют?

— Да какие ж это мелочи? Раньше нас за карман колосков судили. А то воз ржи!.. Это не мелочи, а вредительство. Я знаю. Я с двадцать седьмого года в партии была. Недаром нас учили врагов распознавать. Я их еще выведу на чистую воду. Правду — ее не спрячешь, не-ет... А ты пей, пей! — она налила мне еще стакан заваренного малиной чая.

Колер был сизовато-синий, не то от малины, не то от

чугуна, и отдавало чем-то свинцово-вяжущим. Но мед был свежий, душистый.

— Анна Ивановна, вы сказали, как мать Ульяна померла. А что же дальше было?

— Да что дальше? Замуж вышла.— Она опять уставилась долгим взглядом себе под ноги.— В одной артели с ним работали. Он был смирный мужик, но из себя так, лядащий, вроде бы и не по мне. Да я уж намоталась по свету бродягой. Не до выбора. Пришла к нему в дом. Семья у них большая: кроме стариков, три деверя, двое женихи, а у третьего, старшего, куча детей. Изба тесная. Ну, что за жизнь молодым в такой сутолоке? Стала я уговаривать мужа — отделимся! А свекор крутой был! Берите, говорит, шапку в охапку, вот вам и весь пай. Скопила я деньжат за свои печные работы, и купили мы дом за семьсот рублей. Дом-то домом, а больше — ни кола ни двора. Как говорится: нет ни гроша, зато слава хороша. Все зажитки на избу ушли. Землю свою лошадникам сдали, а сами по дворам работать. Меня уж тут во всей округе знали — кому печку сложишь, кому в поле поможешь. Выбрали в комбед. Днем работаешь — вечером на собрании. А тут еще и ликбез поступила. То учишься, то заседаешь. И стали над моим мужиком насмехаться: «Не баба при тебе, а ты при ней состоишь». Он ревновать меня стал, все следил по вечерам. Однажды мы на собрании засиделись до полуночи. Вышла вместе со всеми, в комбеде было еще четверо мужиков. А муж за мной назерком шел. Только мы разошлись, он и кинулся на меня с палкой. Ну, я его так отмотала, что он до утра провалялся. Еле очухался. Судились мы с ним; родственники его подговорили в суд подать. «Чем ты недоволен?» — спрашивает судья. «Она меня не кормит, не поит».— «Куда ж ты пойдешь?» — «Если что достанется, к отцу».— «Ты возьмешь его?» — спрашивают старика. «Если что достанется, возьму». И присудили — поделить нам дом пополам. А чего там делить? Махнула я рукой и сама ушла. Ушла на ближнюю станцию, в депо. За хлебом ездила от рабочих, кормила их. Оставляли меня там завсобесом работать. Я уж в тую пору и ликбез окончила, и в партию вступила. Да тошно мне было: и муж донимал, и его родственники. Следили за мной, скандал за скандалом устраивали. И решила я уехать из родных мест и все начать сначала. «Трудно мне здесь,— сказала я женоргу,— отпустите куда ни на есть». Она меня и

направила [redacted] Калугу. Там, [redacted] бывшей патриархальной школе открыли двухгодичную партшколу. Вот ее-то я и окончила. Приехала в Московский обком за назначением. «Куда желаешь?» Посмотрела я на карту и выбрала это местечко, поближе к воде. Раньше и этот район [redacted] Московскую область входил. Приехали мы сюда, в район, вдвоем с подругой, Фешкой Сапоговой. Она женорганизатором, а я культорганизатором. Фешка в своем доме поселилась, а я к Уразе. Может, помнишь?

— Подругу вашу нет, а Уразу хорошо помню. Это прозвище ее. Рыхлая такая тетка была. Мы еще, ребятишками, дразнили ее: «Еряперя ухо-сухо, Ураза пухово брюхо».

Прошкина засмеялась:

— В нашем селе у всех прозвища. И нас с Фешкой прозвали «сороками». Молодыми были, говорили много. Часто выступать приходилось. Вот [redacted] прозвали.

— А почему вы к нам приехали?

— Леса у вас кругом, реки да озера. А я нажилась в степи — все осточертело. И еще я рыбу очень люблю. В саду у себя пруд вырыла. Видал?

— Неужели одна копала?!

— Одна. Лет пять все копала. Жилу искала. Уйду туда, зароюсь. И меня никто не видит, и я никого не вижу. Эх, господи боже мой!

— Как же вы председателем колхоза оказались?

— Так и оказалась. Хоть и числилась я культорганизатором, но больше заставляли меня хлеб выколачивать. Все, бывало, уполномоченным по селам ездила. А тут приехал новый секретарь Савостин. Вызвал меня: «Ты что делаешь?» — «Культурник»,— говорю. «Какой еще культурник! Теперь наша культура — хлеб. Давай, поезжай председателем колхоза в Еремеевку». Написали бумагу от райзо, сел со мной в тарантас председатель рика и привез в село. Теперь выбирают председателей. А тогда проще было. Приехал — вступил [redacted] колхоз, и валяй. Председатель ты или бригадир, раньше не смотрели. Подошло жнитво — серпы в руки и в поле. Все работали. Я, бывало, на сенокосе передом ходила. Коса у меня была со звоном — три короны на ней. Как пойду махать, только поспевай! Тут меня «картузом» прозвали. Тогда бабы все ворчали на меня: «Слыханное ли дело, чтобы баб выгонять на покос?» Тут не заведено было косить бабам. Жать жали, а чтоб косить, такого раньше не было. Это я их

выучила. Зато потом они меня благодарили. Мужиков-то не стало. «Вот спасибо «картузу» — косить выучила. Хоть себе на скотину накосим». Эх, чего только я за свою жизнь не делала, за что не бралась... Сказано: нашему вору все впору.

Она умолкла и тяжело, недвижно смотрела все в то же место, себе под ноги.

— Анна Ивановна?

— А! — Она даже вздрогнула из забытья и, как давеча на ходу, медленно закачала головой.

— Как же вы в тюрьму попали? За что?

— За то же самое... Ненавидели меня, что я на чистую воду выводила. Смотрела за всеми и писала куда надо. Говорят, теперь нет врагов народа. А куда ж они подевались? Как они были, так и остались. Каждый жулик — враг народа. В тридцать пятом году их начали шерстить... после убийства Кирова. За ворами я сама смотрела. У меня никто не спрячется. Кто что украл — все наперечет знала. А по части настроений и всяких антисоветских разговоров мне трудно было. Кто со мной на откровенность пойдет? Все ж таки я была председателем и парторгом. Зато был у меня кладовщик Гаврилкин — дока по этим делам. Боле меня писал. И еще при сельсовете состоял секретарем Панков, он же комсорг. Тоже хорошо знал — кто что говорит, что думает. Они многих выдали. Но и мужики про них дознались. Гаврилкин пропал, как сквозь землю провалился. Нашли его только через год в бочаге. Бреднем вытащили. Изопрел весь. Руки связаны, и камень на шее. А Панкова убили. Помню, привез он нам жалованье, ро́здал и говорит: «Пойду в Кустаревку, облигации разнесу». А дело было к вечеру. «Ваня, погоди,— говорю,— я с делами управлюсь и пойду с тобой. Мне культсекцию провести там надо». Да мне, мол, ждать некогда. Ушел. Не успело смеркнуться, бежит Востриков: «Анна Ивановна! На дороге в Кустаревку убитый валяется. И свист какой-то в кустах. Я испужался — не разглядел, кто лежит». Эх, меня так и тряхнуло что-то. Зашла к председателю сельсовета: «Труша, что-то Востриков прибежал... Говорит — убитый под Кустаревкой на дороге лежит. Давай сходим!» Пошли мы... Так и есть, Панков убит. Лежит, растянувшись, лицом вниз. И ветром облигации разносит. Приехали из НКВД. Нашли по следам.

— Как по следам? Собаку пускали?

— Да ну, собаку! На примете у них были. Из тех, про которых Панков писал. Накрыли отца с сыном, Артема да Митрия. У Митрия палец в крови был. «Почему у тебя палец [redacted] крови?» — «Клопов на печи давил». Забрали обоих. Тут они всё не признавались, а в Москве сознались.

— Когда же их взяли? В тот вечер?

— Какой там! Пока дозвонились, пока следователь приехал. Утро уже было.

— Так что ж они, за всю ночь не могли руки помыть?

— Кто их знает. А только сознались во всем... На суде, правда, путались, один говорит, ломом убили, другой — пешней. В Москве их судили. Военный трибунал. Вызывали меня и Трушу. Ввели их в зал — они страшные-то, прямо лица на них нет. Расстреляли обоих. С той поры не могла там работать,— уйду и уйду. Меня [redacted] перевели в рабочком, в совхоз на Верхний Перекат. И стала я бельмом на глазу у директора и его братии. Это воры из воров и пьяницы. Сколько я на них ни писала — и в рик, и в райком — ничего не добилась. Написала в облсоюз — пришлите ревизора! Рабочим по семь месяцев зарплату не платят. Питание скверное — гниль всякая, списанная с учета. На ферме бруцеллез — скот смешанный. Бруцеллезных телят прирезывали — да в столовую. А сам директор Стрючков ночами на отгонах пропадал, за доярками бегал. Перепьются все... Доярки его [redacted] свои тряпки наряжали... женщиной! Срам. А тут еще сгорела силосная башня от самовозгорания — силос неправильно заложили. И вот приехали ревизоры — дружки Стрючкова из рика да из райфо Шикунов. А этому Шикунову директор пять свиней отправил. Как осень, так свинью везет, да зимой, к масленице, свинью. Приехали они, поохотились вместе, попьянствовали, а потом на меня ж и акт составили. Мол, все это клевета. Кое-кого из рабочих подговорили. Те из кожи лезут — ну прямо Стрючков — отец родной. Меня и в НКВД таскали, посадить хотели, как врага народа. «За вредительство по кадрам». На этот раз не посадили, но из партии исключили, с работы сняли. Эх, господи боже мой! — Она снова всхлипнула и помолчала.

— И пришла сюда я, в Кустаревку. Отсюда народ разбегался, избы дешевыми были. Купила я себе деревянную избу и пошла [redacted] колхоз птичницей работать. Курятник на горе стоял. Изба моя с краю села, рядом. Удобно.

Ну, что ж, и так жить можно. Привели они меня в ничтожность и думали: теперь я замолчу. Не тут-то было! Я их еще пуще разоблачать стала. За всеми следила — и за председателем, и за бригадирами, и за милиционером. Бессонница тогда приключилась со мной. Я ночи напролет шастала по селу. Они бы меня не взяли, кабы своя Катька не выдала. Прижилась у меня нищенка приблудная. Родом из Ермилова. Ее в тридцать восьмом году за колоски сажали. Года два отсидела... Но в колхоз не вернулась, по миру пошла. Все сестрицей меня звала. Я, говорит, стрица, там прозрела. Человек должен окончательно освободиться от всякого имущества. Кто наг, тот и благ. Не тело спасать надо, а душу. Кто теперь работает на антихриста, тому не видать земли Восеонской. А вот как бросим все работать, пойдем по миру — небось она и откроется нам. Ничего нам не откроется, говорю, только помрем с голоду. А она мне: хлеб, он без правды и в рот не лезет. Да ведь правда не медведь, по лесу не бродит. Не искать ее надо, а руками делать. А она мне — нет и нет! Правда нерукотворна. Кто ноне работает, тот антихристу служит. Все агитировала меня, с собой звала. Я вот только отдохну у тебя, говорит, с силами соберусь. Поживу немножко. Живи! Места не жалко. Да и веселее вдвоем-то было. Целое лето прожила у меня. И меня же выдала... Эх, господи боже мой! — Она мотнула головой и всхлипнула.— А ты пей, пей! — Прошкина долила мне стакан чаю.— Остыл уж совсем. Может, подогреть?

— Нет, нет! Вы рассказывайте, пожалуйста.

— Поди, уж надоело? Рассказ-то мой не больно веселый. Да сказано: кто не живал, тот и горя не видал. От сумы да от тюрьмы не уйдешь. Видать, уж такая планида. На роду мне написано. Эх, господи боже мой!

Странно звучало у нее это восклицание; сначала высоко и протяжно — «э-эх!», потом короткая пауза, казалось, сейчас она залихватски свистнет или заматерится, как давеча на бабу с косой. Но далее следовало тихое, сиплое бормотание: «Господи боже мой».

— Были у меня утицы и канки. Я люблю канок, слабость моя. Целый день они болтают, особенно индюк. Был-был-был! Был-был-был! Эх, бедолага, думаю, и у тебя все было, да прошло. Вроде и мне веселее с ними. Приносила я им иногда смётки. Бывало, привезут зерно и ссыплют возле птичника. Мы его перетаскаем в кладовку, а смётки — с землей да с мякиной — в карман. Утки дома

все съедят. Эта птица прожорливая. Вот Катька и донесла милиционеру: приходите, мол, нонче вечером, она смётки принесет. Иду я с работы домой — они меня и встречают. И милиционер тут, и председатель колхоза, и секретарь сельсовета. Стой! Что у тебя в карманах? Зерно воруешь? Какое зерно, говорю, смётки. Это ты на суде расскажешь. Составили на меня протокол и упекли на десять лет за хищение государственного имущества. Поймана с поличным. Эх, господи боже мой! Нет, правда есть. Хоть и отсидела я десять лет, а вот жива-здорова. А они все давно там — кто помер, кто за воровство пошел. Все они быльем поросли. Так-то.

Ну, меня посадили, а Катька в доме моем осталась. И начала она все мое добро проматывать. Стали ее спрашивать: как так? На каком основании? Она и говорит: Прошкина не баба, а мужик. Она со мной жила, как с женой. Теперь я хозяйка законная. Те, кому на руку было, поверили да разнесли по всей округе. Прошкина, мол, не баба, а мужик. Недаром она замуж не выходила. И мужа у нее никогда не было. И стрижется она коротко, под мужика, и штаны носит. Всему у нас верят, всякой сказке. Только правде не верят. И кругом одно воровство. Пишу я, пишу на них — и все без толку. Эх, господи боже мой! Я — мужик. Ну, как же? Волосы коротко стригу,— она обернулась ко мне неровно стриженным, словно обгрызенным затылком.— Я ведь сама стригусь. Ухвачу вот так, одной рукой за лохмы, а другой ножницами — чик! — и отчекрыжу. Чего хорошего в волосах? Одна грязь от них да зараза. Чего штаны носишь? А чтоб слепни под подол не лезли. Одежда человеку дана не для красоты, а для удобства. Не мешает — и ладно.

Да, сказано — нужду не ищут, она сама приходит. Отсидела я свой срок — и вышла оттуда старухой. Даже тетка твоя не признала. Пришла сюда, в Кустаревку... От дома моего и завалинки нет. Были блины да канки, остались одни лихоманки. Да и Кустаревки уж не было — всего четыре двора. Куда идти? Что делать? Работать в колхозе уж не могу: ни сил нет, ни расторопности. Сторожем хотела устроиться — не берут, биография не та. Жить негде. Поплакала я возле своих ветел. Да кто мои слезы увидит? Кому они нужны? Надо устраиваться. В той самой ямине, где подпол у меня был, сделала я землянку. Стены плетнем увила. Печку из битых кирпичей сложила. Ну, думаю, теперь перезимую.

Вот еще бы картошки посадить. Не то зимой с голоду помрешь. Повесила я суму на плечи и по миру пошла: картошку на семена собирать. И окрестили меня старицей. Мол, блаженная, в землянке живет. Теперь чего ни напишу — на все рукой машут. Старица! Из ума выжила. Эх, господи боже мой!

— Как же вы сюда переселились?

— Раньше Кустаревка входила в тот колхоз, где я председателем была, в Еремеевке. А потом ее передали в Желудевку. Осталась у них здесь на отшибе колхозная кладовая. Мне и отдали ее. С кладовой я начинала. Печь там поставила. Да плохо, что пола не было. И стены больно мокли. Тут я и скотину развела, сад рассадила. Так, маленьку-помаленьку лес подвозила на тележке. Где новые бревнышки выпилишь, где старые подберешь. Пять лет строилась. Эх, господи боже мой!

Осматривал я и дворовые постройки с крышами на ветлах, и бревенчатый омшаник, и сад, и пруд, в котором она пять лет «жилу искала», и дивился той безграничности человеческого упорства, порожденного любовью к независимости. Приди Прошкина в райисполком, заяви, что жить негде,— ее бы, как престарелую, безродную, отправили в дом инвалидов. Но она не пошла. Годы прожила в землянке, в кладовой, более похожей на каменный склеп, чем на жилье человека. И не сдавалась. Заглянул я в эту кладовую... Не знаю, в какой пещере жил отец Серафим, но в этой кладовой он долго бы не протянул. Окно маленькое, за железной решеткой, пол земляной, стены холодные, мокрые. Темно, затхло, сыро. В углу, в полумраке, я заметил икону на божнице.

— Анна Ивановна, что же вы икону здесь оставили?

— Она испортилась. Краска сошла от сырости. А икона старая. Жалко.

Я снял темную от времени и копоти икону: на толстой доске сохранилась по краям кое-где позолота, местами проступали крупные складки темно-синего женского покрывала. Но лика не было. Божья матерь не вынесла жития старицы Прошкиной.

Торговаться нам не пришлось: цену за сено она запросила самую низкую. Но задаток взяла охотно,— развернула десятку на ладони, любовно погладила:

— Надолго хватит мне. На хлебушко.

На прощание она поманила меня пальцем и, значительно подмигивая, повела в сени. Здесь, в полумраке,

она достала откуда-то из-за гашника маленький ключ на цепочке и поднесла к моему лицу.

— Видишь?

На цепочке болтался плоский бронзовый ключ с выпуклой вязью: «ГАЗ».

— Что это? Откуда?

— Из машины...— Она подняла палец и сказала приглушенно: — Ночью остановился грузовик возле бригадирской избы. Я заглянула — в нем картошка. В кабине никого. Все в избе были, пьянствовали. Я ползком, ползком подкралась да хвать его. И домой. Ношу только при себе. Живой не отдам. Секретарю написала. Теперь жду, когда приедет. Вот оно — доказательство!

И, схватив меня за рукав крючковатыми грязными пальцами, молитвенно упрашивала:

— Зайди ты к секретарю райкома, ради бога. Скажи, мол, Прошкина секрет имеет. Пусть приезжает.

На крыльце опять остановила меня и, грозя кому-то пальцем, сказала:

— Не-ет, меня голыми руками не возьмут. Я их еще выведу на чистую воду.

* * *

Два годя спустя после той встречи жил я целое лето в Тиханове. Однажды, разъезжая по лугам на райкомовском «газике», завернул я в Кустаревку. Прошкина встретила меня так, словно мы только вчера расстались.

— Говорил ты с секретарем райкома? — спросила она.

— О чем? — Я с недоумением глядел на нее.

— Ну как же! Я ж тебя просила — передать ему, чтоб приехал. Прошкина, мол, интерес имеет. Забыл! — Она с огорчением махнула рукой.— Я ему три раза писала. Нет, не едет и не вызывает.

— Как поживаете, Анна Ивановна?

— А что мне теперь не жить? Двенадцать рублей пенсии получаю. На хлеб и сахар хватает. Остальное у меня все есть. Так-то! Как ни старались они скинуть меня со счета, а вот государство не забыло. Показали им дулю. Ноне жить можно, слава тебе господи. Ты не через Желудевку едешь? — спросила она, загораясь от любопытства.

— Через Желудевку.

— Прокати меня по селу. Пусть они поглядят на

меня, собаки. И я на них погляжу из райкомовской машины-то.

Я посадил ее рядом с шофером и сказал ему, чтобы ехал по селу медленно. Она сидела гордо, прямо, словно аршин проглотила. Когда мы стали сворачивать в проулок, на выезд из села, она схватила шофера за рукав и властно приказала:

— Съездий в тот конец! Там бригадир живет,— и озорно подмигнула мне.

Мы ее провезли и мимо бригадирского дома, и даже мимо дома самого председателя. Она беспокойно ерзала на сиденье, вертела головой, пытаясь разглядеть, видит ли кто ее? Но улица была пустынной. Напротив магазина она опять схватила шофера за руку:

— Стой! Теперь я сойду.

Шофер остановил «газик». Она моментально растворила дверцу и молодцевато для своих лет спрыгнула с подножки.

Перед магазином на высоком бетонном крыльце стояли бабы. Она пошла на них с выправкой ротного командира. На самой верхней ступеньке остановилась, словно на трибуне, строго посмотрела на своих односельчан, обернулась, улыбнулась нам и прощально помахала рукой.

1966

В БОЛОТЕ

Однажды по газетным делам отправился я в село Бузиново, лежащее в лесной стороне за Тумой. Дорога в Мещере только одна — от Рязани до Касимова. Он покрыта камнем, большей частью даже асфальтирована. Но в сторону, проселками, да еще в дождливую пору проехать куда-нибудь — проблема.

До Тумы добрался я сравнительно легко, а дальше призадумался: идти пешком, на ночь глядя, и далеко, и дорога незнакомая.

— Сколько до Бузинова будет? — спросил я на улице.

Один ответил:

— Пятнадцать километров.

Второй сказал:

— Двадцать верст.

А третий любезно взял меня под руку и пояснил:

— Здешние дороги мерил черт да Тарас, но у них цепь оборвалась.

В чайной за мой пустынный столик подсел дюжий одутловатый мужик в фуфайке, заляпанной мазутом, и в серой грязной кепке, натянутой по самые уши.

— Проездом, значит? — смерил он меня с ног до головы быстрыми круглыми глазками.

— Да вот, в Бузиново надо. А попутчиков нет.

— Хотите, на «газике» довезу? Поллитру «райкомовской», да вторую — для сугреву в дорогу. Разопьем вместе,— предложил он.

«Райкомовской» водкой называют здесь перцовку, потому что от нее не пахнет. Мы распили одну в чайной, вторую прихватили с собой и поехали...

Недалеко за Тумой мы встретили странный поезд,— пересекая наш проселок, прямо по полю шел гусеничный трактор: за ним, подпрыгивая, колыхаясь с боку на бок, волочился на буксире грузовик. В кузове на мешках с мукой сидели мужики и бабы в телогрейках и брезентовых плащах. Хоть и стояла ранняя осень, но погода была дождливой и ветреной. Поравнявшись с нами, трактор остановился.

— А чё по дороге-то не едешь?—спросил шофер тракториста.

— И тебе не советую!—кричал тот, высунувшись из кабины.— Полем лучше... Цепляйтесь ко мне!— приветливая улыбка так и не сходила с его чумазого лица.— Доставлю вас на буксире прямо по полю. Вам куда?

— В Бузиново.

— И я туда.

— А как добираться обратно?

— И обратно на буксире. Завтра молоко повезу в Туму. Я хожу только напрямки—вот так!—рубанул он ладонью в направлении невидимого села.— А лесом не советую. Засядешь на дороге-то.

— Не пужай!.. Чё везешь?

— Муку. В пекарне хлеб кончился. Довезем!—весело крикнул на прощание приветливый тракторист и помахал рукой.

— Может быть, мне лучше к нему пересесть?— спросил я шофера.

— Да ну! Мокнуть будете на мешках. Вон как туча замывает. Я вас с удобством доставлю... Вездеход!

Погода и в самом деле хмурилась на дождь. Над мокрыми сумеречными полями, обгоняя нас, низко летели растрепанные грязные облака: где-то впереди, у горизонта, над тощим леском они сгруживались в темную тучу, словно поджидая нас: «А вот мы вас, голубчики, встретим ужо». Туча все росла, раздавалась в стороны, нахлобучивая поля. И вскоре стало совсем темно.

Возле леса «газик» приостановился,— шофер выглянул из кабины и напряженно всматривался в темноту. Легкий сквозной березнячок, казавшийся издали таким мелким и реденьким, теперь сомкнулся, потемнел и вырос до самых облаков, подпирая сизую навалистую тучу угловатым контуром, словно рваная гранитная скала. И дорога

ныряла в него, как [redacted] пещеру, металлически поблескивая дегтярной водой огромной лужи.

— А не засядем в лесу-то? — спросил я с опаской шофера.

— Ничего, выкрутимся...

Пантелеевич, как назвался мне шофер, прибавил газу и свернул на обочину. В свете фар замелькали то жиденькие стройные березки, то голенастые, какие-то нагие, сосны. «Газик» ошалело заметался между ними, чудом не натыкаясь на стволы своим тупым рылом. Пантелеевич, огромный, погибистый, по-медвежьи накрыл баранку и крутил с таким остервенением, словно хотел напрочь оторвать ее [redacted] выбросить. Мы проваливались [redacted] какие-то колдобины, подминали кустарник, разбивали вдребезги лесные болотца. Нас так трясло, словно машину взял [redacted] руки сам леший и решил вытрясти из нее все содержимое.

Но мы ехали, курили, вели пустячный разговор.

— И чего тебя несет в это Бузиново? Ну что хорошего можно почерпнуть там, к примеру, областного масштаба? Да еще в газету! Одни пустые хлопоты у тебя выйдут,— говорил мне Пантелеевич.

— Там фабрика ткацкая... Хочу посмотреть.

— Что это за фабрика? Артель «Напрасный труд». Они на деревянных станах ткут тик на матрасы.

— И управляются?

— А чего ж мудреного? Тут испокон веков заведено тканье. В Алексеевке еще надомные ткачи сохранились. И тоже фабрикой называется. Смех!

— Что ж они зарабатывают на этих станах?

— Рублей тридцать — сорок заработают. И то хлеб. Кормиться-то надо.

— Небогато.

— В колхозе и того не зашибешь. А станы кормят. Обижаться попусту нельзя. Оно, конечно, кому как... Для областного масштаба, [redacted] газету ежели, чего там почерпнешь? Газете нужен передовой настрой. Главная линия. А у нас тут что за линия? Болота одни да грязь непролазная.

Уже просвет на лесной опушке показался, когда мы выехали на дорогу — и сразу «газик» остановился. Фары выхватили из темноты огромное болото. Мы вылезли из машины; Пантелеевич выломал палку и, осторожно ощупывая ею дно, пошел [redacted] болото. Его резиновые сапоги

быстро погрузились по колена. Он вышел из болота, сошел с дороги вправо, влево, вернулся назад.

— Нет, не объехать,— сказал он озабоченно.— Деревья больно часто стоят. И в болоте погрузнешь по брюхо. Мотор заглушишь. Придется нам, парень, назад шуровать. Утро вечера мудренее.

— А далеко еще до Бузинова?

— Верст пять будет.

— Тогда я пешком пойду.

— Тебя что там, теща ждет?

— Крестник... будущий.

— Тогда давай хоть обогреемся в дорогу. Раздавим вторую поллитру. У меня тут помидор припасен.

— Оставь на похмелье!

Я обошел стороной болото и вышел снова на дорогу. Пантелеевич переключил фары на дальний свет и освещал мне путь до самого угора. Я шел по середине глинистой дороги, как по тропе, по бокам поблескивали глубокие колеи, наполненные до краев водой. Видимо, по ней давно уж никто не ездил.

На самом угоре я остановился. Пантелеевич хрипло посигналил мне, а я в ответ помахал ему кепкой и спустился вниз. Темнота окутала меня кромешная. После света фар я долго не мог различить не только дороги, но даже неба. Ощущение было такое, будто я попал в подпол и надо мной захлопнули крышку. Резко пахло землей и какой-то затхлой сыростью. Я шел на ощупь по скользкой горбине дороги, поминутно оступаясь то в левую, то в правую колею. Резиновые сапоги раскатал на всю длину, и все-таки брызги попадали за голенища. Мокрые штаны прилипали к ляжкам, отчего по всей спине пробегали мурашки, так что лопатки сводило.

Хлынул дождь... Я поднял воротник плаща, плотнее нахлобучил кепку и прибавил шагу. Теперь вроде бы и повидняло, по крайней мере я различал по шуму дождя, где вода, а где нет. Но вот беда — дорожные колеи стали разбегаться в разные стороны и сплошь пропадать в мелких болотах. Болота я переходил без особых затруднений, но всегда ошибался в выборе направления дороги; она выныривала из болота непременно где-то сбоку, и немалых трудов стоило отыскать эти заполненные водой параллельные колеи. Несмотря на дождь и холодный ветер, я вспотел и расстегнулся.

Теперь уж я и сам не знаю, как все это случилось,— но

я заблудился не в лесу, не в поле, а в болоте. Болото как болото — поначалу мелкое, шел по нему и вроде бы дорогу чуял под ногами — колеи. Потом провалился один раз по пояс, второй — нахлебал в сапоги воды, повернул назад — шел, шел, а берега все нет. И глубина — в пояс. Повернул направо, налево — куда ни пойду, везде глубоко... Сапоги держу за голенища — под самый пах натянул, а чуть оступишься, глядь,— и опять залил через край. Идти напролом — плюнув на то, что заливает? Но куда? А если там еще глубже?.. Плыть? Далеко не уплывешь в плаще да в резиновых сапогах. Да и куда поплывешь, когда в трех шагах ничего не видно?

И вот я остановился посреди болота, стою почти по пояс в воде, держусь за голяшки сапог,— хвост плаща в воде, кепка промокла, вода течет по вискам, по шее за шиворот. Стою в кромешной тьме, посреди ночного безмолвия — только тихий шум дождя о воду, как шелест листьев. Поначалу я все озирался по сторонам — в надежде увидеть берег или хотя бы какой-нибудь предмет. Потом как-то внезапно и остро сообразил, что забреди я поглубже, выбейся из сил,— кричи до хрипоты, никто не услышит, никто не придет на помощь. И мысль, что можно утонуть в этом грязном и паршивом болоте, наполнила меня холодным отчаянием. Я вспомнил почему-то прочтенную в детстве историю о том, как охотник попал в волчьи капканы. Сам поставил и сам же попал в них. И рисунок вспомнил, как он лежит беспомощный, вытянувшийся во весь рост — руки и ноги скованы железными челюстями капканов. Эта картина часто преследовала меня в детстве: я переживал все это, как будто сам попал в эти капканы: более всего меня поражала при этом беспомощность человека, что помрет он от голода, и еще то, что никто не знает и никогда не узнает про это. Вот эта беспомощность — тебя могут терзать волки, мучить голод, а ты ничего не можешь, и никому до этого нет дела,— меня просто угнетала.

И, стоя посреди болота, я пережил нечто похожее на то мое детское отчаяние... Мне хотелось бежать и бежать без оглядки из этого проклятого болота, но какая-то сила сковывала меня. Я стоял, понуро ссутулившись, слушал, как хлюпала кругом вода, и память услужливо подсовывала мне полузабытую чертовщину.

«Намедни Левку Головастого на каменском болоте нашли... Еле отходили. Закоченел совсем и воды нахле-

бался... Как он там очутился? Черти отвезли. Иду я, грит, в Ефимовку, домой,— догоняют меня в поле на тройке с бубенцами. Тпру! Садись, Левка, подвезем! И ребята вроде знакомые... Веселые! Сел я — и понеслось, замелькало — где земля, а где небо — не поймешь. Песняка наяривают. И я с ними заодно... Вроде бы и гармошка была... А вот как в болоте очутился, убей, грит, не помню. То-то и оно-то... Не пей в сумерках-ти. Не броди по дорогам. Смутное это время — самый разгул для чертей...»

«Они с целью заводят людей в болота. С це-елью... И в озере кто утонет или в пруду — тожеть их дело. А почему? Потому как ездят они на этих утопленниках. Ты думаешь, из кого черти тройки набирают? Из утопленников. В коренники мужики идут, а на пристяжку бабы. Намедни к Петьке Карузику заехали ночей: «Подкуй лошадь!» Он завел ее в станок, взял заднюю ногу — ан не копыто, а пятка... Новенький, значит, у них. Объезжали. Накануне как раз Мишка Коровятник утонул».

«А откуда взялся этот Пантелеевич? Кто он такой? — начинаю поневоле думать я.— Он даже фамилии своей не назвал. А в каком он колхозе работает? Почему не поздоровался с ним тракторист? Где он живет? Ничего не сказал...»

Я вспомнил, как подошел он ко мне в тумской чайной: сутулый, плечистый, одутловатое красное лицо, глубоко посаженные медвежьи глазки. «Проездом, значит»,— сказал он. Откуда он знал, что я проездом? А может, я по делам в Туму приехал? Ведь я никому не представлялся. И почему к нам никто не подошел, пока мы сидели и пили? Ведь за столиками было полно народу. Кругом теснота, а у нас свободно. Если он и в самом деле работал в Туме или в ближнем колхозе, так ведь нашлись бы у него и знакомые. По крайней мере кто-нибудь поздоровался бы с ним. Никто не подошел, никто не подсел к нам... «Ах я идиот! Ну с кем я связался?»

«Да глупости, глупости все это,— отмахивался я.— Нет, погоди, погоди... Если бы он был здешний, неужели он не знал, что по дороге в Бузиново проехать нельзя? Ведь знал бы. Шофер не сидит на печке. Конечно, знал! Недаром его тракторист предупредил, а он только усмехнулся...»

«Да ерунда... Просто понадеялся на себя. Не впервой, мол, проскочим».

«Ага, а то он из Рязани приехал? Не знал, что за лесом болото? Да что там говорить. Ему в любом случае надо было отдать меня трактористу. И меня не мучить, и себе не рисковать.

В любом, если бы он был добрым человеком...»

«Ну, какая чепуха! — пытался я урезонить себя.— Ведь он сам рисковал засесть в лесу».

«Рисковал, да не засел. В том-то все и дело. Ехал по лесу целиком, по кочкам, по кустарнику, и не засел! Скажи я кому-нибудь — не поверят! Засмеют! А потом еще и посветил мне, посигналил — лезь, милок, прямо в болото! Ах я идиот, ах идиот... Ну, кому я доверился, кому?»

«Постой, да он и фуражки не снимал ни разу. Да, да, не снимал... И в чайной за столом сидел в фуражке...»

— Но-о! Ё-кэ-лэ-мэ-нэ...— раздалось где-то сзади, совсем близко.

Я обернулся и замер: шагах в десяти от меня что-то чернело: дерево — не дерево, человек — не человек. Вроде бы слишком высокий, и прямо на воде стоит. Меня словно толкнул кто-то, словно в ухо дунул и явственно сказал: «Вот он!» Да, это был он — Пантелеевич, высокий, плечистый — стоял на воде, широко расставив ноги. Я хотел крикнуть, но не смог и попятился назад.

— Да ну же, бегемот! Чего стала!

Захлюпала вода, громыхнуло дровяным стуком колесо, и черный человек колыхнулся, поплыл над водой, растопырив ноги. Да это ж повозка!

— Стойте! — закричал я и бросился к повозке.

Я бежал, разбрызгивая воду, будто на мне был водолазный костюм.

— Стойте!

— Стою, хоть дой,— ответил насмешливо сверху возница.— Откуда тебя вынесло, Христос с тобой?

Он стоял на двухколесной таратайке, держась за вожжи.

Я ухватился одной рукой за нахлестку, вторую подхватил возница и вытянул меня наверх.

— Держись за меня,— сказал он, потом обернулся к лошади и натянул вожжи.— Н-но! Ё-кэ-лэ-мэ-нэ...

Таратайка дернулась и закачалась, словно на волнах поплыла. Лошадь шла по брюхо в воде, все глубже и глубже погружаясь, вскинув морду и тревожно навострив

уши. На миг мне показалось, что это не уши, а рога. Я вцепился в брезентовый плащ возницы и крикнул:

— Куда ты правишь?

— Не кричи! Лошадь сама знает. Не замай! Она вывезет. Вот что натворили дожди-то — прямо потоп вселенский. Н-но! Ё-кэ-лэ-мэ-нэ.

Только теперь я почуял, как дрожало у меня все внутри, как ходенем ходили руки и щелкали зубы. В коленях появилась какая-то расслабленность, словно они ватными сделались. Ужасно хотелось сесть. Я крепче держался за возницу, пытаясь унять хотя бы дрожь в пальцах, и не мог.

— Озяб, что ли? — спросил возница.

— Да.

— А ты встань на нахлестки,— сказал он, обернувшись ко мне.

— У меня сапоги резиновые. Да вроде бы мельче становится.

— Она вывезет. Лошадь — скотина тонкая.

— Вы случаем не знаете шофера Пантелеевича из Тумы?

— Кто ж его не знает! Энтот атлет. Машину за передок подымает... А что?

— Да так...— Мне стало стыдно своих недавних страхов и подозрений, я замялся и спросил: — А вы сами-то кто? Кем работаете?

— Я из пастухов. А теперь осеменителем работаю.

— Каким осеменителем?

— Искусственным. Быков теперь перевели, вот я и занимаюсь с коровами. С луговой фермы еду. Раньше там быка держали. А теперь говорят — нельзя. Вредно! Наука, она свою струю ведет. По-новому, значит.— Он помолчал и потом спросил: — Как ты здесь очутился?

— Заблудился.

— Откуда шел?

— Из Тумы.

— Из Тумы? Вон что! А на луга уто́пал... под самое озеро.

— Дорога увела.

— Это черти тебя завлекли,— сказал он серьезно.— В этом болоте и утонуть не мудрено. Н-но! Ё-кэ-лэ-мэ-нэ.

1964

АНОНИМ

Я вынул из кармана тетрадный листок, развернул его и подал председателю месткома:

— Можете определить, кто писал?

Листок был плотно исписан крупным неровным почерком — буквы валились кучно то вправо, то влево, как будто в нетрезвом виде хороводную танцевали.

Председатель сначала посмотрел на листок, потом на меня,— выражение его сухого, желчного лица было хмурым и подозрительным.

— А кто вы сами? — спросил он.

Я подал ему свой писательский билет. Он, не торопясь, надел очки, раскрыл билет, сверил фотографию — похож ли? Потом стал перелистывать, смотреть уплату членских взносов.

— Билет ваш недействителен,— сказал он наконец.

— Почему?

— А печати за нынешний год нету.

— Членские взносы еще не заплатил.

— Вот, вот...

— Ну и что? Билет выдается на всю жизнь.

— Интересно! — его морщинистое лицо оживилось, теперь он глядел на меня исподлобья, через очки, с веселым удивлением.— А ежели я, к примеру, в прошлом годе в милиции работал? Так что ж, и теперь мне положено носить милицейское удостоверение?

— Носите себе на здоровье.

— У нас место работы по наследству не выдается на всю жизнь.— Он встал [redacted] упор поглядел на меня: — Есть у вас еще какие-нибудь документы?

Я вынул командировочное удостоверение от газеты,

потом паспорт. Он рассматривал все тщательно и долго, наконец вернул мне документы и пригласил к столу.

— Значит, в редакцию написали? Аноним! Сейчас мы его раскусим.— Он взял тетрадный листок и стал читать: — *«Как вам небезызвестно, в селе Алексашине на ткацкой фабрике директор Васютин женщин при себе держит. А которые ему не поддаются, на мотание шпулей перегоняет...»* — он и дочитывать не стал.— Ясно, как божий день,— Демушкин написал.

— Кто он такой?

— Ткач. На дому работал. А в прошлом годе мы все домашние станы на фабрику перевезли... В цех. Вот он и обиделся.

— Как вы догадались, что Демушкин писал?

— Очень просто. Демушкин жалобы во все концы пишет — и в райком, и в милицию, что его незаконно в цех перевели. И все жалобы начинает одинаково: «Как вам небезызвестно, в селе Алексашине...» и так далее. Сказать вам по секрету, он еще в колхозе жалобы на всех писал. У меня все на учете.

— Но вы же сказали, что в прошлом году в милиции работали?

— То в прошлом. А в позапрошлом году я здесь, в колхозе, парторгом был. Когда от колхоза фабрику ткацкую отделили, должность парторга закрыли. Меня — в милицию направили. А когда район закрыли, меня из милиции обратно сюда, на фабрику, председателем месткома перевели. Понятно?

— Значит, эта фабрика раньше при местном колхозе была?

— Ага! Ткацкой артелью считалась. Ну, чтобы рабочий класс с колхозным крестьянством не путать, ее и отделили. Директором прислали Васютина. Он раньше в райисполкоме работал. Ну, а район, естественно, закрыли. Вот какая перестановочка получилась.

— Откуда же ваши ткачи? Бывшие колхозники?

— Конечно. Но вы не подумайте, что колхозу не помогаем. Помогаем, еще как... У меня самого восемьдесят трудодней.

— Ничего не понимаю... Тогда зачем же ткацкую артель отделили от колхоза, если все там работаете?

— Дак не работаем, а помогаем. Что значит зачем? Политика такая. Колхоз, он и есть колхоз... Должен в землю глядеть то есть, а не на производство. Чтоб

внимание от земли не отвлекать. Ответственность выше. Понятно?

— Уяснил... Пойду разыщу этого Демушкина.

— А я вас сопровожу.

— Нет уж, пожалуйста, без сопровождения. Я пойду один.

— Ну, как знаете.

Он опять посмотрел на меня исподлобья через очки, и лицо его стало хмурым и обиженно-постным.

Фабрика «Возрождение труда» размещалась в длинном двухэтажном доме да в какой-то невысокой бревенчатой пристройке, похожей не то на амбар, не то на ригу. На первом этаже стояло десятка полтора древних платтовских станков, выпущенных еще в начале века. Все они так тряслись и так грохотали, словно каждый участвовал в странном состязании — кто скорее развалится. Я поднялся на второй этаж; здесь длинными рядами, вплотную друг к дружке, застя частыми решетинами свет, стояли деревянные станы. Ткачихи сидели на узких донцах, склонив головы, так что сзади были видны одни спины; заведенно сновали босые ноги, точно глину месили, ритмично дергала левая рука «погонялку», и затравленной зверюшкой метался из стороны в сторону челнок. Скорее, скорее! Хлопали подрешетники, стучало бердо, слегка содрогались рамы... Скорее, скорее! А в воздухе плавали розовые и белые хлопья, липли к одежде, набивались в нос, першили в горле...

Ко мне подошел мастер в длинном белом фартуке, мельком взглянул на мой билет, любезно улыбнулся, обнажая тусклые стальные зубы:

— Вы по какой части? Чем интересуетесь то есть?

— Да вот на ручные станы хочу поглядеть. Признаться, давненько не видывал. С детства!

— У нас один такой стан в Ленинград взяли, в музей,— не без гордости сказал мастер и с охотой начал объяснять немудрое устройство стана: — Батан, бердо, ремиз... Тут всякая вещь под названием.

В конце зала сидело четверо ткачей.

— Который из них Демушкин? — спросил я мастера.

— А вон тот, лысый, что у окна сидит.

Я подошел к Демушкину, склоненному за работой, и спросил на ухо:

— Это вы писали в редакцию?

Он перестал ткать и с минуту сидел недвижно, словно я его оглушил дубиной по голове.

— Вы или нет?

— Не знаю, про что вы говорите,— он наконец обернулся.— Я у вас лучше вот что спрошу: к примеру, человек на фронте ноги обморозил... Имеет право он на дому работать или нет?

— Конечно.

— Правильно! Вот про это я писал и председателю колхоза, и директору фабрики.

— Почему тому и другому? Вы кто, рабочий или колхозник?

— Да ведь оно с какой стороны поглядеть...

— Работаете [redacted] поле?

— А как же. Помогаем.

— Сколько зарабатываете?

— В колхозе ничего не платят. Болота́ выделяют за работу. Ну, выкашиваем.

— А на фабрике сколько зарабатываете?

— Да когда как...

— В прошлом месяце сколько вы получили?

— В прошлом месяце я на лугах работал.

— Фу-ты, господи! Ну [redacted] позапрошлом?

— Не помню уж... Дело давнее,— он смотрел на меня с детски простодушным любопытством.— Какой там заработок! У меня, парень, пальцев у обоих ног нету.— Он зачем-то отстегнул свой полосатый тиковый фартук, снял резиновые сапоги, размотал такие же тиковые полосатые портянки и стал осторожно стягивать красный носок.

Я смотрел на его щуплую угловатую фигурку в просторной суровой рубахе, на его желтую лысину, на скуластое, бледное, испитое лицо, на котором застыла лукавая улыбка, и никак не мог определить — в насмешку он это делает или всерьез.

— Зачем снимать? Я верю. Не надо...— остановил я его.

— Как знаете,— он все-таки отогнул носок и ткнул в мою сторону кулапой ступней.— Можно с такой ногой ходить каждый день за четыре версты? А! На фронте обморозил ногу-то, не где-нибудь.

— А что вы хотите?

— На дому работать.

— Как то есть на дому?

— А вот так... Стан поставил — и валяй.

— От стана пыль, хлопья. Это ж вредно для здоровья.

— Да мы привыкли. Мы все при станах выросли и в люди пошли. А ты — вред. Я бы дома-то разве столько наткал? Где и вечерком поткешь, а где и ночью; не спится — встанешь да так нахлыщешься этой погонялкой-то, что без задних ног засыпаешь. А тут, в цехе, более пятидесяти рублей сроду и не заработаешь,— наконец выдал он «секретную» цифру своего заработка.— Теперь мужикам один выход — бросать тканье да в отход итить.

— А в отходе больше зарабатывают?

— Пожалуй, поболе. Но ты поехай на сторону... Заработаешь чего — так половину проешь да проездишь. А там и останется грош да копа. Да и куда мне на сторону с моими ногами?

— Неужели вы серьезно считаете, что весь выход в надомной работе?

Он как-то значительно посмотрел на меня, ответил не сразу.

— Если говорить всурьез, то работать на земле надоть. А ткацкое дело чтоб в подспорье шло, как в старину. Вёдро — в поле старайся, а облак налетел, дождем прибьет землю — шагай в цех, кто домой — тки. Зимой делать нечего — опять тки. За работу в поле тожеть платить надо. Тогда земля себя оправдает. И тканье хорошее подспорье,— ноне матрасы, завтра мешки, послезавтра чего другое. Оно и пойдет дело-то вкруговую, внахлест, значит. А теперь что? Вот вы сказали, что дома вред от стана. А здесь? Свели нас до кучи... Али тут не вред? Вон хлопья-то несет, как в хорошую метелицу. Да что говорить! Ничего от этого не выгадали. Только начальства поболе стало. А в колхоз все равно гонют.

Он скрутил цигарку и вдруг, без видимой связи, перевел разговор на землю:

— Луга ноне в воде. Вот по коих пор вода,— он провел ладонью выше колен.— Трава — одни макушки поверху. Мы и сшибаем их. Кабы зима ранняя не ударила. Вот запоешь! Коров придется сводить.— Он затянулся дымом и задумался.

— Семья-то большая?

— У нас семья и в работе подспорье.

— Дети помогают?

— А как же! У нас работа не только в цеху. Тут я за станом тку семь часов. А дома надоть шпули намотать, подготовиться... Значит, часа четыре ребятишки мотают.

Видишь, оно у нас, дело-то, по-артельному поставлено. Одна видимость фабрики то есть.

— А если домашних нет?

— Тогда все самому надоть.

Я подозвал мастера, который вертелся возле нас:

— Скажите, сколько часов работают ваши ткачи?

— Семь часов...

— А где шпули они мотают?

Он замялся, поглядел на Демушкина, тот отвернулся и дымил, как паровозная труба.

— У нас есть тут пристройка...— сказал мастер.— Там наматывают шпули для платтовских станков.

— А для ручных станов где мотают?

Мастер опять посмотрел на Демушкина.

— А ручные станы в подспорье стоят. Они вроде как сверхплановые. Матрасы ткут — и больше ничего. Кули еще.

— Это неважно.

— Как неважно? Такую продукцию на поток не поставишь... индустриальную основу чтобы... А здесь на добровольных началах.

— Да боже мой! Где они шпули мотают?

— Ну где?.. На дому.

— Понятно. Пожалуйста, оставьте нас вдвоем.

Мастер отошел.

— Вы мне больше ничего не хотите сказать? — спросил я Демушкина.

Тот покосился на спину мастера и понизил голос:

— Ежели вы насчет женщин интересуетесь, которых притесняют, тогда пройдите в пристрой. Там есть Полька Мокеева. Только я ничего не писал и знать не знаю...

Пока мы разговаривали с Демушкиным, ткачихи переглядывались, делали какие-то таинственные знаки руками и наконец все перестали работать. Наступила непривычная тишина. Я шел к выходу и спиной чувствовал, как сверлили меня любопытные взгляды. И летел за спиной приглушенный говорок:

— Из райкома, что ли?

— Говорят, из газеты, Демушкин стукнул.

— Ну? Теперь его Васютин проглотит.

— А может, подавится?

Перед деревянной пристройкой меня догнал мастер.

— Вы Мокееву ищете? — торопливо спросил он.

— Я?!

— Мне Демушкин сказал, будто вы у него выспрашивали. Я сейчас позову.

И не успел я остановить его, как он растворил дверь и крикнул:

— Поля, выйди на минуту!

На пороге появилась женщина лет тридцати, в синей кофте и в цветной косынке. Она была недурна на лицо, и фигура еще сохранилась, особенно бросались в глаза ноги — сильные, хорошо развитые в икрах, и тонкие, сухие в лодыжке, обхваченные белыми носочками, словно забинтованные перед пробежкой. Вся она так и располагала, манила к себе; и только черные, узкого разреза глаза ее смотрели недоверчиво и диковато.

— Товарищ из газеты к тебе,— сказал ей мастер, улыбаясь.— Ты писала?

— Я никому не писала и никого не звала,— ответила она резко и неприязненно посмотрела на меня.

— Здесь какое-то недоразумение. Я вовсе не утверждал, что вы писали.

— Тогда чего же вам надобно от меня? — спросила она строго.

— Просто поговорить хотелось...

Она едко усмехнулась и сложила руки на груди:

— Ну, поговорите.

— Вы давно работаете на фабрике?

— Пять лет.

— В каком цехе?

— На механических станках.

— А теперь?

— Шпули мотаю.

— Почему вас перевели на шпули?

— У директора спросите. Ему видней,— она повернулась и ушла в цех, хлопнув дверью.

Я посмотрел на мастера. Он пожал плечами и скривил губы:

— Видите ли, она страдает от одиночества. И потому ей мерещится всюду, будто ее мужики преследуют.

— С чего бы это?

— Муж ее бросил. Тут у нас был киномеханик, артист. Ребенка оставил ей, а сам сбежал. С той поры она и сделалась вроде бы ненормальной. Все ей кажется, что мужики к ней пристают. Она и вас за такого приняла.

— Ладно, разберемся.

— А что, неужто письмецо вам прислали?

— Вы по заданию следите за мной или так? — не выдержал я.

— Одно мое любопытство, и больше ничего,— смиренно ответил он.

Я вышел на фабричный двор. На высоком конторском крыльце стоял, как гусак на дозоре, председатель месткома. Увидев меня, он юркнул в контору. Взойдя на крыльцо, я обернулся — на фабричном дворе стоял мастер и наблюдал за мной, а из дверного притвора густо выглядывали ткачихи.

Директор на этот раз оказался в кабинете. У него сидел председатель месткома да еще двое, про которых директор коротко сказал:

— Наш актив. Знакомьтесь.

Один из актива, высокий прыщеватый парень в фуфайке и в резиновых сапогах, оказался красильщиком, второй — громадный, краснолицый, словно ошпаренный кипятком, в суконном мятом пиджачке и в парусиновых туфлях, был завскладом.

А директор был нарядный, как снегирь: оранжевый джемпер, желтый галстук, пиджак пестрый в клетку и венец этого великолепия — серая зимняя шляпа немецкого фасона с приплюснутой тульей и с простроченными краями. Он встретил меня на пороге и достойно приподнял шляпу.

Говорил больше сам директор: худой, рыжий, с крупным носом и белесыми ресницами, он постоянно распахивал свой пиджак, картинно обнажая оранжевый джемпер.

— Между прочим, в наших местах писатель Куприн побывал. Описывал... Значит, со времен писателя Куприна наши селы полностью изменили свой облик, то есть электрифицированы, радиофицированы и тому подобное. Между прочим, видите напротив дом с мезонином? Фельдшер построил, сам,— он указал в окно.

Дом и в самом деле стоял с мезонином и весьма приличный.

— Интересно! Помните, как в рассказе Куприна фельдшер культурно развлекается? Водку с ландышем пьет, волкам подвывает... Черт-те что!

Актив засмеялся.

— Все изменилось, все! — патетически произнес директор.

— Да, это верно,— сказал завскладом, глядя на свои

туфли.— Молодежь у нас хорошая. Все больше в образование идет. Здесь мало кто остается.

— Ну, мы не жалуемся. Рабочих у нас хватает,— сказал директор.

— А с колхозом у вас какие отношения? — спросил я.

— Помогаем. Каждый ткач должен отработать сто трудодней.

— Они что, колхозники?

— Бывшие. А есть которые и с паспортами,— ответил председатель месткома.

— Как им платят за работу в колхозе? Среднемесячный заработок?

— Нет, они на трудодни получают в колхозе,— ответил директор.

— А что платят на трудодни?

— Посчитать можно,— Васютин прикрыл на минуту глаза.— Если считать все со всем, то, пожалуй, по рублю выйдет. Приблизительно...

— А вы поточнее скажите, сколько дали ткачам на трудодень в этом году?

Директор вытянул трубочкой губы:

— Ну, в этом году еще не платили.

— А в прошлом?

— И в прошлом денег не давали...

— А зерно?

— Зерно? Зерно не положено, потому как не колхозники,— оживился директор.

— Так чем же им платят?

— А вот картошку копают — одна десятая часть идет им. Сено дают,— торопливо подсказывал председатель месткома.— Усадьбы у них большие. И это в счет.

— Да, да! В этом году залило лесные луга... Так им, знаете, вместо сена болота отдали. Вот они и буркают в них,— засмеялся Васютин.— Частная жилка еще сидит в них, сидит...

— Ого! На себе выносят траву-то... По пояс в воде,— заулыбался председатель месткома.— Пупок готовы надорвать, если для себя. Вот народ!

— Жадность! А ведь у нас зарабатывают помногу — и по семьдесят и по восемьдесят,— сказал Васютин.— Да что ж мы сидим? Пошли к народу! Сами убедитесь. У нас такие передовики, что в счет будущего года работают.

Мы всей гурьбой вышли на крыльцо. И тут нас неожиданно встретила целая толпа ткачей. Они сгруди-

лись перед конторой — больше все бабы. Пелагея Мокеева стояла поодаль, возле забора, рядом с ней покуривал Демушкин. Я сошел вниз, но Васютин и его актив остались на крыльце. Обе группы выжидающе притихли.

— Вы что-то пришли сказать? — обратился я к толпе.

Глядели наверх, на Васютина, меня вроде бы не замечали.

— По скольку часов вы работаете? — спросил я переднюю широколицую женщину в толстой клетчатой шали.

— Она у нас не работает! — крикнул председатель месткома.

Толпа разом зашевелилась, полетели возгласы:

— А сколько она отработала!

— Сколько тику наткала!

— И пенсию не дают!

— Это как рассудить?!

— Не заслужила,— ответил с крыльца директор.

— Это я-то не заслужила! — азартно стукнула себя в грудь женщина в шали.— Бесстыжие глаза твои, Васютин.

— Обманывать государство не надо! — крикнули сверху.

— Вы обманываете государство, вы! — неслось снизу.

— Пустые слова,— сказал Васютин.

— Ах, пустые! А кто нас каждый месяц на работу в колхоз гоняет? Кто?!

— Ну и что? При чем тут государство?

— Вы ему очки втираете, будто сам колхоз справляется.

— Все мы обязаны помогать колхозу.

— А кто платить будет?

— У меня что, частная лавочка?

— А это как, по одиннадцать часов вкалывать?!

— Где это вы по одиннадцать часов вкалываете? — повысил голос директор.

— То ты не знаешь? Здесь, у стана навалтузишься и дома шпули до полуночи мотаешь!

— А я вас не заставляю надомничать. Вы что хотите, чтоб я приказ отдал — в цехе шпули мотать?

— Ну да... Убей нас, убей!

— Что ж мы тогда заработаем?

— И так в колхозе работаем за кукиш...

— Не я же, а вы колхозники! — кричал теперь директор.— Вот и спрашивайте там за работу.

— Не туда гнешь, Васютин. Ты нас тасуешь, как в картежной игре. Вот на что ответь! — грозила пальцем баба в толстой шали.

— Ты уж помалкивай! — набросился на нее директор.— Тебя уволили за воровство? Вот и ступай кричать к своему дому.

— Это я воровка? Пес ты, Васютин, пес! Ты свою подстилку за станки поставил, а Польку Мокееву на шпули перегнал!

— Ты ответишь за такое оскорбление!

— Нет, ты ответь! За что ты бабу обидел? У нее же дите малое!

— Она ему по носу хряпнула.

— Глаза ему выцарапать мало!

— Марфа, хватай его за штанину!

— Бабы! Айда на крыльцо!!!

Ткачихи, крича и размахивая руками, кучно подступили к крыльцу. Васютин побледнел и попятился к дверям.

— Ну что ж, входите... только по одному. Прошу! — он указал на дверь и скрылся в сенях.

В дверях встали тучный завскладом и красильщик в фуфайке.

— Пожалуйста! — любезно приглашал ткачих председатель месткома.— Проходите по одной! Значит, показание сделаете. Акт составим, распишетесь. Вот и представитель печати здесь,— кивнул он на меня.— Все честь честью.

— Ну, кто первый?

От толпы отделилась баба в толстой шали и как-то робко протиснулась между дюжей дверной стражей.

— Кто еще? Ну, пожалуйста!

Желающих больше не находилось. Толпа молчала.

— Может, вы сами попросите? — обратился ко мне председатель месткома.— Вот товарищ корреспондент. Приглашайте. Только по порядку.

Я отыскал глазами Пелагею Мокееву. Она все так же стояла возле забора и с усмешкой поглядывала на меня.

— Может быть, ты пройдешь, Поля? — спросил председатель месткома.

— После дождичка в четверг... когда соскучусь по вас.

Она отвернулась и, покачивая плечами, пошла к цеху. За ней, по-утиному переваливаясь, заковылял Демушкин, попыхивая своей самокруткой.

В кабинет директора мы вошли все вместе с активом, но председатель месткома уже изловчился где-то прихватить картонную папку.

— Значит, перед вами Матрена Бабкова, тысяча десятьсот четвертого года рождения, беспартийная, бывшая колхозница,— объявлял мне председатель месткома, указывая на Бабкову.— В прошлом году была уволена с фабрики за дебоши и за воровство.

— Это неправда! — крикнула она.

— А вот, пожалуйста, акт... Составлен участковым милиционером и свидетелями — мной и товарищем Свистуновым,— кивнул он на красильщика.— Полюбопытствуйте.

Увидев этот акт, Бабкова тяжело, шумно вздохнула и уставилась [redacted] пол.

— Очень тонко работала... Катушки из-под ниток после перемотки на шпули вываривала [redacted] соленой воде.

— Зачем? — спросил я.

— Хе-хе-хе! Может, ты сама скажешь, Матрена?

Бабкова только затравленно поводила глазами и стояла как парализованная.

— Ладно уж, помогу ей... Ежели выварить катушку в соленой воде, она прибавляет в весе. На сколько? — спросил он опять Бабкову.— Она забыла. На сто двадцать граммов. Значит, сто двадцать граммов ниток украдено. Это с одной катушки... А с десяти катушек уже кило двести. Это у них называется — процент отхода на угар.

— А вот другой акт,— он положил вторую бумагу на стол.— Полюбопытствуйте! Этот акт составлен месяц назад. Значит, мной — председателем ревкомиссии и двумя членами. На кого? — он посмотрел опять на Бабкову.— Хе-хе-хе! На Пелагею Мокееву. Влажность шпулей, которые приносила из дому, какая? Повышенная. Вот за что ее понизили. Как видите, у нас все на учете.

Матрена Бабкова вдруг стала всхлипывать и закрылась углом шали:

— Я тридцать пять лет отработала... А? И выгнать в шею! За что? За что?!

— За воровство, товарищ Бабкова.

— Собаки вы, собаки [redacted] есть...

— А вот за это вас надо еще и к ответственности привлечь.

— Валяйте. Мне все одно,— она тяжело пошла на выход, придерживаясь за стенку.

— Но пенсии нельзя же ее лишать,— сказал я директору.

— А мы ее и не лишали,— ответил он.— У нее стажа профсоюзного недостает. Она же в колхозе работала. Фабрика-то раньше артелью называлась.

— А колхозную пенсию почему ей не платят?

— Опять же не положено. Когда колхозные пенсии начислялись по закону, она уже в колхозе не состояла. Сама ушла.

— Куда?

— На фабрику.

— Эх вы, прохвосты! — сказала от порога Бабкова и вышла.

— Вот видите, ни за что оскорбляют! Сколько мы этих оскорблений терпим! А за что, спрашивается? — Васютин горестно вздохнул и участливо спросил меня: — Вам теперь все понятно, товарищ корреспондент?

— Понятно...

Я вынул из кармана анонимное письмо, порвал его, бросил в урну и вышел. Перед конторой было пусто, на улице ни души. Я спрыгнул с крыльца и услышал за спиной:

— А членские взносы все ж таки вовремя платить надо. А то мало ли какие недоразумения могут случиться. Это я вам по-дружески. Не обижайтесь.

1964

НА ПАРОМЕ

Толстый стальной трос, натянутый поперек реки, то опускался на глубину, вспарывая гребешки бегучих волн, то выныривал наружу, скользил, как удав, по чугунной тумбе парома и снова уходил под воду. Поскрипывал барабан старой лебедки. Старик паромщик цепко обхватил корявыми жилистыми руками деревянное правило.

— И-и-ип! — кряхтел он натужно, то опуская, то поднимая грубо затесанное кормовое весло.

Паром, черная неуклюжая посудина с толстыми низкими бортами, медленно полз поперек реки. На пароме стоял, широко расставив ноги, босой парень в гимнастерке и в солдатских брюках. Сапоги его валялись рядом. Он смотрел на высокий речной берег, где на перепаде, словно ласточкины гнезда, лепились новые дома с еще пустыми, черными оконными проемами.

— Ну чего ты глаза пялишь? Взял бы в руки правило... Помог бы,— сказал старик.— Видишь, на быстрине разворачивает!

— Это уж извини-подвинься. У нас как-никак разделение труда существует. Я тебе двугривенный заплатил, а ты меня на ту сторону вези.

— Обормот! Чему тебя только в армии учили? Цельный месяц баклуши бьешь.

— Человек имеет полное право на труд и на отдых. Закон!

— Законы вы знаете, но кто работать за вас станет? — Старик поднял правило, выругался, достал пачку «Прибоя», закурил.— Эх ты, Семен-Семен, на краешке поселен... Чтобы в двадцать лет баклуши бить!

— А может быть, я на работе, откуда ты знаешь? — нехотя отозвался Семен.— Может, у меня просто форма труда такая? Поверяющая, понял?

— Знаю я твою поверку... К дояркам на станы шастать по ночам. Вот не перевезу ночью, тогда запоешь по-другому.

— А я тебе в жалобную книгу впишу протест. Где хранится у тебя книга жалоб и предложений? А?!

— Балабон.

— Нет ее? Ай-я-я-яйй!.. И за чем смотрит ваш колхозный профсоюз?

Старик сплюнул за борт и выругался:

— Как только Любка тебя терпит?

— На почве взаимного интереса.

— По шее бы тебя.

— А это уж форма насилия. Капитализм то есть. А мы где живем? В свободном обществе. Понял?

— Валяй, валяй, пока цел. Не то я тебе покажу свободу.

Паром причалил к берегу. Семен спрыгнул, держа сапоги в руках, и подошел к сидевшему, свесив ноги с обрыва, пастуху.

— Любка на станах? — спросил Семен.

— Не знаю,— пастух и бровью не повел — лениво и безучастно глядел вдаль, за реку, курил. Низко, на самые брови его была насажена черная кепочка. Лицо все исшелушенное, белесое, в розоватых пятнах, как у людей, целыми днями слоняющихся на ветру да на солнце.

— А ты чего здесь сидишь? — спросил Семен.

— Мечтаю...

— Понятно.

Семен поманил одного из мальчишек, удивших неподалеку.

— Что, дядь Семен? — подбежал паренек лет двенадцати.

— Любка тут не проходила? — указал Семен на новые дома, стоявшие на высоком берегу.

— Вроде бы прошла.

— Сбегай, скажи, что ее ждут возле парома.

Паренек побежал в гору, а Семен, посвистывая, стал обуваться. От парома подошел старик, сел на глинистый выступ рядом с пастухом и сказал с усмешкой:

— Жди. Так она и прибежит сюда.

— А ты закон всемирного тяготения знаешь? — спросил Семен.

— Чего?

— Слыхал, что тело к телу взаимно притягивает?

— Это к твоему-то притягивает?

— Ну!

— Не бреши. Притягивает к тому, которое устойчивость имеет. Держится само по себе. А тебя ветер гонит, как лист осиновый.

— Мое счастье в земле зарыто,— ответил Семен.— Вот я и мыкаюсь, ищу его... Как раньше клад искали.

— Клад искали только дураки. Умному он сам в руки давался,— сказал старик.

— Как это сам? — недоверчиво спросил Семен.

— А вот так. Выходил на поверхность в виде зверя или птицы. То уткой, то поросенком, а то волом,— сказал старик.— Смотря по тому, какой величины клад.

— Это правильно,— подтвердил пастух.— Моей матери подвезло однажды. Давался ей клад, да не смогла попользоваться.

— Если давался, чего ж она не взяла? Рук, что ли, нет? — спросил Семен.

— Соображения не хватило,— ответил пастух.

— Ге-к! — ухмыльнулся Семен.— Какое ж нужно соображение, чтобы взять, когда в руки само дается? Другое дело — украсть... Тут надо шариками поработать.

— Да помолчи ты, пустобрех! — цыкнул на Семена старик и спросил у пастуха: — Как же он давался ей? При какой обстановке? Какой пре́дмет то есть? Вот что интересно!

— Я маленьким был... Еще в единоличном секторе жили,— сказал пастух.— Ездили мы с матерью на базар в Пугасово, поросят продавать. В обратный путь двинулись по-темному. Шли обозом. Наша подвода замыкала. Кобыла у нас жеребая была — гнать нельзя. Ну, ехали мы, ехали да отстали. Сперва я уснул, а потом и мать сморило. Вот просыпаемся. Что такое? Где мы? Огляделись — во ржах стоим. Уже светает. «Митька, где дорога-то? — говорит мать.— Тяни вожжи! Выгоняй лошадь на дорогу. Не то застанут нас во ржах — засекут». Какая там дорога! Я спросонья не очухаюсь. Не пойму никак — куда мы заехали? И вот тебе — глядим — козленок... Прыгает перед лошадиной мордой да все мля-як, мля-як... Маленький такой козленок, ну вот только объягнился. Я ей

говорю: «Мам, давай возьмем козленка домой!» А она: «Ты что, спятил? Откуда, спросят, у вас козленок? Что мы скажем? Украли!» Так он и прыгал вокруг телеги — все мля-як, да мля-як. А мы разобрали вожжи, хлыстнули лошадь... Она сама вывезла нас на дорогу. Оказалось — попово поле. Вон где, за Тихановом!

— Скажи ты на милость! На поповом поле! Во ржах!! Это клад, клад выходил,— сказал старик, покачав головой.— Надо бы его палочкой стукнуть. Или кнутом его стегануть — он бы [redacted] рассыпался.

— Чего? — усмехнулся Семен.— Козленок — и клад? Да просто от козы отбился. А вы клад! Антирелигиозную пропаганду забросили — вот в чем беда. Мохом суеверия обросли.

— Гляди ты, какой просвещенный,— обиделся старик.— Вон, целый месяц баклуши бьешь да к дояркам на станы бегаешь, как жеребец стоялый. Антирелигиозную пропаганду ему подавай! Небось была бы церковь — батюшка на тебя епитимию наложил бы.

— Какую епитимию?

— Проклятье! Опозорил бы тебя, стервеца, перед всем селом.

— Ты не стерви.

— А козленок был не простым, это ты точно догадался,— сказал пастух.— После нас, эдак же поутру, ехал из Пугасова Ванька Ботик. Он [redacted] выскочил перед ним, козленок-то. Так же, во ржах. Ну, Ванька поймал его, посадил в телегу и гладит, приговаривая: «Козленочек мой, хорошенький...» А этот козленок улыбнулся, губами передернул да передразнил его грубым голосом: «Козленочек, хор-рошенький». Да еще подмигнул ему. Ботик как шарахнет его с телеги — и пошел кнутом гулять по лошади. Не токмо что [redacted] пене,— в мыле пригнал лошадь. И сам весь треской трясется. Шесть недель пролежал! Облез весь и поседел. Вот как они, клады-то, даются.

— А у нас тоже однова был такой случай. У моего дяди, Филиппа Корнеевича Назаркина. Да, может, помнишь? Его по-уличному Фунтиком прозвали.

— А как же, помню,— подтвердил пастух.— Он черепенниками торговал.

— Во, во! Дак его отец от клада помер. Открылся ему клад в риге по осени. Пошел он утром, затемно еще, печь насаживать — тресту сушили. И вот тебе видит — утица

переваливается с боку на бок, по полу риги-то. Да все кря-кря... А лететь не летит. У них сроду уток не было, и у соседей тоже. Он: «Господи Иисусе Христе, это клад!» Да палкой и начкнул птицу. Она тут же рассыпалась. Рассыпалась она — и целая куча золотых. Он их собрал в мешочек. Куда их деть? Носился с ними, носился да в печку спрятал в риге. В печную кладку положил и кирпичом закрыл. Правда, взял он три золотых монеты с собой. Вот настает ночь — ему не спится, не терпится поглядеть — на месте ли золото? Пошел он в ригу — а там возле печки часовые стоят с шашками налого. Он было к печке, они: стой! Зарубим! Не сумел, говорят, счастьем попользоваться, теперь все... Клад ушел. Что с ним было дальше — не помнит. А только очнулся он наутро. Видит — валяется в риге. Схватился он за печку, отвалил кирпич. Ан, золота нет.

С другого берега реки закричал мужской голос:

— Паро-о-ом!

Старик поглядел туда и сказал:

— Кажись, не наши.

На том берегу стояли мужчина и женщина, одетые легко, но с плащами на руках.

— Бреховские учителя,— сказал пастух.— Утром говорили, будто в Тиханово учителей собирают. Роно задачу им задает на новый текущий год.

— Паро-о-ом! — закричали с того берега уже в два голоса.

— Обождут,— сказал старик.— Может, кто подъедет. Тогда уж заодно и этих перевезу. Ну, ладно. Значит, пропал мешочек с золотом. А те три золотых у него все ж таки остались. Он на них лесу купил на сруб. Призвали плотников, стали рубить они. Старый плотник ударил топором — и щепка полетела кверху. «Ну, Корнеич,— говорит плотник,— хочешь обижайся, хочешь нет, но я тебе не советую жить в этом доме. Продай лес».— «Почему?» — «А потому что не впрок пойдет тебе этот дом». Не послушал Филипп Корнеевич. Срубили дом, поселились. Вот тебе неделю не прожили — хозяин помер. Они его в Самодуровку продали, на вывоз. И там через месяц хозяин помер... Вот он что делает, клад, когда его взять не умеют.

— Паро-о-ом! — опять закричали с того берега.

— Скажи ты, какой нетерпеливый народ пошел,— сказал пастух.— Никакой выдержки. Что дети малые.

— А все оттого, что понимают об себе много,— отозвался старик.

— Работать лучше надо, а не рассуждать,— сказал Семен.

— А ты чего же не работаешь?— спросил старик.

— Я не паромщик.

— Дак вон, бери шест и становись. Ну, становись!— старик указал на паром.

Но Семен лежал на брюхе и не шелохнулся, покусывая травинку.

— А-а! То-то и оно. Все мы любим указывать,— торжествующе сказал старик.— А вот как самому стать за правило, так это брюхо болит.

— Паро-о-ом!— доносилось требовательно с того берега.

— Теперь они любят кнопки нажимать... А чтоб правилом махать — спина болит. Иной пастух теперь и кнутом хлопнуть не умеет, с палкой ходит.— Пастух потрогал длинный ременный кнут, лежащий возле него.

— Ноне и пастуха норовят электричеством подменить,— сказал старик.— Проволоку натянут, а по ней ток пустят. Корова носом ткнет — ей хлоп по носу!

— Электричество есть, а молока нету,— сказал пастух.

— Паро-о-ом!

— Зато теперь много полезных ископаемых,— возразил Семен.

— Это что за полезные ископаемые?— спросил старик.

— Ну, земные клады, про которые вы здесь толкуете.

— Земные клады не каждому даются,— сказал старик.— Работать надо, а не искать.

На спуске к реке загромыхала телега. Удившие ребятишки метнулись к ней с криками:

— Кино! Кино едет...

Невысокий парень в серой кепке с какой-то рыхлой сонной физиономией спрыгнул с телеги, взял под уздцы лошадь и стал заводить ее на паром.

— Вань, какую картину привез?— спросил Семен.

— «Дай лапу, друг»,— нехотя ответил тот.

— Дак ты же эту лапу на той неделе привозил!— удивился старик.

— Есть еще «Вижу солнце»,— сказал киномеханик.

— И солнце ты нам показывал. Да мы [redacted] без тебя видим его каждый день.

— А я виноват, если других нет?

— Как это нет? Скажи — другие разобрали, а тебе опять лапу сунули.

— Показать бы тебе Москву за эту лапу,— сказал Семен.

— Да идите вы!.. Что дают, то и везу.

— В этой жизни, Ваня, надо брать все самому, а не ждать, когда дадут... Закон! — наставлял Семен.

Лошадь на припаромке стала, заупрямилась.

— Н-но, травоядное! — тянул ее за обороть киномеханик.

— У нее двигатель под хвостом, как у ракеты. Ты ее под хвост ширни! — скалил зубы Семен.

— Да иди ты!..

Наконец телега отгромыхала по бревенчатому настилу, [redacted] старик отвязал чалку. Киномеханик, въехав на паром, снова уселся на телегу.

— Помог бы паром столкнуть,— сказал старик, упираясь шестом в берег.

— У меня государственное имущество,— ответил киномеханик важно.— Куда ж я от него?

— Его что, лошадь съест, твое имущество?

— Давай, дед, упирайся! — крикнул Семен.— Крепи союз труда и обороны.

— Обормот,— выругался старик.

По берегу от дальних домов вьюном сбегал мальчишка.

— Ну, что? Придет Любка? — спросил его Семен.

— Ее там нет.

— А где ж она?

— Не знаю. Наверно, на станах.

— Плохо дело! Приказ надо выполнять до конца. Сбегай на станы, разузнай [redacted] доложи мне! Ну, не в службу, а в дружбу.

— Это уже не дружба, дядь Семен, а работа. А за работу деньги платят.

— Ого! Силен бродяга... А между прочим, резон.— Он достал из кармана двугривенный.— На, в кино сходишь. Стоп! — остановил он мальчика.— Давай лучше так: сбегай в магазин, принеси мне поллитру. Вот тебе деньги... И закусь — банку джема. А Люба сама придет.

* * *

Любка появилась с другого берега. Она так же стояла посреди парома и равнодушно глядела, как старик, вихляя телом, натужно сипит и шлепает по воде своим правилом. Наряд на ней был самый будничный — выгоревшая в синеватый горошек кофточка, да коротенький зеленый сарафанчик, да синие полукеды на босую ногу. И в одежде, и в ладной ее, крепко сбитой фигурке с маленькой неразвитой грудью было что-то еще детское,— и круглое личико ее исшелушилось на скулах и носу, как у школьницы, и волосы заплетены в косы. И только руки ее были полные, сильные, с налитыми от работы, красными пальцами.

Семен встретил ее пьяной ухмылкой, он поднял с земли поллитру водки, уже наполовину выпитую, и сказал:

— Салют!

— Тебе чего?

— Как чего? Тебя. Вот, за твое здоровье пил... Вдвоем со сваей. Об настил чокался,— он ткнул бутылкой в сваю.

— Оно и видно, что чокнутый,— сказала Любка, пытаясь пройти по настилу припаромка.

Семен встал, растопырил руки, загородив ей дорогу.

— Не дури! Мне на дойку пора.

— Обождут твои коровы.

— Еще чего? Думаешь — все бездельники, как ты.

— Ишь ты, какие мы важные! — Семен покрутил руками.

— Эй, обормот! Не видишь — человек занят? — сказал старик.

— Ты не туда смотришь. Ты вон куда смотри.— Семен указал старику на другой берег, где появился грузовик, но дорогу Любке уступил.

Она поднялась на берег. Семен догнал ее и обхватил сзади, облапив ее грудь, тяжело дыша ей в ухо.

— Отпусти!

— А что мне за это будет?

— Ты только об этом и думаешь...

— А ты об чем?

— Сказала б я тебе...

— Скажи.

— Отстань... ну! Вон люди смотрят.

— Иди ты!

— Дурак! — Она, упершись ему локтями в живот, с трудом вырвалась.

— Ну чего ты, чего? — забормотал он, подступая к ней снова и ловя ее за руки.

— Пусти, слышишь! Не то закричу...

— Кричи.

— Дядь Ва-а-нь!

— Ты чего, очумела? — опешил Семен, отступая.

— Ах ты, трус! Ах ты, мерзавец!..

Любка, раскрасневшаяся не то от гнева, не то от борьбы, вдруг ударила его наотмашь по уху.

— За что?

— За все.

— Бей еще!

— Другие добавят,— Любка пошла прочь.

— Может, все-таки пояснишь? — догнал ее Семен.

— А тебе непонятно?

— Допустим.

— Ты когда вернулся, что говорил? Устроюсь на работу — поженимся...

— Как же мы поженимся, если я не работаю?

— Так поступай на работу!

— Здесь, за семьдесят рэ? Нет, это не для меня.

— Ну, поедем в город...

— В общежитие, что ли? — усмехнулся Семен.

— Для чего же ты говорил? Для чего?!

— Мало ли что говорят.

— Вот именно... Язык без костей. Потешил — и пошел дальше. Ступай! Переживем.— Любка отвернулась и стала глядеть в землю, оглаживая носком дорожную пыль.

— Ты думаешь, я так, для забавы? По расчету, да? Эх ты... Я сам ничего не знаю.

— Пора знать. Ходишь, как бык в загоне, только землю топчешь. Хоть бы людей постыдился.

— А что мне люди? Может, у меня душа не лежит к этим местам. Не хочу я вилами навоз выкидывать от чужих коров.

— Заведи свою.

— Я про дело говорю. Ноне к коровам пошлют, завтра — к свиньям. А я хочу сам выбирать, делать что по душе. Поняла? Может, мне другие горизонты нужны. Размахнуться.

— Вот и ступай, размахивайся. Ищи свои горизонты.
— Ладно,— он снова потянулся к ней руками.
— Отстань! И не приходи больше на станы...
— Ты что ж там, одна, что ли?—криво усмехнулся Семен.
— Эх ты, кобеляка бесстыжий! Только приди — головешкой всю твою щетину спалю.

* * *

Поздно вечером старик паромщик сидел возле костра и ел уху. Его неуклюжий паром притулился темной глыбой к берегу. А с той стороны долго и настойчиво кричали:
— Паро-о-ом! Паро-о-ом!
Старик ел уху и ворчал себе под нос:
— И чего ты надрываешься... Пока не съем, никуда я не поеду.
— Хлеб-соль, дядь Иван,— раздалось из темноты.
Старик отвернулся от огня и с трудом разглядел пешехода. Это был Семен.
— Хлеб-соль,— повторил тот, подходя.
— Ем, да свой, а ты так постой,— ответил старик.
— А кто там орет, с того берега?
— Паро-о-о-ом! — раздалось оттуда.
— Кто его знает,— ответил старик.— Вроде бы знакомый голос, да никак не признаю.
Послушал и Семен.
— Нет, что-то не узнаю.
Он присел к котлу и бесцеремонно взял ложку.
— Куда! — сердито сказал старик.
— А стаканы-то есть? — спросил Семен, вынимая поллитру.
Старик молча наблюдал, как тот зубом сорвал металлическую пробку и, отхлебнув глоток, подмигнул старику.
— Найдутся.— Старик выплеснул чай из кружки и подал ее Семену, потом достал из мешка стеклянную банку.
Семен разлил водку.
— Ну, будем здоровы!
Старик выпил, крякнул и снова прислушался.
— Паро-о-ом! — неслось с той стороны не так уж громко.

— Нет, чужой,— сказал старик и пододвинул Семену рыбу.

Несколько минут они ели молча. И когда на той стороне совсем затих голос, Семен встал, отряхнулся и обтер руки носовым платком.

— К Любке? — спросил старик.

— Ну!

— Паром не погоню.

— А я на лодке.

Старик встал и крикнул на тот берег:

— Э-эй! На перевозе. Лодкой управлять умеешь?

— Уме-е-юуу! — раздалось оттуда.

— Ну, тогда поезжай,— сказал старик и сунул Семену весло.

1971

В СОЛДАТОВЕ У ЛОЗОВОГО

Вновь я посетил тот уголок земли...

А. С. Пушкин

Как-то январским вечером ездили мы с Николаем Ивановичем Лозовым в Катон-Карагай. Шоссейную дорогу часто переползали острые снеговые змейки. В свете фар они казались грязновато-серыми. По Нарымской долине гулял ветер.

Но когда мы пересекли неширокую реку Катон, подъехали к селу, меня поразила мертвая тишина. Лиственницы, ели, тополя стояли недвижными. Отсюда, с просторной сельской площади, горы казались необыкновенно высокими, и были они рядом. Странно! Мы отдалились от них значительно, пересекли реку, спустились с более высокого берега в низину, вылезли из машины, и вот тебе чудо — горы стали ближе к нам, выше, грандиознее. И эта сказочная недвижность дерев, и влажный ропот незамерзающей реки, и близость далеких гор, заросших черной щетиной лиственниц и елей по самую грудь, а выше — заснеженных, мягких, ослепительно белых под сиянием огромной азиатской луны,— все это казалось нереальным и вызывало в памяти тысячи раз обсказанную и никем не виденную страну Беловодье.

Я не знаю имени того землепроходца, который сотню лет назад вбил первый кол на этой дикой безымянной земле, но зато я живо представил себе, как долго блуждал он по этим лощинам и взъемам, пока не остановился, не осел навеки, положив начало новому селу. И вы можете исколесить всю окрестность, но лучшего места для села не выберете.

Я дивился не раз и тому, как удачно посажено село Солдатово. На одной и той же речке Нарыме, не более

чем в четырех километрах друг от друга, стоят село Солдатово и бывший Кордон, или, как его называют окрестные мужики, Околоток. В Солдатове тишь да благодать, как говорится, а на Кордоне днем и ночью дуют ветры, как в трубе.

— Отчего эдакая несуразность? — спросил я однажды Феоктиста Макаровича Солдатова, старого потомка основателя села.

— А очень просто. Место для Солдатова сами мужики выбирали. Для жизни, значит. А Околоток по приказу посадили... Начальство в карте отметило.

Уходя на новые земли, русский крестьянин не просто искал святое Беловодье, край изобилия и красоты, он уносил с собой мечту хозяйствовать без помещиков, без начальства. Он сам хотел распоряжаться урожаем, плодами своего труда. Он шел на вольные земли, чтобы жить по справедливости, по закону стариков, слушая только землю, приноравливаясь к ней. И великая тяга земли рождалась мудрым законом взаимного послушания хлебороба и поля.

Ах, эта извечная, мятежно-сладостная тяга к самостоятельности да независимости. Независимость! Слово-то вроде бы и неважное, как говаривал Пушкин, да уж вещь больно хорошая. Это поразительное свойство характера русского мужика — идти хоть на край света и на свой страх и риск, брать дело по нутру да по силам, вживаться в незнакомую природу, в инородную стихию и, подлаживаясь к ней, подчинять ее не силой, а сноровкой да сметливостью — приобщило к нашему государству восьмую часть земного шара под названием Сибирь. Это обаяние деятельной русской натуры я испытал в полной мере в Солдатове, особенно в свой первый наезд.

Помню, как весной шестидесятого года в Усть-Каменогорском обкоме мне не советовали ехать к Лозовому: мол, колхоз нетипичный, председатель трудный, бригадиров разогнал...

— Как же он руководит колхозниками?

— В основном по радио.

— И живут?

— Живут неплохо...

Я выехал в Солдатово в весенний ветреный денек на обкомовской «Волге». Дорога дальняя — почти триста километров по горным предплечиям, вдоль Иртыша и Бухтармы, с морской переправой, с объездами луговых

заливов и дорожных колдобин — словом, целый день езды.

Чудная это пора для предгорий Алтая! После весенних затяжных дождей горячее солнце бурно гонит густую шелковистую траву на альпийских лугах, все еще свежую, светлую, какую-то трепетную, нарядную от множества синих цветов змееголовника, бледно-желтого мытника, голубеньких кукушкиных слезок и броских пунцовых марьиных кореньев, похожих издали на знаменитые узбекские тюльпаны.

По горным ущельям и распадкам, вдоль чистых и шумных речушек буйно цветет черемуха, и кажется, что взбитая рыхлая пена слетела с бурных речных перекатов на ветки да и застыла в оцепенении. Тополя, еще реденькие, светлые, с теплым красноватым оттенком, тоже толпятся вдоль речушек, словно сбежались сюда на купанье — да залюбовались собственным отражением в прозрачной бегучей воде. И только темные, не пробиваемые солнцем высокие ели одиноко и деловито карабкаются по горным склонам на самые вершины; равнодушные к теплу и к холоду, они, как упрямые альпинисты, уходят из мягких и теплых долин туда, где неприютно и холодно, где ровно и мертво блестят лежалые прошлогодние белки[1]. Чего они там ищут? Странные деревья.

На Бухтарминской переправе нас нагнал дождь. Он пришел из этой широкой долины с ветром, вволю нагулявшимся на белесых волнах молодого моря, и весело, хлестко застучал по железной палубе парома. Крутой глинистый съезд к переправе жирно залоснился и осклиз. Машины сползали к берегу юзом, западая в глубокие колдобины, натужно ревя, разбрасывая липкую грязь и щебенку. Возле припаромка они сдерживались и с величайшей осторожностью вползали на бревенчатую клетку, отдаленно напоминавшую сплющенный колодезный сруб. Повсюду слышалась громкая смачная шоферская ругань.

— Два года переправа — и съезда путного не сделают... Начальники, мать их!..

— Разве ж это припаромок? Да это ж ловушка для тигры!

— Стой, дьявол! Куда ты в воду-то прешь?

---

[1] Белок — нетающие снега на горных вершинах *(местн.)*.

Один грузовик, шлифуя задним скатом дырявый бревенчатый настил, медленно съезжал на край.

— Скорость выруби! А то въедешь в царство водяное,— кричали шоферу с берега.

Наконец шофер заглушил мотор, машина повисла задним колесом в воздухе. Он высунул из кабины потное грязное лицо, зло крикнул на паромщика:

— Цепляй за передок! Чего рот разинул?

Шустрый маленький паромщик в брезентовом плаще огрызнулся для порядка:

— А ты поменьше указывай. Ишь разорался! — но между тем ловко и проворно зацепил машину стальным тросом.

— Много их тут ездит... Все так кричать будут — оглохнешь,— проворчала в тон паромщику его подручная, сутулая женщина с красным обветренным лицом, в зеленой фуфайке и широких штанах, густо заляпанных масляной краской. Она быстро зацепила второй конец троса за машину, стоявшую на пароме, и крикнула: — Трогай!

Я наблюдал за работой паромщиков и видел, что люди они ловкие, сноровистые, но работают как бы между прочим, нехотя, будто делают всем этим проезжим одолжение. «Навязались вы на нашу голову. Проезжайте, проезжайте. Одна колгота от вас»,— читал я на их равнодушных лицах. Но разговаривают они очень охотно.

— Как вас зовут? — спросил я у паромщика в брезентовом плаще.

Он подозрительно покосился на меня:

— А зачем? — Его худое горбоносое лицо выражало скорее не настороженность, а скрытую иронию.

— Да просто так, поговорить.

— Поговорить — это можно. К примеру, вас что интересует?

К нам подошла женщина в заляпанных краской штанах, потом еще девушка в фуфайке и высокий длинношеий мужик в зеленом армейском пиджаке.

— Уж больно плохой у вас припаромок.

— Плохой,— весело согласился паромщик в брезентовом плаще.

— Наше дело маленькое,— сказал высокий с темной жилистой шеей, обнаженно торчащей из ворота.— Начальству виднее.

— Только что утром Шумилов был.

— Намедни сам Гордиенко приезжал,— наперебой сообщили женщины.

— А вы сами могли бы построить приличный припаромок?

— А чего ж мудреного? Смастерил бы,— отвечал горбоносый в плаще.— Нас тут много: в одной смене только шесть человек... Чего тут делов-то? Да ведь заказу нет.

— Зачем заказывать?— глухим басом сказал высокий.— Вон в Первомайске стоит без толку готовый береговой. Железный. Приводи и ставь его.

— Ну и привел бы.

Мои собеседники засмеялись:

— Нам-то что?

— Ведь вы же работаете на переправе! Будет хороший береговой стоять — для машин лучше. Погрузка быстрее пойдет. Рейсов сделаете больше.

— Э-э, нам за это не платят.

— А за что же вам платят?

— Ну как за что? Отчаливаем-причаливаем,— скороговоркой ответил в брезентовом плаще.

— За порядок, значит,— поддержал его высокий.

— Да какой же это порядок? На вашем припаромке машины гробятся. По два часа переправы ждут.

— За это мы не отвечаем.

— А за что же вы отвечаете?

— А ни за что,— ответила женщина с обветренным лицом, и все дружно засмеялись.

— Вот когда бы нам дали этот паром,— сказал горбоносый, хитровато щурясь,— мол, работайте, ребята. Больше машин перевезете — больше получите, и все на вашу совесть полагаем, на ответственность, значит. Оборот другой бы был.

— Отдать вам на откуп?

— Зачем на откуп? Казенным так и останется. Да вроде бы и не казенный, а наш. Мы больше заработаем и государству больше дадим. И будет все сохраннее.

— У места, значит,— кивнул своей маленькой головой высокий в пиджаке.

Весь этот разговор мне вспомнился позднее, когда я приехал к Лозовому. А тут я не придал ему особого значения.

Плохо ли, хорошо ли, но паром погрузился, отдали

концы, и маленький серый буксирный катерок, глубоко западая кормой в мутные волны, потянул нас поперек Бухтарминского моря.

— Скажи ты — блоха какая, а волокет! — изумленно восклицал белобородый старик в брезентовой куртке, поглядывая на катер. Он стоял возле своего грузовика, с которого сквозь высокую дощатую обрешетку грустно глядела на морские просторы корова.

— Блоха! В нем два дизеля, каждый по сто пятьдесят сил. Почитай два танка в нем. Вот те и блоха! — вразумлял старика коренастый рыбак с вентерями в руках.

— Максим, никак этот самый катер осенью под пароходом побывал?

— Этот,— нехотя отвечал кому-то могучий бородатый парень в высоких резиновых сапогах.

— Шторм был,— пояснял торопливо рыбак,— а он и сорвался вместе с пароходом. От Бухтарминской ГЭС гнало их. Вон у той балки возле самого берега его закрутило и поволокло под пароход.

— Ишь ты! — сокрушался старик.— Колесом, поди, дакануло?

С грузовика вдруг протяжно и жалобно замычала корова. Все засмеялись и наперебой заговорили со стариком:

— У нее, папаша, морская болезнь открылась. Завяжи ей глаза.

— Куда едешь, отец?

— В Солдатово еду, из города. На родину, значит. Хватит, нажился в городе.

— Отчего так?

— Старуха не переносит городской жизни. Не климат.

— Хитришь, отец,— поблескивая карими глазенками, егозил перед ним рыбак.— Поди, поголовье сохраняешь. Прижали в городе с коровенкой-то, вот и подался на вольные места... А теперь и в деревне отберут корову-то. Не работаешь и — тю-тю...

— Отстань от него,— тяжело сказал парень в резиновых сапогах.— Сам-то чего делаешь? Рыбкой промышляешь? Много вас тут шляется.

— А может, я себе отгул заработал... Законный.— Рыбак хмурит свой узкий морщинистый лоб и на всякий случай подальше отходит от этого бородатого детины.

А катер весело и гулко храпит своими дизелями и как-то дерзко, играючи, давит крутые волны; они горбятся, вскипают перед ним, словно хотят запугать, оглушить его, но, порезанные надвое, лениво расползаются и замирают. И никто не замечает, не жалеет их гибели; море рождает все новые и новые волны и гонит их от далекого, скрытого в синей дымке гористого берега Иртыша; сегодня гонит на бухтарминские отмели и валит молодой, непривычный к воде степной ковыль, рыхлит, взбаламучивает заброшенные пашни. А завтра оно ударит [redacted] предгорья Иртыша и станет выколачивать гравийные осыпи. У моря нет постоянства.

Почти до самых сумерек неотступно следовало за нами море; оно заполнило широкую речную долину, скрадывало расстояние — до самых заиртышских гор, казалось, рукой подать,— выливалось на желтые пажити, перехлестывая нашу дорогу, выбрасывая [redacted] небо суматошные утиные стаи и степенные, стройные косяки лебедей.

В Березовке, возле правления колхоза Ленина, мы сделали остановку. Перед фасадом серого громоздкого здания растянулась длинная коновязь; возле нее стояло так много лошадей под седлами, словно здесь спешилась казачья сотня. Перед коновязью, на крыльце, в сенях — множество народу. Я приоткрыл дверь в правление — там [redacted] синем дымном полумраке сидело еще больше.

— Что здесь происходит, районное совещание? — спросил я.

— Зачем районное! Все свои,— ответил мне белобрысый тракторист [redacted] черной засаленной спецовке.— Бригадиры съехались, заведующие, учетчики. Разнарядка.

— Работает руководство,— сказал кто-то из толпы курильщиков.

— Целый штаб... Сразу видно — колхоз.

— Контора...

В этих репликах, [redacted] самом тоне проскальзывала ирония.

Из правления вышел широкоплечий, широкоскулый человек лет сорока пяти; сильно припадая на правую ногу, он подошел ко мне [redacted] представился:

— Китапбаев — председатель колхоза.

И, узнав, что я еду к его соседу, не скрывая раздражения, сказал:

— Все к нему едут. Почему такой порядок? У меня колхоз больше... Есть чего посмотреть.— И, убедившись,

что я не останусь у него, взял с меня обещание.— Ругать меня захотите — приезжайте ко мне. За глаза ругать — плохое дело.

Вскоре после Березовки мы свернули с главной трассы и с полчаса ныряли по ухабам проселочной дороги. Стало совсем темно, фары нашей машины выхватывали то чистенький придорожный березняк, то бревенчатые мосточки через речки Таловку и Нарым, то щетинистые мелколистные талы. Наконец мы въехали в Солдатово. У въезда в село — белая дощатая арка. Накатанная дорога с гравийным покрытием; улица — бревенчатые, почерневшие от времени избы, многие из них пятистенные, с броско окрашенными ставнями, с крыльцами, с белыми аккуратными палисадничками. Подъезжаем к правлению колхоза — двери закрыты. Темень. Тишина.

Председателя мы встретили на улице. Это среднего роста человек, плотный, очень моложавый, с темным от загара, выразительным и подвижным лицом.

— Поехали в гостиницу. Я как раз в том направлении иду, в радиоузел. Это напротив.

В гостинице, обыкновенной пятистенной избе, стояли три койки, диван, зеркальный шкаф, приемник. Занавески, коврики, белоснежные покрывала — от всего этого веяло чистотой и уютом; и после длинной утомительной езды по пыльной тряской дороге один вид хорошо прибранной комнаты невольно вызывал блаженную улыбку.

— Вот наши люксы,— шутил Лозовой, довольный тем эффектом, который произвела на нас его гостиница.— Умывайтесь и, пожалуйста, в столовую. Условие у нас такое: и ужин, и обед, и завтрак стоят двадцать пять копеек. Каждый ест сколько хочет.

— А не дешево?

— Мы посчитали: один съест побольше, другой поменьше — в общем выходит на двадцать пять копеек. А для тех, кто в поле работает, обед бесплатный.

— А не много идут к вам желающих на бесплатные хлеба?

— Мы — люди разборчивые. Нам надо понравиться. Извините, я иду разнарядку делать.

— В правление? Но ведь там нет ни души.

— В правлении мне делать нечего. Я иду на радиоузел.

— Разнарядку делать в радиоузле? Ничего не понимаю.

— Заходите, посмотрите. Впрочем, разнарядку в обычном понятии мы не делаем — нет смысла.

— То есть?

— Очень просто — наши люди знают, где им нужно работать и что делать.

Через несколько минут из репродукторов села Солдатова зазвучал знакомый голос Лозового:

— Внимание, товарищи, говорит радиоузел колхоза имени Калинина. Прослушайте разнарядку на завтрашний день и итоги работы за сегодня.

Я вошел в радиоузел. Перед микрофоном сидел Николай Иванович и держал в руке мелко исписанный листок календаря.

— Строители остаются на своих местах,— читал он,— сев продолжается, если завтра с утра не испортится погода,— в противном случае получите по радио новое задание. Как только засеете Косачевский мыс, переезжайте под белок и сейте там сто десять гектаров пшеницы. Возле Маймырской пасеки вспахать восемь гектаров Бухрякову после окончания своего участка. Тракторам на дисковании — после окончания переехать в долину на сев пшеницы. Всех «Беларусей» подготовить к послезавтраму для пахоты огородов. Конный транспорт идет за лесом. Автомашины, не закрепленные по агрегатам, идут на вывозку гравия.

Одиночные задания: Фетинья Яковлевна принесла заявку на три машины; машины для больницы выделим. Звену Солдатова надо подвезти пять кубометров лесу. Павел Кириллович! Завтра поедете пахать и попутно подвезите на своем тракторе Солдатову лес. Полторанину Андрею завтра отправиться с ветеринаром на прививку скота. Если вы не сможете почему-либо, то скажите утром, либо пришлите девочку.

И наконец, объявление: пора прекратить роспуск скота возле посевов — начинаются всходы.

Я стоял, слушал эту необычную разнарядку, уместившуюся на листочке численника, и в глазах моих вставали дымные, прокуренные кабинеты колхозных вожаков, громкие голоса, споры, утомленные лица бригадиров, длинные коновязи и понуро дремлющие в постоянном ожидании кони. И вспомнилась мне ироническая реплика березовского тракториста:

— Работает руководство.

— Скажите, это правда, что у вас нет заведующих фермами?

— Правда.

— И бригадиров нет?

— И бригадиров.

— И учетчиков?

— Нет.

— И охранников?

— Тоже нет.— Николай Иванович, видя мою растерянность, громко хохочет.

— Черт возьми, как же вы работаете?

— Только в одну смену — с восьми утра до шести вечера, в субботу — до двух... В выходной отдыхаем,— говорит Лозовой обстоятельно, как давно заученное, слегка улыбаясь, чувствуя, что слова его производят впечатление.— Кроме того, в месяц мы даем каждому колхознику еще четыря дня отгула — это специально на хозяйственные нужды — огород посадить, дров привезти, двор подправить и на всякие прочие мелочи. Словом, на личное хозяйство. А всего в году положено сделать колхознику двести пятьдесят три выхода. Ну и, конечно, выработать норму. Впрочем, мы не неволим, работай как хочешь. В страду часов не считаем. Зато отпуск даем.

— Отпуск платный?

— Конечно. За оплату берется средний месячный заработок.

— Но кто же у вас руководит колхозниками? Кто ставит их на работу? Кто учитывает?

— Работу свою они знают. Чего ж ими руководить? — Лозовой в недоумении пожимает плечами и прикрывает на мгновение свои зеленоватые глаза, потом он словно оживает, спрашивает с иронией: — Вы имеете в виду — кто присматривает за ними?

Признаться, мне стало неловко, и я пробормотал:

— Ну, вроде этого...

— А никто. Пусть эти трактористы, доярки, плотники сами работают, сами замеряют, сами охраняют...

Мы сидели за столом в гостинице. Лозовой снял свой плащ, бросил на стол клетчатый шарф и теперь поминутно теребил красный галстук. Видимо, ему жарко от возбуждения.

— Раньше мы все думали: кого подобрать на должность бригадира либо заведующего, чтобы тянул. Ох,

тяжелая эта обязанность — подбирать кадры! — Лозовой поджимает губы и прикрывает глаза, и я догадываюсь, что сейчас он скажет нечто важное.— А мы не думаем, можно ли обойтись без этой должности. Но прикинешь — оказывается, можно. Вот в чем вся история. А вы знаете, кто нас надоумил? — он вскидывает подбородок и важно смотрит на меня.— «Маяки»! Да, да, наши «маяки». Все это самостоятельные люди — механизаторы, звеньевые, доярки. Они предоставлены, так сказать, самим себе. То есть в том смысле, что они сами себе командиры, работают на конкретно закрепленном участке. За все свое в ответе. И не надо их ежедневно в разнарядку включать... Все ясно. Вот мы и решили: а что, если весь колхоз разбить на такие малые звенья и за каждым звеном закрепить свое дело? Оказывается, можно. И нет ни бригадиров, ни заведующих, ни учетчиков. Сократили мы по колхозу шестьдесят одну должность. Все с окладами. Одних охранников около сорока человек было. Только восемьдесят лошадей под седлами держали. Бывало, выедут с утра руководить — кавалерия! А сколько они поедали?

— Но как же вы без учетчиков обходитесь?

— Очень просто. У нас каждый колхозник сам считает. Работают, к примеру, шесть звеньев плотников. Одно звено строит избу, другое кошару. У каждого звена — свой наряд. Построят кошару, придут скажут: «Принимай, председатель». Я иду, принимаю. Обмер делаю. Закрываю наряд, плотники получают деньги. Доярки тоже знают, сколько надаивают. Бидоны у них вымерены. Возчик отвозит бидоны на молокозавод, сдает. За молоко получают зарплату и доярки, и возчик, и скотники. Чабаны — за поголовье овец. Сколько овец в отаре — всем известно. Чего ж их считать? Так в любом деле. У нас Никита Олимныч Черепанов так говорит: «Все поголовье грамотное, к чему же учетчики?» — Лозовой прикрывает глаза, губы сводит в трубочку, изображая на лице недоумение, и, довольный, смеется.— В самом деле, иную тысячу выкраиваешь, а Васька-учетчик так ее распишет, что и концов не найдешь.

— Ну а без охранников-то не рискованно было оставаться?

Лозовой подался грудью на стол:

— При чем тут охранники! Сытый колхозник не унесет зерно в кармане. Ведь мужик не дурак; он

понимает, что апельсинов нет, он и не спросит их. Он просит килограмм хлеба, денег на одежонку — то, что ему нужно. Так ты гарантируй ему нормальную оплату.

— Говорят, что не в каждом колхозе возможно гарантировать оплату.

— А зачем же тогда такая колхозная система? Кому она нужна? Если от нее сплошные убытки. Тогда нужно искать что-то новое. В конце концов, все же в наших руках: и земля и техника. Мы сами хозяева. Так давайте по-хозяйски распоряжаться своим богатством.

Лозовой встал и начал быстро ходить по комнате, наконец подошел к столу, вынул из кармана несколько записных книжек, полистал одну из них и сказал:

— Вот мы посчитали, что каждый человек съедает примерно в месяц пуд хлеба, значит, два центнера в год. В нашем колхозе тысяча триста едоков. Исходя из этого, мы засыпаем в амбар для колхозников две с половиной тысячи центнеров. И говорим: «Вот, Марья Ивановна, если ты выйдешь двести пятьдесят три раза на работу и выработаешь норму, то кроме заработанных денег ты получишь бесплатно по два центнера хлеба на каждого своего иждивенца». А мужчина, выполнивший норму, получает один центнер бесплатно, а второй покупает за двенадцать рублей.

— А нет ли здесь уравниловки?

— Хлеб не уравниловка, а воздух. И потом, что он стоит нам, колхозу? Десять центнеров — двадцать один рубль. А этого хлеба хватит на всю семью. Так неужто колхозник должен круглый год работать только из-за этих двадцати рублей? Он же хлебороб! Дай ему хлеба-то вволю. Пусть он не думает о нем. Тогда и он завалит все хлебом. Ведь мужик у нас в колхозе, по подсчетам, производит в среднем ежедневно сто двадцать рублей[1]. Он и зарабатывает прилично. И сам идет на работу, потому что заинтересован в ней. Как же не гарантировать его оплату?

— А это по цыганской логике. Помните, как цыган лошадь приучал работать без корма? Она уж почти привыкла, да сдохла на шестнадцатый день.

Лозовой усмехнулся, сел на стул, сцепил пальцы на колене, откинулся на спинку и задумался.

[1] Здесь деньги в старом исчислении.

— Николай Иванович! Ведь основной доход колхозу идет со второй половины года... Начинаете сдавать хлеб, скот...

Он живо вскинул подбородок и насторожился:

— Ну, ну?

— Как же вам удается выплачивать зарплату колхозникам в первой половине года?

— А вот так: все, что колхоз получит, выплачиваем колхозникам,— он сделал резкий рубящий жест рукой.— Все до копейки.

— Как?! А отчисления в неделимый фонд?

— Никаких отчислений в первой половине года,— Лозовой вдруг рассмеялся и закрутил головой.— Вижу, и вас это ошарашило. А мне, брат, не раз за это голову намыливали. Лозовой все колхозникам норовит раздать! Лозовой ущерб государству наносит! — запричитал он, вскидывая руками.— Какой ущерб? Кому? Ну, допустим, за первое полугодие колхоз получил полтора миллиона и все выплатил колхозникам. Но ведь за эти полтора миллиона я отремонтировал всю технику, провел посевные работы, заготовил две тысячи кубометров лесу, построил коровники, две кошары, десять домов, мастерские... Эти полтора миллиона принесут мне осенью пять. Тогда и в неделимый фонд отчислим, и на прочие нужды. А пока эти полтора миллиона я пускаю в оборот. Ведь зарплата колхозников — это мой денежный оборот. Наработали в месяц на двести тысяч — в оборот их, они через месяц дадут шестьсот, а те шестьсот принесут миллион и так далее.

А знаете, я о чем мечтаю? — он снова откинулся на спинку стула и прищурил глаза.— Ввести бы еженедельную оплату... Деньги удивительная вещь! Чем быстрее их пускаешь в оборот, тем больший доход они приносят. Представляете, четыре оборота в месяц? Хватит, Ванька, водку пить, ступай на работу — будешь деньги получать каждую субботу.

— А как же охранники? Мы, кажется, с них начали?

— Нет у нас больше охранников,— устало ответил Лозовой.— Все работают. Бездельников нет. От кого же охранять?

Он встал, кинул плащ на руку и распрощался:

— Пора и меру знать. Извините, совсем засиделся.

Было уже далеко за полночь.

Много дней прожил я той весной в Солдатове. Славное это место! Село расположено в широкой горной долине, изрезанной двумя извилистыми речушками — Таловкой и Нарымом — с прохладными родниковыми омутами, с перепутанными ветром и водой тальниковыми зарослями, с чудесным березовым колком под обрывистой Толоконцевой горой, похожей издали на высокий речной берег. С севера к селу спадают пологие скаты округлых высот, покрытых альпийскими лугами; трава густа и высока уже в мае месяце; лошади погружаются в нее по колено, и издали кажется, что забрели они в воду и бродят на укороченных ногах. Высокая таволга и чертополох по логам и склонам глушат шиповник и тальники — кустарник здесь бессилен в борьбе с травостоем. Эти богатые горные пастбища перемежаются тучными, черными как смоль черноземными пашнями. И все-таки колхоз имени Калинина до пятьдесят пятого года находился в жалком состоянии. Об этом можно судить по изреженному, словно выщербленному селу, наполовину опустевшему за какие-нибудь пятнадцать лет.

Что же сыграло решающую роль в подъеме экономики колхоза за столь короткий срок? Может быть, неведомая высокотоварная земледельческая культура? Нет, колхоз сеет в основном пшеницу, которая занимает небольшой удельный вес в экономике. Может, колхоз встал на ноги за счет породистого стада крупного рогатого скота? И этого не скажешь, скот в Солдатове самый что ни на есть разнопородный, низкопродуктивный — наследие прошлых лет, которое предстоит еще выправлять. На рынках колхоз ничем не торгует: далеко рынки, до города триста километров. И ссуды колхоз не получал. И без высокой механизации обходится — до сих пор электродоилок нет. Так что же позволило колхозу так быстро войти в шеренгу передовых?

Конечно, колхозникам повезло на председателя; после бесконечных замен и перевыборов наконец к ним пришел настоящий хозяин. Лозовой Николай Иваныч — по рождению курский крестьянин. До двадцати лет он работает на земле, наливается ее соками, впитывает извечную мудрость русского пахаря, знающего цену живой и прихотливой связи с матушкой-землицей, постоянно ищущего разумную выгоду в своем трудном и радостном деле. Из родного села уходит он в Москву за счастьем. Здесь становится землекопом, рабочим Метростроя, бетонщи-

ком. Но голос земли не заглох в нем ни на шумных московских улицах, ни в грохоте перфораторов подземных забоев. Земля звала его, ждала, как мать сына. И он испытывал настоящую раздвоенность. За десять послевоенных лет половину проработал в колхозе на земле, а половину — в Метрострое под землей, дослужившись до мастера. И наконец [redacted] числе первых тридцатитысячников он ушел в колхоз, чтобы остаться навсегда на земле. Про должность председателя знал он не понаслышке. «Работа эта трудная, и нет ее хуже на свете,— говаривала ему мать (она всю войну председательствовала в родном селе.— Заразная эта работа, не то что думать про нее — бредить во сне станешь ею. И никуда уж от нее не уйдешь. Подо мной жеребца убило снарядом, так пешком всю войну по полям бегала. Ползком поползешь... Вот она какая заботливая работенка».

Он выбрал село подальше от города, и не смутил его нищий вид разоренного колхоза.

— С чего я начал? — переспрашивал меня Лозовой.— А с начала! С чего начинается завтрашний день — вот с этого [redacted] надо начинать. Не следует хвататься за дела, которые пока тебе не по плечу. И потом у меня с детства была еще одна заповедь. Я читатель «Правды» с детства. Да, да! В нашем доме постоянно собирались мужики, читали «Правду», и как-то уж получилось само собой — говорили они от себя, как от Ленина. Мол, дурак тот коммунист, который хочет построить коммунизм своими руками. Не хватит у них рук-то. Вот нашими руками они будут строить коммунизм. Построить его руками коммунистов — это ребячья, совершенно ребячья идея. Вы помните эти слова Ленина, которые он сказал, прочтя брошюру Тодорского «Год с винтовкой и плугом»? То, что было ясно в 1918 году Тодорскому, говорил Ленин, то неясно девяноста процентам теперешних ответственных работников. А ведь я сам за свою жизнь не раз убеждался, как многие коммунисты не доверяют колхозникам. Да что там! Отцу родному не доверяют. Значит, отсюда второй вывод: ни один руководитель, будь он семи пядей во лбу, не добьется заметных сдвигов, ежели колхозники останутся равнодушными...

Эту мысль Лозовой развивает прекрасно. Равнодушие есть следствие разрыва тех животворных связей человека с землей, которые давали радость и достаток ему, производителю, и выгоду в конечном счете обществу. Значит, и

начинать надо было с того, чтобы обеспечить колхозника, гарантировать ему оплату. И во-вторых, надо было убрать всех посредников между колхозником и землей, между человеком и делом. Отныне не должно быть у нас ни бригадиров, ни учетчиков, ни завхозов — решил колхоз. И от этого изменилось не только качество работ, весь смысл жизни изменился.

Изменить его сможет не один председатель, выгоняющий на работу «ленивых» мужиков и баб... Чего греха таить! Такое наивное представление о чудо-председателе и о «мужицком» послушании существует еще и в печати и в кино. Жизнь в Солдатове переменили сами колхозники, без принуждения, потому что они были поставлены в разумные, экономически выгодные для них условия труда. И они не работали по двенадцать — четырнадцать часов в сутки, не надрывались в поле... а поди же ты, в передовые вышли.

Я исходил и изъездил все окрестности Солдатова. В память с давней поры освоения целинных земель раскидано вокруг села множество местечек, названных пахарями: Титов лог, Черепанов ключ и прочее. Теперь появляются новые названия: отара Кабдошева, отара Абдоня, пасека Ракова.

— А это хорошо... Очень хорошо! — говорит Лозовой.— В этом году мы и поля закрепляем за звеньями. И земля, и отара, и пасека — все должно иметь своего конкретного хозяина. Так пусть все это носит их добрые имена. Каждый хочет, чтобы его поле было лучше других, чтобы его отара была самой продуктивной, чтобы его пасека давала самый дешевый мед.

В отару Кабдошева я приехал в самую горячую пору — шел окот. Овечье стадо разбрелось по ленивым пологим увалам на целую версту, и казалось — никто за ним не смотрит. Но вдруг из маленькой укромной балки выскочил серый косматый кобель и с громким визгливым лаем бросился под ноги моей лошади. Потом так же неожиданно появился чабан; он ехал верхом, помахивая белой веточкой таволожника, и беззаботно насвистывал. Мы поздоровались. Чабан оказался совсем мальчиком, лет пятнадцати.

— Как тебя зовут? — спросил я его.

— Токтарбек.

— Ты подпасок?

— Нет. Просто брату помогаю после уроков. Окот

идет.— Он вдруг резко повернулся и крикнул гортанным визгливым голосом: — О-уй!

Одна овца, пересекшая балку, бросилась в обратную сторону, словно ее ветром сдуло. Просмотревшая нарушительницу собака с виноватым лаем суетливо забегала вокруг лошадей.

— Отчего это у многих овец брюхо голое? — спросил я Токтарбека.

— Окотиться захотели,— отвечал он.— Вымя расчистили. Вот мешки на всякий случай. Ягнят кладем.

Он указал на два брезентовых мешка, болтавшихся вдоль его седла, точно переметные сумы.

— А где же ягнята?

— Брат принимает. Там! — махнул он рукой на увал.

Сразу за увалом показалась кошара. Здесь в мягкой укромной ложбине возле самой изгороди кошары паслись матки с ягнятами; кудрявенькие беленькие ягнята на длинных, неверных, разъезжающихся в стороны ножках табунились, бегали за овцами, и за людьми, и за собаками и оглушительно, надрывно кричали. Из кошары вышел Кабдошев Жасеин с засученными по локоть рукавами — он принимал окот. Ягнята тотчас бросились к нему, он оглаживал их, радостно щурился... Потом появилась сакманщица — молоденькая девушка в резиновых тапочках и красной косыночке. От избы с лаем ринулись было собаки, но их окликнула сильным звонким голосом пожилая женщина в длинных синих шароварах. Наконец подошла и она. Приветливо поглядывая на меня, она спросила не без иронии:

— Наверно, не из нашего района?

— Как вы догадались? — удивился я.

— Видела, как с горы ехал,— она нагнула корпус вперед и показала, как я опирался на луку.— Одинаково лететь захотел.

Все дружно засмеялись. Лицо ее все в тоненьких темных морщинках выражало искреннее удовольствие и от разговора с новым человеком, и от своей бесхитростной доброй шутки. Это была Ракимаш Имамбаева, мать Жасеина, всему делу голова, как мне говорили про нее в правлении колхоза.

— Проходите в дом. Чай будет, кавардак будет,— приглашает она, все еще весело поглядывая на меня и посмеиваясь.

Мы осмотрели и кошару, и помещение для окота, и

подворье — везде было чисто, а перед самым домом стоял целый штабель кизяка, сложенный из высушенных кирпичиков.

— Топим, такое дело. Грязи нет. Тепло. Теперь все наше — кошара, дом... Кизяк тоже наш,— ответил Жасеин на мой вопрос — почему он высушивает кизяк? — Порядок надо. Моя отара.

— Так вы и управляетесь всей семьей? — спросил я Ракимаш дома.

— Э, э, хорошо управляемся! — весело отвечала она.— Жасеин здесь, я здесь. Ребята помогай... Чего не управляться?

— А раньше много было в отаре пастухов?

— Много... Пастухи были, сторожа были, объездчики были... Заведующий были, учетчик были... Народу много — получай мало. Овца плохой, шерсть плохой, мясо плохой. Много пропадай.

— А теперь не пропадают овцы?

— Теперь нельзя пропадай. Овечка пропадет — кто платит? Мы. Теперь нельзя пропадай,— закончила она решительно и вышла в сени готовить кавардак.

Я осмотрелся: в избе было довольно чисто; вдоль стен стояли две койки, покрытые пестрыми, яркими одеялами; переднюю половину пола застилали верблюжьи кошмы с черным затейливым орнаментом; в одном простенке над тумбочкой висел красный вымпел «Лучшей отаре». На тумбочке лежала тетрадь: на отогнутых засаленных страничках ее пестрели длинные столбочки цифр — это была бухгалтерия Жасеина. Сбоку от столбочков, обозначавших окот, другие цифры — настриг шерсти, привес; изредка попадались записи иного плана: «Одну обчин сдал 12 марта»... Это черные отметины падежа. Их, к счастью, мало.

— Вы что ж, так и живете здесь? — спросил я Ракимаш.

— Зачем здесь? В селе дом есть хороший. Здесь отдыхай, спи... Обедать можно.

Вскоре подъехал Лозовой.

— Ну, какая прибыль за нынешний день? — весело спросил он Ракимаш, входя в избу.

— Зачем так громко говори! — замахала на него руками Ракимаш и, подойдя к нему, что-то сказала на ухо.

Лозовой слушал, хитровато поглядывая в мою сторо-

ну, и, когда Ракимаш ушла в сени за самоваром, сказал мне:

— У них, брат, вслух нельзя считать ягнят... Да еще при посторонних. Примета дурная.

Самовар поставили прямо на пол. Мы расселись на кошму вокруг низенького столика. Хозяйка принесла в большой миске мелко нарезанное, протомленное в жире мясо разных сортов — это и есть кавардак. Чай подавали зеленый, густого взвару, и разбавляли его буровато-желтым топленым молоком. Пили долго, не торопясь; приходила несколько раз молоденькая застенчивая сакманщица и после каждой чашки чая снова убегала в кошару; заезжал утолить жажду Токтарбек, и Ракимаш пояснила, что Токтарбек — значит последний сын — и тот в деле помощник; заходил Жасеин, и от каждой выпитой чашки его обветренное лицо становилось еще краснее, точно появлялся он из парной.

— У ярочек соски срезают, когда брюхо стригут. Плохая овечка получается — вымя большое, соска нет. Стричь будут — смотреть надо. Сам смотреть буду,— говорил он сердито Лозовому.

— Это мероприятие виновато,— шутит Лозовой.— Раньше у нас так было: стрижка шерсти — мероприятие, окот — тоже. Бывало, все учреждения подключались: и райисполком, и райком комсомола, и даже сберкасса. Одних сакманщиков по шесть, по семь человек на каждую отару присылали. А ягнята дохли.

Все дружно смеются.

— А теперь мы вон Марусю послали им на месяц — и вся недолга.

— Сколько же человек обслуживали раньше отару?— спрашиваю я Ракимаш.

— Много. Считай не могу,— она крутит головой и смеется.

— Восемь-девять человек. А теперь фактически отару обслуживают два человека — Жасеин и его подпасок,— говорит Лозовой.— А все остальные — это их домашние помощники, так сказать, нетрудоспособные. Вот возьмите Ракимаш — она получает пенсию, а тут сыну помогает. Там мальчишки, жена! Свое дело! Ведь эта отара не только колхозная, она еще и Кабдошева. И вот два человека — чабан и подпасок — дают колхозу почти двести тысяч рублей чистой прибыли. А мы им выплачиваем за отару, вместе с прогрессивкой, примерно тысяч три-

дцать пять — сорок. И колхозу выгодно, и чабанам. А то, бывало, на отару столько нахлебников было, что не сочтешь. Один заведующий овцефермой чего стоил.

— О, Одрыж важный начальник был,— кивает головой Жасеин.

— В отару приедет — овечку зарежет. Съест — в другую отару поедет. Барашка один съест,— говорит Ракимаш, посмеиваясь.

— С ним беда была,— вступает и Лозовой.— Упразднили мы должность заведующего овцефермой. А куда девать Одрыжа? Дадим ему отару, предлагаю на собрании, пусть чабаном станет. «Да что вы! — запротивились мужики.— Нешто ему можно доверить отару?» Ну тогда в подпаски?! Никто подпаском-то его не берет. Вот Жасеин сжалился, взял его подпаском к себе. На трудовое воспитание, так сказать.

— И пошло дело?

— Сперва плохо пас,— отвечал Ракимаш.— Неделю пасет — трех барашек нет. Ленивый больно. Взяли у него со двора три барашка — хорошо стал пасти,— она удовлетворенно смеется, обнажая крепкие желтые зубы.

— Раньше волки часто овец таскали. А теперь что-то не слыхать. Волки перевелись, что ли? — говорит Лозовой и лукаво поглядывает на чабана.

Тот прикрывается ладонью и смеется:

— Волк дурак, что ли? Наверно, понимает, что за овечку платить надо! — И уже другим тоном спрашивает у председателя: — В отаре Абдоня был? Говорят, двойняшек у него много?

— Тебя хочет обогнать,— Лозовой хитровато щурится и что-то шепчет на ухо Ракимаш.

Та говорит Жасеину, и оба качают головой:

— О-о, много! У нас тоже хорошо.

— Они прогрессивку получают за каждого сверхпланового ягненка. Вот и соревнуются, так сказать,— поясняет мне Лозовой.

Мы вышли из дома и стали прощаться с хозяевами отары.

— Скоро у тебя будет овец, что у Тойбазара,— говорит Лозовой Жасеину, указывая на разбредшееся по дальнему увалу стадо.

— О, конечно! Я теперь бай.— Жасеин весело машет нам на прощание рукой.

— Тойбазар — бывший богач. Имел столько овец, что

их никто сосчитать не мог. Загонит их в лог и смотрит: полон лог, значит, овцы все. Вы знаете, сколько скота сдает американец Гарст? — неожиданно спросил он меня. Четыре тысячи голов в год. А мы всем районом не сдаем столько. Но подождите! — он поднял хлыст и погрозил кому-то.— Мы только начинаем. Вот приезжайте лет через десять. Мы, пожалуй, потягаемся с Гарстом. Главное, мы развязали руки колхозникам. И дело пошло, овец в два раза больше стало — восемь тысяч штук. Или вон кони! — он указал на ложбину за рекой Нарымом, где пасся табун.— Раньше на сто пятьдесят лошадей было четыре табунщика, заведующий фермой да учетчик. А теперь четыреста пятьдесят лошадей — и всего один табунщик с помощником. И справляются, да еще как! Зато и получают девять рублей с головы. А если вырастят по восемьдесят жеребят на сто маток, получают в награду по коню. Живем!

Он отпустил поводья, привстал на стременах и помчался по дороге.

Мы выехали в Нарымскую долину, резко вытянутую с востока на запад, окаймленную с юга зубчатой стеной белков, сухо и резко сверкающих на солнце. Вся долина была четко разделена, словно ударом кнута, на две половины — зеленую и черную. Зеленая полоса уходила к южным предгорьям и стушевывалась в синеватой дымке где-то возле белков; черная, глянцевито лоснящаяся на солнце, лениво горбилась, уплывала крупными валами к селу Солдатову. На самой границе этих чуждых друг другу цветовых стихий мы остановились.

— Что это за рубеж?

— Граница наших земель,— ответил Лозовой.— Зеленые — совхозные поля, черные — наши.

Поначалу я принял зеленя за всходы яровой пшеницы, но потом по сухому белесоватому блеску стеблей, по их жаловидным концам понял, что это — овсюг, самый коварный сорняк.

— Вот к чему ведет не в меру ранний посев пшеницы по холоду,— сказал Лозовой.— Пшеница еще спит, а овсюг прет; ему хоть бы что. По-хорошему — это поле лущить и пересевать надо.

Несколько минут мы ехали молча.

— Черт возьми! — возмущенно воскликнул Лозовой.— И ведь знают же, что нельзя сеять по холоду. И все-таки сеют. А почему? Чтобы отрапортовать: в этом году сев

закончился на десять дней раньше, чем в прошлом. И так каждый год. И если считать по этим газетным рапортам, то теперь сев должен оканчиваться где-то в январе месяце. И все давай, давай, жми во все лопатки! Лишь бы отсеяться... Небось мужика на закрепленном за ним поле не заставишь сеять по холоду...

— Да кто с ним считается? Один не захочет — другого пошлют.

— Это бывает,— согласился Лозовой.— А жаль. Вы приглядитесь к нашему хозяйству; все люди мастеровые, но у каждого есть свое особое пристрастие, ремесло, свой конек. Вот и надо делать так, чтобы каждый отличался в своем коронном ремесле. И не дергать его, не кидать с места на место. Дать ему полную самостоятельность. И все, брат, входит в свою колею: и кукуруза родится, и молоко дешевое, и трактора в сохранности... У нас вот раньше была бригада строителей, делала в том числе и колеса, но колхоз без колес сидел. А сейчас делает колеса один Илья Филатович, и все телеги на ходу. Да какой ход отменный. Так-то.

И хозяйство каждое должно иметь свою главную специальность, свое лицо. У нас в иной колхоз напланируют такого, что и по пальцам не перечтешь. Не колхоз, а универсальный магазин! — он приостановил коня и живо обернулся ко мне; лицо его озарилось какой-то лукавой, хитроватой и дерзкой усмешкой.— Может, слышали, как меня склоняют за свиней?

Я невольно улыбнулся, поддавшись его веселому настроению:

— Да, приходилось.

Мне вспомнилось, как второй секретарь обкома Турткарин сердито отчитывал Лозового заочно: «Председатель заносчивый, избалованный, недопонимает порой важности отдельных мероприятий,— он сцеплял свои смуглые маленькие руки и с укором глядел на меня.— Вы понимаете, он ликвидировал свиноферму?! Птицу не разводит!..»

— А ведь я в самом деле свиноферму ликвидировал.— Лозовой резким движением поводьев сбивает прядающего коня и смеется.— И кроликов... И птицеферму порешу. Но нам прощают: мы передовые.— Он вдруг становится серьезным и, показав хлыстом на дальние в синем мареве высоты, говорит другим тоном: — Видели, какая красота? Это все наше... Все — луга. Да какие?! Альпийские! В

мире лучших не сыщешь. Самой природой велено разводить здесь коров, коней, овец. А мне рекомендуют свиней, кроликов, уток... и даже черно-бурых лисиц.

— А не боитесь?

— Я человек отчаянный! — Он привстал на стременах и с гиканьем понесся к селу.

То, что произошло в Солдатове, особенно хорошо понимают сами колхозники, бывшие бригадиры или заведующие.

— Да ведь у нас тут каждый третий либо бригадиром был, либо учетчиком, не то кладовщиком или охранником. Особенно мужики,— рассказывала мне бывший бригадир Фетинья Яковлевна Ракова.— Значит, две мэтэфе было, две конефермы, две овцефермы, две птицефермы, кролиководческая ферма,— она загибает пальцы, морщинит лоб и вдруг, рассмеявшись, махнула рукой: — Да нешто все перечислишь! Разделили мы все это с Толстых — половина его бригаде, половина моей. И постоянно спорили: тебе близко на фермы ездить, а мне далеко.

— Делать вам нечего было, вот и спорили,— сердито замечает с койки Ирина Самойловна, сухонькая старушка с каким-то темным пергаментным лицом.

Она лежит в неподвижной равнодушной позе, смотрит в потолок, но, видимо, все слушает и время от времени бросает короткие фразы своим хриплым басовитым голосом.

— А и в самом деле,— рассмеялась Фетинья Яковлевна.— Бригады ликвидировали, и ездить на фермы перестали, и дела лучше пошли.

— Ведь раньше что было? — спрашивает она меня и сама отвечает: — Взвалят все на заведующего, и отвечай: ты и корма добывай, и за молоком следи, и за коровами, и за людьми. Была я заведующей... На моей ферме, на отгонах, шесть коров перебодались да в овраг свалились, ноги переломали. И что ж вы думаете? С меня и удерживать стали. А пастухам, которые пасли коров,— предупреждение. Они и посмеиваются. Небось теперь в оба смотрят: угнали скот на пастбища — и сами хозяева.

— Что же делают все эти бывшие бригадиры и заведующие?

— Работают,— с каким-то радостным воодушевлением

произносит Фетинья Яковлевна,— кто плотником, кто трактористом...

— Привы-ыкли,— доносится с койки хрипловатый басок.

Мы беседуем за столом в передней избе; сквозь дверной проем видна чисто прибранная и тесно заставленная вещами горница: там и шкаф, и швейная машина, и приемник, и трюмо, и пышно взбитая кровать — словом, все, что, по деревенским понятиям, должно отмечать культурную, зажиточную жизнь.

— А как раньше жили? — спрашиваю я Ракову.

— Как люди,— отвечает не совсем любезно старуха...— Коней было больше десяти, да коров не меньше.

— По здешним местам это небогато,— говорит Фетинья Яковлевна.— Коней много было, да в изгрёбном ходили. Сапоги по праздникам носили, а то все в бутылах.

— А што бутылы? Удобней иных сапог. В изгрёбном ходили! Что ж такого? — Ирина Самойловна поднялась на локтях и повелительно сказала: — А ну-ка, принеси мои ткани! И рушники...

— Да к чему это? — возразила Фетинья Яковлевна.

— Принеси, говорю! — сердито повторила старуха и, пока Ракова ходила в чулан за ее старым добром, отрывисто бубнила: — В изгрёбном, домотканом... Небось обходились, жили...

Фетинья Яковлевна принесла большую белую домотканую скатерть, тонкую, с шелковистым блеском, мягкие шерстяные понёвы, кружева замысловатой и четкой вязи и, наконец, два рушника, один из которых меня поразил красотой и сложностью узора и особенно манерой вышивки: это была не «гладь», не вышивка «крестом», а нечто похожее на плетение китайского гобелена. Старуха перебирала все крючковатыми желтыми пальцами, искоса поглядывая на меня; ее тусклые карие глаза заметно оживились.

— Неужели все это сделано вами? — невольно вырвалось у меня.

— А что мы не делали? — с вызовом переспросила Ирина Самойловна.— Чего не умеем?

Странная усмешка, похожая на гримасу, чуть тронула ее высохшие губы; сложив свои ткани в ногах, она снова откинулась на подушку и уставилась в потолок.

Мастеровой здесь народ! И как раскрываются способ-

ности каждого человека, освобожденного от этой мелкой опеки. Я видел колхозную мельницу — маленький амбарушко стоит на отшибе села возле мостка через реку Таловку. Кому нужно смолоть хлеба, привозят мешки с зерном с утра и оставляют возле дверей амбара с короткой запиской. Тракторист Полторанин Павел, он же «конструктор» этой мельницы, и мельник, и кукурузовод, подъезжает на своей «Беларуси», продевает приводной ремень от жерновов на шкив мотора, и трактор начинает молоть. На этом же тракторе Павел развозит муку по домам и в колхозную пекарню. Накладных здесь не выдают, и расписок нет. Да и некогда возиться с ними трактористу: в поле ждет его кукуруза — целых полтораста гектаров. Это поле Полторанина, оно закреплено за ним. На нем он тоже хозяин, как и на мельнице.

Да, народ здесь мастеровой. Никто без дела не сидит. Бывший бригадир пчеловодов Дементьева пошла на пасеку. Но одно дело — руководить, другое — самой работать, и не просто работать, а быть мастером своего дела. И оказалось, что пасека — дело не менее сложное, чем бригадирство. Бывшему вожаку пчеловодов пришлось учиться у пасечника.

Звено плотников Феоктиста Макаровича Солдатова наполовину состоит из бывших руководителей. Сам звеньевой раньше работал бригадиром, плотник Ромадин Иван Михайлович был и председателем, и кладовщиком.

— По совести сказать, я теперь просто белый свет увидел,— признается Ромадин.— Сам себе хозяин стал и за все свое в ответе. Никто меня не дергает, и я никого за руку не вожу.

— К этому порядку мы давненько подбирались, исподволь,— говорит Феоктист Макарович Солдатов, член правления, коммунист, один из основателей артели.— Я, брат, долго бригадировал. И так и эдак приноравливались — и что-то не то. Работаем, но так, что через пень колоду палим. Заготовляли мы, помню, лес бригадой — тридцать шесть человек. Смотрю я — у одного лоб мокрый, а у второго спина мерзнет. А что, если разбить всю эту бригаду на группы малые? Пусть сами подбираются, так чтоб каждый друг за дружку в ответе был. И каждая группа чтоб самостоятельной была, лучше дело поставит — больше заработает. Разбились мы, значит... И пошли рвать. И что ж вы думаете? То мы раньше сто кубометров рубили неделю, а тут — за два дня.

Феоктист Макарович весело щурится и делает длительную паузу: неторопливо достает папиросу, разминает ее, постукивает о ноготь, закуривает. Во всех движениях его крупных узловатых пальцев есть какая-то особая плавность мастерового человека, знающего цену любому жесту. Его красивая седая голова, крупное горбоносое лицо в резких морщинах, насупленные брови делают его похожим на сурового мыслителя, и только синие, светлые как горный воздух, глаза говорят о его душевной мягкости и доброте.

Мы сидим возле овечьей кошары в горной балке у самого ручья. Звено Солдатова ставит чабанам дом; кругом навалены бревна, тес, кучи рыжего трухлявого мха. Сруб наполовину слажен; и довольные своей работой плотники ушли на соседнюю пасеку готовить ужин. Закатное солнце плавает у самого берега балки и протягивает к нам длинные косые тени от жидких приземистых кустов шиповника и корявых, искривленных березок. Откуда-то издалека по балке доносятся монотонное блеяние овец и короткие свистящие удары железа о железо: вжих, вжих! Солдатов прислушивается и говорит:

— Кто-то в поле припозднился. Кончал сев, должно быть.

— Так с той поры и работаем все своими звеньями,— оживляется Феоктист Макарович.— Милое дело, скажу вам. Дом ли ставить, кошару ли, лес рубить — все сподручно. И так, знаете, друг перед дружкой, звено перед звеном. И каждый на виду стал. Прогульщиков у нас не бывает. Если надо кому, сами отпустим. Суть ведь не в том, что мы малыми группами работаем. Звено может быть и больше и меньше. Вся штука в том, что у нас каждая группа, каждый человек связан друг с дружкой делом. Понимаете, не словами, а делом. К примеру, строим мы избу; мы стараемся не только побыстрее сладить ее, но и чтоб дешевле она обошлась. Всю эту постройку вроде бы отдают нам, доверяют: дешевле сделаете, получите больше. Кумекай! И мы кумекаем, так чтоб и колхозу была прибыль, и нам доплата. Тут все обговорят, все взвесят: и прочность, и удобство. Из каждого дела выгоду надо выжать и артели и себе. Видели наш четырехрядный коровник?

— Да. Отличный коровник,— отозвался я.

— Деревянный, под легкой кровлей. И удобный и прочный. И знаете, во что обошелся он колхозу? В

шестьдесят пять тысяч по старым деньгам! А нам прислали проект на каменный коровник стоимостью в миллион. Дворец! Мужики отказались. А зачем дворец коровам? Корове — жизнь коровья, человеку человечья. А то в ином колхозе коровник под шифером, а доярка — в старой юбке.

На прощанье Солдатов задержал мою руку и произнес с особой значительностью:

— Контроль у нас вырос. То бригадир следил за делом, а теперь каждый колхозник. Все считают... Оттого и выгода. Надо, чтоб каждый хозяином своего дела был.

Возвращался я из Солдатова той же самой дорогой: опять по обочинам долго щетинились позеленевшие талы; снова промелькнул чистенький сквозной березовый колок возле Толоконцевой горы; тряслись, как в лихорадочном ознобе, бревенчатые мосточки через Нарым и Таловку, и снова потянулись бесконечной зубчатой стеной блестевшие на солнце белки, только теперь они были не справа, а слева.

За Большенарымским с невысокого увала мы увидели море и ахнули: старая дорога, по которой мы ехали раньше, уходила под воду; и странно было видеть эту накатанную колею так бесследно исчезавшую в наплыве сероватых волн. И поневоле думалось, что ездили по этой дороге куда-то совсем в иной мир, словно в водяное царство погружались. Но ведь я точно знал, что дорога эта была, и плохо ли, хорошо ли, но ездили по ней. А теперь вот пришло сюда море; пришло из дальних далей, оттуда, где в горных долинах слежалось много снега и льда, где хорошо поработало солнце, растопило снега и двинуло в далекий и добрый путь животворную влагу. Пришло море, принесло в эту долину желанную прохладу, но захлестнуло старые дороги. А люди прокладывают новые пути; идут они выше и прямее старых.

И опять я лечу в Большенарымское.

В который уж раз прибывая в эти далекие села, я ловлю себя на мысли: а вдруг не узнаю их? Лет десять назад ехал сюда на «Волге», потом прилетал на четырехместном «яке», потом на «аннушке», теперь вот на серебристом «иле». Двадцать два пассажира прямо от трапа дружно бросились вперегонки к далекому приземистому домику — аэровокзалу. Неужто автобус появился?

Так и есть, автобус! Он урчит, подрагивая всем своим древним маленьким корпусом. Дверь одна, впереди. Пассажиры ныряют в нее, как десантники по тревоге в самолетный люк, подталкивая друг дружку: «Давай, давай, плотнее!» — «Куда ты на голову прешь, дьявол?» — «А ты не выставляй ее в проход, голову-то...» — «Да что ж, я ее отстегну, что ли?» — «В кювет ее брось! Без нее легче».— «Гы-гы-гы!» — «Плотнее, ребята, плотнее!..» Наконец последняя спина заткнула дверной проем. «Поехали!» — «Дайте хоть дверь закрыть, черти!» — кричит шофер. «А зачем? С ветерком веселее».— «Да вывалитесь!» — «Ничего... Тут невысоко. Небось не расшибемся, не самолет».— «Ну, поехали, что ли ча!»

Останавливаемся в центре села, на бугре, возле какого-то сарая. У забора привязана коза, собаки обнюхивают пассажиров и шарахаются в сторону. Ребятишки — русские и казахи, как по команде, стоят смирно, разинув рты, разглядывают приехавших. А направо и налево и прямо, по главному шоссе, вдоль кюветов теснятся в полном беспорядке мазанки, все серые от въевшейся пыли, низенькие, нахлобученные плоскими крышами; повернутые задом на главную улицу, они, словно дзоты, заняли оборонительный рубеж вдоль дороги и, кажется, стоят здесь с фантастических времен Чингисхана. Да, это Большенарымское. Оно все то же.

Но там, за этим унылым разливом плоских крыш, этими оголенными саманными фанзами без единого деревца, за ветхими заборчиками да крохотными сарайчиками высятся двухэтажные корпуса нового райцентра: клуб, райком, управления РТС и, наконец, жилой поселок для специалистов. Строится Большенарымское! Все те же приметы, что и повсюду в нашей стране,— старое старится, новое растет.

— Как дела? — спрашиваю в райкоме.

— В прошлом году подсушило малость. Но в общем ничего. Двенадцать центнеров зерновых сняли по району.

— А у Лозового как урожай?

— У него двадцать пять.

— Что ж, у него климат другой?

Отвечают с улыбкой — все старые знакомые:

— Молитвы не те. А небесная канцелярия одна.

— Что у него нового?

— Овец поменял на коров.

— Почему?

— Специализация... Коровы выгодней. Вот и обменял в совхозе имени Черняховского овец на коров.

— А вы что же?—спрашиваю секретаря райкома Ивана Игнатьевича Белькова.

— Поддержали. Специализация—дело перспективное.

Вспоминаю свой первый наезд... Тогдашний секретарь Большенарымского райкома как бы нехотя снисходительно журил при мне Лозового: «Чудишь ты, дорогой... Птицеферму ликвидировал, свиней не хочешь разводить. Ты подаешь дурной пример...»

Сколько было их, таких «дурных» примеров! То Лозовой бригады упразднил, а бригадиров послал в звенья, в поле работать. Какой шум был!.. «Это подрыв колхоза изнутри!», «Это развал, путь к анархии!».

То землю стал закреплять за звеньями. И опять обвинения: «Что это, автономия в колхозе?», «Путь к частной собственности?», «Зачатки. Возвращение вспять!». То семенное зерно отказался сдавать... «Судить его!», «На колени!», «Пусть прощения просит!».

Увы! Все было... И выговора—простые и строгие. И на бюро судили. И снять хотели... Но Лозовой не стал на колени. Приезжали комиссии, расспрашивали, проверяли—он до хрипоты разъяснял, доказывал, отстаивал. И было что отстаивать—росли урожаи, поголовье скота, доходы. А частная собственность так и осталась все в том же воображаемом «зачатке».

Менялись времена, менялись и отношения... За долголетние устойчивые урожаи, за высокие доходы председатель колхоза Николай Иванович Лозовой награжден был медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда...

Я встретил его на ферме, возле сливного бака. Он сидел за столиком, что-то записывал. Увидев меня, бросился навстречу. Мы обнялись.

— Все чудишь?—спрашиваю.— Шило на мыло меняешь? Не жалеешь ты начальство.

Смеется:

— Мы теперь друзья. Живем в полном согласии. На доверии!

— А ты чего же не доверяешь дояркам? Пишешь за них.

— К сортировке стада готовимся.

— Значит, учетчиком сделался?

— По совместительству... Я теперь в две смены работаю. С четырех до девяти на дойке, а потом уж в контору иду. Словом, не было у бабы забот, да купила баба порося.

Смотрю я на него — он почти не меняется за последние десять лет: волосы черны, ни сединки, глаза все так же весело щурятся, весь он подтянутый... А ему уж под пятьдесят.

— Когда ты приезжал последний раз?

— Два года назад,— отвечаю.

— О-о! Тогда есть на что посмотреть. В больнице нашей бывал?

— Нет.

— На шестьдесят пять коек больница! Палаты только одиночные и двухместные, родильное отделение на восемь коек, кабинеты — от зубного до рентгеновского — по последнему слову техники. Коридоры метлахской плиткой выложены. А-а? — Он озорно толкает меня в плечо и посмеивается.— А вон, видишь, трехэтажный домик стоит? На двадцать четыре квартиры! Отделочные работы пошли. Да еще два восьмиквартирных дома закладываем.

— Вы что же, уплотнением села решили заняться? Все до кучи хотите свезти?

— Ну нет! У нас только на добровольных началах. Как при коммунизме. Хочешь — в большой дом переезжай, а хочешь — строй себе коттедж.

— Так уж и коттедж?

— Не веришь? Поехали — покажу. Саша, домой доставь нас!

Возле длинной двухэтажной школы зачинается порядок новой улицы. Пока стоит только один дом Лозового, да заборчик вокруг него, да котлованы прорыты под будущие дома.

— Пошли, пошли... Я тебе покажу кое-что.

Входим: в доме веранда, шесть комнат — четыре внизу, две наверху, погреб, выложенный глазурованной плиткой, ванная, санузел...

— А вот это — русская печь. Та самая, за которую ты ратовал.

Мы остановились перед кафельной белоснежной громадой в голубых разводах.

— Конструкция — моя собственная. Тут, значит, ше-

сток и плита совмещены. Хочешь снизу топи, хочешь сверху...

Рядом с печью — газовая плита на четыре конфорки.

— Зачем же вам русская печь при газовой плите да при паровом отоплении? — спрашиваю хозяйку (тещу Лозового).

— Как зачем? А пироги испечь, хлебы или блины?..

— А на плите, в духовке?

— На плите будет не блин, а каланец. И пирог в духовке клёкнет. А в печи он на вольном воздухе. И что за дом без русской печки? У нас вон какие холода... За сорок градусов. А вдруг лопнет это паровое отопление?

— Во, брат, логика! Ни одной науке не подвластна,— смеется Лозовой.

— Сколько же стоит ваш дом?

— Восемь тысяч семьсот.

— Не дорого для колхозников?

— Конечно, дорого. Но — что делать? Строительство — наше больное место.

Мы сели в просторной гостиной на широкой, разборной тахте. Николай Иванович подвинул ко мне низенький легкий столик с журналами и газетами:

— Не первой свежести. Уж извини! Вот телевизионный центр построим, тогда Москву будем смотреть.

— Сами строите?

— Да... Три колхоза сложились. Но строители подводят нас. Затянули дело.

— Подгонять надо.

— Прав нет. Мы их только умолять можем. Да и некогда. Видишь, как занят.

— А чего ты на овец рассердился?

— Не в том дело. Просто у нас мало зимних пастбищ. И заносы снежные в последние годы, как нарочно... А держать овцу в стойле семь месяцев накладно по сравнению с коровой. Отдача не та. Овца — она и есть овца. Впрочем, можно было и с овцами мириться. Но мы сейчас подошли к своеобразному хозяйственному барьеру. Все, что мы могли выжать из своих трех тысяч гектаров пашни да пятисот колхозников, пользуясь, так сказать, общепринятыми мерами, мы взяли. Миллион триста тысяч дохода на эти гектары — право же, неплохо. Но доход этот почти не растет за последние два года. Значит, надо искать новые источники и новые методы и формы работы. Время!..

— А что же устарело?

— Прежде всего взгляды наши,— он поднял руку, предупреждая мои возражения.— Не в общем смысле, а в конкретном, хозяйственном. Возьмем тех же овец. Когда мы их начали разводить лет пятнадцать назад, двадцать тысяч голов казались для нас фантастической цифрой, пределом. Но вот достигли мы этого предела. И что же? Выручка есть от них, конечно. Но нам уже мало. Вон какие расходы у нас. Видели, что мы построили? А построить нужно еще больше. Где брать деньги? Увеличивать поголовье овец? Нельзя. Пастбищ не хватает. Держать этих — отдача уже не устраивает нас. Овцу на поток не поставишь. Это сезонная скотина. Подходит окот, или, по-нашему, сакман, стрижка — людей только дай! А в это время то сев, то уборочная. И другое сказать надо — люди наши теперь не любят такие сезонные заварухи. Они хотят работать постоянно на каком-то определенном месте. Колхозник у нас привык заранее определять, рассчитывать — где он будет, при каком деле и что заработает. А что нам дадут овцы? Как бы я ни старался здесь, но ставропольцев мне не переплюнуть. Вот мы и решили взять коров, построить образцовый животноводческий городок, скоро нам ток бухтарминский дадут, подстанция за селом уже построена. Только давай разворачивайся. Тут предела не будет.

— Много вы взяли коров?

— Коров-то много, да толку от них пока мало. Одно только название — корова. Иная по два, по три литра молока дает в сутки. Козы! Вот мы и сортируем их. Из тысячи трехсот голов оставили пока восемьсот. А там телочек породистых купим. Свою породу станем выращивать. Дел — непочатый край. Возьмите тот же надой. За последние десять лет в Америке он поднялся более чем на пятьсот литров на корову и достиг трех тысяч девятисот девяноста двух литров. А у нас — все на двух с половиной тысячах висит. Американец такую корову и держать не станет. Ровно подобранных коров можно и на поток ставить. А какую электродойку применишь к нашим коровам? Одна дает двенадцать литров, другая — два. А мы все толкуем о передовых методах. И вещи-то, казалось бы, очевидные, бесспорные. Но у нас нет-нет да еще и разгорится сыр-бор! Почему доят вручную? Почему «елочки» не ставят?

— Командиры живучи, Николай Иванович. Иному

хоть кол на голове теши, а он все будет орать: «Делай не как знаешь, а как я велю». Вон опять шумят некоторые в газетах: «Не закреплять землю за звеньями!», «Это раздробление...», «Развал!», «Работай в бригаде — и больше ничего...».

— То есть кого куда пошлют,— усмехается Лозовой.— Такие окрики я давненько слыхал: «Работать надо, а не выдумывать!» Ну, я понимаю еще — спорили лет восемь назад, когда впервые вводили это дело. А теперь-то что спорить? У меня на закрепленной земле сняли в прошлом, засушливом, году по двадцать пять центнеров на круг, а у соседей-то десять-одиннадцать.

— Говорят, звеньевые землю истощают.

— Чепуха! Вон у Лисовца в третьем годе горный поток по полю прошелся и гектаров восемь смыл начисто. Дак они на поля землю возили, почву! Так заровняли, что не заметишь, где и смыв был.

— А если б раньше такое случилось?

— Что ты! Теперь бы уже овраг образовался. Отношение к земле и к делу изменилось. Бывало, сев подойдет — кого в севари? Да кому делать нечего. А теперь он сынишку сажает на трактор, а сам на сеялку становится. Что ему норма высева? Он ее сам устанавливает: где земля пожирнее, он и зерна бросает побольше. А где и придерживает.

— Ну, мне понятно еще, когда противятся закреплению земли деятели из управлений или теоретики от стола. Но почему против выступают некоторые председатели колхозов? — спрашиваю я.

— Да потому, что работать председателю становится куда труднее. Тут уже не приказывать надо, а подсчитывать, прикидывать тысячи вариантов — что выгоднее, то им и подавай. Снабжать вовремя и удобрениями и семенами, да не какими-нибудь, а высшей кондиции. Звеньевые сами проверяют, их не проведешь. И ремонт... Уже не ты с них, а они с тебя требуют и запчасти, и железо, и горючее. Так-то...

— Но говорят, что они только для себя стараются, а не на общее дело.

— Да бросьте! Вот был случай: придумали удобрение разбрасывать с самолета. Хорошо! Но как его нагружать в самолет? А дедовским методом. Подгонят грузовик к самолету — пошла в ход родимая лопата. Пять минут разбрасывать удобрение, а час — нагружать самолет. Да

пыль поднимается — лезет в глаза, в нос, в уши. Разъедает все, отравляет. Но что делать? Так и маялись. А в прошлом году решили удобрения по звеньям раздать — и самолеты закрепили, действуйте сами. Дешевле сработаете, сэкономите — прибыль ваша. И что ж ты думаешь? Изобрели, как избавиться от этой ручной погрузки!

— Как?

— Очень просто. Приспособили шарнирный стогометатель... Навесили на него самодельный ковш с открывающимся днищем. Занесут его черт-те знает на какую высоту. Выше самолета. Откроют люк — бух! И полным-полна коробочка. Вот и вся недолга,— он засмеялся и покачал головой.— Но в этом году осечка вышла. Прислали нам для разбрасывания удобрения не самолет, а вертолет. Что тут было! Гони его обратно! Ты виноват, председатель. Плохо просил... А что же? И виноват. Заранее предвидеть надо — они бы и к вертолету приспособились.

— Говорят, что на закрепленной земле севооборот нарушается,— подзадориваю я Лозового.

— Чепуха! Мы и севооборот-то настоящий только с закреплением земли наладили.

— Каким образом?

— А ты поговори со звеньевыми сам. Чай, знаком.

На следующий день я встретил Дмитрия Дмитриевича Лисовца в механических мастерских. Летом он на полях, а зимой — главный ремонтник и по тракторам и по комбайнам, мастер на все руки. В его звене или отряде восемь человек, таких же тороватых механизаторов-хлеборобов, и больше тысячи гектаров земли.

— Как же вы успеваете обрабатывать такую махину?

Только плечами пожал:

— Дело привычное.

Я давно знаком с ним; мне нравится его уверенное спокойствие здорового человека, открытое мужественное лицо, какая-то компактная слаженность атлетической фигуры и широкие, как лопата, ладони.

— Как урожай на вашем поле?

— В прошлом году был неважный... Двадцать четыре центнера пшеницы на круг. Чуть до плановой не дотянули. Засуха!

— А в другие годы?

— Было и по сорок два, и по тридцать восемь. Разно.

— А заработок?

— В прошлом году неважный...— Он чуть замялся.— Примерно по сто пятьдесят рублей в месяц.

— А в других отрядах?

— У них повыше. Особенно у Метчинова и Оразаева. У них поля получше. А план на урожай почти одинаковый.

— Почему?

— Да потому, что я уже семь лет проработал на своем поле, а они всего два года...

— Ну и что?

— А то, что я за пять лет урожайность повысил втрое, а на других полях она была пониже моей. Когда остальные поля закрепили по звеньям, то за плановую урожайность взяли мою... Но земля-то у них лучше. Ценность земли по науке определять надо. Отсюда и план давать.

Говорит он медленно, как бы нехотя. Какая, мол, польза от этих разговоров?

— Я вот сколько лет твержу: дайте мне лимит на трактор, только по науке. А то один расходует на ремонт трактора по двести рублей в год, другой — по шестьсот. Иная деталь ему не нужна, а он ее тащит. Берет на горло.

— А что Николай Иванович?

— Он-то, может, и не против. Дак ведь не из одного председателя колхоз состоит. А порядок такой заведен был давно.

Закурил. Начал опять без видимой связи:

— Район у нас все еще кампании водит... Этих бумаг из управления — гора! Все планы, приказы, и по срокам все расписано. Сколько отремонтировать тракторов, сколько плугов, борон, сеялок... Почему сроки нарушаете? Где ваши донесения? Иная сеялка проработает всего восемь дней — новенькая, а мы ее начинаем разбирать. План на нее — ремонтируй... Давай выполнять.

Впрочем, критикует он все конторы без названия.

— Бумаги нам шлют... А запчасти — нет, шаром покати, железа — ни куска. Где хочешь, там и доставай. Ни купить, ни украсть, извините,— ну хоть в лепешку расшибись. Вот и ездим в Зыряновск, побираемся, как цыгане. Достанешь этих деталей после реставрации да из брака. Они ни к черту! А то сами лепим детали из всякого подручного материала! Это никто замечать не хочет. Зато наедут к тебе, увидят кривой зуб на бороне — и пошли: почему не отремонтировано? План не выполнять? Было

указание?! А то, что трактор вышел из ремонта и через неделю развалился, не видят. Начнешь говорить про это некоторым штатским лицам — хмурятся.

Этот разговор вспыхнул с новой силой на ферме. Лисовец пришел замерять бак для молока, чтобы новый сделать, а Лозовой сидел за столом, удой подсчитывал.

— У нас такой порядок заведен: мне, колхозу, на пять лет вперед все расписано: сколько и чего сдать надо и к какому сроку. Но что получим мы? Не только что за пять лет, за год наперед не знаем,— горячится Лозовой.— Вот холодильника нет, чтобы охлаждать молоко. За пятьдесят верст возим его, да по жаре. Пять лет просим — не дают. «Дайте нам поилки для коров!» Нет. «Но хоть труб дайте! Сами смастерим». И труб нет. «Железа нам дайте!» Нет. Вон стекла нет! Идет районная сессия: как подготовиться к зимовке скота. «Дайте нам стекла»,— говорим. «Товарищи, мы тут государственное дело решаем, а вы со стеклом».— «Так чем же нам фермы стеклить? Бычьими пузырями, что ли?» — «Ну, товарищи, нет же стекла! Когда будет, тогда [redacted] дадим. О чем разговор!» Или вон, зима подойдет — начинаем скот сдавать... Мороз сорок градусов, а мы этих коровенок взгромоздим на грузовики и за пятьдесят верст с ветерком везем. По пятнадцать килограммов с головы улетает только за одну дорогу на морозное выпаривание. Так неужели нельзя дать по нескольку скотовозов на убойный пункт? Сколько уж лет просим...— Лозовой махнул рукой.

— По закону,— говорю я,— отделы Сельхозтехники обязаны поставлять машины вам по договорам и в указанные сроки.

Лозовой только рассмеялся:

— Какие там договоры! От нас принимают любые заявки. Хоть двадцать грузовиков напиши — все примут. Но за последние пять лет нам всего один молоковоз, да вон в прошлом году по особой милости прислали один грузовик. Его угробили на целине — коробка скоростей полетела. Теперь нам прислали. А деталей днем с огнем не сыщешь. Он и стоит у нас на приколе. Ну почему бы не поставить распределение машин в прямую зависимость от сданной продукции?

— А на это вам ответят: нельзя! Потому как мы поднимаем слабые колхозы.

— Вот именно,— усмехнулся Лозовой.— Ты плохо работаешь — вот тебе в награду побольше тракторов и

грузовиков. Иного уже тридцать лет поднимают, а он все на брюхо ложится.

— И все ж таки достижения ваши налицо,— улыбаюсь и я.

— Это уж правильно. Приезжайте к нам еще через десять лет — глядишь, и дворы новые построят.

Уезжал я поутру да по морозу... По Нарымской долине гуляла поземка — косые языки заносов переметали местами дорогу. Наш «газик» врезался в них с ходу, глушил скорость и, надсадно ревя, медленно, содрогаясь всем корпусом, выползал на твердую наезжую часть. И снова как ни в чем не бывало легко катил до нового перемета.

1961—1972

БЕЗ ЦЕЛИ

— Тут у нас еще один вопрос,— сказал председатель, вставая.— Самоченков!

— Есть!

Самоченков, малый лет двадцати пяти, сидел на корточках возле порога, но, услыхав свое имя, встал и прислонился к косяку.

— Ты чего с колхозной картошкой сделал? Ну-ка, расскажи нам.

Самоченков снял с головы старый овчиный малахай и потупился.

— Ты чего молчишь? Иль язык проглотил? Куда картошку дел? Рассказывай!

Мерлушка на малахае свалялась сосульками и легко выщипывалась. Самоченков выдергивал шерсть, скатывал ее в комочки и бросал на дно малахая.

— Что, стыдно стало?

Самоченков тяжело вздохнул и еще ниже склонился над малахаем.

Члены правления, как по команде, повернулись от стола к Самоченкову и тоже молчали.

— Ну, тогда я сам доложу,— сказал председатель.

Он вынул из папки квитанцию и высоко потряс ею в воздухе:

— Можете полюбоваться!.. Значит, Самоченков возил колхозную картошку с поля на спиртзавод... И одну машину записал на свое имя. Получил он за это сто восемьдесят семь рублей. Ты с целью это сделал или без цели? Отвечай!

— Нет... я без цели.

— А как же?

— Просто так.

— Перепутал колхозную картошку со своей?

— Да.

— А деньги где?

— Пропили.

— С кем?

Молчание... Только шерстяные шарики падают на дно малахая.

— А может быть, ты взял картошку все-таки с целью присвоения?

— Нет, я без цели.

— Но ведь деньги ты получил?

— Получил.

— Так что же ты думал?

Молчание.

— Взял просто так?

— Ага.

— Товарищи, я все-таки считаю, что мы тут должны выяснить — с целью взял он картошку или без цели? И решить со всей сурьезностью этот вопрос.

Председатель был важен и величав, в черном шевиотовом френче, пуговицы надраены, блестят, как золотые... Только еще погон не хватало. Он строго посмотрел на членов правления. Теперь все повернулись к нему и также смотрели на председателя решительно и строго.

Лишь один Самоченков не поднял головы, он все дергал мерлушку, скатывал шарики и бросал их на дно малахая.

Встал колхозный счетовод Иван Иуданович, сухой и погибистый старик, вынул из кармана зеленый клеенчатый футляр, открыл его на манер протабашницы, постучал им о ноготь большого пальца, но очков не одел.

— Товарищи, это не то что как-нибудь, а взято с целью...— он подозрительно поглядел на Самоченкова и добавил: — то есть с целью воровства. За это надо руки сечь. В старое время за такое по головке не гладили. Помните, как у нас в двадцатом годе Зюзю-конокрада убили? Ты, Иван Ларивоныч, еще маленьким был. А ты, Матвей Матвеевич, должен помнить. Как раз у твоего отца Зюзя лошадь угнал. Да кладовую обчистил у Вани Бородина. А потом его в Пугасове в Ванином костюме видели. Наши самодуровские его признали. Он убёг. В лугах хоронился. А в Свистунове о ту пору матрос отдыхал. В полном обмундировании. Пошел он в луга за

смородиной — и маузер на ремне. Увидел его Зюзя — да бежать. Тот — «Стой!» кричит. Пальнул вверх — Зюзя и растянулся со страху. Привел его матрос к нам в село... Кто-то в набат и ударь. Сбежались мужики с цепами — на одоньях как раз рожь молотили. Окружили Зюзю... А он эдак вот, вроде Самоченкова, в землю смотрит. И Ванина рубаха на нем... «Бейте его, ирода!» — скрычал Бородин. Твой отец, Матвей Матвеевич, как ахнул его по голове калдаёй цепа. Зюзя — с ног. И пошла молотьба... До смерти его цепами замолотили. Вот какая ревизия.

— Сказано, на рога полезешь — на рожне и останешься.

— Это правильно. Одно слово — диктатура пролетариата...

— Но, товарищи, мы живем не в старой России, а в новом обществе,— продолжал, передохнув, Иван Иуданович,— значит, и поступать мы должны по-новому. Перевоспитывать. В ногу идти, как в газетах пишут. То есть возьмем Самоченкова на поруки, поскольку он первый раз увез машину картошки. И не осознал как следует своего проступка. А так как он еще не осознал всю ответственность, нельзя считать, что взял он картошку с целью...

— Правильный сделал вывод из словесных показаний Иван Иуданович,— поднялся вслед за счетоводом парторг Настенкин, бывший районый прокурор.— Если исходить из словесного определения, то нарушение законности налицо. Но, товарищи, слово к делу не пришьешь. Для установления умышленного воровства еще недостаточно одной накладной. Нужны свидетельские показания. А главное — установить причину факта самого воровства. Вот в чем суть! — Настенкин говорил горячо, высоко запрокинув острый подбородок, глядя в потолок, и пальцем грозил кому-то, как будто бы его противник затаился там, на чердаке.— Стало быть, мы подошли [redacted] первопричине — учет у нас плохо поставлен. Вот в чем гвоздь! В самом деле, увезли картошку прямо с поля, сдали на завод [redacted] деньги получили... А мы с вами узнали об этом только полгода спустя. Да и то по ревизии. Кого же винить в плохом учете? Самоченков здесь ни при чем. Бригадира тоже нельзя во всем винить. Он и так работой перегружен. А виноваты мы сами — учет не наладили. Вот почему я считаю, что нарушение законности было, но сделано не с целью. Предлагаю Самоченкова взять на

поруки, то есть вынести ему общественное порицание, а учет в бригадах укрепить.

— Вопрос бригадиру имеется! — порывистый, лупоглазый председатель ревкомиссии, который откопал эту злополучную накладную, потянулся через стол к бригадиру.— Ты давал Самоченкову квитанцию на картошку?

— Я.

— А где корешок?

Бригадир дернул бородой, расстегнул верхнюю пуговицу такого же, как у председателя, френча, и растерянно поводил глазами, смешно отвесив нижнюю губу.

— Ну при чем тут корешок, Матвей Матвеевич? — сказал председатель.— Мы же собрались не отчет с бригадира спрашивать!

— А при том!.. У председателя сельсовета сдано три машины картошки... Да Иван Иуданович две машины сдал.

— Погодь, погодь! У меня есть огород или нет? — крикнул Иван Иуданович.

— Ты две свиньи за зиму выкормил...

— Матвей Матвеевич! Кто вам дал такое право? Вы сперва установите.

— Вот я и спрашиваю: где корешки квитанций?

Бригадир опять замотал головой, как взнузданная лошадь.

— Да не съели же их,— сказал председатель.

— Пропили! — Матвей Матвеевич обернулся к председателю.— У нас все премии водкой выплачиваются. Телятница Пузырева чуть в навозной яме не утонула спьяну. Это что, премия? А на молочной ферме гармонь купили... Это тоже премия? Цельными ночами наяривают напролет. У возчика молока лошадь от этого веселья сдохла. А тебе все без цели... Эх, Иван Ларивонович!

— Так ведь народ свой резон на все имеет,— отбивался председатель.— Ты вот не пьешь, а другой пьет. Кто прав, кто виноват? Намедни племянница твоя замуж выходила — тебя на свадьбу пригласили, а ты не пришел. Это как же рассудить! Ты думаешь, характер показал? А народ вон по-другому рассудил. Нехорошее говорят про тебя на селе, что, мол, в гордость пошел. И хуже того — философией занимается.

— Я сам в гости никого не приглашаю и к другим не хожу. Вот моя философия! А некоторые у нас не то что на

дому — в правлении компании водят. На той неделе из колхоза «Ответ интервентам» приезжали?

— Соцсоревнование!

— Ага! На этом соцсоревновании пять ящиков водки выпили, пятьсот яиц съели да пятьдесят петушков. Вот чего стоил нам приезд «интервентов»!

— Ты меня «интервентами» не попрекай! Я на них в тот вечер половину своей зарплаты истратил,— кричит председатель.

— Ты лучше расскажи, как на своей персональной петушков в луга возил? Живую закуску! А все компании!

— А у тебя в свинарнике тоже компания... Нечего говорить,— председатель багровеет и начинает загибать пальцы: — Сам ты животновод, жена и сестра — подручные твои, братья сторожами работают. Ты думаешь, никто не видит этого? Народ все примечает. Вот, спроси хоть его! — председатель кулаком указывает на бригадира.

Тот уже давно был наготове:

— И спрашивать нечего. Всем известно, что семейственность развел на свинарнике... Шайку!

— Кого? — Матвей Матвеевич встает и указует перстом на бригадира, но обращается к председателю.— Пусть сейчас же извинение приносит! При всех...

— Подожди горячиться, Матвей Матвеевич!

— Прикажи ему извиниться!

— Да я что, начальник милиции? Не могу же я заставить народ думать по-своему или по-твоему. У нас, как-никак, демократия.

— Тогда нам не об чем говорить больше,— Матвей Матвеевич с грохотом отодвинул стул.

— Видишь ты какой! — покачал головой председатель.— Больно ты уж власть любишь. И к мнению чужому нетерпимость проявляешь.

— Я оскорблениев не терплю! Обмана!..

— Ну давай говорить спокойно. Ты на свинарник как на вотчину смотришь. В прошлом году я послал к тебе телятника травы покосить возле фермы. Так ты его прогнал?

— Прогнал. Он мог поросят порезать косой-то...

— А как насчет травы?

— Траву мы делим по сторожам.

— Вот, вот... По своим братья́м.

— Так они же всего по сорок рублей в месяц получают.

— А за что ж им платить-то? Один глухой, второй безногий. Тоже сторожа,— хмыкнул бригадир.

— И то сказать, целый год ты, Матвей Матвеевич, двух лошадей в саду продержал,— вступился Иван Иуданович.— На свою потребу.

— Дак эти лошади подыхали в бригаде! Я их по весне с веревок снял, сеном своим выхаживал... Корову свою продал, а лошадей колхозных спас. И вы теперь меня же обвиняете?

— Подумаешь, чем хвастается! Двух лошадей спас...— сказал бригадир.— Кабы ты ферму спас!

— Я требую извиниться передо мной!

— А я еще добавлю — шайка и лейка! — опять хмыкнул бригадир.

— Возражениев нет? — спросил Матвей Матвеевич, красный весь, торопливо перебегая глазами по членам правления.

Все молчали. Председатель только плечами пожал.

— Понятно. Поговорим в другом месте.— Матвей Матвеевич быстро вышел.

— Куда же вы?

— Самоченков, ну-ка пулей за ним!

Самоченков сорвался с места и выскочил на улицу, так и не надев шапки. Через минуту он вернулся, встал на свое место у порога, глаза опять в малахай:

— Не идет. Говорит — сами ко мне придут.

— Вот характер!

— Трудно с ним работать...— председатель сострадательно посмотрел на правленцев: — И все терпим...

— Что же мы запишем о Самоченкове? А, товарищи? С целью или без цели? — спросил, помолчав, председатель.

— Без цели! — дружно ответили правленцы.

— Так и запишем.

— Спасибо,— сказал, надевая малахай, Самоченков.— А насчет этого я постараюсь... Оправдать то есть.

1965

ШИШИГИ

Как-то в лугах, на рыбалке, сидя возле реки, я заметил, что мой приятель шкипер Федот опасливо отодвигается от берега.

— Ты чего это, Федот Иваныч? — спросил я.

— Боязно,— ответил он, поеживаясь.— Стемнелось. Время смурное — самый разгул для шишиг.

— Каких шишиг?

— Известно каких... Этих самых, что нечистой силой зовутся.

— А ты их видел?

— А то как же? Все они криворожие, есть которые с горбом, а есть и брюхатые. А руки у всех маленькие да холодные. Ты к реке нагнешься, а шишига оттуда хвать тебя за ворот — и в воду. Тут места глубокие... Омут! Улькнешь — и поминай как звали.

— Так не нагибайся над водой.

— Они подталкивают, чудак-человек. Ты сидишь вроде сам по себе, а шишиги в уши тебе юзжат: де, мол, сидишь, а рыбка-то, вон она, к берегу подошла, в руки просится. Тебе сдуру-то и в самом деле рыба померещится. Попробуй, схвати ее! Там, на дне, будешь...

— Ишь ты! А я и не знал, что у воды сидеть опасно.

— Они не только у воды балуют... И в лесу встречаются, и в пустом пространстве, и в людном. Так закрутят, заюзжат, в такую глушь заведут, что и не выберешься. И с дороги они сбивают. Вот летом увидишь столб пыльный на дороге, сходи на обочину. Это шишига свадьбу играет. Не сойдешь — глаза и уши запорошит. А то и лошадь зачумляют. Тоже с пути сбивают. Зимой в метель они особенно лютуют — задергают, закружат, и человек чуме-

ет: прет напропалую, себе на погибель. Ему и колокол чудится. Идет на глухие удары. А не догадывается — это ж погребальный звон по его душу.

— Старо! Кто теперь ездит на лошадях? Да еще в метель пешком шляется в чистом поле?

— А это не имеет значения. И в городе у вас шишиги одолевают.

— Где, где?

— Да хоть в метро. Бывал я не раз, чуял. Намаешься день-деньской по всяким конторам или по магазинам, захочешь домой, на квартеру то есть, идешь в метро. И понесет тебя вниз по лестнице прямо в человечью икру из одних голов. Батюшки мои! Подхватит тебя неведомая сила, тискает, засасывает — ажно дух перехватывает. И от страха душа захолонет, и тебе будто явственно кто-то нашептывает: «Ну что, домой торопишься? В теплую постельку? А я тебя в преисподнюю. Пойдешь у меня как миленький. И не пикнешь. Тю-тю!» Это они, шишиги, нашептывают.

— Глупости, Федот Иваныч! Это боязнь тесноты. Вырос ты на просторе, вот тебе и кажется метро преисподней.

— Опять двадцать пять! Я ж те говорю — шишиги вездесущи. Ты бывал, к примеру, у нас на колхозном собрании? Слушал, как распекают за прогул?

— Кто распекает, шишиги?

— Распекает правление. А шишиги только подзуживают да еще страх нагоняют. Понял?

— Во-он ты про что! — я только головой покачал.

А Федот закурил сигаретку «Прима», помолчал для важности и наконец изрек:

— Первое средство против них — стоп! Одумайся да перекрестись. Потом оглянись вокруг себя да выругайся.

— Помогает?

— А как же! Главное дело — страх проходит. А ежели в душе страха нет, то шишига к тебе не подступит.

— Откуда ж они берутся, шишиги-то?

— Как откуда? Из исторического прошлого, как теперь в книгах пишут.— Федот подумал и сказал: — А еще от нашей дурости, от страха то есть. Они ведь компанейство любят, шишиги-то. Вот, к примеру, я тут сижу, разговариваю, и чем-то не понравился разговор мой одной какой-нибудь залетной шишиге. Она сейчас же дает сигнал по своему бабьему телефону: де, мол, отыс-

кался фулюган-неверующий, который нас, честных, порядочных шишиг поносит. В омут его! Ну, те и слетаются отовсюду. Шишиги далеко слышат по своему бабьему телефону. Ежели, к примеру, залетела какая-нибудь шишига за лесной кордон, обратно прилететь на шабаш не успевает, дак и та им весточку дает: топите его, отпетого и недозрелого.

Я невольно усмехнулся:

— Что за нужда у них такая?

— Дак они, шишиги-то, живут по собачьему закону: все на одного бросаются, на кого укажут. А ежели кто из них не может одурачивать или не хочет, так все равно сигнал подает: я с вами заодно.

— Для чего ж они это делают?

— Как для чего? Приказ выполняют самого сатаны, единогласие держат. Ежели они не будут людей теребить да чертить, никто и не вспомнит про нечистую силу. Она и отомрет, как бы сама по себе. А кому же хочется помирать? Хоть она и нечистая сила, а ведь туда же лезет, за жизнь цепляется.

Давно уж нет тех лугов, где мы рыбачили с Федотом,— их распахали и засеяли кукурузой, и старый приятель мой помер, а забавная история про нечистую силу, рассказанная им, нет-нет да и вспомянется на ночь глядя.

И тогда слышится мне голос доброго старого шкипера: первым делом одумайся... Оглянись вокруг себя, окстись, да выругайся как следует, чтобы страх прошел. А ежели в душе страха нет, то шишиги к тебе не подступят.

1970

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Можаев Б. А.

М74 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. Повести и рассказы.— М.: Худож. лит., 1989.— 574 с.

ISBN 5-280-01048-0 (Т. 2)

ISBN 5-280-00793-5

Во второй том Собрания сочинений Бориса Можаева вошли повести «Власть тайги» (1954), «Саня» (1957), «День без конца и без края» (1972), а также рассказы писателя, созданные в разные годы.

М $\frac{4702010201\text{-}397}{028(01)\text{-}89}$ подписное **ББК 84Р7**

Борис Андреевич
МОЖАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2

Редактор В. Бармин
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректор О. Левина

ИБ № 5748

Сдано в набор 14.02.89. Подписано в печать 02.08.89. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 31,7. Уч.-изд. л. 31,7. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3058. Заказ № 845. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература»
ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28